
1
СТИХОТВОРЕНИЯ
Осип МАНДЕЛЬШТАМ
Осип МАНДЕЛЬШТАМ
Полное собрание сочинений и писем
Том 1

1

СТИХОТВОРЕНИЯ

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

Полное собрание сочинений и писем

Том 1





Осип МАНДЕЛЬШТАМ

Полное собрание сочинений и писем в трех томах

Том

1

СТИХОТВОРЕНИЯ

Москва
Прогресс-Плеяда
2009

УДК 821.161.1-1Мандельштам О.
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
М23

Составление, подготовка текста и комментарии – А. Г. Мец

Вступительная статья – академик Вяч. Вс. Иванов

Научный редактор Н. Г. Захаренко

Художник В. Н. Сергутин

На фронтисписе:
Осип Мандельштам.
Конец 1900-х – начало 1910-х годов

Мандельштам, Осип Эмильевич (1891–1938).
М23 **Полное собрание сочинений и писем.** В трех томах. Том первый. Стихотворения / Осип Мандельштам. – М.: Прогресс-Плеяда, 2009. – 808 с. – ISBN 978-5-93006-095-9.

Поэзия Осипа Мандельштама принадлежит классике русской культуры Серебряного века. «Артистом» назвал Осипа Мандельштама Александр Блок. «Чары» и «магия» – вот слова, которыми определяет Марина Цветаева искусство поэта. О «художественной гармонии» Осипа Мандельштама говорит Анна Ахматова, видя в нем «трагическую фигуру редкостного поэта, который и в годы воронежской ссылки продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи...». По словам Георгия Иванова, «...Мандельштам – один из чудеснейших поэтов нашей эпохи... Его чудесный талант, его огромное врожденное мастерство были не в его власти, а во власти той стихии музыки, образов, ритмов и слов, которой он дышал».

ISBN 978-5-93006-095-9

Мандельштам и наше будущее

1

Мандельштам, как мы только теперь начинаем понимать, – из самых поразительных и дальнобойных достижений, завещанных нам русской духовной историей XX века. Его значение совсем не ограничивается только рамками русской словесности и шире – границами все время его волновавшего, как собственная судьба, сдвига геологических пластов, происходившего в то время в России. Его роль, выходящую далеко за пределы нами здесь непосредственно наблюдаемого, подтверждают высказывания самых надежных ценителей, принадлежавших европейской культуре недавнего времени. Великий поэт Целан, выросший в Черновицах, отлично знал русский язык и русскую поэзию; живя в Париже, он много и вдохновенно переводил Мандельштама на немецкий. Он, как и гениальный итальянский кинорежиссер, поэт и теоретик искусства Пазолини, в своих этюдах о Мандельштаме пишет о нем как об огромном общеевропейском – не будем играть словами, скажем напрямик – общемировом – явлении.

Прежде всего впечатляет его фигура, характер и масштаб личности. Сам он, как обычно для подлинно значимых людей, не переставая сознавать свою миссию и смысл своей биографии, умел взглянуть на себя со стороны, посмеяться над собой, сопоставить свои слабости или даже немалые пороки с любимцами из давнего прошлого – как с «ангелом ворующим»[1] – Виллоном. Нас привлекает прежде всего то, как этот сверходаренный юноша, росший вундеркиндом и успевший отведать яств интеллектуальных пиров Европы перед Первой мировой

---

[1] Здесь и ниже сочинения и письма О. Э. Мандельштама цитируются по настоящему изданию.

войной, внезапно вместе с несчастьями континента и страны взрослеет, оглядывается на далекое и недавнее прошлое с истинным пониманием, видит наступающие беды и взрывается от негодования. Его годы ссылки в Воронеже мы вместе с ним читаем в духе ассоциаций с Данте, изгнанным из Флоренции. Смерть в лагере ставит его в ряд великих мучеников, с жизнью которых обрывался только начавшийся невиданный взлет всего российского художественного, научного, мыслительного творчества.

Потом к нему вновь приходили медленно. Надежда Яковлевна Мандельштам и немногие другие, сохранившие неизданные при жизни поэта стихи, возвращали их – и его вместе с ними – к жизни. Собрание воронежских (и написанных перед ними, но уже не перешедших через порог советской цензуры) стихов вошло в корпус Самиздата (потом и Тамиздата – первых американских томов) шестидесятых годов. Позже начались – поначалу тощие – издания в России, дальше пошли многочисленные переиздания и работы увлекшихся им любителей стихов и ученых. В Мандельштаме им виделось (и некоторым до сих пор мерещится) многое созвучное их собственному опыту и размышлениям, мы об этих поколениях времени после оттепелей узнаем из всего написанного ими о Мандельштаме как о поэте, которого они себе хотели присвоить, быть может, иногда существенное в нем не разгадав или домыслив на свой лад.

С опозданием сейчас только мы узнаем, что никто так глубоко не понял русскую и европейскую историю. Что поэтому и о будущем можно не гадать, а с достоверностью читать в написанном Мандельштамом. Он знал, как много для этого будущего значит русское слово и сам сделал столько, чтобы его еще раз обессмертить. Человечество окружено морем колеблющихся ценностей и испаряющихся мечтаний. В том, что нам оставил Мандельштам, сохраняется прочность основной многовековой традиции. Для нее он работал – благодаря ему и совсем небольшому числу писателей, с ним соразмерных, она продолжается.

2

Мандельштам нам разъясняет: нужно прежде всего помнить, с чего поэт начинается, это важнее многого другого. Первые впечатления от прочитанного, о которых Мандельштам никогда не забывал, связывали его с русской прозой прошлого века. В «Шуме времени» он сам рассказал

об этих принадлежавших его маме верхних полках книжного шкапа с русскими классиками, об учителях словесности, как В. В. Гиппиус, сверкавший «литературной злостью» и истинной любовью к настоящей литературе, занятой людьми (не обязательно простыми – иногда и сверхсложными). В своей автобиографической прозе Мандельштам напишет: «Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры – разбившийся, конченый, неповторимый, которого никто не смеет и не должен повторять, я хочу окликнуть столетие, как устойчивую погоду, и вижу в нем единство "непомерной стужи", спаявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в глубокую зиму, где страшная государственность – как печь, дышущая льдом».

Страшная российская государственность была ненавистна всегда. Позднейшее увлечение некрасовской гражданской мужественной нотой в период одинокого противостояния Мандельштама Сталину не должно удивлять: он ведь и юношей начал стихи с навеянного русской революцией девятьсот пятого года народовольства.

Мандельштам тоже вышел из «Шинели» Гоголя (и ее достоевских продолжений). Только она у него обернулась той украденной сорочкой, которую, как и свою визитку, так и не смог себе вернуть полуавтобиографический герой «Египетской марки» Парнок – и с ними в чемодане из Петрограда в Москву, в гостиницу «Селект», где размещались чекисты, уехал переметнувшийся к большевикам франтоватый офицер царской армии Кржижановский, другой персонаж той же прозаической вещи Мандельштама.

А Мандельштам с этим миром российской державы был связан только ребяческими страхами и на будущего вороватого и щеголеватого вояку уже смотрел подозрительно (мой бледный прозаический пересказ строк «С миром державным я был лишь ребячески связан,/ Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья»). Не гвардеец, а отказавшийся от гвардейской карьеры (когда царь предложил ему должность адъютанта при себе) независимый от всех мыслитель Чаадаев станет кумиром молодого Мандельштама (ему он посвятит удивительную по силе проникновения статью и перекликающиеся с ней стихотворения «Посох» и «О свободе небывалой...»). Его занимает «обуза северного сноба – / Онегина старинная тоска». Мандельштам – наследник артистической культуры времени после победы над Наполеоном. Эту культуру «Декабрист» – герой одноименного стихотворения – увез с собой в северную ссылку, о которой станет со временем мечтать Мандельштам:

«Уведи меня в ночь, где течет Енисей». Так до этого Севера он и не добрался – умер от голода и холода в пересыльном лагере по дороге. А задолго до того его декабристу удалось совершить тот обмен, который начал было получаться и у Мандельштама в Воронеже еще перед вторым арестом:

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

Его привлекала не армия пугавшей, как «отдыхающий в доке» броненосец, державы, а ее солдаты, вышедшие на защиту свободы и горько за это поплатившиеся. Как все они, «он ненавидел слово “раб”» (из эпиграммы Грибоедова) и – один из немногих в своем веке – показал это лучшими стихами и всей своей жизнью. В этом смысле – и во многих других – он оказался в конце концов не современником своего века, как он сам и напророчил в своих стихах на эту тему.

3

Дарованное девятнадцатым веком помножилось у него в юности на то новое понимание самого высокого в жизни, которое на рубеже столетий принес русский символизм и созвучные ему европейские влияния (Ибсен, ранний Гамсун). Из писем жившего в Париже юноши Вячеславу Иванову и из ранних сохранившихся стихов самого Мандельштама мы видим, как сильно поначалу было воздействие на него открытого символистами надземного звездного мира. Следы этого видны и позднее, хотя он достаточно быстро ушел от поэтических приемов символистов. В них он увидит «лжесимволизм», отнимающий у слов языка их предметное значение: ведь слова – всегда символы, не у одних только символистов. Вместе с другими своими товарищами по постсимволизму – прежде всего акмеистами (Гумилевым и Ахматовой) от символистских условных неясностей и обеспредмеченного словаря, лишенного обычных образных смыслов, он переходит к осязаемым построениям, строго очерченным (с излишней округленностью стиля Вячеслава Иванова он рискует не соглашаться уже в одном из первых писем к нему). В позднейших похвалах Сологубу видно, как его Мандельштам отделяет от всех старших символистов, замечая, однако, и у него общую для них всех словарную бедность. Символизм «Весов» – для Мандельштама уход

от нормального использования полновесного образного слова. Но два самых больших поэта символистского времени остаются для Мандельштама значимыми и потом.

Как все постсимволистское поколение (включая и многих футуристов, и представителей других течений), Мандельштам во многом испытал влияние Блока. Кое-что в этом воздействии можно понять из его позднейшей статьи о Блоке. В частности, из нее видно, насколько поэзия Блока значима для Мандельштама благодаря непосредственной ее слиянности с русской историей. Блок как бы ему заменяет вместе взятых Соловьева, Костомарова и Ключевского. Я думаю, что именно Блок помог Мандельштаму самому влезть в шкуру русской истории, заговорить (или закричать – зареветь) ее голосом. Ее маревом – не действительностью, а идущими от нее образами, иногда умопомрачительно страшными – полно гениальное стихотворение «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...» Но есть и еще более сложные и глубокие свойства мандельштамовских стихов, по которым мы узнаем след блоковского воздействия. Мандельштама завораживали «Шаги Командора» Блока. В них ему виделось переиначивание европейского мифа, благодаря которому друг на друга ложатся разновременные пласты – Командор в дом умершей Донны Анны приезжает вечером на автомобиле, звук сирены автомобиля слышится поэту, отсюда начинаются стихи Блока. Из них вышел и чудак Евгений (в первом рождении – герой «Медного Всадника»), вдыхающий бензин в «Петербургских строфах», написанных Мандельштамом сразу после публикации блоковской вещи. Метрическая схема, звукопись и плетение образов этих стихов Блока через несколько лет отозвались в целом поэтическом цикле Мандельштама, куда вошла и его Венеция, которую Блок высоко оценил в дневниковой записи (он в ней отметил, как Мандельштам вырос за время гражданской войны). Блоковские созвучия у Мандельштама в этом цикле появляются, когда он пишет о «черным бархате» наступившей «советской ночи». Сравнивая разные стихи этого цикла, начинаешь думать, что тот же черный бархат уводит на плаху и прочь из жизни и обитателей мандельштамовской Венеции. В ней читается тот же мифологический шифр, что у Блока – недаром в этом именно случае они до конца поняли друг друга, у них одинаково переплетаются разные эпохи, современность и далекое прошлое.

Впрочем, и Блоку он потом не простит стертости такого словесного штампа, как «орлиный профиль» Данте. Блок и сам не щадил себя. Он сетовал на истощенность символистского словаря в своей суровой последующей оценке всего движения. Язык Блока Мандельштаму понятен в его нетрадиционной части – в экспериментах, как в частушках, из которых он выводит лексику и мгновенные уличные импровизации «Двенадцати», из-за поверхностного политического чтения оставшиеся непонятыми для многих современников (но не для Мандельштама, изредка позволявшего себе подобные лихие минутные вдохновения, как «Я скажу тебе с последней прямотой...»).

4

Другой великий поэт символистской поры – Иннокентий Анненский во многом был прямо противоположен символизму: меньше всего он с его лафорговской иронией был склонен к поэтическому священнодействию. В быт и в бытовой язык он погружался с головой и оттого в годы расцвета символизма его не замечали и он оставался до самой своей смерти непризнанным. Лишь потом, с посмертным изданием «Кипарисового ларца» он превратился в кумира постсимволистского поколения – Мандельштама и других акмеистов, Маяковского, Пастернака. В Анненском они нашли путеводителя в своем возвращении к обычному слову, соотносящемуся с ежедневно видимыми вещами. Мандельштам ссылался с сочувствием на слова Гумилева об Анненском как о великом европейском поэте и мечтал о времени, когда Европа, выучив руссский язык, прочтет Анненского в подлиннике. Для Мандельштама Анненский прежде всего – открыватель собственно русского эллинистического начала. По его описанию, Анненский «долгие ночи боролся с Еврипидом, впитывал в себя змеиный яд мудрой эллинской речи, готовил настой таких горьких, полынно-крепких стихов, каких никто ни до, ни после его не писал. ...Всю мировую поэзию Анненский воспринимал как сноп лучей, брошенных Элладой».

Иннокентий Анненский позволяет нам понять причины увлечения древнегреческим мифопоэтическим наследием у самого Мандельштама. По Мандельштаму, греческое оставалось переплетенным с нашим домашним: «Эллинизм – это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя утварь, посуда, все окружение тела; эллинизм – это тепло очага, ощу-

щаемое как священное, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку...».

В сохранившихся фрагментах статьи Мандельштама о Скрябине и христианстве речь идет об эллинистической природе русского языка и русского духа, раскрытой еще Пушкиным, потом – Скрябиным. Продолжением эллинизма Мандельштаму представляется русское православие, которым он увлечен в годы Первой мировой войны. Разные стороны русского эллинизма Мандельштам видел у Розанова и Анненского. Его и хотел возродить Мандельштам.

В русской поэзии не было другого поэта, так естественно продолжившего древнегреческую поэтическую традицию, как Мандельштам.

Все началось с филологии. Мандельштам хочет постичь законы греческой просодии. Их можно понять через метафору длительности, раскрытой не только как протяженность гласного, которая используется в стихосложении:

Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера.
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.

Как бы цезурою зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты;
Волы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

Древнегреческие ассоциации только начинаются совпадением слов, относяшихся к произношению гласных (и их роли в стихе) и к обозначению пенья птиц и других природных явлений. Мотивы традиционной античной поэзии вводятся «волами на пастбище». Но самое интересное подстерегает нас после этого к концу стихотворения: речь идет о настроении поэта, который отлынивает от своего труда. Это он обозначен как ленящийся играть на музыкальном инструменте, сделанном из тростника. Такое постепенное введение античных мотивов в ткань стихотворения все чаще встречается у Мандельштама в десятые годы.

Мандельштам начинает учить древнегреческий, вдохновляется формами глаголов и вставляет их в шуточные стихи («И глагольных окончаний колокол»), которые пишет вместо подготовки к занятиям, задумывает читать Гомера, но дочитывает список кораблей у него лишь до середины. Тогда рождаются стихи совсем не шуточные и из числа изумительных:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи –
На головах царей божественная пена –
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер – всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Поэт не сам прерывает чтение. Замолкает Гомер, чтобы дать слово морю (позднее в «Разговоре о Данте» Мандельштам объяснит, как связываются между собой звуками подобные пары, сопряженные и по смыслу: *Гомер* и *море*). Море названо «черным» – это его древний греческий поэтический эпитет. Море своим шумом говорит поэту о предмете разговора, общем у него с Гомером – о любви. То, что море и Гомер движется любовью, – перифраз великих заключительных строк Данте, у которого любовь движет небесными светилами. От этого шума морского и от морских громогласных речей о любви поэту не спится.

Кажется важным, что при всей зачарованности античностью и обширности своих чтений Мандельштам не мог стать ученым наподобие молодого Вячеслава И. Иванова. Я бы, несколько заостряя свою мысль, сказал, что лучшие стихи Мандельштама об античности – сочинения гениального недоучки. Стихи родились от недозубренного. А выучил бы он все как положено – и не было бы стихов, или во всяком случае, не было бы стихов, в которых воплощен весь восторг, отпущенный на занятия Грецией, но не израсходованный. Мандельштам замечает, что из занятий Анненского Еврипидом мы не так много можем почерпнуть в поэзии (а не в переводах) самого Анненского. Ему хотелось свое чтение Гомера сделать как можно более поэтически плодотворным.

Вспоминавшие о Мандельштаме уверяют, что, повторяя им свои только что сложившиеся строки о «рыданье аонид», он сам с удивлением спрашивал, кто же такие *аониды*[1] (музы, как нам поясняет комментарий; в другом стихотворении речь

[1] Одоевцева И. В. Избранное: Стихотворения. На берегах Невы. На берегах Сены. М., 1998. С. 354.

идет об их «пенье»). Ему это было неважно (скорее всего слово он запомнил по русским журналам пушкинского времени, где оно мелькает). Его заботил дух античности, воскресавший в его стихах почти без его участия, чуть ли не сам по себе.

Едва ли не самым наглядным примером вплетения древнегреческих образов в текст, имеющий для Мандельштама и вполне существенный биографический смысл, может быть стихотворение «На каменных отрогах Пиэрии...». По свидетельству Н. Я. Мандельштам, оно было написано после того, как Маккавейский – сын священника благословил 1 мая 1919 года их отношения с Осипом Эмильевичем[1] (брак был заключен через несколько лет, но этот день у них стал семейной датой начала общей жизни). Навеянная этим событием центральная часть текста включает слегка измененные отрывки из древнегреческих эпиталам и других стихотворений Сафо в только что прочитанном Мандельштамом переводе Вячеслава Иванова. Тот вместе с Анненским служил звеном, соединявшим Мандельштама с теми эллинскими текстами, на которые он ориентировался.

С женщинами и о них Мандельштам заговаривает по-гречески. На следующий год и позже греческие уподобления, пчелы, вылетевшие из ульев Эллады и до него донесшие древний мед поэзии, понадобятся Мандельштаму в серии стихов, обращенных к Арбениной, которой эти эллинистические образы нравились. В одном из стихотворений к ней она сама и его страсть описываются в терминах взятия Трои ахейцами:

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать...

Основные свои мысли Мандельштам учится излагать на языке греческих мифов. Ими пронизано стихотворение «Когда Психея-жизнь спускается к теням», перелагающее древнегреческие представления о посмертной судьбе души и почти дословно следующее за гомеровским текстом. Свои собственные ощущения, вызываемые трудностью найти точное словесное выражение мысли, Мандельштам передает на языке античных образов в стихотворении «Я слово позабыл, что я хотел сказать», разобранном великим психологом Выготским в его книге «Мышление и речь»[2] как чуть ли не самое ясное описание этой труднейшей проблемы. Можно спросить – почему

[1] Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М., 1990. С. 98.
[2] Выготский Л. С. Психология искусства. 3-е изд. М., 1987. С. 44–45.

Мандельштаму понадобился этот древнегреческий мифологический язык для изложения своего тонкого понимания психологии поэта? Такие наблюдения в стихах надо остраннить, передать их так, чтобы в самой их форме читатель ощутил чудесность и удивительность описываемого. А выбор именно греческой мифологии можно связать с воздействием представления о далеких эллинских корнях русской и всеевропейской культуры.

Стихотворение на античную тему может вопроизводить мифологическую сцену, как это делалось у мастеров Возрождения. Так написано изображение усталого быка, везущего по морю похищенную им Европу. А из статьи «Пшеница человеческая», написанной в том же году (1922) и местами совпадающей с этими стихами текстуально, видно, что изображение понадобилось, чтобы напомнить о том, как в теперешней Европе сохраняется память об этом древнем мифе: «В нынешней Европе нет и не должно быть никакого величия, ни тиар, ни корон, ни величественных идей, похожих на массивные тиары. Куда все это делось – вся масса литого золота исторических форм идей? – вернулась в состояние сплава, в жидкую золотую магму, не пропала, а то, что выдает себя за величие, – подмена, бутафория, папье-маше. Нужно смотреть трезво: нынешняя Европа – огромный амбар человеческого зерна, настоящей человеческой пшеницы, и мешок с зерном сейчас монументальней готики. Но каждое зерно хранит память об одном древнем эллинском мифе, о том, как Юпитер превратился в простого быка, чтобы на широкой спине, тяжело фыркая и с розовой пеной усталости у губ, перенести чрез земные воды драгоценную ношу – нежную Европу, и та слабыми руками держалась за крепкую квадратную шею».

Когда перед началом гражданской войны Мандельштам попадает в Крым, его античная эрудиция чувствует себя как дома. Под его пером оживают тысячелетия ранней греческой колонизации. Здесь возникают шедевры, как «Золотистого меда струя из бутылки текла...», обращенное к «хозяйке» крымской усадьбы – Судейкиной. Стихи – как запись разговора с ней, в них переданы ее слова и воспроизведен ответ поэта (в нем содержится образ, но это – его прямая речь, метафора, для которой ищут интертекстуальные истоки, не входит в основной текст стихов, а заимствована в них из уже состоявшегося в жизни разговора). Мандельштаму открывается «в каменистой Тавриде наука Эллады». Все стихотворение – образчик домашнего эллинизма. После вполне дотошного описания беседы

с Судейкиной, ее крымского сада, виноградника и дома льется поток древнегреческих ассоциаций с их завершением, которого одного хватило бы на то, чтобы признать Мандельштама лучшим поэтом века:

Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена–
Не Елена – другая – как долго она вышивала?

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

Поясняя, что именно имел в виду Мандельштам, комментаторы отмечают, что Пенелопа на самом деле пряла, а не «вышивала», как в его стихах. Но стихи (особенно великие) – на то и стихи, чтобы избежать наукообразной точности и занудства в воспроизводстве традиционных сюжетов. В конце Мандельштам чуть ли не позабыл (во всяком случае уклонился от прямого ее называния) имя Пенелопы (о нем тоже напомнят аккуратные комментаторы) и несколько на свой лад переименовывает ее занятие. Да и золотое руно возникает из совсем других греческих легенд (относящихся к побережью Черного моря, но в другой его части – не к Тавриде, а к Колхиде). Поэзия Мандельштама замечательна и своей принципиальной неточностью. Говоря о возможной связи поэзии с наукой, Мандельштам замечает , что он по этому поводу мечтает скорее о Верлене (лирике, у которого – в пастернаковском переводе – «точность точно под хмельком»), а не о Верхарне (образованном авторе эрудированных сочинений, вдохновлявших Брюсова).

Умение находить следы Эллады в самых неожиданных местах сохранялось у Мандельштама до самого конца жизни. Образцы греческой керамики (из старого собрания Юрьевского – позднейшего Тартуского – университета) Мандельштам увидел в Воронежском музее во время ссылки. Он пишет (быть может, и вдохновляясь хлебниковским стихотворением «Сыновеет ночей синева», где рыбаки поют «слова Одиссея») о том, что было «много задолго до Одиссея» – о гончарах Крита и их сосудах. Мы теперь все больше узнаем о том, в какой мере Крит и его богини были чуть ли не самой ранней цивилизацией Европы (а то и всего тогдашнего культурного мира), и можем и здесь дивиться силе интуитивного исторического «видения назад» у Мандельштама. Три его воронежских стихотворения о крито-микенских и древнегреческих ва-

зах и музыке флейт, на них запечатленных, яркостью образов соперничают с великой одой греческой вазе Китса.

Случайность, упомянутая в конце одного из этих стихотворений, оказалась в этом случае роковой. Игравший в Воронежском оркестре флейтист Карл Карлович Шваб, дружививший с Мандельштамом и специально для него устраивавший домашние концерты, был арестован в конце 1936-го года. Стихи о флейте и флейтисте, написанные весной следующего года, завершаются трагически:

И когда я наполнился морем –
Мором стала мне мера моя...

И свои-то мне губы не любы,
И убийство на том же корню –
И невольно на убыль, на убыль
Равноденствие флейты клоню...

Шваб умер почти одновременно с Мадельштамом в пересыльном бараке, расположенном близко к тому, где за несколько дней до того умер Мандельштам.

5

Характерная черта ранних акмеистических стихов Мандельштама, вошедших в «Камень», – внимание к архитектуре. Несколько из лучших вещей этого времени – «Айя-София», «Notre Dame», «Адмиралтейство» – посвящены конкретным зданиям. Стихотворение о Notre Dame автобиографично – оно кончается пожеланием совсем молодого человека самому себе создать наподобие этого собора что-то «прекрасное» «из тяжести недоброй». Мандельштаму в этом здании открывается «Души готической рассудочная пропасть». Задолго до искусствоведа Панофского, увидевшего в готике воплощение идей средневековой схоластики, Мандельштам в этом стиле угадал философию той эпохи, ему казавшуюся близкой. Ему была созвучна «физиология готики». В статье о Виллоне он раскрывает в последовательности передачи души человека от одной высшей религиозной инстанции к другой «архитектурно-обоснованное восхождение, соответственно ярусам готического собора. Кто первый провозгласил в архитектуре подвижное равновесие масс и построил крестовый свод – гениально выразил психологическую сущность феодализма. Средневековый человек считал себя в мировом здании столь же необходимым и связанным, как любой камень в готической постройке, с достоинством выносящий давление соседей

и входящий неизбежной ставкой в общую игру сил». Если вы хотите узнать, можно ли выразить в стихах такие достаточно сложные сопоставления выводов истории искусства (которой в Гейдельбергском университете Мандельштам на протяжении двух семестров занимается специально) и только возникавшей исторической психологии, попробуйте сопоставить приведенную цитату из статьи о Виллоне строка за строкой с тогда же написанными стихами о Notre Dame:

...распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Физиологические обозначения («нервы», «мышцы») в этом стихотворении оправданы мандельштамовской биологической концепцией искусства. Он хотел бы вернуться к XIII веку, когда готический собор казался «логическим развитием понятия организма» (из программной статьи того же времени «Утро акмеизма»). Мандельштаму мечталась такая новая поэтика, которая и словесные образы понимала бы как органы организма. Биологическое понимание искусства и его функций мне кажется очень важной чертой того поколения, которое готовилось к выработке совсем новой и вполне здравой эстетики. У Мандельштама ее черты проступают вплоть до позднейших вещей, включая эмбриологические параллели в «Путешествии в Армению». Поколение было расположено к пониманию роли ремесленника, а не одного только Моцарта, которому надлежало сотрудничать с Сальери (об этом в статьях писал и Мандельштам). В стихах о Notre Dame «всюду царь-отвес», а стихотворение о петербургском «Адмиралтействе» содержит утверждение: «красота – не прихоть полубога, / А хищный глазомер простого столяра».

Обращение Мандельштама к архитектурной тематике сопоставлялось в научной литературе с аналогичными чертами в поэзии Рильке предвоеннных лет. Это сопоставление кажется обоснованным. Хотя Рильке (принадлежавший к поколению символистов, начавших печататься еще в XIX веке) был намного старше, он тоже шел к новой постсимволистской конкретной образности. Его стихи из сборника «Neue Gedichte» имеют много общего с новыми стилистическими установками Мандельштама.

6

В 1915 году Мандельштам пишет стихотворение, первоначально им названное «Имябожие». Оно вошло в 1916-м во второе расширенное издание его начальной книги стихов «Камень»:

И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.

В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово – чистое веселье,
Исцеленье от тоски!

Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены,
Но от ереси прекрасной
Мы спасаться не должны.

Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь.

События на Афоне, упомянутые в начале стихотворения, происходили за несколько лет до его написания. Русский монах Иларион, живший в монастыре на Афоне, напечатал книжку, где объяснил исключительный мистический смысл Иисусовой молитвы – обращения к Богу, много раз повторяющего его имя (напомню сказанное об этой молитве героями Сэлинджера во «Фрэнни и Зуи»). Так стало возрождаться учение *имябожия* или *имяславия*, восходящее к Византии и к еще более раннему времени (*имяславие* – словосложение древнее, едва ли в конечном счете не из индоевропейского мифопоэтического словаря более чем четырехтысячелетней давности). Вера в действенность этой молитвы и в силу Божьего имени росла и распространялась среди русского монашества на Афоне. Российский священный Синод откликнулся в духе страшной российской государственности – в 1913 году особым решением Синода увлечение *имябожием* было объявлено ересью. К берегам Греции отправили два русских военных судна (как утверждают, с ведома императора). Этой боевой мощи хватило на то, чтобы после настоящей бойни арестовать сотню еретиков (потом общее

число монахов-имябожцев в заключении достигает тысячи, – а продолжали их преследовать и в советское время, когда власти расправились и с их поселениями на Кавказе). Споры вокруг имябожцев и их противников – *имяборцев* не утихают. Мандельштам на эту тему задумывался давно. «Божье имя» вылетает из его груди еще в раннем стихотворении:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится.
И пустая клетка позади.

Имя, его значение и роль становятся чуть ли не главными темами Мандельштама. В этом Мандельштам оказывается созвучным другим крупнейшим фигурам русской культуры первой половины XX века. Многие историки мысли думают, что самый значительный вклад в мировое интеллектуальное развитие в XX веке был внесен группой русских математиков и философов – Н. Н. Лузиным, Д. Ф. Егоровым, П. А. Флоренским, А. Ф. Лосевым. Только сейчас мировая наука начинает осознавать величие сделанного и задуманного этими лучшими людьми русской культуры в те годы. Всех их с Мандельштамом объединяет увлечение проблемой имени в широком религиозно-философском смысле. Мандельштам, ссылаясь на введенное тогда понятие фонемы как «звукового представления», пробует дать описание слова в целом как «словесного представления». «Словесное представление – сложный комплекс явлений, связь, “система”. Значимость слова можно рассматривать, как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре, и обратно, звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутрь значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре». Здесь (как позже в продолжении этих мыслей в «Разговоре о Данте») можно видеть окончательное мандельштамовское решение той проблемы, которую он начал обдумывать в молодости, слушая чтение «Улялюм» Эдгара По:

Значенье – суета, и слово – только шум,
Когда фонетика – служанка серафима.

Последняя строфа приведенного выше стихотворения об имябожцах посвящена именам любимых женщин.

Прощальные стихи Марине Цветаевой кончаются строками:

Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

Из многих стихов Мандельштама, в которых видна роль имени как словесного представления, кажется особенно показательным двучастное построение, посвященное княгине Саломее Андрониковой. В этих двух стихотворениях возникает цепочка имен – «блаженных слов», которым поэт «научился»:

Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.

Соломинка – переделанное поэтом салонное прозвище княгини Соломка. Варианты имени княгини и созвучных с ними слов Мандельштам соединяет и с той соломинкой, через которую в только что перед тем вышедшей трагикомедии Хлебникова «Ошибка Смерти» (Мандельштамом названной «трагической буффонадой») Барышня Смерть пьет темный красный вишневый сок вместе с двенадцатью гостями. У Мандельштама в его стихах о Соломинке в декабре «Двенадцать месяцев поют о смертном часе» – год кончается:

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.

...А та – Соломинка, быть может – Саломея...

В один ряд с этими вариантами имен адресата стихотворения поставлены литературные персонажи – из Эдгара По (Ленор, Лигейя) и из Бальзака (Серафита – образ андрогина, навеянный шведским мистиком Сведенборгом). Мандельштаму, вероятно, сопоставление этих имен эфирных бесплотных женщин запомнилось по недавно перед тем переведенной статье Теофиля Готье о Бодлере. Но он отдельно называет дважды Лигейю – удивительно умную и прекрасную героиню рассказа По, которой суждено рано умереть и загадочным образом через посредство другой женщины воскреснуть: она в стихах появляется еще и в таких сочетаниях:

Нет, не Соломинка – Лигейя, умиранье, –
Я научился вам, блаженные слова.

В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.

В рассказе По Лигейя как бы ожила в комнате, в углу которой стояли древнеегипетские саркофаги (из Луксора). В приведенных стихах умиранье, как в буффонаде Хлебникова, отнесено к декабрьской смене месяцев и (неназываемому) Рождеству и Новому Году. Но при этом центральным именем оказывается Лигейя, у По умирающая не символической календарной смертью, как в этом стихотворении, а вполне общечеловеческой.

Кажется, что «блаженная любовь» умирающей (и воскресающей, что подразумевается и прямо в стихах не сказано) Лигейи связана с тем, что и имя ее – из числа «блаженных слов». А в стихах о советской ночи «блаженное слово» сочетается с «блаженными женами» – их очами, плечами, руками. Их руки соберут «легкий пепел». Последнее предсказание сбылось, когда руки Надежды Яковлевны сперва прятали архив поэта, потом начали помогать его разбирать.

По поводу таких имен, как Лигейя, нужно сказать, что за последние полвека в большом числе работ, появившихся и у нас, и за рубежом, много сделано для раскрытия подобных намеков и ссылок на предшественников у Мандельштама. Мы теперь лучше понимаем «Мандельштама как читателя» (самых разнообразных сочинений; это название одного из исследований на эту тему – «Mandelstam the Reader»). Но совсем не кажется необходимым обременять всеми этими находками, как бы ни занимали они специалистов, читателя, приступающего к чтению его стихов. К некоторым из имен или слов и словосочетаний, исследованных мандельштамоведами, ими найдены десятки параллелей. Сам он заметил, что поэзия может быть обратна эрудиции. Попробуем следовать этому совету, не соблазняясь всем богатством, раскрытым учеными.

Вероятно, неслучайно то, что из числа четырех «блаженных слов» в цитированных стихах, посвященных Андрониковой, два – имена героинь Эдгара По. Впервые именно слушание его «Улялюм» заставило совсем молодого Мандельштама задуматься о бессмысленности имени (об этом речь идет в приведенных выше стихах): фонетика По и основанного им символизма была «служанкой серафима», Мандельштам полагал,

что в лучших стихах Бальмонта «он извлекает из русского языка звуки иностранной, какой-то серафической фонетики». О себе самом поэт потом признается:

Сначала думал я, что имя – серафим,
И тела легкого дичился,
Немного дней прошло, и я смешался с ним
И в милой тени растворился.

«Блаженное слово» в стихах о черном бархате советской ночи оказывается бессмысленным. В это время Мандельштам увлекается заумью Хлебникова. Его собственная песенка, начавшись под звездным небом, прощается с другой частью сочиненного и отправляется в «заумный сон» («Сеновал»).

Стихи двадцатых годов продолжают начатый Мандельштамом до этого ритмический эксперимент. В одном из ранних стихотворений он спрашивает:

Отчего душа – так певуча,
И так мало милых имен,
И мгновенный ритм – только случай,
Неожиданный Аквилон?

Он больше других в это время способствовал богатству русских поэтических размеров и их использования. Он пишет самыми разнообразными размерами, в том числе и такими, каких до него в русской поэзии не было. Одним из первых пробует писать свободным стихом, без явной метрической схемы, со скрытой звуковой перекличкой слов и строк. Так написан и его «Нашедший подкову», как он поясняет, в духе крайне усложненых стихов древнегреческого поэта Пиндара (у последнего В. Н. Топоров и вслед за ним другие современные исследователи, как К. Уоткинс, увидели в этой образности след древнейших поэтических приемов).

7

Гумилеву, а с ним и многим другим казалось, что окончательный переход Мандельштама от поэтической символистской игры священными знаками к наглядным конкретным словесным образам был ознаменован шестистишием, содержавшим спор с одним из самых любимых его поэтов – Батюшковым:

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:
«Который час?» – его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «вечность».

Но спустя девять лет после этого – в 1921 году – Мандельштам пишет стихотворение, в котором, на мой взгляд, с особой силой выражено его новое бесстрашное видение мира (включая звезды, с которыми, как Кант, он никогда не расставался) и всех предметов в нем:

Умывался ночью на дворе –
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч – как соль на топоре,
Стынет бочка с полными краями.

На замок закрыты ворота́
И земля по совести сурова, –
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда
И земля правдивей и страшнее.

Биографы установили подлинность деталей – в тифлисском доме, где останавливался Мандельштам, водопровод не работал. Воду привозили в бочках, Мандельштамы с Украины в Грузию привезли с собой и грубое домотканное полотенце.[1] Но даже если бы мы всего этого не знали, мы бы все равно прониклись тем ощущением подлинности переживания, которое исходит от стихотворения. Домашний эллинизм, соединение простых предметов быта со светом звезд здесь доведено до совершенства. Чего стоит одно сравнение звездного луча с солью на топоре! Что только ни писал Мандельштам о звездах: звезда опускалась ему в сердце длинной булавкой. В изумительных стихах о гибели Петрополя (Петербурга) зеленая звезда мерцает на страшной высоте. В воспоминании о музыке на вокзале вопреки Лермонтову «ни одна звезда не говорит». А в этом стихотворении все стало проще и поэтому еще страшнее, как будущее поэта и тогдашних его читателей.

Приобретенное умение писать о существенном и только самые главные вещи сказалось преимущественно в стихах, написанных после большого перерыва. С середины 1920-х

[1] Мандельштам Н. Я. Книга третья. Париж, 1987. С. 49.

годов, как и у нескольких других больших поэтов (у Пастернака, Ахматовой, Маяковского; Есенин в это время кончает с собой), у Мандельштама наступает пауза в стихотворчестве. Он продолжает писать статьи, издает сборник статей и книжки прозы.

Мандельштам – редкий пример писателя (притом – лирического поэта, у которого мы меньше всего ожидаем встретить это свойство), на каждом этапе своего творчества формулировавшего свое теоретическое credo. Он изложил свои исходные позиции в поэзии сперва в статьях времени начала акмеизма, потом в серии статей 1920-х годов, под конец – в «Разговоре о Данте». О прозе он высказывался сперва в статьях сразу после гражданской войны, позднее – после своей интенсивной работы над ней.

Любопытно, что литературоведы вместо благодарности автору, как бы старавшемуся облегчить их будущую работу, часто относились к мандельштамовским теоретическим построениям как к посягательствам на свою область. Как бы стараясь не замечать его текстов, они предпочитали плести собственную отсебятину, выдумывая несуществовавшие у него намерения. Попробуем все же вернуться к его поэтике, как он сам ее понимал.

Первые размышления о путях писания прозы у Мандельштама появляются сразу после конца гражданской войны, снабдившей его материалом для первых автобиографических документальных рассказов. В это время Мандельштам присматривается к началу работы группы молодых писателей – «Серапионовых братьев». Он дружит с младшим из них – Львом Лунцем, как он сам, филологом – романистом (в это время Мандельштам возвращается к этой ранней своей специальности, в собственном духе переводя старофранцузский эпос и при этом экспериментируя с ритмом русского стихотворного переложения). Лунц и Мандельштам во многом совпадают в своих статьях – им представляется важным формалистическое различение сюжета и фабулы, жизненного материала произведения и его литературной обработки (впервые введенное В. Б. Шкловским, всю жизнь с Мандельштамом дружившим). Соотношением этих основных понятий определится будущее русской прозы.

Свое окончательное суждение, относящееся и в целом к мировой литературе и всемирной истории, Мандельштам выскажет позднее – в статье «Конец романа», всю пророческую

силу которой литературоведы (раньше всего западные) почувствовали лишь спустя несколько десятилетий. Мандельштам начинает с оценки исторических предпосылок появления романов Бальзака и Стендаля. В них речь идет о молодом человеке, который сам строит свою карьеру, вокруг создаваемой им самим биографии строится сюжет. Такого теперь не может быть, утверждает Мандельштам. В наш век – люди – как бильярдные шары, которых в лузу забрасывает чужая воля. Поэтому роман перестает существовать: по Мандельштаму последний из них – «Жан-Кристоф» Роллана.

Присмотримся к обеим частям этого утверждения и к его проекции на современность. Первое – степень несвободы в двадцатом и двадцать первом веках. Спору нет, ее градус возрос, среди массы, к которой обращена современная культура не романов, а сериалов (сериалы оживляют уже нечитаемые романы, как видно на примере «Идиота»), число личностей невелико. Но они все же были в предыдущем веке и в виде исключения попадаются в нашем (в принципе безындивидуальном, усредняющем, обезличивающем). Был личностью сам Мандельштам и доказал это своей поэзией. Но реалистический роман трудно строить на исключениях, тогда он приобретет романтические или фантастические формы (что мы видим в «Докторе Живаго», где поэтому оказалась необходимой и последняя часть со стихами доктора, и в «Мастере и Маргарите»). Второе – зависимость искусства от внешней среды. В поэзии Мандельштам был мастером гармонии, от злобы дня не зависящей. В прозе ему казалось, что сами законы сюжетосложения определяются социальными обстоятельствами.

Если ранние примеры прозы воспоминаний в «Шуме времени» целиком подчинены фабуле, взятой из прошедших лет жизни тогда еще совсем молодого поэта, то в «Египетской марке» Мандельштам выступает в роли экспериментатора, пробующего создать новую разновидность прозы – бессюжетную, строящуюся на комбинации фрагментов. Родоначальником такой прозы в России был Розанов, высоко ценимый Мандельштамом. Его приемы разбирал Шкловский, создавший теорию русской бессюжетной прозы. Шкловский показывает, что у Розанова в бессюжетной книге есть несколько основных линий, на которые нанизываются куски, на первый взгляд друг с другом не соединенные. Полное отсутствие связности текста Шкловским отрицается.

Мандельштам идет по этому пути. Сперва может показаться, что его прозаический текст распадается на разрозненные части. Мандельштам сам об этом заявляет. Он говорит о монтаже фрагментов как о принципе, которому он следует, как бы опираясь на пушкинские рисунки, которые в те годы начинали привлекать все большее внимание (вскоре о них напишет Эфрос):

Я не боюсь бессвязности и разрывов.
Стригу бумагу длинными ножницами.
Подклеиваю ленточки бахромкой.
Рукопись – всегда буря, истрепанная, исклеванная.
Она – черновик сонаты.
Марать – лучше, чем писать.
Не боюсь швов и желтизны клея.
Портняжу, бездельничаю.
Рисую Марата в чулке.
Стрижей.

Будущее книги определится этими отступлениями:

«Уничтожайте рукописи, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку от скуки, от неумения и как бы во сне. Эти второстепенные и мимовольные создания вашей фантазии не пропадут в мире, но тотчас рассядутся за теневые пюпитры, как третьи скрипки Мариинской оперы, и в благодарность своему творцу тут же заварят увертюру к “Леноре” или к “Эгмонту” Бетховена».

Но, присмотревшись, мы видим две главные части фабулы. Обе вокруг главного героя – Парнока. В первой истории, буффонадной или карнавальной, он выглядит тем самым бильярдным шаром. Ему не вернули взятые для стирки и специально для него сшитые вещи. Он ничего не смог сделать, чтобы их вернуть. И так и не объяснился с Кржижановским, которому достались его лучшие рубашки и визитка. Все это осталось в неосуществленных его надеждах.

Но есть и вторая, вполне серьезная часть фабулы. Толпа схватила человека, обвиненного (возможно несправедливо) в воровстве. Его собираются утопить в Фонтанке. Парнок хочет остановить самосуд. Он пробует добиться чьего-то вмешательства, мечется, звонит по телефону:

«Петербург объявил себя Нероном и был так мерзок, словно ел похлебку из раздавленных мух.

Однако он звонил из аптеки, звонил в милицию, звонил правительству – исчезнувшему, уснувшему, как окунь, государству.

С тем же успехом он мог бы звонить к Прозерпине или к Персефоне, куда телефон еще не проведен».

Главный упрек Мандельштама Временному правительству – его не было, оно уснуло. Большевики и левые эсеры (части которых Мандельштам, как и многие другие ведущие писатели, симпатизировал) взяли власть потому, что она была без присмотра.

В той мере, в какой «Египетская марка» содержит историческую фабулу, – это рассказ о невозможности продолжить честное существование в городе, где наступила полная анархия.

В прозе начинается господство бреда и абсурда:

«Страшно подумать, что наша жизнь – это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда». Совпадение с шекспировским эпиграфом к «Шуму и ярости» Фолкнера и с самой этой вешью, написанной несколькими годами позже, кажется разительным. Почему Фолкнер, угадавший необходимость как бы хаотического бреда в современной прозе, прославился и стал Нобелевским лауреатом, а Мандельштама как прозаика по сути до сих пор еше не открыли?

Фолкнер шел на компромиссы, к последующим изданиям книги, в которой движение сюжета во времени противоречит следованию событий в реальной фабуле, приложил для удобства читателей хронологическую таблицу. Мандельштам был несговорчив, его проза осталась непримиримо абсурдной, как писавшиеся в то же время вещи Арто, тоже долго дожидавшегося признания (товарищ Арто по сюрреализму Арагон, оправдывая бессюжетность прозы, ссылался на те же отступления Пушкина в «Онегине» и был допущен в литературу неотверженных).

Самой крайней по высказанным в ней взглядам на литературу вещью Мандельштама была его «Четвертая проза». В еще большей степени, чем «Египетская марка», она посвящена самой литературе. И суждения, в ней высказанные, более чем радикальны: «все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это

мразь, вторые – ворованный воздух». И все же большинство писателей повинно в создании разрешенного. «Это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, изгнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям вершить расправу над обреченными».

В начале вещи, построенной из фрагментов гротескных зарисовок только что случившегося с автором, продолжается начатая в «Египетской марке» тема самосуда и возможности вопреки всему остановить расправу. Мандельштам с помощью Бухарина добился отмены смертного приговора пятерым людям, за которых поначалу хлопотал Веньямин Федорович Каган. Ему посвящены первые страницы «Четвертой прозы». Мандельштам приводит строку незадолго до того погибшего Есенина, которую считает чудесной:

«Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого как от наваждения рассыпется рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих, он полозьями пышет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

...не расстреливал несчастных по темницам.

Вот символ веры, вот поэтический канон настоящего писателя – смертельного врага литературы».

«Четвертая проза» объясняет, почему Мандельштам написал стихотворение против Сталина и «За гремучую доблесть грядущих веков...». Он был по существу единственным писателем, решившимся противостоять диктатору, только что взявшему всю полноту власти. Он был единственным, написавшим стихи о голоде, убивавшем крестьянство («Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым...»).

Его поведение значимо само по себе. И в нем содержится осуждение всех тех, кто в это же время занимался разрешенными сочинениями. Когда будет написана подлинная история русской литературы советского времени, в ней отчетливой станет степень полной его изоляции. Его пощечина Алексею Толстому, какими бы сугубо личными мотивами, вызванными особенностями молодой Надежды Яковлевны, она ни диктова-

лась, имела значение гораздо более общее. Мандельштам всему обществу дал урок громко звучавшего неповиновения.

Как следует отнестись к последующему? Понятно, что после приступа безумия и попытки самоубийства Мандельштам, переведенный из Чердыни в Воронеж, не мог не соблюдать осторожности. Но что делать с отдельными строками, а потом и целыми стихотворениями, звучащими примирительно, и с Одой, посвященной Сталину? Скажу честно, мне не по душе многое, по этому поводу написанное, даже и людьми вполне заслуживающими уважения. Есть несколько похожих случаев. Попав надолго в тюрьму, перед гибелью прославить Сталина пытались некоторые знавшие ему цену видные политические деятели и ученые – Бухарин, Кондратьев. Нужна еще слабо развитая социальная психиатрия для того, чтобы разобраться в этом феномене. Пастернак мне говорил, что, когда после Воронежа Мандельштам приехал к нему доказывать, что он, Пастернак, недооценивает Сталина, тот производил впечатление умалишенного. Клиническую сторону этого можно изучать, но к истории литературы отношения это уже не имеет. Поэты изготовлены из очень слабо защищенного эфирного материала, часто делающего их земное существование просто невозможным. Если не удается погибнуть на дуэли или покончить с собой, не знающий иного способа спасения организм выбирает выход сумашествия («Не дай мне Бог сойти с ума», – беспокоился Пушкин). «Может быть, это точка безумия», – скажет Мандельштам в Воронеже. Может быть...

8

Перед арестом – сперва на Кавказе, в Армении, потом в Ленинграде и в Москве – к Мандельштаму вернулось пропадавшее на несколько лет поэтическое вдохновение. В лучших из написанных в то время стихов угадываются будущие несчастья, на которые в какой-то мере он сам себя обрекает сознательно, понимая весь ужас наступающего, как в обращении к жене :

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом –

Да, видно, нельзя никак...

Как и в других стихах этого времени, поражает изменение поэтического словаря. Если в предшествующий период Мандельштам продолжал старую русскую традицию высокого штиля лирической поэзии (в какой-то степени усиленную символистами), пусть и наполняя слова более конкретным образным содержанием, то теперь слог меняется. В части стихов на поэте была тогда эллинистическая маска. Пусть прекрасная, все же маска – и из древности. Теперь она сорвана. Слова сплошь берутся из обыденной речи. В статьях начала 1920-х Мандельштам отмечает наступающее «обмирщение» поэтического словаря, ссылаясь на опыт увлекшего его в ту пору Хлебникова и Пастернака времени «Сестры моей – жизни»[1]. Но тогда сам Мандельштам еще сохранял (хотя бы в части стихов, особенно историософских и религиозно-философских) навыки торжественного, несколько старомодного поэтического словаря. Отдельные словарные новшества, которые тогда Мандельштам из стихов Пастернака перенес в свои, выглядели еще необязательными, как «запорошит» в «Сеновале» (взятое из одного из стихотворений «Сестры моей – жизни» «Степь» – «Как были те выходы в тишь хороши», где оно рифмуется с «парашют», что для Мандельштама было бы невозможно). Традиционных возвышенных слов нет теперь и в помине. И образы становятся домашними вместе со словами – ореховый пирог, скворец. Мандельштам говорит на том самом ежедневном языке, который он услышал в «Сестре моей – жизни». Теперь он сам пишет куда более вольным слогом, чем Пастернак, временами начинающий тяготеть к повторению классических и символистских образцов.

Из лучших стихов того времени (самого начала 1930-х годов) самые в этом смысле новаторские были связанные с детскими воспоминаниями – и одновременно с худшими ожиданиями в настоящем:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда – так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

[1] В частности в статье «Vulgata» (1923).

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

И для намеков на петербургское детство, и для картины тогдашнего прозябания Мандельштама в чужом доме найдены обороты из современного языка. Былой торжественности стихов о наступающей гибели Петрополя – брата «воды и неба» нет и в помине. Погибнуть остается самому поэту, и слова находятся для этого самые обычные. Мандельштам одним из первых заговорил на том естественном языке, в котором нуждалась русская поэзия. В своих статьях о поэзии великий английский (по происхождению американский) поэт Т. С. Элиот говорил, что все большие языки Европы нуждаются в том, чтобы поэты в момент окостеневания традиционного стиля оживили речь, сделали ее снова доступной для всех. О том же писал и Мандельштам в уже упомянутой статье по поводу Пастернака и Хлебникова. В своих стихах позднего периода он эту задачу выполнил.

В стихах о Востоке без приторных излишеств, обращаясь к русской истории внутри армянской:

Были мы люди, а стали людье,
И суждено – по какому разряду? –
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.

Историки русского языка полагают,что древнерусское собирательное «людие» было обозначением категории вообще человеческих существ, внутри которой отдельные индивиды не выделялись. Эти слова использованы Мандельштамом с пониманием их старого значения, но уже в новом контексте. А эрзерумский виноград в это время казался уже лишней роскошью:

Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
Я не хочу твоего замороженного винограда!

Из высших достижений времени перед самым арестом – цикл мандельштамовских восьмистиший, излагающих его заветные мысли о первичности того внутреннего мира подлинных сущностей-прототипов созданного культурой, которые ему с его редким для писателя того времени настоящим демократизмом и полным отсутствием снобизма мыслились как созвучные пульсу толпы:

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гёте, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.

Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Мандельштам был потрясен смертью Андрея Белого, с которым провел много времени в разговорах в предшествующее лето в Коктебеле, когда, вероятно, полностью впервые оценил его гениальность. В стихах о Белом открывается картина будущего его признания:

Меж тобой и страной ледяная рождается связь –
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.

Да не спросят тебя молодые, грядущие – те,
Каково тебе там – в пустоте, в чистоте-сироте...

Незадолго до ареста Мандельштам написал свой большой трактат о поэзии «Разговор о Данте». Среди других черт Данте-стихотворца, которые он считал себе близкими, было умение сплавить вместе звуковые оболочки слов (фонемные цепочки) и их значение. В воронежских стихах мы находим удивительные примеры этого искусства. Напомню стихотворение, тема которого – имя места ссылки поэта, города Воронеж:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож...

Во всей мировой поэзии есть немного стихов с такой взаимослитностью звучания и значения (мне вспоминается одно непереводимое стихотворение Виллона, обращенное к знакомой, имя которой Jenin L'Avenu определяет все звуки стихотворения). В современной науке стало популярным исследование подобных анаграмм – стихов, построенных целиком

из звуков одного главного слова, ключевого. У Мандельштама в анаграммах слова подбираются не просто по звучанию, но и по смыслу. В приведенном четверостишии это касается и глаголов, каждый из которых обозначает одну из возможностей продолжения или катастрофического обрыва жизни поэта, и существительных, заимствованных из словаря, эмоционально мрачно окрашенного (как ворон, по тем временам еще ассоциировавшийся и с тюремной машиной – «черным вороном»). В стихотворении «Это какая улица...» обыгрывается фамилия поэта, раскладывающаяся на значимые отрицательные характеристики с точки зрения его недругов:

...Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного...

Во многих стихотворениях раскрывается судьба и уверенность в себе опального поэта:

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета –
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

В стихах обозначен и путь, по которому он не пойдет – примирения:

Еше не умер ты. Еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В раскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен –
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И жалок тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.

Неоднократно он соразмеряет себя с Данте:

Где больше неба мне – там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

Об этом же – в сопоставлении Мандельштама в Петербурге (и в Царском Селе, где лебеди) и Данте во Флоренции до изгнания:

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Так гранит могильный тот
Тень моя грызет очами,
Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами,

Или тень баклуши бьет
И позевывает с вами,

Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,

И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей...

Большинство стихотворений, вошедших в воронежские тетради, представляют собой зарисовки с натуры, пейзажи, портреты (включая и автопортреты).

Из портретов особенно замечательны стихи, посвященные Н. Штемпель:

Есть женщины сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье.
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно...

Отмеченное выше по другому поводу сходство со стихами Рильке (не объясняемое влияниями, а идущее от сходства глубокого взгляда на вещи) особенно впечатляет. Если верна мысль о том, что значимость поэта определяется написанным им о женщине, то именно эти два имени достойны стоять рядом в перечне лучшего в поэзии прошлого века.

Во время ссылки Мандельштаму открывается мир среднерусских равнин, и он торопится его запечатлеть, вставив в него и свою судьбу без прикрас. Изображаемые модели могут быть разнообразны. Одно из лучших стихотворений обращено к щеглу. Но начинается оно с обычного жеста самого поэта, за-

прокидывающего голову. И он предлагает щеглу разделить с собой пиршество взгляда на мир. Глядят в оба они одинаково. Улетать может только щегол (Мандельштам – пленная птица, еще одна анаграмма: «Я около Кольцова / Как сокол закольцован»):

Мой шегол, я голову закину –
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоем?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?

Что за воздух у него в надлобьи –
Черн и красен, желт и бел!
В обе стороны он в оба смотрит – в обе!
Не посмотрит – улетел!

В поздних стихах Мандельштама меня больше всего поражает буйство жизнеутверждения. Красочный мир рвется к нему, жаждет быть изображенным, и Мандельштам находит, изобретает, открывает новые краски и ритмы для этого изображения. Одно из самых последних дошедших до нас стихотворений – о Волге и ее берегах и о красоте женшины, которой посвящены стихи: эта «чернобровая» «галочья красота» вроде как бы досталась еще царю Алексею Михайловичу «от индейского раджи». Под стать этой неожиданной старорусской родословной красоте вполне новый ритм (навеянный народным русским стихом), который Мандельштам пробует ввести в русскую поэзию в этом стихотворении.

В Воронежских тетрадях и после них встречаются среди поздних стихов Мандельштама образцы такой незамутненной ничем сверхъясной поэзии, что я готов поверить в любые предположения о какой-то чудодейственной силе, которая могла вызвать такие поразительно гармоничные строки у немолодого и не очень благополучного человека в самые страшные годы террора, ему угрожавшего.

Вот как он описывает свои желания:

О, как же я хочу,
Нечуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись –
Другого счастья нет –
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

А я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шепотом лучу
Тебя, дитя, вручу.

Мандельштаму звездные уроки явно шли на пользу. Он научился не только блаженным словам и их сочетаниям в шепоте. Звукопись только что приведенного стихотворения с его рифмами и внутренними созвучиями (*хочу – нечуемый – лучу – кругу – лучись – другого – учись – тому – хочу – шепчу – лучу – вручу*) переводит в сферу словесной музыки. Мандельштам знает смысл своего шепота – в нем на Земле сохраняется небо. Оказывается, для этого требовался весь опыт жизни – чтобы небо уже сейчас было у него здесь, в его распоряжении:

Я скажу это начерно, шепотом –
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра...

И под временым небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище –
Раздвижной и прижизненный дом.

Стихи написаны весной 1937-го года. Жить под временным небом оставалось уже недолго. Из чистилища перемещали в ад лагеря и дальше.

9

О наступающем мраке Мандельштам обычно узнает и пишет заранее: так он предвидел в нескольких стихах окончание петербургской высокой культуры и судьбу ее создателей. Но на этот раз ощущение касалось всего мира, всех людей. Возможность чудовищного обрыва, движения вспять открылась Мандельштаму уже в начале 1930-х годов. Он увлекается историей биологии. Среди натуралистов обращает внимание особенно на Ламарка. Ему (как и некоторым писателям, близким к сюрреалистам – Кёно в тогда же писавшемся романе) особенно созвучна идея вероятного опускания, движения

вниз по эволюционной лестнице. Отсюда интерес к Ламарку, которому посвящается целое стихотворение Мандельштама. О сути ламарковского взгляда в главе «Вокруг натуралистов» (в прозаическом «Путешествии в Армению») Мандельштам скажет: «Низшие формы органического бытия – ад для человека... Ламарк чувствует провалы между классами. Он слышит синкопы и паузы эволюционного ряда». В стихотворении о Ламарке эта чудовищная возможность реализуется на самом для Мандельштама значимом материале – музыке:

Он сказал: довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны...

Величину этого грозящего провала Мандельштам почувствовал и попробовал написать в натуральную величину в одном из самых удивительных произведений конца воронежского ссылочного времени – «Стихах о неизвестном солдате».

Мне кажется, что это – одно из главных произведений всей мировой поэзии прошлого века, как «Опустошенная земля» Т. С. Элиота. Основные черты прошедшего столетия (надеюсь, не теперешнего) выражены в них с силой, не знающей себе равных. Это стихи о двух мировых войнах, особенно о второй из них (Мандельштам до нее не дожил – умер за год до ее начала) с ее ядерным эпилогом. Стихи об угрозе всему человечеству и его интеллекту – ноосфере. И эти темы, и формы выражения их, совершенно адекватные, делают стихи на самом деле бессмертными. Это – как «Герника» Пикассо.

В начале упомянута «знаменитая» могила Неизвестного солдата. Но основные события описываются в будущем времени. В этом будущем согласно одному из многочисленных (и важных для понимания) вариантов произведения «зренье пророка смертей» угадывает немыслимый свет – тот самый, который будет исходить от атомных взрывов. Он заключен уже в релятивистском уравнении, сделавшем его возможным:

Сквозь эфир, десятично-означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозраченный
Светлой болью и молью нулей...

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей –
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

То, что «зренье пророка» увидело и эйнштейновское уравнение, и его претворение в бомбах, взорванных в Нагасаки и Хиросиме, не подлежит сомнению. В России возможность атомной бомбы еще в начале 1920-х годов предвидели несколько проницательных людей, об этом писавших – Андрей Белый, Хлебников, Вернадский. У Мандельштама есть больше – впечатление от невыносимого света той битвы, где будет применено новое оружие. Оно унесет миллионы жизней. Оставшиеся в живых будут искалечены:

Хорошо умирает пехота
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека –
Им обоим найдется работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка –
Эй, товарищество, – шар земной!

Мировая война и всемирное уничтожение страшны не сами по себе. Они убивают главное – возможности развития ума человека. Правы ученые (как Ханзен-Лёве), увидевшие в мотиве черепа в этих стихах Мандельштама влияние Хлебникова. Оно шире образа черепа. Хлебников так же ненавидел войну. Так же считал главной задачей прекращение всех войн.

В произведении Мандельштама есть трагизм исторической необходимости. Он вынужден находиться в это время в этом веке, перед провалом («сильнее наших сил»), понимая всю чудовищность происходящего и жертвуя собой:

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный –
Эта слава другим не в пример.

И сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

В нарисованной им картине уничтожения на земле мыслящего человека и его разума Мандельштам видит судьбу своего поколения, тех, кто через несколько лет после написания стихов в начале Второй мировой войны еще попадал под призывной возраст:

Напрягаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом...
– Я рожден в девяносто втором...
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья, с гурьбой и гуртом,
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.

Здесь замечателен образ целого поколения, отдельные реплики представителей которого вставлены в текст. Говорит уже не один поэт, а все родившиеся в эти годы, те, кто может совсем скоро погибнуть или вернуться с войны калекой.

10

Что из Мандельштама перейдет в наше будущее? Я думаю, стихи. Образ поэта, не изменившего высокому племени людей. Проза, где речь идет о неудачных и удачных попытках спасения людей, которым грозит расправа. Проницательные размышления и прозрения, касающиеся грядущего России, Европы и всего человечества. В каждый из быстро сменявшихся исторических периодов, которых хватило на его жизнь, Мандельштам старался осознать происходившее и то,что оно сулит.

В первый период, сразу после его собственных путешествий по Европе и первых занятий ее историей, Мандельштам приходит к полному отрицанию того, что он назовет «национальным мессианизмом» – национальной идеей страны, думающей только о своем величии. В таких идеях и их распространенности Мандельштаму видится главная причина Первой мировой войны. После нее возникает естественное отрицание исключительных национальных идей и тяга к признанию общеевропейского единства. Мандельштам не знал, что опасный рецидив германского мессианизма в его нацистской оболочке

вызовет вторую мировую войну. Но то, что сама эта идея чревата будущими катастрофами, было ему очевидно, как и необходимость общеевропейского сознания, альтернативного по отношению к этой национальной исключительности:

«Всякая национальная идея в современной Европе обречена на ничтожество, пока Европа не обретет себя как нравственную личность. Вне общего, материнского европейского сознания невозможна никакая малая народность... “Чувство” Европы, глухое, подавленное, угнетенное войнами и гражданскими распрями, возвращается в круг действующих рабочих идей. Россия сохранила это чувство для Европы подспудно и ревностно, она разжигала этот огонь заранее, как бы тревожась, что он может загаснуть». Три имени из русской истории культуры для Мандельштама воплощают этот дар. Прежде всего Герцен – не столько даже в его сочинениях, сколько во всем, что он сделал, в его биографии: «Вспомним Герцена, не мировоззрение его, а его европейскую домовитость, хозяйственность – он бродил по странам Запада как хозяин по огромной родной усадьбе». Фигура Герцена мне представляется здесь особенно важной. Его понимание современной ему России и Европы и их будущего было значимо в его время и остается существенным до сих пор. Я не знаю ни одного из больших русских писателей и мыслителей, кто бы не считался с Герценом тогда и позднее. Именно отношение Герцена к Европе, ее буржуа и социалистам было для последующих русских авторов крайне убедительным и притягательным. Рядом с Герценом среди хранителей европейской идеи в России Мандельштам называет Карамзина и Тютчева. Он имеет в виду не политические стихи последнего, которые теперь мало кто перечитывает, а обрисованные им в пейзажных стихах ландшафты Европы. Как и дружививший с ним Гейне, Тютчев был из совсем новой породы всеевропейских писателей. Таким был и Мандельштам, и Целан, им восхищавшийся и в какой-то мере на него ориентировавшийся (Целан на примере страны своего языка – Германии – дошел до предела ненависти к национальному мессианизму, от увлечения которым предостерегал Мандельштам).

В начале двадцатых годов для Мандельштама небо было «будущим беременно». В этом будушем, в поэтическом описании которого вероятно верно угадывают воздействие видений Хлебникова, главное – соединение всех землян воедино:

Давайте слушать грома проповедь,
Как внуки Себастьяна Баха,
И на востоке и на западе
Органные поставим крылья!
Давайте бросим бури яблоко
На стол пирующим землянам
И на стеклянном блюде облако
Поставим яств посередине.
Давайте всё покроем заново
Камчатной скатертью пространства,
Переговариваясь, радуясь,
Друг другу подавая брашна.
На круговом, на мирном судьбище
Зарею кровь оледенится.
В беременном глубоком будущем
Жужжит большая медуница.

Примерно тогда же, когда писались эти стихи, через несколько лет после конца Первой мировой войны Мандельштам формулирует свое понимание будущего человечества как единого: «Монументальность надвигающейся социальной архитектуры обусловлена ее призванием организовать мировое хозяйство на принципе всемирной домашности на потребу человеку, расширяя круг его домашней свободы до пределов всемирных, раздувая пламя его индивидуального очага до размеров пламени вселенского.

Грядущее холодно и страшно для тех, кто этого не понимает, но внутреннее тепло грядущего, тепло целесообразности, хозяйственности и телеологии, так же ясно для современного гуманиста, как жар накаленной печки сегодняшнего дня».

Необходимость всемирного объединения – сперва хозяйственного, а затем и касающегося других сторон жизни и культуры, сейчас снова осмысляется как единственный разумный выход из тупиков, нагороженных в разных странах нерадивыми распорядителями. Мандельштаму была ясна и единственная остающаяся страшная альтернатива этому разумному выходу: «Если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, оно раздавит человека, как Ассирия и Вавилон».

Сталинская древневосточная диктатура раздавила поэта, послав его на верную гибель в лагерный барак. Но до нас дошло им написанное тогда, когда еще был возможен выбор – пока Германия еще не предпочла нацистский мессианизм Гитлера,

а Россия – тюремную социалистическую одиночку Сталина. Пройдя через все последующие испытания, Европа и весь мир многому бы могли научиться. Учение лучше начать с выводов тех, кто, как Мандельштам, предвидел весь ужас погубившего и самих этих мыслителей всеподавляющего ассиро-вавилонского государства.

Мандельштам говорит нам о том, как заглянуть в глубокое будущее, как сохранить при жизни небохранилище, учась у звезд их лучам. В его стихах для нас как бы уже заготовлены эти запасы нужного всем звездного света, на него струившегося и им уловлявшегося на протяжении всей его жизни. Бензин думают заменить альтернативной по отношению к нефти солнечной энергией. В стихах Мандельштама осуществлена более грандиозная задача – в них претворена в поэтическую форму энергия звездная.

Вяч. Вс. Иванов

К а м е н ь

* * *

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...

1908

* * *

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!

1908

* * *

Из полутемной залы, вдруг,
Ты выскользнула в легкой шали –
Мы никому не помешали,
Мы не будили спящих слуг...

1908

* * *

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Всё большое далёко развеять,
Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.

1908

* * *

Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И всё твое –
От неизбежного.

От неизбежного –
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей.

1909

* * *

На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко, –

Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.

1909

* * *

Есть целомудренные чары:
Высокий лад, глубокий мир;
Далёко от эфирных лир
Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.

Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел!

Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.

1909

* * *

Дано мне тело – что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло,

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть –
Узора милого не зачеркнуть!

1909

* * *

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.

Немного красного вина,
Немного солнечного мая –
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна...

1909

* * *

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

1909

* * *

Когда удар с ударами встречается,
И надо мною роковой
Неутомимый маятник качается
И хочет быть моей судьбой,

Торопится, и грубо остановится,
И упадет веретено, –
И невозможно встретиться, условиться,
И уклониться не дано.

Узоры острые переплетаются,
И всё быстрее и быстрей
Отравленные дротики взвиваются
В руках отважных дикарей;

И вереница стройная уносится
С веселым трепетом, и вдруг –
Одумалась – и прямо в сердце просится
Стрела, описывая круг.

1910

* * *

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.

Ткань, опьяненная собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает лето,
Как бы не тронута зимой;

И если в ледяных алмазах
Струится вечности мороз,
Здесь – трепетание стрекоз
Быстроживущих, синеглазых.

1910

SILENTIUM

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В мутно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немóту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

1910

* * *

Слух чуткий – парус напрягает,
Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста;
Твой мир, болезненный и странный,
Я принимаю, пустота!

1910

* * *

Как тень внезапных облаков
Морская гостья налетела
И, проскользнув, прошелестела
Смущенных мимо берегов.

Огромный парус строго реет;
Смертельно-бледная волна
Отпрянула – и вновь она
Коснуться берега не смеет;

И лодка, волнами шурша,
Как листьями, – уже далёко...
И, принимая ветер рока,
Раскрыла парус свой душа.

1910

* * *

Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

1910

* * *

В огромном омуте прозрачно и темно,
И томное окно белеет;
А сердце, отчего так медленно оно
И так упорно тяжелеет?

То всею тяжестью оно идет ко дну,
Соскучившись по милом иле,
То, как соломинка, минуя глубину,
Наверх всплывает без усилий.

С притворной нежностью у изголовья стой
И сам себя всю жизнь баюкай,
Как небылицею, своей томись тоской
И ласков будь с надменной скукой.

1910

* * *

Душный сумрак кроет ложе,
Напряженно дышит грудь...
Может, мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь.

1910

* * *

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.

А я вверяюсь их заботе.
Мне холодно, я спать хочу;
Подбросило на повороте,
Навстречу звездному лучу.

Горячей головы качанье
И нежный лед руки чужой,
И темных елей очертанья,
Еще не виданные мной.

1911

* * *

Скудный луч, холодной мерою,
Сеет свет в сыром лесу.
Я печаль, как птицу серую,
В сердце медленно несу.

Что мне делать с птицей раненой?
Твердь умолкла, умерла.
С колокольни отуманенной
Кто-то снял колокола,

И стоит осиротелая
И немая вышина –
Как пустая башня белая,
Где туман и тишина.

Утро, нежностью бездонное, –
Полу-явь и полу-сон,
Забытье неутоленное –
Дум туманный перезвон...

1911

* * *

Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и не страшно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.

И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек:
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!

Выстрел грянул. Над озером сонным
Крылья уток теперь тяжелы,
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.

Небо тусклое с отцветом странным –
Мировая туманная боль –
О, позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь!

1911

* * *

Сегодня дурной день:
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень –
Мрачней гробовых плит.

Мелькающих стрел звон
И вещих ворон крик...
Я вижу дурной сон,
За мигом летит миг.

Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть,
И яростный гимн грянь –
Бунтующих тайн медь!

О, маятник душ строг –
Качается глух, прям,
И страстно стучит рок
В запретную дверь, к нам...

1911

* * *

Смутно-дышащими листьями
Черный ветер шелестит,
И трепещущая ласточка
В темном небе круг чертит.

Тихо спорят в сердце ласковом
Умирающем моем
Наступающие сумерки
С догорающим лучом.

И над лесом вечереющим
Встала медная луна;
Отчего так мало музыки
И такая тишина?

1911

* * *

Отчего душа – так певуча,
И так мало милых имен,
И мгновенный ритм – только случай,
Неожиданный Аквилон?

Он подымет облако пыли,
Зашумит бумажной листвой,
И совсем не вернется – или
Он вернется совсем другой...

О широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края –
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».

Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

1911

РАКОВИНА

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.

Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь;
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.

Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей;

И хрупкой раковины стены,
Как нежилого сердца дом,
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем...

1911

* * *

На перламутровый челнок
Натягивая шелка нити,
О пальцы гибкие, начните
Очаровательный урок!

Приливы и отливы рук –
Однообразные движенья,
Ты заклинаешь, без сомненья,
Какой-то солнечный испуг, –

Когда широкая ладонь,
Как раковина, пламенея,
То гаснет, к теням тяготея,
То в розовый уйдет огонь!

1911

* * *

О небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

1911

* * *

Я вздрагиваю от холода –
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото –
Приказывает мне петь.

Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай легкий мяч!

Так вот она – настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!

Что если над модной лавкою
Мерцающая всегда,
Мне в сердце длинной булавкою
Опустится вдруг звезда?

1912

* * *

Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
Здравствуй, мой давний бред –
Башни стрельчатой рост!

Кружевом, камень, будь
И паутиной стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань!

Будет и мой черед –
Чую размах крыла.
Так – но куда уйдет
Мысли живой стрела?

Или, свой путь и срок,
Я, исчерпав, вернусь:
Там – я любить не мог,
Здесь – я любить боюсь...

1912

* * *

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.

1912

* * *

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:
«Который час?» – его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «вечность».

1912

ПЕШЕХОД

М. Л. Лозинскому

Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот;
Я ласточкой доволен в небесах,
И колокольни я люблю полет!

И, кажется, старинный пешеход,
Над пропастью, на гнущихся мостках,
Я слушаю – как снежный ком растет
И вечность бьет на каменных часах.

Когда бы так! Но я не путник тот,
Мелькающий на выцветших листах,
И подлинно во мне печаль поет;

Действительно, лавина есть в горах!
И вся моя душа – в колоколах,
Но музыка от бездны не спасет!

1912

КАЗИНО

Я не поклонник радости предвзятой,
Подчас природа – серое пятно;
Мне, в опьяненьи легком, суждено
Изведать краски жизни небогатой.

Играет ветер тучею косматой,
Ложится якорь на морское дно,
И, бездыханная, как полотно,
Душа висит над бездною проклятой.

Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой;

И, окружен водой зеленоватой,
Когда, как роза, в хрустале вино, –
Люблю следить за чайкою крылатой!

1912

* * *

Паденье – неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни нам бросает с высоты –
И камень отрицает иго праха?

И деревянной поступью монаха
Мощеный двор когда-то мерил ты,
Булыжники и грубые мечты –
В них жажда смерти и тоска размаха...

Так проклят будь, готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут!

Немногие для вечности живут,
Но, если ты мгновенным озабочен,
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!

1912

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Георгию Иванову

Поедем в Царское Село!
Там улыбаются мещанки,
Когда гусары после пьянки
Садятся в крепкое седло...
Поедем в Царское Село!

Казармы, парки и дворцы,
А на деревьях – клочья ваты,
И грянут «здравия» раскаты
На крик «здорово, молодцы!»
Казармы, парки и дворцы...

Одноэтажные дома,
Где однодумы-генералы
Свой коротают век усталый,
Читая «Ниву» и Дюма...
Особняки – а не дома!

Свист паровоза... Едет князь.
В стеклянном павильоне свита!..
И, саблю волоча сердито,
Выходит офицер, кичась, –
Не сомневаюсь – это князь...

И возвращается домой –
Конечно, в царство этикета,
Внушая тайный страх, карета
С мощами фрейлины седой –
Что возвращается домой...

1912

ЗОЛОТОЙ

Целый день сырой осенний воздух
Я вдыхал в смятеньи и тоске;
Я хочу поужинать, и звезды
Золотые в темном кошельке!

И, дрожа от желтого тумана,
Я спустился в маленький подвал –
Я нигде такого ресторана
И такого сброда не видал!

Мелкие чиновники, японцы,
Теоретики чужой казны...
За прилавком щупает червонцы
Человек, – и все они пьяны.

– Будьте так любезны, разменяйте,
Убедительно его прошу, –
Только мне бумажек не давайте –
Трехрублевок я не выношу!

Что мне делать с пьяною оравой?
Как попал сюда я, Боже мой?
Если я на то имею право –
Разменяйте мне мой золотой!

1912

ЛЮТЕРАНИН

Я на прогулке похороны встретил
Близ протестантской кирки, в воскресенье,
Рассеянный прохожий, я заметил
Тех прихожан суровое волненье.

Чужая речь не достигала слуха,
И только упряжь тонкая сияла,
Да мостовая праздничная глухо
Ленивые подковы отражала.

А в эластичном сумраке кареты,
Куда печаль забилась, лицемерка,
Без слов, без слез, скупая на приветы,
Осенних роз мелькнула бутоньерка.

Тянулись иностранцы лентой черной,
И шли пешком заплаканные дамы,
Румянец под вуалью, и упорно
Над ними кучер правил вдаль, упрямый.

Кто б ни был ты, покойный лютеранин,
Тебя легко и просто хоронили,
Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.

И думал я: витийствовать не надо –
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи.

1912

АЙЯ-СОФИЯ

Айя-София – здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи подвешен к небесам.

И всем векам – пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.

Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?

Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон – света торжество,
На парусах, под куполом, четыре
Архангела – прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.

1912

NOTRE DAME

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика – и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб и всюду царь – отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

1912

СТАРИК

Уже светло, поет сирена
В седьмом часу утра.
Старик, похожий на Верлена,
Теперь твоя пора!

В глазах лукавый или детский
Зеленый огонек,
На шею нацепил турецкий
Узорчатый платок.

Он богохульствует, бормочет
Несвязные слова,
Он исповедоваться хочет –
Но согрешить сперва.

Разочарованный рабочий
Иль огорченный мот –
А глаз, подбитый в недрах ночи,
Как радуга цветет.

Так, соблюдая день субботний,
Плетется он – когда
Глядит из каждой подворотни
Веселая беда;

А дома – руганью крылатой,
От ярости бледна, –
Встречает пьяного Сократа
Суровая жена!

1913

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОФЫ

Н. Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна – как броненосец в доке –
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой – посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба –
Онегина старинная тоска,
На площади Сената – вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка.

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход –
Чудак Евгений – бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

1913

* * *

Дев полуночных отвага
И безумных звезд разбег,
Да привяжется бродяга,
Вымогая на ночлег.

Кто, скажите, мне сознанье
Виноградом замутит,
Если явь – Петра созданье,
Медный всадник и гранит?

Слышу с крепости сигналы,
Замечаю, как тепло.
Выстрел пушечный в подвалы,
Вероятно, донесло.

И гораздо глубже бреда
Воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы.

1913

БАХ

Здесь прихожане – дети праха
И доски вместо образов,
Где мелом, Себастьяна Баха
Лишь цифры значатся псалмов.

Разноголосица какая
В трактирах буйных и в церквах,
А ты ликуешь, как Исайя,
О рассудительнейший Бах!

Высокий спорщик, неужели,
Играя внукам свой хорал,
Опору духа в самом деле
Ты в доказательстве искал?

Что звук? Шестнадцатые доли,
Органа многосложный крик –
Лишь воркотня твоя, не боле,
О несговорчивый старик!

И лютеранский проповедник
На черной кафедре своей
С твоими, гневный собеседник,
Мешает звук своих речей!

1913

* * *

В спокойных пригородах снег
Сгребают дворники лопатами;
Я с мужиками бородатыми
Иду, прохожий человек.

Мелькают женщины в платках,
И тявкают дворняжки шалые,
И самоваров розы алые
Горят в трактирах и домах.

1913

* * *

Мы напряженного молчанья не выносим –
Несовершенство душ обидно, наконец!
И в замешательстве уж объявился чтец,
И радостно его приветствовали: «Просим!»

Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо!
Кошмарный человек читает «Улялюм».
Значенье – суета, и слово – только шум,
Когда фонетика – служанка серафима.

О доме Эшеров Эдгара пела арфа.
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк...
И горло греет шелк щекочущего шарфа...

1913

АДМИРАЛТЕЙСТВО

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота – не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря;
И вот разорваны трех измерений узы,
И открываются всемирные моря!

1913

* * *

Заснула чернь. Зияет площадь аркой.
Луной облита бронзовая дверь,
Здесь арлекин вздыхал о славе яркой,
И Александра здесь замучил Зверь.

Курантов бой и тени государей...
Россия, ты, на камне и крови,
Участвовать в твоей железной каре
Хоть тяжестью меня благослови!

1913

* * *

В таверне воровская шайка
Всю ночь играла в домино.
Пришла с яичницей хозяйка,
Монахи выпили вино.

На башне спорили химеры:
Которая из них урод?
А утром проповедник серый
В палатки призывал народ.

На рынке возятся собаки,
Менялы щелкает замок.
У вечности ворует всякий,
А вечность – как морской песок:

Он осыпается с телеги –
Не хватит на мешки рогож –
И, недовольный, о ночлеге
Монах рассказывает ложь!

1913

КИНЕМАТОГРАФ

Кинематограф. Три скамейки.
Сантиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.

Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.

А он скитается в пустыне,
Седого графа сын побочный –
Так начинается лубочный
Роман красавицы-графини.

И в исступленьи, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

В груди доверчивой и слабой
Еще достаточно отваги
Похитить важные бумаги
Для неприятельского штаба.

И по каштановой аллее
Чудовищный мотор несется.
Стрекочет лента, сердце бьется
Тревожнее и веселее.

В дорожном платье, с саквояжем,
В автомобиле и в вагоне,
Она боится лишь погони,
Сухим измучена миражем.

Какая горькая нелепость:
Цель не оправдывает средства!
Ему – отцовское наследство,
А ей – пожизненная крепость!

1913

ТЕННИС

Средь аляповатых дач,
Где шатается шарманка,
Сам собой летает мяч,
Как волшебная приманка.

Кто, смиривший грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,
С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?

Слишком дряхлы струны лир –
Золотой ракеты струны
Укрепил и бросил в мир
Англичанин вечно юный!

Он творит игры обряд,
Так легко вооруженный,
Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный!

Май. Грозóвых туч клочки.
Неживая зелень чахнет.
Всё моторы и гудки –
И сирень бензином пахнет.

Ключевую воду пьет
Из ковша спортсмен веселый;
И опять война идет,
И мелькает локоть голый!

1913

АМЕРИКАНКА

Американка в двадцать лет
Должна добраться до Египта,
Забыв «Титаника» совет,
Что спит на дне мрачнее крипта.

В Америке гудки поют,
И красных небоскребов трубы
Холодным тучам отдают
Свои прокопченные губы.

И в Лувре океана дочь
Стоит, прекрасная, как тополь;
Чтоб мрамор сахарный толочь,
Влезает белкой на Акрополь.

Не понимая ничего,
Читает «Фауста» в вагоне
И сожалеет, отчего
Людовик больше не на троне.

1913

ДОМБИ И СЫН

Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу áнглийский язык –
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.

У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.

Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик Домби-сын;
Веселых клерков каламбуры
Не понимает он один.

В конторе сломанные стулья,
На шиллинги и пенсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.

А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле –
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.

На стороне врагов законы:
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь.

1913

* * *

От легкой жизни мы сошли с ума:
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?

В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи,
Когда речные тяжелеют струи
И фонари, как факелы, горят.

Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.

1913

* * *

Отравлен хлеб и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!

Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.

Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня, – событий
Рассеивается туман;

И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Всё исчезает – остается
Пространство, звезды и певец!

1913

* * *

Летают валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов;
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.

1914

* * *

Поговорим о Риме – дивный град!
Он утвердился купола победой.
Послушаем апостольское credo:
Несется пыль и радуги висят.

На Авентине вечно ждут царя –
Двунадесятых праздников кануны –
И строго-канонические луны
Не могут изменить календаря.

На дольный мир бросает пепел бурый
Над Форумом огромная луна,
И голова моя обнажена –
О, холод католической тонзуры!

1914

* * *

На луне не растет
Ни одной былинки,
На луне весь народ
Делает корзинки –
Из соломы плетет
Легкие корзинки.

На луне – полутьма
И дома опрятней,
На луне не дома –
Просто голубятни,
Голубые дома –
Чудо-голубятни...

1914

АХМАТОВА

Вполоборота – о, печаль! –
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос – горький хмель –
Души расковывает недра:
Так – негодующая Федра –
Стояла некогда Рашель.

1914

* * *

Ни триумфа, ни войны!
О железные, доколе
Безопасный Капитолий
Мы хранить осуждены?

Или римские перуны –
Гнев народа – обманув,
Отдыхает острый клюв
Той ораторской трибуны;

Или возит кирпичи
Солнца дряхлая повозка
И в руках у недоноска
Рима ржавые ключи?

1914

* * *

О временах простых и грубых
Копыта конские твердят,
И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят.

На стук в железные ворота
Привратник, царственно-ленив,
Встал, и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф,

Когда с дряхлеющей любовью,
Мешая в песнях Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью
В походе варварских телег.

1914

* * *

На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг –
И распластался храм Господень,
Как легкий крестовик-паук.

А зодчий не был итальянец,
Но русский в Риме; ну так что ж!
Ты каждый раз, как иностранец,
Сквозь рощу портиков идешь;

И храма маленькое тело
Одушевленнее стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле беспомощно прижат!

1914

* * *

Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера.
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.

Как бы цезурою зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты;
Волы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

1914

* * *

«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.

Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть –
И в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...

Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка –
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.

И боги не ведают – что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.

1914

* * *

Есть ценностей незыблемая ска́ла
Над скучными ошибками веков.
Неправильно наложена опала
На автора возвышенных стихов.

И вслед за тем, как жалкий Сумароков
Пролепетал заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль.

Что делать вам в театре полуслова
И полумаск, герои и цари?
И для меня явленье Озерова –
Последний луч трагической зари.

1914

* * *

Природа – тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.

Природа – тот же Рим! И, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить –
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

1914

* * *

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной –
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари!

1914

* * *

Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?

И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине,
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!

Я получил блаженное наследство –
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет;
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

1914

ЕВРОПА

Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен водой последний материк;
К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.

Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья;
Немного женственны заливов очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга.

Завоевателей исконная земля,
Европа в рубище Священного союза;
Пята Испании, Италии медуза,
И Польша нежная, где нету короля;

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, –
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

1914

ENCYCLICA

Есть обитаемая духом
Свобода – избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел.

И голубь не боится грома,
Которым церковь говорит;
В апостольском созвучьи: Roma!
Он только сердце веселит.

Я повторяю это имя
Под вечным куполом небес,
Хоть говоривший мне о Риме
В священном сумраке исчез!

Сентябрь 1914

ПОСОХ

Посох мой, моя свобода, –
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел;
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.

А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.

Снег растает на утесах –
Солнцем истины палим...
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим!

1914

ОДА БЕТХОВЕНУ

Бывает сердце так сурово,
Что и любя его не тронь!
И в темной комнате глухого
Бетховена горит огонь.
И я не мог твоей, мучитель,
Чрезмерной радости понять –
Уже бросает исполнитель
Испепеленную тетрадь.

....
....
....
Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке,
....
....

С кем можно глубже и полнее
Всю чашу нежности испить;
Кто может, ярче пламенея,
Усилье воли освятить;
Кто по-крестьянски, сын фламандца,
Мир пригласил на ритурнель
И до́ тех пор не кончил танца,
Пока не вышел буйный хмель?

О Дионис, как муж, наивный
И благодарный, как дитя,
Ты перенес свой жребий дивный
То негодуя, то шутя!

С каким глухим негодованьем
Ты собирал с князей оброк
Или с рассеянным вниманьем
На фортепьянный шел урок!

Тебе монашеские кельи –
Всемирной радости приют,
Тебе в пророческом весельи
Огнепоклонники поют;
Огонь пылает в человеке,
Его унять никто не мог.
Тебя назвать не смели греки,
Но чтили, неизвестный бог!

О, величавой жертвы пламя!
Полнеба охватил костер –
И царской скинии над нами
Разодран шелковый шатер.
И в промежутке воспаленном,
Где мы не видим ничего, –
Ты указал в чертоге тронном
На белой славы торжество!

1914

* * *

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо;
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.

1915

* * *

И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.

В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово – чистое веселье,
Исцеленье от тоски!

Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены,
Но от ереси прекрасной
Мы спасаться не должны.

Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь.

1915

* * *

«Hier stehe ich –
ich kann nicht anders...»

«Здесь я стою – я не могу иначе»;
Не просветлеет темная гора –
И кряжистого Лютера незрячий
Витает дух над куполом Петра.

1915

* * *

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе – великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взят в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

И Евхаристия, как вечный полдень, длится –
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

1915

АББАТ

О, спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя –
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля;
Он всё еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи,
Влача остаток власти Рима
Среди колосьев спелой ржи.

Храня молчанье и приличье,
Он должен с нами пить и есть
И прятать в светское обличье
Сияющей тонзуры честь.
Он Цицерона на перине
Читает, отходя ко сну, –
Так птицы на своей латыни
Молились Богу в старину.

Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы
И, говоря со мной, заметил:
«Католиком умрете вы!»
Потом вздохнул: «Как нынче жарко!»
И, разговором утомлен,
Направился к каштанам парка,
В тот замок, где обедал он.

1915

* * *

От вторника и до субботы
Одна пустыня пролегла,
О, длительные перелеты!
Семь тысяч верст – одна стрела.

И ласточки, когда летели
В Египет водяным путем,
Четыре дня они висели,
Не зачерпнув воды крылом.

1915

* * *

О свободе небывалой
Сладко думать у свечи.
– Ты побудь со мной сначала, –
Верность плакала в ночи, –

Только я мою корону
Возлагаю на тебя,
Чтоб свободе, как закону,
Подчинился ты, любя...

– Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я не сниму.

Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!

1915

* * *

Императорский виссон
И моторов колесницы –
В черном омуте столицы
Столпник-ангел вознесен.

В темной арке, как пловцы,
Исчезают пешеходы,
И на площади, как воды,
Глухо плещутся торцы.

Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лоскут злится –
Словно в воздухе струится
Желчь двуглавого орла!

1915

* * *

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи –
На головах царей божественная пена –
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер – всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1915

* * *

Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебеи,
Старухи-овцы – черные халдеи,
Исчадье ночи в капюшонах тьмы.

Их тысячи – передвигают все,
Как жердочки, мохнатые колени,
Трясутся и бегут в курчавой пене,
Как жеребья в огромном колесе.

Им нужен царь и черный Авентин,
Овечий Рим с его семью холмами,
Собачий лай, костер под небесами,
И горький дым жилища, и овин.

На них кустарник двинулся стеной
И побежали воинов палатки,
Они идут в священном беспорядке.
Висит руно тяжелою волной.

1915

* * *

С веселым ржанием пасутся табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.

Топча по осени дубовые листы,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты –
Сей профиль женственный с коварною горбинкой!

Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Августа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.

Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся,
Мне осень добрая волчицею была,
И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся.

1915

* * *

Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре,
С прокóпченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:

– Как эти покрывала мне постылы...

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира,
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит:
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданьем крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованьем раскаленный слог...

Я опоздал на празднество Расина...

Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсинной коркой,
И словно из столетней летаргии
Очнувшийся сосед мне говорит:
– Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!

Когда бы грек увидел наши игры...

1915

Tristia

* * *

– Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!

– Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда

....

....

И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.

– О, если б ненависть в груди моей кипела
Но, видите, само признанье с уст слетело.

– Черным пламенем Федра горит
Среди белого дня.
Погребальный факел чадит
Среди белого дня.
Бойся матери ты, Ипполит:
Федра-ночь тебя сторожит
Среди белого дня.

– Любовью черною я солнце запятнала!
Смерть охладит мой пыл из чистого фиала.

– Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.
Уязвленная Тезеем,
На него напала ночь.
Мы же, песнью похоронной
Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уймем.

1915

ЗВЕРИНЕЦ

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран – эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом, опять,
Поют косматые свирели.

Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы, –
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.

А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!

Петух и лев, широкохмурый
Орел и ласковый медведь –
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры.
А я пою вино времен –
Источник речи италийской,
И, в колыбели праарийской,
Славянский и германский лён!

Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи, –
Орел топорщится и злится:
Что если для твоей пращи
Холодный камень не годится?

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей –
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.

1916

* * *

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи –
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече –
И никогда он Рима не любил.

Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.

Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело –
И рыжую солому подожгли.

1916

* * *

Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как Медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.

1916

* * *

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем –
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

1916

* * *

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
– Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы
....
....
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться – значит, быть беде.

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой,
Я знаю: он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.

Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

1916

* * *

Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло!
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее –
Баю-баюшки-баю, –
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.

Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.

И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян.

1916

* * *

Собирались эллины войною
На прелестный остров Саламин –
Он, отторгнут вражеской рукою,
Виден был из гавани Афин.

А теперь друзья-островитяне
Снаряжают наши корабли –
Не любили раньше англичане
Европейской сладостной земли.

О Европа, новая Эллада,
Охраняй Акрополь и Пирей!
Нам подарков с острова не надо –
Целый лес незваных кораблей.

1916

СОЛОМИНКА

I

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью – что может быть печальней –
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их – такая тишина, –
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не Соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не Соломинка – Лигейя, умиранье, –
Я научился вам, блаженные слова.

II

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.

Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не Соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.

В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та – Соломинка, быть может – Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь.

1916

ДЕКАБРИСТ

– Тому свидетельство языческий сенат –
Сии дела не умирают!
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы,
Европа плакала в тенетах,
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит,
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.

– Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.

Всё перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Всё перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

1917

* * *

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
– Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела.

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки – идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни:
Далеко в шалаше голоса – не поймешь, не ответишь.

После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке,
В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

Ну а в комнате белой, – как прялка, стоит тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена –
Не Елена – другая – как долго она вышивала?

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

1917

* * *

Еще далёко асфоделей
Прозрачно-серая весна,
Пока еще на самом деле
Шуршит песок, кипит волна.
Но здесь душа моя вступает,

Как Персефона, в легкий круг;
И в царстве мертвых не бывает
Прелестных, загорелых рук.

Зачем же лодке доверяем
Мы тяжесть урны гробовой
И праздник черных роз свершаем
Над аметистовой водой?
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!

Как быстро тучи пробегают
Неосвещенною грядой,
И хлопья черных роз летают
Под этой ветряной луной.
И, птица смерти и рыданья,
Влачится траурной каймой
Огромный флаг воспоминанья
За кипарисною кормой.

И раскрывается с шуршаньем
Печальный веер прошлых лет –
Туда, где с темным содроганьем
В песок зарылся амулет;
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!

1917

* * *

А. В. Карташеву

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалася над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: «Небес тревожна желтизна,
Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!»
А старцы думали: не наша в том вина,
Се черно-желтый свет, се радость Иудеи.

Он с нами был, когда, на берегу ручья,
Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.

1917

* * *

Твое чудесное произношенье –
Горячий посвист хищных птиц,
Скажу ль: живое впечатленье
Каких-то шелковых зарниц.

«Что» – голова отяжелела.
«Цо» – это я тебя зову!
И далеко прошелестело:
Я тоже на земле живу.

Пусть говорят: любовь крылата,
Смерть окрыленнее стократ;
Еще душа борьбой объята,
А наши губы к ней летят.

И столько воздуха и шелка
И ветра в шепоте твоем,
И, как слепые, ночью долгой
Мы смесь бессолнечную пьем.

1917

* * *

Что поют часы-кузнечик,
Лихорадка шелестит,
И шуршит сухая печка –
Это красный шелк горит.

Что зубами мыши точат
Жизни тоненькое дно –
Это ласточка и дочка
Отвязала мой челнок.

Что на крыше дождь бормочет –
Это черный шелк горит.
Но черемуха услышит
И на дне морском: прости.

Потому что смерть невинна,
И ничем нельзя помочь,
Что в горячке соловьиной
Сердце теплое еще.

1917

* * *

Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума,
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима.

В серебряном ведре нам предлагает стужа
Валгаллы белое вино,
И светлый образ северного мужа
Напоминает нам оно.

Но северные скальды грубы,
Не знают радостей игры,
И северным дружинам любы
Янтарь, пожары и пиры.

Им только снится воздух юга –
Чужого неба волшебство,
И все-таки упрямая подруга
Откажется попробовать его.

1917

КАССАНДРЕ

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре – торжественное бденье –
Воспоминанье мучит нас!

И в декабре семнадцатого года
Всё потеряли мы, любя:
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Когда-нибудь в столице шалой,
На скифском празднике, на берегу Невы,
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы...

Но если эта жизнь – необходимость бреда
И корабельный лес – высокие дома, –
Лети, безрукая победа,
Гиперборейская чума!

На площади с броневиками
Я вижу человека: он
Волков горящими пугает головнями –
Свобода, равенство, закон!

1917

* * *

В тот вечер не гудел стрельча́тый лес органа,
Нам пели Шуберта – родная колыбель!
Шумела мельница, и в песнях урагана
Смеялся музыки голубоглазый хмель.

Старинной песни мир – коричневый, зеленый,
Но только вечно-молодой,
Где соловьиных лип рокочущие кроны
С безумной яростью качает царь лесной.

И сила страшная ночного возвращенья
Та песня дикая, как черное вино:
Это двойник – пустое привиденье –
Бессмысленно глядит в холодное окно!

1918

* * *

На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.

На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда мерцает.
О, если ты звезда, – воде и небу брат,
Твой брат, Петрополь, умирает.

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет –
Зеленая звезда, в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась. Воск бессмертья тает.
О, если ты звезда, – Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает.

1918

* * *

Когда в теплой ночи замирает
Лихорадочный форум Москвы
И театров широкие зевы
Возвращают толпу площадям –

Протекает по улицам пышным
Оживленье ночных похорон:
Льются мрачно-веселые толпы
Из каких-то божественных недр.

Это солнце ночное хоронит
Возбужденная играми чернь,
Возвращаясь с полночного пира
Под глухие удары копыт.

И как новый встает Геркуланум,
Спящий город в сияньи луны:
И убогого рынка лачуги,
И могучий дорический ствол.

1918

* * *

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенёт.
Восходишь ты в глухие годы –
О солнце, судия, народ!

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть – тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек – и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети – сумерки густые –
Не видно солнца и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

1918

TRISTIA

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье,
Последний час вигилий городских.
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели вдаль заплаканные очи
И женский плач мешался с пеньем муз.

Кто может знать при слове – расставанье,
Какая нам разлука предстоит?
Что нам сулит петушье восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит?
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жует,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьет?

И я люблю обыкновенье пряжи:
Снует челнок, веретено жужжит.
Смотри: навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит!
О, нашей жизни скудная основа!
Куда как беден радости язык!
Всё было встарь. Всё повторится снова.
И сладок нам лишь узнаванья миг.

Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит.
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск – что для мужчины медь,
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано гадая умереть.

1918

* * *

На каменных отрогах Пиэрии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед.
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далеким
Архипелага нежные гроба.

Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенек.
Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передушили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур.

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва, беспалая, ползет.
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет –
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет.

Поит дубы холодная криница,
Простоволосая шумит трава,
На радость осам пахнет медуница.
О, где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко.

1919

* * *

В хрустальном омуте какая крутизна!
За нас сиенские предстательствуют горы,
И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина.

С висячей лестницы пророков и царей
Спускается орган, святого духа крепость,
Овчарок бодрый лай и добрая свирепость,
Овчины пастухов и посохи судей.

Вот неподвижная земля, и вместе с ней
Я христианства пью холодный горный воздух,
Крутое «Верую» и псалмопевца роздых,
Ключи и рубища апостольских церквей.

Какая линия могла бы передать
Хрусталь высоких нот в эфире укрепленном,
И с христианских гор в пространстве изумленном,
Как Палестрины песнь, нисходит благодать.

1919

* * *

Сестры – тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы.
Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
Человек умирает. Песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Ах, тяжелые соты и нежные сети!
Легче камень поднять, чем имя твое повторить.
У меня остается одна забота на свете:
Золотая забота, как времени бремя избыть.

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, и роза землею была.
В медленном водовороте тяжелые нежные розы,
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела.

1920

* * *

Вернись в смесительное лоно,
Откуда, Лия, ты пришла,
За то, что солнцу Илиона
Ты желтый сумрак предпочла.

Иди, никто тебя не тронет,
На грудь отца в глухую ночь
Пускай главу свою уронит
Кровосмесительница-дочь.

Но роковая перемена
В тебе исполниться должна:
Ты будешь Лия – не Елена,
Не потому наречена,

Что царской крови тяжелее
Струиться в жилах, чем другой, –
Нет, ты полюбишь иудея,
Исчезнешь в нем – и Бог с тобой.

1920

* * *

Венецейской жизни, мрачной и бесплодной,
Для меня значение светло:
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи. Синие прожилки.
Белый снег. Зеленая парча.
Всех кладут на кипарисные носилки,
Сонных, теплых вынимают из плаща.

И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха:
Тяжелее платины Сатурново кольцо!
Черным бархатом завешенная плаха
И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных ра̣мах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.

Только в пальцах роза или склянка –
Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?

Черный Веспер в зеркале мерцает.
Всё проходит. Истина темна.
Человек родится. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна.

1920

ФЕОДОСИЯ

Окружена высокими холмами,
Овечьим стадом ты с горы сбегаешь
И розовыми, белыми камнями
В сухом прозрачном воздухе сверкаешь.
Качаются разбойничьи фелюги,
Горят в порту турецких флагов маки,
Тростинки мачт, хрусталь волны упругий
И на канатах лодочки-гама́ки.

На все лады, оплаканное всеми,
С утра до ночи «яблочко» поется.
Уносит ветер золотое семя –
Оно пропало, больше не вернется.
А в переулочках, чуть свечерело,
Пиликают, согнувшись, музыканты,
По двое и по трое, неумело,
Невероятные свои варьянты.

О, горбоносых странников фигурки!
О, средиземный радостный зверинец!
Расхаживают в полотенцах турки,
Как петухи, у маленьких гостиниц.
Везут собак в тюрьмоподобной фуре,
Сухая пыль по улицам несется,
И хладнокровен средь базарных фурий
Монументальный повар с броненосца.

Идем туда, где разные науки,
И ремесло – шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятье нам о человеке.
Мужской сюртук – без головы стремленье,
Цирюльника летающая скрипка
И месмерический утюг – явленье
Небесных прачек – тяжести улыбка.

Здесь девушки стареющие в челках
Обдумывают странные наряды,
И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сон Шехерезады.
Прозрачна даль. Немного винограда.
И неизменно дует ветер свежий.
Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

1919–1920; 1922

* * *

Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

Навстречу беженке спешит толпа теней,
Товарку новую встречая причитаньем,
И руки слабые ломают перед ней
С недоумением и робким упованьем.

Кто держит зеркальце, кто баночку духов,
Душа ведь – женщина, ей нравятся безделки! –
И лес безлиственный прозрачных голосов
Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.

И в нежной сутолке, не зная, что начать,
Душа не узнает прозрачныя дубравы,
Дохнет на зеркало и медлит передать
Лепешку медную с туманной переправы.

1920

* * *

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет.
Прозрачны гривы табуна ночного.
В сухой реке пустой челнок плывет.
Среди кузнечиков беспамятствует слово.

И медленно растет, как бы шатер иль храм:
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам,
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья –
Я так боюсь рыданья аонид,
Тумана, звона и зиянья!

А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется!
Но я забыл, что я хочу сказать, –
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Всё не о том прозрачная твердит,
Всё – ласточка, подружка, Антигона...
А на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона.

1920

* * *

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Всё поют блаженных жен родные очи,
Всё цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь –
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах» –
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.

Где-то хоры сладкие Орфея
И родные темные зрачки,
И на грядки кресел с галереи
Падают афиши-голубки.
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи,
В черном бархате всемирной пустоты
Всё поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

1920

* * *

Чуть мерцает призрачная сцена,
Хоры слабые теней,
Захлестнула шелком Мельпомена
Окна храмины своей.
Черным табором стоят кареты,
На дворе мороз трещит,
Всё косматo – люди и предметы,
И горячий снег хрустит.

Понемногу челядь разбирает
Шуб медвежьих вороха.
В суматохе бабочка летает.
Розу кутают в меха.
Модной пестряди кружки и мошки,
Театральный легкий жар,
А на улице мигают плошки
И тяжелый валит пар.

Кучера измаялись от крика,
И кромешна ночи тьма.
Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас студеная зима.
Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык,
Ибо в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник.

Пахнет дымом бедная овчина.
От сугроба улица черна.
Из блаженного, певучего притина
К нам летит бессмертная весна.
Чтобы вечно ария звучала:
«Ты вернешься на зеленые луга», –
И живая ласточка упала
На горячие снега.

1920

* * *

Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит.

Над Курою есть духаны,
Где вино и милый плов,
И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов.

Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить, –
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить.

В самом маленьком духане
Ты товарища найдешь,
Если спросишь «Телиани», –
Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в духане поплывешь.

Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым...

1920; 1927

* * *

Мне жалко, что теперь зима
И комаров не слышно в доме,
Но ты напомнила сама
О легкомысленной соломе.

Стрекозы вьются в синеве,
И ласточкой кружится мода,
Корзиночка на голове –
Или напыщенная ода?

Советовать я не берусь,
И бесполезны отговорки,
Но взбитых сливок вечен вкус
И запах апельсинной корки.

Ты всё толкуешь наобум,
От этого ничуть не хуже,
Что делать, самый нежный ум
Весь помещается снаружи.

И ты пытаешься желток
Взбивать рассерженною ложкой,
Он побелел, он изнемог –
И все-таки еще немножко.

И право, не твоя вина –
Зачем оценки и изнанки, –
Ты как нарочно создана
Для комедийной перебранки.

В тебе всё дразнит, всё поет,
Как итальянская рулада,
И маленький вишневый рот
Сухого просит винограда.

Так не старайся быть умней,
В тебе всё прихоть, всё минута.
И тень от шапочки твоей –
Венецианская баута.

1920

* * *

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки.
Не услыхать в меха обутой тени.
Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина – дремучий лес Тайгета,
Их пища – время, медуница, мята...

Возьми ж на радость дикий мой подарок –
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце!

1920

* * *

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать –
Как я ненавижу пахучие, древние срубы!

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко.
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.

Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел?
Зачем преждевременно я от тебя оторвался?
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,
И трижды приснился мужам соблазнительный образ.

Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,
На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.

1920

* * *

Когда городская выходит на стогны луна,
И медленно ей озаряется город дремучий,
И ночь нарастает, унынья и меди полна,
И грубому времени воск уступает певучий,

И плачет кукушка на каменной башне своей,
И бледная жница, сходящая в мир бездыханный,
Тихонько шеве́лит огромные спицы теней,
И желтой соломой бросает на пол деревянный...

1920

* * *

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.

Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несу я,
Как жертву палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь,
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.

Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятеньи
Вишневый нежный рот.

Вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И всё, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову.

1920

* * *

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певучим именем вмешался...
Но всё растаяло – и только слабый звук
В туманной памяти остался.

Сначала думал я, что имя – серафим,
И тела легкого дичился,
Немного дней прошло, и я смешался с ним
И в милой тени растворился.

И снова яблоня теряет дикий плод,
И тайный образ мне мелькает,
И богохульствует, и сам себя клянет,
И угли ревности глотает.

А счастье катится, как обруч золотой,
Чужую волю исполняя,
И ты гоняешься за легкою весной,
Ладонью воздух рассекая.

И так устроено, что не выходим мы
Из заколдованного круга;
Земли девической упругие холмы
Лежат спеленатые туго.

1920

1921-1925

КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами, –
Дрожит вокзал от пенья аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заворожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятеньи и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах.

И мнится мне: весь в музыке и пене
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит.

1921

* * *

Умывался ночью на дворе –
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч – как соль на топоре,
Стынет бочка с полными краями.

На замок закрыты воротá,
И земля по совести сурова, –
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее.

1921

* * *

Кому зима – арак и пунш голубоглазый,
Кому – душистое с корицею вино,
Кому – жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.

Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла;
Я всё отдам за жизнь – мне так нужна забота, –
И спичка серная меня б согреть могла.

Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,
И верещанье звезд щекочет слабый слух,
Но желтизну травы и теплоту суглинка
Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух.

Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
Как яблоня зимой, в рогоже голодать,
Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому,
И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.

Пусть заговорщики торопятся по снегу
Отарою овец и хрупкий наст скрипит.
Кому зима – полынь и горький дым к ночлегу,
Кому – крутая соль торжественных обид.

О, если бы поднять фонарь на длинной палке,
С собакой впереди идти под солью звезд,
И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке.
А белый, белый снег до боли очи ест.

1922

* * *

С розовой пеной усталости у мягких губ
Яростно волны зеленые роет бык,
Фыркает, гребли не любит – женолюб,
Ноша хребту непривычна, и труд велик.

Изредка выскочит дельфина колесо
Да повстречается морской колючий еж.
Нежные руки Европы, берите всё!
Где ты для выи желанней ярмо найдешь?

Горько внимает Европа могучий плеск,
Тучное море кругом закипает в ключ,
Видно, страшит ее вод маслянистый блеск
И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч.

О, сколько раз ей милее уключин скрип,
Лоном широкая палуба, гурт овец
И за высокой кормою мельканье рыб!
С нею безвёсельный дальше плывет гребец.

1922

* * *

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг,
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Жизнь себя перемогает,
Понемногу тает звук,
Всё чего-то не хватает,
Что-то вспомнить недосуг.

А ведь раньше лучше было,
И, пожалуй, не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь.

Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.

1922

* * *

Как растет хлебов опара,
Поначалу хороша,
И беснуется от жару
Домовитая душа.

Словно хлебные Софии
С херувимского стола
Круглым жаром налитые
Подымают купола.

Чтобы силой или лаской
Чудный выманить припек,
Время – царственный подпасок –
Ловит слово-колобок.

И свое находит место
Черствый пасынок веков –
Усыхающий довесок
Прежде вынутых хлебов.

1922

* * *

Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась –
Не по ней ли шуршит вор,
Комариный звенит князь?

Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать ночь – разбудить.

Раскидать бы за стогом стог
Шапку воздуха, что томит.
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин зашит.

Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная, нашлась
Через век, сеновал, сон.

1922

* * *

Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал, –
Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.

И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй?

Звезд в ковше Медведицы семь.
Добрых чувств на земле пять.
Набухает, звенит темь,
И растет, и звенит опять.

Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит.
Сеновала древний хаос
Защекочет, запорошит...

Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем,
Лиру строим, словно спешим
Обрасти косматым руном.

Из гнезда упавших щеглов
Косари приносят назад –
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.

Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна – скрепясь,
А другая – в заумный сон.

1922

* * *

Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.

И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес.

Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда.

И, с трудом пробиваясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл,
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.

1922

МОСКОВСКИЙ ДОЖДИК

Он подает куда как скупо
Свой воробьиный холодок –
Немного нам, немного купам,
Немного вишням на лоток.

И в темноте растет кипенье –
Чаинок легкая возня, –
Как бы воздушный муравейник
Пирует в темных зеленях;

И свежих капель виноградник
Зашевелился в мураве, –
Как будто холода рассадник
Открылся в лапчатой Москве!

1922

ВЕК

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет

Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка
Век младенческий земли.
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

1922

НАШЕДШИЙ ПОДКОВУ

Глядим на лес и говорим:
Вот лес корабельный, мачтовый,
Розовые сосны,
До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,
Им бы поскрипывать в бурю,
Одинокими пиниями,
В разъяренном безлесном воздухе.
Под соленою пятою ветра устоит отвес, пригнанный
к пляшущей палубе,
И мореплаватель,

В необузданной жажде пространства,
Влача через влажные рытвины хрупкий прибор геометра,
Сличит с притяженьем земного лона
Шероховатую поверхность морей.

А вдыхая запах
Смолистых слез, проступивших сквозь обшивку корабля,
Любуясь на доски,
Заклепанные, слаженные в переборки
Не вифлеемским мирным плотником, а другим –
Отцом путешествий, другом морехода, –
Говорим:
И они стояли на земле,
Неудобной, как хребет осла,
Забывая верхушками о корнях,
На знаменитом горном кряже,
И шумели под пресным ливнем,
Безуспешно предлагая небу выменять на щепотку соли
Свой благородный груз.

С чего начать?
Всё трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой,
И легкие двуколки
В броской упряжи густых от натуги птичьих стай
Разрываются на части,
Соперничая с храпящими любимцами ристалищ.

Трижды блажен, кто введет в песнь имя;
Украшенная названьем песнь
Дольше живет среди других –
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,
Исцеляющей от беспамятства, слишком сильного
одуряющего запаха,
Будь то близость мужчины,
Или запах шерсти сильного зверя,
Или просто дух чобра, растертого между ладоней.

Воздух бывает темным, как вода, и всё живое в нем
плавает как рыба,
Плавниками расталкивая сферу,
Плотную, упругую, чуть нагретую, –
Хрусталь, в котором движутся колеса и шарахаются
лошади,
Влажный чернозем Нееры, каждую ночь распаханный
заново
Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами.
Воздух замешен так же густо, как земля:
Из него нельзя выйти, в него трудно войти.

Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой.
Дети играют в бабки позвонками умерших животных.
Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.
Спасибо за то, что было:
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.
Эра звенела, как шар золотой,
Полая, литая, никем не поддерживаемая,
На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет».
Так ребенок отвечает:
«Я дам тебе яблоко» или «Я не дам тебе яблока»,
И лицо его точный слепок с голоса, который произносит
эти слова.

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными
ногами –
Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены,
По числу отталкиваний от земли пышущего жаром
иноходца.

Так
Нашедший подкову
Сдувает с нее пыль

И растирает ее шерстью, пока она не заблестит.
Тогда
Он вешает ее на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше уж ей не придется высекать искры из кремня.
Человеческие губы, которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остается ощущенье тяжести,
Хотя кувшин наполовину расплескался, пока его несли
домой.

То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы.
Одни
на монетах изображают льва,
Другие –
голову.
Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки
С одинаковой почестью лежат в земле.
Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы.
Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого.

1923

СЫНОВЬЯ АЙМОНА
(по старофранцузскому эпосу)

Пришли четыре брата, несхожие лицом,
В большой дворец-скворешник с высоким потолком.
Так сухи и поджары, что ворон им каркнет «брысь».
От удивленья брови у дамы поднялись.
«Вы, господа бароны, рыцари-друзья,
Из кающейся братьи, предполагаю я.
Возьмите что хотите из наших кладовых –
Из мяса или рыбы иль платьев шерстяных.
На радостях устрою для вас большой прием:
Мы милостыню Богу, не людям подаем.
Да хранит Он детей моих от капканов и ям,

В феврале будет десять лет, как я томлюсь по сыновьям!»
«Как это могло случиться?» – сказал Ричард с крутым лбом.
«Я сама не знаю, сударь, как я затмилась умом.
Я отправила их в Париж, где льется вежливая молвь,
Им обрадовался Карл, почуя рыцарскую кровь.
Королевский племянник сам по себе хорош,
Но бледнеет от злости, когда хвалят молодежь.
Должно быть, просто зависть к нему закралась в грудь,
Затеял с ними в шахматы нечистую игру.
Они погорячились, и беда стряслась:
Учили его, учили, пока не умер князь.
Потом коней пришпорили и скрылись в зеленях,
И с ними семьсот рыцарей, что толпились в сенях.
Спаслись через Меузу в Арденнской земле,
Выстроили замок укрепленный на скале.
На все четыре стороны их выгнал из Франции Карл,
Аймон от них отрекся, сам себя обкорнал.
Он присягнул так твердо, как алмаз режет стекло,
Что у него останется одно ремесло:
Пока дням его жизни Господь позволит течь,
Четырем негодяям головы отсечь».
Когда Рено услышал, он вздрогнул и поник,
Княгиня прикусила свой розовый язык,
И вся в лицо ей бросилась, как муравейник, кровь.
Княгиня слышит крови старинный переплеск,
Лицо Рено меняется, как растопленный воск,
Тавро, что им получено в потешный турнир,
Ребяческая метка от молодых рапир.
У матери от радости в боку колотье:
«Ты – Рено, если не обманывает меня чутье,
Заклинаю тебя Искупителем по числу гвоздильных ран,
Если ты – Рено, не скрывай от меня иль продлить дай обман».
Когда Рено услышал, он стал совсем горбат,
Княгиня его узнала от головы до пят,
Узнала его голос, как пенье соловья,
И остальные трое с ним – тоже сыновья.

Ждут – словно три березки чтоб ветер поднялся.
Она заговорила, забормотала вся:
«Дети, вы обнищали, до рубища дошли,
Вряд ли есть у вас слуги, чтоб вам помогли».
«У нас четыре друга, горячие в делах,
Все в яблоках железных, на четырех ногах».
Княгиня понимает по своему чутью
И зовет к себе конюха, мальчика Илью.
«Там стреножена лошадь Рено и три других,
Поставьте их в конюшнях светлых и больших
И дайте им отборных овсов золотых».
Илья почуял лошадь, кубарем летит,
Мигом срезал лестницы зеленый малахит.
Не жалеет горла, как в трубле Роланд,
И кричит баронам маленький горлан:
«Делать вам тут нечего, бароны, вчетвером,
Для ваших лошадей у нас найдется корм».
Как ласковая лайка на слепых щенят,
Глядит княгиня Айя на четырех княжат.
Хрустит душистый рябчик и голубиный хрящ,
Рвут крылышки на части так, что трещит в ушах;
Пьют мед дремучих пасек, и яблочный кларет,
И темное густое вино, ублюдок старых лет.
Тем временем Аймона надвинулась гроза,
И стянутых ремнями борзых ведут назад,
Прокушенных оленей на кухню снесли
И слезящихся лосей в крови и пыли.
Гремя дубовой палкой, Аймон вернулся в дом
И видит у себя своих детей за столом.
Плоть нищих золотится, как золото святых,
Бог выдубил их кожу и в мир пустил нагих.
Каленые орехи не так смуглы на вид,
Сукно, как паутина, на плечах у них висит –
Где родинка, где пятнышко – мережит и сквозит.

1922; 1927

ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА

Звезда с звездой – могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень,
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок –
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.

Мы стоя спим в густой ночи
Под теплой шапкою овечьей.
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.

Крутые козьи города,
Кремней могучее слоенье,
И все-таки еще гряда –
Овечьи церкви и селенья!
Им проповедует отвес,
Вода их учит, точит время –
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.

Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором,
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!

Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует.
И в бабки нежная игра,

И в полдень злых овчарок шубы;
Как мусор с ледяных высот –
Изнанка образов зеленых –
Вода голодная течет,
Крутясь, играя, как звереныш.

И как паук ползет ко мне –
Где каждый стык луной обрызган,
На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги.
Твои ли, память, голоса
Учительствуют, ночь ломая,
Бросая грифели лесам,
Из птичьих клювов вырывая?

Мы только с голоса поймем,
Что там царапалось, боролось,
И черствый грифель поведем
Туда, куда укажет голос.
Ломаю ночь, горящий мел
Для твердой записи мгновенной,
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик –
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной!
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве!

И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света,
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая встык –
Кремень с водой, с подковой перстень.

1923

* * *

Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни – голуби, дома – как голубятни,
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.
Здесь толпы детские – событий попрошайки,
Парижских воробьев испуганные стайки –
Клевали наскоро крупу свинцовых крох,
Фригийской бабушкой рассыпанный горох...
И в воздухе плывет забытая коринка,
И в памяти живет плетеная корзинка,
И тесные дома – зубов молочных ряд
На деснах старческих – как близнецы стоят.

Здесь клички месяцам давали, как котятам,
А молоко и кровь давали нежным львятам,
А подрастут они – то разве года два
Держалась на плечах большая голова!
Большеголовые – там руки поднимали
И клятвой на песке как яблоком играли.
Мне трудно говорить: не видел ничего,
Но все-таки скажу: я помню одного;
Он лапу поднимал, как огненную розу,
И, как ребенок, всем показывал занозу.
Его не слушали: смеялись кучера,
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора,
Афиши клеили, и ставили капканы,
И пели песенки, и жарили каштаны,
И светлой улицей, как про́секой прямой,
Летели лошади из зелени густой!

1923

* * *

Как тельце маленькое крылышком
По солнцу всклянь перевернулось,
И зажигательное стеклышко
На эмпиреи загорелось.

Как комариная безделица
В зените ныла и звенела,
И под сурдинку пеньем жужелиц
В лазури мучилась заноза:

«Не забывай меня – казни меня,
Но дай мне имя, дай мне имя:
Мне будет легче с ним, пойми меня,
В беременной глубокой сини!»

1923

1 ЯНВАРЯ 1924

Кто время целовал в измученное темя –
С сыновней нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось время
В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки –
Два сонных яблока больших, –
Он слышит вечно шум, когда взревели реки
Времен обманных и глухих.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного – оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

О, глиняная жизнь! О, умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомóщная улыбка человека,
Который потерял себя.
Какая боль – искать потерянное слово,
Больные веки поднимать
И с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.

Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина...
Снег пахнет яблоком, как встарь.
Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

По переулочкам, скворешням и застрехам,
Недалеко, собравшись как-нибудь, –
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Всё силюсь полость застегнуть.
Мелькает улица, другая,
И яблоком хрустит саней морозный звук,
Не поддается петелька тугая,
Всё время валится из рук.

Каким железным, скобяным товаром
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы,
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром
Из чайных розовых, как серебром плотвы.
Москва – опять Москва. Я говорю ей: «Здравствуй!
Не обессудь, теперь уж не беда,
По старине я уважаю братство
Мороза крепкого и щучьего суда».

Пылает на снегу аптечная малина,
И где-то щелкнул ундервуд;
Спина извозчика и снег на пол-аршина:
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.
Зима-красавица, и в звездах небо козье
Рассыпалось и молоком горит,
И конским волосом о мерзлые полозья
Вся полость трется и звенит.

А переулочки коптили керосинкой,
Глотали снег, малину, лед.
Всё шелушится им советской сонатинкой,
Двадцатый вспоминая год.
Ужели я предам позорному злословью –
Вновь пахнет яблоком мороз –
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?
То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш –
И щучью косточку найдешь;
И известковый слой в крови больного сына
Растает, и блаженный брызнет смех...
Но пишущих машин простая сонатина –
Лишь тень сонат могучих тех.

1924

* * *

Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник –
То был не я, то был другой.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.

Я с веком поднимал болезненные веки –
Два сонных яблока больших,
И мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела
Складная легкая постель,
И странно вытянулось глиняное тело –
Кончался века первый хмель.

Среди скрипучего похода мирового
Какая легкая кровать!
Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает, а потом –
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем!

1924

* * *

Вы, с квадратными окошками, невысокие дома,
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!

И торчат, как щуки ребрами, незамерзшие катки,
И еще в прихожих слепеньких валяются коньки.

А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар,
Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар!

Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.

И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду домой –
Электрическою мельницей смолот мокко золотой.

Шоколадные, кирпичные, невысокие дома,
Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!

И приемные с роялями, где, по креслам рассадив,
Доктора кого-то потчуют ворохами старых «Нив».

После бани, после оперы – все равно, куда ни шло, –
Бестолковое, последнее трамвайное тепло!

1924

* * *

Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка.
Гляжу – изба, вошел в сенцы –
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка...

У изголовья вновь и вновь
Цыганка вскидывает бровь,
И разговор ее был жалок;
Она сидела до зари
И говорила: «Подари
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок».

Того, что было, не вернешь,
Дубовый стол, в солонке нож,
И вместо хлеба – еж брюхатый;
Хотели петь – и не смогли,
Хотели встать – дугой пошли
Через окно на двор горбатый.

И вот проходит полчаса,
И гарнцы черного овса
Жуют, похрустывая, кони;
Скрипят ворота на заре,
И запрягают на дворе;
Теплеют медленно ладони.

Холщовый сумрак поредел.
С водою разведенный мел,
Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно
Молочный день глядит в окно
И золотушный грач мелькает.

1925

* * *

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом.

Я только запомнил каштановых прядей осечки,
Придымленных горечью – нет, с муравьиной кислинкой;
От них на губах остается янтарная сухость.

В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой;
И то, что я знаю о яблочной, розовой коже...

Но всё же скрипели извозчичьих санок полозья,
В плетенку рогожи глядели колючие звезды,
И били вразрядку копыта по клавишам мерзлым.

И только и свету, что в звездной колючей неправде!
А жизнь проплывет театрального капора пеной,
И некому молвить: «Из табора улицы темной... »

1925

Новые стихи

* * *

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом –

Да, видно, нельзя никак...

Октябрь 1930

АРМЕНИЯ

Как бык шестикрылый и грозный
Здесь людям является труд,
И, кровью набухнув венозной,
Предзимние розы цветут.

1

Ты розу Гафиза колышешь
И нянчишь зверушек-детей,
Плечьми осьмигранными дышишь
Мужицких бычачьих церквей.

Окрашена охрою хриплой,
Ты вся далеко за горой,
А здесь лишь картинка налипла
Из чайного блюдца с водой.

2

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,
Всех-то цветов мне осталось – лишь сурик да хриплая охра.

И почему-то мне начало утро армянское сниться,
Думал – возьму-посмотрю, как живет в Эривани синица,

Как нагибается булочник, с хлебом играющий в жмурки,
Из очага вынимает лавашные влажные шкурки...

Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек каленый,
Улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны.

Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.

Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
Я не хочу твоего замороженного винограда!

3

Ты красок себе пожелала –
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь ка́мней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы – кузнечные клещи
И каждое слово – скоба...

4

Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Всё утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.

И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых Востока –
И вот лежишь на москательном ложе,
И с тебя снимают посмертную маску.

5

Руку платком обмотай и в венценосный шиповник,
В самую гущу его целлулоидных терний,
Смело, до хруста, ее погрузи...
Добудем розу без ножниц!
Но смотри, чтобы он не осыпался сразу –
Розовый мусор – муслин – лепесток соломоновый –
И для шербета негодный дичок,
Не дающий ни масла, ни запаха.

6

Орущих камней государство –
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружью зовущая –
Армения, Армения!
К трубам серебряным Азии вечно летящая –
Армения, Армения!
Солнца персидские деньги щедро раздаривающая –
Армения, Армения!

7

Не развалины – нет! – но порубка могучего циркульного
леса,
Якорные пни поваленных дубов звериного и басенного
христианства,
Рулоны каменного сукна на капителях – как товар из
языческой разграбленной лавки,
Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов
И нахохленные орлы с совиными крыльями, еще не
оскверненные Византией.

8

Холодно розе в снегу:
на Севане снег в три аршина...
Вытащил горный рыбак расписные лазурные сани,
Сытых форелей усатые морды
несут полицейскую службу
на известковом дне.

А в Эривани и в Эчмиадзине
весь воздух выпила огромная гора,
Ее бы приманить какой-то окариной
Иль дудкой приручить, чтоб таял снег во рту.

Снега, снега, снега на рисовой бумаге,
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад...

9

Какая роскошь в нищенском селеньи
Волосяная музыка воды!
Что это? Пряжа? Звук? Предупрежденье?
Чур-чур меня! Далёко ль до беды!

И в лабиринте влажного распева
Такая душная стрекочет мгла,
Как будто в гости водяная дева
К часовщику подземному пришла.

10

О порфирные цокая граниты,
Спотыкается крестьянская лошадка,
Забираясь на лысый цоколь
Государственного звонкого камня.
А за нею с узелками сыра,
Еле дух переводя, бегут курдины,
Примирившие дьявола и Бога,
Каждому воздавши половину.

11

Лазурь да глина, глина да лазурь.
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым, –
Над книгой звонких глин, над книжною землей,
Над гнойной книгою, над глиной дорогой,
Которой мучимся, как музыкой и словом.

12

Я тебя никогда не увижу,
Близорукое армянское небо,
И уже не взгляну, прищурясь,
На дорожный шатер Арарата,
И уже никогда не раскрою
В библиотеке авторов гончарных
Прекрасной земли пустотелую книгу,
По которой учились первые люди.

16 октября – 5 ноября 1930

* * *

На полицейской бумаге верже
Ночь наглоталась колючих ершей.
Звезды живут – канцелярские птички,
Пишут и пишут свои раппортички.

Сколько бы им ни хотелось мигать,
Могут они заявленье подать –
И на мерцанье, писанье и тленье
Возобновляют всегда разрешенье.

Октябрь 1930

* * *

Не говори никому,
Всё, что ты видел, забудь –
Птицу, старуху, тюрьму
Или еще что-нибудь...

Или охватит тебя,
Только уста разомкнешь,
При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь.

Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал
Или чернику в лесу,
Что никогда не сбирал.

Октябрь 1930

* * *

Колючая речь Араратской долины,
Дикая кошка – армянская речь,
Хищный язык городов глинобитных,
Речь голодающих кирпичей.

А близорукое шахское небо –
Слепорожденная бирюза –
Всё не прочтет пустотелую книгу
Черной кровью запекшихся глин.

Октябрь 1930

* * *

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Твое пограничное ухо –
Все звуки ему хороши,
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши!

Октябрь 1930

* * *

Дикая кошка – армянская речь
Мучит меня и царапает ухо.
Хоть на постели горбатой прилечь –
О, лихорадка, о, злая моруха!

Падают вниз с потолка светляки,
Ползают мухи по липкой просты́не,
И маршируют повзводно полки
Птиц голенастых по желтой равнине.

Страшен чиновник – лицо как тюфяк,
Нету его ни жалчей, ни нелепей,
Командированный – мать твою так! –
Без подорожной в армянские степи.

Пропадом ты пропади, говорят,
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху ни духу, –
Старый повытчик, награбив деньжат,
Бывший гвардеец, замыв оплеуху.

Грянет ли в двери знакомое: «Ба!
Ты ли, дружище?» Какая издевка!
Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..

Были мы люди, а стали людьё,
И суждено – по какому разряду? –
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.

Октябрь 1930

* * *

И по-звериному воет людьё,
И по-людски куролесит зверьё...
Чудный чиновник без подорожной,
Командированный к тачке острожной,
Он Черномора пригу́бил питье
В кислой корчме на пути к Эрзеруму.

Октябрь 1930

* * *

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда – так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930

* * *

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин.

Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери –
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Январь 1931

* * *

Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь – за твою рабу...
В Петербурге жить – словно спать в гробу.

Январь 1931

* * *

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья –
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобью.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее,
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.

Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива...

Февраль 1931

* * *

После полуночи сердце ворует
Прямо из рук запрещенную тишь.
Тихо живет – хорошо озорует,
Любишь – не любишь – ни с чем не сравнишь...

Любишь – не любишь, поймешь – не поймаешь...
Не потому ль, как подкидыш, дрожишь,
Что пополуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышь?

Март 1931

* * *

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Всё лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.

Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну а мне – соленой пеной
По губам.

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли,
Всё равно.
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино!

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Всё лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.

2 марта 1931

* * *

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет, и будет – гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно – и все-таки до́ смерти хочется жить.

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

4 марта 1931

* * *

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, –
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,
Затверженную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть...

Что, Александр Герцович,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там! Всё равно!

Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит –

Нам с музыкой-голу́бою
Не страшно умереть,
Там хоть вороньей шубою
На вешалке висеть...

Всё, Александр Герцович,
Заверчено давно,
Брось, Александр Скерцович,
Чего там! Всё равно!

27 марта 1931

* * *

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей –
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей –
Запихай меня лучше, как шапку в рукав
Жаркой шубы сибирских степей,

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе, –

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

17–28 марта 1931

* * *

Ночь на дворе. Барская лжа:
После меня хоть потоп.
Что же потом? Хрип горожан
И толкотня в гардероб.

Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж назубок:
Шапку в рукав, шапкой в рукав –
И да хранит тебя Бог!

Март 1931

* * *

Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину Москвы.
Я – трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.

Мы с тобою поедем на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет,
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.

И едва успевает, грозит из угла –
«Ты как хочешь, а я не рискну!» –
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объехать всю курву-Москву.

Апрель 1931

НЕПРАВДА

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
– Дай-ка я на тебя погляжу –
Ведь лежать мне в сосновом гробу.

А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.

– Захочу, – говорит, – дам еще...
Ну а я не дышу, сам не рад...
Шасть к порогу – куда там... В плечо
Уцепилась и тащит назад.

Вошь да глушь у нее, тишь да мша,
Полуспаленка, полутюрьма.
– Ничего, хороша, хороша...
Я и сам ведь такой же, кума.

4 апреля 1931

* * *

Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня.

За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
За розу в кабине рольс-ройса и масло парижских картин.

Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин.

Я пью, но еще не придумал – из двух выбираю одно –
Веселое асти-спуманте иль папского замка вино.

11 апреля 1931

РОЯЛЬ

Как парламент, жующий фронду,
Вяло дышит огромный зал,
Не идет Гора на Жиронду
И не крепнет сословий вал.

Оскорбленный и оскорбитель,
Не звучит рояль-Голиаф,
Звуколюбец, душемутитель,
Мирабо фортепьянных прав.

– Разве руки мои – кувалды?
Десять пальцев – мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих – конек-горбунок.

Чтобы в мире стало просторней,
Ради сложности мировой,
Не втирайте в клавиши корень
Сладковатой груши земной.

Чтоб смолою соната джина
Проступила из позвонков,
Нюренбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.

16 апреля 1931

* * *

- Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый, –
Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!

Жизнь начиналась в корыте картавою мокрою шёпотью,
И продолжалась она керосиновой мягкою копотью.

Где-то на даче потом в лесном переплете шагреневом
Вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром
сиреневым...

– Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый, –
Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!

Дальше, сквозь стекла цветные, сощурясь, мучительно вижу я:
Небо как палица грозное, земля словно плешина рыжая...

Дальше – еще не припомню – и дальше как будто оборвано:
Пахнет немного смолою да, кажется, тухлою ворванью...

– Нет, не мигрень, – но холод пространства бесполого,
Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой!

23 апреля 1931

* * *

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье –
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи –
Как, прицелясь насме́рть, городки зашибают в саду, –
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорище найду.

3 мая 1931

КАНЦОНА

Неужели я увижу завтра –
Слева сердце бьется – слава, бейся! –
Вас, банкиры горного ландшафта,
Вас, держатели могучих акций гнейса?

Там зрачок профессорский орлиный, –
Египтологи и нумизматы –
Это птицы сумрачно-хохлатые
С жестким мясом и широкою грудиной.

То Зевес подкручивает с толком
Золотыми пальцами краснодеревца
Замечательные луковицы-стекла –
Прозорливцу дар от псалмопевца.

Он глядит в бинокль прекрасный Цейса –
Дорогой подарок царь-Давида,
Замечает все морщины гнейсовые,
Где сосна иль деревушка-гнида.

Я покину край гипербореев,
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку,
Я скажу «села́» начальнику евреев
За его малиновую ласку.

Край небритых гор еще неясен,
Мелколесья колется щетина,
И свежа, как вымытая басня,
До оскомины зеленая долина.

Я люблю военные бинокли
С ростовщическою силой зренья.
Две лишь краски в мире не поблекли:
В желтой – зависть, в красной – нетерпенье.

26 мая 1931

* * *

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких,
железных,
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров.
Нет на Москву и ночью угомону,
Когда покой бежит из-под копыт...
Ты скажешь: где-то там, на полигоне,
Два клоуна засели – Бим и Бом,
И в ход пошли гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино:
До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до.

Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном,
Где арестованный медведь гуляет –
Самой природы вечный меньшевик,
И пахло до отказу лавровишней!..
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен...

Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных, крупно-скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить:
Ведь в беге собственном оно не виновато
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато.

Чур! Не просить, не жаловаться, цыц!
Не хныкать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
Мы умрем, как пехотинцы,
Но не прославим
ни хищи, ни поденщины,
ни лжи.

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа,
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру.
Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,
Выпьем до дна!

Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы. До чего они венозны,
И до чего им нужен кислород!

Пора вам знать: я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать,
Ручаюсь вам – себе свернете шею!

Я говорю с эпохою, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме:
Почешется – и в цинковую ванну, –
Изобрази еще нам, Марь Иванна!
Пусть это оскорбительно – поймите:
Есть блуд труда, и он у нас в крови.

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом.
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чает –
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И, словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской,
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты...

Май – 4 июня 1931

ОТРЫВКИ УНИЧТОЖЕННЫХ СТИХОВ

1

В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет – читай: насильно
Был возвращен в буддийскую Москву.
А перед тем я все-таки увидел
Библейской скатертью богатый Арарат
И двести дней провел в стране субботней,
Которую Арменией зовут.

Захочешь пить – там есть вода такая
Из курдского источника Арзни,
Хорошая, колючая, сухая
И самая правдивая вода.

2

Уж я люблю московские законы,
Уж не скучаю по воде Арзни.
В Москве черемухи да телефоны,
И казнями там имениты дни.

3

Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой
На молоко с буддийской синевой,
Проводишь взглядом барабан турецкий,
Когда обратно он на красных дрогах
Несется вскачь с гражданских похорон,
Иль встретишь воз с поклажей из подушек
И скажешь: гуси-лебеди, домой!

Не разбирайся, щелкай, милый кодак,
Покуда глаз – хрусталик кравчей птицы,
А не стекляшка!
Больше светотени!
Еще, еще! Сетчатка голодна!

4

Я больше не ребенок!
                    Ты, могила,
Не смей учить горбатого – молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.

6 июня 1931

* * *

Еще далёко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь, –
Но в глубине ничуть не изменяюсь...

Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской.

Я, как щенок, кидаюсь к телефону
На каждый истерический звонок.
В нем слышно польское: «Дзенькую, пане!»,
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье.

Всё думаешь: к чему бы приохотиться
Посереди хлопушек и шутих;
Перекипишь – а там, гляди, останется
Одна сумятица да безработица –
Пожалуйста, прикуривай у них!

То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белорукой тростью выхожу:
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях,
И не живу, и все-таки живу.

Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду,
И в пять минут – лопаткой из ведерка –
Я получу свое изображенье
Под конусом лиловой шах-горы.

А иногда пущусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Янцзы.

Люблю разъезды скворчущих трамваев,
И астраханскую икру асфальта,
Накрытого соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,
И страусовые перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.

Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кащеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи;
Дивлюсь рогатым митрам Тициана
И Тинторетто пестрому дивлюсь –
За тысячу крикливых попугаев.

И до чего хочу я разыграться –
Разговориться – выговорить правду –
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, –
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков, –
Сказать ему, – нам по пути с тобой...

Май – сентябрь 1931

* * *

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На ры́систой дорожке беговой.

Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет.

Не волноваться. Нетерпенье – роскошь.
Я постепенно скорость разовью –
Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

7 июня 1931

* * *

На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали –
Было страшно, как во сне.

Нам попался фаэтонщик,
Пропеченный, как изюм, –
Словно дьявола поденщик,
Односложен и угрюм.

То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо» –
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо.

Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.

И пошли толчки, разгоны,
И не слезть было с горы –
Закружились фаэтоны,
Постоялые дворы...

Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми!

Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб вертелась каруселью
Кисло-сладкая земля...

Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

12 июня 1931

* * *

Как народная громада,
Прошибая землю в пот,
Многоярусное стадо
Пропыленною армадой
Ровно в голову плывет:

Телки с нежными боками
И бычки-баловники,
А за ними – кораблями –
Буйволицы с буйвола́ми
И священники-быки.

Июнь 1931

* * *

Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,
С разбойника-Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни:
Хоть проса им насыпать, хоть овса...
А в недорослях кто? Иван Великий –
Великовозрастная колокольня.
Стоит себе еще болван болваном
Который век. Его бы за границу,
Чтоб доучился... Да куда там! стыдно!

Река Москва в четырехтрубном дыме,
И перед нами весь раскрытый город –
Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие. Не так ли,
Откинув палисандровую крышку
Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?
Белогвардейцы, вы его видали?
Рояль Москвы слыхали? Гули-гули!..

Мне кажется, как всякое другое,
Ты, время, незаконно! Как мальчишка
За взрослыми в морщинистую воду,
Я, кажется, в грядущее вхожу,
И, кажется, его я не увижу...

Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы,
Разбуженный повесткой мотоцикла,
Я на рассвете не вскочу с постели,
В стеклянные дворцы на курьих ножках
Я даже тенью легкой не войду...

Мне с каждым днем дышать всё тяжелее,
А между тем нельзя повременить...
И рождены для наслажденья бегом
Лишь сердце человека и коня.

И Фауста бес, сухой и моложавый,
Вновь старику кидается в ребро
И подбивает взять почасно ялик,
Или махнуть на Воробьевы горы,
Иль на трамвае охлестнуть Москву.

Ей некогда – она сегодня в няньках,
Всё мечется – на сорок тысяч люлек
Она одна – и пряжа на руках...

Какое лето! Молодых рабочих
Татарские сверкающие спины
С девической полоской на хребтах,
Таинственные узкие лопатки
И детские ключицы...
                                        Здравствуй, здравствуй,
Могучий некрещеный позвоночник,
С которым поживем не век, не два!..

25 июня 1931

ЛАМАРК

Был старик, застенчивый, как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну конечно, пламенный Ламарк.

Если всё живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

7–9 мая 1932

* * *

Когда в далекую Корею
Катился русский золотой,
Я убегал в оранжерею,
Держа ириску за щекой.

Была пора смешливой бульбы
И щитовидной железы,
Была пора Тараса Бульбы
И наступающей грозы.

Самоуправство, своевольство,
Поход троянского коня,
А над поленницей посольство
Эфира, солнца и огня.

Был от поленьев воздух жирен,
Как гусеница на дворе,
И Петропавловску-Цусиме –
«Ура» на дровяной горе...

К царевичу младому Хлору –
И – Господи, благослови! –
Как мы в высоких голенищах
За хлороформом в гору шли.

Я пережил того подростка,
И широка моя стезя,
Другие сны, другие гнезда,
Но не разбойничать нельзя.

11–13 мая 1932

* * *

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.

Линяет зверь, играет рыба
В глубоком обмороке вод –
И не глядеть бы на изгибы
Людских страстей, людских забот.

14 мая 1932

* * *

Вы помните, как бегуны
В окрестностях Вероны
Еще разматывать должны
Кусок сукна зеленый,

И всех других опередит
Тот самый, тот, который
Из песни Данта убежит,
Ведя по кругу споры.

Май 1932; сентябрь 1935

* * *

Увы, растаяла свеча
Молодчиков каленых,
Что хаживали вполплеча
В камзольчиках зеленых,
Что пересиливали срам
И чумную заразу
И всевозможным господам
Прислуживали сразу.

И нет рассказчика для жен
В порочных длинных платьях,
Что проводили дни, как сон,
В пленительных занятьях:

Лепили воск, мотали шелк,
Учили попугаев
И в спальню, видя в этом толк,
Пускали негодяев.

22 мая 1932

ИМПРЕССИОНИЗМ

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Он понял масла густоту:
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.

А тень-то, тень – всё лиловéй!
Свисток иль хлыст как спичка тухнет.
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом сумрачном развале
Уже хозяйничает шмель.

23 мая 1932

* * *

С. А. Клычкову

Там, где купальни-бумагопрядильни
И широчайшие зеленые сады,
На Москве-реке есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.

Эта слабогрудая речная волокита,
Скучные-нескучные, как халва, холмы,
Эти судоходные марки и открытки,
На которых носимся и несемся мы.

У реки Оки вывернуто веко,
Оттого-то и на Москве ветерок.
У сестрицы Клязьмы загнулась ресница,
Оттого на Яузе утка плывет.

На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
Там играют Шуберта в раструбы рупоров,
Вода на булавках, и воздух нежнее
Лягушиной кожи воздушных шаров.

Май 1932

БАТЮШКОВ

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему –
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
Ни у кого – этих звуков изгибы,
И никогда – этот говор валов...

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
Я к величаньям еще не привык,
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык...

Что ж! Поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан...

18 июня 1932

СТИХИ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ

I

Сядь, Державин, развалися,
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твой початок не прокис.

Дай Языкову бутылку
И подвинь ему бокал.
Я люблю его ухмылку,
Хмеля бьющуюся жилку
И стихов его накал.

Гром живет своим накатом –
Что ему до наших бед? –
И глотками по раскатам
Наслаждается мускатом
На язык, на вкус, на цвет.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой,
Пахнет городом, потопом,
Нет – жасмином, нет – укропом,
Нет – дубовою корой!

II

Зашумела, задрожала,
Как смоковницы листва,
До корней затрепетала
С подмосковными Москва.

Катит гром свою тележку
По торговой мостовой
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.

И угодливо-поката
Кажется земля – пока,
Шум на шум, как брат на брата,
Восстает издалека.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой
С рабским потом, конским топом
И древесною молвой.

III

С. А. Клычкову

Полюбил я лес прекрасный,
Смешанный, где козырь – дуб,
В листьях клена – перец красный,
В иглах – еж-черноголуб.

Там фисташковые молкнут
Голоса на молоке,
И когда захочешь щелкнуть,
Правды нет на языке.

Там живет народец мелкий,
В желудевых шапках все,
И белок кровавый белки
Крутят в страшном колесе.

Там щавель, там вымя птичье,
Хвой павлинья кутерьма,
Ротозейство и величье
И скорлупчатая тьма.

Тычут шпагами шишиги,
В треуголках носачи,
На углях читают книги
С самоваром палачи.

И еще грибы-волнушки
В сбруе тонкого дождя
Вдруг поднимутся с опушки
Так – немного погодя...

Там без выгоды уроды
Режутся в девятый вал,
Храп коня и крап колоды,
Кто кого? Пошел развал...

И деревья – брат на брата –
Восстают. Понять спеши:
До чего аляповаты,
До чего как хороши!

2–7 июля 1932

* * *

Дайте Тютчеву стреко́зу –
Догадайтесь, почему.
Веневитинову – розу,
Ну а перстень – никому.

Баратынского подошвы
Раздражают прах веков.
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

А еще над нами волен
Лермонтов – мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

8 июля (?) 1932

К НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ

Б. С. Кузину

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За всё, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поучимся ж серьезности и чести
На Западе у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера:
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера.

Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи?

И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб – ступеньками, без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык – он мне не нужен.

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился. Слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

8–12 августа 1932

АРИОСТ

Во всей Италии приятнейший, умнейший,
Любезный Ариост немножечко охрип.
Он наслаждается перечисленьем рыб
И перчит все моря нелепицею злейшей.

И, словно музыкант на десяти цимбалах,
Не уставая рвать повествованья нить,
Ведет – туда-сюда, не зная сам, как быть, –
Запутанный рассказ о рыцарских скандалах.

На языке цикад – пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
Он завирается, с Орландом куролеся,
И содрогается, преображаясь весь.

И морю говорит: шуми без всяких дум,
И деве на скале: лежи без покрывала...
Рассказывай еще – тебя нам слишком мало,
Покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум.

О город ящериц, в котором нет души, –
Когда бы чаще ты таких мужей рожала,
Феррара черствая! Который раз сначала,
Покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши!

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
А он вельможится всё лучше, всё хитрее
И улыбается в крылатое окно –

Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих мух уснувшему дитяти.

А я люблю его неистовый досуг,
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки...
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчу́г.

Любезный Ариост, быть может, век пройдет –
В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше Черноморье.
...И мы бывали там. И мы там пили мед...

4–6 мая 1933

* * *

Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть:
Ведь всё равно ты не сумеешь стекла зубами укусить!

О, как мучительно дается чужого клекота почет:
За беззаконные восторги лихая плата стережет!

Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот
В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет.

Что если Ариост и Тассо, обворожающие нас,
Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз?

И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб,
Получишь уксусную губку ты для изменнических губ.

Май 1933

* * *

Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг –
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки...
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчу́г!

Май 1933; август 1935

* * *

Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым,
Как был при Врангеле – такой же виноватый.
Комочки на земле. На рубищах заплаты.
Всё тот же кисленький, кусающийся дым.

Всё так же хороша рассеянная даль.
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые, и вызывает жалость
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украйны и Кубани...
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

Лето 1933
Москва. После Крыма

* * *

Квартира тиха, как бумага,
Пустая, без всяких затей,
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Колхозному баю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать –
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Ноябрь 1933

* * *

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина,
И широкая грудь осетина.

Ноябрь 1933

ВОСЬМИСТИШИЯ

1

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то – четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.

И дугами парусных гонок
Зеленые формы чертя,
Играет пространство спросонок –
Не знавшее люльки дитя.

Ноябрь 1933; июнь 1935

2

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то – четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.

И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг,
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

Ноябрь 1933

3

О, бабочка, о, мусульманка,
В разрезанном саване вся –
Жизняночка и умиранка,
Такая большая – сия!

С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О, флагом развернутый саван,
Сложи свои крылья – боюсь!

Ноябрь 1933

4

Шестого чувства крошечный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.

Недостижимое, как это близко:
Ни развязать нельзя, ни посмотреть,
Как будто в руку вложена записка –
И на нее немедленно ответь...

Май 1932

5

Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон:
В земной коре юродствуют породы
И, как руда, из гру́ди рвется стон.

И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог, –
Понять пространства внутренний избыток,
И лепестка, и купола залог.

Январь 1934

6

Когда, уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме
Период без тягостных сносок,
Единый во внутренней тьме,

И он лишь на собственной тяге,
Зажмурившись, держится сам,
Он так же отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.

Ноябрь 1933

7

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.

Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

1933

8

И клена зубчатая лапа
Купается в круглых углах,
И можно из бабочек крапа
Рисунки слагать на стенах.

Бывают мечети живые –
И я догадался сейчас:
Быть может, мы – Айя-София
С бесчисленным множеством глаз.

Ноябрь 1933

9

Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?

– Меня не касается трепет
Его иудейских забот –
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.

Ноябрь 1933

10

В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.

И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит –
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.

Ноябрь 1933

11

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосогласье причин.

И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей –
Безлиственный дикий лечебник,
Задачник огромных корней.

Ноябрь 1933

* * *

Как из одной высокогорной щели
Течет вода – на вкус разноречива –
Полужестка, полусладка, двулична, –

Так, чтобы умереть на самом деле,
Тысячу раз на дню лишусь обычной
Свободы вздоха и сознанья цели...

Декабрь 1933

ИЗ ПЕТРАРКИ

I

Valle che de'lamenti miei se' piena...
Petrarca[1]

Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых;

[1] Долина, что жалобами моими полна... *Петрарка* (*итал.*). – *Ред.*

Дол, полный клятв и шепотов каленых,
Тропинок промуравленных изгибы,
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах:

Незыблемое зыблется на месте,
И зыблюсь я... Как бы внутри гранита
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,

Где я ищу следов красы и чести,
Исчезнувшей, как сокол после мыта,
Оставив тело в земляной постели.

Декабрь 1933 – январь 1934

II

Quel rosignuol, che si soave piagne...
Petrarca[1]

Как соловей, сиротствующий, славит
Своих пернатых близких, ночью синей,
И деревенское молчанье плавит
По-над холмами или в котловине,

И всю-то ночь щекочет и муравит
И провожает он, один отныне, –
Меня, меня! Силки и сети ставит
И нудит помнить смертный пот богини!

О, радужная оболочка страха!
Эфир очей, глядевших в глубь эфира,
Взяла земля в слепую люльку праха –

Исполнилось твое желанье, пряха,
И, плачучи, твержу: вся прелесть мира
Ресничного недолговечней взмаха.

Ноябрь – декабрь 1933

[1] Тот соловей, что так нежно оплакивает... *Петрарка* (*итал.*). – *Ред.*

III

Or che 'l ciel e la terra e 'l vento tace...
Petrarca[1]

Когда уснет земля и жар отпышет,
И на душе зверей покой лебяжий,
Ходит по кругу ночь с горящей пряжей
И мощь воды морской зефир колышет, –

Чую, горю, рвусь, плачу – и не слышит,
В неудержимой близости всё та же:
Целую ночь, целую ночь на страже
И вся как есть далеким счастьем дышит.

Хоть ключ один – вода разноречива:
Полужестока, полусладка. Ужели
Одна и та же милая двулична?

Тысячу раз на дню, себе на диво,
Я должен умереть на самом деле,
И воскресаю так же сверхобычно.

14–24 декабря 1933

IV

I dí miei, più leggier che nesun cervo...
Petrarca[2]

Промчались дни мои – как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,
Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений.

По милости надменных обольщений
Ночует сердце в склепе скромной ночи,
К земле бескостной жмется. Средоточий
Знакомых ищет, сладостных сплетений.

---

[1] Когда небо, и земля, и ветер умолкают... *Петрарка* (*итал.*). – *Ред.*
[2] Дни мои легче любого оленя... *Петрарка* (*итал.*). – *Ред.*

Но то, что в ней едва существовало, –
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря, –
Как хороша – к какой толпе пристала –
Как там клубится легких складок буря...

4–8 января 1934; июнь 1935

* * *

Голубые глаза и горячая лобная кость –
Мировая манила тебя молодящая злость.

И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.

На тебя надевали тиару – юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок, на Москве заводил кавардак гоголек, –
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легóк...

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец.

Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.

Часто пишется – казнь, а читается правильно – песнь.
Может быть, простота – уязвимая смертью болезнь?

Прямизна нашей мысли не только пугач для детей?
Не бумажные дести, а вести спасают людей.

Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.

На коленях держали для славных потомков листы,
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.

Меж тобой и страной ледяная рождается связь –
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.

Да не спросят тебя молодые, грядущие – те,
Каково тебе там – в пустоте, в чистоте-сироте...

10–11 января 1934; 1935

УТРО 10 ЯНВАРЯ 1934 ГОДА

I

Меня преследуют две-три случайных фразы, –
Весь день твержу: печаль моя жирна.
О Боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна...

Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?
Где ясный стан? Где прямизна речей,

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой,
Когда скользит, исполненный отваги,
С голуботвердой чокаясь рекой?

Он дирижировал кавказскими горами
И, машучи, ступал на тесных Альп тропы
И, озираючись, пустынными брегами
Шел, чуя разговор бесчисленной толпы.

Толпы умов, влияний, впечатлений
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль гляделась в зеркало явлений,
А Лия пела и плела венок.

II

Когда душе столь тóропкой, столь робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой –
Но смерти ей тропина не ясна.

Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука-первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь в продольный лес смычка.

И льется вспять, еще ленясь и мерясь,
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна,

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

III

Дышали шуб меха. Плечо к плечу теснилось.
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот.
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.

А посреди толпы стоял гравировальщик,
Готовый перенесть на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.

Как будто я повис на собственных ресницах,
И созревающий, и тянущийся весь, –
Доколе не сорвусь – разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь.

16–22 января 1934

* * *

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч,
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры. На, возьми,
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми!

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный...
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ...

Не серчай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь;
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария, – гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи. Уйди. Еще побудь.

13–14 февраля 1934

Воронежские тетради

ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ

* * *

Я живу на важных огородах.
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,
И далёко убегает гать.

Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.

И богато искривилась половица –
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится –
Только смерть да лавочка близка.

Апрель 1935

* * *

Наушнички, наушники мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса́ Аи
И в полночь с Красной площади гудочки...

Ну как метро?.. Молчи, в себе таи...
Не спрашивай, как набухают почки...
И вы, часов кремлевские бои, –
Язык пространства, сжатого до точки...

Апрель 1935

* * *

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож...

Апрель 1935

* * *

Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо – твой Буонаротти...

Апрель 1935

* * *

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова!
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Апрель 1935

ЧЕРНОЗЕМ

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, –
Комочки влажные моей земли и воли...

В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа –
Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то.

И все-таки земля – проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай, –
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо...

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте!
Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст...
Черноречивое молчание в работе.

Апрель 1935

* * *

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета –
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Май 1935

* * *

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:

На Красной площади всего круглей земля,
И скат ее твердеет добровольный,

На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно-раздольный,

Откидываясь вниз – до рисовых полей,
Покуда на земле последний жив невольник.

Май 1935

* * *

I

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла –
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.

А со мною жена – пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

II

Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток.
Полноводная Кама неслась на буек.

И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.

И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,

И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.

Апрель – май 1935

СТАНСЫ

1

Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу – и люди хороши.
Люблю шинель красноармейской складки –
Длину до пят, рукав простой и гладкий,
И волжской туче родственный покрой,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.

2

Проклятый шов, нелепая затея,
Нас разделили. А теперь – пойми:
Я должен жить, дыша и большевея,
И, перед смертью хорошея,
Еще побыть и поиграть с людьми!

3

Подумаешь, как в Чердыни-голу́бе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме:
Клевещущих козлов не досмотрел я драки,
Как петушок в прозрачной летней тьме, –
Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки –
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.

4

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата
Из дерева, стекла и молока...

5

Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла...

6

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь, сам-друг.
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню всё: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

7

И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен...
Как «Слово о полку» струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля – последнее оружье,
Сухая влажность черноземных га!

Май – июль 1935

* * *

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло
на дрожжах.
Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон, –
слитен, чуток,
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.
День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,
Ехала конная, пешая шла черноверхая масса –
Расширеньем аорты могущества в белых ночах – нет,
в ножах –
Глаз превращался в хвойное мясо.

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко,
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась
хорошо.

Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам
дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов –

Молодые любители белозубых стишков,
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!

Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой –
За бревенчатым тылом, на ленте простынной
Утонуть и вскочить на коня своего.

Апрель – 1 июня 1935

* * *

От сырой простыни говорящая –
Знать, нашелся на рыб звукопас –
Надвигалась картина звучащая
На меня, и на всех, и на вас...

Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последнейшей выточки –
На равнины зияющий пах...

Было слышно жужжание низкое
Самолетов, сгоревших дотла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла...

Измеряй меня, край, перекраивай –
Чуден жар прикрепленной земли!
Захлебнулась винтовка Чапаева –
Помоги, развяжи, раздели!..

Июнь 1935

* * *

Еще мы жизнью полны в высшей мере,
Еще гуляют в городах Союза
Из мотыльковых лапчатых материй
Китайчатые платьица и блузы.

Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,
И падают на чистую салфетку
Разумные густеющие прядки.

Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пишут звездоносно и хвостато
Толковые лиловые чернила.

25 мая 1935

* * *

Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гете манившее лоно –
Пусть я в ответе, но не в убытке:
Есть многодонная жизнь вне закона.

Июнь 1935

* * *

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчужденьи и в силе –
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле...

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.

И прадеда скрипкой гордился твой род,
От шейки ее хорошея,
И ты раскрывала свой аленький рот,
Смеясь, итальянясь, русея...

Я тяжкую память твою берегу,
Дичок, медвежонок, Миньона,
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

3 июня 1935

* * *

На мертвых ресницах Исаакий замерз,
И барские улицы сини –
Шарманщика смерть и медведицы ворс,
И чужие поленья в камине...

Уже выгоняет выжлятник пожар –
Линеек раскидистых стайку,
Несется земля – меблированный шар,
И зеркало корчит всезнайку.

Площадками лестниц – разлад и туман,
Дыханье, дыханье и пенье,
И Шуберта в шубе замерз талисман –
Движенье, движенье, движенье...

3 июня 1935

* * *

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой –
Кто с чохом – чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей –
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.

Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой –
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой –

Вертлявой, в дирижерских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках,
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.

Играй же на разрыв аорты,
С кошачьей головой во рту!
Три черта было, ты – четвертый,
Последний, чудный черт в цвету!

5 апреля–18 июня 1935

* * *

Бежит волна – волной волне хребет ломая,
Кидаясь на луну в невольничьей тоске,
И янычарская пучина молодая,
Неусыпленная столица волновая,
Кривеет, мечется и роет ров в песке.

А через воздух сумрачно-хлопчатый
Неначатой стены мерещатся зубцы,
А с пенных лестниц падают солдаты
Султанов мнительных – разбрызганы, разъяты,
И яд разносят хладные скопцы.

27 июня 1935

* * *

Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат
Морского лета земляники –
Двуискренние сердолики
И муравьиный брат – агат,

Но мне милей простой солдат
Морской пучины – серый, дикий,
Которому никто не рад.

Июль 1935

* * *

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну –
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну –
Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину.

Возгласы темно-зеленой хвои,
С глубиной колодезной венки
Тянут жизнь и время дорогое,
Опершись на смертные станки, –
Обручи краснознаменной хвои,
Азбучные, крупные венки!

Шли товарищи последнего призыва
По работе в жестких небесах,
Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах.

И зенитных тысячи орудий –
Карих то зрачков иль голубых –
Шли нестройно – люди, люди, люди, –
Кто же будет продолжать за них?

21 июля 1935 – 30 мая 1936

ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ

* * *

Из-за домов, из-за лесов,
Длинней товарных поездов –
Гуди за власть ночных трудов,
Садко заводов и садов.

Гуди, старик, дыши сладко́,
Как новгородский гость Садко
Под синим морем глубоко, –
Гуди протяжно в глубь веков,
Гудок советских городов.

6–9 декабря 1936

РОЖДЕНИЕ УЛЫБКИ

Когда заулыбается дитя
С развилинкой и горечи, и сласти,
Концы его улыбки не шутя
Уходят в океанское безвластье.

Ему непобедимо хорошо:
Углами губ оно играет в славе –
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познанья яви.

На лапы из воды поднялся материк –
Улитки рта наплыв и приближенье –
И бьет в глаза один атлантов миг
Под легкий наигрыш хвалы и удивленья.

8 декабря 1936 – 17 января 1937

* * *

Подивлюсь на свет еще немного,
На детей и на снега,
Но улыбка неподдельна, как дорога,
Непослушна, не слуга.

Декабрь 1936 – 1938 (?)

* * *

Мой щегол, я голову закину –
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоем?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?

Что за воздух у него в надлобьи –
Черн и красен, желт и бел!
В обе стороны он в оба смотрит – в обе!
Не посмотрит – улетел!

9–27 декабря 1936

* * *

Нынче день какой-то желторотый –
Не могу его понять,
И глядят приморские ворота
В якорях, в туманах на меня...

Тихий, тихий по воде линялой
Ход военных кораблей,
И каналов узкие пеналы
Подо льдом еще черней...

9–28 декабря 1936

* * *

Не у меня, не у тебя – у них
Вся сила окончаний родовых:
Их воздухом поющ тростник и скважист,
И с благодарностью улитки губ людских
Потянут на себя их дышащую тяжесть.
Нет имени у них. Войди в их хрящ,
И будешь ты наследником их княжеств, –

И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их извилинах, развивах,
Изобразишь и наслажденья их,
И то, что мучит их – в приливах и отливах.

9–27 декабря 1936

* * *

Внутри горы бездействует кумир
В покоях бережных, безбрежных и счастливых,
А с шеи каплет ожерелий жир,
Оберегая сна приливы и отливы.

Когда он мальчик был и с ним играл павлин,
Его индийской радугой кормили,
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили.

Кость усыпленная завязана узлом,
Очеловечены колени, руки, плечи.
Он улыбается своим тишайшим ртом,
Он мыслит костию и чувствует челом
И вспомнить силится свой облик человечий...

10–26 декабря 1936

* * *

Я в сердце века. Путь неясен,
А время удаляет цель –
И посоха усталый ясень,
И меди нищенскую цвель.

14 декабря 1936

* * *

А мастер пушечного цеха,
Кузнечных памятников швец,
Мне скажет: ничего, отец, –
Уж мы сошьем тебе такое...

Декабрь 1936 (?)

* * *

Сосновой рощицы закон:
Виол и арф семейный звон.
Стволы извилисты и голы,
Но всё же арфы и виолы
Растут, как будто каждый ствол
На арфу начал гнуть Эол
И бросил, о корнях жалея,
Жалея ствол, жалея сил;
Виолу с арфой пробудил
Звучать в коре, коричневея.

16–18 декабря 1936

* * *

Пластинкой тоненькой жиллета
Легко щетину спячки снять –
Полуукраинское лето
Давай с тобою вспоминать.

Вы, именитые вершины,
Дерев косматых именины –
Честь Рюисдалевых картин,
И на почин – лишь куст один
В янтарь и мясо красных глин.

Земля бежит наверх. Приятно
Глядеть на чистые пласты
И быть хозяином объятной
Семипалатной простоты.

Его холмы к далекой цели
Стогами легкими летели,
Его дорог степной бульвар
Как цепь шатров в тенистый жар!
И на пожар рванулась ива,
А тополь встал самолюбиво...
Над желтым лагерем жнивья
Морозных дымов колея.

А Дон еще, как полукровка,
Сребрясь и мелко, и неловко,
Воды набравши с полковша,
Терялся, что моя душа,

Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели...

15–27 декабря 1936

* * *

Ночь. Дорога. Сон первичный
Соблазнителен и нов...
Что мне снится? Рукавичный
Снегом пышущий Тамбов
Или Цны – реки обычной –
Белый, белый бел-покров?

Или я в полях совхозных –
Воздух в рот и жизнь берет
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот?

Кроме хлеба, кроме дома,
Снится мне глубокий сон:
Трудодень, подъятый дремой,
Превратился в синий Дон...

Анна, Россошь и Гремячье –
Процветут их имена –

Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна!..

23–27 декабря 1936

* * *

Вехи дальние обоза
Сквозь стекло особняка,
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес – еловый?
Не еловый, а лиловый, –
И какая там береза,
Не скажу наверняка –
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка...

26 декабря 1936

* * *

Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола...
Это мачеха Кольцова...
Шутишь – родина щегла!
Только города немого
В гололедицу обзор,
Только чайника ночного
Сам с собою разговор,
В гуще воздуха степного
Перекличка поездов
Да украинская мова
Их растянутых гудков...

23–25 декабря 1936

* * *

Шло цепочкой в темноводье
Протяженных гроз ведро
Из дворянского угодья
В океанское ядро.

Шло, само себя колыша,
Осторожно, грозно шло...
Смотришь: небо стало выше –
Новоселье, дом и крыша –
И на улице светло!

26 декабря 1936

* * *

Когда щегол в воздушной сдобе
Вдруг затрясется, сердцевит,
Ученый плащик перчит злоба,
А чепчик черным красовит.

Клевещет жердочка и планка,
Клевещет клетка сотней спиц –
И всё на свете наизнанку,
И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц.

Декабрь 1936

* * *

Как подарок запоздалый
Ощутима мной зима –
Я люблю ее сначала
Неуверенный размах.

Хороша она испугом,
Как начало грозных дел, –
Перед всем безлесным кругом
Даже ворон оробел.

Но сильней всего непрочно –
Выпуклых голубизна –
Полукруглый лед височный
Речек, бающих без сна...

29–30 декабря 1936

* * *

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий –
Внук он зелени стоячей
И купец воды морской.

Там, где огненными щами
Угощается Кащей,
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей –
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.

У него в покоях спящих
Кот живет не для игры –
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы,
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих –
Шароватых искр пиры...

29–30 декабря 1936

* * *

Твой зрачок в небесной корке,
Обращенный вдаль и ниц,
Защищают оговорки
Слабых, чующих ресниц.

Будет он, обожествленный,
Долго жить в родной стране,
Омут ока удивленный, –
Кинь его вдогонку мне!

Он глядит уже охотно
В мимолетные века –
Светлый, радужный, бесплотный,
Умоляющий пока.

2 января 1937

* * *

Улыбнись, ягненок гневный с Рафаэлева холста, –
На холсте уста вселенной, но она уже не та...

В легком воздухе свирели раствори жемчужин боль –
В синий, синий цвет синели океана въелась соль...

Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты,
Складки бурного покоя на коленях разлиты.

На скале черствее хлеба – молодых тростинки рощ,
И плывет углами неба восхитительная мощь.

9 января 1937

* * *

Когда в ветвях понурых
Заводит чародей
Гнедых или кауррых
Шушуканье мастей, –

Не хочет петь линючий,
Ленивый богатырь –
И малый, и могучий
Зимующий снегирь, –

Под неба нависанье,
Под свод его бровей
В сиреневые сани
Усядусь поскорей...

9 января 1937

* * *

Я около Кольцова
Как сокол закольцован –
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.

К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Как вестник, без указа,
Распахнут кругозор.

В степи кочуют кочки –
И всё идут, идут
Ночлеги, ночи, ночки –
Как бы слепых везут...

9 января (?) 1937

* * *

Дрожжи мира дорогие:
Звуки, слезы и труды –
Ударенья дождевые
Закипающей беды,
И потери звуковые
Из какой вернуть руды?

В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины слепые,
Медной полные воды, –
И идешь за ними следом,
Сам себе немил, неведом –
И слепой, и поводырь...

12–18 января 1937

* * *

Влез бесенок в мокрой шерстке –
Ну куды ему, куды? –
В подкопытные наперстки,
В торопливые следы –
По копейкам воздух версткий
Обирает с слободы...

Брызжет в зеркальцах дорога –
Утомленные следы
Постоят еще немного
Без покрова, без слюды...
Колесо брюзжит отлого:
Улеглось – и полбеды!

Скучно мне: мое прямое
Дело тараторит вкось –
По нему прошлось другое,
Надсмеялось, сбило ось...

12–18 января 1937

* * *

Еще не умер ты. Еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен –
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И жалок тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.

15–16 января 1937

* * *

В лицо морозу я гляжу один:
Он – никуда, я – ниоткуда,
И всё утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете –
Его прищур спокоен и утешен.
Десятизначные леса – почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен.

16 января 1937

* * *

О, этот медленный, одышливый простор!
Я им пресыщен до отказа, –
И отдышавшийся распахнут кругозор –
Повязку бы на оба глаза!

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
На берегах зубчатых Камы:
Я б удержал ее застенчивый рукав,
Ее круги, края и ямы.

Я б с ней сработался – на век, на миг один –
Стремнин осадистых завистник,
Я б слушал под корой текучих древесин
Ход кольцеванья волокнистый...

16 января 1937

* * *

Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?
Ведь то, что мы открытостью в них мним,
Мы сами видим, засыпая зрим –
И всё растет вопрос: куда они, откуда,
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим, –
Пространств несозданных Иуда?

16 января 1937

* * *

Как женственное серебро горит,
Что с окисью и примесью боролось,
И тихая работа серебрит
Железный плуг и песнотворца голос.

Январь 1937 (?)

* * *

Я нынче в паутине световой –
Черноволосой, светло-русой, –
Народу нужен свет и воздух голубой,
И нужен хлеб и снег Эльбруса.

И не с кем посоветоваться мне,
А сам найду его едва ли:
Таких прозрачных, плачущих камней
Нет ни в Крыму, ни на Урале.

Народу нужен стих таинственно-родной,
Чтоб от него он вечно просыпался
И льнянокудрою, каштановой волной –
Его звучаньем – умывался...

19 января 1937

* * *

Как землю где-нибудь небесный камень будит,
Упал опальный стих, не знающий отца:
Неумолимое – находка для творца,
Не может быть другим, никто его не судит.

20 января 1937

* * *

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами,
Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами,

Или тень баклуши бьет
И позевывает с вами,

Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,

И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей...

22 января 1937

* * *

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? –
И хочется мычать от всех замков и скрепок.

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы –
И прячутся поспешно в уголки,
И выбегают из углов угланы...

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке, –

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!

1 февраля 1937

* * *

Люблю морозное дыханье
И пара зимнего признанье:
Я – это я; явь – это явь...

И мальчик, красный, как фонарик,
Своих салазок государик
И заправила, мчится вплавь.

И я – в размолвке с миром, с волей –
Заразе саночек мирволю –
В сребристых скобках, в бахромах –

И век бы падал векши легче,
И легче векши к мягкой речке –
Полнеба в валенках, в ногах...

24 января 1937

* * *

Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях,
Смотрит века могучая веха
И бровей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала,
А потом куда хочешь влеки –
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданья у мощной реки.

Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипяченой бак,
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.

Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,
И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журьба.

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах...

Не припомнить того, что было:
Губы жарки, слова черствы –
Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы...

А на деле-то было тихо,
Только шел пароход по реке,
Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке...

И к нему – в его сердцевину –
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел...

Январь 1937

* * *

Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей – скалы подспорье и пособье?
А коршун где – и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?

Тому не быть – трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы –
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Он эхо и привет, он веха – нет, лемех...
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех –
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

19 января – 4 февраля 1937

* * *

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.

Простишь ли ты меня, великолепный брат,
И мастер, и отец черно-зеленой теми, –
Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме
Смущают не к добру, смущают без добра
Мехами сумрака взволнованное племя.

4 февраля 1937

* * *

Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева,
И парус медленный, что облаком продолжен, –
Я с вами разлучен, вас оценив едва:
Длинней органных фуг – горька морей трава,
Ложноволосая, – и пахнет долгой ложью,
Железной нежностью хмелеет голова,
И ржавчина чуть-чуть отлогий берег гложет...
Что ж мне под голову другой песок подложен?
Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье
Иль этот ровный край – вот все мои права,
И полной грудью их вдыхать еще я должен.

4 февраля 1937

* * *

Пою, когда гортань сыра, душа – суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознанье:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
И грудь стесняется, без языка – тиха:
Уже не я пою – поет мое дыханье,
И в горных ножнах слух, и голова глуха...

Песнь бескорыстная – сама себе хвала:
Утеха для друзей и для врагов – смола.

Песнь одноглазая, растущая из мха, –
Одноголосый дар охотничьего быта,
Которую поют верхом и на верхах,
Держа дыханье вольно и открыто,
Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито
На свадьбу молодых доставить без греха...

8 февраля 1937

* * *

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую всё, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе...

И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную...

8 февраля 1937

* * *

Были очи острее точимой косы –
По зегзице в зенице и по капле росы, –

И едва научились они во весь рост
Различать одинокое множество звезд.

9 февраля 1937

* * *

Еще он помнит башмаков износ –
Моих подметок стертое величье,
А я – его: как он разноголос,
Черноволос, с Давид-горой гранича.

Подновлены мелком или белком
Фисташковые улицы-пролазы:
Балкон – наклон – подкова – конь – балкон,
Дубки, чинары, медленные вязы...

И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света, –
А город так горазд и так уходит в крепь
И в моложавое, стареющее лето.

7–11 февраля 1937

* * *

Обороняет сон мою донскую сонь,
И разворачиваются черепах маневры –
Их быстроходная, взволнованная бронь
И любопытные ковры людского говора...

И в бой меня ведут понятные слова –
За оборону жизни, оборону
Страны-земли, где смерть уснет, как днем сова...
Стекло Москвы горит меж ребрами гранеными.

Необоримые кремлевские слова –
В них оборона обороны;
И брони боевой и бровь, и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.

И слушает земля – другие страны – бой,
Из хорового падающий короба:
– Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой, –
И хор поет с часами рука об руку.

3–11 февраля 1937

* * *

Как дерево и медь Фаворского полет –
В дощатом воздухе мы с временем соседи,
И вместе нас ведет слоистый флот
Распиленных дубов и яворовой меди.

И в кольцах сердится еще смола, сочась,
Но разве сердце – лишь испуганное мясо?
Я сердцем виноват и сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.

Час, насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми глазами...
Я обведу еще глазами площадь всей,
Всей этой площади с ее знамен лесами.

11 февраля 1937

* * *

Я в львиный ров и крепость погружен
И опускаюсь ниже, ниже, ниже
Под этих звуков ливень дрожжевой –
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья.

Как близко, близко твой подходит зов –
До заповедей рода, и первины –
Океанийских низка жемчугов
И таитянок кроткие корзины...

Карающего пенья материк,
Густого голоса низинами надвинься!
Богатых дочерей дикарско-сладкий лик
Не стоит твоего – праматери – мизинца.

Не ограничена еще моя пора:
И я сопровождал восторг вселенский,
Как вполголосная органная игра
Сопровождает голос женский.

12 февраля 1937

ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ

СТИХИ О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ

1

Этот воздух пусть будет свидетелем,
Дальнобойное сердце его,
И в землянках, всеядный и деятельный,
Океан без окна – вещество.

До чего эти звезды изветливы!
Всё им нужно глядеть – для чего? –
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна, вещество...

Помнит дождь, неприветливый сеятель,
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Будут люди, холодные, хилые,
Убивать, холодать, голодать –
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать.

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как горбатого учит могила
И воздушная яма влечет.

2

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры –
Золотые созвездий жиры...

3

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей,
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте –
Доброй ночи, всего им хорошего
От лица земляных крепостей.

Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей –
За тобой, от тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте –

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил, –
Развороченных – пасмурный, оспенный
И придымленный гений могил.

4

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружи́т с человеком калека –
Им обоим найдется работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка –
Эй, товарищество, – шар земной!

5

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб – от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Развивается череп от жизни
Во весь лоб – от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится –
Чаша чаш и отчизна отчизне –
Звездным рубчиком шитый чепец –
Чепчик счастья – Шекспира отец...

6

Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Как бы обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный –
Эта слава другим не в пример.

И сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Для чего ж заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Если белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчатся в свой дом?

Чуешь, мачеха звездного табора,
Ночь, – что будет сейчас и потом?

7

Напрягаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом...
– Я рожден в девяносто втором...
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья, с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году, и столетья
Окружают меня огнем.

2 марта 1937 – 1938

* * *

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,

Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых...

В легком декабре твой воздух стриженый
Индевеет – денежный, обиженный...

Но фиалка и в тюрьме – с ума сойти в безбрежности! –
Свищет песенка – насмешница, небрежница,

Где бурлила, королей смывая,
Улица июльская кривая...

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли –

В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницей...

Там, где с розой на груди в двухбашенной испарине
Паутины каменеет шаль,

Жаль, что карусель воздушно-благодарная
Оборачивается, городом дыша, –

Наклони свою шею, безбожница
С золотыми глазами козы,

И кривыми картавыми ножницами
Купы скаредных роз раздразни.

3 марта 1937

* * *

Я видел озеро, стоявшее отвесно.
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный.
Лиса и лев боролись в челноке.

Глазели внутрь трех лающих порталов
Недуги – недруги других невскрытых дуг.
Фиалковый пролет газель перебежала,
И башнями скала вздохнула вдруг, –

И, влагой напоен, восстал песчаник честный,
И средь ремесленного города-сверчка
Мальчишка-океан встает из речки пресной
И чашками воды швыряет в облака.

4 марта 1937

* * *

На доске малиновой, червонной,
На кону горы крутопоклонной –
Втридоро́га снегом напоенный
Высоко занесся санный, сонный
Полугород, полуберег конный,
В сбрую красных углей запряженный,
Желтою мастикой утепленный
И перегоревший в сахар жженый.
Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного фламандского уклона,
Не раскаркается здесь веселая, кривая
Карличья в ушастых шапках стая, –
И, меня сравненьем не смущая,
Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую влюбленный,
Как сухую, но живую лапу клена
Дым уносит, на ходулях убегая...

6 марта 1937

* * *

Я скажу это начерно, шепотом –
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра...

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище –
Раздвижной и прижизненный дом.

9 марта 1937

* * *

Небо вечери в стену влюбилось –
Всё изрублено светом рубцов, –
Провалилось в нее, осветилось,
Превратилось в тринадцать голов.

Вот оно – мое небо ночное,
Пред которым как мальчик стою:
Холодеет спина, очи ноют,
Стенобитную твердь я ловлю –

И под каждым ударом тарана
Осыпаются звезды без глав:
Той же росписи новые раны –
Неоконченной вечности мгла...

9 марта 1937

* * *

Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответь...
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.

Не разнять меня с жизнью – ей снится
Убивать – и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски...

И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отзвук неба во всю мою грудь!

9 (?) марта 1937

* * *

Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответь! –
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть,
Задыхаться, чернеть, голубеть...

Если я не вчерашний, не зряшный –
Ты, который стоишь надо мной, –
Если ты виночерпий и чашник,
Дай мне силу без пены пустой
Выпить здравье кружащейся башни
Рукопашной лазури шальной...

Голубятни, черноты, скворешни,
Самых синих теней образцы –
Лед весенний, лед высший, лед вешний,
Облака – обаянья борцы, –
Тише: тучу ведут под уздцы!

9–19 марта 1937

* * *

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя –
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия...

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнова
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом,
Только здесь – на земле, а не нá небе,
Как в наполненный музыкой дом, –
Только их не спугнуть, не изранить бы –
Хорошо, если мы доживем...

То, что я говорю, мне прости...
Тихо, тихо его мне прочти...

15 марта 1937

* * *

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я согласился с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.

Я обращался к воздуху-слуге,
Ждал от него услуги или вести,
И собирался в путь, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий...

Где больше неба мне – там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

16 марта 1937

РИМ

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят,
И, однажды проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин
Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят, –

Древность легкая, летняя, наглая,
С жадным взглядом и плоской ступней,
Словно мост ненарушенный Ангела
В плоскоступьи над желтой водой, –

Голубой, онелепленный, пепельный,
В барабанном наросте домов,
Город, ласточкой купола лепленный
Из проулков и сквозняков, –
Превратили в убийства питомник
Вы – коричневой крови наемники,
Италийские чернорубашечники,
Мертвых цезарей злые щенки...

Всё твои, Микель-Анджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд:
Ночь, сырая от слез, и невинный,
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, –
Мощь свободная и мера львиная
В усыпленьи и в рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки
В площадь льющихся лестничных рек, –
Чтоб звучали шаги, как поступки,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.

Ямы Форума заново вырыты,
И открыты ворота для Ирода –
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

16 марта 1937

* * *

Чтоб, приятель и ветра и капель,
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках цари.

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец,
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного праха истец.

Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок
И в прощаньи отдав, в верещаньи,
Мир, который как череп глубок, –

Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.

Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть –
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть...

18 марта 1937

* * *

Гончарами велик остров синий –
Крит зеленый. Запекся их дар
В землю звонкую. Слышишь подземных
Плавников могучий удар?

Это море легко на помине
В осчастливленной обжигом глине,
И сосуда студеная власть
Раскололась на море и глаз.

Ты отдай мне мое, остров синий,
Крит летучий, отдай мне мой труд
И сосцами текучей богини
Воскорми обожженный сосуд...

Это было и пелось, синея,
Много задолго до Одиссея,
До того, как еду и питье
Называли «моя» и «мое».

Выздоравливай же, излучайся,
Волоокого неба звезда,
И летучая рыба – случайность,
И вода, говорящая «да».

Март 1937

* * *

Длинной жажды должник виноватый,
Мудрый сводник вина и воды:
На боках твоих пляшут козлята
И под музыку зреют плоды.

Флейты свищут, клянутся и злятся,
Что беда на твоем ободу
Черно-красном, – и некому взяться
За тебя, чтоб поправить беду.

21 марта 1937

* * *

О, как же я хочу,
Нечуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись –
Другого счастья нет –
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

А я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шепотом лучу
Тебя, дитя, вручу.

27 марта 1937

* * *

Нереиды мои, нереиды!
Вам рыданья – еда и питье,
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно мое.

Март 1937

* * *

Флейты греческой тэта и йота –
Словно ей не хватало молвы, –
Неизваянная, без отчета,
Зрела, маялась, шла через рвы...

И ее невозможно покинуть,
Стиснув зубы ее не унять,
И в слова языком не продвинуть,
И губами ее не разнять...

А флейтист не узнает покоя:
Ему кажется, что он один,
Что когда-то он море родное
Из сиреневых вылепил глин...

Звонким шепотом честолюбивых,
Вспоминающих шепотом губ
Он торопится быть бережливым,
Емлет звуки – опрятен и скуп...

Вслед за ним мы его не повто́рим,
Комья глины в ладонях моря,
И когда я наполнился морем –
Мором стала мне мера моя...

И свои-то мне губы не любы,
И убийство на том же корню –
И невольно на убыль, на убыль
Равнодействие флейты клоню...

7 апреля 1937

* * *

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за́ город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
«Мы вернемся еще – разумейте...»

Апрель 1937

* * *

Я к губам подношу эту зелень –
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвопреступную землю –
Мать подснежников, кленов, дубков.

Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?

А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочною выдумкой пар.

30 апреля 1937

* * *

Клейкой клятвой липнут почки,
Вот звезда скатилась –
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась.

– Подожди, – шепнула внятно
Неба половина,
И ответил шелест скатный:
– Мне бы только сына...

Стану я совсем другою
Жизнью величаться.
Будет зыбка под ногою
Легкою качаться.

Будет муж, прямой и дикий,
Кротким и послушным,
Без него, как в черной книге,
Страшно в мире душном...

Подмигнув, на полуслове
За́пнулась зарница.
Старший брат нахмурил брови.
Жалится сестрица.

Ветер бархатный, крыластый
Дует в дудку тоже, –
Чтобы мальчик был лобастый,
На двоих похожий.

Спросит гром своих знакомых:
– Вы, грома́, видали,
Чтобы липу до черемух
Замуж выдавали?

Да из свежих одиночеств
Леса – крики пташьи:
Свахи-птицы свищут почесть
Льстивую Наташе.

И к губам такие липнут
Клятвы, что, по чести,
В конском топоте погибнуть
Мчатся очи вместе.

Все ее торопят часто:
– Ясная Наташа,
Выходи, за наше счастье,
За здоровье наше!

2 мая 1937

* * *

На меня нацелилась груша да черемуха –
Силою рассыпчатой бьет в меня без промаха.

Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями, –
Что за двоевластье там? В чьем соцветьи истина?

С цвету ли, с размаха ли – бьет воздушно-целыми
В воздух, убиваемый кистенями белыми.

И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется – смешана, обрывчива.

4 мая 1937

* * *

I

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет – чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В ее походке хочет задержаться –
О том, что эта вешняя погода
Для нас – праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

II

Есть женщины, сырой земле родные,
И каждый шаг их – гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших – их призванье.
И ласки требовать у них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня – ангел, завтра – червь могильный,
А послезавтра – только очертанье...
Что было – поступь – станет недоступно...
Цветы бессмертны. Небо целокупно.
И всё, что будет, – только обещанье.

4 мая 1937

После Воронежа

ЧАРЛИ ЧАПЛИН

Чарли Чаплин
вышел из кино,
Две подметки,
заячья губа,
Две гляделки,
полные чернил
И прекрасных
удивленных сил.
Чарли Чаплин –
заячья губа,
Две подметки –
жалкая судьба.
Как-то мы живем неладно все –
чужие, чужие...
Оловянный
ужас на лице,
Голова
не держится совсем.
Ходит сажа,
вакса семенит,
И тихонько
Чаплин говорит:
«Для чего я славен и любим
и даже знаменит.. »
И ведет его шоссе большое
к чужим, к чужим...

Чарли Чаплин,
нажимай педаль,
Чаплин, кролик,
пробивайся в роль,
Чисти корольки,
ролики надень,
А твоя жена –
слепая тень, –
И чудит, чудит чужая даль...
Отчего
у Чаплина тюльпан?
Почему
так ласкова толпа?
Потому –
что это ведь Москва!
Чарли, Чарли,
надо рисковать,
Ты совсем
не вовремя раскис,
Котелок твой –
тот же океан,
А Москва
так близко, хоть влюбись
В дорогую дорогу...

1937

* * *

Пароходик с петухами
Пó небу плывет,
И подвода с битюгами
Никуда нейдет.

И звенит будильник сонный –
Хочешь, повтори, –
«Полторы воздушных тонны,
Тонны полторы»...

И, паяльных звуков море
В перебои взяв,
Москва слышит, Москва смотрит,
Зорко смотрит в явь.

Только на крапивах пыльных –
Вот чего боюсь –
Не изволил бы в напильник
Шею выжать гусь.

3 июля 1937

* * *

На откосы, Волга, хлынь,
Волга, хлынь,
Гром, ударь в тесины новые,
Крупный град, по стеклам двинь, –
грянь и двинь, –
А в Москве ты, чернобровая,
Выше голову закинь.

Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные, лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые,
Вызвал губы шепотком...

Как досталась – развяжи, развяжи –
Красота такая галочья,
От индейского раджи, от раджи, –
Алексею что ль Михайлычу,
Волга, вызнай и скажи.

Против друга – за грехи, за грехи –
Берега стоят неровные,
И летают поверхи, поверхи
Ястреба тяжелокровные –
За коньковых изб верхи...

Ах, я видеть не могу, не могу
Берега серо-зеленые:
Словно ходят по лугу, по лугу
Косари умалишенные...
Косит ливень луг в дугу.

4 июля 1937

Стихотворения, не вошедшие в основное собрание

ЮНОШЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Среди лесов, унылых и заброшенных,
Пусть остается хлеб в полях нескошенным!
Мы ждем гостей незваных и непрошеных,
Мы ждем гостей!

Пускай гниют колосья перезрелые!
Они придут на нивы пожелтелые,
И не сносить вам, честные и смелые,
Своих голов!

Они растопчут нивы золотистые,
Они разроют кладбище тенистое,
Потом развяжет их уста нечистые
Кровавый хмель!

Они ворвутся в избы почернелые,
Зажгут пожар, хмельные, озверелые...
Не остановят их седины старца белые,
Ни детский плач!..

Среди лесов, унылых и заброшенных,
Мы оставляем хлеб в полях нескошенным.
Мы ждем гостей незваных и непрошеных,
Своих детей!

1906

* * *

Тянется лесом дороженька пыльная,
Тихо и пусто вокруг.
Родина, выплакав слезы обильные,
Спит, и во сне, как рабыня бессильная,
Ждет неизведанных мук.

Вот задрожали березы плакучие
И встрепенулися вдруг,
Тени легли на дорогу сыпучую:
Что-то ползет, надвигается тучею,
Что-то наводит испуг...

С гордой осанкою, с лицами сытыми...
Ноги торчат в стременах.
Серую пыль поднимают копытами
И колеи оставляют изрытыми...
Все на холеных конях.

Нет им конца. Заостренными пиками
В солнечном свете пестрят.
Воздух наполнили песней и криками,
И огоньками звериными, дикими
Черные очи горят...

Прочь! Не тревожьте поддельным веселием
Мертвого, рабского сна.
Скоро порадуют вас новоселием,
Хлебом и солью, крестьянским изделием...
Крепче нажать стремена!

Скоро столкнется с звериными силами
Дело великой любви!
Скоро покроется поле могилами,
Синие пики обнимутся с вилами
И обагрятся в крови!

1906

1908–1937

* * *

О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала,
Колыхала мой челн, челн подвижный, игривый и острый.
В водном плеске душа колыбельную негу слыхала,
И поодаль стояли пустынные скалы, как сестры.
Отовсюду звучала старинная песнь – Калевала:
Песнь железа и камня о скорбном порыве Титана.
И песчаная отмель – добыча вечернего вала,
Как невеста, белела на пурпуре водного стана.
Как от пьяного солнца бесшумные падали стрелы
И на дно опускались, и тихое дно зажигали;
Как с небесного древа клонилось, как плод перезрелый,
Слишком яркое солнце, и первые звезды мигали;
Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый;
И не знаю, как долго, не знаю, кому я молился...
Неоглядная Сайма струилась потоками лавы.
Белый пар над водою тихонько вставал и клубился.

1908

* * *

Мой тихий сон, мой сон ежеминутный –
Невидимый, завороженный лес,
Где носится какой-то шорох смутный,
Как дивный шелест шелковых завес?

В безумных встречах и туманных спорах,
На перекрестке удивленных глаз
Невидимый и непонятный шорох
Под пеплом вспыхнул и уже погас.

И как туманом одевает лица,
И слово замирает на устах,
И кажется – испуганная птица
Метнулась в вечереющих кустах.

1908 (?)

* * *

В морозном воздухе растаял легкий дым,
И я, печальною свободою томим,
Хотел бы вознестись в холодном, тихом гимне.
Исчезнуть навсегда... Но суждено идти мне
По снежной улице в вечерний этот час –
Собачий слышен лай, и запад не погас,
И попадаются прохожие навстречу.
Не говори со мной – что я тебе отвечу?

1909

* * *

Истончается тонкий тлен –
Фиолетовый гобелен,

К нам – на воды и на леса –
Опускаются небеса.

Нерешительная рука
Эти вывела облака,

И печальный встречает взор
Отуманенный их узор.

Недоволен стою и тих
Я, создатель миров моих, –

Где искусственны небеса
И хрустальная спит роса.

1909

* * *

Ты улыбаешься кому,
О путешественник веселый,
Тебе неведомые долы
Благословляешь почему?

Никто тебя не проведет
По зеленеющим долинам
И рокотаньем соловьиным
Никто тебя не позовет, –

Когда, закутанный плащом,
Не согревающим, но милым,
К повелевающим светилам
Смиренным возлетишь лучом.

<1909>

* * *

В просторах сумеречной залы
Почтительная тишина.
Как в ожидании вина
Пустые зыблются кристаллы;

Окровавлéнными в лучах,
Вытягивая безнадежно
Уста, открывшиеся нежно
На целомудренных стеблях, –

Смотрите: мы упоены
Вином, которого не влили.
Что может быть слабее лилий
И сладостнее тишины?

<1909>

* * *

В холодных переливах лир
Какая замирает осень!
Как сладостен и как несносен
Ее золотострунный клир!

Она поет в церковных хорах
И в монастырских вечерах,
И, рассыпая в урны прах,
Печатает вино в амфо́рах.

Как успокоенный сосуд
С уже отстоенным раствором,
Духовное – доступно взорам,
И очертания живут.

Колосья, так недавно сжаты,
Рядами ровными лежат;
И пальцы тонкие дрожат,
К таким же, как они, прижаты.

<1909>

* * *

Твоя веселая нежность
Смутила меня.
К чему печальные речи,
Когда глаза
Горят, как свечи
Среди белого дня?

Среди белого дня...
И та – далече –
Одна слеза,
Воспоминание встречи;
И, плечи клоня,
Приподымает их нежность.

<1909>

* * *

Не говорите мне о вечности –
Я не могу ее вместить.
Но как же вечность не простить
Моей любви, моей беспечности?

Я слышу, как она растет
И полуночным валом катится,
Но – слишком дорого поплатится,
Кто слишком близко подойдет.

И тихим отголоскам шума я
Издалека бываю рад –
Ее пенящихся громад, –
О милом и ничтожном думая.

<1909>

* * *

На влажный камень возведенный,
Амур, печальный и нагой,
Своей младенческой ногой
Переступает, удивленный

Тому, что в мире старость есть –
Зеленый мох и влажный камень, –
И сердца незаконный пламень –
Его ребяческая месть.

И начинает ветер грубый
В наивные долины дуть;
Нельзя достаточно сомкнуть
Свои страдальческие губы.

<1909>

* * *

В безветрии моих садов
Искусственная никнет роза;
Над ней не тяготит угроза
Неизрекаемых часов.

В юдоли дольней бытия
Она участвует невольно;
Над нею небо безглагольно
И ясно, – и вокруг нея

Немногое, на чем печать
Моих пугливых вдохновений
И трепетных прикосновений,
Привыкших только отмечать.

<1909>

* * *

Бесшумное веретено
Отпущено моей рукою.
И – мною ли оживлено –
Переливается оно
Безостановочной волною –
Веретено.

Всё одинаково темно;
Всё в мире переплетено
Моею собственной рукою;
И, непрерывно и одно,
Обуреваемое мною
Остановить мне не дано –
Веретено.

<1909>

* * *

Озарены луной ночевья
Бесшумной мыши полевой;
Прозрачными стоят деревья,
Овеянные темнотой, –

Когда рябина, развивая
Листы, которые умрут,
Завидует, перебирая
Их выхоленный изумруд, –

Печальной участи скитальцев
И нежной участи детей;
И тысячи зеленых пальцев
Колеблет множество ветвей.

<1909>

* * *

Если утро зимнее темно,
То – холодное твое окно
Выглядит как старое панно:

Зеленеет плющ перед окном,
И стоят под ледяным стеклом
Тихие деревья под чехлом –

Ото всех ветров защищены,
Ото всяких бед ограждены
И ветвями переплетены.

Полусвет становится лучист.
Перед самой рамой – шелковист
Содрогается последний лист.

<1909>

* * *

Пустует место. Вечер длится,
Твоим отсутствием томим.
Назначенный устам твоим,
Напиток на столе дымится.

Так ворожащими шагами
Пустынницы не подойдешь;
И на стекле не проведешь
Узора спящими губами;

Напрасно резвые извивы –
Покуда он еще дымит –
В пустынном воздухе чертит
Напиток долготерпеливый.

<1909>

* * *

В смиренномудрых высотáх
Зажглись осенние Плеяды.
И нету никакой отрады,
И нету горечи в мирах.

Во всем однообразный смысл
И совершенная свобода:
Не воплощает ли природа
Гармонию высоких числ?

Но выпал снег – и нагота
Деревьев траурною стала;
Напрасно вечером зияла
Небес златая пустота;

И белый, черный, золотой –
Печальнейшее из созвучий –
Отозвалося неминучей
И окончательной зимой.

<1909>

* * *

Дыханье вещее в стихах моих
Животворящего их духа,
Ты прикасаешься сердец каких –
Какого достигаешь слуха?

Или пустыннее напева ты
Тех раковин, в песке поющих,
Что круг очерченной им красоты
Не разомкнули для живущих?

<1909>

* * *

Нету иного пути,
Как через руку твою –
Как же иначе найти
Милую землю мою?

Плыть к дорогим берегам,
Если захочешь помочь:
Руку приблизив к устам,
Не отнимай ее прочь.

Тонкие пальцы дрожат;
Хрупкое тело живет:
Лодка, скользящая над
Тихою бездною вод.

<1909>

* * *

Что музыка нежных
Моих славословий
И волны любови
В напевах мятежных,

Когда мне оттуда
Протянуты руки,
Откуда и звуки
И волны откуда, –

И сумерки тканей
Пронизаны телом –
В сиянии белом
Твоих трепетаний?

<1909>

* * *

На темном небе, как узор,
Деревья траурные вышиты.
Зачем же выше и всё выше ты
Возводишь изумленный взор?

Вверху – такая темнота –
Ты скажешь – время опрокинула,
И, словно ночь, на день нахлынула
Холмов холодная черта.

Высоких, неживых дерев
Темнеющее рвется кружево:
О месяц, только ты не суживай
Серпа, внезапно почернев!

<1909>

* * *

Сквозь восковую занавесь,
Что нежно так сквозит,
Кустарник из тумана весь
Заплаканный глядит.

Простор, канвой окутанный,
Безжизненней кулис,
И месяц, весь опутанный,
Беспомощно повис.

Темнее занавеситься,
Всё небо охватить –
И пойманного месяца
Совсем не отпустить.

1909

* * *

Здесь отвратительные жабы
В густую прыгают траву.
Когда б не смерть, так никогда бы
Мне не узнать, что я живу.

Вам до меня какое дело,
Земная жизнь и красота?
А та напомнить мне сумела,
Кто я и кто моя мечта.

1909

ПИЛИГРИМ

Слишком легким плащом одетый,
Повторяю свои обеты.

Ветер треплет края одежды –
Не оставить ли нам надежды?

Плащ холодный – пускай скитальцы
Безотчетно сжимают пальцы.

Ветер веет неутомимо,
Веет вечно и веет мимо.

1909 (?)

* * *

Музыка твоих шагов
В тишине лесных снегов,

И, как медленная тень,
Ты сошла в морозный день.

Глубока, как ночь, зима,
Снег висит, как бахрома.

Ворон на своем суку
Много видел на веку.

А встающая волна
Набегающего сна

Вдохновенно разобьет
Молодой и тонкий лед,

Тонкий лед моей души –
Созревающий в тиши.

1909 (?)

* * *

В непринужденности творящего обмена
Суровость Тютчева – с ребячеством Верлена,
Скажите – кто бы мог искусно сочетать,
Соединению придав свою печать?
А русскому стиху так свойственно величье,
Где вешний поцелуй и щебетанье птичье!

1909 (?)

* * *

Листьев сочувственный шорох
Угадывать сердцем привык,
В темных читаю узорах
Смиренного сердца язык.

Верные, четкие мысли –
Прозрачная, строгая ткань...
Острые листья исчисли –
Словами играть перестань.

К высям просвета какого
Уходит твой лиственный шум –
Темное дерево слова,
Ослепшее дерево дум?

Май 1910

* * *

Когда мозаик никнут травы
И церковь гулкая пуста,
Я в темноте, как змей лукавый,
Влачусь к подножию креста

И пью монашескую нежность
В сосредоточенных чертах,
Как кипариса безнадежность
В неумолимых высотах.

Люблю изогнутые брови
И краску на лице святых
И пятна золота и крови
На теле статуй восковых.

Быть может, только призрак плоти
Обманывает нас в мечтах,
Просвечивает меж лохмотий
И дышит в роковых страстях.

Лето 1910
Лугано

* * *

Над алтарем дымящихся зыбей
Приносит жертву кроткий бог морей.

Глухое море, как вино, кипит.
Над морем солнце, как орел, дрожит.

И только стелется морской туман,
И раздается тишины тимпан;

И только небо сердцем голубым
Усыновляет моря белый дым.

И шире океан, когда уснул,
И, сдержанный, величественней гул;

И в небесах, торжествен и тяжел,
Как из металла вылитый орел.

<1910>

* * *

Необходимость или разум
Повелевает на земле –
Но человек чертит алмазом
Как на податливом стекле:

Оркестр торжественный настройте,
Стихии верные рабы,
Шумите, листья, ветры, пойте –
Я не хочу моей судьбы.

И необузданным пэанам
Храм уступают мудрецы,
Когда неистовым тимпаном
Играют пьяные жрецы.

И как ее ни называйте,
И для гаданий и волшбы
Ее лица ни покрывайте –
Я не хочу моей судьбы.

<1910>

* * *

Под грозовыми облаками
Несется клекот вещих птиц –
Довольно огненных страниц
Уж перевернуто веками!

В священном страхе тварь живет –
И каждый совершил душою,
Как ласточка перед грозою,
Неописуемый полет.

Когда же солнце вас расплавит,
Серебряные облака,
И будет вышина легка,
И крылья тишина расправит?

<1910>

* * *

Единственной отрадой
Отныне сердцу дан –
Неутомимо падай,
Таинственный фонтан.

Высокими снопами
Взлетай и упадай,
И всеми голосами
Вдруг – сразу умолкай.

Но ризой думы важной
Всю душу мне одень,
Как лиственницы влажной
Трепещущая сень.

<1910>

* * *

Когда укор колоколов
Нахлынет с древних колоколен,
И самый воздух гулом болен,
И нету ни молитв, ни слов –

Я уничтожен, заглушен.
Вино, и крепче, и тяжеле,
Сердечного коснулось хмеля –
И снова я неутолен.

Я не хочу моих святынь,
Мои обеты я нарушу:
И мне переполняет душу
Неизъяснимая полынь.

<1910>

* * *

Мне стало страшно жизнь отжить
И с дерева, как лист, отпрянуть,
И ничего не полюбить,
И безымянным камнем кануть;

И в пустоте, как на кресте,
Живую душу распиная,
Как Моисей на высоте,
Исчезнуть в облаке Синая.

И я слежу – со всем живым
Меня связующие нити,
И бытия узорный дым
На мраморной сличаю пли́те;

И содроганья теплых птиц
Улавливаю через сети,
И с истлевающих страниц
Притягиваю прах столетий.

<1910>

* * *

Я вижу каменное небо
Над тусклой паутиной вод.
В тисках постылого Эреба
Душа томительно живет.

Я понимаю этот ужас
И постигаю эту связь:
И небо падает, не рушась,
И море плещет, не пенясь.

О, крылья бледные химеры
На грубом золоте песка,
И паруса трилистник серый,
Распятый, как моя тоска!

<1910>

* * *

Вечер нежный. Сумрак важный.
Гул за гулом. Вал за валом.
И в лицо нам ветер влажный
Бьет соленым покрывалом.

Всё погасло. Всё смешалось.
Волны берегом хмелели.
В нас вошла слепая радость –
И сердца отяжелели.

Оглушил нас хаос темный,
Одурманил воздух пьяный,
Убаюкал хор огромный:
Флейты, лютни и тимпаны...

<1910>

* * *

С. П. Каблукову

Убиты медью вечерней
И сломаны венчики слов.
И тело требует терний,
И вера – безумных цветов.

Упасть на древние плиты
И к страстному Богу воззвать,
И знать, что молитвой слиты
Все чувства в одну благодать!

Растет прилив славословий –
И вновь, в ожиданьи конца,
Вином божественной крови
Его – тяжелеют сердца;

И храм, как корабль огромный,
Несется в пучине веков.
И парус духа бездомный
Все ветры изведать готов.

1910
Гангё

* * *

Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь:

Какая-то страсть налетела,
Какая-то тяжесть жива;
И призраки требуют тела,
И плоти причастны слова.

Как женщины, жаждут предметы,
Как ласки, заветных имен.
Но тайные ловит приметы
Поэт, в темноту погружен.

Он ждет сокровенного знака,
На песнь, как на подвиг, готов –
И дышит таинственность брака
В простом сочетании слов.

<1910>

ЗМЕЙ

Осенний сумрак – ржавое железо –
Скрипит, поет и разъедает плоть:
Чтó весь соблазн и все богатства Креза
Пред лезвием твоей тоски, Господь!

Я как змеей танцующей измучен
И перед ней, тоскуя, трепещу;
Я не хочу души своей излучин,
И разума, и Музы не хочу...

Достаточно лукавых отрицаний
Распутывать извилистый клубок;
Нет стройных слов для жалоб и признаний,
И кубок мой тяжел и неглубок!

К чему дышать? На жестких камнях пляшет
Больной удав, свиваясь и клубясь;
Качается, и тело опояшет,
И падает, внезапно утомясь.

И бесполезно, накануне казни,
Видением и пеньем потрясен,
Я слушаю, как узник, без боязни,
Железа визг и ветра темный стон...

1910

* * *

В самом себе, как змей, таясь,
Вокруг себя, как плющ, виясь, –
Я подымаюсь над собою:

Себя хочу, к себе лечу,
Крылами темными плещу,
Расширенными над водою;

И, как испуганный орел,
Вернувшись, больше не нашел
Гнезда, сорвавшегося в бездну, –

Омоюсь молнии огнем
И, заклиная тяжкий гром,
В холодном облаке исчезну!

Август 1910

* * *

Неумолимые слова...
Окаменела Иудея,
И, с каждым мигом тяжелея,
Его поникла голова.

Стояли воины кругом
На страже стынущего тела;
Как венчик, голова висела
На стебле тонком и чужом.

И царствовал, и никнул Он,
Как лилия в родимый омут,
И глубина, где стебли тонут,
Торжествовала свой закон.

Лето 1910
Целендорф

* * *

В изголовьи черное распятье,
В сердце жар и в мыслях пустота –
И ложится тонкое проклятье –
Пыльный след – на дерево креста.

Ах, зачем на стеклах дым морозный
Так похож на мозаичный сон!
Ах, зачем молчанья голос грозный
Безнадежной негой растворен!

И слова евангельской латыни
Прозвучали, как морской прибой;
И волной нахлынувшей святыни
Поднят был корабль безумный мой:

Нет, не парус, ра́спятый и серый,
С неизбежностью меня влечет –
Страшен мне «подводный камень веры»[1],
Роковой ее круговорот!

Ноябрь 1910
Петербург

* * *

Где вырывается из плена
Потока шумное стекло,
Клубящаяся стынет пена,
Как лебединое крыло.

---

[1] Тютчев. – *Примеч. автора.*

О время, завистью не мучай
Того, кто вовремя застыл.
Нас пеною воздвигнул случай
И кружевом соединил.

1910 (?)

* * *

Темных уз земного заточенья
Я ничем преодолеть не мог,
И тяжелым панцирем презренья
Я окован с головы до ног.

Иногда со мной бывает нежен
И меня преследует двойник;
Как и я – он так же неизбежен
И ко мне внимательно приник.

И, глухую затаив развязку,
Сам себя я вызвал на турнир;
С самого себя срываю маску
И презрительный лелею мир.

Я своей печали не достоин,
И моя последняя мечта –
Роковой и краткий гул пробоин
Моего узорного щита.

1910 (?)

* * *

Медленно урна пустая,
Вращаясь над тусклой поляной,
Сеет, надменно мерцая,
Туманы в лазури ледя́ной.

Тянет, чарует и манит –
Непонят, невынут, нетронут –
Жребий – и небо обманет,
И взоры в возможном потонут.

Что расскажу я о вечных,
Заочных, заоблачных странах:
Весь я в порывах конечных,
В соблазнах, изменах и ранах.

Выбор мой труден и беден,
И тусклый простор безучастен.
Стыну – и взор мой победен,
И круг мой обыденный страстен.

11 февраля 1911

* * *

Когда подымаю,
Опускаю взор –
Я двух чаш встречаю
Зыбкий разговор.

И му́кою в мире
Взнесены мои
Тяжелые гири,
Шаткие ладьи.

Знают души наши
Отчаянья власть:
И поднятой чаше
Суждено упасть.

Есть в тяжести радость,
И в паденьи есть
Колебаний сладость –
Острой стрелки месть!

Июнь 1911

* * *

Душу от внешних условий
Освободить я умею:
Пенье – кипение крови –
Слышу – и быстро хмелею.

И вещества, мне родного,
Где-то на грани томленья,
В цепь сочетаются снова
Первоначальные звенья.

Там, в беспристрастном эфире,
Взвешены сущности наши –
Брошены звездные гири
На задрожавшие чаши;

И в ликованьи предела
Есть упоение жизни:
Воспоминание тела
О... неизменной отчизне...

Июль 1911

* * *

Я знаю, что обман в видении немыслим
И ткань моей мечты прозрачна и прочна,
Что с дивной легкостью мы, созидая, числим
И достигает звезд полет веретена, –

Когда, овеяно потусторонним ветром,
Оно оторвалось от медленной земли,
И раскрывается неуловимым метром
Рай распростертому в уныньи и в пыли.

Так ринемся скорей из области томленья –
По мановению эфирного гонца –
В край, где слагаются заоблачные звенья
И башни высятся заочного дворца!

Несозданных миров отмститель будь, художник, –
Несуществующим существованье дай;
Туманным облаком окутай свой треножник
И падающих звезд пойми летучий рай!

Июль 1911

* * *

Стрекозы быстрыми кругами
Тревожат черный блеск пруда,
И вздрагивает, тростниками
Чуть окаймленная, вода.

То – пряжу за собою тянут
И словно паутину ткут;
То – распластавшись – в омут канут
И волны траур свой сомкнут.

И я, какой-то невеселый,
Томлюсь и падаю в глуши –
Как будто чувствую уколы
И холод в тайниках души...

1911

* * *

Ты прошла сквозь облако тумана.
На ланитах нежные румяна.

Светит день холодный и недужный.
Я брожу свободный и ненужный...

Злая осень ворожит над нами,
Угрожает спелыми плодами,

Говорит вершинами с вершиной
И в глаза целует паутиной.

Как застыл тревожной жизни танец!
Как на всем играет твой румянец!

Как сквозит и в облаке тумана
Ярких дней сияющая рана!

4 августа 1911

* * *

Не спрашивай: ты знаешь,
Что нежность – безотчетна,
И как ты называешь
Мой трепет – всё равно;

И для чего признанье,
Когда бесповоротно
Мое существованье
Тобою решено?

Дай руку мне. Что страсти?
Танцующие змеи!
И таинство их власти –
Убийственный магнит!

И, змей тревожный танец
Остановить не смея,
Я созерцаю глянец
Девических ланит.

7 августа 1911

* * *

Дождик ласковый, мелкий и тонкий,
Осторожный, колючий, слепой.
Капли строгие скупы и звонки,
И отточен их звук тишиной.

То – так счастливы счастием скромным,
Что упасть на стекло удалось;
То, как будто подхвачены темным
Ветром, струи уносятся вкось.

Тайный ропот, мольба о прощеньи:
Я люблю непонятный язык!
И сольются в одном ощущеньи
Вся жестокость, вся кротость на миг.

В цепких лапах у царственной скуки
Сердце сжалось, как маленький мяч:
Полон музыки, Музы и муки
Жизни тающей сладостный плач!

22 августа 1911

* * *

В лазури месяц новый
Ясен и высок.
Радуют подковы
Звонкий грунт дорог.

Глубоко вздохнул я:
В небе голубом
Словно зачерпнул я
Серебряным ковшом!

Счастья тяжелый
Я надел венец.
В кузнице веселый
Работает кузнец.

Радость бессвязна.
Бездна не страшна.
Однообразно-
Звучно царство сна!

12 ноября 1911

* * *

[...] коробки
[...............] лучшие игрушки
[.............] на пальмовой верхушке
Отмечает листья ветер робкий.

Неразрывно сотканный с другими,
Каждый лист колеблется отдельно.
Но в порывах ткани беспредельно
И мирами вызвано иными –

Только то, что создано землею:
Длинные, трепещущие нити,
В тщетном ожидании наитий
Шелестящие своей длиною.

1911 (?)

* * *

Довольно лукавить: я знаю,
Что мне суждено умереть;
И я ничего не скрываю:
От Музы мне тайн не иметь...

И странно: мне любо сознанье,
Что я не умею дышать;
Туманное очарованье
И таинство есть – умирать...

Я в зыбке качаюсь дремотно
И мудро безмолвствую я –
Решается бесповоротно
Грядущая вечность моя!

1911 (?)

* * *

Пусть в душной комнате, где клочья серой ваты
И стклянки с кислотой, часы хрипят и бьют, –
Гигантские шаги, с которых петли сняты, –
В туманной памяти виденья оживут.

И лихорадочный больной, тоской распятый,
Худыми пальцами свивая тонкий жгут,
Сжимает свой платок, как талисман крылатый,
И с отвращением глядит на круг минут...

То было в сентябре, вертелись флюгера,
И ставни хлопали – но буйная игра
Гигантов и детей пророческой казалась,

И тело нежное – то плавно подымалось,
То грузно падало: средь пестрого двора
Живая карусель без музыки вращалась!

Апрель 1912

ШАРМАНКА

Шарманка, жалобное пенье
Тягучих арий, дребедень –
Как безобразное виденье
Осеннюю тревожит сень...

Чтоб всколыхнула на мгновенье
Та песня вод стоячих лень,
Сантиментальное волненье
Туманной музыкой одень.

Какой обыкновенный день!
Как невозможно вдохновенье –
В мозгу игла, брожу как тень.

Я бы приветствовал кремень
Точильщика как избавленье:
Бродяга – я люблю движенье...

16 июня 1912

* * *

Когда показывают восемь
Часы собора-исполина,
Мы в полусне твой призрак носим,
Чужого города картина.

В руках плетеные корзинки,
Служанки спорят с продавцами,
Воркуют голуби на рынке
И плещут сизыми крылами.

Хлеба, серебряные рыбы,
Плоды и овощи простые,
Крестьяне – каменные глыбы,
И краски темные, живые.

А в сетке пестрого тумана
Сгрудилась ласковая стая,
Как будто площадь утром рано –
Торговли скиния святая.

1912 (?)

* * *

Тысячеструйный поток –
Журчала весенняя ласка.
Скользнула-мелькнула коляска,
Легкая, как мотылек.

Я улыбнулся весне,
Я оглянулся украдкой –
Женщина гладкой перчаткой
Правила – точно во сне.

В путь убегала она,
В траурный шелк одета,
Тонкая вуалета –
Тоже была черна...

1912 (?)

* * *

Развеселился наконец,
Измерил духа совершенство,
Уверовал в свое блаженство

И успокоился, как царь,
Почуяв славу за плечами, –
Когда первосвященник в храме
И голубь залетел в алтарь.

1912 (?)

* * *

Я давно полюбил нищету,
Одиночество, бедный художник.
Чтобы кофе варить на спирту,
Я купил себе легкий треножник.

1912 (?)

ЕГИПТЯНИН
(НАДПИСЬ НА КАМНЕ XVIII–XIX ДИНАСТИИ)

Я избежал суровой пени
И почестей достиг;
От радости мои колени
Дрожали, как тростник.

И прямо в полы балахона,
Большие, как луна,
На двор с высокого балкона
Бросали ордена.

То, что я сделал, превосходно –
И это сделал я!
И место новое доходно
И прочно для житья.

И, предвкушая счастья глянец,
Я танцевал не зря
Изящный и отличный танец
В присутствии царя.

По воздуху летает птица.
Бедняк идет пешком.
Вельможе ехать не годится
Дрянным сухим путем;

И, захватив с собой подарки
И с орденами тюк,
Как подобает мне, на барке
Я поплыву на юг.

1912 или 1913

* * *

Веселая скороговорка;
О, будни – пляска дикарей!
Я с невысокого пригорка
Опять присматриваюсь к ней.

Бывают искренние вкусы,
И предприимчивый моряк
С собой захватывает бусы,
Цветные стекла и табак.

Люблю обмен. Мелькают перья.
Наивных восклицаний дождь.
Лоснящийся от лицемерья,
Косится на бочонок вождь.

Скорей подбросить кольца, трубки –
За мех, и золото, и яд;
И с чистой совестью, на шлюпке,
Вернуться на родной фрегат!

Июнь 1913

ПЕСЕНКА

У меня не много денег,
В кабаках меня не любят,
А служанки вяжут веник
И сердито щепки рубят.

Я запачкал руки в саже,
На моих ресницах копоть,
Создаю свои миражи
И мешаю всем работать.

Голубые судомойки,
Добродетельная челядь.
И на самой жесткой койке
Ваша честность рай вам стелет.

Тяжела с бельем корзина,
И мясник острит так плотски,
Тем краснее льются вина
До утра в хрусталь господский.

1913 (?)

ЛЕТНИЕ СТАНСЫ

В аллее колокольчик медный,
Французский говор, нежный взгляд –
И за решеткой заповедной
Пустеет понемногу сад.

Что делать в городе в июне?
Не зажигают фонарей;
На яхте, на чухонской шхуне
Уехать хочется скорей!

Нева – как вздувшаяся вена,
До утренних румяных роз.
Везя всклокоченное сено,
Плетется на асфальте воз.

А там рабочая землянка,
Трещит и варится смола;
Ломовика судьба-цыганка
Обратно в степи привела...

И, с бесконечной челобитной
О справедливости людской,
Чернеет на скамье гранитной
Самоубийца молодой.

1913 (?)

АМЕРИКАН БАР

Еще девиц не видно в баре,
Лакей невежлив и угрюм;
И в крепкой чудится сигаре
Американца едкий ум.

Сияет стойка красным лаком,
И дразнит сода-виски форт:
Кто незнаком с буфетным знаком
И в ярлыках не слишком тверд?

Бананов груда золотая
На всякий случай подана,
И продавщица восковая
Невозмутима – как луна.

Сначала нам слегка взгрустнется,
Мы спросим кофе с кюрассо.
В пол-оборота обернется
Фортуны нашей колесо!

Потом, беседуя негромко,
Я на вращающийся стул
Влезаю в шляпе и, соломкой
Мешая лед, внимаю гул...

Хозяйский глаз желтей червонца
Мечтателей не оскорбит...
Мы недовольны светом солнца,
Теченьем медленных орбит!

1913 (?)

МАДРИГАЛ

Нет, не поднять волшебного фрегата:
Вся комната в табачной синеве –
И пред людьми русалка виновата,
Зеленоглазая, в морской траве!

Она курить, конечно, не умеет,
Горячим пеплом губы обожгла
И не заметила, что платье тлеет –
Зеленый шелк, и на полу зола...

Так моряки в прохладе изумрудной
Ни чубуков, ни трубок не нашли,
Ведь и дышать им научиться трудно
Сухим и горьким воздухом земли!

1913

ФУТБОЛ

Рассеен утренник тяжелый,
На босу ногу день пришел;
А на дворе военной школы
Играют мальчики в футбол.

Чуть-чуть неловки, мешковаты,
Как подобает в их лета, –
Кто мяч толкает угловатый,
Кто охраняет ворота́...

Любовь, охотничьи попойки –
Всё в будущем, а ныне – скорбь;
И вскакивать на жесткой койке
Чуть свет, под барабанов дробь!

Увы: ни музыки, ни славы!
Так, от зари и до зари,
В силках науки и забавы
Томятся дети-дикари.

Осенней путаницы сито.
Деревья мокрые в золе.
Мундир обрызган. Грудь открыта.
Околыш красный на земле.

1913

ФУТБОЛ

Телохранитель был отравлен.
В неравной битве изнемог,
Обезображен, обесславлен,
Футбола толстокожий бог.

И с легкостью тяжеловеса
Удары отбивал боксер:
О, беззащитная завеса,
Неохраняемый шатер!

Должно быть, так толпа сгрудилась,
Когда, мучительно-жива,
Не до́пив кубка, покатилась
К ногам тупая голова...

Неизъяснимо-лицемерно
Не так ли кончиком ноги
Над теплым трупом Олоферна
Юдифь глумилась...

1913

* * *

Черты лица искажены
Какой-то старческой улыбкой:
Кто скажет, что гитане гибкой
Все муки Данта суждены?

1913

ЕГИПТЯНИН

Я выстроил себе благополучья дом:
Он весь из дерева, и ни куска гранита!
И царская его осматривала свита –
Там виноградники, цветник и водоем.

Чтоб воздух проникал в удобное жилье,
Я вынул три стены в преддверьи легкой клети,
И безошибочно я выбрал пальмы эти
Краеугольными – прямые, как копье.

Кто может описать чиновника доход?
Бессмертны высокопоставленные лица.
Где управляющий? Готова ли гробница?
В хозяйстве письменный я слушаю отчет.

Тяжелым жерновом мучнистое зерно
Приказано смолоть служанке низкорослой;
Священникам налог исправно будет послан;
Составлен протокол на хлеб и полотно.

В столовой на полу пес, растянувшись, лег,
И кресло прочное стоит на львиных лапах.
Я жареных гусей вдыхаю сладкий запах –
Загробных радостей вещественный залог!

1913 (?)

АВТОПОРТРЕТ

В поднятьи головы крылатый
Намек – но мешковат сюртук;
В закрытьи глаз, в покое рук –
Тайник движенья непочатый;

Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость, –
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!

1914

СПОРТ

Румяный шкипер бросил мяч тяжелый,
И черни он понравился вполне.
Потомки толстокожего футбола:
Крокет на льду и поло на коне.

Средь юношей теперь – по старине –
Цветет прыжок и выпад дискобола,
Когда сойдутся, в легком полотне,
Оксфорд и Кембридж – две приречных школы!

Но только тот действительно спортсмен –
Кто разорвал печальной жизни плен:
Он знает мир, где дышит радость, пенясь...

И детского крокета молотки,
И северные наши городки,
И дар богов – великолепный теннис!

1914 (?)

* * *

Как овцы, жалкою толпой
Бежали старцы Еврипида.
Иду змеиною тропой,
И в сердце темная обида.

Но этот час уж недалек:
Я отряхну мои печали,
Как мальчик вечером песок
Вытряхивает из сандалий.

1914

* * *

Когда держался Рим в союзе с естеством,
Носились образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе – как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи;

А ныне человек – ни раб, ни властелин,
Не опьянен собой, а только отуманен;
Невольно думаешь: всемирный горожанин!
А хочется сказать – всемирный гражданин!

1914

РЕЙМС И КЁЛЬН

Но в старом Кёльне тоже есть собор,
Неконченный и все-таки прекрасный,
И хоть один священник беспристрастный,
И в дивной целости стрельчатый бор;

Он потрясен чудовищным набатом,
И в грозный час, когда густеет мгла,
Немецкие поют колокола:
«Что сотворили вы над реймсским братом?»

Сентябрь 1914

НЕМЕЦКАЯ КАСКА

Немецкая каска, священный трофей,
Лежит на камине в гостиной твоей.

Дотронься, она как игрушка легка;
Пронизана воздухом медь шишака...

В Познани и в Польше не всем воевать, –
Своими глазами врага увидать –

И, слушая ядер губительный хор,
Сорвать с неприятеля гордый убор!

Нам только взглянуть на блестящую медь
И вспомнить о тех, кто готов умереть!

1914

POLACY!

Поляки! Я не вижу смысла
В безумном подвиге стрелков!
Иль ворон заклюет орлов?
Иль потечет обратно Висла?

Или снега не будут больше
Зимою покрывать ковыль?
Или о Габсбургов костыль
Пристало опираться Польше?

И ты, славянская комета,
В своем блужданьи вековом
Рассыпалась чужим огнем,
Сообщница чужого света!

Сентябрь 1914

* * *

В белом раю лежит богатырь:
Пахарь войны, пожилой мужик.
В серых глазах мировая ширь:
Великорусский державный лик.

Только святые умеют так
В благоуханном гробу лежать;
Выпростав руки блаженства в знак,
Славу свою и покой вкушать.

Разве Россия не белый рай
И не веселые наши сны?
Радуйся, ратник, не умирай:
Внуки и правнуки спасены!

Декабрь 1914

* * *

Как черный ангел на снегу
Ты показалась мне сегодня,
И утаить я не могу –
Есть на тебе печать Господня.

Такая странная печать –
Как бы дарованная свыше, –
Что кажется – в церковной нише
Тебе назначено стоять.

Пускай нездешняя любовь
С любовью здешней будут слиты.
Пускай бушующая кровь
Не перейдет в твои ланиты

И нежный мрамор оттенит
Всю призрачность твоих лохмотий,
Всю наготу причастных плоти,
Но некраснеющих ланит.

1914 (?)

* * *

Негодованье старческой кифары...
Еще жива несправедливость Рима,
И воют псы, и бедные татары
В глухих деревнях каменного Крыма...

О Цезарь, Цезарь! Слышишь ли блеянье
Бараньих стад и смутных волн движенье?
Что понапрасну льешь свое сиянье,
Луна – без Рима жалкое явленье?

Не та, что ночью смотрит Капитолий
И озаряет лес столпов холодных,
А деревенская луна – не боле, –
Луна, возлюбленная псов голодных!

Октябрь 1915

* * *

Какая вещая Кассандра
Тебе пророчила беду?
О будь, Россия Александра,
Благословенна и в аду!

Рукопожатье роковое
На шатком неманском плоту.
....

1915

* * *

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне – явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

1916

* * *

О, этот воздух, смутой пьяный,
На черной площади Кремля!
Качают шаткий мир смутьяны,
Тревожно пахнут тополя.

Соборов восковые лики,
Колоколов дремучий лес,
Как бы разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез.

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно, и темно,
Как в нежных глиняных амфо́рах,
Играет русское вино.

Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский, зеленый,
И мнится, заворкует вдруг.

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь, –
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь...

1916

* * *

Не фонари сияли нам, а свечи
Александрийских стройных тополей.
Вы сняли черный мех с груди своей
И на мои переложили плечи.
Смущенная величием Невы,
Ваш чудный мех мне подарили вы!

Май 1916

* * *

– Я потеряла нежную камею,
Не знаю где, на берегу Невы.
Я римлянку прелестную жалею, –
Чуть не в слезах мне говорили вы.

Но для чего, прекрасная грузинка,
Тревожить прах божественных гробниц?
Еще одна пушистая снежинка
Растаяла на веере ресниц.

И кроткую вы наклонили шею.
Камеи нет – нет римлянки, увы!
Я Тинотину смуглую жалею –
Девичий Рим на берегу Невы.

1916

МАДРИГАЛ

Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!
Помоги мне в эту ночь
Солнце выручить из плена,
Помоги мне пышность тлена
Стройной песнью превозмочь,
Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!

1916

* * *

Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы,
И ощетинился убийца-броневик,
И пулеметчик низколобый –

Керенского распять потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала, –
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
Чтоб сердце биться перестало!

И укоризненно мелькает эта тень,
Где зданий красная подкова;
Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:
Вязать его, щенка Петрова!

Среди гражданских бурь и яростных личин
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.

И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые –
Благословить тебя в глубокий ад сойдет
Стопою легкою Россия!

Ноябрь 1917

* * *

Кто знает, может быть, не хватит мне свечи,
И среди бела дня останусь я в ночи,
И, зернами дыша рассыпанного мака,
На голову надену митру мрака,

Как поздний патриарх в разрушенной Москве,
Неосвященный мир неся на голове,
Чреватый слепотой и муками раздора,
Как Тихон – ставленник последнего собора!

Ноябрь 1917

ТЕЛЕФОН

На этом диком, страшном свете
Ты, друг полночных похорон,
В высоком строгом кабинете
Самоубийцы – телефон!

Асфальта черные озера
Изрыты яростью копыт,
И скоро будет солнце – скоро
Безумный петел прокричит.

А там дубовая Валгалла
И старый пиршественный сон;
Судьба велела, ночь решала,
Когда проснулся телефон.

Весь воздух выпили тяжелые портьеры,
На театральной площади темно.
Звонок – и закружились сферы:
Самоубийство решено.

Куда бежать от жизни гулкой,
От этой каменной уйти?
Молчи, проклятая шкатулка!
На дне морском цветет: прости!

И только голос, голос-птица
Летит на пиршественный сон.
Ты – избавленье и зарница
Самоубийства, телефон!

Июнь 1918

* * *

Всё чуждо нам в столице непотребной –
Ее сухая черствая земля,
И буйный торг на Сухаревке хлебной,
И страшный вид разбойного Кремля.

Она, дремучая, всем миром правит.
Мильонами скрипучих арб она
Качнулась в путь – и полвселенной давит
Ее базаров бабья ширина.

Ее церквей благоуханных соты –
Как дикий мед, заброшенный в леса,
И птичьих стай густые перелеты
Угрюмые волнуют небеса.

Она в торговле хитрая лисица,
А перед князем – жалкая раба.
Удельной речки мутная водица
Течет, как встарь, в сухие желоба.

1918

* * *

Где ночь бросает якоря
В глухих созвездьях Зодиака,
Сухие листья октября,
Глухие вскормленники мрака,

Куда летите вы? Зачем
От древа жизни вы отпали?
Вам чужд и странен Вифлеем,
И яслей вы не увидали.

Для вас потомства нет – увы,
Бесполая владеет вами злоба,
Бездетными сойдете вы
В свои повапленные гробы.

И на пороге тишины,
Среди беспамятства природы,
Не вам, не вам обречены,
А звездам вечные народы.

1920

ДОМ АКТЕРА

Здесь, на твердой площадке яхт-клуба,
Где высокая мачта и спасательный круг,
У южного моря, под небом юга,
Деревянный, пахучий строится сруб.

Это игра воздвигла стены.
Разве работать – не значит играть?
По свежим доскам широкой сцены
Какая радость впервые ступать!

Актер-корабельщик на палубе мира,
И дом актера – на волнах...
Никогда, никогда не боялась лира
Тяжелого молота в братских руках.

Кто сказал «Художник» – сказал «Работник»,
Воистину, правда у нас одна.
Единым духом жив и плотник,
И поэт, вкусивший светоч вина.

А вам спасибо! И дни, и ночи
Мы строили вместе, наш дом готов.
Под маской суровости скрывает рабочий
Высокую нежность грядущих веков.

Веселые стружки пахнут морем,
Корабль оснащен, в добрый путь,
Плывите же вместе к грядущим зорям,
Актер и рабочий – вам нельзя отдохнуть.

<1920>

* * *

Когда ты уходишь и тело лишится души,
Меня обступает мучительный воздух дремучий,
И я задыхаюсь, как иволга в хвойной глуши,
И мрак раздвигаю губами сухой и дремучий.

Как мог я поверить, что ты возвратишься? Как смел?
Зачем преждевременно я от тебя оторвался?
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не вонзался.

Последней звезды безболезненно гаснет укол.
Как серая ласточка, утро в окно постучится.
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,
На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.

Декабрь 1920

* * *

Люблю под сводами седыя тишины
Молебнов, панихид блужданье
И трогательный чин – ему же все должны –
У Исаака отпеванье.

Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы,
И в ветхом неводе генисаретский мрак
Великопостныя седмицы.

Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея возглас сирый,
Смиренник царственный – снег чистый на плечах
И одичалые порфиры.

Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового завета.

Не к вам влечется дух в годины тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим.

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.

1921

А НЕБО БУДУЩИМ БЕРЕМЕННО...

Опять войны разноголосица
На древних плоскогорьях мира,
И лопастью пропеллер ло́снится,
Как кость точеная тапира.
Крыла и смерти уравнение
С алгебраических пирушек,
Слетев, он помнит измерение
Других эбеновых игрушек,
Врагиню-ночь, рассадник вражеский
Существ коротких, ластоногих,
И молодую силу тяжести:
Так начиналась власть немногих...

Итак, готовьтесь жить во времени,
Где нет ни волка, ни тапира,
А небо будущим беременно –
Пшеницей сытого эфира.
А то сегодня победители
Кладбища лёта обходили,
Ломали крылья стрекозиные
И молоточками казнили.

Давайте слушать грома проповедь,
Как внуки Себастьяна Баха,
И на востоке и на западе
Органные поставим крылья!
Давайте бросим бури яблоко
На стол пирующим землянам
И на стеклянном блюде облако
Поставим яств посередине.
Давайте всё покроем заново
Камчатной скатертью пространства,
Переговариваясь, радуясь,
Друг другу подавая брашна.
На круговом, на мирном судьбище
Зарею кровь оледенится,
В беременном глубоком будущем
Жужжит большая медуница.

А вам, в безвременьи летающим
Под хлыст войны за власть немногих, –
Хотя бы честь млекопитающих,
Хотя бы совесть – ластоногих.
И тем печальнее, тем горше нам,
Что люди-птицы хуже зверя,
И что стервятникам и коршунам
Мы поневоле больше верим.
Как шапка холода альпийского,
Из года в год, в жару и лето,
На лбу высоком человечества
Войны холодные ладони.
А ты, глубокое и сытое,
Забеременевшее лазурью,
Как чешуя, многоочитое,
И альфа и омега бури, –
Тебе – чужое и безбровое –
Из поколенья в поколение
Всегда высокое и новое
Передается удивление.

1923; 1929

* * *

Жизнь упала, как зарница,
Как в стакан воды ресница,
Изолгавшись на корню,
Никого я не виню...

Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
Хочешь, валенки сниму,
Как пушинку подниму.

Ангел в светлой паутине
В золотой стоит овчине,
Свет фонарного луча
До высокого плеча...

Разве кошка, встрепенувшись,
Черным зайцем обернувшись,
Вдруг простегивает путь,
Исчезая где-нибудь.

Как дрожала губ малина,
Как поила чаем сына,
Говорила наугад,
Ни к чему и невпопад.

Как нечаянно запнулась,
Изолгалась, улыбнулась
Так, что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.

Есть за куколем дворцовым
И за кипенем садовым
Заресничная страна –
Там ты будешь мне жена.

Выбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки, вдвоем
Той же улицей пойдем

Без оглядки, без помехи
На сияющие вехи –
От зари и до зари
Налитые фонари.

1924

* * *

Татары, узбеки и ненцы,
И весь украинский народ,
И даже приволжские немцы
К себе переводчиков ждут.

И может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И прямо мне в душу проник.

Ноябрь 1933 (?)

* * *

У нашей святой молодежи
Хорошие песни в крови:
На баюшки-баю похожи
И баю борьбу объяви.

И я за собой примечаю
И что-то такое пою:
Колхозного бая качаю,
Кулацкого пая пою.

Ноябрь 1933 (?)

* * *

Откуда привезли? Кого? Который умер?
Где.....? Мне что-то невдомек...
Здесь, говорят, какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь. Так себе. Писатель. Гоголек.

Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Который шустрился, довольно уж легóк:
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,
Затеял кавардак, перекрутил снежок.

Молчит, как устрица. На полтора аршина
К нему не подойти – почетный караул.
Здесь что-то кроется. Должно быть, есть причина.
.... Напутал и уснул.

1934

* * *

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком да кровавым песком...

Ну а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

1934

* * *

Мне кажется, мы говорить должны
О будущем советской старины,

Что ленинское-сталинское слово –
Воздушно-океанская подкова.

И лучше бросить тысячу поэзий,
Чем захлебнуться в родовом железе,

И пращуры нам больше не страшны:
Они у нас в крови растворены.

Апрель – май 1935

* * *

Мир начинался страшен и велик:
Зеленой ночью папоротник черный –
Пластами боли поднят большевик –
Единый, продолжающий, бесспорный,
Упорствующий, дышащий в стене:

Привет тебе, скрепитель дальнозоркий
Трудящихся. Твой угольный, твой горький
Могучий мозг – гори, гори стране!

Апрель 1935

* * *

Ты должен мной повелевать,
А я обязан быть послушным.
На честь, на имя наплевать –
Я рос больным и стал тщедушным.

Так пробуй выдуманный метод
Напропалую, напрямик:
Я – беспартийный большевик,
Как все друзья, как недруг этот.

Апрель–май 1935 (?)

* * *

Тянули жилы, жили-были,
Не жили, не были нигде,
Бетховен и Воронеж – или
Один или другой – злодей.

На базе мелких отношений
Производили глухоту
Семидесяти стульев тени
На первомайском холоду.

В театре публики лежало
Не больше трех карандашей,
И дирижер, стараясь мало,
Казался чертом средь людей.

Май 1935

* * *

Идут года железными полками,
И воздух полн железными шарами.

Оно бесцветное – в воде железясь,
И розовое, на подушке грезясь.

Железная правда – живой на зависть,
Железен пестик и железна завязь.

И железой поэзия в железе,
Слезящаяся в родовом разрезе.

22 мая 1935

* * *

Мир должно в черном теле брать:
Ему жестокий нужен брат –
От семиюродных уродов
Он не получит ясных всходов.

Май 1935

* * *

Когда б я уголь взял для высшей похвалы –
Для радости рисунка непреложной, –
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно.
Чтоб настоящее в чертах отозвалось,
В искусстве с дерзостью гранича,
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай.

Я б поднял брови малый уголок,
И поднял вновь, и разрешил иначе:
Знать, Прометей раздул свой уголек, –
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!

Я б несколько гремучих линий взял,
Всё моложавое его тысячелетье,
И мужество улыбкою связал
И развязал в ненапряженном свете.
И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему, – вдруг узнаёшь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость.
И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу его назвать – не Сталин, – Джугашвили!

Художник, береги и охраняй бойца:
В рост окружи его сырым и синим бором
Вниманья влажного. Не огорчить отца
Недобрым образом иль мыслей недобором,
Художник, помоги тому, кто весь с тобой,
Кто мыслит, чувствует и строит.
Не я и не другой – ему народ родной –
Народ-Гомер хвалу утроит.
Художник, береги и охраняй бойца –
Лес человечества за ним идет, густея,
Само грядущее – дружина мудреца
И слушает его всё чаще, всё смелее.

Он свесился с трибуны, как с горы, –
В бугры голов. Должник сильнее иска.
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко.
И я хотел бы стрелкой указать
На твердость рта – отца речей упрямых.
Лепное, сложное, крутое веко, знать,

Работает из миллиона рамок.
Весь – откровенность, весь – признанья медь,
И зоркий слух, не терпящий сурдинки.
На всех, готовых жить и умереть,
Бегут, играя, хмурые морщинки.

Сжимая уголек, в котором всё сошлось,
Рукою жадною одно лишь сходство клича,
Рукою хищною – ловить лишь сходства ось, –
Я уголь искрошу, ища его обличья.
Я у него учусь – не для себя учась,
Я у него учусь – к себе не знать пощады.
Несчастья скроют ли большого плана часть?
Я разыщу его в случайностях их чада...
Пусть недостоин я еще иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью и слезами,
Он всё мне чудится в шинели, в картузе́
На чудной площади с счастливыми глазами.

Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина,
Как море без морщин, как завтра из вчера –
До солнца борозды от плуга-исполина.
Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,
Который начался и длится без конца
На шестиклятвенном просторе.
И каждое гумно и каждая копна
Сильна, убориста, умна – добро живое –
Чудо народное! Да будет жизнь крупна!
Ворочается счастье стержневое.

И шестикратно я в сознаньи берегу –
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы –
Его огромный путь – через тайгу
И ленинский Октябрь – до выполненной клятвы.
Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там. Меня уж не заметят.

Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, как солнце светит.
Правдивей правды нет, чем искренность бойца.
Для чести и любви, для воздуха и стали
Есть имя славное для сильных губ чтеца.
Его мы слышали, и мы его застали.

Январь – февраль (?) 1937

* * *

Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери,
И утверждать, что бытие будет
И что народ как судия судит;
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б –
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом –
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земли очи,
И, в легион братских очей сжатый,
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы –
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.

Февраль 1937

* * *

С примесью ворона голуби,
Завороненные волосы,
Здравствуй, моя нежнолобая,
Дай мне сказать тебе голоса,
Как я люблю твои волосы,
Душные черно-голу́бые.

В губы горячие вложено
Всё, чем Москва омоложена,
Чем молодая расширена,
Чем мировая встревожена,
Грозная утихомирена...

Тени лица восхитительны –
Синие, черные, белые,
И на груди удивительны
Эти две родинки смелые.
В пальцах тепло не мгновенное –
Сила лежит фортепьянная,
Сила приказа желанная
Биться за дело нетленное...

Мчится, летит, с нами едучи,
Сам ноготок зацелованный,
Мчится, о будущем знаючи,
Сам ноготок холодающий.
Славная вся, безусловная,
Здравствуй, моя оживленная –
Ночь в рукавах и просторное
Круглое горло упорное.

Слава моя чернобровая,
Бровью вяжи меня вязкою,
К жизни и смерти готовая,
Произносящая ласково
Сталина имя громовое
С клятвенной нежностью, с ласкою.

Май (?) 1937

СТАНСЫ

Необходимо сердцу биться –
Входить в поля, врастать в леса.
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.

Дорога к Сталину – не сказка,
Но только – жизнь без укоризн:
Футбол – для молодого баска,
Мадрида пламенная жизнь.

Москва повто́рится в Париже,
Дозреют новые плоды,
Но я скажу о том, что ближе,
Нужнее хлеба и воды, –

О том, как вырвалось однажды:
– Я не отдам его! – и с ним,
С тобой, дитя высокой жажды,
И мы его обороним,

Непобедимого, прямого,
С могучим смехом в грозный час,
Находкой выхода прямого
Ошеломляющего нас.

И ты прорвешься, может статься,
Сквозь чащу прозвищ и имен
И будешь сталинкою зваться
У самых будущих времен...

Но это ощущенье сдвига,
Происходящего в веках,
И эта сталинская книга
В горячих солнечных руках, –

Да, мне понятно превосходство
И сила женщины – ее
Сознанье, нежность и сиротство
К событьям рвутся – в бытие.

Она и шутит величаво,
И говорит, прощая боль,
И голубая нитка славы
В ее волос пробралась смоль.

И материнская забота
Ее понятна мне – о том,
Чтоб ладилась моя работа
И крепла – на борьбу с врагом.

4–5 июля 1937
Савёлово

Шуточные стихотворения

Стихотворения «на случай»

АКТЕРУ, ИГРАВШЕМУ ИСПАНЦА
(«ЗАГАДКА И РАЗГАДКА»)

Испанец собирается порой
На похороны тетки в Сарагосу,
Но всё же он не опускает носу
Пред теткой бездыханной, дорогой.
У гроба он закурит пахитосу
И быстро возвращается домой.
Любовника с испанкой молодой
Он застает – и хвать ее за косу!
Он говорит: «Не ездил я порой
На похороны тетки в Сарагосу.
Я тетки не имею никакой,
Я выкурил в Севилье пахитосу,
И вот я здесь, клянусь в том бородой
Билибердоса и Бомбардоса!»

1909 (?)

* * *

В половине второго,
Честное слово,
Тяжело пииту
По алфавиту
Идти к ответу –
Но выхода нету...

14 марта 1911

* * *

Вы хотите быть игрушечной,
Но испорчен Ваш завод:
К Вам никто на выстрел пушечный
Без стихов не подойдет.

1911

* * *

Блок
Король
И маг порока.
Рок
И боль
Венчают Блока.

10 декабря 1911

* * *

Но в Петербурге акмеист мне ближе,
Чем романтический Пьеро в Париже.

1912 (?)

* * *

И глагольных окончаний колокол
Мне вдали указывает путь,
Чтобы в келье скромного филолога
От моих печалей отдохнуть.
Забываю тягости и горести,
И меня преследует вопрос:
Приращенье нужно ли в аористе
И какой залог «пепайдевкос»?

Конец 1912 – начало 1913

* * *

Автоматичен, вежлив и суров,
На рубеже двух славных поколений
Забыл о бесхарактерном Верлене
И Теофиля принял в сонм богов.

....

И твой картонный профиль, Гумилев,
Как вырезанный для китайской тени.

1913 (?)

* * *

Не унывай,
Садись в трамвай,
Такой пустой,
Такой восьмой...

1913 (?)

* * *

Что здесь скрипением несносным
Коснулось слуха моего?
Сюда пришел Недоброво –
Несдобровать мохнатым соснам!

Между 1910 и 1914

«Ж О Р Ы»

I

Свежо раскинулась сирень,
Ужо распустятся левкои,
Обжора жук ползет на пень,
Уж Ора шаг волочит в зное.

II

Вояжор арбуз украл
Из сундука тамбур-мажора.
– Обжора! – закричал капрал,
– Я утоплю Вас, где Ижора.

1914 (?)

АНТОЛОГИЯ АНТИЧНОЙ ГЛУПОСТИ

1. Ревность

– Лесбия, где ты была? – Я лежала в объятьях Морфея.
– Женщина, ты солгала: в них я покоился сам!

2

Ветер с высоких дерев срывает желтые листья.
– Лесбия, посмотри: фиговых сколько листов!

3

Катится по небу Феб в своей золотой колеснице.
Завтра тем же путем он возвратится назад.

4

Буйных гостей голоса покрывают шумящие краны:
«Ванну, хозяин, прими, но принимай и гостей!»

5

Сын Леонида был скуп, и кратеры хранил он ревниво,
Редко он другу струил пенное в чашу вино.
Так он любил говорить, возлежа за трапезой с пришельцем:
– Скифам любезно вино, мне же любезны друзья.

6

Сын Леонида был скуп, и когда он с гостем прощался,
Редко он гостю совал в руку полтинник иль рубль.
Если же скромен был гость и просил лишь тридцать копеек,
Сын Леонида ему тотчас, ликуя, вручал.

7

– Смертный, откуда идешь? – Я был в гостях у Шилейки.
Дивно живет человек – смотришь, не веришь очам!
В креслах глубоких сидит, за обедом кушает гуся,
Кнопки коснется рукой – сам зажигается свет.
– Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,
Путник, скажи мне, прошу, как же живут на Восьмой?

8

«Милая», – тысячу раз повторяет нескромный любовник.
В тысячу первый он «милая» скажет опять.

9

Тесно обнявшись, чета дивилась огромной звездою.
Утром постигли они: это сияла луна.

1911–1914

* * *

Барон Эмиль хватает нож,
Барон Эмиль идет к портрету.
Барон Эмиль, куда идешь?
Барон Эмиль, портрета нету!

1914

* * *

Дабы волос усилить мощь,
Одна девица их на нощь
Решила мазать керосином,
И что ж? Был волос худ и тощ,
А стал, как допотопный хвощ,
Густым, могучим исполином...

1914 (?)

* * *

Это есть художник Альтман,
Очень старый человек.
По-немецки значит Альтман
Очень старый человек.

Он художник старой школы,
Целый свой трудился век,
Оттого он невеселый,
Очень старый человек.

1915 (?)

* * *

Я связан молоком с языческой Палладой,
И кроме молока – мне ничего не надо!

15 августа 1917

* * *

Почему ты всё дуешь в трубу, молодой человек?
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек!

Конец 1919 – начало 1920

* * *

Не сожалей, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч,
Помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать.

Конец 1920 – начало 1921

* * *

Есть разных хитростей у человека много,
И жажда денег их влечет к себе, как вол...
Кулак Пахом, чтоб не платить налога, –
Наложницу себе завел!

1922 или 1923

* * *

Юношей я присмотрел скромный матрас полосатый,
Тайной рассрочки смолу лил на меня Тягунов.
Время пристало купить волосяную попону –
У двоеженца спроси – он объяснит, почему.

1924 (?)

АФОРИЗМЫ ЖИТЕЙСКОЙ ГЛУПОСТИ

1

Мандельштам Иосиф – автор этих разных эпиграмм.
Никакой другой Иосиф не есть Осип Мандельштам.

2

Эта Анна есть Иванна – Дом-искусства человек,
Оттого что в Дом-искусства можно ванну принимать.

3

Это Гарик Ходасевич по фамильи Гренцион.
Несмотря что Альциона есть элегия Шенье.

4

Это есть Лукницкий Павел Николаич человек.
Если это не Лукницкий – это, значит, Милюков.

5

Алексей Максимыч Пешков – очень Горький человек.
Несмотря на то что Пешков не есть горький человек.

6

Это есть мадам Мария. Уголь есть почти что торф.
Но не каждая Мария может зваться Бенкендорф.

1920–1921; 1925 (?)

[ПЕРЕВОДЫ ИЗ КНИГИ Ж. РОМЕНА «ОБОРМОТЫ»]

<1>

Вода, бегущая хрустальным писсуаром, –
Твой мужественный ток напомнил мне Амбер,
Откуда солнце – круглый камамбер –
Я наблюдал над Иссуаром!

<2>

Каштановый навес над томным писсуаром,
Багрянцем осени окрашенный Амбер;
Гармония листвы повеет Иссуаром,
И сердце льнет к нему, как нежный камамбер!

<3>

Зарницы городов маячат в Иссуарах,
И в мареве равнин заразы камамбер!
Ты пожираешь ночь, Амбер, –
Безумцев кузнецов в горящих писсуарах!

<4>

О, годы! О, часы! О, бремя Иссуара!
Проточная вода в воронке писсуара!
В прорывы бытия брось лилию, Амбер!
Амбер! Кто вплел в твой герб позорный камамбер?

<5>

Эфирный холодок в преддверьи писсуара,
Лия всемирное молчанье Иссуара,
Убьет жандармских ног пахучий камамбер.
– Конец!
          – Нельзя дышать!
                    – Нет больше слов – Амбер!

<6>

Ненавижу Амбер: это проклятый сыр,
Личинками червей кишащий камамбер;
Но Иссуар – везде и всюду нам укор:
Заброниро́ванный от взоров писсуар!

<7>

Высокая гражданственность Амбера –
Республиканских урн блестящий писсуар;
Но если мы затронем Иссуар –
Не миновать зловонья камамбера!

<8>

Знай, благородный друг, что в среду, утром росным,
Крылатым способом, движением колесным
Ты в облюбованный направишься притин,
Где – артиллерия окраинных равнин –
Молочник утренний гремит порожней жестью;
Я, кофий выкушав, по гулкому предместью
Нажимом легких ног машину поведу
И старца на пути маститого найду,

Чья жесткая метла – Нептуново орудье –
Навозом скакунов питается в безлюдьи.
Туда поеду я, высоких полон чувств,
В Сквер зеленеющий Ремесел и Искусств,
Где профиль мужеский, блеснув улыбкой жаркой,
Утешит жизнь мою, надрезанную Паркой!
Прочь, бисер нежных слов! Любезность – ерунда.
Сквер. Пятый час утра. Запомним: середа!

1924 или 1925

* * *

Юношей Публий вступил в ряды ВКП золотые,
Выбыл из партии он дряхлым – увы! – стариком.

1925 (?)

* * *

Скажу ль,
Во Франции два брата, два Гонкура, Эдмонд и Жуль,
Когда б не родились и не писали вместе,
Не оказали б им такой французы чести.

Два брата, но одна у братьев голова –
У них цилиндра два и рединготов два...

....

Жуль если только книгу пишет,
Эдмонд не кушает, не дышит.

....

Покуда Жуль пером себя бессмертит,
Эдмонд мороженицу вертит.

А вечером, лей дождь хоть из ведра,
С Эдмондом Жуль идут в Гранд Опера
И, не считаясь с тем, кто пишет лучше, плоше,
Друг другу подают не в очередь калоши.

Где братья, там салон, капустник иль премьера...
«Намедни я обедал у Флобера –
Нет, что ни говори,
Изрядно у него выходит “Бовари”».

1925 (?)

* * *

Разве подумать я мог, что так легковерна Мария, –
Пяста в Бруссоны возьми, Франс без халата сбежит.

1925 (?)

* * *

Кто Маяковского гонитель
И полномочный представитель
Персидского сатрапа Лахути?
Шенгели, Господи прости, –
Российских ямбов керченский смотритель.

Около 1927

* * *

У вас в семье нашел опору я –
Предупредительность, которая
Меня сумела воскресить,
И долго будет крыса хворая
Признательна за помощь скорую,
Которую нельзя забыть.

Май 1927

* * *

Подшипник с шариком
Решил соревноваться.
Подшипник стал шипеть,
А шарик стал вращаться.

Конец 1920-х годов

* * *

Помпоныч, римский гражданин,
Наскучив жить в развратном изобилье,
На то имея множество причин,
Включая старческое слабосилье,

К себе гостей однажды пригласил
И сам себе разрезал скукожилья,
Скукожился и дух по ванне испустил.

Конец 1920-х годов

* * *

Как некий исполин с Синая до Фавора,
От договора ты бредешь до договора.

1920-е годы (?)

* * *

«Ubi bene, ibi patria»[1] – говорили прежде древние,
Я ж, имея друга Бена Лившица, скажу обратное:
«Ibi patria, ubi bene».[2]

Вторая половина 1920-х годов

* * *

Один еврей, должно быть комсомолец,
Живописать решил дворянский старый быт:
На закладной под звуки колоколец
Помещик в подорожную спешит.

1920-е годы (?)

* * *

Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович,
Ах, на Покровку она худого пустила жильца.
– Бабушка, шубе не быть! – вскричал запыхавшийся внучек,
– Как на духу, Мандельштам плю́ет на вашу доху!

1931

[1] Где хорошо, там отечество (*лат.*). – *Ред.*
[2] Там отечество, где хорошо (*лат.*). – *Ред.*

* * *

Скажи-ка, бабушка, – хе-хе! –
И я сейчас к тебе приеду –
Явиться ль в смокинге к обеду
Или в узорчатой дохе?

1931

* * *

Зане в садах Халатова-халифа
Дух бытия.
Кто не вкушал благоуханий ЗИФа –
И он, и я...
И для того, чтоб слава не затихла
Сих свистунов,
Уже качается на розе ГИХЛа
В. Соловьев.

Начало 1931 (?)

ЭПИГРАММА В ТЕРЦИНАХ

Есть на Большой Никитской некий дом –

Зоологическая камарилья,
К которой сопричастен был Вермель.
Он ученик Барбея д'Оревильи.

И этот сноб, прославленный Барбей,
Запечатлелся в Вермелевом скарбе,
И причинил немало он скорбей.

Кто может знать, как одевался Барбий?
Ведь англичанина не спросит внук,
Как говорилось: «дерби» или «дарби»,

А Вермель влез в Барбеевый сюртук.

Весна 1931

* * *

Ходит Вермель, тяжело дыша,
Ищет нежного зародыша.
Хорошо на книгу лóжится
Человеческая кожица.
Ищет Вермель, словно вор ночной,
Взять на книгу кожу горничной.
Даже дети, даже женщины –
Как перчатки у военщины.
Душно... Вермель от эротики
Задохнулся в библиóтеке.

Октябрь 1932

* * *

Счастия в Москве отчаяв,
Едет в Гатчину Вермель.
Он почти что Чаадаев,
Но другая в жизни цель.
Он похитил из утробы
Милой братниной жены...
Вы подумайте: кого бы?
И на что они нужны?
Из племянниковой кожи
То-то выйдет переплет!
И, как девушку в прихожей,
Вермель черта ущипнет.

Октябрь 1932

* * *

Мяукнул конь и кот заржал –
Казак еврею подражал.

1932 (?)

* * *

Звенигородский князь в четырнадцатом веке
В один присест съел семьдесят блинов,
А бедный князь Андрей и ныне нездоров.
Нам не уйти от пращуров опеки!

1932

МАРГУЛЕТЫ

1

Старик Маргулис из Ростова,
С рекомендацией Бубнова,
Друг Островера и Живова
И современник Козакова.

2

Старик Маргулис на Востоке
Постиг истории истоки.
У Шагинян же Мариетт
Гораздо больше исторьетт.

3

Я видел сон – мне бес его внушил:
Маргулис смокинг Бубнову пошил.
Но тут виденья вдруг перевернулись,
И в смокинге Бубнова шел Маргулис.

4

Маргулис – он из Наркомпроса,
Он не турист и не естественник,
К истокам Тигра и Эфроса
Он знаменитый путешественник.

5

У старика Маргулиса глаза
Преследуют мое воображенье,
И с ужасом я в них читаю: «За
Коммунистическое просвещенье».

6

Ах, старика Маргулиса глаза
Не соответствуют своему назначению,
Выгонят, выгонят его из «За
Коммунистическое просвещение».

7

Старик Маргулис под сурдинку
Уговорил мою жену
Вступить на торную тропинку
В газету гнусную одну.

Такую причинить обиду
За небольшие барыши!
Так отслужу ж я панихиду
За ЗКП его души!

8

Старик Маргулис зачастую
Ест яйца всмятку и вкрутую.
Его враги нахально врут,
Что сам Маргулис тоже крут.

9

Старик Маргулис, разумей-ка,
Живет на Трубной у Семейки,
И, пядей будучи семи,
Живет с Семейкой без семьи.

10

Звезды сияют ночью летней,
Марганец спит в сырой земле,
Но Маргулис тысячелетний
Марганца мне и звезд милей.

1927–1932

* * *

Посреди огромных буйволов
Ходит маленький Мануйлов.

Конец 1920-х – начало 1930-х годов

* * *

Не средиземною волной
И не Вальпургиевой жабой,
Я нынче грежу, сам не свой,
Быть арестованною бабой.

Увы, на это я готов
Заране с выводами всеми,
Чтоб видеть вас в любое время
Под милицейский звон оков!

Конец 1920-х – начало 1930-х годов

* * *

Я – мужчина-иностранец,
Я – мужчина-лесбиянец,
На Лесбосе я возрос,
О, Лесбос, Лесбос, Лесбос.

Начало 1930-х годов

* * *

Шапка, купленная в ГУМе
Десять лет тому назад, –
Под тобою как игумен
Я гляжу, стариковат.

Около 1932

* * *

Там, где край был дик,
Там шумит арык,
Где шумел арык,
Там пасется бык,
А где пасся бык,
Там поет старик.

1934 (?)

* * *

Плещут волны Флегетона,
Своды Тартара дрожат.
Съеден торт определенно –
Пястом пестуемый яд.

Начало 1934

* * *

Слышу на лестнице шум быстро идущего Пяста,
Вижу: торчит на пальто семьдесят пятый отрыв,
Чую смущенной душой запах голландского сыра
И вожделею отнять около ста папирос.

Начало 1934

* * *

Знакомства нашего на склоне
Шервинский нас к себе зазвал
Послушать, как Эдип в Колоне
С Нилендером маршировал.

1934

* * *

Мне вспомнился старинный апокриф:
Марию лев преследовал в пустыне
По той святой, по той простой причине,
Что был Иосиф долготерпелив.

Сей патриарх, немного почудив,
Марииной доверился гордыне –
Затем, что ей людей не надо ныне,
А лев – дитя – небесной манной жив.

А между тем Мария так нежна,
Ее любовь так, боже мой, блажна,
Ее пустыня так бедна песками,

Что с рыжими смешались волосками
Янтарные, а кожа – мягче льна –
Кривыми оцарапана когтями.

Начало 1934

* * *

Уста запеклись и разверзлись чресла,
Весь воздух в стонах родовых:
Это Мария Петровых
Рожает близнецов – два театральных кресла.

Зима 1933–1934

* * *

Большевикам мил элеватор,
Французам мил стиль élevе,
А я хотел бы быть диктатор,
Чтоб скромность воспитать во Льве.

Зима 1933–1934

* * *

Не жеребенок хвостом махает –
Яша-ребенок снова играет.
Яша, играйте лучше ребенка
И жеребенка перебрыкайте!

1934

* * *

Марья Сергеевна, мне ужасно хочется
Увидеть вас старушкой-переводчицей,
Неутомимо с головой трясущейся
К народам СССР влекущейся,
И чтобы вы без всякого предстательства
Вошли к Шенгели в кабинет издательства
И вышли, нагруженная гостинцами –
Недорифмованными украинцами.

Начало 1934

* * *

Привыкают к пчеловоду пчелы –
Такова пчелиная порода,
Только я Ахматовой уколы
Двадцать три уже считаю года.

Февраль 1934

* * *

На берегу эгейских вод
Живут архивяне – народ
Довольно древний. Всем на диво
Начальству продавать архивы
Паршивый промысел его.
Священным трепетом листвы
И гнусным шелестом бумаги
Они питаются – увы! –
Неуважаемы и наги...
Чего им нужно?

1934

* * *

Не надо римского мне купола
Или прекрасного далека,
Предпочитаю вид на Луппола
Под сенью Жан-Ришара Блока.

1934 (?)

* * *

Источник слез замерз, и весят пуд оковы
Обдуманных баллад Сергея Рудакова.

Конец 1936 или начало 1937

* * *

Наташа спит. Зефир летает
Вкруг гофрированных волос.
Для девушки, как всякий знает,

Сон утренний – источник слез,
Головомойку означает,
Но волосы ей осушает

Какой-то мощный пылесос,
И перманентно иссякает –
И вновь кипит источник слез.

24 февраля 1937

* * *

Искусств приличных хоровода
Вадим Покровский не спугнет:
Под руководством куровода –
За Стоичевым год от года
Настойчивей кроликовод.

24 февраля 1937

* * *

О, эта Лена, эта Нора,
О, эта Этна ИТР,
Эфир, Эсфирь, Элеонора –
Дух кисло-сладкий двух мегер.

24 февраля 1937

* * *

Пришла Наташа. – Где была?
Небось не ела, не пила.
И чует мать, черна как ночь, –
Вином и луком пахнет дочь.

Начало 1937

* * *

Если бы проведал Бог,
Что Наташа педагог,
Он сказал бы: ради Бога,
Уберите педагога.

Начало 1937

* * *

– Наташа, как писать «балда»?
– Когда идут на бал – то: да!
– А «вполдень»? – Если день, – то вместе,
А если ночь, то не скажу, по чести.

Начало 1937

* * *

Наташа, ах, как мне неловко,
Что я не Генрих Гейне:
К «головке» – переводчик ейный –
Я б рифму закатил: «плутовка».

Начало 1937

* * *

Наташа, ах, как мне неловко!
На Загоровского, на маму –
То бишь на божию коровку –
Заказывает эпиграмму!

24 февраля 1937

* * *

Эта книжка украдена Трошею с СХИ,
И резинкою Вадиной для Наташи она омоложена
И ей дадена в день посещения дядина.

1 марта 1937

* * *

Девочку в деве щадя, с объясненьем юноша медлил –
И через семьдесят лет молвил старухе: люблю!

Мальчика в муже щадя, негодуя, медлила дева –
И через семьдесят лет плюнула старцу в лицо.

Между февралем и маем 1937

РЕШЕНЬЕ

Когда б женился я на египтянке
И обратился в пирамид закон,
Я б для моей жены, для иностранки,
Для донны, покупал пирамидон,

Купаясь в Ниле с ней иль в храм идя,
Иль ужиная летом в пирамиде, –
Для донны пирамид – пирамидон.

Март (?) 1937

* * *

Зевес всех должностей лишил Гермеса –
В кузнечном деле ни бельмеса,
Оказывается, он не понимал.
Но, громовержец, ты ведь это знал!

1930-е годы

БАСНИ

* * *

Однажды некогда какой-то подполковник,
Белогвардеец и любовник,
Постился, выводя глисту.
Дня три или четыре
Росинки маковой он не имел во рту.

Но величайший постник в мире
Лишь тот, кто натощак читает «На посту».

Около 1923

Лжец и ксендзы

Известно: у католиков развод
За преступление слывет!
И вот
В Италии один партикулярий,
Явившись в консисторию к ксендзам,
Им предложил устроить хоть акварий.
Но, по глазам
Лжеца узнав,
Так отказал ему викарий:
– Иди, мой сын, пока ты не погиб:
Мы не разводим даже рыб!

1924

* * *

По нашим временам куда как стали редки
Любители почивших в бозе... Вот
В старинный склеп, где тихо тлеют предки,
Он входит. Снял сомбреро. На киот
Перекрестился. Долг потомка справил
И, в меру закусив, в вагоне лег костьми.
А вор его без шляпы и оставил.

Читатель, не кути с случайными людьми!

1924

Тетушка и Мирабо

Куда как тетушка моя была богата!
Фарфора, серебра изрядная палата,
Безделки разные и мебель акажу,
Людовик, рококо – всего не расскажу.
Среди других вещей стоял в гостином зале
Бетховен гипсовый на лаковом рояле.
У тетушки он был в особенной чести.
Однажды довелось мне в гости к ней прийти,
И гордая собой, упрямая старуха
Перед Бетховеном проговорила глухо:
– Вот, душенька, Марат работы Мирабо!
– Да что вы, тетенька, не может быть того!
Но старость черствая к поправкам глуховата:
– Вот, – говорит, – портрет известного Марата
Работы, ежели припомню, Мирабо.

Читатель, согласись, не может быть того!

1925

Извозчик и Дант

Извозчик Данту говорит
С энергией простонародной –
О чем же? О профессии свободной,
О том, что вместе их роднит:
– И я люблю орган,
Из всех трактиров я предпочитаю «Рим».
Хоть я и флорентинец,
Но всё же я не вор и не убиец;
Ведь лошади моей, коль хорошенько взвесить,
Лет будет восемь иль, пожалуй, десять, –
И столько же ходил за Беатричей ты;
Дурного не скажу и во хмелю про Данта,
В тебе отца родного чту и коменданта –
Вели ж по осени не разводить мосты!

1925

* * *

Какой-то гражданин, наверное попович,
Наевшися коммерческих хлебов,
– Благодарю, – воскликнул, – Каганович!
И был таков.

Конец 1920-х годов (?)

* * *

Однажды из далекого кишлака
Пришел дехканин в кооператив,
Чтобы купить себе презерватив.
Откуда ни возьмись, мулла-собака,
Его нахально вдруг опередив,
Купил товар и был таков. Однако!

1930-е годы (?)

* * *

Какой-то гражданин, не то чтоб слишком пьян,
Но все-таки в нетрезвом виде,
В квартире у себя установил орган.
Инстру́мент заревел. Толпа жильцов в обиде.
За управдомом шлют. Тот гневом обуян.
И тотчас вызванный им дворник Себастьян –
Бах, бах – машину смял, мошеннику дал в зубы.

Не в том беда, что Себастьян грубьян,
А плохо то, что бах какой-то грубый.

1934 (?)

* * *

Один портной
С хорошей головой
Приговорен был к высшей мере.
И что ж – портновской следуя манере,
С себя он мерку снял –
И до сих пор живой.

1 июня 1934.
Свердловск

Коллективное

* * *

Кушает сено корова,
А герцогиня желе,
И половина второго –
Граф ошалел в шале.

Около 1911

ПАСТОРАЛЬ

В германских пущах слышен рев позаун
И стук тревожный факультетских дятлов.
Студент, косматых не пригладив патлов,
Спешит на травлю баснословных фаун.

Но романтическим собакам «down!»
Вскричал свирепый доезжачий Радлов.
Так вот чем кончился твоих наяд лов,
О, рыцарь Университета Браун!

А между тем, печенья в рот напичкав,
Идей теченье запрудил Аничков.
Со стула встал и прочь пошел Кога́н,

Сказав: «Доклад сегодня был поган!»
Увы, то не доклад, а кота клизма,
Известного под кличкой романтизма!

15 октября 1912

УМЕРЕВШИЙ ОФИЦЕР
(БАЛЛАДА)

Посв. поэту Н. Оцупу

Полковнику Белавенцу
Каждый дал по яйцу.

Полковник Белавенец
Съел много яец.

Пожалейте Белавенца,
Умеревшего от яйца.

1920 или 1921

БАЛЛАДА О ГОРЛИНКАХ

Восстал на царство Короленки
Ионов, Гиз, Авессалом:
– Литературы-вырожденки
Не признаем, не признаем!
Но не серебряные пенки,
Советского червонца лом,
И не бумажные керенки –
Мы только горлинки берем!

Кто упадет на четверенки?
(Двум Александрам тесен дом.)
Блондинки, рыжие, шатенки
Вздохнут о ком, вздохнут о ком?
Кто будет мучиться в застенке,
Доставлен в Госиздат живьем?
Воздерживаюсь от оценки:
Мы только горлинки берем!

Гордятся патриотки-венки
Своим слабительным питьем –
С лица Всемирки-Современки
Не воду пьем, не воду пьем!
К чему нам различать оттенки?

Не нам кичиться этажом.
Нам – гусь, тебе – бульон и гренки, –
Мы только горлинки берем!

Envoi:

Князь Гиза, слышишь: к переменке
Поет бухгалтер соловьем:
«Кто на кредитки пялит зенки?
Мы только горлинки берем!»

25 декабря 1924

СОНЕТ

На Моховой семейство из Полесья
Литературный празднует шабаш:
Здесь Гомель – Рим, здесь папа – Шолом Аш
И голова в курчавых пейсах – песья.

Из двух газет – о чудо равновесья! –
Для ритуала, для раввинских каш,
Два карлика устроили шалаш:
Испано-белорусские очесья.

Осьмивершков, невзрачен, бородат,
Давид Выгодский ходит в Госиздат,
Как закорючка азбуки еврейской,

Где противу площадки брадобрейской
Такой же, как и он, небритый карл,
Ждет младший брат – торговли книжной ярл.

1926 или 1927

* * *

Эмаль, алмазы, позолота
Могли б украсить египтян,
Моей же девы красит стан
Аршин трико иль шевиота.

1934

* * *

Случайная небрежность иль ослышка
Вредны уму, как толстяку одышка.
Сейчас пример мы приведем:
        Один филолог,
        Беседуя с невеждою вдвоем,
        Употребил реченье «идиом».
И понадергали они друг другу челок.
Но виноват из двух друзей, конечно, тот,
Который услыхал оплошно – «идиот».

12 июня 1935

* * *

Карлик-юноша, карлик-мимоза
С тонкой бровью – надменный и злой...
Он питается только Елозой
И яичной скорлупой.

3 апреля 1936

Приписываемое

* * *

На теле мраморных колонн
Следы толпы, идущей мимо.
Храм придорожный осквернен,
Но красота неосквернима.
Люблю я в зле свою мечту,
Уродство в жизни неизбежно,
И я целую красоту,
Бесстыдных слов касаясь нежно.

1910-е годы (?)

* * *

В девятьсот двенадцатом, как яблоко румян,
Был канонизирован святой Мустамиан.

И к неувядаемым блаженствам приобщен
Тот, кто от чудовищных родителей рожден.

Серебро закладывал, одежды продавал,
Тыщу динариев менялам задолжал.

Гонят слуги палками того, кто наг и нищ,
Охраняют граждане добро своих жилищ.

И, однажды идучи ко святым местам,
Слышит он: «О. Мандельштам, глянь-ка – ландыш там!»

1912 (?)

* * *

Пушкин имеет проспект, пламенный Лермонтов тоже.
Сколь же ты будешь почтен, если при жизни твоей
Десять Рождественских улиц?

Весна 1921 (?)

[ИЗ ТЕТРАДИ Д. И. ШЕПЕЛЕНКО]

Поэту море по коленки!
Смотрите: есть у Шепеленки,
Что с Агглаидой Вонифатий
Совокуплялся без объятий.

* * *

Нам не шелк, одна овчина,
Мы – несча́стливый народ.
И в тетрадях чертовщина,
И в судьбе нашей не прет!

* * *

Голова твоя талантлива,
Живо сердце, не мертво,
Как уборщица Мелантьевна...
Впрочем, это ничего.

8 ноября 1923

* * *

Вермель в Канте был подкован,
То есть был он, так сказать,
Безусловно окантован,
То есть Канта знал на ять.
В сюртуке, при черном банте,
Филосо́ф был – прямо во!
Вермель съел собаку в Канте,
Кант, собака, съел его.

1932 (?)

* * *

Как поехал Вермель в Дмитров,
Шляпу новую купил.
Ну не шляпа – прямо митра:
Вермель Дмитров удивил.
То-то в шляпе он устроил
Предкам форменный парад.
Шляпа – брешь в советском строе...
Без нее он брел назад.

1932 (?)

* * *

Спит безмятежно
Юлий Вермель.
Август. Бесснежно.
Впрочем, апрель.
В Дмитрове предок
Тризной почтен.
А напоследок –
В шляпе – мильтон.

1932 (?)

* * *

У женщины, как и у обезьяны,
В желудке иногда случаются изъяны.

Начало 1930-х годов

* * *

Любил Гаврила папиросы,
Сафо Гаврила обожал,
Гаврила позвонил Эфросу –
«Абрам» он «Маркович» сказал.

1930-е годы

* * *

Спросили как-то воина:
– На Шипке всё спокойно?
– Да, – отвечал он, – и на Шипке
Все признают свои ошибки.

1930-е годы (?)

Из незавершенного и утраченного

* * *

Поднять скрипучий верх соломенных корзин

1908

* * *

Я помню берег вековой
И скал глубокие морщины,
Где, покрывая шум морской,
Ваш раздавался голос львиный.

И Ваши бледные черты,
И, в острых взорах византийца,
Огонь духовной красоты –
Запомнятся и будут сниться.

Вы чувствовали тайны нить,
Вы чуяли рожденье слова,
Лишь тот умеет похвалить,
Чье осуждение сурово.

1910

* * *

Однажды прапорщик-заика
К своей прабабушке пришел

1910-е годы (?)

* * *

Архистратиг вошел в иконостас...
В ночной тиши запахло валерьяном.
Архистратиг мне задает вопросы,
К чему тебе [.....] косы
И плеч твоих сияющий атлас

1921

* * *

[..] Канделаки
У него Брехничев вместо цепной собаки

1921

* * *

Но я люблю твои, Сергей Бобров,
Почтово-телеграфные седины.

1920-е годы (?)

* * *

Старик Маргулис на бульваре
Нам пел Бетховена...

1920-е годы (?)

* * *

И пламенный поляк, ревнивец фортепьянный
....
И маленький Рамо, кузнечик деревянный
....
Чайковского боюсь – он Моцарт на бобах

1930-е годы (?)

* * *

Убийца, преступная вишня
Проклятая неженка, ма!
[..........................] дар вышний
Дар нежного счастья сама

Блеск стали меча самурайской
И вся первозданная тьма
Сольются в один самородок
Когда окаянней камней
Пленительный злой подбородок
У маленькой Мэри моей.

Начало 1934

* * *

В оцинкованном влажном Батуме,
По холерным базарам Ростова,
И в фисташковом хитром Тифлисе
Над Курою в ущелье балконном
Шили платье у тихой портнихи.

Апрель 1934

* * *

Я семафор со сломанной рукой
У полотна воронежской дороги.

1935

* * *

И веером разложенная дранка
Непобедимых скатных крыш...

1937 (?)

* * *

Такие же люди, как вы, с глазами, вдолбленными в череп...
Такие же судьи, как вы, лишили вас холода тутовых ягод...

1937 (?)

* * *

В Париже площадь есть – ее зовут Звезда
[...] машин стада

1937 (?)

* * *

Но уже раскачали ворота молодые микенские львы...

Начало 1937

Переводы

Жан Расин

НАЧАЛО «ФЕДРЫ»

– Решенье принято, час перемены пробил,
Узор Трезенских стен всегда меня коробил,
В смертельной праздности на медленном огне
Я до корней волос краснею в тишине:
Шесть месяцев терплю отцовское безвестье,
И дальше для меня тревога и бесчестье
Не знать урочища, где он окончил путь.

– Куда же, государь, намерены взглянуть?
Я первый поспешил унять ваш страх законный
И переплыл залив, Коринфом рассеченный.
Тезея требовал у жителей холмов,
Где глохнет Ахерон в жилище мертвецов.
Эвлиду посетил, не мешкал на Тенаре,
Мне рассказала зыбь о рухнувшем Икаре.
Надежды ль новой луч укажет вам тропы
В блаженный край, куда направил он стопы?
Быть может, государь свое решенье взвесил
И с умыслом уход свой тайной занавесил,
И между тем как мы следим его побег,
Сей хладнокровный муж, искатель новых нег
Ждет лишь любовницы, что, тая и робея...

– Довольно, Терамен, не оскорбляй Тезея...

Из старофранцузского эпоса

ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ
(ОТРЫВКИ)

1
(Запевка)

Карл всемогущий, император наш,
Шесть лет сполна в Испаньи пребывал –
До самых волн покорил горный край.
Замки пред ним склонились все подряд,

Не устояли ни крепость, ни вал,
Лишь Саррагоса, что с горы видна.
Там царь Марсиль, что с Богом не в ладах,
Чтит Магомета, Аполлону рад:
Не сохранит себя, погибнет сам.

2
*(Роланд отказывается трубить в рог.
Турпан благословляет армию.)*

«Роланд, мой друг, трубите в Олифан,
Услышит вас Карл, что ущельем идет,
Верно говорю: французы будут здесь». –
«Не допустит Бог, – отвечает Роланд, –

Про меня не должны говорить среди людей,
Что ради поганых я трубил в мой рог.
Не хочу опозорить свою родню.
Вот когда начнется великий бой,
Я ударю тысячу раз и еще семьсот –
Всем сверкнет Дюрандаля кровавая сталь.
Французы хорошие люди, сражаются правильно –
Ждет людей из страны испанской неминучая смерть».

Говорит Оливье: «Тут рассуждать нечего.
Я видел сарацинов из страны испанской –
Ими усеяны холмы и долины
И все равнины и плоские земли.
Несметная сила у этих чужестранцев,
А у нас всего небольшая горстка».
Отвечает Роланд: «Это мне сил прибавит.
Не допустит Бог со святыми и ангелами,
Чтобы Франция из-за меня лишилась чести.
Лучше мне умереть, чем быть опозоренным –
Император нас любит за то, что сражаемся правильно».

Роланд храбр – Оливье мудр,
Одинаковой доблестью отличены оба.
Уж если они на коне и при оружьи,
Ради темного страха спиной не станут к битве.
Хороши князья с высокомерной речью.
Одурели язычники, коней пришпорили.
Говорит Оливье: «Друг Роланд, оглянитесь!
Трубите в Олифан – сейчас вполне прилично.
Был бы здесь император – мы бы сразу окрепли, –
И для спутников наших ваша трубля не зазорна:
Взгляните на горы перед Аспрским ущельем –
Увидите войска печальное охвостье.
Я говорю правильно, другого не придумаешь».
– «Бросьте, Оливье, советовать бесчестье.
Не на месте сердце сидит у малодушных!
Стреножим коней, выберем место битвы,
Приготовим большие удары и самые большие».

Когда Роланд увидел, что битва им предстоит,
Заиграл гордостью, стал как лев, как леопард,
Кличет французов, Оливье выговаривает:
«Товарищ мой ласковый, полно вам говорить.
Когда император приказал нам здесь быть,
Он так подобрал двадцать тысяч, один к другому,
Чтобы ни один не примазался к нам изменник.
Ради господина человек должен жестко спать
И терпеть большую стужу и великий жар,
Для него сложить голову и пролить кровь.
Ты бей своим копьем, а уж я Дюрандалью,
Доброй шашкой, подарочком императорским.
Если меня убьют, тот, кто возьмет шашку,
Скажет: она служила честному вассалу».

А с другой стороны Турпин, епископ,
Лошадь пришпорил, на холм въезжает,
Кличет французов, начинает проповедь:
«Господа бароны, Карл нам велел здесь быть.
Ради государя вам должно умереть.
Вы опора христианства, не дай Бог ему упасть!
Теперь вы видите: битва на носу,
Сарацины так близко, что можно глаз уколоть.
Сознавайтесь в грехах погромче, просите милости
Божьей!
А уж я отпущу вам – не пропадать же вашим душам.
Если вы умрете – попадете в святые мученики,
Поставят для вас троны в наилучшем месте рая».
Французы спешились, сходят на землю,
Подает им епископ благословенье Божие,
В искупленье грехов советует сражаться.

Французы выровнялись, стали крепко на ноги –
Начисто отпущены, очистились от грехов.
Божью благодать им епископ шлет.
Потом влезают на лошадей сильных и быстрых,
Вооружены по всем правилам рыцарства,
И к битве хорошо приготовлены.
Князь Роланд молвит к Оливье:

«Государь мой товарищ, вы говорите правильно,
Присудил нас к смерти этот Генелон,
Собака, взял золота, добра и динариев.
Ужо император за нас отомстит.
Король Марсил нашу жизнь приторговал,
Под ударами сабель он будет платить».

3
(Смерть Оливье)

Роланд заглянул в лицо Оливье:
Как тот осунулся и посинел!
Красною кровью истекает весь,
На землю падает крови ручей.
Князь воскликнул: «Боже, что делать мне!
Незадача вам, сир, товарищ-храбрец,
Не родился равный вам человек.
О, нежной Франции вдовий удел!
Без добрых вассалов и сыновей
Императору будет страшный вред».
Так говоря, покачнулся в седле.

Вот покачнулся в седле князь Роланд,
И Оливье от смертных ран ослаб.
Так обескровел, что слиплись глаза.
Как ни старается вглядеться в даль –
Нет человека, нигде не видать.
Подвернулся ему товарищ в тьме –
Рубанул с плеча самоцветный шлем, –
До переносья раскроил совсем,
Но с головы его сбить не сумел.
Ошеломленный Роланд поглядел,
Спросил его вежливо, с лаской всей:
«Вы нарочно, сир, товарищ, иль нет?
Ведь я Роланд, вам преданный вполне,
И вы меня не предали ничем».
Оливье сказал: «Слышу вашу речь,
Я не узнал вас, Господом клянусь!

Ударил вас – простите мне вину!»
Роланд ответил: «Я зла не таю,
Здесь перед Богом это вам прощу».
Сказав, друг другу падают на грудь,
На прощанье друга ласкает друг.

Оливье почуял смертный исход,
Как смерть по жилам в голову течет,
Зренье теряет и совсем оглох.
Слезает с лошади, на землю лег,
Кается в грехах на весь мир кругом,
Руки ладонями к небу простер,
Просится к Богу на райский порог:
Да спасется Франция и Карлон,
Роланд да спасется, первый во всем.
Всем телом лежит на земле ничком.
Перестал князь жить, не шелохнет бровь.
Храбрый Роланд жалеет, слезы льет;
Так не убивался еще никто.

4
(Смерть Роланда)

Роланд размахнулся в черный камень гранит,
Так сильно размахнулся, что сказать невозможно, –
Сабля зазвенела, не ломается, не гнется,
Вверх отскочила к небесам с силой.
Когда увидел князь, что она крепка навеки,
Тихонько ей жалуется, сам с собой говорит:
«Эй, Дюрандаль, моя сабля освященная и прекрасная,
В золоченой твоей рукояти довольно много реликвий:
Зуб святого Петра, капля крови Василия-мученика,
И прядка волос Дионисия, покровителя моих дней,
И еще кусочек платья пресвятой Девы Марии –
Нет такого права, чтоб язычник тобой владел,
Потому что ты обязана обслуживать христиан.
Весьма много обширных земель ты нам покорила,
Их держит Карл, чья борода цветет, как яблоня.
Император от них разбогател и веселится храбростью.

Не получит тебя человек, способный поступить низко.
Боже, не допустите для Франции такого урона!»

Чувствует Роланд – смерть берет верх,
Вошла через голову, ползет к сердцу вниз.
Вскочил на резвые ноги, подбежал к высокой ели,
На высокую траву бросился ничком,
Положил рядом, совсем близко, и саблю и рог,
Поворачивает голову к Испании, стране, которая славится, –
Он неспроста так делает, а вот для чего:
Чтобы сам Карл сказал и все его люди
Про милого князя, что победил, умирая.
Кается в грехах скороговоркой и частой дрожью,
Просит отпущенья у всемогущего Бога.

Чувствует Роланд – время его тает,
Лежит у входа в Испанию в глубоком рву,
Поднял руку, бьет себя в грудь:
«Господи, я грешник, призываю твою мощь
На все свои грехи, на большие и на мелочь,
С тех пор, как я родился, все дела моих рук
По сегодняшний день, как я насмерть ушиблен».
Перчатку в знак смирения снял с правой руки.
Обступили его ангелы, спустились с небес.

Князь Роланд прилег под елью отдохнуть,
К испанской стороне поворотил лицо.
Разная разность ему пришла на ум:
Различные земли, что войной он прошел,
И ласковая Франция, и весь его род,
И Карл Великий, чей вскормленник он был,
И все французы, которым он так люб.
Не может шелохнуться, ни звука проронить,
Но никак не может себя забыть,
На весь мир кричит свой грех, чтоб услышал Бог:
«Истинный отец, горящий правдой всей,
Воскресивший Лазаря, который был мертв,
И Даниила вырвавший из львиных лап,
Спаси мою душу от злых смертей,

Куда ее тащат мои грехи!»
Протянул Богу перчатку, покорности знак,
И святой Гавриил у него ее взял.
К самой руке его склонил свой лик.
Руки скрестил на груди и отправился в вечный путь.
Бог его переправил в свой херувимский сонм,
И святой Михаил, возмущающий воду морей,
И Гавриил, его спутник, поспешили вместе прийти:
Вынули душу из тела, доставили прямо в рай.

Роланд мертв, его душу держит Бог.
Император торопится, приходит в Ронсеваль –
Там нельзя ступить ни на одну тропинку:
Нет пустой земли ни локтя, ни аршина,
Чтоб не подвернулся француз или язычник.
Карл воскликнул: «Племянник мой, где вы?
Где архиепископ и князь Оливьер,
Где Герин и с ним Герье неразлучный,
Где князь От и князь Беранжер,
Ивон и Иворес, которых я ценю?
Куда запропастился гасконец Ангельер,
Самсон-начальник и гордый Ансеис?
Где Жирард из Русильона, что от старости дремуч,
И все двенадцать пэров, к которым я привык? »
Кто мог ему ответить? – Никто рта не раскрыл!
«Боже, – сказал император, – терзаться я буду теперь,
Зачем к началу битвы я вовремя не поспел!»
Тянет себя за бороду, как в ярости человек,
Плачет слезами из глаз он и весь его круг.
Двадцать тысяч на земле распростерто в прах...
Сильно их жалеет князь Наймон...

5

Прозрачна ночь, и луна сияет.
Карл лег спать, о Роланде жалеет,
Об Оливье вспомнить ему тяжко,
О двенадцати пэрах и французской рати –
В Ронсево своих людей оставил мертвых.

Места себе не находит, всё плачет.
Молит Бога, чтоб приласкал их души.
Устал король, велико его горе,
И прикорнул, заснул, не может больше.
На всех лугах теперь спят французы.
И нет коня, который стал бы стоймя
И пощипал бы травку, – лежа щиплет.
Кто горе мыкал – научится много.

Карл спит, как человек усталый.
Бог к нему подослал Гавриила
И велел ему стеречь государя.
Ангел всю ночь стоял в изголовьи
И возвестил ему сонным виденьем,
Что против него готовится битва,
Предупредил его знаменьем суровым.
Карл посмотрел на вышнее небо:
Громы рокочут, гуляет ветер с градом,
Сильные грозы и чудесные бури;
Пламя горит – огонь приготовлен.
Падает пламя на голову людям,
Копья сжигает из яблони и дуба
И все щиты с золотым украшеньем,
Вдребезги древки этих острых копий,
Скрипят кольчуги и медные шлемы.
В страшной беде свое рыцарство видит:
Съесть их хотят леопарды, медведи,
Змеи, гиены, драконы и черти,
Одних гриффонов больше чем тридцать тысяч.
Нету француза, что не ластился б к небу,
И кричат французы: «Шарлемань, помогите!»
Обуяла Карла и скорбь, и жалость –
Собрался помочь, но ему помешали –
Огромный лев из древесной чащи,
Со всех сторон ужасен, горд и страшен.
Прыгает лев, напал на тело Карла,
Между собой у них единоборство,
И неизвестно, кто кого погубит.
А государь еще не проснулся.

После он видит знаменье другое:
Будто стоит на крыльце в милом Айсе
И на двойной цепочке держит дога.
От Арденн спустились тридцать медведей –
Все говорят человеческой речью.
И говорят: «Сир, отдайте нам дога,
С вами ему оставаться негоже,
К родичам нашим мы спешим на помощь».
Спрыгнул с крылечка в толпу медвежью
И напал на медведя-великана,
Самого рослого на траве зеленой.
Видит король чудесное сраженье,
А кто кого победит – неизвестно.
Это архангел показал баронам,
А Карл спит до самой денницы.

В Саррагосу бежал король Марсиль.
Под оливой спешился, в тень прилег.
Саблю снимает, и шлем, и бронь,
На зеленой траве безобразно лег,
Правую руку потерял совсем,
Мучится, корчится, кровью истек.
С ним стоит жена Бранимонд,
Плачет, кричит, кривит от боли рот,
С ним тридцать тысяч из поганых орд,
Клеплют на Францию и на Карлов род.
К Аполлону прибежали в грот,
Оскорбляют его, ругают, клянут:
«Эй, дрянной бог, что причинил нам стыд,
Это наш царь, зачем его прибил?
И мы тебе по заслугам дадим!»
За руки берут, вешают на столб
И на землю бросают к ногам,
Сильно издеваются, палками бьют;
У Тервагана забрали карбункул
И Магомета столкнули в яму –
Пусть его там кусают собаки.

От сильных ран оправился Марсилий,
Перенесли его в сводчатую спальню
С камнем цветным и с росписью узорной;
Плачет над ним царица Бранимонда,
Волосы рвет, клянет свою участь,
Одно и то же кричит, причитает:
«Эй, Саррагоса, ты теперь сиротка –
Власти лишилась милого Марсиля!
Сильно подвел нас наш изменник-идол:
Он допустил, что все погибли в битве.
Если хватит сердца у эмира,
С этими храбрыми он должен сразиться –
С лица они горды, не жалеют жизни.
Борода императора цветет, как яблоня.
Слуг у него много, еще больше доблесть:
Никогда не убежит с поля битвы.
Очень жалко, что его не убили!»

По доброй воле могучий Карл
Семь круглых лет испанский вел поход,
Замков взял пропасть и тьму городов.
Сильно озабочен король Марсиль,
К письмам своим печать приложил
И к Балигану послал в Вавилон,
Старый эмир и почтенный он,
Старше Вергилия и Гомера времен, –
Чтоб шел в Саррагосу на помощь барон.
Если нет, он бросит служить богам,
У всех своих идолов отнимет почет,
В христианскую веру сам перейдет,
Пред Карлом Великим склонит свой лоб.
А тот далеко, ему трудно поспеть,
В сорок за войском послал государств,
Верблюдов больших привезти приказал.
Много лодок и барок и много галер.
В Александрию, корабельный порт,
Весь оснащенный согнал свой флот.
На дворе стоял май – первый теплый день.
Всё войско качалось на морской волне.

Огромное войско у поганых людей –
Парус крепят, направляют руль,
И на верхушках высоких мачт
Много карбункулов и фонарей:
Сверху такой разливают свет,
Что ночью море еще красивей.
И когда к испанской пристали земле,
Вся земля заискрилась от огней,
И Марсиль услышал шум новостей.

Нет угомону на племя язычников,
Вводят корабли в воду сладкую, пресную,
Миновали Марброзу, Марбризу проехали,
Вверх по Эбру корабли поворачивают.
Довольно на них фонарей и карбункулов:
Всю ночь от них пышет огромное полымя.
Пришли они в Саррагосу.

Ясный день, и солнце прекрасно.
Вышел эмир из парусной барки.
За ним большая свита испанцев:
Семнадцать царей идут за ним сзади,
Князей и графов и считать не желаю.
И на лужайке посредине лагеря
На траве зеленой стелют белое полотнище,
Ставят кресло из кости слоновой.
Сел на него Балиган-язычник,
Другие не сели, ожидают стоя.
Самый главный взял слово первым:
«Слушайте, рыцари храброй породы, –
Карл-государь, император французов,
Не сядет обедать без моего приказу,
По всей Испании громил меня войною –
До нежной Франции за ним я буду гнаться
И до конца моих дней не успокоюсь,
Покуда он за меч не сможет взяться».
И колено бьет своей правой перчаткой.

Когда сказал, объявились упрямцы:
Не пойдут – посули им золотые горы,
Не пойдут с ним в Айс, где Карл решает тяжбы.
Утешают трусов и советуют люди.
Двух своих всадников вызвал эмир,
Одного – Кларифана, а другого – Кларьена:
«Вы сыновья короля Мальтраяна,
Он был всегда расторопный вестник.
Вам поручаю сходить в Саррагосу
И от меня передать Марсильону,
Что я иду к нему на подмогу.
Будет битва, если найдется место.
Златошвейную дайте ему перчатку,
Пусть примерит ее на правую руку,
И чистого золота унцию-крупицу:
Пусть узнает мстителя, узнает вассала.
Я во франкской земле изведу войной Карла,
Согну ему шею, поставлю на колени,
А не откажется от Христовой веры,
Отрублю ему голову вместе с короной».
– «Сир, – говорят язычники, – вы складно говорите».
Сказал Балиган: «Вот, рыцари-бароны,
Один возьмет палку, другой перчатку».
– «Ласковый сир, – говорят они, – исполним».
Ехали верхом до самой Саррагосы,
Через десять ворот и мостов через сорок,
Через все улицы, где живут горожане.
Только приблизились к городу на вышке,
Слышат во дворце шум переполоха:
Сколько там было поганого сброду,
Плачут, кричат, без ума от печали,
Жалеют богов – Тервагана и Магома
И Аполлона, который в ус не дует.
Один другому: «Что ждет нас, бедняжек?
Великая нас потрясла разруха,
Мы потеряли царя Марсильона.
Князь Роланд вчера отхватил ему руку.

Нет с нами Блуна и нет Журфалена,
Им бы владеть всей испанской округой».
Вестники всходят вдвоем на крылечко.

Своих лошадей привязали к оливе,
Бросили вожжи двум сарацинам
И под плащом несут письма и вещи,
Дальше идут на дворцовую вышку,
Выходят в комнату с каменным сводом,
Вежливо передают поклон поганым:
«Пусть Магомет, наш помощник в битве,
И Терваган с Аполлоном-сиром
Спасут государя и королеву!»
Говорит Бранимонда: «Слышу речь безумцев!
Наши боги на нас работать устали,
В Ронсево они совсем сплоховали,
Допустили убийство всадников наших,
Они подвели моего господина:
Кисть правой руки потерял: стал калекой.
Так рубанул его Роланд богатый.
Вся Испания будет вотчиной Карла.
Куда теперь денусь, в слезах, бедняжка?
Хоть бы кто горемычную прикончил!»

«Госпожа, успокойтесь, – сказал Кларьен, –
Нас к тебе прислал язычник Балиган, –
Пусть, говорит, не боится Марсильон.
Палку ему и перчатку прислал.
На Эбре у нас пять тысяч барж стоит,
Лодочек, барок и разных галер;
С высокой кормой кораблей не счесть.
Наш адмирал богат и могуч –
Карла отыщет на франкских полях,
Живым или мертвым надеется взять».
Бранимонда в ответ: «Худой он выбрал час:
Французы недалеко – их нетрудно сыскать;
Император могуч и сердцем храбр».

6

Император вернулся из испанского похода,
Возвратился в Айс – лучший французский город,
Входит во дворец, вошел в жилые покои.
Пришла к нему Альда, открывает рот,
Говорит государю: «Где Роланд-вождь,
Тот, что поклялся, что замуж меня берет?»
Слышит Карл – у него в горле пересохло,
Плачет слезами из глаз, щиплет свою бороду.
«Сестра моя дорогая, ты спросила о мертвом!
За него ты получишь выкуп хороший:
Лучшее, что есть во Франции, – Хлодвига,
От милой жены дитя мое родное,
Он будет наследник всех моих угодий».
Альда отвечает: «Странное вы молвили слово!
Богу и святым ангелам не угодно,
Чтоб я осталась жить, если нет Роланда живого».
Закачалась, побледнела, как полотно суровое,
Сразу умерла, Бог помилует душу новую!
Бароны Франции плачут – опустили головы.
Прекрасная Альда нашла свою смерть.
Думает государь – с ней обморок, не хочет верить,
От жалости плачет император бедный,
Берет ее за руки, подымает как следует,
Голову к плечам своим прислонил напоследок.
Когда увидел Карл, что это смерти дело,
Четырех княгинь вызвал, велел стеречь ее тело.
Велел монахиням в монастырь ее перенесть.
Стерегли ее всю ночь, вплоть до рассвета.
Погребли прекрасно, в алтарном месте:
Не поскупился император, оказал ей много чести.

АЛИСКАНС
(ОТРЫВОК)

Вильгельм-государь круто спешит.
«Открывайте ворота, – привратнику говорит, –
Я Вильгельм, кто мне не поверит, тот согрешит».
Отвечает привратник: «Потерпите чуть-чуть».
С башенки прыгнул быстрей, чем дохнуть,
Пришел к Гибурк, кричит, надрывает грудь:
«Госпожа моя ласковая, вам нельзя медлить:
В полных доспехах там всадник приехал,
Языческой сбруей блестит его тело.
Что за гордость необыкновенная!
Он похож на тех, кого битва носит,
Еще на руках у него кровь сохнет,
Лошадь крупная, всадник рослый,
Просит верить, что он Вильгельм Курносый.
Ради Бога, взгляните на него, госпожа».
Слышит Гибурк, не смеет дышать,
С дворцовой лестницы вниз сбежала,
Пришла туда, где ров глубок и вода свежа,
Говорит Вильгельму: «Друг вассал, что вам угодно?»
Отвечает государь: «Не мешкайте долго,
Госпожа, поскорее спустите мост-колоду.
Тугая погоня за мной: Бадук и Дерамед
И двадцать тысяч турок в зеленых шлемах медных.
Если обрушатся, я буду смерти предан.
Госпожа моя ласковая, вам нельзя медлить».
Отвечает Гибурк: «Друг вассал, вас пустить невозможно!
Я здесь одна, никого на мужчину похожего,
Не считая привратника и маленького сторожа,
А из детских годочков и десятки не сложишь.
Наши дамы сердцем до слез приуныли
Из-за мужей, не знают, живы ли.
Вильгельм Курносый их в поле вывел,
В Алисканс, на языческое быдло.
Ни одной скважины, ни одной щели вам
Не открою, пока домой не вернется Вильгельм.
Он принял оружье из рук моих с весельем.

Да хранит его Бог, распятый за христьянское племя!»
Слышит Вильгельм, чуть не падает ниц,
От жалости плачет курносый маркиз,
Крупные слезы по курносому лицу полились.
Выпрямился снова, Гибурк кличет:
«Странный у вас, госпожа, обычай.
Слишком быстро вы от меня отвыкли.
Я Вильгельм, кто мне не поверит, тот согрешит».
«Вы лжете, язычник, – Гибурк говорит, –
Но клянусь апостолом, что близ Нейрона убит,
Откройте ваш лоб, что так блестит,
Раньше я вам не открою!»

Государю Вильгельму войти спех –
Медлить тут нечего: врагов не счесть,
Вся дорога гудит от бесчисленных тех,
Кому несподручно его жалеть.
«Госпожа моя ласковая, – Вильгельм, муж храбрый, молвит, –
Заставляете ждать меня слишком долго:
Вон язычники выползли на холмы пологие».
Отвечает Гибурк: «Вы, должно быть, шутите –
На Вильгельма вы не похожи ни чуточки.
Какой вы Вильгельм, когда язычников трусите!

Но клянусь головой Петра, святого мученика,
Ни к одной двери вам не подберу ключика,
Пока не снимете шлема, что на голову нахлобучили,
И рта не разгляжу я как можно лучше.
Голоса разных людей бывают созвучны.
Я здесь одна, кто мне за вас поручится?»
Послушал государь, поднял забрало совсем,
Потом скинул шлем зеленый в многоцветных камнях.
«Госпожа, вот я открыт от головы до темени.
Я Вильгельм, пустите меня, пока есть время».
Пока Гибурк его рассматривает пристально и вдоволь,
Сто язычников проходят медленно полем,
С места битвы поворотил их Ураст, сарацинский воин.
В подарок Дерамеду ведут на убой

Двести пленников – у всех лицо молодое –
И тридцать дам ясноокиx ведут с собой.
На них громыхают большие цепи.
Язычники их бьют, пока Господь терпит.
Госпожа Гибурк слышит их громкий плач,
Как они Господа кличут, как цепи влачат,
Говорит Вильгельму: «Я была права,
Теперь уж очевидно – ты не Вильгельм, муж храбр,
Чью мышцу каждый хвалит, что метко бьет.
Разве он стерпел бы наших людей увод?
Разве он стерпел бы побоища стыд
И униженье братьев так близко, как ты?»
– «Вот это испытанье! – Вильгельм-князь говорит. –
Но клянусь Всемогущим, на ком держится мир,
Пусть мне грозятся голову с плеч снять,
Пусть меня собираются живым четвертовать,
На глазах у ней буду сражаться, покажу, каков я есть в бою.
Из любви к ней я должен в битвах говеть,
Выковать Божью волю не за страх, а за совесть,
Смирить свое тело, как настоящий постник».
Снова надел шлем, лошадь пришпорил,
Внушил ей лететь с величайшей скоростью
И видит язычников могучих и черствых.

ЖИЗНЬ СВЯТОГО АЛЕКСЕЯ
(ОТРЫВОК)

Как прочел письмо родитель, он света невзвидел –
От великого от горя бороду теребит:
«Сын мой, чадо мое родное, что за горестные пришли вести,
А я думал, ты вернешься, мы еще побудем вместе!
Укрепишь мой слабый век, утешишь мою старость».
Громко кричит родитель, обуяла его ярость:
«Алексей, чадо родное, ты виновник моей тревоги!
Видно, плохо я берег тебя на моем пороге.
Как я, грешный человек, ослеп на оба глаза!

Видел тебя столько раз и не узнал ни разу!
Чадо мое, Алексей, мать твоя бедняжка:
Без тебя ей жизнь темна, и смутна, и тяжка.
Отказалась от питья, не вкушает пищи,
День и ночь тебя зовет, сквозь слез тебя ищет.
Как узнает эту новость, уснет на кладбище.
Кому, сын мой, отойдут все мои именья,
И поемные луга на всем протяженьи,
И великий мой дворец в городе Риме?
Только для тебя, мой сын, я трудился над ними.
Ты бы радовался всем после моей кончины –
Я годами убелен, серебрят меня седины.
....
Ты бы мог сейчас стоять во главе дружины,
Императорский стяг носить, червленый и длинный,
Как родитель твой отец, и братья, и дяди.
Ах, в какой же нищете, бедности и смраде
Ты скитался, мой сын, в чужеземном граде!
Выбрал ты себе одну дорогу в подруги,
Ничего из всех богатств не донес до лачуги.
А мог быть большой вассал своего господина!»
Поднялся переполох от отцовской кручины:
Услыхала его мать со своей половины –
Не своим голосом кричит, ладонями плещет,
Как безумная бежит простоволосая женщина.
На земле ее сын лежит без дыханья.
Начинает голосить над ним причитанья.
Колотила себя в грудь, сама с собой боролась,
Расцарапала лицо свое, растрепала волос.
Поцелуями покрыла лицо Алексея,
Кто при этом ни стоял – все плакали с нею.
Треплет волосы свои, в грудь себя колотит,
В исступленьи не щадит собственной плоти;
«Как твоя ко мне любовь, мой сын, пересохла!
Как я, грешница, сама ослепла, оглохла:
Не могла тебя признать до переполоха!»
Разрыдалась в три ручья, голосила звонко:
«Не на радость я тебя носила, ребенка.

Как не догадался ты пожалеть мать родную –
Не видал, как по тебе я насмерть тоскую?
Как ты мог мной пренебречь, чудно, не пойму я!
Сколь жестоко ты со мной обошлась, фортуна:
Покинул меня мой сын – прекраснейший юноша.
Привело меня к скорбям долгое ожиданье.
Я в уныньи, я больна, нет мне унованья.
Странно, что сердце мое бьется бесполезно!
Обуял тебя, мой сын, дух гордый, железный,
Когда бросил ты друзей веселый круг любезный.
Если б ты хоть раз один со мной молвил слово,
Я бы духом за тебя воспрянула снова,
Снарядила тебя в путь с хорошей приметой.
Нежна была твоя плоть, Алексей, теплой жизнью согрета!
Для чего же ты посвятил скорбям молодые лета?
Для того ли я тебя выносила в чреве,
Чтобы ты меня покинул, печальную, в гневе?
Не возрадуюсь, как Адам, ни подобно Еве.
Прежде чем тебя родить, я тебя сильно желала
И рожденного тебя в слезах пеленала,
А когда я тебя родила, плоть моя ликовала.
Ныне, когда ты мертв, томит меня искушенье:
Разделить с тобой, мой сын, нежное успенье.
Римляне, мои друзья, граждане земли латинской,
Будьте мне пособниками в печали материнской!
По умершем печаль меня подкосила,
Нечем сердце унять, откуда возьмется сила?
Я бездетной остаюсь, горький плод вкусила!»
А покуда мать с отцом жалуются вместе,
Пришло время подойти нареченной невесте:
«Слишком долго я ждала твоего прихода
В доме твоего отца, средь чужого рода.
Слишком долго я ждала – печаль меня снедала, –
Алексей, мой государь, тебя ежечасно
Ожидала я в слезах в горнице напрасно!
Сколько раз из-за тебя выглядывала в окошко,
Всё надеялась, ты подойдешь, приласкаешь меня немножко.

О, как жалко мне твоей юности благородной,
Что она теперь гниет в земле сырой и холодной.

....

О нежный рот! лицо, походка и улыбка!
Что сталось, что стряслось с вашей прелестью гибкой?
Только вас и замечала я в Божием твореньи.
До чего осиротела я в одно мгновенье!
Лучше б разделить с тобой нежное успенье!»

Огюст Барбье

СОБАЧЬЯ СКЛОКА

1

Когда тяжелый зной гранил большие плиты
На гулких набережных здесь,
Набатом вспаханный и пулями изрытый
Изрешечен был воздух весь;
Когда Париж кругом, как море роковое,
Народной яростью серчал
И на покашливанье старых пушек злое
Марсельской песнью отвечал,
Там не маячила, как в нашем современьи,
Мундиров золотых орда, –
То было в рубище мужских сердец биенье,
И пальцы грязные тогда
Держали карабин тяжелый и граненый,
И руганью набитый рот
Сквозь зубы черные кричал, жуя патроны:
«Умрем, сограждане, вперед!»

2

А вы, с льняным бельем, с трехцветкою в петлице,
В корсет затянутые львы,
Женоподобные, изнеженные лица,
Бульварные герои, вы, –
Где были вы в картечь, где вы скрывались молча
В дни страшных сабельных потерь,
Когда великий сброд и с ним святая сволочь
В бессмертье взламывали дверь?
Когда Париж кругом давился чудесами,
В трусливой подлости своей
Вы, как могли, тогда завесили коврами
Страх ваших розовых ушей.

3

Свобода – это вам не хрупкая графиня,
Жеманница из Сен-Жермен,
С черненой бровкою и ротиком в кармине
И томной слабостью колен, –
Нет, это женщина грудастая, большая,
Чей голос груб и страсть сильна,
Она смугла лицом, и, бедрами качая,
Проходит площадью она.
Ей нравится народ могучий и крикливый,
И барабанный перекат,
Пороховой дымок и дальние наплывы,
Колоколов густой набат.
Ее любовники – простонародной масти,
И чресла сильные свои
Для сильных бережет и не боится власти
Рук, не отмытых от крови.

4

То дева бурная, бастильская касатка
И независимость сама,
Чья роковая стать и твердая повадка
В пять лет народ свела с ума.
А после, охладев к девическим романам,
Фригийский растоптав колпак,
С двадцатилетним вдруг бежала капитаном
Под звуки труб в военный мрак.
И великаншею – не хрупкою фигуркой –
С трехцветным поясом встает
Перед облупленной расстрелом штукатуркой,
Нам утешенье подает,
Из рук временщика высокую корону
В три дня французам возвратит,
Раздавит армию и, угрожая трону,
Булыжной кучей шевелит.

5

Но стыд тебе, Париж, прекрасный и гневливый!
Еще вчера, величья полн,
Ты помнишь ли, Париж, как, мститель справедливый,
Ты выкорчевывал престол?
Торжественный Париж, ты ныне обесчещен,
О город пышных похорон,
Разрытых мостовых, вдоль стен глубоких трещин,
Людских останков и знамен,
Прабабка городов, лавровая столица,
Народами окружена,
Чье имя на устах у всех племен святится,
Затмив другие имена,
Отныне ты, Париж, – презренная клоака,
Ты – свалка гнусных нечистот,
Где маслянистая приправа грязи всякой
Ручьями черными течет;
Ты – сброд бездельников и шалопаев чинных
И трусов с головы до ног,

Что ходят по домам и в розовых гостиных
Выклянчивают орденок;
Ты – рынок крючников, где мечут подлый жребий:
Кому падет какая часть
Священной кровию напитанных отребий
Того, что раньше было власть.

6

Вот так же, уязвлен и выбит из берлоги,
Кабан, почуя смерти вкус,
На землю валится, раскидывая ноги, –
В затылок солнечный укус,
И с пеною у рта, и высунув наружу
Язык, – рвет крепкие силки,
И склоку трубит рог, и перед сворой дюжей
«Возьми его!» – кричат стрелки:
Вся свора, дергаясь и ерзая боками,
Рванется; каждый кобелек
Визжит от радости и ляскает зубами,
Почуяв лакомый кусок;
А там пойдет грызня и перекаты лая
С холма на холм, с холма на холм,
Ищейки, лягаши и доги, заливаясь,
Трясутся – воздух псарней полн.
Когда кабан упал с предсмертною икотой –
Вперед! Теперь царюют псы.
Вознаградим себя за трудную работу
Клыков и борзые часы.
Над нами хлыст умолк. Нас грозный псарь не дразнит,
По нашу душу не свистит,
Так пей парную кровь, ешь мясо: это праздник!

....

И, как охочая к труду мастеровщина,
Налягут все на теплый бок,
Когтями мясо рвут, хрустит в зубах щетина:
Отдельный нужен всем кусок.
То право конуры, закон собачьей чести –

Тащи домой наверняка,
Где ждет ревнивая, с оттянутою шерстью,
Гордячка-сука муженька,
Чтоб он ей показал, как должно семьянину,
Дымящуюся кость в зубах
И крикнул: «Это власть! – бросая мертвечину, –
Вот наша часть в великих днях».

1793

Когда корабль столетний государства
Устал катать горох народной смуты,
Открытый всем, как решето дырявый,
В кромешный мрак, в барашковое море –
Террора ветер в парусах раздутых –
Он наудачу вышел за свободой.

И со своих гранитных побережий
Следили жадно короли Европы
За оползаньем медленным империй.
Как будто горбоносые пираты,
Как чайки трупоядные, монархи
Наметили плавучий гроб французов.

А он, худой, гигант с прозрачной кожей,
На удивленье выпрямился килем,
Народ героев нанизал на реи,
Поднес фитиль к давно оглохшим пушкам
И выстрелил четырнадцатью армий, –
И в берега свои вошла Европа.

О мрачный год, о девяносто третий,
Большая тень в крови и темных лаврах,
Не поднимайся с сумрачного ложа –
Тебе нельзя глядеть на наши войны,
В семье отцов мы – жалкие пигмеи, –
Ты посмеешься нашей тощей битве.

Твое старинное погасло пламя,
Кулак разжался и душа заглохла, –
Нет к побежденным мужественной ласки,
А если в сердце иногда проснется,
Запальчивость – короткое дыханье,
Не более чем на три дня хватает.

МЯТЕЖ

Как будто ураган верхи дерев нагнул,
Летит предместьями глухой и низкий гул –
Дверные молотки бьют в бронзовые доски,
Страх бьет без промаху. И женщин, и детей
Простоволосый плач до старческих ушей
Добрался. Все дрожат. Еще одна минута –
И каждый добежит до своего закута.
Попрятались, и вдруг колючая метла
Весь многолюдный сор на улицу смела.

Тогда мятеж, мятеж на каблуках дерзанья
Народный гонит вал, в ладоши бьет восстанье.
В щетине криков весь, сам-тысяча голов,
Сверяет мощь своих набухнувших рядов
И набережных вдоль, на каменной постели
Кричит, как женщина, тяжелая от хмеля.

ЭТО ЗЫБЬ

Это зыбь, это зыбь – спокойная моряна,
Вскипающая пред зарей,
Поющая с утра, как юная Светлана,
Любовь и русый волос свой.
Зыбь, льнущая к пескам, пространства орошая
Душистой выжимкою вод,
На горле выпуклом разнеженно качая
Гребцов коричневый народ.
Потом другая зыбь из этой светлой спячки
Выходит для свирепых буч,

Раздутым теменем большеголовой качки
Колотит крышу низких туч.
Потом мычащею и скачущей пучиной
В квадрате молнийных зрачков
Бежит соленою бугристою равниной
Размахом тысячи голов.
И, выбелив себя до взбитой гневом пены,
Блуждает, влажный рот кривит,
Царапает песок береговой арены,
Как умирающий, хрипит.
И, корибанткою, вконец перебесившись,
Вдавив бедро в намет песков,
Кидает с кровью нам, обратно в ил свалившись,
Горсть человеческих голов.

НАПОЛЕОНОВСКАЯ ФРАНЦИЯ

О корсиканский зверь с прямыми волосами,
Ты помнишь мессидора ясь!
Без бронзовой узды с златыми удилами
Кобылой Франция неслась.
Кобыла дикая трясла мужицким крупом,
Дымилась кровью королей,
По древним овидям топча тяжелоступом
Освобожденный грунт полей.
Ах, к ней никто еще не подходил, зевая,
Чтоб оскорбить иль чтобы смять,
И сбруи чужака она еще не знает,
И на седло не ей пенять.
Всей кожей ло́снилась высокая дикарка,
Взгляд прям, дрожит могучий круп –
И вдруг на целый мир весенним ржаньем гаркнет,
Как тысяча веселых труб!
Явился ты: взглянул на сильных ног затеи
И на крутую стать боков,
Вцепился в гриву ей, кентавр с короткой шеей,
И смял движеньем каблуков.

И, зная, что она любила ружей шорох,
Дымок и барабанов дробь,
Ты выпустил ее скакать в земных просторах,
Ей показал сраженья лоб!
Всегда на воздухе, встречая ветер хлесткий,
Всегда в бою, всегда как вихрь,
Хрустя убитыми, как гравием приморским,
По щиколотку в их крови, –
Пятнадцать лет она под черствою эгидой
Топтала нежный луг племен,
Пятнадцать лет топтал битюг по праву ига
Народных прав зеленый сонм.
И, наконец, устав по рытвинам, бурьянам
Мотаться крупной головой,
Громить вселенную, вздымая пыль воланом,
И будоражить род людской,
И вся в испарине – до темного румянца –
Как бы осечкою колен
Споткнулась – и сдалась на милость корсиканца.
Но ты, палач, без перемен!
Строгая ей бока, ломая позвоночник,
Ты взвил струной свою рабу
И бешеной узды холодною цепочкой
Рванул ей нежную губу,
И в поле, где война цветет, как море гречи,
Стальной огрызок теребя,
Она, как на ковер, упала на картечи,
На ребра положив тебя.

Жорж Дюамель

ОДА НЕСКОЛЬКИМ ЛЮДЯМ

Равнины, чей разбег дает величье небу,
Долина мрачная, что выщерблена понемногу
Или, кто знает, размыта взыскующей русла водой;
Слишком круглый горизонт, ломающий свой обруч;
И эти нивы в праздной перебежке проселочных дорог –
Не уйти мне от вас без глухого ропота,
Без гнева и сожаленья.

Я надолго останусь прислужник застекленных домов.
Улица, бегущая в косноязычном порядке,
Верные крыши, не шелохнувшись рассекающие грохот,
Как на толстых канатах закрепившиеся баржи,
И верхушки строений, чьей растительной силы
С трудом хватает на небольшой подъем, –
Так сегодня насыщается зренье!

Примите меня, спутники, примите меня, товарищи,
Я уже вернулся и учусь влачить взгляд,
Уже готовый потускнеть в спелёнатом пространстве.
Этот взгляд! Я сказал бы: доброхотный поток,
Царственно решившийся на ступенчатый спуск,
Когда его заманивают в береговые шоры,
Чтоб запрудить и бросить в рабство.

О, линейные пучки разбегающихся домов,
Скрещенья и пересеченья бесчисленной архитектуры,
Коварные засады хитрых плоскостей
И каменные вздутые ребра,
Заплетенные в воздухе, как натянутые реи,
Чтобы взгляд спускался по ним, скользя, –
К лицам спутников льнуть.

И здесь остается владычное небо.
Но лишь бегло удается разглядеть его основу,
Когда тучи проходят охотничьей лавой –
Одна за другой в разрыве стен.
На выручку, спутники! Любовь пьет охотнее влагу
В чудной и выпуклой линзе зрачков,
Чем в голубом расщепе крыш.

На выручку, спутники. Примите человека
С затуманенным ликом и страхом в плечах,
Несущего объем для вашей душевной меры
И знающего цену касаньям руки, –
Примите меня, спутники, с тысячью глаз и улыбок,
Ведь я отвернулся от высоких и нежных зрелищ
Ради зрелища вас одних.

Ведь я уже не вижу, а только помню
Хрупкое двухсердие, набухшее от свежей росы,
Что с усильем расталкивает рыхлые комья
В апреле, – зерно, с которым я знаком.
Я уже не вижу буйной игры
Бешеных оперений, встающих дыбом,
По сломанным крючьям ветвей.

Я не буду высматривать зеленых посошков,
Загнутых, как палец, отпирающий створку, –
Тех посошков, что землю пройдут насквозь
И выпрямятся стройной свечкой...
Я не услышу выстрела хлопушек –
Искривленных и раздражительных стручков,
Лопающихся в полдень.

Зато я нагляжусь на руки, на ваши руки,
В очередь подчиненные двум господам:
Прихоти разума, бегущего впереди движенья,
И приказу плоти, хозяйки своей.
И я увижу вены ваших рук, современники,
Узловатые и раздутые вены
          Или томно прозрачные.

О, не прячьте от меня подергиванья плеч,
Плохо скрываемую примету огорченья,
И начинающуюся дрожь подбородка –
Первую ласточку задержанных слез.
Дайте отразиться в братских зрачках
Полуумерщвленной и разорванной улыбке,
          Чарующей слепок лица.

И я забуду лоб зеленых холмогорий,
Когда гроза, ворочаясь, как разбуженный зверь,
Туда-сюда бросается на синьку неба
И размытая страхом лазурь бесцветна, как трус.
И уже не подумаю о деревьях с большой кроной,
Внезапно перетряхивающих корзину листвы
          Для бега, ни с места, под корень.

Все эти простые и гремящие вещи,
Эта старинная распря вещества,
Это упорство пластов и поколений.
Сила зрелищ, я искал ее – зачем?
Ради вашей беседы под сурдинку, мои спутники,
Ради накопленья образов и чувств,
          Говорящих о вас, мои спутники.

Нет, через силу мне без вас что-нибудь лелеять –
Будь то рыжий туман, что, цепляясь, ведет
Борону по земле, стриженной под гребенку,
Будь то огромная пряжа паучья,
Между борозд находка раскосого солнца,
Будь то лицо воспаленное туч
          В промельке листьев березы.

Но если я уже припаян к этой цепи,
Несу с другими груз гремучих кандалов, –
Пускай моя тюрьма не будет волчьей ссылкой;
Не бойтесь приближеньем спугнуть мое плечо.
Говорите со мной словами с наковальни обихода
И не стесняйтесь смехом и крупной солью шуток,
Ваша радость нужна и прекрасна.

О! больше не жалеть! Пусть теплое слиянье
Всех ваших голосов в могущественный хор
Во мне старинное уймет глухое беспокойство,
Как наслоенный шум от правильных дыханий,
Вырастая в гуденье над кровельным сном,
Навсегда в моей памяти покрывает громы,
Раскованные ветром из скрипучих стволов.

Макс Бартель

ПЕТЕРБУРГ

Свет тюремный, крест железный,
За окном решетки брусья;
Все-таки еще не умер,
Все-таки еще борюсь я!
В низколобое окошко
Крест железных перекладин –
Постоянною угрозой,
Холодком смертельных градин.

В жилах узника струится
Звезд прекрасных постоянство.
К братским я рванулся далям
Через время и пространство.
Лоб в испарине холодной,
Свежесть ночи пью глотками,
Но земля друзей далёко,
И решетка между нами!

Пусть одних чарует купол
Лицемерной римской церкви,
А другим горит искусство –
Красота стихов не меркнет;
Не обманываюсь снами,

А захлебываюсь знаньем –
В темноте кусаю губы
В кровь – с надменным упованьем!

Петербург. Морских орудий
Вдоль Невы пируют жёрла.
Гнев трясет меня за плечи,
Страх схватил меня за горло.
Я был тоже петербуржец,
На молитве прихожанин.
Где народ обедню служит,
Гром судьбы всегда желанен.

Ах, ноябрь, наш буреносец,
После боя и провала
Неужели нас повергнешь
В хаос – темное начало?
Топчешь танком, моришь газом,
Генеральской давишь тушей,
Воешь банковской гиеной, –
Но не выкорчуешь ду́ши.

Ибо встал народ-упрямец –
Вашей милости «скотина»,
Слуги дизелей фабричных,
Армий жесткая щетина,
Ибо встали петербуржцы:
Их крутил ноябрь эпохи,
И мужей проходят лица,
Словно крупных звезд всполохи.

Говорит Владимир Ленин:
«Начинать поспело время!»
И народ, как вождь старинный,
Поднимает власти бремя.
Он, приписанный к заводам,
Жил громадой безымянной
И нашел свою дорогу
В склоке двух миров туманной.

Петербург! Ты вольный камень!
Баррикад юнейший город!
Рот, искривленный улыбкой
Милосердья и террора!
Бедняков вселенским сердцем
Ты позвал на вещий праздник,
Но врагам на красных фронтах
Приготовил злые казни.

Голодал, лежал в бараках,
Вшей искал и хлебных корок,
Знал убийц наемных руку
И бунто́в голодных морок;
На тебя ползла измена
Белой гусеницей жирной,
Без царя и горностая
Ты стоишь в красе порфирной!

Петербург! В тюрьме оконце!
Крест железных перекладин!
В сердце бьет твое восстанье –
Боевых паденье градин.
Где ты, город материнский?
Я шагаю в одиночке,
И позвякивают тихо
Арестантские цепочки.

Что тебе готовит утро,
Сердце, преданное бою?
Если ты умрешь – слезами
Сердце города омою.
Если ты умрешь – не верю, –
Я не сплю, и ночь ослепла, –
Встанешь ты, великолепный
И воскреснувший из пепла.

О, тюремная решетка,
Плоской койки изголовье!
Не чернилом водянистым
Я пишу – а красной кровью.

Петербург, ты не сорвешься –
Наша радость и основа.
За тебя скажу я немцам
Угрожающее слово:

Вы уже громили, немцы,
Петербургские траншеи;
Не избыть вам, немцы, сраму
Той палаческой затеи!
Ты, игрушка в лапах сильных,
Серенький парламентарий,
Эй, проснись, «пролет» немецкий,
Встань, германский пролетарий!

Наш ноябрь – свистун германский,
Кто он – майский ветер, что ли?
И оплеван лоб высокий –
Человеческий – доколе?
Вас еще упрятать можно
В каторжные равелины,
На востоке ж веет знамя
И кумач покрыл равнины!

Нужно с бою взять свободу –
То не девка покупная:
Не в траве лежит победа –
По звезда́м скользит, мерцая.
Нужно в буре раствориться –
И победа ливнем брызнет.
Лишь грозе подставив темя,
Благодать вернете жизни!

Петербург! Багряный факел
Всем народам полыхает.
Петербург! Народ в России,
Как стихи, судьбу слагает.
Мы сомкнем кольцо народов –
Уж недолго каменеть нам.
Только так: дышать свободой!
Только так: в борьбе сгореть нам!

* * *

Кто я? Вольный бродяга я,
Бессеребреник ветер,
По холмам, по оврагам я
Блуждаю, пьян и светел.

Когда мчался я пó полю –
Чуть всходили посевы,
Величавой мелодией
Созревали напевы.

– Вечер красен, заря красна, –
Начал вслух бормотать я, –
Хлебом земля беременна, –
Утешьтесь, братья!

Пролетал я над городом,
Видел голод и морок,
Но приподнял улыбчиво
Занавеску чердачных каморок.

Люди, ужели мир тесен вам?
Зимы распались цепи,
Я нагнусь, спою песню вам
О серпе и цепе.

– Вечер красен, заря красна.
Дружной весны объятья.
Хлебом земля беременна, –
Утешьтесь, братья.

* * *

Если мы уж собрали́сь,
Полной грудью, на собраньи,
В звездно-ветряную высь
Выскажем свои признанья!

Достиженье – только миг,
Только ключ от новой двери.
Наше сердце – проводник
К новой выси, к новой вере.

В наш горящий хоровод
С нежным личиком румяным
Девушка не подойдет –
Мы горящий эпос пьяный.

Мы горим, а не живем,
Возле правды колобродим,
Бессознательным чутьем
В настоящее выходим.

К свету лестницей крутой
Нас уводит мысли трепет,
И над нами дух святой,
Но не голубь – хищный стрепет.

Вынужденные страдать –
Мы, печальники на время,
Вынуждены принимать
Лицемерной жизни бремя.

Праздничный струится свет
В нашу жизнь с певучим звоном!
Благовест грядущих лет –
И борьбы желанный омут!

* * *

Тюремные братья, в весенние дни
Блаженством горит голова.
Я помню: дыханье в груди затаив,
Как первый дрозд запевал!
Кузнечиков скрипы, набухшие липы,
Пуховая пена весны,
И вздохи любимой, и детские всхлипы
Из звездной плывут глубины.

Бежит, как песок, измельченное время,
И кто-то зовет: помоги!
За толщей стены, где покинутый всеми
Кандальник считает шаги.
Решетки-квадраты, и месяц щербатый
С высокой млечной тропы
Срезает брусья – как жнец горбатый,
На землю кидая снопы!

Месяц оставил глубокий надрез
На железном конверте окна,
И с гиацинтовых бледных небес
Молочная льется волна,
И звезды восходят, и лес колобродит,
Студенческий некар шумит,
И в этой божественно ясной природе
Один только узник молчит!

И вдруг облапили облака
Соломенный узкий просвет,
И за толстой стеною (в клетке зверька)
Возится с цепью сосед.
На звезды разруха! На месяц проруха!
В четырех квадратах окна –
Земля за решеткой! И мечется глухо
Зверинец. Я зябну. Весна.

ПТИЦЫ

Сон обвил меня темным плющом.
Спящий, боролся я с душным сном:
Это птиц заблудившийся грай
Хлещет в окна, как крупный град.

Нестройно сетуя, птицы звенят:
Мы проснулись в начале дня,
Когда заиграл зорь румяный рожок
И солнце ночной осушило песок.

Из душных кварталов, из серых трущоб
Мы – души рабочих, стряхнувших свой горб,
Весь день на строгой страже станка;
Страна за решеткой – мир бедняка.

Гудок – наша песня, и камень – полет,
Наш клюв – человека искривленный рот.
Посланники бури, свободы гонцы,
Мятеж разносим во все концы.

Всё, всё, что рабочую душу томит, –
В нашем полете высоком звенит:
Радости посвист, тугая борьба
И справедливой крови алчба.

Передовые священной страны,
Мы таранили ночь – толщу старой стены.
Своим ненавидящим властным чутьем
Мы гнезда твои, революция, вьем!

Покинув ветхий, невзрачный кров,
Вышли из темных, нищих домов.
Точный и меткий убийства снаряд
Вчера скосил рабочий ряд.

Наши немые хозяева
Лежат в крови у пыльного рва.
Мы безочажный, блуждающий грай,
В сердце, товарищ, приют нам дай!

* * *

Ты сейчас блуждаешь где-то,
Рук твоих не осязаю,
Но твоя мне близость веет,
Жизнь моя, душа моя!

Вечером и утром рано
Слышу голос соловьиный
За рекою, за домами,
Жизнь моя, сестра моя!

Вспоминается последний
Ураган в свиданьи нашем.
Раздавался бури посвист,
Звучно башни строил гром.

Свежей розою дыханья,
Облаком сулишь мне радость,
В воротáх горишь огромных
Светлым платьем и лицом.

И не выйти мне из круга,
Где тебя встречаю я,
Майская моя подруга,
Жизнь моя, сестра моя!

НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ

Всё тяжелое, чужое, роковое
Понемногу выскользнет из рук.
На кладби́ще выйду полевое,
Где зарыт мой неизвестный друг.

Кто гниет в сырой и теплой яме?
Человек, копьем судьбы сражен.
Отпылало легкой жизни пламя,
Нежный мир испепелен.

Опилась земля твоею кровью,
Мой хороший, мой похожий брат,
Ах, придется мне с моей любовью
Опуститься в темный смертный сад.

В колесе огромного сраженья
Или там, где наблюдает мать
Сыновей могучее цветенье,
Всё равно – гореть мне и страдать.

Хочешь песню о зеленой кроне?
Ураган перетряхнул листву.
Рвутся наши солнечные кони.
Тучи огнепалые плывут.

А на свежем, на могильном дерне,
Где кружится золотая мгла,
Кто-то величавей и бесспорней
Новой жизни развернет крыла.

* * *

Янтарных персиков румянец
Завесой пламенной к пологим льнет холмам,
И птичий гам
В темно-лазурную уносится туманность.

Смягчился рок,
Горящей лапою детей земли когтивший,
В кровавый сгусток сердце превратившший, –
И человек на грудь земли прилег.

Гряда уютных черепичных крыш.
Нет больше войн, могильщиков не надо.
Сосредоточенная комнаты прохлада.
Зенитом солнечным насыщенная тишь.

Лишь выводок дроздов разворошит деревья –
Мужское сердце, буйствуя, кипит;
Ликует плоть; томленье разрешит
Усмешка обольстительная девья.

От жизни не бежать и насыщаться днями!
Забудем мертвых, горечь растворим.
Мы по весне теперь горим,
Как персики, янтарными огнями!

* * *

Простерла руку жизнь над нами.
Я был до боли молодым.
Моих зрачков метнулось пламя
К зрачкам темнеющим твоим.

В тебе певучий гул машины
И крутень яростный колес.
Я верен общему почину, –
Но сердце к сердцу я принес.

И день сложил свою поклажу.
Пустуют ска́мьи мастерских.
Вот вечер с розовою пряжей,
Лес, полный голосов ночных.

И вот когда, себя не помня,
Как миру чуждые лучи,
Мы ринулись в зеленый омут –
Сплетенье рук! Молчи! Молчи!

Как дышишь ты! Соблазн великий!
Как изучил я этот плен!
О, этот путь, ночной и дикий,
До берега твоих колен!

Однажды в ночь, себя не помня –
Она плащом покрыла нас, –
Я погрузился в нежный омут,
Зарделся, вспыхнул и погас.

КОЛОСЬЯ

Поле сраженья зарубцевалось.
Всюду зеленые, нежные швы –
Веет колосьев робкая жалость
В море весенней синевы.

Зыбь ветерка.
Утра костер.
Рожь высока.
Солнце в упор.

Блеск возрожденья лугов зеленых –
Это весеннего мира приход.
В душу отчаявшихся и угнетенных
Он росяную прохладу прольет.

Добрым и умным своим шелестеньем,
Колос, в гневные скорбные дни
Встань над кладбищенским тленьем!
Флаги зеленых надежд разверни!

Хлеб, всколосись
В пурпурную рань!
Колос, в зерно превратись!
Солнце багровое, встань!

ГРОЗА ПРАВА

Лесная загудела качка.
Кидаюсь в песню с головой!
Вот грома темная заплачка.
Ей вторит сердца темный вой.

Разлапый, на корню, бродяга,
С лазурью в хвойных бородах,
Брат-лес, шуми в сырых оврагах,
Твоих студеных погребах!

Подпочва стонет. Сухожилья
Корней пьют влажные права.
В вершинах жизни изобилье.
Гроза права. Гроза права.

К земле нагнула ветви-звезды,
К корням. Подпочвы стон стоит.
И пеньем птиц расширен воздух –
Брат-лес бытийствует, шумит.

И в бархат ласковый, незнойный
Зеленый пролился кувшин, –
Чтоб, напитавшись маслом хвойным,
Горели фитили вершин.

Огонь. А я с надеждой зыбкой
Тропинкой узкой в гору шел,
И провожал тягучей скрипкой
Меня в дорогу запах смол.

Вскипает тьма сосны и кедра.
Я вышел крепким из глубин,
И благородной флейтой ветра
Пел запад – как вина рубин.

Я счастья полновесный слиток
В колодезь горный уронил;
О, расточи блаженных сил избыток
И промолчи – кто б ни спросил!

Так голубой прикрыта чашей
Лесного купола гора,
И усмирит волненье наше
Недр материнская игра.

* * *

На заре румяной
Под росой трава шелестит;
На заре туманной
Рыдают птицы навзрыд.

На заре румяной
Лес, как невеста, дрожит;
Голубою раной
Небо сквозит.

* * *

Хоть во сне – с тобой да побуду!
Нагляжусь в глаза-озера.
Чтоб желаний летели пчелы
К цветущим липам в горы.

Ты свое цветочное лоно
Дружелюбно откроешь снова,
И твоим наполнятся медом
Сохранные соты слова.

ВЕРДЕН

Весной шарахнулась, вскричав, –
Где ствол расстрелянный кривится, –
Закатом раненная птица,
И на равнине крик зачах.

Еще не брошенные в бой,
Шеренгой серой мы стояли,
И вылил всё, чего мы ждали,
Истошной птицы крик слепой.

Оружье, сухари и шлем,
Докучный груз военной страды,
И гул верденской канонады –
Глухой прибой, понятный всем.

Земля в пурпурной нищете,
Чуть освещенная, тонула,
И, навалившись, ночь зевнула,
Как зверь горячий в темноте.

Большой холодный горизонт;
Одна звезда другой крупнее –
На ямы, трупы и траншеи,
На бывший трихтерфильдский фронт...

Вдруг плач мужской: Верден, Верден!
Воронка ада, мясорубка,
Вулкан снарядов, злая ступка...
Который день! без перемен!

Верден, ты жаждой и жарой
Как приторным волнуешь ядом,
И кожу белую распадом
Казнишь и морщишь кожурой!

Верден: ужасное лицо
Глядит с презрительной улыбкой,
И на крови, на глине липкой
Курганами тела бойцов!

Верден, Верден – ты чумный дух,
Ты бойня с гнойниками всеми!
Верден! Громит народов темя
Братоубийственный обух.

Верден, черства твоя весна,
Старухой сморщилась природа,
И в сетке молний хороводом
Несутся года времена.

Верден, зачем позоришь нас,
Бесчестишь лес, дорогу, камень?
Верден – кромешник! Хриплый Каин!
Колючий стыд! Ползучий газ!

Верден! Переживет века
Горючее сухое имя.
Верден! Под масками чужими
Не различаешь земляка.

Верден! Верден! И человек,
Свинцовою разорван пачкой, –
Как птицы темная заплачка,
Когда готовился на бег.

УТОПИЯ

Люблю внимать средь грохота и теми
Утопии заморским голосам –
По-старому еще бушует время,
По-новому шумят ее леса.

Угадываю наигрыш бесплотный,
Рожденный в хриплой музыке войны,
И звуки песни, прежде мимолетной,
В органный голос масс воплощены.

Утопия! Под купол твой свинцовый,
Под твой сияющий зенит,
Под купол твой лазорево-грозовый
Челн современника скользит.

Играет ветер пальмовой тесьмою,
И взбитый пеной воздух по холмам,
Заря девической ступнею
Идет по лаковым волнам.

Ты зрелой жизни изобилье.
Мать, на руках твоих прилечь
И ветошь страха и бессилья
Смять судорожно, сбросить с плеч.

Ты золотым хрустящим хлебом
Накормишь по любви народ,
И под твоим шатровым небом
Земля для нищих расцветет.

Льнет к острову прибой громовый.
Под твой зияющий зенит,
Под купол твой лазорево-грозовый
Челн современника скользит.

ДЕЯТЕЛЬ

Был некий муж тысячерукий.
Был деятель. Глядясь в себя,
Он видел длань, на цвет и звуки
Свой изначальный сон дробя.

Он видел длань, в самозабвеньи
Вгрызалась в мускулы пила
И в пятикратном расщепленьи
Впервые силой изошла.

И распахнулся мрак тяжелый;
Теперь другой ему внушал
Неповторимые глаголы
И светом ласковым сиял.

ПРИЗЫВ

Вставайте с мрачного ночлега,
Тупого данники труда,
Чтоб знамя красное с разбега
Лесной вершине передать.

Учитесь властвовать собою,
Как дух творца-формовщика:
Ведь перед красною судьбою
Тверда литейщика рука.

Цветочную ли холить грядку,
Когда ворчит в амбарах гром?
Лизать ли барскую перчатку,
Когда штурмуют старый дом?

Да будут вам примером трудным
Дерев зеленые верхи:
Корням доверившись подспудным,
Средь голубых шумят стихий.

Так не пора ли вынуть жребий,
На громовой призыв скрепясь:
Вам должно головой стать в небе
И сохранить с землею связь.

И брызнет сок из муравьиной,
Из черной мастерской корней
И разольется до вершины
В зеленых щупальцах ветвей.

Еще царюет ночь-дикарка
И полыхает в сердце тень,
Но в кузнице страданья жаркой
Изображен грядущий день.

Язык грядущего богатый –
В нем орлий крик, огонь и крепь.
Скрепясь, ломайте казематы,
Кандальную дробите цепь!

Так воспаленными словами
Мятеж посеял я в стране,
И мне повиновалось пламя –
Затем что я стоял в огне.

И сердце вместе с ураганом
Швырнуло вызов небесам –
Крепчайший ствол гудит органом,
Но прежде всех он рухнет сам.

Дыханье масс. Сердцебиенье.
Рукопожатий переплет.
Сначала взлет, потом паденье,
Потом скрип каторжных ворот.

Дня запечатано сиянье.
Везде решетки и волчки.
Как лозунги знамен восстанья,
Душа разорвана в клочки.

Действительность глаза мне режет.
Товарищи лежат в бреду.
Я слышу отреченья скрежет.
Отказ. Конец. Куда пойду?

Но хладнокровно и умело
Я сердце вылущил в груди;
Тогда железо мне пропело,
Прогромыхала цепь: иди.

По всем дорогам твердым шагом
Я шел, не опуская глаз.
Любовь по роковым оврагам
Спасает, мужественных, нас.

ПРОБУЖДЕНИЕ ГОРОДА

О городскую мостовую
Разбился сон – крепчает явь.
Освобожденью срок поставь!
Явь с грезой цепь куют живую.

Крепчает жизнь. О, ярость сдвига!
Борьба с кромешной пеной тьмы!
Да не застигнет ночь кормы
Зерном наполненного брига!

Крик первый. Рдеющее пламя.
Блаженный утренник окреп,
Рабочих одарил венками:
Всё, что мы схватим, – будет хлеб!

* * *

Проснулся день, враждебный музыке и снам.
День, сновидений враг, швырнет меня к станкам.

Иду. По Млечному Пути еще скользит мой взгляд –
Но в про́секе проспекта фабрики стоят.

И серебро, и золото, рожденные моей рукой,
Ритмичной лентой обвивают шар земной.

Удары молота и свист размеренный колес:
И мне втянуться в мощное движенье удалось.

Свободен я. Льнет к добрым звездам взгляд.
Иду. В конце проспекта фабрики дымят.

Стихи для детей

Из книги «ПРИМУС»

[ПРИМУС]

Чтобы вылечить и вымыть
Старый примус золотой,
У него головку снимут
И нальют его водой.

Медник, доктор примусиный,
Примус вылечит больной:
Кормит свежим керосином,
Чистит тонкою иглой.

[УТЮГ]

– Очень люблю я белье,
С белой рубашкой дружу,
Как погляжу на нее –
Глажу, утюжу, скольжу.

Если б вы знали, как мне
Больно стоять на огне!

[МОЛОКО]

– Мне, сырому, неученому,
Простоквашей стать легко,–
Говорило кипяченому
Сырое молоко.

А кипяченое
Отвечает нежненько:
– Я совсем не неженка,
У меня есть пенка!

[КРАН]

– В самоваре, и в стакане,
И в кувшине, и в графине
Вся вода из крана.
Не разбей стакана.

– А водопровод
Где воду берет?

[КУРЫ]

Курицы-красавицы пришли к спесивым павам:
– Дайте нам хоть перышко, на радостях: кудах!
– Вот еще!
Куда вы там?
Подумайте: куда вам?
Мы вам не товарищи: подумаешь! кудах!

[САХАРНАЯ ГОЛОВА]

Сахарная голова
Ни жива ни мертва –
Заварили свежий чай:
К нему сахар подавай!

[ТЕЛЕФОН]

Плачет телефон в квартире –
Две минуты, три, четыре.
Замолчал и очень зол:
Ах, никто не подошел.

– Значит, я совсем не нужен,
Я обижен, я простужен:
Телефоны-старики –
Те поймут мои звонки!

[ЛАМПОЧКА]

– Если хочешь, тронь –
Чуть тепла ладонь:
Я электричество – холодный огонь.
Тонок уголек,
Волоском завит:
Лампочка стеклянная не греет, а горит.

[СИНИЦА]

Бушевала синица:
В море негде напиться –
И большая волна,
И вода солона;
А вода не простая,
А всегда голубая...
–Как-нибудь обойдусь –
Лучше дома напьюсь!

[ДРОВА]

Принесли дрова на кухню,
Как вязанка на пол бухнет,
Как рассыплется она –

И береза и сосна,–
Чтобы жарко было в кухне,
Чтоб плита была красна.

[К А Р А Н Д А Ш И]

Это мальчик-рисовальщик,
Покраснел он до ушей,
Потому что не умеет
Он чинить карандашей.
Искрошились.
        Еле-еле
                заострились.
                        Похудели.
И взмолилися они:
– Отпусти нас, не чини!

[К У Х Н Я]

Рассыпаются горохом
Телефонные звонки,
Но на кухне слышат плохо
Утюги и котелки.
И кастрюли глуховаты –
Но они не виноваты:
Виноват открытый кран –
Он шумит, как барабан.

[Ф О Т О Г Р А Ф]

Что ты прячешься, фотограф,
Что завесился платком?
Вылезай, снимай скорее,
Будешь прятаться потом.
Только страусы в пустыне
Прячут голову в крыло.
Эй, фотограф! Неприлично
Спать, когда совсем светло!

[СКРИПАЧИ И ТРУБАЧИ]

Покупали скрипачи
На базаре калачи,
И достались в перебранке
Трубачам одни баранки.

Из книги «ДВА ТРАМВАЯ»

КЛИК И ТРАМ

Жили в парке два трамвая:
Клик и Трам.
Выходили они вместе
По утрам.

Улица-красавица, всем трамваям мать,
Любит электричеством весело моргать.
Улица-красавица, всем трамваям мать,
Выслала метельщиков рельсы подметать.

От стука и звона у каждого стыка
На рельсах болела площадка у Клика.
Под вечер слипались его фонари:
Забыл он свой номер – не пятый, не третий...
Смеются над Кликом извозчик и дети:
– Вот сонный трамвай, посмотри!

– Скажи мне, кондуктор, скажи мне, вожатый,
Где брат мой двоюродный Трам?
Его я всегда узнаю по глазам,
По красной площадке и спинке горбатой.

Начиналась улица у пяти углов,
А кончалась улица у больших садов.
Вся она истоптана крепко лошадьми,
Вся она исхожена дочерна людьми.
Рельсы серебристые выслала вперед.
Клика долго не было: что он не идет?

Кто там смотрит фонарями в темноту?
Это Клик остановился на мосту,
И слезятся разноцветные огни:
– Эй, вожатый, я устал, домой гони!

А Трам швырк-шварк –
Рассыпает фейерверк;
А Трам не хочет в парк,
Громыхает громче всех.

На вокзальной башне светят
Круглолицые часы,
Ходят стрелки по тарелке,
Словно черные усы.
Здесь трамваи словно гуси
Поворачиваются.
Трам с товарищами вместе
Околачивается.

– Вот летит автомобиль-грузовик –
Мне не страшно. Я трамвай. Я привык.
Но скажите, где мой брат, где мой Клик?
– Мы не знаем ничего. Не видали мы его.

– Я спрошу у лошадей, лошадей,
Проходил ли здесь трамвай-ротозей,
Сразу видно – молодой, всех глупей.
– Мы не знаем ничего. Не видали мы его.

– Ты скажи, семиэтажный
Каменный глазастый дом,
Всеми окнами ты видишь
На три улицы кругом,
Не слыхал ли ты о Клике,
О трамвае молодом?
Дом ответил очень зло:
– Много здесь таких прошло.

Вы, друзья-автомобили,
Очень вежливый народ
И всегда-всегда трамваи

Пропускаете вперед,
Расскажите мне о Клике,
О трамвае-горемыке,
О двоюродном моем
С бледно-розовым огнем.

– Видели, видели и не обидели.
Стоит на площади – и всех глупей:
Один глаз розовый, другой темней.

– Возьми мою руку, вожатый, возьми,
Поедем к нему поскорее;
С чужими он там говорит лошадьми,
Моложе он всех и глупее.
Поедем к нему и найдем его там.
И Клика находит на площади Трам.

И сказал трамвай трамваю:
– По тебе я, Клик, скучаю,
Я услышать очень рад,
Как звонки твои звенят.
Где же розовый твой глаз?
Он ослеп.
Я возьму тебя сейчас на прицеп:
Ты моложе – так ступай на прицеп!

Из книги «ШАРЫ»

ШАРЫ

Дутые-надутые шары-пустомели
Разноцветным облаком на ниточке висели,
Балова́ли-плавали, друг друга толкали,
Своего меньшого брата затирали.

– Беда мне, зеленому, от шара-буяна,
От страшного красного шара-голована.
Я шар-недоумок, я шар несмышленыш,
Приемыш зеленый, глупый найденыш.

– А нитка моя
Тоньше паутинки,
И на коже у меня
Ни одной морщинки.

Увидела шар
Шарманка-хрипучка:
– Пойдем на бульвар
За белою тучкой:
И мне веселей,
И вам будет лучше.

На вербе черно
От разной забавы.
Гуляют шары –
Надутые павы.

На всех продавцов
Не хватит копеек:
Пять тысяч скворцов,
Пятьсот канареек.
Идет голован
Рядами, рядами.
Ныряет буян
Ларями, ларями.

– Эх, голуби-шары
На белой нитке,
Распродам я вас, шары,
Буду не в убытке!

Говорят шары лиловые:
– Мы не пряники медовые,
Мы на ниточке дрожим,
Захотим и улетим.

А мальчик пришел,
Свистульку купил,
Он пряники ест,

Другим раздает.
Пришел, поглядел –
Приманка какая:
На нитке дрожит
Сварливая стая.
У него у самого
Голова большая!

Топорщатся, пыжатся шары наливные –
Лиловые, красные и голубые:
– Возьми нас, пожалуйста, если не жалко,
Мы ходим не попросту, а вперевалку.

Вот плавает шар
С огнем горделивым,
Вот балует шар
С павлиньим отливом,
А вот найденыш,
Зеленый несмышленыш!

– Снимайте зеленый,
Давайте мне с ниткой.
Чего тебе, глупому,
Ползать улиткой!
Лети на здоровье
С белою ниткой!

На вербе черно
От разной забавы.
Гуляют шары –
Надутые павы.
Идет голован
Рядами, рядами,
Ныряет буян
Ларями, ларями.

ЧИСТИЛЬЩИК

Подойди ко мне поближе,
Крепче ногу ставь сюда,
У тебя ботинок рыжий,
Не годится никуда.
Я его почищу кремом,
Черной бархаткой натру,
Чтобы желтым стал совсем он,
Словно солнце поутру.

АВТОМОБИЛИЩЕ

– Мне, автомобилищу, чего бы не забыть еще?
Вычистили, вымыли, бензином напоили.
Хочется мешки возить. Хочется пыхтеть еще.
Шины мои толстые – я слон автомобилий.

Что-то мне не терпится –
Накопилась силища,
Накопилась силища –
Я автомобилище.

Ну-ка покатаю я охапку пионеров!

ПОЛОТЕРЫ

Полотер руками машет,
Будто он вприсядку пляшет.
Говорит, что он пришел
Натереть мастикой пол.
Будет шаркать, будет прыгать,
Лить мастику, мебель двигать.
И всегда плясать должны
Полотеры-шаркуны.

КАЛОША

Для резиновой калоши
Настоящая беда,
Если день – сухой, хороший,
Если высохла вода.
Ей всего на свете хуже
В чистой комнате стоять:
То ли дело шлепать в луже,
Через улицу шагать!

РОЯЛЬ

Мы сегодня увидали
Городок внутри рояля.
Целый город костяной,
Молотки стоят горой.
Блещут струны жаром солнца,
Всюду мягкие суконца,
Что ни улица – струна
В этом городе видна.

КООПЕРАТИВ

В нашем кооперативе
Яблоки всего красивей, –
Что ни яблоко – налив,
Очень вкусный чернослив,
Кадки с белою сметаной,
Мед прозрачный и густой,
И привозят утром рано
С молоком бидон большой.

МУХА

– Ты куда попала, муха?
– В молоко, в молоко.

– Хорошо тебе, старуха?
– Нелегко, нелегко.

– Ты бы вылезла немножко.
– Не могу, не могу.

– Я тебе столовой ложкой
Помогу, помогу.

– Лучше ты меня, бедняжку,
Пожалей, пожалей,
Молоко в другую чашку
Перелей, перелей.

Из книги «КУХНЯ»

КУХНЯ

Гудит и пляшет розовый
Сухой огонь березовый
На кухне! На кухне!
Пекутся утром солнечным
На масле на подсолнечном
Оладьи! Оладьи!
Горят огни янтарные,
Сияют, как пожарные,
Кастрюли! Кастрюли!
Шумовки и кофейники,
И терки, и сотейники –
На полках! На полках!
И варится стирка
В котле-великане,
Как белые рыбы

В воде-океане:
Топорщится скатерть
Большим осетром,
Плывет белорыбицей,
Вздулась шаром.

А куда поставить студень?
На окно! На окно!
На большом на белом блюде –
И кисель с ним заодно.

С подоконника обидно
Воробьям, воробьям:
– И кисель, и студень видно –
Да не нам! Да не нам!

Хлебные, столовые, гибкие, стальные,
Все ножи зубчатые, все ножи кривые.
          Нож не булавка:
          Нужна ему правка!
И точильный камень льется
          Журчеем.
Нож и ластится и вьется
          Червяком.

– Вы ножи мои, ножи!
Серебристые ужи!

У точильщика, у Клима,
Замечательный нажим,
И от каждого нажима
Нож виляет, как налим.

Трудно с кухонным ножом,
С непослушным косарем;
А с мизинцем перочинным
Мы управимся потом!

– Вы ножи мои, ножи!
Серебристые ужи!

У Тимофеевны
Руки проворные –
Зерна кофейные
Черные-черные:
Лезут, толкаются
В узкое горло
И пробираются
В темное жерло.

Тонко измолото каждое зернышко,
Падает в ящик на темное донышко!

На столе лежат баранки,
Самовар уже кипит.
Черный чай в сухой жестянке
Словно гвоздики звенит:
– Приходите чаевать
Поскорее, гости,
И душистого опять
Чаю в чайник бросьте!

Мы, чаинки-шелестинки,
Словно гвоздики звеним.
Хватит нас на сто заварок,
На четыреста приварок:
Быть сухими не хотим!

Весело на противне
Масло зашипело –
То-то поработает
Сливочное, белое.
Все желтки яичные
Опрокинем сразу,
Сделаем яичницу
На четыре глаза.

Крупно ходит маятник –
Раз-два-три-четыре.
И к часам подвешены
Золотые гири.

Чтобы маятник с бородкой
Бегал крупною походкой,
Нужно гирю подтянуть –
Вот так – не забудь!

Стихотворения, не вошедшие в книги

МУРАВЬИ

Муравьев не нужно трогать:
Третий день в глуши лесов
Всё идут, пройти не могут
Десять тысяч муравьев.

Как носильщик настоящий
С сундуком семьи своей,
Самый черный и блестящий,
Самый сильный муравей!

Настоящие вокзалы –
Муравейники в лесу:
В коридоры, двери, залы
Муравьи багаж несут!

Самый сильный, самый стойкий,
Муравей пришел уже
К замечательной постройке
В сорок восемь этажей.

МАЛЬЧИК В ТРАМВАЕ

Однажды утром сел в трамвай
Первоступенник-мальчик.
Он хорошо умел считать
До десяти и дальше.

И вынул настоящий
Он гривенник блестящий.

Кондукторши, кондуктора,
Профессора и доктора
Решают все задачу,
Как мальчику дать сдачу:

А мальчик сам,
А мальчик всем
Сказал, что десять минус семь
Всегда выходит три –

И все сказали: повтори!
Трамвай помчался дальше,
И в нем поехал мальчик.

БУКВЫ

– Я писать умею: отчего же
Говорят, что буквы непохожи,
Что не буквы у меня – кривули,
С длинными хвостами загогули?
Будто «А» мое как головастик,
Что у «Б» какой-то лишний хлястик:
Трудно с вами, буквы-негритята,
Кривоногие мои утята!

ЯЙЦО

Курицу яйцо учило:
Ты меня не так снесла,
Слишком криво положила,
Слишком мало берегла:
Недогрела и ушла,–

Как тебе не стыдно было?

ПОРТНИХА

Утомилась портниха –
Работает тихо.
Потеряла иглу –
Не найти на полу.

А иголки у елки,
Все иголки у ежа!

Нагибается, ищет,
Только песенку свищет,
Потеряла иглу –
Не найдет на полу.

А иголки все у елки,
Все иголки у ежа!

– Для чего же я челку
Разноцветного шелку
Берегла, берегла,
Раз пропала игла!

А иголки все у елки,
Все иголки у ежа!

ВСЕ В ТРАМВАЕ

Красноглазой сонной стаей
Едут вечером трамваи,
С ними мальчик едет тот,
Что запомнил твердо счет;
И портниха: с ней иголка,
У нее в руках кошелка;
Мальчик с баночкой чернил –
Перья новые купил;
Едет чистильщик с скамейкой,
Полотер с мастикой клейкой;
Едет муха налегке,
Выкупавшись в молоке;

С ними едут и другие,
Незнакомые, чужие.
Лишь настройщик опоздал:
На рояле он играл.

СОННЫЕ ТРАМВАИ

У каждого трамвая
Две пары глаз-огней
И впереди площадка,
Нельзя стоять на ней.

Он завтракает вилкой
На улицах больших.
Закусывает искрой
Из проволок прямых.

– Я сонный, красноглазый,
Как кролик молодой,
Я спать хочу, вожатый:
Веди меня домой.

Другие редакции

«На бледно-голубой эмали...»

«Альманахи стихов...», К2

7	Как на фаянсовой тарелке

«Дано мне тело – что мне делать с ним...»

А

1 11	Имею тело: что мне делать с ним, Пока мгновения стекает муть,

«Невыразимая печаль...»

К1, частное собр. Вариант

вм. 9–12	Луч солнца вкрадчиво проник, Наклонно комнату погладил, Как будто развернулся складень, Проснулось всё, и день возник...

А

11	И упоительно-живая

К1

11	И потянулась, оживая,

КорпАв-2

вм. 12, промежут.	Полупрозрачная, живая, Тончайших пальцев белизна.

«Ни о чем не нужно говорить...»

Автограф (АМ), машинопись (АЛ)

между 2 и 3	Ибо, если в жизни смысла нет, Говорить о жизни нам не след. Я еще довольно сердцем дик. Скучен мне понятный наш язык,

«Когда удар с ударами встречается...»

Автограф (АМ), А

14	С весенним трепетом, и вдруг –

«Медлительнее снежный улей...»

А

1	Медлительнее спешный улей

КорпАв-2

5	Измучена голубизной

Silentium

Авторский экземпляр С (СХ), поправка

8	В черно-лазуревом сосуде.

«Слух чуткий – парус напрягает...»

Машинопись (АМ), ККабл[1], «Северные записки»

перед ст. 1	Душа устала от усилий И многое мне все равно. Ночь белая, белее лилий Испуганно глядит в окно.

«Как тень внезапных облаков...»

Автограф (АМ)

11	И, чуя приближенье рока,

Автограф (РГБ)

11	И, как почуяв ветер рока,

[1] В машинописи ст. 12 (соответствует ст. 8 основного текста): /Как птиц плененных голоса/; в ККабл ст. 15 (соответствует ст. 11 основного текста): /Твой мир, таинственный и странный,/.

«Из омута злого и вязкого...»

А, Машинопись (СИ)

после 12	Ни сладости в пытке не ведаю, Ни смысла я в ней не ищу; Но близкой, последней победою, Быть может, за всё отомщу.

«Воздух пасмурный влажен и гулок...»

«Златоцвет», К2, К3, С

8	И невинен, что я одинок!

«Златоцвет», К2

13	Небо тусклое с отсветом странным –

«Смутно-дышащими листьями...»

К1, частное собр. Вариант

вм. 11–12	Всё дневное ликование Удаляется для сна...

Автограф (АМ)

1, перво- нач.	Увядающими листьями

К1, К2

10	Стала медная луна,

«Отчего душа – так певуча...»

Машинопись (АЛ), Г, К1, К2

10	Ты ушел в морские края –

«На перламутровый челнок...»

Машинопись (АМ)

3–4, первонач.	О пальцы гибкие, спешите Исполнить царственный урок!

«О небо, небо, ты мне будешь сниться!..»

Машинопись (АМ), «Северные записки»

перед строфой 1	Качает ветер тоненькие прутья, И крепнет голос проволоки медной, И пятна снега – яркие лоскутья – Всё что осталось от тетрадки бедной...
после строфы 1	Жемчужный почерк оказался ложью, И кружева не нужен смысл узорный; И только медь – непобедимой дрожью – Пространство режет, нижет бисер черный. Разве я знаю, отчего я плачу? Я только петь и вспоминать[1] умею. Не мучь меня: я ничего не значу, И безобразную печаль лелею.[2]

«Я вздрагиваю от холода ...»

Поправка в авторском экз. С (СХ)

13–16	Что, если, вздрогнув неправильно, Мерцающая всегда, Своей булавкой заржавленной Достанет меня звезда?

«Я ненавижу свет...»

Автограф (АМ)

5–6, первонач.	Мстителем камень будь, Кружевом острым стань:
5–6, окончат.	Кружевом камень будь, И водометом стань:
10	Тяжесть мне даст крыла.

«Нет, не луна, а светлый циферблат...»

К1, частное собр. Вариант

4–6	От целого не надо мне частей, Хочу вольготней жить, а не честней! Минуты мало, дня, а только – вечность.

---

[1] В «Северных записках»: /умирать/.

[2] В «Северных записках»: /И черный хаос в черных снах лелею!/.

Царское Село

К1

2–4	Свободны, ветрены и пьяны, Там улыбаются уланы, Вскочив на крепкое седло –

Notre Dame

Автограф (АМ)

1–3	Ажурных галерей заманчивый пролет – И, жилы вытянув и напрягая нервы, Как некогда Адам, таинственный и первый,

Старик

К1, К2, К3

20	Веселая нужда;

Петербургские строфы

Автограф (СИ)

5	Оснежены, зимуют мачты, блоки...

Г, К1, К2, К3

11	И государства крепкая порфира,

«Дев полуночных отвага...»

Автограф (АЛ), Г, К1

перед строфой 1	В душном баре иностранец, Я нередко, в час глухой, Уходя от тусклых пьяниц, Становлюсь самим собой.

«Мы напряженного молчанья не выносим...»

Г, К2, К3

12	Чтоб горло повязать, я не имею шарфа!

Адмиралтейство

Автограф (АМ)

3–4	И в темной зелени потерянный акрополь Настроил мысль мою на величавый лад.
7	Он учит: красота – не воля полубога,
16	И открываются всесветные моря![1]
после строфы 4	Живая линия меняется, как лебедь. Я с Музой зодчего беседую опять. Взор омывается, стихает жизни трепет: Мне всё равно, когда и где существовать!

«В таверне воровская шайка...»

Автограф (АМ)

12	Часов просеянный песок...

Теннис

«Журнал за 7 дней»

2	Где скитается шарманка,
строфа 3	<опущена>
вм. 17–24	Вижу мельницы, как встарь, И гребцов на Темзе кроткой; Завладел спортсмен-дикарь Многовесельною лодкой. Вижу стадо у воды; Стерегут овец овчарки. Без седла и без узды Пущен конь на клевер яркий. Это Англия цветет – Остров мирный и веселый... Здравствуй, тенниса полет, Полотно и локоть голый!

[1] В автографе соответствует ст. 12, т. к. строфы 3 и 4 в нем следуют в обратном порядке.

«От легкой жизни мы сошли с ума...»

Автограф (АМ)

2–5 первонач.	От радости едва не поседели Пора, пора остановить качели Пока совсем не воцарилась тьма Рукопожатья сладостный обряд
2–5 окончат.	С утра вино, записки и похмелье: Пора, пора остановить веселье Пока совсем не воцарилась тьма. В рукопожатьи чудится обряд

«Поговорим о Риме – дивный град!..»

Автограф (АМ)

8, первонач.	Не нарушают год календаря.
8, окончат.	Двенадцать слуг его календаря.
9, окончат.	На дольный мир глядит сквозь облак хмурый

«На луне не растет...»

Автограф (СИ)

перед 1	У меня на луне Вафли ежедневно, Приезжайте ко мне, Милая царевна! Хлеба нет на луне, Вафли ежедневно.
после 12	Убежим на часок От земли-злодейки! На луне нет дорог И одни скамейки: Что ни шаг – то прыжок Через три скамейки. Захватите с собой Молока котенку – Земляники лесной – Зонтик – и гребенку... На луне голубой Я сварю вам жженку!

Машинопись (СИ)

перед 1	Это всё о луне Только небылица – В этот вздор о луне Верить не годится, Это всё о луне – Только небылица.
после 12	На луне нет дорог И везде скамейки, Поливают песок Из высокой лейки, – Что ни шаг, то прыжок Через три скамейки. У меня на луне Голубые рыбы, Но они на луне Плавать не могли бы – Нет воды на луне И летают рыбы.

«На площадь выбежав, свободен...»

«Голос жизни», К2

12	К земле, беспомощный, прижат!

«“Мороженно!” Солнце. Воздушный бисквит...»

«Новый Сатирикон», К2

5–6	Но ложечкой звать, но умильно смотреть – Чтоб в тесной беседке, средь пыльных акаций,

КорпАв

9	Подруга шарманки является вдруг,

Европа

Автографы (ДнКабл и АЛ)

1	Как мягкотелый краб или звезда морская,

Автограф (АЛ)

11, окончат.	Химера Англии, Италии Медуза,

А

9–12	Европа Августа и Солнца-короля, А ныне в рубище Священного союза, Пята Испании и нежная Медуза, Земля Италии, романская земля,

Посох

«Голос жизни»

7	Посох взял, возвеселился
9–12	Знаю, снег на черных пашнях Не растает никогда, Виноградников домашних Не пьянит меня вода.
14	Солнцем Истины палим.
16	Мне, идущему на Рим.

К2

9	Пусть снега на черных пашнях
11	Но печаль моих домашних

Ода Бетховену

Автограф (местонахождение неизвестно, текст по БП)

29–32	Тебя предчувствуя в темнице, Шенье достойно принял рок, Когда на черной колеснице Он просиял, как полубог.

«Альманахи стихов...», К2

9–11	Когда земля гудит от грома И речка бурная ревет Сильней грозы и бурелома,
15–16	И ветер полы развевает На неуклюжем сюртуке.
39	Тебя назвать боялись греки,

«Уничтожает пламень...»

ККабл

после строфы 3	Поведайте пустыне О дереве Креста; В глубокой сердцевине Какая красота! Из дерева простого Я смастерил челнок И ничего иного Я выдумать не мог.

Наборная рукопись журн. «Рудин»

1	Снедает легкий пламень
3–4	Сегодня я не камень, Но дерево пою.

«И поныне на Афоне...»

ККабл и машинопись (АМ)

12	Мы ничуть не спасены.

КорпАв 2

12, версия	Мы судом не спасены.

«Вот дароносица, как солнце золотое...»

ККабл

6–8	Струится в храмине под куполом в июле. Вне времени и мы, свободные, вздохнули На луговине той, где время не бежит.
10	Все причащаются, ликуют и поют

Аббат

ККабл (1-я редакция) и «Новый Сатирикон»[1]

после строфы 3	Переменилось всё земное, И лишь не сбросила земля Сутану римского покроя И ваше золото, поля; И самый скромный современник, Как жаворонок, Жамм поет: Ведь католический священник Ему советы подает!

[1] В «Новом Сатириконе» текст ст. 23 – «Направился к калиткам парка» – вероятно, результат погрешности.

ККабл (2-я редакция)

вм. строф 2–3	Священник слышит пенье птичье И всякую живую весть, Питает всё его величье Сияющей тонзуры честь. Свет дивный от нее исходит, Когда он вечером идет, Иль по утрам на рынке бродит И милостыню подает. Я поклонился, он ответил Кивком учтивым головы, И, говоря со мной, заметил: «Католиком умрете вы!» А в толщь унынья и безделья Какой врезается алмаз Когда мы вспомним новоселье, Что в Риме ожидает нас! Там каноническое счастье, Как солнце, стало на зенит, И никакое самовластье Ему сиять не запретит. О жаворонок, гибкий пленник, Кто лучше песнь твою поймет, Чем католический священник В июле, в урожайный год!

«О свободе небывалой...»

Машинопись (АМ)

12	Я вовеки не сниму.

«Обиженно уходят на холмы...»

Редакция 1 (см. примеч.)

4	Исчадье мрака в капюшонах тьмы
вм. 8–16	Они покорны чуткой слепоте. Они – руно косноязычной ночи. Им солнца нет! Слезящиеся очи – Им зренье старца светит в темноте.

Редакция 2 (см. примеч.)[1]

2–4	Плебеи, и о Риме семихолмном Тоскуют овцы, и по черным волнам Земли кочуют в океане тьмы
строфы 2, 3	<следуют в обратном порядке>

«Как этих покрывал и этого убора...»

Автографы (АМ и АЛ)

2, окончат.	Мне пышность тяжела – участница позора[2]
3	Собирается в Трезене
7–10	Вот она: какие речи И какой ужасный вид[3] Избегает с нею встречи, Чуя правду, Ипполит.
вм. 13–19	Черным факелом среди белого дня К Ипполиту любовью Федра зажглась[4] И сама погибла, сына виня, У старой кормилицы учась. Позабыла свой род и царский сан, Возвела на юношу неправды тень,[5] Заманила охотника в капкан. По тебе будут плакать леса, олень!
20–21	<отсутствуют>
29	Солнце черное поем[6]
26–29, вариант	Соберем несчастья плод В доме Федры утомленной Страсти дикой и бессонной Солнце черное зайдет[7]

[1] Строфа 4 этой редакции соответствует заключительной строфе редакции 1; то же в редакции 3, для которой этим исчерпываются разночтения с основным текстом.

[2] Первонач. редакция: /Мне пышность тяжела средь моего позора/ – соответствует тексту автографа АЛ. Промежут. редакция: /Мне пышность кажется участницей позора/.

[3] Первонач. редакция в АМ: /Вот она: ужасный вид/.

[4] В АЛ этот стих читается: /К Ипполиту любовь Федры зажглась/.

[5] В АЛ этот стих читается: /Возвела на юношу напраслины тень/.

[6] В АЛ стихи 28–29 читаются:
Федры дикой и бессонной
Солнце черное уймем!

[7] Первонач. редакция: /Солнце черное взойдет/.

ККабл

7–8	Гибель Федры беззаконной Перейдет из рода в род
вм. 22–29	– Посоветовала кормилица Ипполита извести – Горьким дымом горе стелется, Разъедает очи гарь ....
после 29	Знаменитая беззаконница – Федра солнце погребла – В очаге средь зала царского Злится скучная зола! Но светило златокудрое Выздоравливает вновь. Злая ложь и правда мудрая Пред тобой равны, любовь!
вариант[1]	Солнце, возьми мой черный плащ, Но сохрани живую мощь.

Т

15	Погребальный факел горит

Зверинец

Автограф (АМ)

3–4, первонач.	Лазурный выход из пещеры В [голубопламенный] недосягаемый эфир[2]
9–12, первонач.	Пускай ягнята и волы На тучных пастбищах лоснятся И сонные орлы садятся На дружелюбные скалы!

[1] Без определенного места отнесения. Второй вариант соответствует вм. 13–19, двум последним стихам.

[2] Чтение И. М. Семенко.

25, первонач.	Петух и лев, и черно-бурый
25, окончат.	Петух и лев, и медно-бурый
28, первонач.	Звериные повесим шкуры!
29	А я пою волну племен
30, промежут.	Источник речи ионийской
40	Тяжелый камень не годится?
45–47, первонач.	И умудрится человек. Почтит невольно чужестранца Движеньем кругового танца

ККабл

3–4	Как на косматые пещеры Мы променяли сей эфир?
7–8	Мы научились умирать, Но разве этого хотели?
10	На тучных пастбищах плодились
25	Петух и лев, и черно-бурый
27–29	Мы для войны устроим клеть, Звериные повесим шкуры А я пою волну племен
34–36	Тревожить Рима колесницы Кудахтаньем домашней птицы; Перелетев через плетень
40	Тяжелый камень не годится?
47–48	Движеньем кругового танца, И песней, сложенной навек!
47–48, вариант	Как полубога. Век румянца Осеннего, блаженный век!

«Новая жизнь»

25	Петух и лев, и темно-бурый
40	Тяжелый камень не годится?

«Тринадцать поэтов»

1	Торжественное слово «мир»
10	На тучных пастбищах кормились

«Паруса»[1] автограф (РГАЛИ)

37	И ты, германец, не ропщи:

«На розвальнях, уложенных соломой...»

Автограф первонач. редакции (АМ)

1	На розвальнях, осыпанных соломой,
5, первонач.	Играли дети в городки и бабки
6	И где-то хлеб обуглился в печи
13, первонач.	Ныряли сани в страшные ухабы
13, окончат.	Летели сани в страшные ухабы
16	Лущили семя у ворот
17, первонач.	Сырая даль от птичьих стай чернела
17, окончат.	Сырая даль от галок почернела
19–20, первонач.	Царевича везут – и очумело Сжигает масленица корабли

Автограф (АМ), ККабл, «Альманах муз», Т

16	Лущили семя у ворот

[1] Ст. 25, 40 в «Тринадцати поэтах» и «Парусах» соответствуют редакции «Новой жизни».

«Мне холодно. Прозрачная весна...»

Автограф (АЛ)

5, первонач.	На набережной царственной реки

«Не веря воскресенья чуду...»

ККабл, А

5–6	Я через овиди степные Тянулся в каменистый Крым,

«Собирались эллины войною...»

Черновой автограф (АМ)

4, первонач.	Оскорблял величие Афин
10–12, первонач.	Берегись непрошенных друзей Ни любви, ни дружбы нам не надо Альбиона каменных детей
после строфы 3	И явился вестник на агору В пыльный плащ и войлок облачен Не бывало афинян позора Берегись туманный[1] Альбион
после строфы 3, вариант 1	На священной памяти народа Англичанин другом не слывет Развенчать[2] хотела их свобода Бонапарта и великий год.
после строфы 3, вариант 2	На священной памяти народа Англичанин другом не слывет Развалит Европу их свобода, Альбиона каменный приход

[1] вариант: /коварный/.

[2] Чтение И.М. Семенко.

«Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне...»
Черновой автограф (АМ)[1]

9–20, первонач.	Шуршит соломинка в торжественном атласе В высокой комнате над пышною рекой Что знает женщина одна о смертном часе Клубится полог свет струится ледяной Соломка звонкая соломинка сухая Всю смерть ты выпила и сделалась нежней Сломалась милая соломка неживая – С огромной жалостью с бессонницей своей Где голубая кровь декабрьских роз разлита И в саркофаге спит тяжелая Нева Шуршит соломинка – соломинка убита – Что если жалостью убиты все слова?
9–12, окончат.	И к умирающим склоняясь в черной рясе Заиндевелых роз мы дышим белизной Двенадцать месяцев поют о смертном часе Декабрь торжественный струится над Невой
14, окончат.	Убита жалостью и сделалась нежней
16, окончат.	Убита жалостью, бессонницей своей
13 и 15, вариант	Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита .... Чья голубая кровь струится из гранита
17–18, промежут.	И дикой тяжестью и стужею убита Как будто в комнате тяжелая Нева
17–18, окончат.	А голубая кровь струится из гранита Как будто в комнате тяжелая Нева

[1] Строфы 1, 2 соответствуют строфам 1, 3 основного текста. Нумерация стихов – по автографу.

Черновой автограф (АМ)[1]

9–20, первонач.	Шуршит соломинка в торжественном атласе Заиндевелых роз мы дышим белизной Двенадцать месяцев поют о смертном часе Декабрь торжественный струится над Невой Ленор, Соломинка <пробел> Серафита Убита жалостью и славою жива Чья голубая кровь струится из гранита Где в саркофаге спит тяжелая Нева И голубого льда торжественно сиянье Как будто в комнате тяжелая Нева Шуршит соломинка – Лигейя, умиранье Что если жалостью убиты все слова
9, вариант	И к умирающим склоняясь в пышной рясе
9–10, вариант	Что знает женщина одна о черной рясе[2] Клубится полог свет струится ледяной
9–11, окончат.	<не завершены >
11, версия	Двенадцать месяцев <мы> думаем о рясе
12, окончат.	Декабрь торжественный нам светит над Невой
14, окончат.	Чья в саркофаге спит блаженная любовь
16, окончат.	Убита жалостью и не воскреснет вновь
20, версия	Блаженны жалостью убитые слова[3]

ККабл

7	Соломка милая, соломка неживая,

[1] Строфы 1, 2 соответствуют строфам 1, 3 основного текста. Нумерация стихов – по автографу.

[2] Предшествующая версия в этом варианте: /Что знает женщина одна о смертном часе/.

[3] Окончат. стих не завершен. Еще одна версия (предположительное чтение): /Блаженна жалостью убитая вдова/.

«Тринадцать поэтов»

7	Сломилась, милая, соломка неживая,

«Ковчег», Т

1	Когда, соломинка, ты спишь в огромной спальне

«Я научился вам, блаженные слова...»

Автограф (АМ), «Тринадцать поэтов»

7	В огромной комнате, Соломинка в атласе
12	Убита жалостью и не проснется вновь!

ККабл

7	В огромной комнате Соломинка в атласе
12	Убита жалостью и не воскреснет вновь

«Ковчег»

8	Вкушает медленно торжественный покой.

Декабрист

ККабл

16	Сентиментальная гитара
строфы 3 и 4	<следуют в обратном порядке>
17–20	«С глубокомысленной и нежною страной Нас обручило постоянство». Мерцает, как кольцо на дне реки чужой, Обетованное гражданство.

«Новая жизнь»

16	Сентиментальная гитара.

«Золотистого меда струя из бутылки текла...»

Автограф (АЛ)

10, первонач.	Из янтарной смолы золотые опущены шторы,

«Что поют часы-кузнечик...»

Т, ВК, «Красная новь» (1923, № 1)

12	И на дне морском простит

Кассандре

«Свободный час»

15–16	Я полюбил тебя, безрукая победа И зачумленная зима.
после 20	Больная тихая Кассандра, Я больше не могу – зачем Сияло солнце Александра, Сто лет тому назад сияло всем?

Tristia

«Пути творчества»

9	Кто может знать при слове расставанья
25–28	<отсутствуют>
29	Не нам гадать о каменном Эребе

«На каменных отрогах Пиэрии...»

«Пути творчества»

10	Обула Сафо пестрый башмачок

«Дракон»

24	Сухих перстов предчувствуя полет
26	Простоволосая бежит трава

«Сестры – тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...»

«Ковчег», Союз поэтов. М., 1922. Сб. 2, Т

6	Легче камень поднять, чем вымолвить слово: любить,

«Когда Психея-жизнь спускается к теням...»

Tristia

12	Сухия шалости кропят, как дождик мелкий.

Все прижизненные публ. и автографы

9	Кто держит зеркало, кто баночку духов,

«Лирический круг»

14	Душа не узнает туманные дубравы

Авторский экземпляр С, запись автора

13–16, ранняя редакция	И в нежной сутолке не зная как ей быть Душа не узнает ни веса ни объема Дохнет на зеркало – и медлит уплатить Лепешку медную хозяину парома

«Я слово позабыл, что я хотел сказать...»

Черновой набросок (ИРЛИ)

	Снова ночь. Рыданье Аонид Пустого хора черное зиянье Где ты слово: щит и упованье Твой высокий лоб, твой гордый стыд [Сбрось повязку] <пробел> [вернись] И среди беспамятства и звона Нежной вестью, царской дочерью явись[1] Ласточка, подружка, Антигона...

Черновой автограф (РГАЛИ), промежут. редакция

	1 Я слово позабыл, что я хотел сказать Слепая ласточка в чертог теней вернется На крыльях срезанных с прозрачными играть. В беспамятстве ночная песнь поется. 2 А на губах как черный лед горит И мучит память. Не хватает слова. Не выдумать его: оно само гудит, Качает колокол беспамятства ночного

[1] Первонач.: /Легкою посланницей явись/.

<без номера>

И медленно растет, как бы шатер иль храм[1]
То вдруг прикинется безумной Антигоной
То мертвой ласточкой бросается к ногам
С стигийской нежностью и страстью зачумленной.[2]

[4] 3

Я так боюсь рыданья Аонид
Тумана, звона и зиянья
О если бы вернуть и зрячих пальцев стыд
И выпуклую радость узнаванья

4

Но я забыл, что я хочу сказать
И мысль бесплотная в чертог теней вернется
А смертным власть дана любить и узнавать
Для них и звук в персты прольется[3]

[6] 5

Но не о том прозрачная твердит
Всё ласточка подружка Антигона
А на губах как черный лед горит
Стигийского воспоминанье звона

---

[1] Версия ст. 1: /Она блуждает по чужим шатрам/.

[2] Далее следует отброшенная строфа. Первонач.:

А смертным власть дана любить и осязать
Гляди: слепой слепому улыбнется
Но я забыл, что я хочу сказать
И зрячих пальцев стыд не многим здесь дается.

Завершающая редакция:

Как эту выпуклость и радость передать
Когда сквозь слез нам слово улыбнется
Но я забыл что я хочу сказать
И зрячих пальцев стыд не всякому дается.

Версия последнего стиха: /И зрячих пальцев стыд слепым стихам дается/.

[3] Первонач. редакция строфы:

А смертным власть дана любить и узнавать
Когда сквозь слез мне слово улыбнется
Но я забыл, что я хочу сказать
Скорее ласточка в чертог теней вернется

Т

10	То вдруг прикинется безумной Антигоной

«Дом искусств»

19	Но я забыл, что я хотел сказать,

«Накануне»

23	А на устах, как черный лед горит

«В Петербурге мы сойдемся снова...»

Т

25–28	Где-то грядки красные партера, Пышно взбиты шифоньерки лож; Заводная кукла офицера; Не для черных душ и низменных святош.

Черновой автограф (СИ)[1]

8	Всё живут бессмертные цветы.
17–20, первонач.	Для тебя страшнее нет угрозы Ненавистник солнца, страх, Чем неувядающие розы У Киприды в волосах!
25–28, первонач.	Через грядки красные партера Узкою дорожкой ты идешь И старинная клубится голубая сфера Не для черных душ и низменных святош.
25–28, промежут.	Мы вспахали грядки красные партера Пышно взбили шифоньерки лож Заводная кукла офицера – Не для черных душ и низменных святош.
32, первонач.	А ночного солнца не погубишь ты.

[1] Завершенная в автографе редакция соответствует, за исключением ст. 8, тексту Т.

«Чуть мерцает призрачная сцена...»

Черновой автограф (СИ)

1–4, первонач.	Снова Глюк из призрачного[1] плена Вызывает сладостных теней Захлестнула окна Мельпомена Красным шелком храмины своей.
1, версия	Мягкий Глюк из призрачного плена
3, версия	Захлестнула очи Мельпомена
9–12, первонач.	Вновь кипит подъезда суматоха Розу кутают в меха А на небе варится не плохо Золотая, дымная уха:
9–12, окончат.	Снова челядь шубы разбирает. Розу кутают в меха А взгляни на небо – закипает Золотая дымная уха:
13–14	Словно звезды мелкие рыбешки И на них густой навар

«Жизнь искусства», «Искусство»

23–24	И румяные затопленные печи, Словно розы римских базилик.

«Альманах Цеха поэтов», ПС

23	И на севере таинственно лепечет

Альб. Ю. Юркуна

3	Бережет ревниво Мельпомена

«Мне Тифлис горбатый снится...»

Поправки в авторском экземпляре С (СХ)

17	Ты обманщика найдешь
20	Ты в бутылке поплывешь

[1] Версии: /сумрачного/, /греческого/, /жалобного/.

«За то, что я руки твои не сумел удержать...»

Т

4	Как я ненавижу плакучие древние срубы.

«Я наравне с другими...»

Т

29–32	И в полунощной дреме, Во сне иль наяву, В тревоге иль в истоме – Но я тебя зову.

«Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...»

«Кольцо»

14–15	Само себя не узнавая, А ты гоняешься за легкою весной,

Концерт на вокзале

Автограф (АМ), «Россия»

между 21 и 22	Горячий пар зрачки смычков слепит.

Автограф (АМ)

3, вариант	Но все-таки есть музыка над нами

«Кому зима – арак и пунш голубоглазый...»

Список Ландсберга

12 18–20, вариант	Нельзя не полюбить сквозь непролазный пух. Отарою овец, и кто-то говорит: Есть соль на топоре, но где достать телегу, И где рогожу взять, когда деревня спит?

«Россия»

17	Людишки темные торопятся по снегу

«С розовой пеной усталости у мягких губ...»

Автограф (АМ)

9, окончат.	Ноздри раздуты, как крылья. Сверканье. Плеск.

«Как растет хлебов опара...»

Черновой автограф (АМ)

1, первонач.	Жизнь чудесна – как подарок
1, окончат.	Как в печи хлебов тиара
3, первонач.	И растет себе опарой
3, окончат.	И беснуется опарой
7	Тонким жаром налитые
9–10, первонач.	Чтоб не стать добычей часа Чтобы свой наполнить срок
13, окончат.	А тебе не хватит места

«Я не знаю, с каких пор...»

Черновые автографы (АМ)

3, первонач.	Сеновалом шуршит вор
7, первонач.	Прошуршать спичкой, ребром
12, промежут.	Где чебрец <и> тмин зашит.

С и все прижизненные публ.

9–11	Приподнять, как душный стог, Воздух, что шапкой томит, Перетряхнуть мешок

«Я по лесенке приставной...»

Черновые автографы (АМ)

1–4, первонач.	Щекотал звездной трухой Сенокосом и пылью <?> дышал И по лесенке приставной Лез на всклоченный сеновал
3, промежут.	Стрекозиных крылышек тьмой
3, окончат.	Я дышал овечьей стезей

6, промежут.	Темных чувств мохнатый рой
6, промежут.	Песнопений мохнатый рой
11, промежут.	Набухает у нас темь
27, окончат.	Распростились: одна крестясь

«Петроград»

26 (в журн. – 22)	И травы сухорунной звон

«Ветер нам утешенье принес...»
Наборная рукопись ВК (ИМЛИ)

4, первонач.	Трепетанье коленчатой тьмы
13, первонач.	И с трудом пробиваясь назад
16, первонач.	Побежденных в бою Азраил.

Московский дождик
Беловой автограф (ИМЛИ), «Сегодня»

перед строфой 1	Бульварной Пропилеи шорох – Лети, зеленая лапта Во рту булавок свежий ворох, Дробями дождь залепетал.

Век
Черновик, авторский экз. С (СХ)

заключит. строфа	Кровь-строительница хлещет Горлом из земных вещей И горящей рыбой мещет В берег теплый хрящ морей. И с высокой сетки птичьей, От лазурных влажных глыб Льется, льется безразличье На смертельный твой ушиб.

Нашедший подкову

Рукопись (АМ)[1]

2	Вот корабельный и мачтовый лес:
26–27	Безуспешно предлагая небу выменять смолу на щепотку соли. Сколько угодно тяжелой смолы.
34	Запряженные ласточками,
40	Она отмечена среди подруг золотой повязкой на лбу,
46	Золотыми плавниками расталкивая сферу,
63	И лицо его точный слепок с голоса, которым он произносит свои слова
92	И мне уже не хватает меня самого. Не хватает, недостает – и я ищу сравненья, как.....[1]

Грифельная ода

Черновики (АМ), ранние редакции

строфа 1	Какой же выкуп заплатить За ученичество вселенной Чтоб горный грифель приучить Для твердой записи мгновенной. На мягкой сланцевой доске Свинцовой палочкой молочной Кремневых гор созвать Ликей – Учеников воды проточной.
9–12	Мы стоя спим в густой ночи Уткнувшись в око во вселенной Откуда ж грифеля почин Для твердой записи мгновенной
9–12	Без шапок стоя спят одни Колодники лесов дубовых <пробел> родник Ломает зуб камней свинцовых

[1] Текст не завершен.

17–18	Нагорный колокольный сад, Кремней могучее слоенье,
29–32	Не крохоборствуй прекрати Голодных образов кормленье И как птенца призрей, проси Забыть дневные впечатленья
37–40	О память, хищница моя Иль кроме шуток ты звереныш Тебе отчет обязан я За впечатлений круг зеленых.
37–40	Теперь вода владеть идет И поводырь слепцов зеленых[1] С кремневых гор струя течет Крутясь, играя как звереныш
41	И как паук ползет по мне
46	Учительствуют хор державе
строфа 7	Мы только с голоса поймем Что там царапалось, боролось Но где спасенье мы найдем Когда уже черствеет голос. Ночь, золотой твой кипяток Стервятника ошпарил горло И ястребиный твой желток Глядит из каменного жерла
53–56	И что б ни вывела рука Хотя бы «жизнь» или «голубка» Всё смоет времени река И ночь сотрет мохнатой губкой
61–64	Ночь, как горящую кору Тобой я освежаю сердце День, утираюсь поутру Твоим расшитым полотенцем.

[1] Варианты: /Теперь, кто за руку возьмет Старейшину слепцов зеленых/; /Как хорошо перешагнуть Водораздел холмов зеленых/; /Вот, крохоборство, твой доход – Изнанка образов зеленых/. В этих вариантах «слепцы» – деревья.

«Как тельце маленькое крылышком...»

Черновой автограф (АМ)

1–2, окончат.	Как тельце маленькое, солнышком Налившись всклянь, перевернулось

1 января 1924

«Русский современник»

47	По старине я принимаю братство

«Нет, никогда, ничей я не был современник...»

«Ковш»

9	Я веку поднимал болезненные веки
12	Ход воспаленных дел людских
строфы 5 и 6	< следуют в обратном порядке >

«Вы, с квадратными окошками, невысокие дома...»

Запись Н. Мандельштам (АМ)

9	И в мешочке кофий жареный, связан тонкой бечевой

«Сегодня ночью, не солгу...»

«Ленинград»

13	< отсутствует >
27	Хоть даром – утро предлагает,

Армения

Черновики (АМ). Первонач. общая редакция ст-ний «Ты розу Гафиза колышешь...», «Ты красок себе пожелала...», «Как люб мне натугой живущий...» и последующие редакции отдельных строф[1]

1–32	Ломается мел и крошится Ребенка цветной карандаш... Мне утро армянское снится, Когда выпекают лаваш. И с хлебом играющий в жмурки Их вешает булочник в ряд,

[1] Нумерация стихов – по приводимой первонач. редакции.

Чтоб высохли барсовы шкурки
До солнца убитых зверят.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И крови моей не волнуя
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы – кузнечные клещи
И каждое слово – скоба.

Раздвинь осьмигранные плечи
Мужицких бычачьих церквей,
В очаг потухающей речи
Открой мне дорогу скорей.

Багряные -уни и -ани –
Натуга великих родов –
Обратно под своды гортани
Рванулась запряжка быков.

вм. 1–8 [Создатель,] чтоб ты не пеняла
На скудость природы своей
Из детского вынул пенала
С полдюжины карандашей

	И выбрал для [бешеной] маски <пробел> [Лишь] самые главные краски Которыми данник[1] владел.
вм. 1–8	И выбрал, чтоб ты не пеняла На скудость природы своей <Рисующий> лев из пенала <С полдюжины>[2] карандашей.
вм. 1–8	[Создатель,][3] чтоб ты не пеняла На скудость природы своей Чтоб охрою ты прокричала Взял дюжину карандашей
вм. 1–8	Иль птица ее рисовала? Иль хитрою лапой своей Раскрашивал лев, из пенала Взяв дюжину карандашей?
вм. 1–8	Окрашена охрою хриплой Заставлена <пробел> горой Ты пóтом и кровью полита На желтой подошве земной. Облуплено <?> бедное небо Трава как седины виска. Дома из тюремного хлеба Из мякиша строит тоска.

[1] Чтение предположительное; И. М. Семенко предлагала читать: /демон/ (*81*, с. 38).

[2] В угловых скобках в этой строфе показаны утраты текста.

[3] Здесь и выше при этом слове – квадратные скобки в черновике.

Она изнывает в застенке
Лекарственной злой тишины
И солнца персидские деньги
Ар<мянской> зем<ле>[1] не нужны.[2]

25–32 Раздвинь осьмигранные плечи
Мужичьих своих крепостей
В очаг вавилонских наречий
Открой мне дорогу скорей.

Я твердых ищу окончаний
В огонь окунаемых слов
Обратно под своды гортани
Рванулась шестерка быков.

25–32 Как люб мне натугой живущий
Столетьем считающий год
Рожающий спящий орущий
К земле пригвожденный народ.

Лишь кой-где веселый мальчишник
Уживчивый праздничный хмель
Но серо-зеленый горчишник
Безжизненный пластырь земель.[3]

вм. 25–32 Багряные -уни и -ани
Натуга великих родов
Обратно под своды гортани
<Рванулась запряжка быков>[4]

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий
К земле пригвожденный народ.

---

[1] В угловых скобках раскрыты сокращения автора.

[2] Эти три строфы записаны рядом на верхнем поле; связь их с другими вариантами зачина не ясна, не исключено, что они – обособленные варианты строф. Вариант последней строфы:

У дряхлого мира в застенке
Томилась она искони
И вот как персидские деньги
Ненужными сделались дни.

[3] Строфы записаны обособленно, объединены по предложению И. М. Семенко (*81*, с. 35).

[4] Стих не записан; восстановлен условно по аналогичной редакции.

Твое пограничное ухо
Привыкло к картечной тиши
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши.[1]

5. «Руку платком обмотай и в венценосный шиповник...»

Черновой автограф (АМ)[2]

Ты только погляди на армянские кладбища –
Землетрясеньем раскиданные рыжие валики
Похожие на футляры швейных машин [Зингера]
Чем-то испуганные, в беспорядке бегущие.

Здесь слышен храп румяных царей и бородатых ангелов[3]
Извиняющийся храп неграмотных священников
Свиристящий храп носатых филистеров
Патриарший храп <1 нрзб> ремесленников
И буйволиный храп крестьян.

А шиповник Звароднодзца осыпающийся при первом
прикосновении
Розовый мусор – муслин – лепесток соломоновый[4]
И для шербета негодный дичок
Не дающий ни масла ни запаха.
Роза фаэтонщика и угрюмого сторожа
Охраняющего руины запущенного форума
Где срубленные дубы в <пробел> обхват
Рулоны каменных ковров.

---

[1] Промежут. редакции строфы (окончат. совпадает с основным текстом в ст-нии «Как люб мне натугой живущий...»):

а)

Кто ты? Молодая? Старуха?
Привычно к картечной тиши
Твое пограничное ухо –
Все звуки ему хороши.

б)

Кто ты? Молодая? Старуха?
Цветной карандаш искроши –
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши.

[2] Приводится промежут. редакция автографа.

[3] Предшествующая версия: /Разве это смерть? Здесь слышен храп./

[4] Возможно, с этим стихом следует соотнести набросок на обороте черновика ст-ния «Не развалины – нет!..»:

Выбелив дом ушли штукатур и [печник] плотник
< Стакан прозрачный? > уксусно-горького выпить.
Мусор сожжен драгоценный.

Черновой автограф (АМ)[1]

	Дорогая дорогая дорогая Древняя древняя древняя В три цвета раскрашенный атлас земли птоломеевой Рассказ Геродота из самых неверных источников И с сундуками путешествующих деревенские кладбища Землетрясеньем раскиданные рыжие валики Словно футляры от швейных машин Чем-то испуганные, в беспорядке бегущие.

7. «Не развалины – нет! – но порубка могучего циркульного леса...»

Черновой автограф (АМ)[2]

4, версия	Виноградины с голубиное яйцо и рыбы как пшеничные х<лебы>
5, первонач.	И нахохленные орлы с совиными крыльями, еще не оскверненные византийской службой.

9. «Какая роскошь в нищенском селеньи...»

Черновой автограф (АМ)[3]

	Запряжка быков возит апельсинный камень Чтобы строить дома < пробел > цуката И голенастые поливальщики улиц Как сеятели разбрасывающие брызги.

«Колючая речь Араратской долины...»

Автограф (АМ)[4]

4, промежут.	Глина с лазурью, глина и кровь...
5–8, вариант	А бирюзовое шахское небо – Слепорожденной эмали краса Всё не прочтет пустотелую книгу: Глина с лазурью, речь и кирпич.

---

[1] Приводится окончат. редакция автографа.

[2] На обороте этого листа – записи, отнесенные И. М. Семенко к неосуществленным замыслам ст-ния (*81*, с. 47). Возможно, они – наброски прозы; наше прочтение несколько иное:

Есть профессора гадающие на настое и поклоняющиеся дьяволу
Чутко прислушивающийся к священному шопоту

[3] Набросок без определенного места отнесения.

[4] На поле этого листа – прозаическая запись: /Полуголодная жизнь, физич<еское> и нравств<енное> пораб<ощение>, нат<уральная> и ден<ежная> повычка/.

«Дикая кошка – армянская речь...»

АЗ

21–24	Были мы люди, а нынче людьё, И суждено мне, должно быть, в награду, Лишь роковое в боку колотье Да эрзерумский стакан лимонаду.

«И по-звериному воет людьё...»

Черновой автограф (АМ), лист 1[1]

	3 Грянуло в двери знакомое: ба! Ты ли дружище – какая издевка Там где везли на арбе Грибоеда Долго ль еще нам ходить по гроба, Как по грибы деревенская девка? 4 И по-звериному воет людьё И по-людски куралесит зверьё Чудный чиновник без подорожной Командирован к тачке острожной И Черномора пригубил питье В кислой корчме на пути к Эрзеруму

Черновой автограф (АМ), лист 2

	3 Грянуло в двери знакомое: ба! Наши дороги ведут к Эрзеруму Где Черномора пригубил питье Чудный чиновник без подорожной Командированный к тачке острожной 4 А не пора ль очутиться мне там Где обо мне <нет> ни слуху, ни духу В городе, где выпрямляюсь по слуху Не по гвардейским его каблукам Где на молочных его площадях Летнего сада столетняя рюха[2]

[1] На этом и следующем листе – фрагменты ранних редакций, которые приводим полностью.

[2] Предшествующая версия: /Липа стоит как столетняя рюха/.

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»

Черновик (АЗ)

9–10, первонач.	Петербург, я сумею найти адреса О которых твердят мертвецов голоса.

«С миром державным я был лишь ребячески связан...»

Список Зенкевича (РГАЛИ)

9–10, первонач.	С миром державы я был лишь ребячески связан,

«Жил Александр Герцович...»

Воспоминания Липкина (*44*, с. 393). Строфа из ранней редакции без определенного места отнесения.

	Он музыку приперчивал Как жаркое харчо. Ах, Александр Герцович, Чего же вам еще.

ВС

6	Заученную вхруст
19	А там – вороньей шубою

«За гремучую доблесть грядущих веков...»

Черновики (АМ)[1]

1–24	1 Золотились чернила московской грязцы И пыхтел грузовик у ворот И по улицам шел на дворцы и морцы Самопишущий черный народ 2 <пробел> шли труда чернецы Как шкодливые дети вперед Голубые песцы и дворцы и морцы Лишь один кто-то властный поет <:>

[1] Ранняя редакция; приводится в реконструкции И. М. Семенко (*81*, с. 50–57), с мелкими поправками в чтениях отдельных слов. Части текста, показанные в черновиках схематически, раскрыты в угловых скобках. Нумерация стихов – по приводимой редакции.

	3 За гремучую <доблесть грядущих веков, За высокое племя людей, – Я лишился и чаши на пире отцов И веселья, и чести своей.>
	<4> Мне на плечи <кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей: Запихай меня лучше, как шапку, в рукав Жаркой шубы сибирских степей...>
	5 А не то уводи – да прошу <,> поскорей – К шестипалой неправде в избу Потому что не волк я по крови своей И лежать мне в сосновом гробу.
	<6> Уведи меня в ночь, где течет Енисей <Отними и гордыню и труд – Потому что не волк я по крови своей И за мною другие придут>
вм. строф 1–3[1]	Не табачною кровью газета плюет Не костяшками дева стучит Человеческий жаркий искривленный рот Негодует поёт говорит –
	4
строфы 4–6[2]	Замолчи! Я не верю уже ничему Я такой же как ты пешеход[3] Но меня возвращает к стыду моему Твой грозящий искривленный рот.[4]

[1] Вариант зачина (возможно, более ранний, чем приведенная выше редакция), после которого схематически показана строфа 4 (приведенная выше).

[2] Строфы 1–3 этой редакции соответствуют приведенным вначале.

[3] Предшествующая редакция:
Замолчи: ни о чем никогда никому
Там в пожарище <?> время поет

[4] Предшествующая версия ст. 3–4 этой строфы:
Но < пробел > голос к стыду моему
Так же гибко и властно поет:

	5 Я – вишневая косточка детской муры Но люблю мою курву-Москву[1] Я – трамвайная вишенка страшной поры И не знаю зачем я живу. 6 Но заслышав тот голос, пойду в топоры Да и сам за него доскажу.[2]

Беловой автограф (АМ)[3]

14–16, первонач.	К шестипалой неправде в избу, Потому что не волк я по крови своей И лежать мне в сосновом гробу.
14–16, промежут.	И слеза на ресницах как лед Потому что не волк я по крови своей И во мне человек не умрет.
14–16, окончат.	И сосна до звезды достает Потому что не волк я по крови своей И неправдой искривлен мой рот.

«Нет, не спрятаться мне от великой муры...»

Список Зенкевича (АЗ)

9	И едва успевает грозит из дупла

[1] Первонач. редакция:

Я – вишневая косточка детской игры
И в безводном пророческом рву

Завершающая редакция (в отдельной записи всей строфы):

Долго ль прятаться мне от великой муры
За извозчичью курву – Москву

[2] Эти два стиха записаны с большими интервалами между собой и с цифрой строфы – намечалась работа над их завершением. И. М. Семенко предполагала, что они должны были стать в этой строфе стихами 3–4.

[3] В автографе (АЗ) зафиксированы редакции, соответствующие промежут. (с чтением: /И слеза замерзает как лед/) и окончат. автографа АМ.

Рояль

Список (АМ)

между строфами 3 и 4	Не прелюды он и не вальсы И не Листа листал листы, В нем росли и переливались Волны внутренней правоты.

«– Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый...»

Черновой автограф 1 (АМ)

2	Сгинь, поволока искусства: мне стыдно, мне сонно и солово[1]
8	Да коктебельского горького чобру пучок подложи мне под голову.

Беловой автограф (АЗ)

13–14, первонач.	– Нет, не мигрень, – но подай карандашик ментоловый – Где поволока искусства? Где краски пространства веселого?
13–14, промежут.	– Нет, не мигрень, – но скажи, разве я изобрел его. Свист разрываемой марли под рокот гитары карболовой?

«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...»

Черновой автограф (АМ)

7, вариант	Обязуюсь построить такие дремучие срубы

Канцона

Запись Н. Мандельштам (АМ)

1–3, промежут.	Как густое женское контральто, Слева сердце бьется – слава, лейся! – Я увижу вас, храмовники базальта,

[1] Предшествующая незавершенная версия: /Сонным обзором я жизнь воскрешаю/.

Отрывки уничтоженных стихов
Машинопись (АМ) [1]

	Язык-медведь ворочается глухо В пещере рта. И так от псалмопевца До Ленина, чтоб нёбо стало небом, Чтоб губы перетрескались, как розовая глина. Еще, еще...

Список Н. Мандельштам (ВС, второй список)[2]

3	Я назову тебя с такою силой

«Еще далёко мне до патриарха...»
Автограф (АЗ)

23–28	<отсутствуют>
31–34	Хотите, я снимусь в кавказской бурке У мыловаренного павильона Под конусом лиловой Шах-горы? Хотите, я наймусь на побегушки
51	Как тысяча крикливых попугаев.

«Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..»
Черновик (АМ)

3, первонач.	Как будто сдуру[3] голову шампунем
11–15, первонач.	И что еще не народилась стерва, Которая его перешибет. Меня хотели, как пылинку, сдунуть, Уж я теперь не юноша, не вьюн, Держу пари: меня не переплюнуть,
13, промежут.	Не волноваться! выдержать оттяжку
13–14, вариант	Не волноваться. Нетерпенья роскошь Я постепенно в скорость разовью

---

[1] Этот текст идентифицировался Н. Я. Мандельштам как вариант фрагмента 4.

[2] Вариант стиха из фрагмента 4.

[3] К слову «сдуру» имелось еще 9 версий, среди них: /пенным/, /дурью/, /с бою/, /пану/.

Машинопись (РГАЛИ)

перед строфой 1	Когда подумаешь, чем связан с миром, То сам себе не веришь – ерунда! Полночный ключик от чужой квартиры, Да гривенник серебряный в кармане, Да целлулоид фильмы воровской.
10	Прекрасный год, черемуха цветет,

«Сегодня можно снять декалькомани...»

Беловой автограф (АЗ)

11, первонач.	Дымит Могэс четырехтрубным дымом
21, первонач.	Ты незаконнорожденное время. Как мальчишка
между 33 и 34, первонач.	Для дальнозоркой рысистой дорожки
35–36, первонач.	Какой-то бес, сухой и моложавый, Но в добрый час, вселился мне в ребро
35, версия	Московский бес, сухой и моложавый
37	И подбивает взять почасный ялик
49, первонач.	С которым проживем не век, не два!..

Машинопись (ГЛМ, ф. 49)

3	С хохлатого Кремля. Какая прелесть

Ламарк

Черновик (АМ)[1]

24	Здесь провал превыше наших сил
29–32	И подъемный мост она забыла, Опоздала опустить на миг, Позвоночных рвами окружила И сейчас же отреклась от них.

[1] Та же редакция (за исключением ст. 24) в наборной рукописи (ИРЛИ).

«Когда в далекую Корею...»
Запись Н. Мандельштам (АМ)

2	Пробрался русский золотой
9–12	< отсутствуют >
21	Я пережил болезни роста

«О, как мы любим лицемерить...»
Наборная рукопись (ИРЛИ)

9–12	Но не хочу уснуть, как рыба В глубоком обмороке вод И дорог мне свободный выбор Моих страданий и забот.

«Вы помните, как бегуны...»
Запись Н. Мандельштам (АМ)[1]

	Вы помните, как бегуны У Данта Алигиери Соревновались в честь весны В своей зеленой вере. По темнобархатным лугам В сафьяновых сапожках Они пестрели по холмам, Как маки по дорожкам. Уж эти мне говоруны Бродяги флорентийцы, Отъявленные все лгуны, Наемные убийцы. Они под звон колоколов Молились богу спьяну Они дарили соколов Турецкому султану.

[1] Приводятся две первые строфы ранней редакции; строфы 3 и 4 соответствуют ст-нию «Увы, растаяла свеча...». Под загл. «Новеллино» весь текст напечатан: Мосты. 1965. №11.

«Зашумела, задрожала...»

Автографы (АМ)

11–12	И в сапожках мягких ката Выступают облака.

Машинопись с правкой (АМ)

3, окончат.	По корням затрепетала
5–6, версия	У Некрасова тележка На торговой мостовой
11–12, первонач.	И в сапожках мягких ката Выступают облака.
13, версия	Капли прыгают по нотам
15, версия	Обливаясь рабским потом

«Дайте Тютчеву стрекозу...»

Черновой автограф (АМ)

после строфы 1	Пятна жирно-нефтяные Не просохли в купах лип Как наряды тафтяные Прячут листья шелка скрип.
5–7, первонач.	Тихо шаркают подошвы Недочитанных стихов И плывут без всякой прошвы[1]
5–7, промежут.	Баратынского подошвы Изумили прах веков У него без всякой прошвы
6, вариант	Изумили сон веков
после строфы 3	А еще, богохранима На гвоздях торчит всегда У ворот Ерусалима Хомякова борода.[2]

[1] В машинописи из собр. И. Эренбурга вариант: семь вышеприведенных стихов составляют в нем ст. 5–11; ст. 1–4 соответствуют основному тексту, ст. 12 – восьмому стиху основного текста.

[2] Строфа без определенного места отнесения. Вписана Н. Мандельштам на поле позднее и зачеркнута; не исключено, что она – вариант строфы 3.

Запись Н. Мандельштам (АМ)

6	Возмутили прах веков

Автограф (альб. Л. Горнунга)

6	Изумили сон веков

К немецкой речи

Сонет /Христиан Клейст/, запись А. В. Звенигородского[1]

1–14	Есть между нами похвала без лести И дружба есть в упор без фарисейства. Поучимся ж серьезности и чести У стихотворца Христиана Клейста. Еще во Франкфурте купцы зевали,[2] Еще о Гете не было известий. Слагались гимны, кони гарцовали И перед битвой радовались вместе.[3] Война, как плющ в дубраве шоколадной. Пока еще не увидала Рейна[4] Косматая казацкая папаха. И прямо со страницы альманаха Он в бой сошел и умер так же складно Как пел рябину с кружкой мозельвейна.

Промежут. редакция по записи Н. Мандельштам с правкой (АМ)

1–4	Когда пылают веймарские свечи И моль трещит под колпачком чулочным Мне хочется воздать немецкой речи За всё, чем я обязан ей бессрочно.

[1] Нумерация стихов по этому источнику.

[2] В автографе (АМ) окончат. редакция стиха: /Еще во Франкфурте отцы зевали/.

[3] В автографе (АМ) промежут. редакция стиха: /На мураве протравленных поместий/; окончат.: /И княжества топталися на месте/.

[4] В автографе (АМ) окончат, редакция ст. 9–10: /Война – как плющ в беседке шоколадной И далека пока еще от Рейна/.

8	На западе у Христиана Клейста.
13	Еще во Франкфурте купцы зевали
25–28	Воспоминаний сумрак шоколадный Плющом войны завешан старый Рейн И я стою в беседке виноградной Так высоко, весь будущим прореян.
21–22, вариант	Дурнушка жизнь и даже смерть неряха Лишь новизной берут первостатейной
23, первонач.	Сбегали в гроб, обманывая пряху
23, промежут.	И прямо в гроб, с виньетки альманаха
21–24, окончат.	<не завершены>
29, первонач.	Так я стою и нет со мною сладу
29–30, версия	Бог нахтигаль! Дай мне твои рулады Иль вырви мне язык: за святотатство!
29, версия	Бог нахтигаль, дай мне свою приваду
33, версия	Германия! Меня еще вербуют

Ариост

ВС. «Вариант» 1935 г.

	В Европе холодно. В Италии темно. Власть отвратительна, как руки брадобрея. О, если б распахнуть, да как нельзя скорее, На Адриатику широкое окно. Над розой мускусной жужжание пчелы, В степи полуденной – кузнечик мускулистый, Крылатой лошади подковы тяжелы, Часы песочные желты и золотисты. На языке цикад пленительная смесь Из грусти пушкинской и средиземной спеси, Как плющ назойливый, цепляющийся весь, Он мужественно врет, с Орландом куролеся.

	Часы песочные желты и золотисты, В степи полуденной кузнечик мускулистый, И прямо на луну влетает враль плечистый. Любезный Ариост, посольская лиса, Цветущий папоротник, парусник, столетник, Ты слушал на луне овсянок голоса, А на дворе у рыб ученый был советник. О город ящериц, в котором нет души, От ведьмы и судьи таких сынов рожала Феррара черствая и на цепи держала – И солнце рыжего ума взошло в глуши. Мы удивляемся лавчонке мясника, Под сеткой синих мух уснувшему дитяти, Ягненку на горе, монаху на осляти, Солдатам герцога, юродивым слегка От винопития, чумы и чеснока, И свежей, как заря, удивлены утрате...

«Речка, распухшая от слез соленых...»

Черновик (АМ)[1]

5–14	Вóздух медвяный,[2] полог стрел каленых Уже не тот. Мучительнее дыбы Подъем и спуск. Уже не те изгибы Тропинка вьет на тех же самых склонах. Цепи холмов волнуются на месте, И лишь во мне как бы внутри гранита Зернится скорбь. Что было – то мелькнуло. Здесь я ищу следов красы и чести, Той самой, что отсюда, нарочито, Без оболочки – в небе потонула.
9–11, вариант	Весь кругозор волнуется на месте Я ж как бойница с прорезями окон Зажмурился и жизнь во мне уснула.

[1] Приводится окончат. редакция черновика (ст. 1–4 в нем соответствует основному тексту) и один из вариантов; реконструкция предшествующих стадий дана в работе И. Семенко (*81*, с. 59–66).

[2] И. Семенко предлагала другое ударение, меняющее смысл: «Воздýх медвяный». Предшествующая версия по нашему (предположительному) чтению: /Вóздух медяный/; И. М. Семенко предлагала читать здесь «Воздýх медвежий» (*81*, с. 61).

«Как соловей, сиротствующий, славит...»

Черновик (АМ)

1–14, первонач.	Как соловей свое несчастье славит В отцовской и супружеской кручине И чистый воздух состраданьем плавит До высоты выплескиваясь синей И всю-то ночь насквозь меня буравит И провожает он к моей судьбине. Кто ж без меня поймет и в звук поставит Что смерть нашла прибежище в богине. О легковерье суетного страха: Он исключил два солнца из эфира Боясь увидеть их щепотью праха Так вот она карающая пряха Я убедился что вся прелесть мира Ресничного недолговечней взмаха.
5–11, окончат.	И всю-то ночь насквозь меня буравит И провожает он, один отныне. Я – только я – я тот, кто в звук поставит Что смерть нашла прибежище в богине. О как легко не знать и жить без страха: Эфир очей, глядевших в глубь эфира, Сметь уложить в слепую люльку праха.

«Когда уснет земля и жар отпышет...»

Черновик (АМ)

1–9, первонач.	Только <пробел> и жар отпышет И душ зверей[1] пал пух лебяжий Играет ночь своих созвездий пряжей И мощь воды морской зефир колышет. Чую горю рвусь плачу и не слышит В неудержимом отдаленьи та же Что и всегда, гневливая, на страже И вся как есть далеким счастьем дышит. И ключ один поет разноречиво[2]

[1] И. Семенко в своей работе дала следующую по времени редакцию: /И на души зверей/ (*81*, с. 78).

[2] Эта редакция ст. 9 развития не получила, он сразу же был исправлен в основную.

«Промчались дни мои – как бы оленей...»

Черновик (АМ)

1–8, первонач.	Промчались дни мои – как бы оленей Косящий бег. Срок счастья был короче, Чем взмах ресницы. Из последней мочи Я в горсть зажал лишь память наслаждений. Нет, не хочу надменных обольщений. Ночует сердце в склепе скромной ночи, К земле безкостной жмется. Средоточий Знакомых ищет, сладостных сплетений.
1–8, вариант	Промчались дни мои, как бы оленей Косящий бег, поймав немного блага На взмах ресницы. Смешанная влага Струится в жилах: горечь наслаждений. Слепорожденных ставит на колени Злая краса. Кипит надежды брага. А сердце где? Его любовь и тяга Уже земля и лишена сплетений.
5–8, вариант[1]	Царей и нищих ставит на колени Надменный мир! Кипит надежды брага. А сердце где? Его любовь и тяга Щепоть земли, лишенная сплетений.

Автограф (АМ)

1–8, первонач.	Промчались дни мои – как бы оленей Косящий бег. Поймав немного блага На взмах ресницы. Пронеслась ватага Часов добра и зла, как пена в пене... Слепорожденных ставит на колени Надменный мир. Кипит надежды брага. А сердце где? Его любовь и тяга – В жирной земле без нежных разветвлений.
5–8, промежут.	Слепорожденным – униженье, пени И солодовая надежды брага. А еще тянет та, к которой тяга Двух косточек не свяжет в жирном тлене.

[1] Ст. 1–4 в нем соответствует предшествующему варианту.

5–8, промежут.	Слепорожденным – радуга явлений И солодовая надежды брага. А еще тянет та, к которой тяга, Чьи золотые жилы в жирном тлене.
5–8, промежут.	Слепорожденным – радуга явлений. Не потому ль и умиранье наго, Что в землю тянет та, к которой тяга, Чьи струны сухожилий в жирном тлене.
1–8, окон- чат.	Промчались дни мои – как бы оленей Косящий бег. Поймав немного блага На взмах ресницы. Пронеслась ватага Часов добра и зла, как пена в пене... О семицветный мир лживы́х явлений! Печаль жирна и умиранье наго! А еще тянет та, к которой тяга, Чьи струны сухожилий тлеют в тлене.

«Голубые глаза и горячая лобная кость...»

Черновик (АМ)

1–6, окончат.[1]	Буду гладить и гладить сухой шевиот обшлага́ Обо всем обо всех завиральная плачет вьюга́ Из горячего черепа льется и льется лазурь И тревожит она литератора-Каина хмурь[2] Словно жирную ночь у <1 нрзб> мороза яви́т Сулемою эфира и савана о́б стол гремит[3]

[1] Первонач. запись (рукой Н. Мандельштам) почти точно соответствует основному тексту.

[2] Двустишие записано на правом поле, положение в тексте устанавливается предположительно; сходный вариант «пробовался» вместо ст. 13–14, см. ниже.

[3] Двустишие читается с трудом, в БП означено как не поддающееся прочтению; в книге И. М. Семенко (*81*) не приводится. Неразобранное слово в ст. 5 почти полностью стерто, для полустертого слова «жирную» возможно чтение «жирная». Положение в тексте устанавливается точно (по авторской стрелке). Предшествующая версия:

Так сложился слагался и так не сложившись ушел
Гоголек или гоголь иль котенька или глагол.

В этой версии, а также в ст. 2 И. М. Семенко дает другие чтения отдельных слов (*81*, с. 85). Еще раньше «пробовались» две версии ст. 6: /Бирюзовый учитель, ледащий писатель, пустяк/ и /Продавец паутины <,> писатель, пустяк/.

13–14	Выпрямитель сознанья еще не рожденных эпох Голубая тужурка, немецкий крикун, скоморох.[1]
16, первонач.	Не бумажные дести, а вести нужны для людей.[2]

Утро 10 января 1934 года

1. Беловой автограф (СХ)[3]

11	Железный пух в морозной крутят тяге,
вм. 13–20	Ему пространств инакомерных норы Их близких, их союзных голоса, Их внутренних ристалищные споры Представились в полвека, в полчаса. И вдруг открылась музыка в засаде, Уже не хищницей лиясь из-под смычков, Не ради слуха или неги ради: Лиясь для мышц и бьющихся висков; Лиясь для ласковой, только что снятой маски, Для пальцев гипсовых, не де́ржащих пера, Для укрупненных губ, для укрепленной ласки Крупнозернистого покоя и добра.

[1] Первоначально, до правки, текст этих стихов не был завершен. Ст. 4 читался: /<пробел> излечимая смертью болезнь/. После этого вписано:

Погляжу на тебя – и сейчас же рассеется хмурь
Из горячего черепа льется и льется лазурь.

Затем весь текст зачеркнут и записан не получивший развития набросок: /Это блажь или блазень <?>/.

[2] На поле записан вариант:

Без нее лишь бумажные дести и нету вестей
Прямизна нашей мысли не только пугач для детей

После ст. 16 записано (затем зачеркнуто) вставное двустишие:

И клянусь от тебя в каждой косточке весточка есть
И остаться в живых за тебя величайшая честь

К ст. 22 имелась версия /налажена связь/ (к словам «рождается связь»).

[3] Текст приводится соответственно нумерации стихов в ст-нии «Меня преследуют две-три случайных фразы...».

	Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось, Кипела киноварь здоровья, кровь и пот; Сон, в оболочке сна, внутри которой снилось На полшага продвинуться вперед! А посреди толпы, задумчивый, брадатый, Уже стоял гравер, друг меднохвойных доск, Трехъярой окисью облитых в лоск покатый, Накатом истины сияющих сквозь воск. Как будто я повис на собственных ресницах В толпокрылатом воздухе картин Тех мастеров, что насаждают в лицах Порядок зрения и многолюдства чин!

2. Список Е. Я. Хазина (АМ)[1]

вм. 13–20	Ему солей трехъярусных растворы И мудрецов германских голоса И русские блистательные споры Представились в полвека, в полчаса. И вдруг открылась музыка в засаде, Уже не хищницей лиясь из-под смычков, Не ради слуха или неги ради – Лиясь для мышц и бьющихся висков. Лиясь для ласковой, только что снятой маски, Для пальцев гипсовых, не де́ржащих пера, Для укрупненных губ, для укрепленной ласки Крупнозернистого покоя и добра. Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось, Кипела киноварь здоровья, кровь и пот. Сон в оболочке сна, внутри которой снилось На полшага продвинуться вперед!

[1] Первонач. редакция; текст приводится соответственно нумерации строк ст-ния «Меня преследуют две-три случайных фразы...».

	А посреди толпы стоял гравировальщик, Готовый перенесть на истинную медь То, что обугливший бумагу рисовальщик Лишь крохоборствуя успел запечатлеть. Как будто я повис на собственных ресницах И созревающий, и тянущийся весь – Доколе не сорвусь – разыгрываю в лицах Единственное, что мы знаем днесь.

Список (собр. В. П. Абрамова)

	I
вм. 13–20	Ему солей трехъярусных растворы И мудрецов германских голоса, И русские блистательные споры Представились в полвека, в полчаса. Ему кавказские кричали горы И нежных Альп стесненная толпа; На звуковых громад крутые всхоры Его ступала зрячая стопа. И европейской мысли разветвленье Он перенес, как лишь могущий мог: Рахиль глядела в зеркало явленья, А Лия пела и плела венок.
	II
1	Когда душе взволнованно торопкой
3	Она бежит рассеянною тропкой
8	Что льется внутрь, еще птенец смычка
	III
1–2	А в гуще похорон стоял гравировальщик, Готовясь перенесть на истинную медь

«Я живу на важных огородах...»

Авторизованный список и машинопись (АМ)

12	И своя-то жизнь мне не близка.

«Наушнички, наушники мои...»

Список (собр. Е. Мандельштама)

6	Прислушайся, как набухают почки

«Да, я лежу в земле, губами шевеля...»

Список Рудакова (ИРЛИ)

4	И скат ее твердеет многопольный,

Автографы (АМ)

вм. 1–8	Там деготь прогудел, лазурью шевеля: Пусть шар земной положит в сетку школьник. На красной площади всего круглей земля, Покуда на земле последний жив невольник.

«Как на Каме-реке глазу тёмно, когда...»

Черновик (АМ)

после 10	Это я. Это Рейн. Браток, помоги – Празднуют первое мая враги. Лорелеиным гребнем я жив, я теку Виноградные жилы разрезать в соку.

Автографы и списки (АМ)

7–10	Чернолюдьем велик, мелколесьем сожжен Пулеметно-бревенчатой стаи разгон. На Тоболе кричат. Обь стоит на плоту. И речная верста поднялась в высоту.

Стансы («Я не хочу средь юношей тепличных...»)

Список (АМ)

12	Нас разлучили. Как же быть? Пойми:
вм. 28	Лишь бы страна со мною говорила И на плечо вполпальца мне давила, Товарищески ласкова и зла
30	И возмужавшего меня, как очевидца
32	Адмиралтейским лучиком сожгла.
36–37	Я помню всё: германских братьев шеи И что проклятым гребнем Лорелеи

Список и машинопись (АМ), СМ

10	Земного шара первый часовой.[1]

«День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...»

Беловые автографы (АМ)

вм. 1–16	День стоял о пяти головах. Горой пообедав Поезд ужинал лесом. Лез ниткой[2] в сплошное ушко. В раздвое конвойного времени[3] шла черноверхая масса Расширеньем аорты болеющих[4] белых ночей Глаз превращался в хвойное мясо. Трое славных ребят из железных ворот ГПУ Слушали Пушкина. Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов. Как хорошо!

«От сырой простыни говорящая...»

Список (АМ)

9	Было слышно гудение низкое

«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»

ВС

15–16	Могила твоя в скандинавском снегу И Гете манившее лоно.

«Не мучнистой бабочкою белой...»

Ранняя редакция, по письму С. Рудакова от 20 июля 1935 г. (СХ, ГМ Амстердама)

	Город спит, земля отяжелела, Пусть ко мне сейчас же постучат: Что ты видел – нам большое дело, Что ты слышал – знать, чем <ты> богат.

---

[1] Эта редакция относится к строфе, выделенной в самостоятельное ст-ние (см. примеч.).

[2] В беловом автографе, приложенном к письму (см. примеч.): /Лез дальше/.

[3] В беловом автографе, приложенном к письму (см. примеч.): /Ехала конная, пешая/.

[4] В беловом автографе, приложенном к письму (см. примеч.): /качавшихся/.

	На воронежских асфальтах твердых Каждый шаг знаком мне и росток, И мальчишки в черепашьих фордах И ночной мучнистый мотылек. День был жаркий, радио молчало, Выгорали саженцы в пыли... Областная улица не знала, Что по ней еще не все прошли. Сдерживая гордость или горесть, Двум гробам, двум ношам молодым Предоставил медленную скорость Братской тяги – грузовик – двоим. И людской походкой шли в покое На живые опершись станки Обручи краснознаменной хвои – Азбучные крупные венки. Шли товарищи последнего призыва По работе в жестких небесах Пронесла пехота молчаливо Восклицанья ружей на плечах. Продолжайся, начатое дело Превращайся, улица, в страну Мертвых летчиков расплющенное тело Сознает сейчас свою длину. И зенитных тысячи орудий– Карих то зрачков иль голубых – Шли нестройно люди, люди, люди Продолженье зорких тех двоих.

ВС (до правки), список (собр. Е. Мандельштама)

20	Продолженье зорких тех двоих.

«Из-за домов, из-за лесов...»

Список Линецкой, НК, машинопись (АМ)

3	Гуди, помощник и моих трудов,

Рождение улыбки

Редакция 1 (см. примеч.)

2	С прививкою и горечи и сласти
вм. 5–12	И цвет, и вкус пространство потеряло, На лапы задние[1] поднялся материк, Улитка выползла, улыбка просияла, Как два конца их радуга связала. И бьет в глаза один атлантов миг.

Редакция 2 (см. примеч.)

12	Явленья явное в улыбку превращенье.

Редакция 3 (см. примеч.)

12, первонач.	Ягненка гневного разумное явленье.
12, окончат.	Явленья явного чудесное явленье.

Редакция 4 (см. примеч.)

12	Явленья явного в число чудес вселенье, –
после 12	И цвет, и вкус пространство потеряло, Хребтом и аркою поднялся материк, Улитка выползла, улыбка просияла, Как два конца, их радуга связала И в оба глаза бьет атлантов миг.

«Мой щегол, я голову закину...»

Редакция 1 (см. примеч.)

1–4	Детский рот жует свою мякину, Улыбается, жуя, Словно щеголь голову закину И щегла увижу я.
6–7	И нагрудник красным шит,[2] Черно-желтый, – до чего щегол ты,
9–12	Подивлюсь на свет[3] еще немного, На детей и на снега, Но улыбка неподдельна, как дорога, Непослушна, не слуга.

---

[1] В недатированном списке (АМ): /из воды/.

[2] Поправка, посланная в «Звезду» (см. примеч.): /Ниже клюва красным шит/; поправка, посланная Е. Я. Хазину (см. примеч.): /И под клювом красным шит/.

[3] В списке Э. Л. Линецкой: /Подивлюсь на мир/.

Редакция 2 (см. примеч.)

1–4	Детский рот жует свою мякину, Улыбается, жуя. Словно щеголь, голову закину, И щегла увижу я.
9–12	И распрыгался черничной дробью, Мечет ягодками[1] глаз. Я откликнусь своему подобью: Жить щеглу – вот мой указ!

Черновик (РГАЛИ)

9–12, промежут.	И распрыгался в че<рничной> дроби Умных ягод черных глаз Красен снег, легко стоять в сугробе.[2] Жить щеглу: вот мой указ.
10–12, промежут.	В сдобе пуха желт и бел – И распрыгался черничной дробью, Не посмотрит – улетел!
10–12, промежут.	Черн и красен, желт и бел, Видит, смотрит – весь свое подобье Не посмотрит – улетел.

«Внутри горы бездействует кумир...»

Редакция 1 (см. примеч.)

2–3	С улыбкою дитяти в черных сливах И с шеи каплет ожерелий жир,
вм. 9–13	И странно скрещенный, завязанный узлом Стыда и нежности, бесчувствия и кости, Он улыбается своим широким ртом[3] И начинает жить, когда приходят гости.

---

[1] Предшествовало: /бусинками/.

[2] Предшествующий незавершенный набросок:

Я и сам бы выпрыгнул из сдобы
Тела, кожи и костей
Чтоб увидеть красные сугробы

[3] В промежут. редакции, представленной исходным текстом в авторизованном списке с правкой (АМ), этот и предшествующий стих:

Очеловеченной и усыпленной кости,
Он улыбается своим тишайшим ртом

Ст. 2–3 в ней соответствуют основному тексту.

Редакция 2 (см. примеч.)

13	И исцеляет он, но убивает легче.

«Сосновой рощицы закон...»

СП

7	И бросил, сил своих жалея,

«Ночь. Дорога. Сон первичный...»

Список с поправкой (АМ)[1]

1–36	Эта область в темноводье: Хляби хлеба, гроз ведро – Не дворянское угодье – Океанское ядро... Я люблю ее рисунок, Он на Африку похож. Дайте свет – прозрачных лунок На фанере не сочтешь. Анна, Россошь и Гремячье, – Я твержу их имена. Белизна снегов гагачья Из вагонного окна. Я кружил в полях совхозных – Полон воздуха был рот – Солнц подсолнечника грозных Прямо в очи оборот. Въехал ночью в рукавичный, Снегом пышущий Тамбов, Видел Цны – реки обычной Белый, белый, бел-покров. Трудодень страны знакомой Я запомнил навсегда: Воробьевского райкома Не забуду никогда!

[1] Нумерация стихов по списку. Указанные первонач. редакции соответствуют первонач. редакции «списка с правкой» от 24 дек. (см. примеч.).

	Где я? Что со мной дурного? Степь беззимняя гола. Это мачеха Кольцова, Шутишь: родина щегла! Только города немого В гололедицу обзор, Только чайника ночного Сам с собою разговор... В гуще воздуха степного Перекличка поездов Да украинская мова Их растянутых гудков.
1–4, первонач.	Ничего, что темноводье, Ничего, что я продрог И что область хлебороба – Цепи якорной ядро
8, первонач.	Тонких жилок не сочтешь
21, первонач.	Трудный рай земли знакомой
26, первонач.	Кто растет из-за угла?
28, первонач.	Это родина щегла!

«Когда щегол в воздушной сдобе...»

АЧ

2–4, первонач.	Вдруг затрясется, пуховит – Он покраснел и в умной злобе Ученой степенью повит.

«Твой зрачок в небесной корке...»

Список с правкой (АМ)

7, первонач.	Серый, искренне-зеленый –

«Дрожжи мира дорогие...»

Редакция 1 (см. примеч.)

вм. 3–6	Словно вмятины, впервые Певчей полные воды.
вм. 7–12	Подкопытные наперстки Бега кровного следы Раздают не по разверстке На столетья – без слюды.

Редакция 2 (см. примеч.)

вм. 3–6	Словно вмятины, впервые Певчей полные воды. Подкопытные наперстки – Неба синего следы Раздают не по разверстке: На столетья, без слюды...
вм. 7–12	Брызжет в зеркальцах дорога – Утомленные следы Постоят еще немного Без покрова, без слюды. И уже мое родное Отлегло, как будто вкось По нему прошлось другое И на нем отозвалось.

«Слышу, слышу ранний лед...»

Список ранней редакции (АМ)

вм. 5–16	Там уж скоро третий год Тень моя живет меж вами И шумит среди людей,

«Пою, когда гортань сыра, душа – суха...»

Автограф (РГАЛИ)

1	Пою, когда гортань свободна и суха,
5	И грудь стесняется, без музыки тиха,

«Обороняет сон мою донскую сонь...»

Черновик (АМ)[1]

1–12	Уходят вдаль людских голов бугры: Я уменьшаюсь там – меня уж не заметят, Но в книгах ласковых и в играх детворы Воскресну я – сказать, как солнце светит, И в бой меня ведут понятные слова – За оборону жизни – оборону Страны-земли, где смерть утратит все права И будет под стеклом показан штык граненый...[2] Правдивей правды нет, чем искренность бойца: Для чести и любви, для воздуха и стали Есть имя славное простого мудреца – Его мы слышали и мы его застали...

2

Черновой автограф (АМ)

1, первонач.	Грянь, боевой сигнал: не тронь Москвы, не тронь!
4	А по трибунам вверх ковры людского говора
7, первонач.	Страны земли, где сгинет смерть-сова
вм. 9–16	Рассеивается унынья чалый пар[3] Подковой речь звенит, шумит, как речь – листва[4] Да закалит меня той стали сталевар[5] В которой честь и жизнь и воздух человечества.

[1] Приводится исходная запись, нумерация стихов по черновику. Ст-ние зачеркнуто; на листе рукой Мандельштама записана строфа, соответствующая черновому автографу, стихам вм. 9–16.

[2] Завершающая редакция: /И время расцветет, как самоцвет граненый. /.

[3] В наброске черновика – предшествующая редакция: /Дыханья лошадей вдыхаю чалый пар/.

[4] В наброске черновика – предшествующая редакция: /Листва как речь шумит, шумит как речь листва/.

[5] В наброске черновика версия: /Великий Сталин наш – той стали сталевар/.

Стихи о неизвестном солдате

Редакция 1 (см. примеч.)

	Этот воздух пусть будет свидетелем – Безымянная манна его – Сострадательный, темный, владетельный – Океан без души, вещество. Шевелящимися виноградинами Угрожают нам эти миры И висят городами украденными, Золотыми обмолвками, ябедами, Ядовитого холода ягодами Растяжимых созвездий шатры – Золотые созвездий жиры... Аравийское месиво, крошево Начинающих смерть скоростей – Это зренье пророка подошвами Протоптало тропу в пустоте – Доброй ночи! Всего им хорошего В холодеющем Южном Кресте.

Варианты к редакции 1 (см. примеч.)

Строфа 1	Этот воздух пусть будет свидетелем – Дальнобойное сердце его – Яд Вердена всеядный и деятельный – Океан без окна – вещество[1]
Строфа 3 (ст. 12–17)	И не знаешь, откуда берешь его Луч пропавших без вести вестей Аравийское месиво, крошево Начинающих смерть скоростей <.> Недопонято[2] там, недоспрошено, Недокинуто там в сеть сетей
16–17	И своими косыми подошвами Свет стоит на сетчатке моей.
13	Свет размолотых в смерть скоростей
14–17	Миллионы убитых [задешево] подошвами Шелестят по сетчатке моей – Доброй ночи! Всего им хорошего! Это зренье пророка смертей.

Редакция 2 (см. примеч.)

	Этот воздух пусть будет свидетелем <–> Дальнобойное сердце его <–> Яд Вердена – всеядный и деятельный[3] Океан без окна – вещество...
	Миллионы убитых задешево Протоптали тропу в пустоте. Доброй ночи! Всего им хорошего От лица земляных крепостей!
	Шевелящимися виноградинами Угрожают нам эти миры И висят городами украденными, Золотыми обмолвками, ябедами, Ядовитого холода яго дами Растяжимых созвездий шатры – Золотые созвездий жиры...

[1] Предшествующая редакция двух последних стихов:
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.
Промежут. редакция последнего стиха: /Откупив океан боевой/.

[2] Вариант: /Недосказано/.

[3] В редакции 4 (см. примеч.) стих читается: /И в землянках, всеядный и деятельный – /.

	Аравийское месиво, крошево, Свет размолотых в луч скоростей – И своими косыми подошвами Свет стоит на <сетчатке>[1] моей, – Там лежит Ватерлоо – поле новое, Там от битвы народов светло: Свет опальный – луч наполеоновый Треугольным летит журавлем. Глубоко в черномраморной устрице Аустерлица забыт огонек, Смертоносная ласточка шустрится, Вязнет чумный Египта песок.[2] Будут люди холодные, хилые Убивать, холодать, голодать – И в своей знаменитой могиле Неизвестный положен солдат. Неподкупное небо окопное – Небо крупных оптовых смертей – За тобой, от тебя – целокупное Я губами несусь в темноте, – За воронки, за насыпи, осыпи, По которым он медлил и мглил: Развороченных – пасмурный, оспенный И приниженный гений могил.

[1] В автографе зачеркнуто /подошве/ (по-видимому, описка автора), но замена не дана. Текст восстанавливается по предшествующим редакциям.

[2] В НК (редакция 3, см. примеч.) вм. последних 4 стихов:

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб – от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Этим исчерпываются отличия редакции 3 от редакции 2.

Редакция 4 (см. примеч.)[1]

Сквозь эфир, десятично-означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число опрозраченный
Светлой болью и молью нолей:
И за полем полей – поле новое
Треугольным летит журавлем –
Весть летит светопыльной обновою
И от битвы давнишней светло...

Весть летит светопыльной обновою:
– Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не битва народов – я новое –
От меня будет свету светло...
Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб – от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни –
Во весь лоб – от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится –
Чаша чаш и отчизна отчизне –
Звездным рубчиком шитый чепец –
Чепчик счастья – Шекспира отец...

Редакция 5 (см. примеч.)

Этот воздух пусть будет свидетелем –
Дальнобойное сердце его –
И в землянках, всеядный и деятельный
Океан без окна – вещество...

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб – от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

[1] Ниже приводятся отличия от редакции 2 (вм. стихов 20–27 последней). Вместе с разночтением в ст. 3 (см. сноску в редакции 2) текст исчерпывает отличия редакции 4 от редакции 2. Первые 12 строк соответствуют «математическим строфам», или «третьему разделу» у Н. Мандельштам (см. примеч.).

Развивается череп от жизни
Во весь лоб – от виска до виска –
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится – сам себе снится –
Чаша чаш и отчизна <отчизне> –
Звездным рубчиком шитый чепец –
Чепчик счастья – Шекспира отец.

Миллионы убитых задешево
Пр<о>топтали тропу в пустоте
– Доброй ночи – всего им хорошего
От лица земляных крепостей...

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными.
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами –
Растяжимых созвездий шатры –
Золотые убийства жиры.

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей –
И своими косыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей.

Сквозь эфир, десятично означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозраченный
Светлой болью и молью нолей.
И за полем полей – поле новое
Треугольным летит журавлем –
Весть летит светопыльной обновою –
И от битвы давнишней светло.

Необутая, светоголовая,
Удаляющаяся за обзор
Мякоть света бескровно-кленовая
Хочет всем рассказать свой позор.
Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Как бы обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер
И бороться за воздух прожиточный
Эта слава другим не в пример.

И сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Для чего ж заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Если белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчатся в свой дом –
Чуешь, мачеха звездного табора – ночь,
Что будет сейчас и потом?

Напрягаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком <:>
Я рожден в девяносто четвертом...
Я рожден в девяносто втором...
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья – с гурьбой и гуртом –
Я шепчу обескровленным ртом:
Я рожден в ночь с второго на третье
Января – в девяносто одном
Ненадежном году – в то столетье <,>
От которого тёмно и днем.

	Но окончилась та перекличка И пропала, как весть без вестей, И по выбору совести личной <,> По указу великих смертей <,> Я – дичок <,> испугавшийся света, Становлюсь рядовым той страны, У которой попросят совета Все кто жить и воскреснуть должны <.> И союза ее гражданином Становлюсь на призыв и учет И вселенной ее семьянином Всяк живущий меня назовет... Будут люди холодные, хилые Убивать, голодать, холодать, И в своей знаменитой могиле Неизвестный положен солдат. Неподкупное небо окопное, – Небо крупных оптовых смертей – За тобой, от тебя<,> целокупное Я губами несусь в темноте, – За воронки, за насыпи, осыпи, По которым он медлил и мглил – Развороченных – пасмурный, оспенный И приниженный гений могил...

«Заблудился я в небе – что делать?..»

Черновой автограф (АМ)

1–4[1]	Одногулое небо виднее Как недугом я полн им в судьбе Но оно западня: в нем труднее Задыхаться, чернеть, голубеть.

[1] Эта строфа – без определенного места отнесения, местоположение устанавливается по совпадению ст. 4 и заключительного стиха следующего ст-ния.

11	Лучше сердце мое разорвите
13	И когда я усну, отслуживши
15, окончат.	Он раздастся и глубже, и выше
16, первонач.	Отклик неба, забыв мою грудь
16, промежут.	В отклик неба включив[1] мою грудь
16, промежут.	Отклик неба в остывшую грудь
16, окончат.	<не завершен>

Рим

Машинопись (АМ)

11–12	Вы не только его онелепили Барабанным наростом домов –

«О, как же я хочу...»

Редакция А (см. примеч.)

9–12	Он только тем и луч, Он только тем и свет Что шепотом могуч И лепетом согрет.

Редакция Б (см. примеч.)

9– 12	Он только тем хорош, Он только тем и мил, Что будит к танцу дрожь – Румянец звездных сил.

«Клейкой клятвой липнут почки...»

Черновой автограф (АМ)

1	Клейкой клятвой пахнут почки
5, первонач.	[Отче наш][2] шепнула внятно
9–10, первонач.	И далёко от покоя Очи вместе мчатся:
15, первонач.	Как в лесу иль в черной книге
26, первонач.	Слыхано едва ли

[1] Версия этого слова: /всосав/.

[2] Квадратные скобки – в источнике текста.

«Пароходик с петухами»
Копия Рудакова (ИРЛИ)

9–10, вариант	И полуторное звуков море К небу припаяв
12, вариант	В силу, в славу, в явь

«Бесшумное веретено...».
Автограф (АМ)

9	Всё дышит жизнию одною;

«Если утро зимнее темно...»
Автограф (АМ)[1]

3, промежут.	Выглядит, как узкое пано.
3, окончат.	Выглядит, как строгое пано.

«Что музыка нежных...»
Автограф (РГБ)

12, первонач.	Его трепетаний?

«На темном небе, как узор...»
Второй автограф (РГБ)

3	Но выше и всё выше ты
5	Божница неба заперта. –

«Единственной отрадой...»
Автограф (собр. Е. Г. Эткинда)[2]

11	Как лиственницы влажно-

«Когда укор колоколов...»
Автограф (РНБ)

1, первонач.	Когда полынь колоколов
6–8, первонач.	Вином, и крепче, и тяжеле, Поглощены остатки хмеля, Который мною сбережен.

[1] Первонач. редакция стиха соответствует основному тексту.
[2] Текст дается по БП, с. 206.

«Вечер нежный. Сумрак важный...»

Автограф (РНБ)

6, версия	Мы внезапно охмелели,

«Убиты медью вечерней...»

Список (РНБ)

15	И парус плоти бездомный

Змей

Автограф (АМ)

15	Качается, и стан свой опояшет,

«В изголовьи черное распятье...»

Список (РНБ)

14	В неизвестный край меня влечет,

«Я знаю, что обман в видении немыслим...»

Автограф с правкой (АМ)

13–14, первонач.	Юдольной жизнию не дорожи, художник, Росою бытия печаль свою считай;
14, версия	Несуществующим печаль свою отдай;

«Стрекозы быстрыми кругами...»

Машинопись (АМ)

между строфами 2 и 3	Как будто хрупких тел томленье И глянец тусклых вод – мое До боли острое мгновенье И неживое бытие.[1]
10, первонач.	Вдруг оживаю весь в глуши –

[1] Строфа зачеркнута.

«Ты прошла сквозь облако тумана...»

Автографы с правкой (АМ)[1]

1	Ты прошла царицею тумана –
3–4	И, вздыхая, лист, как гость недужный, Прочь спешит покинуть пир ненужный.
11	Как закрыта тканями тумана

«Не спрашивай: ты знаешь...»

Автограф (АМ)

11–12, первонач.	Кто чужд их дикой власти – Себе принадлежит.
11–12, промежут.	Неизъяснимой власти Таинственный магнит!

«Дождик ласковый, мелкий и тонкий...»

Автограф А (см. примеч.)

5–8, первонач.	То утешены счастием скромным, Что упасть на стекло довелось Так – подхвачены нежно-огромным Мраком – струи отпрянули вкось.
5–8, окончат.	Я рожден провидением темным, Чтоб созреть и упасть, как-нибудь; Так, подхвачены нежно-огромным Ветром – струи и брошены в путь.

Автограф Б (см. примеч.)[2]

вм. 1–16	Я рожден провидением темным, Чтоб созреть и упасть, как-нибудь; И, подхваченный нежно-огромным Ветром, не думай, забудь. Я – ребенок, покинутый в зыбке В терпком мире я горестно-дик, И сольются в бездушной улыбке Вся жестокость, вся кротость, на миг.

[1] Приводятся выборочно первонач. и промежут. редакции автографов.

[2] Приводится промежут. редакция автографа.

«В лазури месяц новый...»

ККабл

3	Пробуют подковы
строфа 4	<отсутствует>

«Рабочая газета»

13–16	Круглое братство Он для всех кует. Легкий месяц, здравствуй! Здравствуй, Новый Год!

«Пусть в душной комнате, где клочья серой ваты

ККабл

5	И лихорадочный больной, тоской объятый

Шарманка

Автограф ранней редакции (АМ)

1–4	Когда шарманщика терпенье Чудовищно, и, сквозь плетень, Мелькает ящик – наважденье Осеннюю тревожит сень.
8, первонач.	Туманным образом одень!
9–11, окончат.	Тебе я посвящаю день, Безрадостное вдохновенье, Туман и без огня кремень.
12	Я бы приветствовал ремень

Мадригал («Нет, не поднять волшебного фрегата...»)

ККабл

1–4	Мне гашиша́ безумного не надо И бесполезен музыки наркоз, Когда.. ....[1]
12	Сухим и черным воздухом земли.

Футбол («Рассеен утренник тяжелый...»)

Черновой автограф (СИ)

19–20, первонач.	А дядька вечером сердито Мундир утюжит на столе.
19, окончат.	Мундир обрызган, шапка сбита,
строфа без определенного места отнесения	Глухая битва закипает: На месте топчутся, и вот Один мячом завладевает И как герой в толпе живет.

Футбол («Телохранитель был отравлен...»)

«Новый Сатирикон»

16	Юдифь глумилась и враги.

Черновой автограф (СИ)

13, первонач.	С улыбкой тонко-лицемерной
16, первонач.	Юдифь глумилась и враги.
16, промежут.	Юдифь глумилась...
13–16, окончат.	Над головою Олоферна Не так ли кончиком ноги Глумилась долго, лицемерно Юдифь...

[1] Отточия – в источнике текста. В ККабл основной текст ст. 1–2 указан как вариант.

Реймс и Кёльн

Автограф (АЛ)

перед ст. 1	Шатались башни, колокол звучал Друг горожан, окрестностей отрада Епископ все молитвы прочитал – И рухнула священная громада. Здесь нужен Роланд, чтоб трубить из рога, Пока не разорвется Олифан. Нельзя судить бессмысленный таран, – Или германцев, позабывших бога.

«Негодованье старческой кифары...»

«Борьба»

1	У моря ропот старческой кифары...

«О, этот воздух, смутой пьяный...»

Черновой автограф (АМ)

1–8, первонач.	О государстве слишком раннем Еще печалится земля Мы в черной очереди станем На черной площади кремля. Всё шире праздник безъязыкий Иль вор на колокольню влез Ему сродни разбоя крики И перекладин черный лес.
16–19, первонач.	И мнится, заворкует вдруг – Архангельский – чье имя пенье И Воскресенский – тронь, ладонь! И всюду скрытое горенье
2, версия	И жалобы точи́т земля
6, версия	Они разбойничий правеж[1]

[1] На верхнем поле записан рифмующий стих: /Люблю Москву и воздух свеж/.

1–8, окончат.	Как пахнут тополя – мы пьяны Когда качается земля Не ради смуты мы смутьяны На черной площади Кремля. Соборов восковые лики Спят; и разбойничать привык Без голоса Иван великий Как виселица прям и дик.
17–18, окончат.	Архангельский – собор-виденье, Успенский – если хочешь, тронь

ККабл

5–7	Без голоса Иван Великий – Колоколов дремучий лес Спит, и разбойник безъязыкий

Автограф (ЦГИА СПб)

6–7	Колоколов дремучий лес Спит – и разбойник безъязыкий

«Кто знает, может быть, не хватит мне свечи...»
ККабл

1–2	Когда сгустится мрак над венчиком свечи, Среди левитов тьмы останусь я в ночи.

«Люблю под сводами седыя тишины...»
Т

1–5	Исакий под фатой молочной белизны Стоит седою голубятней, И посох бередит седыя тишины И чин воздушный сердцу внятный. Столетних панихид блуждающий призрáк

А небо будущим беременно

Список Н. Я. Мандельштам (ИМЛИ)

после 12	И он теперь выводит набело И первые кремня осечки

Автограф (АМ)

33	На круговом, на грозном судьбище

«Мир начинался страшен и велик...»

Авторизованный список (АМ)

5, первонач.	Как пепел, замурованный в стене
6–7	Привет тебе, скрепитель добровольный Трудящихся. Твой каменноугольный

Комментарии

Поэтическому наследию Осипа Эмильевича Мандельштама, по контрасту с личной, была приуготована счастливая судьба. После его ареста семейный архив был спасен Н. Я. Мандельштам, посвятившей остаток жизни его сохранению. Изготовленные ею после смерти Сталина списки стихов 1930-х гг. попали в среду тогда формировавшегося нового поколения читателей, и в нем эта неподвластная времени поэтическая стихия получила новую жизнь. Несколько позднее рядом с вдовой поэта образовался круг филологов, занимавшихся исследованиями мандельштамовских текстов; здесь упомянем лишь Александра Анатольевича Морозова, крупнейшего знатока биографии и творчества поэта, без консультации с которым не обошелся ни один из издателей Мандельштама последних лет, и Ирину Михайловну Семенко, о вкладе которой в мандельштамовскую текстологию еще будет сказано ниже. В конце 1950-х гг. Н. И. Харджиев, давний и близкий знакомый Мандельштамов, начал подготовку тома его стихов в «Библиотеке поэта». Уже на этом этапе мандельштамовская текстология становится предметом острых дискуссий, усиливавшихся по мере выхода очередных изданий. Они отразились в книгах Н. Я. Мандельштам, да и, пожалуй, были одними из существенных стимулов к их созданию. Одновременно выясняется значение других редакций и вариантов, которые в поэтике Мандельштама занимают особое место. Параллельно велись архивные и источниковедческие штудии, заложившие фундамент для последующих изданий – усилиями главным образом Л. Черткова, А. Морозова, К. Азадовского, Г. Суперфина, Р. Тименчика.

Исследование поэтики Мандельштама началось в 1910-е годы статьей В. Жирмунского «Преодолевшие символизм» (Рус. мысль. 1916. № 12). В 1920-е гг. элементы его поэтики исследовались Ю. Тыняновым («Промежуток») и в специальной работе, поныне не утратившей значения, Б. Бухштабом[1]. Затем, после почти полувекового перерыва, исследования возобновились в 1960-е гг. Основополагающими на этом этапе явились труды К. Ф. Тарановского по исследованию подтекстов, вскоре нашедшие последователей как в СССР (Р. Тименчик, Г. Левинтон, Ю. Левин, Т. Цивьян, Д. Сегал, В. Топоров), так и на Западе (С. Бройд, К. Браун, О. Ронен). Отметим также исследования 1960-х гг. Л. Гинзбург и А. Македонова, писавшиеся в качестве вступительных статей к тому «Библиотеки поэта», но увидевшие свет лишь через много лет после их завершения.

Коснемся, в самых общих чертах, подготовки текстов в посмертных изданиях. Тома «Собрания сочинений», выходившие в США в 1955–1981 гг., благодаря настойчивости редакторов Г. Струве и Б. Филиппова, использовавших все возможности для совершенствования, стали в последних выпусках удовлетворительными по состоянию текстов и дали читателю наиболее полный их свод. Однако, по условиям своего времени, издание не было критическим и собственно текстологических задач не ставило. Первое научное издание вышло в «Библиотеке поэта» в 1973 г. (подготовлено Н. Харджиевым). Для своего времени оно было высоким по уровню: здесь был установлен хронологический принцип композиции в книгах поэта, тщательно разработана библиография и, в большинстве, определены основные редакции текстов. Главный недостаток – неполнота и изъяны в редакциях текстов – был обусловлен продолжавшими действовать цензурными условиями. «Воронежские тетради» (1980) были подготовлены В. Швейцер по архиву, но, к сожалению, книга вышла без примечаний, и судить о мотивах выбора текстов в ней невозможно. Новый этап открылся с выходом книги И. Семенко «Поэтика позднего Мандельштама» (1986). В ней были сформулированы и, по большей части, решены наибо-

[1] Это основательное для своего времени исследование (1929) долго оставалось в рукописи и было опубликовано только в наше время: Бухштаб Б. Я. Поэзия Мандельштама // Вопр. лит. 1989. № 1. Бухштаб был учеником Б. М. Эйхенбаума; в Институте истории искусств вел семинар по поэтике Мандельштама и Пастернака; среди участников семинара были упоминающиеся в комментариях наст. изд. С. Б. Рудаков и Э. Л. Линецкая.

лее сложные вопросы: прочитаны самые трудные черновики, реконструирован ряд ранних редакций, исправлены ошибки предшествующих изданий[1]. В частности, ею описана индивидуальная манера работы в черновиках, дифференцированы сводные записи наличного текста и др. В 1990 г. вышли «Сочинения» (в 2-х томах), подготовленные П. Нерлером, где было использовано большое количество новых архивных источников[2]. Он же с соавторами подготовил «Собрание сочинений» в 4-х томах (1993–1997). Новые архивные материалы и текстологические решения представлены в вышедшем в 1990 г. издании «Камня» (серия «Литературные памятники») и «Полном собрании стихотворений» в серии «Новая библиотека поэта» (на основе этого издания подготовлен настоящий том «Собрания сочинений»).

2

Стихотворения Мандельштама разделены временем «поэтической немоты», совпавшим с одним из изменений политического климата в стране (1925–1930), на два больших периода. Каждый из них имеет свои текстологические особенности. Первый (1908–1925) представлен многочисленными

---

[1] Ряд разделов, такие, как «За гремучую доблесть грядущих веков...» или «Мандельштам в работе над переводами сонетов Петрарки», подготовлены, насколько мы можем судить, безупречно. Для тех, кто обращается к архиву Мандельштама, понятно, сколь огромен труд прочтения этих беглых многослойных (зачастую карандашных, с угасающим текстом) записей. Лишь в отдельных случаях в ее чтения приходится вносить коррективы; один раздел – «Стихи Андрею Белому» – в свете новых данных должен быть признан утратившим значение.

[2] С сожалением приходится писать о том, что изданию сильно повредила небрежная подготовка. Немалое число текстов напечатано с дефектами: выпали или механически искажены отдельные стихи, подчас велики несоответствия между ними и данными примечаний. Так, заявлено, что «Немецкая каска» печатается по газете «Биржевые ведомости», на деле – помещен значительно отличающийся текст из воспоминаний И. Одоевцевой; даже такого рода примеры не единичны. В четырехтомном собрании сочинений (1993–1997) проза печаталась в значительном числе случаев не по первоисточникам, а по посмертным публикациям (в том числе «Разговор о Данте»), и, кроме того, не содержит комментария ко многим текстам: в издании оговорено, что отсутствующий комментарий к ним следует искать в 2-томном (1990) Собрании сочинений, к которому предлагается обращаться.

публикациями, шестью авторскими сборниками, в том числе итоговым – «Стихотворения» (1928), и большим архивным материалом. Второй (1930–1937) – в основном рукописным наследием. Текстологическая характеристика первого периода дана в главке 3 настоящей преамбулы, второго – раздельно по «книгам»[1] – в соответствующих преамбулах к ним; здесь остановимся только на общем для всего тома.

Композиция авторских книг, насколько это удается выяснить сопоставлением авторских сборников и наборных рукописей, тяготеет к чисто хронологическому ряду, однако в сборниках, а также и в рукописных сводах 1930-х гг. он не был выдержан последовательно. Отчасти в этом обнаруживаются причины творческого порядка, отчасти – случайные: в поисках даты поэт не всегда обращался (или не имел возможности обратиться) к своему архиву, иногда не мог ее установить из-за утраты архивных источников. Поэтому в отдельных случаях, когда удавалось уточнить время написания стихотворений прямыми или косвенными сведениями, в композицию вносились соответствующие изменения. Исключение составляют подборки: «Армения», «Восьмистишия», «Из Петрарки».

Даты под стихотворениями 1908–1925 гг., согласно прижизненным изданиям, неполные (только год), под стихотворениями 1930–1937 гг., согласно рукописным сводам, – полные (насколько их удается установить). В тех случаях, когда даты стихотворений устанавливаются по письмам, к которым они были приложены, они указываются в угловых скобках.

Пунктуация в стихотворениях приближена к современным нормам. В ряде случаев, без специальных оговорок в примечаниях, восстановлена пунктуация автографов или первых публикаций.

Раздел «Другие редакции». При определении полного текста каждой редакции необходимо учитывать следующее:

1. Если указываются чтения при номерах строк без других оговорок, то их нужно сопоставлять с основным (т. е. напечатанным в настоящем издании) текстом. При этом если при номере строки имеется помета «первоначально», а данные об «окончательной» редакции источника не приводятся, то это

---

[1] В понимании Мандельштама «книга» – высшее творческое единство стихотворений, этап творчества (*48*, с. 179). «Книгам» соответствуют разделы настоящего издания.

означает, что последняя соответствует основному тексту (и наоборот). Помета «вариант» при номере стиха означает, что он дан наряду с основным текстом.

2. Если вначале приводится одна из редакций источника (первоначальная, промежуточная или окончательная) с собственной нумерацией строк, то приводимые после нее разночтения нужно соотносить с нею, а не с основным текстом, но правила соотнесения те же. Более сложные случаи разъясняются в подстрочных сносках.

В текстах этого раздела сохраняется пунктуация источников (при нескольких источниках – одного из них).

В квадратных скобках указывается зачеркнутый текст (в оговоренных случаях квадратные скобки имелись в источнике текста). В угловых скобках вводятся конъектуры, означаются пробелы (другие случаи оговариваются в сносках).

Особым явлением в поэзии Мандельштама являются «двойчатки» и «тройчатки» – равноправные редакции, содержащие общие строфы (см.: *24*, с. 186–189). С ними связаны возникающие подчас затруднения – следует ту или иную редакцию отразить в разделе «Другие редакции» или в разделе «Стихотворения, не вошедшие в основное собрание». В последний из такого рода редакций нами включены стихотворения «Когда держался Рим в союзе с естеством...» и «Когда ты уходишь и тело лишится души...».

Текстологический комментарий начинается со справки, отмечающей этапы изменения текста в печати (через точку и тире), вплоть до источника, дающего основной текст или последнюю авторизованную печатную редакцию. В этом ряду мы стремились, насколько это возможно, установить движение авторской воли, а эта временнáя последовательность не всегда совпадает с хронологической последовательностью выхода из печати книг и периодических изданий. Так, наиболее ранние редакции некоторых стихотворений конца 1910-х гг. отражены в Т, собранной в конце 1920 – начале 1921 г. (в дальнейшем автор не принимал участия в издании книги), а в их первых публикациях 1921–1922 гг. наличествует следующий этап изменения текста. В некоторых случаях приходится учитывать (в том же плане) и разницу в сроках редподготовки периодических изданий (особенно альманахов). Поэтому в указанной справке первый источник не всегда является первой публикацией,

и она в таких случаях оговаривается особо.[1] В справке об изменении текста нами не учитывались заглавия – относительно автономный и менее связанный собственно с текстом элемент, их изменения также оговариваются отдельно. Перепечатки в комментариях, как правило, не указываются.[2]

Если первая публикация осуществлялась посмертно, то разночтения с основным текстом для нее не указываются. Не указываются также посмертные издания, в которых впервые был точно приведен основной текст.

В текстологической справке отмечаются все автографы и авторизованные списки, другие источники, если они не содержат разночтений, указываются выборочно. Даты при описании источников раскрываются только в тех случаях, когда они отличаются (большей полнотой) от стоящей под текстом настоящего издания. В некоторых случаях, когда расхождения в датах источников не удается объяснить (например, «декабрь 1920» и «ноябрь 1920»), они не комментируются. Как правило, не раскрываются пометы при датах («Москва», «Петербург», «Воронеж», «Зоологический музей»), так как сведения о месте и обстоятельствах создания стихотворения включены в комментарий. Помимо данной преамбулы, суммарная текстологическая характеристика источников, описок и помет в рукописных сводах и т. п. дается также в преамбулах к соответствующим разделам. Цитаты в текстологической части комментария, печатаемые вподборку с другим текстом, помещаются между одинарными косыми штрихами (/).

Термины. Нами принят термин «основной текст» (синонимы: «сводный», «канонический», «дефинитивный», «аутентичный», «окончательный» текст), применявшийся Б. В. Томашевским и Б. М. Эйхенбаумом. При характеристике архивных

---

[1] Схематическая подача справки изменения редакций не может отразить всей сложности возникающих вопросов; не все они и могут быть разрешены в настоящее время. Известно, например, что разночтения в периодических изданиях иногда появляются в связи с изготовлением текста для них наскоро, по памяти; в других случаях автор печатает оставленную редакцию потому, что основной текст был помещен в недавно вышедшей книге и не мог воспроизводиться из этики. Прямые доказательства, особенно для последних случаев, вряд ли могут быть получены, но иметь в виду эти обстоятельства следует.

[2] Те из них, которые содержат разночтения, означены в соответствующих местах раздела «Другие редакции». Прочие читатель может установить по библиографиям в кн.: Русские советские писатели. Поэты. М., 1990. Т. 13; Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома. 1993. СПб., 1997. С. 239–370.

источников, кроме общеупотребительных, применяются также термины: «черновик» – для текста, записанного рукой Н. Мандельштам (или другого лица) с последующей авторской правкой; «запись» – для текстов, записанных или под диктовку, или по памяти. Для характеристики стадий становления текста в одном источнике применяются термины «первоначальная», «промежуточная», «окончательная» («завершающая») редакции. «Вариант» – та редакция, которая на протяжении некоторого времени сосуществует с другой, позднее предпочтенной; «версия» – текст, возникший и отброшенный на одном этапе работы в черновике (как правило, относится к словам, словосочетаниям или рифмовым словам в одном-двух стихах).

Ссылки на государственные архивные фонды приводятся в сокращенном виде. Характеристику источников (списки, автографы), если она не дана в комментарии, следует искать в преамбуле к соответствующему разделу. Ссылки на литературу организованы, в большинстве случаев, с помощью «Списка цитированных источников». Без ссылок на источник цитируются: дневник С. П. Каблукова – по изд.: Мандельштам О. Камень. Л., 1990. С. 241–258 (Лит. памятники); письма С. Б. Рудакова к жене – по изд.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год: Материалы об О. Э. Мандельштаме. СПб., 1997.

Цитаты текстов О. Э. Мандельштама приводятся по настоящему изданию, как правило, без указания на том и страницу. Стихотворения цитируются по первому тому с указанием названия и даты; проза – по второму и третьему томам с указанием названия; письма – по третьему тому с указанием адресата, даты или номера письма.

В комментарии приняты **сокращения**: О. Э. Мандельштам – М.; Н. Я. Мандельштам – Н. М.

Выход в свет настоящего Собрания сочинений оказался бы невозможным без щедрой помощи коллег. В организационный период решающий вклад внесли М. Вахтель (M. Wachtel), Г. Г. Суперфин, Л. С. Флейшман, Г. А. Левинтон, Л. Г. Степанова, В. Познер (V. Pozner), А. В. Лавров. Всемерную поддержку оказали Н. Т. Ашимбаева, М. А. Балцвиник, А. О. Большаков, М. Л. Гаспаров, С. Голдберг (S. Goldberg), Н. В. Гордина, А. Ю. Дзевановская, Л. Н. Иванова, Н. Г. Князева, Н. И. Крайнева, Т. И. Краснобородько, Е. Ю. Литвин, Е. И. Лубянникова, М. Б. Мартиросова, Е. Б. Пастернак, Е. В. Пастернак, Н. Л. Поболь, Н. А. Рогинская, В. М. Сергеев, Р. Д. Тименчик, Б. Хелман (B. Hellman). Существенный вклад

внесли владельцы частных собраний и семейных архивов А. Ж. Аренс, А. П. Бабенышев, С. И. Богатырева, М. Б. Горнунг, Е. П. Зенкевич, Э. Л. Линецкая, А. А. Мандельштам, Б. И. Маршак, И. В. Платонова-Лозинская; сотрудники ИРЛИ, РНБ, ИМЛИ, РГАЛИ, Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Библиотеки Принстонского университета. Всем им приношу глубокую благодарность.

За разрешение использовать в настоящем издании источники из фонда Мандельштама (CO 539) Библиотеки Принстонского университета (обладающего, по завещанию Н. Я. Мандельштам, правом copyright) благодарю куратора Отдела рукописей д-ра Дона С. Скемера.

На подготовку двух первых томов был получен грант Американского Совета научных сообществ (ACHC).

3. Текстологическая характеристика стихотворений 1908–1925 гг.

В основу подготовки стихотворений 1908–1925 гг. положен последний прижизненный сборник «Стихотворения» (1928), где проведено деление на «книги». В основном по этому сборнику определен состав книг «Tristia» и «1921–1925». В основу книги «Камень» положено издание 1916 г. (К2), дополненное стихотворениями 1908–1915 гг., входившими в последующие сборники.

Композиция и даты. Становление принципа композиции прослеживается по шести авторским сборникам; уже в К2 она приобретает почти строго хронологический характер. Такова тенденция, но последовательно она не могла осуществиться, так как в ряде случаев поэт ставил даты под стихами по памяти и располагал их внутри года (в сборниках – неполная дата, только год) также по памяти; однако, если дата уточнялась, он изменял и местоположение ст-ния[1]. Характерен пример: при расклейке экземпляра К3 во время подготовки С поэт меняет место ст-ния «Когда удар с ударами встречается...», которое

[1] Для «Камня» нами было проведено специальное исследование (57); дополнительные сведения приведены в К-1990, с. 281. Композиция Т и, по-видимому, К3 – не авторские. Отступления от хронологии в ВК (главным образом в стихах 1916 г.), как представляется, также носят случайный характер. Особенно сложно обстоит дело со стихами, написанными на стыке 1913 и 1914, 1917 и 1918 гг., и в некоторых других группах стихотворений, написанных в течение небольшого промежутка времени; их последовательность приходится определять предположительно.

попало «не в свой год»; чем ближе ко времени издания сборника, тем точнее хронологический ряд. Искажения возникали и вследствие причин технического характера при работе с наборной рукописью (ИРЛИ. Ф. 124), в которую не менее чем дважды вносились дополнения; одно из стихотворений было перенесено для того, чтобы обойти требования цензуры (см. ниже). Хронологическую подчиненность обнаруживают и рамки книг, которые в С получают окончательно свои временны́е границы и названия: 1908–1915 гг. для «Камня», 1916–1920 гг. для «Tristia», а 1921–1925 гг. переходят в заглавие соответствующей «книги».

Во время ссылки в Воронеже поэт вносил поправки в экземпляры «Стихотворений». За этот период мы учитываем в основном тексте только поправки стилистического характера.

При определении состава книг и редакций текстов стихотворений 1908–1925 гг. возникают проблемы, связанные с разграничением творческой работы и области влияния цензуры. После Октября цензура последовательно и жестко проводила линию борьбы с «контрреволюцией» и «религиозной пропагандой», выявляя и трактуя их «замаскированные формы», однако в сферу ее наблюдения входили и другие вопросы, национальных отношений в частности. Время от времени смягчалась степень жесткости проводимых требований, например в КЗ оказалось возможным посвящение Н. Гумилеву («Петербургские строфы»), а в ВК – провести редакцию «Пусть заговорщики торопятся по снегу» («Кому зима – арак и пунш голубоглазый...»); в середине 1920-х гг. с Горлитом, как показывают дневники К. И. Чуковского, еще можно было вести спор за какие-то позиции и что-то отвоевывать; в С явлением компромисса с цензурными инстанциями были купюры (а не полное исключение), например в стихотворении «Прославим, братья, сумерки свободы...». Наконец, следует отметить уже известный факт – первой ступенью цензуры был редактор, который, будучи хорошо знаком с подходом цензоров, стремился учесть этот подход еще до того, как рукопись поступит в Горлит. В основном история отношения цензуры к стихам Мандельштама выглядит следующим образом. Два стихотворения были исключены из харьковского журнала «Грядущий мир» в 1921 г. (см. примеч. «Умывался ночью на дворе...»). Невозможным в Петрограде оказалось печатание книги «Tristia» (см. преамбулу к ней). Из ВК, по свидетельству Н. Мандельштам, цензура исключила стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова...» (*49*, с. 54). Лучше всего известна, как по издательским

материалам, так и по воспоминаниям современников, область цензурных вмешательств в С. Стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова...» было в нем поставлено (без даты) между стихами 1916 г. (в стихи дооктябрьских лет), исключены стихотворения «Царское Село» и «Сыновья Аймона», снято посвящение Гумилеву[1], купированы строки в стихотворениях «– Как этих покрывал и этого убора...» и «Прославим, братья, сумерки свободы...»[2]. Особый случай представляет собой печатная история «Сыновей Аймона». Согласно Н. Мандельштам, этот перевод имел для поэта некое мировоззренческое значение (*49*, с. 101): поместив стихотворение в КЗ, поэт добивался его включения и в следующие сборники. Прежде всего упомянем о том, что получили документальное подтверждение свидетельства Н. Мандельштам об исключении его из сборников цензурой. Первый эпизод она относит к истории печатания ВК (*49*, с. 101), и действительно, как показывают архивные источники ИМЛИ, текст «Сыновей Аймона» был вычеркнут в гранках. Цензурных помет на нем нет – в отличие от наборной рукописи «Стихотворений» (РНБ), которая на тексте «Сыновей Аймона» содержит пометы цензурного характера. В находящемся в том же архиве листе корректуры текст значительно сокращен, а заглавие заменено на /Подражание старофранцузскому/. В чем же причина столь придирчивого отношения цензуры к стихотворению, не содержащему, как кажется, в сюжете или

---

[1] По-видимому, из-за этого поэт снял и заглавие стихотворения «Ахматова». С посвящениями М. Лозинскому («Пешеход») и Г. Иванову («Царское Село») дело обстоит несколько сложнее. Посвящения Лозинскому нет и в КЗ, однако в редакционной подготовке этой книги, судя по пометам в авторском экземпляре (книжные фонды ГЛМ), поэт, вероятно, не принимал участия, во всяком случае на последних этапах. Еще сложнее положение с посвящением Г. Иванову, который в эти годы печатал в эмиграции гротескные очерки о своих петербургских друзьях; тем не менее «Царское Село» Мандельштам хотел включить в сборник.

[2] Наряду с этим отдельные строки в некоторых стихотворениях («Мы напряженного молчанья не выносим...», «Ода Бетховену») были заменены отточиями из-за того, что они «не сложились» и автор не нашел им замены. По воспоминаниям И. С. Поступальского, об этого рода купюрах поэт отозвался так: «ничего страшного нет в отрывочности моих стихов. “От многих древних поэтов остались одни фрагменты”» (*73*, с. 562). Попутно упомянем об индивидуальной манере оставлять отточия на месте отброшенных строф – они, вероятно, отразили колебания поэта и служили ему памятными значками при переизданиях. Такова природа отточий в предшествующих С сборниках: в стихотворениях «Петербургские строфы», «Tristia» и некоторых других; эти отточия, как и почти всюду в С, мы не сохраняем.

религиозной лексике более того, чем в других стихах книги? Нам представляется, что здесь имел значение тот факт, что оно было заявлено как перевод, к переводам же предъявлялись повышенные требования уже на стадии отбора текстов, а проводились они более жестко. К авторским произведениям считалось необходимым подходить бережнее, чтобы не создавалось впечатления о стеснении свободы творчества; на переводы эти мерки не распространялись – напротив, их выбор должен был иметь желательную «идеологическую нагрузку». Интенция создать иллюзию вольного отношения при переводе этого текста в сносках и подзаголовках, возникающих и меняющихся в ходе редакционной подготовки, диктовалась, очевидно, именно этими обстоятельствами. Очень вероятно, что эта ситуация возникла еще при подготовке первой публикации в журнале «Россия». Стиль перевода, сохраняющий архаический стиль оригинала и совершенно лишенный присущей Мандельштаму метафоричности[1], должен был выглядеть недостатком в глазах редактора; для него должны были иметь значение и ряд неясных, требующих комментария выражений – такого, как «дворец большой руки», например. Не исключено, что эти обстоятельства повлияли и на переделку трех первых строк перевода.

КАМЕНЬ

Замысел книги относится к началу 1912 г., времени активного участия М. в Цехе поэтов. О ходе ее подготовки сведений не сохранилось, известно лишь по анонсам в изданиях Цеха поэтов и журн. «Гиперборей» первоначально предполагавшееся название – «Раковина», повторявшее загл. одного из стихотворений. По сообщению Р. Тименчика, осуществившееся название книге дал Н. Гумилев (Памятные книжные даты. М., 1988. С. 186). Автор включил в нее лишь 23 стихотворения; о причине Н. Гумилев в своей рец. писал так: «поэт сравнительно недавно перешел из символического лагеря в акмеистический и отнесся с усугубленной строгостью к своим прежним стихам» (А. 1914. № 1/2. С. 126. Эту и следующие цитированные рец. см.: К-1990, с. 213–240).

Вышел «Камень» в конце марта 1913 г. под грифом изд-ва «Акмэ». В дарственной надписи Анне Ахматовой 12 апр. 1913 г.

[1] Ср. в рец.: «совсем мертвые узоры, только по виду сделанные под французскую легенду, и следа нет той лирической нагруженности, которая так свойственна Мандельштаму, печальнику отошедшей художественной культуры» (Горн. 1923. № 8. С. 222. Подписано: Сибиряк).

о стихах книги сказано: «вспышки сознания в беспамятстве дней»[1]. Рец. последовали почти исключительно от соратников-акмеистов. В. Нарбут выделил ритмическое дарование автора, «включение в... поэтический словарь живой повседневной речи» и «тонкую наблюдательность» (Новый журн. для всех. 1913. № 4. Стб. 176). С. Городецкий подметил одно из существенных свойств поэзии М.: «выявление переживаний откровенно, в хорошем смысле этого слова, и честно, чем особенно отличается новейшая поэзия: Мандельштам не прикрашивает и не преувеличивает своего опыта» (Речь. 1913. 17 июня). В. Пяст отметил появление книги среди «литературных событий» года (Отклики: Прил. к газ. «День». 1914. № 1. С. 3). Второе издание было начато подготовкой в первые месяцы 1914 г. в изд-ве М. В. Аверьянова. В его фонде (ИРЛИ) сохранился (не полностью) корпус автографов, дополнявших К1 до состава нового издания. По неустановленным причинам М. прервал сотрудничество с Аверьяновым и выпустил книгу на собственные средства, под грифом изд-ва «Гиперборей», которым руководили его друзья М. Лозинский и Н. Гумилев[2]. По записи С. Каблукова в дневнике от 30 дек. 1915 г., два стихотворения – «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «Императорский виссон...» – были запрещены военной цензурой. Книга получила большое число откликов. Гумилев, выделив символистический и акмеистический периоды в ней, писал о «полной самостоятельности стихов Мандельштама: редко встречаешь такую полную свободу от каких-нибудь посторонних влияний» (А. 1916. № 1. С. 30). Ему вторил Г. Гершенкройн: «В поэзии современной и прошлой у него нет двойников, и, ничего не заимствуя у других, он настолько силен и независим, чтобы, по слову Готье, чеканить монеты своим собственным штампом» (Одесские новости. 1916. 20 марта). С. Парнок (под псевдонимом «Андрей Полянин») отметила стихи, написанные «под знаком смерти», и «пафос конкретности» Мандельштама; особенность

---

[1] Библиотека РГАЛИ.

[2] В конце 1920 – начале 1921 г. М. еще раз сотрудничал с Аверьяновым в подготовке нового издания «Камня». Эти материалы (КорпАв-2) сохранились в собр. А. Г. Островского и представляют собой два экз. К2 с авторской правкой и вложенными автографами (подробнее см.: К-1990, с. 284). Известно, по разным документам, еще о ряде проектов: в 1918 г. у книгоиздателя К. М. Кожебаткина (расписка М. в получении денежной суммы хранилась, как сообщил нам П. Нерлер, в собр. М. И. Чуванова), см. также мемуарное свидетельство Г. Иванова (*28*, с. 621); в киевском изд-ве «Летопись» в 1920 г. (Киевский день. 1920. 23 мая) и др.

его поэзии она определила как «ваяние из слова» (Северные записки. 1916. № 4/5). М. Волошин, выявляя звучание «голоса» в стихах поэтов, писал: «Голос Мандельштама необыкновенно звучен и богат оттенками и изгибами. Но настоящее цветение его впереди. А этот “камень” пока еще один из тех, которые Демосфен брал в рот, чтобы выработать себе отчетливую дикцию» (Речь. 1917. 4 июня). Перу Н. Лернера принадлежала уничтожительная рец.: «и в самом лучшем, что вышло из-под пера г. Мандельштама, узнаешь лишь слабые отпечатки чужих влияний» (Речь. 1916. 2 мая). Существенным было выступление В. Жирмунского со статьей «Преодолевшие символизм» (Рус. мысль. 1916. Кн. 12). Поэтические достижения Ахматовой, Мандельштама, Гумилева получили в ней хорошую оценку, хотя и не без некоторой односторонности, поведшей к выводам о том, что Мандельштам «такой же реалистическнй фантаст, как Гофман в сюжетах своих сказок», и о «полном исключении личности поэта из его поэзии». В июле 1923 г. Государственное издательство (Московское отделение) выпустило третье издание «Камня». Судя по пометам в авторском экз. (Книжные фонды ГЛМ), поэт не держал корректур сборника: в этом экземпляре проставлены даты под стихами, исправлены опечатки, восстановлено загл. стихотворения «Notre Dame». Содержательных рец. на это издание не было. Со второй половины 1920-х гг. печатание произведений М. было осложнено тем, что его имя было включено в цензурные списки Горлита. Лишь с помощью Н. И. Бухарина удалось издать С. Раздел «Камень» в них ограничен рамками 1908–1915 гг. В откликах на книгу специально на «Камень» внимание рецензентов не обращалось. В настоящем издании состав стихотворений «Камня» определяется его вторым изданием (1916), дополненным стихотворениями 1908–1915 гг., входившими в следующие авторские сборники: Т, К3, ВК, С.; состав дополнен также стихотворениями «Заснула чернь. Зияет площадь аркой..», «Императорский виссон...», исключенными из К2 цензурой. Стихотворение «Собирались эллины войною...» перенесено в раздел «Tristia».

«Звук осторожный и глухой...». К2.

«Сусальным золотом горят...». К2 (без второй строфы). – К3.

«Только детские книги читать...». Ковчег. Феодосия, 1920, с пометой /С. Петербург, 1908/. В ст-нии велика конструктивная роль реминисценций из стихов Ф. Сологуба «В поле не видно ни зги...», «Я люблю мою темную землю...», «Качели» и др. (*99*, с. 288).

«Из полутемной залы, вдруг..». К2 (единственный источник текста).

«Нежнее нежного...». К2. Авторизованная машинопись с датой (АМ).

*«На бледно-голубой эмали...». Альманахи стихов, выходящие в Петрограде. Пг., 1915. Вып. 1. – К3. КорпАв. Э. Ф. Голлербах в эссе «Поэзия фарфора» (1920-е гг.) писал: «В свое время многим казалось новым и неожиданным, после туманов символизма, это пристальное и бережное внимание к вещи как таковой... Поэт чувствует в работе художника “сознание минутной силы, забвение печальной смерти”, т. е. ту, хотя бы призрачную и краткую, победу над темным временем и косным веществом, которая сообщает художественному произведению своеобразную одушевленность» (ГРМ).

«Есть целомудренные чары...». К2.

*«Дано мне тело – что мне делать с ним...». А. 1910. № 9. – К1. Под загл. /Дыхание/ в К1. Печ. без загл. согласно К2 и С. Мотивы связаны со ст-ниями Ф. Сологуба «Кто дал мне это тело...» и др. (*99*, с. 289).

*«Невыразимая печаль...». А. 1910. № 9. – К1. – К2. КорпАв-2. Ранняя ред. ст. 9–12 – в авторском экз. К1 (частное собр.).

* «Ни о чем не нужно говорить...». К2. Первонач. редакция – в беловом автографе с поздней пометой /Heidelberg. Декабрь 1909/ (АМ) и машинописи с датой (АЛ, предназначалась для № 1 «Гиперборея»). В архивных источниках тип строфики – двустишия.

*«Когда удар с ударами встречается...». А. 1911. № 5. – К2. – С. Беловой автограф (АМ) с датой.

*«Медлительнее снежный улей...». А. 1910. № 9. – К1. Машинопись с датой (АМ). КорпАв-2. В связи с этим ст-нием В. Пяст в своей книге назвал М., вслед за Тютчевым, «виртуозом ямба» (Современное стиховедение. Л., 1931. С. 103).

*Silentium. А. 1910. № 9. В БП напечатано с поправкой, внесенной в авторский экз. С (СХ). В А и авторизованной машинописи с датой (АМ) – без загл. Ст-ние варьирует тему одноименного ст-ния Тютчева. Гумилев в рец. на К2 определил ст. 13–14 как «колдовское призывание до-бытия», а все ст-ние – «смелым договариванием верленовского “L'Art poétique”» (А. 1916. № 1. С. 30). *Silentium* (лат.) – молчание, безмолвие; в ст-нии ему соответствует «первоначальная немóта», откуда женский род местоимений в ст. 1, 2. Родственный мотив «тишины» – в ст-нии «Под грозовыми облаками...».

*«Слух чуткий – парус напрягает...». Северные записки. 1913. № 9. – К2 (без строфы 1). – К3. Машинопись с датой (АМ). ККабл. Ст-ние перекликается с тютчевским «Певучесть есть в морских волнах...» (ср. из него «Лишь в нашей призрачной свободе...» со ст. 7) и «О вещая душа моя...» (ср. из него «Твой день – болезненный и страстный...» со ст. 11) (БП, с. 257; *94*, с. 14–16).

*«Как тень внезапных облаков...». А. 1911. № 5. В С с купюрой ст. 10–12 (см. в преамбуле к «Воронежским тетрадям» о «гибельных» стихах). Послано Вяч. Иванову из Целендорфа 5 (18) авг. 1910 г. (см. примеч. «Над алтарем дымящихся зыбей...»). Автограф в собр. Е. Г. Эткинда. Автограф и машинопись с датой (АМ). Автограф в верстке С (РНБ. Ф. 474).

*«Из омута злого и вязкого...». А. 1911. № 5. – С. Машинопись с датой (СИ). Автограф в верстке С (РНБ. Ф. 474). В ст-нии осмысливаются автобиографические коллизии, выраженные языком тютчевской историософии (особенно «омут» перекликается с «родимым хаосом» из ст-ния «О чем ты воешь, ветр ночной...» Тютчева; родственный образ – в названии гл. «Хаос иудейский» «Шума времени» и «родимый омут» в ст-нии «Неумолимые слова...».

«В огромном омуте прозрачно и темно...». А. 1911. № 5. Авторизованная машинопись с датой (АМ). Об «омуте» см. в предшествующем примеч. *В... омуте... окно*. Родственный

образ в «Стихах о неизвестном солдате» – «Океан без окна», источник которого, по-видимому, – определение человека как «монады без окна» Лейбницем (*81*, с. 90). Интерес к философии засвидетельствован у М. начиная с юношеских лет.

«Душный сумрак кроет ложе...». К2 (единственный источник текста). Ст-ние обнаруживает связь с мотивами стихов Брюсова «Мерно вьет дорога...», «Я – раб, и был рабом покорным...», «В сумраке» (*98*, с. 48).

«Как кони медленно ступают...». К2. Образ «чужих людей» с их «заботой» о поэте вторит рассказу Старика об Овидии в пушкинских «Цыганах» (*58*, с. 179).

«Скудный луч, холодной мерою...». Литературный альманах / Изд. «Аполлона». СПб., 1912.

*«Воздух пасмурный влажен и гулок...». Златоцвет. 1914. № 1. – К3. – БП, где напечатано по С с учетом поправки, внесенной 28 авг. 1935 г. в авторский экз. (СХ). *К равнодушной отчизне.* Мотивы перекликаются со строками И. Анненского «Я любуюсь на дымы лучей / Там, в моей обманувшей отчизне» («Зимнее небо») и вторят образам «пустого (слепого) неба» собственных стихов М. этих лет (*5*, с. 138). *Двойным бытием.* Реминисценция из ст-ния Тютчева «О вещая душа моя...» (*94*, с. 16).

«Сегодня дурной день...». Г. 1912. № 1. По воспоминаниям А. Гатова, М. назвал это ст-ние ритмическим прообразом «Нашего марша» Маяковского (*19*, с. 18). В рец. на К2 С. Парнок писала: «Поэт достигает истинной виртуозности ритма – так, например, в стихах “Сегодня дурной день...” передано как бы сердцебиение» (Северные записки. 1916. № 4/5. С. 243).

*«Смутно-дышащими листьями...». К1. – К3. Автограф с поправкой (АМ).

*«Отчего душа – так певуча...». Г. 1912. № 1. – К3. Машинопись с датой (АЛ). *Аквилон* (лат.) – северный ветер. *Орфей* – легендарный поэт греческих мифов, наделенный магической силой искусства.

Раковина. К1. Печ. под загл. согласно С. Машинопись с датой /Ноябрь 1911/, без загл. (СИ). В К1 загл. имеется лишь в

оглавлении. *Как раковина без жемчужин.* Реминисценция из «Открытия Америки» Гумилева (*87*, с. 72).

*«На перламутровый челнок...». Пьяные вишни. Севастополь, 1920, под загл. /О пальцы гибкие... /. Печ. без загл. согласно С. Авторизованная машинопись (АМ) с датой /16. XI. 1911/. ККабл (с датой). Авторизованная машинопись (РГАЛИ). КорпАв-2 (автограф).

*«О небо, небо, ты мне будешь сниться!..». Северные записки. 1913. № 9. – К2. Машинопись (АМ) с датой /24. XI. 1911/.

*«Я вздрагиваю от холода...». Г. 1912. № 1 (с опечаткой в ст. 13). В БП напечатано с учетом поправки, внесенной в авторский экз. С (СХ). Машинопись с датой (АЛ). КорпАв (с датой). *Какая беда стряслась!* Реминисценция из пьесы А. Блока «Балаганчик»: «И мы пели на улице сонной: “Ах, какая стряслась беда”, / А вверху – над подругой картонной – / Высоко зеленела звезда» (*117*, с. 69).

*«Я ненавижу свет...». К1. Автограф с правкой и датой (АМ). Противопоставление «света звезд» образам «башни» и «камня» намечают в ст-нии поворот от символизма к акмеизму.

«Образ твой, мучительный и зыбкий...». Г. 1912. № 1. Беловой автограф (АМ) с датой /Апрель 1912/.

«Нет, не луна, а светлый циферблат...». К1. Автограф в альб. К. Чуковского (датирован 15 июля 1914 г.), воспроизведен фототипически: Чукоккала, с. 56. *Спесь* соотнесена с душевной болезнью Батюшкова – в романтической традиции считалось, что она сопутствует высокому вдохновению. Речь идет о фактах, засвидетельствованных А. Дитрихом, врачом Батюшкова: на вопрос «который час?» поэт отвечал «вечность» (Батюшков К. Н. Соч. СПб., 1887. Т. 1. С. 342). У М. «час» как определитель конкретного исторического времени противопоставляется пространственно-временной нерасчлененности «вечности» – Н. Гумилев писал о ст-нии в рец. на К1: «Этим он открыл двери в свою поэзию для всех явлений жизни, живущих во времени, а не только в вечности или мгновении» (А. 1914. № 1/2. С. 127). Создание ст-ния связывалось с оконча-

тельным отходом М. от символизма (рец. Гумилева на К2 и др. источники). В дальнейшем М. испытал сильное влияние поэзии Батюшкова (см. примеч. «Батюшков»).

Пешеход. К1. В К3 без загл. В К1, К3 и С без посвящения. В К3 и С в ст. 10 «листвах» вм. «листах» – вероятно, невыправленная опечатка. Печ. с посвящением согласно К2. Михаил Леонидович *Лозинский* (1886–1955) во время создания ст-ния – студент Петербургского ун-та, издатель журн. «Гиперборей», друг М.

Казино. Г. 1912. № 3. Беловой автограф (АЛ) с датой /Май 1912/. Здесь и в Г – без загл. Печ. под загл. согласно С. *Я не поклонник радости предвзятой.* Речь идет об отношении к тезису «радости» («жизнеутверждения») в разрабатывавшейся в это время программе акмеизма (*89*, с. 29). *Душа висит над бездною проклятой.* Реминисценция из ст-ния Тютчева «Святая ночь на небосклон взошла...»: «В душе своей, как в бездне, погружен...» (*94*, с. 16).

«Паденье – неизменный спутник страха...». Г. 1913. № 8. Беловой автограф (АЛ). Ст-ние написано вскоре после того, как М. примкнул к группе акмеистов. Мотивы «пустоты» (неба) и «паденья», образы ст. 3–4, перекликающиеся со ст-нием Тютчева «С горы скатившись, камень лег в долине...», сближают ст-ние со статьей «Утро акмеизма». Ст. 5–11 вызваны воспоминаниями – по свидетельству Н. М., поэт в юности намеревался постричься в монахи.

*Царское Село. К1. – БП, где напечатано по списку 1927 г. из собр. Е. М. Глинтерн (ныне местонахождение неизвестно), без посвящения, в разделе «Стихотворения, не вошедшие в основное собрание». Печ. по этому изд. с восстановлением посвящения. В К3 и С не вошло (см. общую преамбулу). В корректуре С (ИРЛИ) с разночтением в ст. 8 («рявкнут» вм. «грянут»). В К2 текст искажен военной цензурой («рьяны» вм. «пьяны», см. «Другие редакции»), об этом свидетельствует и М. Цветаева в очерке «Нездешний вечер». 2 автографа с правкой (АМ), один из них – с посвящением. На неточность в первой редакции – уланы не стояли в Царском Селе – указал в печати Э. Голлербах (*22*, с. 69). Посвящено поэту *Георгию* Владимировичу *Иванову*, приятелю М. тех лет. Позднее в эмиг-

рации Г. Иванов писал о своей дружбе с М. в гротескных очерках (нередко с искажениями фактов), вошедших в его книгу «Петербургские зимы».

Золотой. К1. Беловой автограф с датой (АМ).

Лютеранин. Г. 1913. № 5. Беловой автограф (АЛ). Помимо живых впечатлений автора, в сюжете отразилась рефлексия над ст-ниями Тютчева «Я лютеран люблю богослуженье...», «И гроб опущен уж в могилу...» (*94*, с. 25). *Бутоньерка* (франц.) – букетик цветов, прикалываемый к одежде или вдеваемый в петлицу. *И думал я... не предтечи.* По наблюдению Г. Морева (*60*, с. 100), полемически соотнесено с программным ст-нием Д. Мережковского «Дети ночи»:

Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

Айя-София. А. 1913. № 3. – К3. Машинопись (АЛ) с датой /28 октября 1912 г./. Здесь на авторский текст, соответствующий К3, Гумилев, тогда заведовавший литературным отделом «Аполлона», нанес свои поправки, с которыми ст-ние и было напечатано в журн.: ст. 5 /И всем пример – года Юстиниана/, ст. 9 /Куда ж стремился твой строитель щедрый/. Третья его поправка – /И богомольцев/ вм. «И серафимов» (ст. 19) – в печатном тексте А не отражена. *Айя-София* – собор Св. Софии в Константинополе, при возведении которого (532–537 гг.) была гениально воплощена идея купольной базилики как типа постройки. В образах отражены детали интерьера храма: в ст. 5–8 – мраморные колонны, взятые по повелению императора Юстиниана из храма Дианы в Эфесе (БП, с. 259), в ст. 15–16 – мозаичные изображения ангелов. Стремление к художественной точности при воплощении реалий входило в программу акмеистов, только недавно сформировавшуюся; в А помещено (вместе со следующим ст-нием) в программной подборке стихов поэтов-акмеистов. *Ведь купол твой... к небесам.* Свидетельство об этой легенде приводит византийский историк Прокопий Кесарийский в труде «О постройках Юстиниана». *Апсиды и экседры* – архитектурно оформленные выступы и углубления в здании. *Паруса* – характерные для

этого типа постройки треугольные сферические своды, на которые опирается барабан купола.

*Notre Dame. А. 1913. № 3. В К3 без загл. (восстановлено в авторском экз., см. преамбулу). В АМ автографы: 1) ранней редакции строфы 1; 2) основного текста, без загл., с датой. Машинопись с датой (АЛ). *Notre Dame* – собор Парижской Богоматери, величайшее сооружение ранней готики, в котором была воплощена идея крестового свода (ср. ст. 2–4). Элементы конструкции стрельчатых сводов, ребра-нервюры, даны образами «нервов» и «ребер» (ст. 3, 14). С программой акмеизма ст-ние связывает упоминание «таинственного и первого» Адама («Другие редакции») – движение вначале имело второе название, «адамизм»; также и в статье «Утро акмеизма» архитектура этого собора декларируется как «праздник физиологии, ее дионисийский разгул». См. предшествующее примеч. *Где римский судия... народ.* Подразумеваются римские наместники: на острове Ситэ, где стоит Нотр-Дам, находилась Лютеция – колония, основанная Римом. *Стихийный лабиринт, непостижимый лес.* Источник сравнения собора и леса – роман Ж. К. Гюисманса «Собор» (*119*, с. 243); лабиринты выкладывались на полу готических соборов.

*Старик. К1. – С. В авторском экз. С (АМ) из печатного текста исключена строфа 5. Сравнение «старика» сначала с Верленом, затем с Сократом основывается на внешнем сходстве последних, отмечавшемся еще при жизни Верлена.

*Петербургские строфы. Г. 1913. № 5. – С. В Г и в автографах (см. ниже) – без посвящения. С посвящением – в Кl, К2, К3; в С оно было снято редактором (наборная рукопись, ИРЛИ). В К2 со строкой отточий, означившей опущенный текст (ныне неизвестен). В С исправление «жесткая» вм. «крепкая», как представляется, носило не цензурный, а стилистический характер: порфира – верхняя торжественная одежда императоров, длинный плащ из красного шелка, подбитый горностаем. Печ. по С, с посвящением. Автограф ранней редакции с датой /январь 1913/ (СИ). Беловой автограф (АЛ). Николай Степанович *Гумилев* (1886–1921) в пору создания ст-ния – основатель акмеизма как течения; заведовал литературным отделом «Аполлона»; был другом М., повлиявшим на становление его поэтического дарования. В годовщину его ги-

бели (1928) М. писал Ахматовой: «я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми – с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется» (*наст. изд.*). *Над желтизной правительственных зданий.* Желтый – излюбленный цвет Николая I, предпочитался в эпоху его правления при окраске зданий в Петербурге. *Правовед.* Здесь: студент Училища правоведения. *Склад пеньки.* Подразумевается Пеньковый (Тучков) буян. *Мотор* в современном ст-нию словоупотреблении – автомобиль. *Чудак Евгений.* М. перенес в современный ст-нию Петербург героя «Медного всадника» Пушкина.

*«Дев полуночных отвага...». Г. 1913. № 5. – К2. Беловой автограф (АЛ). *Выстрел пушечный* в Петропавловской крепости извещал горожан о наступлении полдня. *Подвалы* – тюремные казематы Петропавловской крепости.

Бах. Г. 1913. № 9/10. Беловые автографы в АЛ и АМ. *Ликуешь, как Исайя.* «Исайя, ликуй» – хорал, исполняемый при обряде бракосочетания. *Высокий спорщик... ты в доказательстве искал!* М. декларировал «смысл», «логику», «доказательство» в противовес «музыке» символистов в статье «Утро акмеизма»: «Логическая связь для нас... симфония с органом и пением... Как убедительна музыка Баха! Какая мощь доказательства!».

«В спокойных пригородах снег...». Рубикон. 1914. № 3, под загл. /Чайная/. Печ. без загл. согласно С. Беловой автограф с датой (АМ).

*«Мы напряженного молчанья не выносим...». Г. 1913. № 9/10. – С (без ст. 12). – БП, где напечатано с поправкой в ст. 12, внесенной 2 янв. 1937 г. в авторский экз. С (СХ), и датой /1912/ по КорпАв. Печ. по БП с восстановлением даты по К2 и С: в первой публ. помещено вместе со стихами 1913 г. В беловом автографе (АЛ) и в Г – с отточиями перед ст. 1. *Кошмарный человек.* Подразумевается друг М. поэт Владимир Алексеевич Пяст (Пестовский; 1886–1940), читающий «кошмарные» стихи Эдгара По «Улялюм» (Иванов Г. Поэты // Последние новости. 1926. 12 сент.). Имя По и его новелла «Падение дома Эшеров» названы в ст. 9. *Значенье – суета... служанка серафима.* В. Пяст в рец. на К2 назвал «превосходными» «эти две строки про Эдгара

По» (К-1990, с. 218); М. Волошин в статье «Голоса поэтов» ошибочно понял их в противоположном смысле, как декларацию автора (К-1990, с. 238). Речь идет о том, что у По предпочтение отдается мелодии стиха («фонетике»), в ущерб превозносимому М. «значенью».

*Адмиралтейство. А. 1914. № 10. Автографы: а) ранней редакции (АМ) с датой /Май 1913/; б) АЛ; в) строфы 1 (собр. М. С. Лесмана). В книге «Душа Петербурга» Н. Анцыферов писал о ст-нии: «Вполне чистый образ города, свободный от всяких идей, настроений, фантазий передает один О. Мандельштам... Спокойно торжество человеческого гения. Империалистический облик Петербурга выступает вновь, введенный без пафоса, но со спокойным приятием... В “Петербургских строфах” развитие этой темы» (Пб., 1922. С. 208). *Мне всё равно, когда и где существовать* («Другие редакции»). Соотносится со словами Гумилева о даре художественного воплощения у М.: «Он – свой во всех временах и пространствах» (см.: К-1990, с. 298).

«Заснула чернь. Зияет площадь аркой...». СС 2. Т. 1. Печ. по КорпАв (на листе зачеркнуто загл. /Дворцовая площадь/). Из К2 было исключено военной цензурой (см. преамбулу). Беловой автограф (АЛ). В автографе альб. А. И. Тинякова (РГАЛИ) с написанием /Арлекин/ (с прописной) и датой /12 мая 913/. В автографе, вписанном в экз. К1, принадлежавший С. Каблукову (собр. Е. С. Шальмана), дата записи /11 сент. 1913/. В литературе высказывались разноречивые предположения о прототипах образов «арлекина» (назывались императоры Павел I, Александр I) и «Александра» (назывались императоры Александр I и Александр II), которые не были подкреплены аргументами, почему нет возможности уверенно принять то или иное из них. В связи с вышесказанным остается непроясненным и образ «Зверя».

*«В таверне воровская шайка...». Г. 1913. № 8. Беловые автографы: в АМ, под загл. /Таверна/, и в АЛ.

Кинематограф. Новый Сатирикон. 1914. № 22. Беловой автограф (РГАЛИ). Н. М. Зоркая предполагала, что ст-ние было написано под впечатлением от фильма братьев Пате «Шпионка» (Искусство кино. 1988. № 3).

*Теннис. Журнал за 7 дней. 1913. № 20 (20 июня). – Новый Сатирикон. 1914. № 24. Беловой автограф с датой (РГАЛИ). *Аттический* – от названия области Греции, полуострова Аттика; здесь означает «эллинский».

Американка. Пьяные вишни. Севастополь, 1920. Гранки журн. «Рудин», вместе со ст-нием «Уничтожает пламень...» (РГБ. Ф. 245). В Т – без загл. В строфе 2 ощутимо влияние ст-ния Маяковского «Кое-что про Петербург» (урбанистический пейзаж и рифма трубы / губы (БП, с. 262). *Забыв «Титаника» совет.* Намек на широко рекламировавшуюся развлекательную прогулку, закончившуюся трагически: пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул 1 апр. 1912 г. *Крипт* – ниша в катакомбах для захоронения умерших.

Домби и сын. Новый Сатирикон. 1914. № 7 (13 февр.). Датируется по К2, дата «1914» (беловой автограф в РГАЛИ) представляется менее вероятной. К сюжету «Домби и сына» поэт относится вольно, вплетая в ст-ние мотивы других романов Диккенса; такая поэтическая «игра» отвечала его замыслу (*21*, с. 369).

*«От легкой жизни мы сошли с ума...». Альманах муз. Пг., 1916, с цензурной заменой слова «пьяная» (ст. 4) на «нежная». Печ. по Т, с устранением опечатки и с датой по первой публ. Автограф ранней редакции с правкой, датой /10 ноября/ и зачеркнутым посвящением /Юрочке милому/ (Ю. Юркуну? Г. Иванову?) (АМ). О Ю. Юркуне см. примеч. «“Милая” – тысячу раз повторяет нескромный любовник...». *Тот, у кого тревожно-красный рот... челка.* По чертам внешнего облика здесь угадывается Г. Иванов, об этом писала также И. Одоевцева (*66*, с. 147).

«Отравлен хлеб и воздух выпит...». Новая жизнь. 1914. № 1 (янв.). Беловые автографы: АМ (с датой); ИРЛИ. Р І. Оп. 17. Ед. хр. 559; Альб. Ю. Юркуна с датой (собр. Л. А. Глезера: Соч., с. 465). *Иосиф, проданный в Египет.* Поэт уподобляет себя тезке, герою библейского повествования, в одном из его жизненных злоключений (Быт 37).

«Летают валькирии, поют смычки...». К2. Беловой автограф под загл. /Валкирии/ и датой /1914/ (АМ).

Валькирии – девы-воительницы скандинавских мифов; в ст. 1 речь идет об оркестровом пассаже «полет Валькирий» в опере Р. Вагнера «Валькирия» (из цикла «Кольцо Нибелунгов»).

*«Поговорим о Риме – дивный град!..». К2. Датируется по автографу ранней редакции (АМ), с правкой, под загл. /Рим/; в К2 с датой /1913/. Бенедикт Лившиц вспоминал о чтении этого ст-ния автором в салоне Чудовских (Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 521). *Credo* (лат.) – символ веры. *Авентин* – один из семи холмов Рима, был местом обитания плебеев; здесь жил и род Гракхов. *Двунадесятые праздники* – двенадцать великих праздников христианской церкви. Часть их составляет основу пасхального цикла (пасхалии), не связанного с определенными числами гражданского календаря, – отсюда противопоставление образов в последующих двух стихах, где под строго-каноническими лунами подразумевается гражданский календарь (лунно-солнечный астрономический год в юлианском или грегорианском исчислении), а под календарем – пасхалия (календарь церкви). *Форум* – см. примеч. «С веселым ржанием пасутся табуны...».

*«На луне не растет...». С. Беловой автограф с датой в наборной рукописи С (РНБ. Ф. 474). В СИ – автограф, под загл. /Приглашение на луну/ и машинопись с правкой, под загл. /У меня на луне/.

Ахматова. Г. 1913. № 9/10. Беловые автографы: АЛ; РГАЛИ.Ф. 13. В автографах и Г – под загл. /Анне Ахматовой/. В С без загл., что объясняется, как и снятие посвящений, цензурными условиями. Ахматова вспоминала, что ст-ние было написано под впечатлением от чтения ею стихов в «Бродячей собаке» (*7*, с. 193) 3 янв. 1914 г. Мемуаристы приводили по памяти допечатные редакции: ст. 7 – «Так отравительница-Федра», ст. 5 – «Зовущий голос» (К-1990, с. 302). В ст-нии образ Ахматовой уподоблен Федре одноименной трагедии Расина в исполнении великой французской актрисы Элизы Рашель. Ахматова высоко ценила стихи М. с ранних лет их знакомства, по воспоминаниям Г. Адамовича, назвала его «наш первый поэт» (*1*, с. 185); М. предрек Ахматовой стать «одним из символов величия России» (статья «О современной поэзии»). Сознание общности поэтических задач и исторического значения своей поэтической работы «над преобразованием слова в

условиях дислокации культурных моделей» (*38*, с. 47) ставит их содружество на уровень событий эстетического значения. *Горький хмель*. В этом образе откликнулись строки Ахматовой: «Как соломинкой пьешь мою душу, Знаю, вкус ее горек и хмелен...» (наблюдение О. Лекманова).

«Ни триумфа, ни войны!..». А. 1914. № 6/7. В беловом автографе с датой (АЛ) и в первой публ. – под загл. /Перед войной/, в К3 и С – под загл. /1913/. Печ. без загл. согласно К2. В авторском экз. С (СХ) зачеркнуто. В прессе публ. вызвала резкую критику за неясность смысла (Голос жизни. 1914. № 3. С. 17 и др.). Вероятно, в сюжете дан отклик на двойственную и выжидательную политику Италии в канун войны: она выступила на стороне Антанты только 11 мая 1915 г. *Капитолий* – см. примеч. «С веселым ржанием пасутся табуны...».

«О временах простых и грубых...». Голос жизни. 1915. № 14, вместе со ст-ниями «На площадь выбежав, свободен...» и «Посох», под общим загл. /Из цикла «Рим»/. Полностью цикл, вероятнее всего, не был сформирован. С. Каблуков в записи дневника от 6 сент. 1914 г. упоминает «складень» (как называл свои циклы И. Анненский) «Рим»; он же устраивал через З. Гиппиус публ. стихов М. в двух номерах «Голоса жизни» (К-1990, с. 248–249). В ст. 9–12 отразились мотивы «Скорбных элегий» Овидия (кн. 3, элегии 10, 12).

*«На площадь выбежав, свободен...». Голос жизни. 1915. № 14 (см. предшествующее примеч.). – К3. В первой публ. с подзаг. /Памяти Воронихина/. Написано в связи со столетием со дня смерти Андрея Никифоровича Воронихина (1759–1814), выдающегося архитектора, утвердившего вместе с Дж. Кваренги классический стиль в архитектуре Петербурга. О лучшем творении Воронихина – Казанском соборе с его торжественной колоннадой, одной из главных архитектурных доминант Петербурга, и сложено ст-ние. Прототипом архитектурного решения был собор Св. Петра в Риме, отсюда сравнения в ст. 5–6. *Гиганта, что скалою... прижат*. Источник этого образа – стих И. Анненского «В темных лаврах гигант на скале...» («Петербург»), говорящий о памятнике Петру I («Медном всаднике»). Противопоставление ему «маленького тела» храма в строфе 3 основывается, должно быть, на превознесенной поэтом способности храма как архитектурного сооружения

«одушевлять» пространство (т. е. быть вместилищем Св. Духа). «Медный всадник», на «скале» (пьедестал), попирающий змею (ее символическое значение связано с «землей» ст-ния), описан как «прижатый к земле»; такая метафорическая игра нередка в стихах М.

«Есть иволги в лесах, и гласных долгота...». К2. Беловой автограф под загл. /Равноденствие/ (АМ). В ст-нии обыгрываются термины стиховедения: долгота гласных (ст. 1) как один из определителей метрической (в ст. 2 неточно: «тонических стихах») системы стихосложения у древних; то же значение имеют «длительность» и «метрика» (ст. 4); «цезура» (ст. 5) – пауза внутри стиха.

*«"Мороженно!" Солнце. Воздушный бисквит...». Новый Сатирикон. 1915. № 26. – К3. В первой публ. под загл. /Мороженно!/, передающем возглас мороженщика-разносчика. С тем же загл. в ККабл (автограф). КорпАв (с датой). *С румяной зарею, В молочные Альпы мечтанье летит.* Реминисценция из ст-ния Батюшкова «Странствователь и домосед»: «И в Мемфис полетит с румяною зарею...» (наблюдение О. Лекманова). *И в тесной беседке... граций.* Образы варьируют, с иронической окраской, «Беседку муз» Батюшкова: «Беспечен, как дитя всегда беспечных граций, / Он некогда придет вздохнуть в сени густой / Своих черемух и акаций» (*86*, с. 17).

«Есть ценностей незыблемая скала...». К2. В Воронеже поэт зачеркнул ст-ние в своем экз. С (СХ), причиной была уничижительная характеристика поэзии Сумарокова в нем. Оценка была поколеблена С. Рудаковым, который доказывал М., что «Сумароков в атмосфере 60-х гг. XVIII в. по-своему аналогичен Гумилеву» (письмо к жене от 8 апр. 1935 г.). В письме к жене от 7 февр. 1936 г. Рудаков заметил, что М. «отрекся» от этого ст-ния. Написано, вероятно, в связи с возобновлением на русской сцене пьесы Владислава Александровича *Озерова* (1769–1816) «Димитрий Донской» (1914, Театр им. В.Ф. Коммиссаржевской). *Сумароков* Александр Петрович (1717–1777) – поэт и драматург; определение *заученная роль* относится, вероятно, к его драматургии, ориентированной на немецкие и французские образцы. *Театре полуслова И полумаск.* Определение современного ст-нию театра, утратившего, по мысли поэта, свое значение. В статье «Художественный те-

атр и слово» (1922) он писал: «Никогда не читали текст. Всегда свои домыслы. Истинный и праведный путь к театральному осязанию лежит через слово, в слове скрыта режиссура. В строении речи, стиха или прозы, дана высшая выразительность. Они этого не знали. Они ошибались, запинались и путались даже в пушкинских стихах, беспомощно размахивая костылями декламации – выразительного чтения». *Последний луч трагической зари.* О «невозможности трагедии в современном русском искусстве» М. заметил в «Письме о русской поэзии» (1922).

«Природа – тот же Рим и отразилась в нем...». Т. В АЛ – беловой автограф на бланке журн. «Аполлон», в виде цикла со следующим ст-нием, с визой редактора: /Аполлон № 9. Набор – корпус. С. Маковский/. О дате см.: *58*, с. 179–186. В ККабл указан вариант (см. примеч. «Когда держался Рим в союзе с естеством...»).

«Пусть имена цветущих городов...». Вечерняя звезда. 1918. 9 марта. В прижизненных публ. без дат. Датируется по тем же основаниям, что и предшествующее ст-ние. Беловые автографы в АЛ и РГАЛИ.

«Я не слыхал рассказов Оссиана...». Наши дни. 1915. № 3. *Оссиан* – легендарный воин и бард кельтов, под именем которого Д. Макферсон издал обработанные им фольклорные записи (1765). Влияние «Сочинений Оссиана...» испытал и Н. Гумилев (ст-ние «Оссиан»). В рец. на К2 Гумилев писал о ст-нии как намечающем «проблему художественного творчества» – в строфах 3–4 раскрыта идея «вечного возвращения» или «возвратности поэтического слова» (*38*, с. 72).

*Европа. А. 1914. № 6/7. – К2. Беловой автограф допечатной редакции (АЛ). Беловой автограф в ДнКабл с датой /Сентябрь 1914/. Ст-ние явилось откликом на начало Первой мировой войны. Воззрения, близкие строфам 1–2, отразились в статье «Пшеница человеческая» (1922): «Политическое буйство Европы, ее неутомимое желание перекраивать свои границы можно рассматривать как продолжение геологического процесса, как потребность продолжить в истории эру геологических катастроф, колебаний, характерную для самого молодого, самого нежного, самого исторического материка, чье темя

еще не окрепло, как темя ребенка». В строфах 3–4 речь идет о временах Наполеоновских войн и Священного союза – коалиции России, Австрии и Пруссии (1815), составленной с целью обеспечить в послевоенной Европе политическую стабильность. *Меттерних К.* (1773–1859) – государственный деятель Австрии и дипломат, один из вдохновителей Священного союза. *Солнца-короля* («Другие редакции»). Речь идет о Людовике XIV, которого называли «король-солнце».

Encyclica. Невский альманах. Пг., 1915. Датируется по беловому автографу (ИРЛИ. Ф. 627); здесь под загл. /К энциклике папы Бенедикта XV/. Беловой автограф (АМ). Бенедикт XV (1854–1922) – папа римский (1914–1922). 8 сент. 1914 года (нов. ст.) Бенедикт XV в своем первом пастырском послании «Ubi periculum», обращенном к католикам всего мира, настойчиво потребовал восстановления мира. Он заявил о строгом соблюдении нейтралитета Святым престолом в условиях противоборства сражающихся сторон. Ст-ние полемически перекликается с одноименным ст-нием Тютчева (и с его ст-ниями «Свершается заслуженная кара...», «Ватиканская годовщина»). *Говоривший мне о Риме.* Вероятно, подразумевается П. Я. Чаадаев, 20 апр. 1833 г. писавший А. И. Тургеневу о Риме как «безмерной идее» (цитату из этого письма М. привел в статье «Петр Чаадаев»). Е. Тоддес высказал предположение, что здесь имелся в виду умерший 20 авг. 1914 г. папа римский Пий X (*94*, с. 23–24).

*Посох. Голос жизни. 1915. № 14 (см. примеч. «О временах простых и грубых...»). – К2. – С. В первой публ. и беловом автографе с датой (АМ) – без загл. Автограф двух первых строф (АМ). Список Н. М. (в редакции К2) в наборной рукописи С (ИРЛИ). В ст-нии отразилось увлечение М. идеями «католического универсализма» (К-1990, с. 358), воспринятыми из сочинений П. Я. Чаадаева. Написанное от лица автора, ст-ние варьирует мысли близкой по времени статьи «Петр Чаадаев» (1914): «На Западе есть единство! С тех пор как эти слова вспыхнули в сознании Чаадаева, он уже не принадлежал себе и навеки оторвался от “домашних” людей и интересов»; «У России нашелся для Чаадаева только один дар: нравственная свобода, свобода выбора... Чаадаев принял ее как священный посох и пошел в Рим». *Солнцем истины.* Здесь под «истиной» подразумевается Иисус Христос, его учение: в автографе (АМ) – с прописной буквы.

*Ода Бетховену. Альманахи стихов, выходящие в Петрограде. Пг., 1915. Вып. 1. – К3. Отточиями в основном тексте были заменены стихи, которые у поэта «не сложились» (см. общую преамбулу). Беловой автограф с датой /6 декабря 1914/ (БП, с. 266, ныне местонахождение неизвестно). Беловые автографы: РГАЛИ (ф. 543), с датой /Дек. 1914/; с той же датой и незавершенными пробами переработки отдельных строф – КорпАв. Образу Бетховена в ст-нии соответствуют высказывания Вяч. Иванова о нем как о «зачинателе нового дионисийского творчества» и «избранном служителе Диониса» (*26*, с. 65, 80), ср. строфу 4, где под Дионисом подразумевается Бетховен. Обширен круг связей с фактами биографии и творчества Бетховена. Основные: упоминание о глухоте композитора (ст. 3) – «главной трагедии бетховенской жизни и главной основе бетховенской мифологии»; эпизод, когда исполнитель-виолончелист бросил партитуру на пол, отказываясь играть «навязываемую ему чепуху» (ср. ст. 7–8); картина Ю. Шмида «Бетховен на прогулке» (ср. строфу 2 первопечатной редакции) (*29*, с. 70). *Ритурнель.* Здесь в качестве названия танца; словарное значение – музыкальное вступление перед началом танца. *Скиния* – шатер или храм с ковчегом завета у иудеев. *Ты указал... на белой славы торжество.* Речь идет о «Девятой симфонии» Бетховена, что выясняется из статьи «Скрябин и христианство», где эти слова цитированы; раскрывая образ, поэт говорил о том, что христианское ощущение личности подчиняет себе изначальное дионисийство музыки.

*«Уничтожает пламень...». Рудин. 1916. № 8. В С с неверной датой /1914/. Датируется по ККабл, где записана ранняя редакция. См. примеч. «Американка».

*«И поныне на Афоне...». К2. ККабл, под загл. /Имябожие/, с датой. Авторизованная машинопись с датой (АМ). КорпАв-2, с правкой. *Имябожие* – признанное постановлением Синода еретическим (намек на это в стихе «Мы судом не спасены» – «Другие редакции») учение афонского монаха Илариона, утверждавшего, что «Имя Бога и Имя Иисус есть сам Бог». Ересь была подавлена карательной экспедицией (1913).

«“Здесь я стою – я не могу иначе”...». С, с неточной датой /1913/. Беловой автограф из наборной рукописи С

(ИРЛИ), с той же датой. Датируется по ККабл (здесь без эпиграфа, под загл. /Лютер в Вормсе/). Эпиграф, точным переводом которого является ст.1, – слова Лютера, сказанные им на имперском съезде в Вормсе в ответ на предложение отказаться от своих взглядов. В ст-нии выражено отношение автора к католичеству и протестантству («незрячий» дух Лютера над куполом римского собора), восходящее, по-видимому, к статье Тютчева «Папство и римский вопрос», где лютеранство рассмотрено как движение, генетически перенявшее у католичества право на «захват». Ср. также и более позднюю характеристику Лютера как «плохого филолога» («О природе слова»). Ст-ние соответствует периоду увлечения поэта идеями славянофилов, К. Леонтьева в частности (К-1990, с. 358).

*«Вот дароносица, как солнце золотое...». Т. Печ. по этому изд., с исправлением опечатки в ст. 4. Датируется по ККабл (ранняя редакция, под загл. /Евхаристия/). Написано в первой половине года: 24 июня С. Каблуков записал в дневнике о том, что поэт прочитал ему это ст-ние как новое. *Евхаристия* – таинство Св. Причащения. В ст-нии нашел отражение тот момент литургии (по католическому обряду), когда дарохранительницу (в ст-нии не вполне точно – дароносицу) выставляют для поклонения верующим; перед ней совершают специальные моления – адорации, выражающие чувства верующих, почитающих в эти минуты тело Христово. Дарохранительница – сосуд из драгоценного металла, с вместилищем для освященной жертвы Евхаристии, украшенный многочисленными планками в виде лучей (отсюда сравнение ее с «солнцем золотым»).

*Аббат. К2. – Новый Сатирикон. 1916. № 42. – К3. ККабл (две редакции). В С с неверной датой /1914/. Датируется по К2. *Жамм* Франсис («Другие редакции») – французский поэт (1868–1938), испытавший сильное влияние католичества. *Так птицы на своей латыни Молились Богу в старину*. О. А. Ланг сообщала, со слов профессора Д. К. Петрова, об источнике – строке старофранцузского ст-ния «les oiseaux chantent dans leur latin» (*66а*, с. 52–53), перевод: птицы поют на своей латыни. Источник (или – один из источников) – стихотворный «Роман о Персевале (Парсифале), или Сказание о Граале» Кретьена де Труа: Et cil oisel en lor latin / Docement cantent au matin, указано М. Б. Мейлахом: Язык трубадуров. М., 1975. С. 138, примеч. 5. Перевод: «И птицы на своей латыни сладко поют поутру»

(ст.-франц.). В ст. 17–20 – реминисценция из ст-ния А. Блока «Женщина» (1914): «Я извинилась, выражая / Печаль наклоном головы; / А он, цветы передавая, / Сказал: “Букет забыли вы”» (указано М. Л. Гаспаровым).

«От вторника и до субботы...». К3.

*«О свободе небывалой...». К2. Авторизованная машинопись с датой (АМ). Взаимосвязь между «верностью» и «свободой» в ст-нии восходит к статье «Петр Чаадаев»: «Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и, в награду за абсолютное подчинение, подарила ей абсолютную свободу».

«Императорский виссон...». Аргус. 1917. № 4, под загл. /Дворцовая площадь/. Печ. по ККабл. Беловой автограф в альб. А. И. Ходасевич (РГАЛИ), под загл. /Зимний дворец/, с датой записи и пометой /Москва. 30 янв. 1916/. Написано в первой половине года: цитируется в летних записях А. Цветаевой в ее книге «Дым, дым и дым» (М., 1916. С. 236). Исключено из К2 военной цензурой (см. преамбулу). *Виссон* – дорогая белая или пурпурная ткань, из которой шили облачение императоров. *Столпник-ангел* – ангел, венчающий Александровскую колонну на Дворцовой площади в Петербурге. *В темной арке.* Имеется в виду арка здания Главного штаба на Дворцовой площади.

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...». К2. Беловой автограф (АЛ), в подборке со следующими двумя ст-ниями и «– Как этих покрывал и этого убора...». Импульсом к созданию ст-ния было чтение «Илиады» на греческом языке (А. И. Пиотровский. Театр, кино, жизнь. Л., 1969. С. 361). *Список кораблей* (т. е. «каталог кораблей» научной литературы) – перечисление навархов, приведших свои корабли под Трою («Илиада», песнь 2). *Елена* – героиня «Илиады», косвенная виновница Троянской войны. *Ахейцы.* Здесь – греки.

*«Обиженно уходят на холмы...». Борьба. Киев, 1919. № 1. – К3. Предшествующие редакции: 1) в беловом автографе (ИРЛИ. Ф. 562), с датой /Август 1915/; был послан М. Волошину его матерью из Коктебеля 28 авг. 1915 г. «как при-

вет» от М. (*35*, с. 189); 2) в беловом автографе в АЛ (см. примеч. к предшествующему ст-нию) и ККабл; 3) в первой публ. Образы ст-ния, связанные с историей Рима, создают явственные аллюзии на политическую ситуацию в России (нарастание революционного движения и предчувствие во всех слоях общества неизбежности революции). Создается впечатление о равновесии мотивов: с одной стороны, «им нужен царь и черный Авентин», с другой – «они идут в священном беспорядке». А. Лурье, друг М. в те годы, писал в своих мемуарах о «подлинном, пророческом ощущении мира, как старого и обреченного, так и нового, чаемого, но еще не осознанного» у М. (*46*, с. 349). *Халдеи* – кочевые племена 1-го тысячелетия до н. э. в Вавилоне; позднее в России – пренебрежительное название ряженых шутов и скоморохов. *Авентин* – см. примеч. «Поговорим о Риме – дивный град!..».

«С веселым ржанием пасутся табуны...». К2. Редакция ст. 16 /месяц цезарей/ в С – вероятно, следствие цензурного искажения: в авторском экз. С (СХ) – незавершенная правка окончаний этих слов. Беловой автограф (АЛ) (в составе подборки, см. примеч. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»). *Цезаря... профиль женственный.* По скульптурным портретам можно судить о том, что речь идет о Цезаре Октавиане Августе. *Капитолий* – один из семи холмов Рима, на нем находились крепость и храм Юпитера. *Форум* – площадь у подножия Капитолия, средоточие общественной жизни древнего Рима. *Печаль моя светла* – реминисценция строки ст-ния Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». *Волчицею была.* Соотнесено с легендарной волчицей, вскормившей основателей Рима. *Месяц Цезаря.* Название августу было дано в честь Цезаря Октавиана, титул «Август» (священный) был получен им от Сената.

«Я не увижу знаменитой “Федры”...». К2. Написано осенью 1915 г., в одно время со ст-нием «– Как этих покрывал и этого убора...» (см. примеч.). Мотивы в ст. 14–17 перекликаются со ст-нием «Ахматова». *Как эти покрывала мне постылы.* Цитата из трагедии Расина «Федра» (д. 1, явл. 3). *Мельпомена* – муза трагедии. *Я в этой жизни... мира.* Реминисценция из трагедии И. Анненского «Меланиппа-философ»: «Мы ж мира, бог, мы жаждем только мира...» (*40*, с. 167).

TRISTIA

Возможность издать книгу новых стихов представилась М. вскоре после возвращения в Петербург осенью 1920 г. Договор с изд-вом «Petropolis» был подписан 5 нояб. 1920 г. (от изд-ва – его владельцем Я. Н. Блохом). Название книги в договоре – «Новый камень» (РГАЛИ). Осуществившееся название книге дал М. А. Кузмин, входивший в редколлегию изд-ва. При подписании договора М. передал Блоху «110 строк стихов» – приблизительно 8 стихотворений. В начале лета 1921 г. поэт уехал из Петербурга на Кавказ, где пробыл почти до весны следующего года, и в дальнейшем принимать участие в подготовке книги не мог. Издательству же препятствовали затруднения цензурного характера. Анонсы появлялись начиная с августа (Жизнь искусства. 1921. 16–21 авг.), но печатание все откладывалось. По дневнику П. Н. Зайцева (РГАЛИ, запись 1 янв. 1922 г. – указана нам А. А. Морозовым), «Tristia» была запрещена во время инспекции заведующего Государственным издательством Н. Мещерякова. По свидетельству Блоха, сборник «был набран, но перед выходом в свет запрещен и появился только после переселения издательства в Берлин в 1922 г.» (*11*, с. 8). Книга вышла в Берлине в июле или начале авг. 1922 г. Появлению сборника «предшествовала хвалебная молва» (см. ниже). Действительно, первые рец. – В. Жирмунского, И. Эренбурга – появились на основе знакомства с рукописью (вероятно, с оттисками набора) еще до выхода книги. Жирмунский писал: «Как всякая поэзия классического стиля, поэзия О. Мандельштама есть творчество прекрасных форм... Мандельштам выражает свои фантастические сочетания разнороднейших художественных представлений в классически строгой и точной эпиграмматической формуле. Математическая фантастика, разгул воображения, опрокидывающий привычные связи представлений, – и высшая сознательность умного зодчего!» (Вестн. лит. 1921. № 4/5. С. 5). Высокую оценку книге дал К. Мочульский: «Поистине, после появления “Anno Domini” Анны Ахматовой книга Мандельштама самое крупное событие русской художественной жизни. Обещанный Петрополисом много месяцев тому назад, предшествуемый хвалебной молвой, этот небольшой сборник стихов появился, наконец, в Берлине... Спиритуализм, раскрепостив слово, освобождает через него мир. Мандельштам невольно обращается к великим освободителям духа – анти-

чности и христианству... Немногочисленные стихи о России принадлежат к лучшим созданиям поэта» (Последние новости. 1922. 14 окт.). Из лагеря «левого искусства» вышла рец. Н. Н. Пунина: «Конечно, я уже не знаю, за чтением “Tristia”, где кончается старая форма, где начинается новая, но я изменяю всему: новому искусству, динамике, боевым товарищам и пр. перед лицом человека, так глубоко еще владеющего искусством. Перед лицом этого человека слабеет крепость моего “воинствующего духа”, прощая ему все, с чем я никак не могу согласиться и никогда не соглашусь... “Tristia” очень пышный и торжественный сборник, но это не барокко, а как бы ночь формы. Работающие в искусстве... знают ночное и предрассветное состояние сознания, когда свет предыдущего дня, приведший уже однажды мир в порядок, погас и огромные коромысла качаются в пустоте ночи, строя чертежи новой формы» (Жизнь искусства. 1922. 17 окт.). «“Tristia”, как и “Камень”, останется в русской литературе», – заключил свою рец. Г. П. Струве (Рус. мысль. 1923. Кн. I/II. С. 299).

Сразу после возвращения из поездки в Закавказье, 11 мая 1922 г., М. заключил договор с ГИЗом на издание сборника стихов «Аониды» объемом 1800 стихотворных строк (ГАРФ. Ф. 395. Оп. 10. Ед. хр. 53). Нами обнаружен отзыв на рукопись книги политического редактора ГИЗа Кл. Лавровой[1]: «Никаких препятствий с политической стороны не встречается. Если Госуд. Изд. вообще печатает стихи, то, конечно, есть все основания издать книжку Мандельштама», – датированный 27 мая 1922 г. и в тот же день визированный Л. Троцким: «Печатать» (Там же. Оп. 9. Ед. хр. 6). Книга анонсировалась «Известиями» (1922. 5 сент.), «Накануне» (1922. 1 окт. Лит. прил. № 1) и калужским журн. «Корабль» (1923. № 1/2, с названием книги «Слепая ласточка»). Планы изд-ва, вероятно, были скорректированы после того, как Мандельштам начал подготовку «Второй книги» в изд-ве «Круг» (см. далее), и ГИЗ вместо «Аонид» выпустил новое издание «Камня».

25 нояб. 1922 г. в изд-во «Круг» была сдана «Вторая книга», по составу близкая к «Tristia». Она также проходила цензуру с трудом (см. общую преамбулу). По-видимому, вследствие этого под стихами, как и в К3, не были поставлены даты. Вышла книга в конце мая – начале июня 1923 г. с посвящением /НХ/ – Надежде Хазиной (Н. Мандельштам). Рец. на книгу были немногочисленны. Резким диссонансом прозвучала рец. В. Брюсова:

[1] Лаврова Клавдия Николаевна (1892 – после 1957), поэтесса (сб. «Двойник», 1927).

«Наиболее крупным “событием” можно признать выступление Осипа Мандельштама, поэта на стихи весьма скупого, но в некоторых кругах весьма прославленного... О. Мандельштам искусный мастер – и это всё. Оторванная от общественной жизни, от интересов социальных и политических, оторванная от проблем современной науки, от поисков современного миросозерцания, поэзия О. Мандельштама питается только субъективными переживаниями поэта да отвлеченными, “вечными” вопросами – о любви, смерти и тому под<обное>, которые в своем метафизическом аспекте стали давно пустыми, лишенными реального содержания» (Печать и революция. 1923. № 6. С. 63). Книгу приветствовали Д. Выгодский (Жизнь искусства. 1924. 1 янв.) и анонимный рецензент «Бюллетеня книги»: «Стихи Мандельштама – лирические признания капризной и глубоко-одинокой индивидуальности... человека, бродящего по миру с одной заботой: “времени бремя избыть”... Мандельштам из тех поэтов, которые требуют от читателя особой одаренности, чтобы пережить вместе с автором его волнения. Не всякий читатель будет очарован музыкальным строем современного Орфея...» (1923. № 9/10. Стб. 72). В названии соответствующего раздела в С поэт вернулся к «Tristia», включив в него только стихотворения 1916–1920 гг. В составе «Tristia» следуем этому разделу, дополняя его ст-нием «Собирались эллины войною...», перенесенным из раздела «Камень» соответственно времени его создания; устраняются цензурные искажения; восстановлена (в ряде мест предположительно) хронологическая последовательность стихов, а также авторская купюра в ст-нии «– Как этих покрывал и этого убора...» (см. примеч.).

*«– Как этих покрывал и этого убора...». Т.–ВК.–С, где ст. 21 заменен отточиями (см. в преамбуле к «Воронежским тетрадям» о «гибельных» стихах). Печ. по ВК. Завершенные ранние редакции отражены в автографах: АМ, с датой /13 октября 1915/ и АЛ (в составе подборки, см. примеч. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»). В обоих еще нет ст. 20–21 – третьей реплики Федры. Более поздняя допечатная редакция в ККабл (со ст. 20–21), здесь сделана попытка снять драматическое напряжение финала (наблюдение А. Морозова); один из вариантов записан позднее (ст. 22–29), с датой /1916/ и под загл. /Вариант «Федры»/. Время записи ст-ния в ККабл, приблизительно, февр. 1916 г. – 6 марта оно было послано другу Каблукова Д. Черкесову (ДнКабл). Писалось в одно время со

ст-нием «Я не увижу знаменитой “Федры”...»; запечатлело попытку следовать опыту «античных драм» И. Анненского: слова Федры, восходящие к драме Расина (ст. 1–2, 11–12, 20–21), перемежаются репликами хора, непременного участника античной трагедии (у Расина его уже не было). Влияние «Федры» на творчество М. углублялось до 1917 г., завершившись созданием одного из главных образов – «Федры-России» («Скрябин и христианство»). «Акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков... Расин раскрылся на “Федре”...», – писал М. в 1922 г. («О природе слова»). Об этом предпочтении акмеистов Г. Адамович заметил: «Через расино-пушкинский водопровод еще струится прохладная и чистая вода античности» (Русская поэзия // Жизнь искусства. 1923. 16 янв.). *Федра* – в греч. мифе внучка солнца Гелиоса (отсюда в ст. 20 «я солнце запятнала»), вышла замуж за *Тесея*. Сын Тесея от первого брака, Ипполит, навлек на себя гнев Афродиты, которая в наказание внушила Федре любовь к пасынку. Чтобы избежать позорной огласки, Федра покончила с собой, перед тем в записке оклеветав Ипполита; он погибает, гонимый отцом. Повлияла также статья И. Анненского «Трагедия Ипполита и Федры»: реминисценция из нее – «злая ложь» («Другие редакции»). В 1922 г. М. вновь вернулся к «Федре» Расина («Начало “Федры”»). *Трезен(а)* – город в Пелопоннесе, родина Тесея.

*Зверинец. Новая жизнь. 1917. 18 июня. – Тринадцать поэтов. Пг., 1917. – Паруса. 1922. № 1. – Т. – БП, где учтены поправки в авторском экз. С (СХ) при восстановлении цензурных купюр (ст. 25–26 и 37–40) 3 сент. 1935 г.; эпитет «тяжелый» заменен здесь, по-видимому, как неподходящий для «камня пращи». Ковчег. Феодосия, 1920 – с датой и мелким разночтением, вызванным, вероятно, записью по памяти. В перечисленных периодических изд. – с подзаг. /Ода/. Автограф с правкой (АМ) под загл. /Ода враждующим державам «Мир»/, помечен /11 янв. 1916. Петербург/. Беловой автограф первопечатного текста (АМ). ККабл, с загл. и подзаг. /Миру (ода)/; в ДнКабл об этом запись 12 янв. 1916 г.: «Сегодня Мандельштам читал свой превосходный “Дифирамб миру”, вчера написанный (см. прибавление к 2-му изданию “Камня”)». Беловой автограф (РГАЛИ). И. Оксенов в рец. на «Тринадцать поэтов» назвал ст-ние «мудрым произведением, посыпанным едкой аттической солью. Несколько неожиданным является “анархический” дух этой оды в альманахе, как-никак “буржуазном” (не в социаль-

ном, конечно, смысле)» (Знамя труда. 1918. 8 марта). Обращение к жанру оды вызвано влиянием Державина, столетие со дня смерти которого отмечалось в 1916 г. М. Цветаева назвала М. «молодым Державиным» («Никто ничего не отнял...»), по-видимому, в связи с этим ст-нием. В ст. 13–16 и 25–28 речь идет о геральдических зверях в гербах Германии, Великобритании, Франции и России. В 1922 г. автор писал: «в цыганском таборе этнографии не место хищным зверям, здесь пляшет ручной медведь и орла привязывают за больную лапу» («Пшеница человеческая»). *Италия... через плетень.* Подразумевается запоздалое выступление Италии в Первой мировой войне в 1915 г. (отмечено В. Жирмунским в рец. на Т). *Пока ягнята... плодились* («Другие редакции»). В этой редакции ст-ние читалось М. Цветаевой, которая в экз. Т (ИРЛИ. Ф. 603) записала на поле свою реплику: «Я, робко: О. Э., а волы и ягнята – не плодятся!» – что, видимо, и было учтено автором. *И ты, германец, не ропщи* («Другие редакции»). Редакция, соответствовавшая новой политической реальности – пробуждению реваншизма в Германии.

*«На розвальнях, уложенных соломой...». Альманах муз. Пг., 1916. – ВК. Автограф первонач. редакции с правкой (АМ) и датой /Март 1916/. Здесь между строфами 3 и 4 – знак вставки (текст не записан); в связи с этим обстоятельством следует упомянуть о том, что Н. М. писала об утраченной строфе «цветаевского» ст-ния М., но относила ее к ст-нию «Не веря воскресенья чуду...» (*49*, с. 379). Беловой автограф с датой /Март 1916/ (РГАЛИ. Ф. 1190). ККабл, с пометой / СПб. Апр. 1916 г./, сюда М. вписал слово «осыпанных» со сноской: /исправление принадлежит не автору/. Цветаева в экз. Т (см. примеч. к «Зверинцу») также пометила: «было: осыпанных, уложенных – мое»; к словам «в часовне» (ст. 8) – «“кому-то” – первоначальный вариант». Беловой автограф (АМ). Написано, как и ст-ния «Не веря воскресенья чуду...», «В разноголосице девического хора...», «О, этот воздух, смутой пьяный...», под впечатлением от поездок к Марине Цветаевой, вспоминавшей позднее «о чудесных днях с февраля по июнь 1916... когда я Мандельштаму дарила Москву» («История одного посвящения»). Цветаева отвечала стихами, одно из которых – «Откуда такая нежность...» – поместила в том же «Альманахе муз», затем собрала их в «Верстах» (помечены ею в авторском экз., см.: Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М., 1989. С. 225),

из трех составила цикл «Проводы» (Рус. мысль. Прага; Берлин. 1923. № 1/2). Знакомство поэтов состоялось летом 1915 г. в Коктебеле. Цветаева приехала в Петербург на Рождество 1915 г., выступала с чтением своих стихов в поэтических кружках, в двадцатых числах января 1916 г. вернулась в Москву, и приблизительно в те же дни приехал в Москву М., до июня остававшийся там преимущественно. Стихи Цветаевой он с теплотой вспомнил в своей последней критической работе – «Разговоре о Данте» (гл. 5). В сюжете отразилась их прогулка по Москве и поэтическая игра на именах, связанных с историей Москвы. Отправное – Марина Мнишек, с которой отождествляла себя Цветаева, отсюда М. – Димитрий-царевич и Димитрий Самозванец (с его римскими связями). Последний был рыж; его тело сожгли – отсюда соответствующие мотивы строфы 5 (*21*, с. 280). Ср. в ст-нии Цветаевой «Димитрий! Марина! В мире...» (март 1916). *А в Угличе играют дети в бабки*. Намек на обстоятельства смерти царевича Димитрия, по официальной версии погибшего во время игры в свайку, по молве – убитого по приказу Бориса Годунова. *Три встречи... четвертой не бывать*. Отзвуки историософской концепции монаха Филофея «Москва – третий Рим», «четвертому же не бывать» (*87*, с. 174). *Он Рима не любил*. Не ясно, ведет ли автор речь о себе в третьем лице; К. Тарановский предполагал в этом образе Иисуса Христа (*120*, с. 119). *Сжигает масленица корабли* («Другие редакции»). Конец Масленицы приходился в 1916 г. на 20 февр.

*«Мне холодно. Прозрачная весна...». Ипокрена. 1918. № 2/3, как 1-я строфа ст-ния (2-я – ст-ние «Не фонари сияли нам, а свечи...», 3-я – «В Петрополе прозрачном мы умрем...»). – Вечерняя звезда. 1918. 4 марта. Первонач. замысел – трехчастный цикл с теми же ст-ниями – в автографах из портфеля «Аполлона» (АЛ, с датой /Май 1916/) и в альб. А. Д. Радловой (ИРЛИ). Тот же цикл под назв. /Петрополь/ – в ККабл (с пометой /Май 1916. СПб/) и в публ.: Свободный час. 1919. № 2. Вне цикла – в автографе из собр. М. И. Чуванова (Соч., с. 476). В Т – в виде цикла со ст-нием «Не фонари сияли нам, а свечи...». Написано в период встреч с Мариной Цветаевой – вероятно, ее имя дано иносказательно в стихе «Морской воды тяжелый изумруд». *Петрополь*. Переложение имени Петербурга на эллинистический лад, характерное для русской поэзии XIX в. (встречается у Державина, Пушкина).

«В Петрополе прозрачном мы умрем...». Ипокрена. 1918. № 2/3 (см. предшествующее примеч.). – Вечерняя звезда. 1918. 15 марта. В Т – без разделения на строфы. *В Петрополе прозрачном.* Эпитет «прозрачный» входит у М. в круг характеристик подземного царства (наблюдение Ю. Левина), ср. «прозрачная весна» в предшествующем ст-нии и др. *Прозерпина* – владычица подземного царства у римлян (в греч. миф. – Персефона). *Афина... сними... шелом.* Афина (греч. миф.) – покровительница героев, защитница общественного порядка; изображалась в воинском шлеме. Статуя Афины (Минервы) в шлеме и с копьем венчает аттик Публичной библиотеки в Петербурге.

*«Не веря воскресенья чуду...». А. 1916. № 9/10. – Т. В беловом автографе из портфеля «Аполлона» (АЛ) – с отточиями вместо ст. 5–6 и тире перед ст. 3, 23, 25, обозначавшими начало прямой речи, с датой /июнь 1916/. Беловой автограф (ККабл) с той же датой; оставлен пробел на месте слов «овиди степные», которые вписаны позднее (Каблуковым?). Беловой автограф из архива С. Рафаловича, созданный, по данным А. Парниса, летом 1917 г. в Алуште, также с отточиями вместо ст. 5–6 (*68*, с. 199). Здесь, в автографе АЛ и в А в виде цикла из двух ст-ний (строфы 1–2 и 3–4). По сведениям Н. Харджиева (БП, с. 271), ст. 5–6 в первой публ. были сочинены М. Лозинским (устное сообщение М. в 1932 г.). Считаем это вполне вероятным (см. полемику: *49*, с. 379). К. Мочульский, оказавшийся свидетелем попыток адекватного воплощения ст. 5–6, вспоминал: «Я никогда не видел его в таком отчаянии. “Вот я слышу – говорил он:

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим... –

а перед этим – пустое место, как бельмо на глазу. Ничего не вижу”. Простодушно он просил друзей помочь ему, сочинить две строчки. Так они и не сочинились» (*64*, с. 68). Написано в Коктебеле, под впечатлением от предшествовавшей поездки к М. Цветаевой в г. Александров Владимирской губ. 4 июня (о дате см.: *44а*, с. 357). 12 июня Цветаева писала Е. Эфрон о посещении М. (Собр. соч. М., 1988. Т. 2), позднее – в «Истории одного посвящения». В экз. Т (ИРЛИ. Ф. 803) она, зачеркнув ст. 21, надписала /От бирюзового браслета/ – по-видимому, известную ей другую редакцию. См. примеч. «На розвальнях, уложенных

соломой...». Каблуков записал в дневнике 2 янв. 1917 г., имея в виду и это ст-ние (очевидно, его ст. 1–2): «Религия и эротика сочетаются в его душе какою-то связью, мне представляющейся кощунственной... Я горько упрекал его за измену лучшим традициям "Камня" – этой чистейшей и целомудреннейшей сокровищнице стихов...». *Юродивой слободе.* Имеется в виду «юродивое» удаление Иоанна Грозного в Александровскую слободу и отказ от царствования (1564 г.). *Где от браслета Еще белеет полоса* (ср. также указанную выше редакцию «От бирюзового браслета»). Подразумеваются реальные обстоятельства встречи, ср. мотивы в ст-нии Цветаевой (22 сент. 1915):

С большою нежностью – потому
Что скоро уйду от всех –
Я всё раздумываю, кому
Достанется волчий мех
....
Кому – серебряный мой браслет,
Осыпанный бирюзой...

Тавриды пламенное лето... чудеса. С 18 мая до начала июня Цветаева была в Коктебеле (*77*, с. 99). *Пересыпаемый песок.* У М. этот образ символизирует вечность (ср. в ст-нии «В таверне воровская шайка...»); не исключено, что метафорический план связан с высказываниями Вяч. Иванова о символике «пересыпания песка» (*26*, с. 273).

«Эта ночь непоправима...». А. 1916. № 9/10. Беловой автограф с датой /Октябрь 1916/, с пометой С. Маковского о наборе и пунктуационной правкой Лозинского (АЛ); здесь ст. 7, 15 предварены тире, обозначающими начало прямой речи. ККабл с датой и пометой /На погребение матери/. Беловой автограф из архива С. Рафаловича, по сведениям А. Парниса, созданный летом 1917 г. в Алуште (*68*, с. 199). В ст-нии упоминается «отпевание» матери, Флоры Осиповны Мандельштам (ок. 1866–1916), похороненной 28 июля (умерла 26 июля). Обряд совершался в Доме для отпевания умерших еврейского Преображенского кладбища (неточно называемом кладбищенской синагогой). В ортодоксальном иудаизме мертвое тело считается нечистым, и обряда, подобного христианскому, нет; над мертвым читают заупокойные молитвы, но здания, подобные петербургскому Дому для отпевания, не воздвигают – это дань христианской традиции. *Черное солнце* – один из центральных

образов у М.; ему посвящена обширная литература, предположения разноречивы; вероятнее, он символизирует смерть Иисуса Христа (см. примеч. «Скрябин и христианство» в т. 2). *Солнце желтое.* Желтый – цвет, символичный иудаизму (*87*, с. 77–105).

*«Собирались эллины войною...». Вечерняя звезда. 1918. 16 февр., с датой. В С под загл. /1914/ и с неверной датой «1914». Автографы: черновой (АМ) и беловой с датой (РГАЛИ). ДнКабл, с разночтением в рифмовых словах ст. 1, 3: «войной»/«рукой» и сопутствующей записью (2 янв. 1917 г.) о том, что ст-ние отразило «его (поэта. – *А. М.*) нелюбовь, недоверие и неуважение к Англии, которую он считает высокомерной, гордой, самоуверенной и мещански самодовольной нацией-островитянкой, по духу чуждой и даже враждебной Европе (континентальной)». Побудительной причиной явился эпизод военной истории: высадка англо-французских войск в Пирее (Афины) и обстрел Акрополя 18 нояб. 1916 г. Ст. 1–4 говорят о войне другой эпохи – за Саламин между Афинами и Мегарами ок. 600 г. до н. э. О ст-нии как отзвуке борьбы «немецкой» и «английской» партий см.: *32*.

*Соломинка. Тринадцать поэтов. Пг., 1917, с датой /Декабрь 1916/. – Ковчег. Феодосия, 1920. – ВК. – С. В «Ковчеге» и ВК без загл. В ВК «Соломинка» всюду с прописной. Ранняя редакция – в ККабл, здесь ст-ние I без двух последних строф и с пометой /1916. Осень/. В АМ автографы: два черновых, один из них на обороте листа с черновым автографом ст-ния «Собирались эллины войною...», и беловой ст-ния II с датой /Декабрь 1916/. Беловой автограф в РГБ (ф. С. Абрамова), с разрешительным штампом политотдела ГИЗа 25 апр. 1922 г. – источник публ. в журн. «Москва» (1922. № 7). *Соломинка* – Саломея Николаевна Андроникова (1888–1982), грузинская княжна (отсюда образ «голубой крови» в ст-нии II), внучатая племянница поэта А. Н. Плещеева. В ее квартире на 5-й линии Васильевского острова (д. 62, кв. 5, см. также: *58*, с. 258) собирался кружок друзей (в котором ее называли Саломкой, ср. в ст-нии: *соломка*), включавший поэтов. К ней обращал стихи С. Л. Рафалович, ее «друг» тех лет (с мужем в это время она была в разводе, см.: *33*, с. 10–15). Ее вместе с «блиставшими в тринадцатом году» Ахматовой, Судейкиной, Палладой назвал Г. Иванов в ст-нии «Январский день. На берегу Невы...» (1922). Ахматова обратила к ней ст-ние «Тень»:

Как спорили тогда – ты ангел или птица?
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь черные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.

М. обратил к ней также «Мадригал» («Дочь Андроника Комнена...»). *В огромной спальне.* Андроникова вспоминала: «у меня была божественной красоты спальня с видом на Неву, она выглядела как ледяной замок, и Мандельштам обомлел, заглянув в нее» (*13*, с. 23). *Всю смерть ты выпила.* Источник этого образа – «трагическая буффонада» В. Хлебникова «Ошибка смерти», изданная в нояб. 1916 г. (БП, с. 272), где Барышня Смерть пьет через соломинку. *Саломея.* Здесь – соименная Андрониковой виновница смерти Иоанна Предтечи (Мф 14: 6). В юности М. написал стихи о библейской Саломее под впечатлением музыки Р. Штрауса (*30*, с. 41). *Ленор* (Линор) и *Лигейя* – женщины, унесенные ранней смертью, персонажи одноименных ст-ния и новеллы Э. По. *Серафита* (Серафит) – андрогин, персонаж мистического романа О. Бальзака «Серафита». Перечень этих имен, возможно, восходит к статье Т. Готье о Ш. Бодлере (БП, с. 272). *Двенадцать месяцев поют.* Источник этого образа, вероятно, – старинные часы со знаками зодиака на циферблате.

*Декабрист. Новая жизнь. 1917. 24 дек. (с опечатками). – Исход. Пенза, 1918, с датой /1917 г. Июнь/. – Т. ККабл (без загл., ранняя редакция). В рец. В. Жирмунский писал о ст-нии: «какие характерные детали воссоздают настроение освободительной войны против Наполеона и зарождающегося русского либерализма: “черные” квадриги нового Цезаря, дубовые рощи просыпающейся Германии, “голубой” пунш в стаканах молодых мечтателей, “вольнолюбивая гитара” – воспоминание рейнского похода» (Вестн. лит. 1921. № 4/5. С. 4). *Лорелея* – дева-сирена Рейна, чаровавшая рыбаков своим пением, а затем губившая их. *Глубокомысленная и нежная страна* («Другие редакции») – Германия.

*«Золотистого меда струя из бутылки текла...». Т. Впервые: Знамя труда. 1918. 8 июня. Текст сложился окончательно сразу (автограф из архива В. А. Стравинской), но в периодических изданиях воспроизводился с мелкими погрешностями, вызванными записью по памяти и типографскими неисправностями: «пройдешь» вм. «идешь» (первая публ.;

Моск. понедельник. 1922. 11 сент.), «надвинуты» вм. «опущены» (Посев. Одесса, 1921; Свиток. М; Л., 1924. Кн. 3), пропуском строфы 5 («Свиток») и др. Исправный текст впервые в Т. Под загл. /Виноград/ в первой публ. и «Моск. понедельнике». ККабл. Черновой автограф (АЛ). Беловой автограф с посвящением /Вере Артуровне и Сергею Юрьевичу С<удейкиным>/ и пометой /11 августа 1917. Алушта/ в собр. В. А. Стравинской; воспроизведен фототипически в кн.: Igor and Vera Stravinsky. New York, 1982. С. 34, с пояснением Стравинской (цит. в переводе): «Летом 1917 г. мы жили в Алуште. Вдруг появился Осип Мандельштам. Мы повели его на виноградник – нам больше нечего показать вам. И нам нечем было угостить его, кроме чая с медом. Без хлеба. Но беседа была живая, не о политике, но об искусстве, литературе, живописи... 11 августа он пришел снова и принес свои стихи» (текст дневника Стравинской см.: *33*, с. 19). По этому автографу текст напечатан в журн. «Орион» (Тифлис. 1919. № 6), с опечатками. В. А. Судейкина (урожд. де Боссе, в первом браке Шиллинг, в третьем – Стравинская; 1888–1982) и художник С. Ю. Судейкин – петербургские знакомые поэта. *Я сказал... порядке.* В образах отозвались строки из ст-ния В. Комаровского «Закат»:

Мне плоть мерещится изрубленных бойцов,
В кудрявой зелени мелькают чьи-то лица

(*91*). *Не Елена, другая... вышивала.* Елена – героиня «Илиады»; подразумевается Пенелопа, жена Одиссея, обманывавшая женихов тем, что каждую ночь распускала пряжу («вышивала» – поэтическая вольность). Ср. в оде М. Кузмина «Враждебное море» (1917):

В Елене – все женщины: в ней
Леда, Даная и Пенелопа.

«Еще далёко асфоделей...». Советская страна. 1919. 3 февр. (с опечатками). Здесь и в многочисленных перепечатках – под загл. /Меганон/ и с таким же написанием слова в тексте. Дальнейшие изменения текста связаны с выяснившимся точным названием мыса между Алуштой, где писалось ст-ние, и Коктебелем – Меганом (близ Судака), однако введение его в стихи (Т, под загл. «Меганом», и С) обедняло соответствующую рифму. В ВК с написанием «Меганон» (без загл.). Печ. по С. Беловые автографы (оба без загл., с написанием «Меганон»): ККабл, с пометой /16 августа 1917. Алушта/; АЛ, в виде цикла из двух ст-ний (строфы 1–2 и 3–4), с датой. А. Морозов поде-

лился с нами предположением о том, что ст-ние было навеяно ожиданием встречи с М. Цветаевой (состоялась в Феодосии в конце сент. – начале окт., см.: *35*, с. 193), о чем свидетельствуют перекликающиеся со ст-нием «Не веря воскресенья чуду...» мотивы ст. 7–8, 27–28. *Асфоделей... весна.* Асфодели (сем. лилий) – в Греции цветы траура: на асфоделевых лугах в Аиде, по греч. мифам, находят приют души умерших; см. примеч. «В Петрополе прозрачном мы умрем...». *Душа моя вступает... в легкий круг.* Близкие образы в стихах Жуковского, Фета, Блока (*117*, с. VIII). Ср. у Фета:

Напрасно моря даль светла,
Душа в тот круг уже вступила,
Куда неведомая сила
Ее неволей унесла

(«На корабле»). *Персефона.* См. примеч. «В Петрополе прозрачном мы умрем...». *Черный парус* – траурный знак в мифе о Тесее, в строках – перекличка со ст-нием Цветаевой «Ты, срывающая покров...» (26 июня 1916):

Слышу страстные голоса –
И один, что молчит упорно.
Вижу красные паруса –
И один – между ними – черный.

«Среди священников левитом молодым...». Страна. 1918. 7 апр., с опечатками. В следующих публ. посвящение не могло воспроизводиться по цензурным условиям, из-за них же в дальнейшем слово «Суббота» воспроизводилось со строчной (правильно – в альм. «Возрождение»: М., 1922. Кн. 1). Написано в нояб. 1917 г.: в ККабл записано перед ст-нием «Кто знает, может быть, не хватит мне свечи...», так датированном. В ККабл под загл. /Иудеям/ и с мелкими разночтениями, вызванными, вероятно, записью по памяти. Антон Владимирович *Карташев* (1875–1960) – деятель Религиозно-философского общества в Петербурге, один из близких знакомых старшего друга М., С. П. Каблукова (см. примеч. «Убиты медью вечерней...»). С 1 сент. – министр исповеданий Временного правительства. После Октября содержался в карцере тюрьмы Петропавловской крепости. Вместе с Ахматовой М. принимал участие в вечерах в пользу арестованных членов Временного правительства, прошедших в декабре в Академии художеств. Карташеву в те же дни посвятил стихи С. Соловьев:

Ты над Русью рыдал, как над Троей рыдала Кассандра,
И, прощаясь с тобой, обреченным на казнь и тюрьму,
И вздыбившийся конь, и сияющий столб Александра
Уходили во тьму

(«Он не лжет – этот ангел на площади града Петрова...» // Накануне. М., 1918. № 3). *Среди священников... оставался.* Имеется в виду то обстоятельство, что Карташев, окончив Духовную академию, не принял сана священника, занялся ученой деятельностью и вскоре отошел от государственной церкви, отдавшись строительству «религиозной общественности». Мнение о том, что «под левитом О. М. имел в виду себя» (*49*, с. 98), не подтверждается сюжетом ст-ния. *Ночь иудейская... Иудеи.* У Карташева в «Реформе, реформации и исполнении церкви» речь идет об «иерархах и богословах» православия, воспринявших от иудаизма лишь «религиозный акосмизм» (Пг., 1916. С. 32–36). *Храм разрушенный угрюмо созидался.* Образ отозвался в ст-нии Гумилева «Память»:

Я – угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле.

Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи. Подразумевается Моисей, взывающий к народу и старейшинам израильским об исходе (Исх 6: 9). *Евфрат* – река в Передней Азии, здесь поэтическая вольность – подразумевается Египет. *Субботу пеленали.* См. Ин 19: 40. Ср. в ст-нии Гумилева «Вечное» (сб. «Чужое небо»): «Но жду Субботы из Суббот...». Н. Струве отметил «особенную любовь» Карташева «к утрени Великой Субботы, стихиры которой даже пелись на его отпевании» (*86*, с. 24). *Семисвещником... Ерусалима ночь.* Образ восходит к обряду празднования Пасхи у иудеев, когда перед храмом зажигали семисвечник – менору.

«Твое чудесное произношенье...». Творчество. Харьков, 1919. № 3, без даты. Датируется по С. В Т с датой /1918/. Обращено к Анне Ахматовой. «Особенно часто я встречалась с Мандельштамом в 1917–18 г., когда жила на Выборгской у Срезневских (Боткинская, 9) – не в сумасшедшем доме, а в квартире старшего врача Вячеслава Вяч. Срезневского, мужа моей подруги Валерии Сергеевны. Мандельштам часто заходил за мной, и мы ехали на извозчике по невероятным ухабам революционной зимы...» (7, с. 194). Ст. 1–2 навеяны образами ст-ния Ахматовой «Вижу, вижу лунный лук...» (1915):

Не с тобой ли говорю
В остром крике хищных птиц...

Я тоже на земле живу. По записи П. Н. Лукницкого со слов М., «фраза эта была сказана А.А. в разговоре с Мандельштамом, и он ее вставил в стихотворение» (*45*, с. 121).

*«Что поют часы-кузнечик...». Обвалы сердца. Севастополь, 1920. – Т (без даты). – С. В первой публ. под загл. /В горячке соловьиной/, текст идентичен основному. В своем экз. Т Ахматова пометила это ст-ние 1917 г. (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме). 1-я строфа «обращена», по свидетельству поэта, к Ахматовой (*45*, с. 121). В мемуарной записи Ахматова раскрыла реалии, за ней стоявшие: «Это мы вместе топили печку; у меня жар – я мерю температуру» (*7*, с. 195). *Черемуха*. Образ, восходит, вероятно, к «Беседке муз» Батюшкова. Ср. у Ахматовой: «Черемуха мимо / Прокралась, как сон...» («Путем всея земли», 1940). Образ повторяется в «Других берегах» В. Набокова: «и опять в июне... когда весело цвела имени безумного Батюшкова млечная черемуха...» (гл. 1, 4).

«Когда на площадях и в тишине келейной...». Знамя. 1919. № 2, под загл. /Рейнвейн/. В последующих публ. – без загл., текст не изменялся. Датируется по Т и С. *Рейнвейн*. Здесь – напиток, символизирующий потустороннюю печаль. *Упрямая подруга*. Возможно, подразумевается Ахматова, ср. в ее стихах конца 1917 г.: «И сразу вспомнит, как поклялся он / Беречь свою восточную подругу» («Когда о горькой гибели моей...»).

*Кассандре. Воля народа. 1917. 31 дек. Для публ. в газ. «Свободный час» (1919. № 1) поэт, как можно предполагать по тексту ст. 15–16, предоставил раннюю редакцию. В С – подцензурный текст (только строфа 1, без загл.). В наборной рукописи С – строфы 1–4 (опущена строфа 5, в которой дан образ Керенского), ст. 15–16 представлены контаминированной редакцией: /Лети, безрукая победа, Зачумленная зима/. На этом листе – правка редактора, приводящая к печатному тексту. Местонахождение «автографа первонач. редакции из собр. С. И. Бернштейна», указанного в сигнальном экз. БП 1968 г. (частное собр.), ныне неизвестно. Печ. по первой публ. Обращено к Ахматовой, которая датировала ст-ние

декабрем и назвала ст. 9–12 «странным, отчасти сбывшимся предсказанием» (7, с. 194). *Кассандра* – в греч. миф. дочь Приама и Гекубы. По «Агамемнону» Эсхила, дар пророчества получила от Аполлона, который, когда Кассандра отвергла его любовь, сделал так, что ее пророчествам перестали верить. Один из главных персонажей мифов Троянского цикла. Персонификация основана на многочисленных мотивах стихов Ахматовой (*105*; *113*). Один из мотивов: «Громко кличу я беду: Ремесло мое такое» («Нет, царевич, я не та...», 1915). Ср. в ее собственном признании: «Вы помните вещую Кассандру Шиллера. Я одной гранью души примыкаю к темному образу этой великой в своем страдании пророчицы» / Письмо С. фон Штейну, 1907 (Новый мир. 1986. № 9. С. 203). *Я вижу человека... закон.* Речь идет об А. Ф. Керенском (см. также примеч. «Когда октябрьский нам готовил временщик...»). «Я вижу человека» – перифраз слов Пилата «Се человек» (Ин 19: 5). *Сияло солнце Александра* («Другие редакции»). Ахматова видела в этом образе Пушкина: «Так он (Мандельштам. – *А. М.*) передает мои слова» (7, с. 198). Лучше мотивировано предположение А. Морозова: в этом стихе дан образ императора Александра I (см. также примеч. «Какая вещая Кассандра...»).

«В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа...». Ипокрена. 1918. № 2/3, без разделения на строфы. – Т (с опечаткой). Автограф в альб. В. И. Кривича-Анненского (РГАЛИ), где дате записи /7 мая 1918/ предшествовала зачеркнутая /Янв. 1918/. Автограф в альб. Н. Э. Радлова (собр. Л. Н. Радловой) с неверной датой /1917/ (та же дата в С). В Т с датой /1918/. В альб. Кривича с эпиграфом из ст-ния Гейне «Двойник»: /Du, doppelgänger! du, bleicher Geselle!/ (перевод: Ты, двойник! Ты, бледный спутник!). Автограф в собр. М. Чуванова под загл. /Шуберт/, с разночтением (опиской?) в ст. 5 /Старинной жизни мир/ (Соч., с. 481). По словам поэта (*45*, с. 121), «посвящено» Ахматовой; написано под впечатлением от концерта певицы О. Н. Бутомо-Названовой (7, с. 194), состоявшегося 30 дек. (установлено Р. Тименчиком), на котором Ахматова и М. были вместе. В рец. В. Жирмунский писал о ст-нии: «такое же проникновение в музыкальную стихию немецкого романтизма – песни Шуберта на слова Гете и Вильгельма Мюллера и характерный для позднего романтизма национальный ландшафт – шум отдаленной мельницы на ручье, запах цветущих лип и песни соловья... В таких синтетических описаниях и характеристиках

искусство Мандельштама проявляется прежде всего в выборе деталей. Поэт не стремится к смутному эмоционально-лирическому воздействию; он строит стихотворение свободно и сознательно, как обдуманно и расчетливо... организованное целое» (На путях к классицизму // Вестн. лит. 1921. № 4/5. С. 3–4). *Валгаллы белое вино*. В скандинавской миф. Валгалла – жилище (на небе, «в раю») храбрых воинов, павших в битве; белое вино в ст-нии символизирует отрешенность от «земного».

«На страшной высоте блуждающий огонь...». Вечерняя звезда. 1918. 6 марта, с датой /Март 1918/. – ВК. Изменения редакции касались падежных окончаний в ст. 7 (в первой публ. – «воды и неба брат») и замены в ст. 6 «летает» (в первой публ.) на «мерцает», с нашей точки зрения, творческой. Пунктуация в ст. 7 и 15, имеющая существенный смыслоразличительный характер, дается по первой публ. как более точная – по С. Бройду, смысл ст. 7 таков: «О, если ты звезда <а не блуждающий (болотный) огонь>...» (*112*, с. 63). Пунктуация ст. 14 – по Т. Картина «умирающего», разрушающегося в этот революционный год Петербурга воссоздается также в «Египетской марке» (см. в гл. 7 о «враждебных поколеньях»). *Петрополь* – см. примеч. «Мне холодно. Прозрачная весна...». *Земные сны горят*. Стих перекликается с тютчевскими «Как океан объемлет шар земной, / Земная жизнь кругом объята снами...», образ «чудовищного корабля» в ст. 9 – с тютчевским «волшебным челном» (*94*, с. 29). *Прозрачная весна*. См. примеч. к ст-нию «В Петрополе прозрачном мы умрем...».

«Когда в теплой ночи замирает...». Жизнь. 1918. 30 июня. В С с опечаткой в ст. 1 («темной» вм. «теплой»), исправленной в авторском экз. С (СХ). Два беловых автографа (РГАЛИ), один из них с пометой /Май 1918. Москва/. *Геркуланум* – город в Италии, засыпанный вулканическим пеплом при извержении Везувия в 79 г. и потому при раскопках явивший свой исторический, нетронутый облик. *Дорический ствол*. Здесь – колонны дорического ордера; подразумевается Большой театр в Москве.

«Прославим, братья, сумерки свободы...». Знамя труда. 1918. 24 мая, с пометой /Москва, май 1918/. В С с цензурными купюрами (ст. 1–2, 9–10), восполненными в авторском экз. (СХ), и с опечаткой в ст. 5. В первой публ. под загл. /Гимн/; в «Известиях Временного рабоче-крестьянского пра-

вительства Украины» (Харьков, 1919. 9 марта) и Т – /Сумерки свободы/. Печ. без загл. согласно С. Имея в виду это ст-ние, Ахматова писала: «Революцию Мандельштам встретил вполне сложившимся и уже, хотя и в узком кругу, известным поэтом... одним из первых стал писать стихи на гражданские темы... слово *народ* не случайно фигурирует в его стихах» (7, с. 194). Ст-ние «прошло через всю литературную Россию» (Перцов В. Новое в современной русской поэзии: (Письмо из Москвы). Рига, 1921. С. 6). Зачин ст-ния вводит одну из главных тем «Камня» – «свободы», разрабатывая картину ее умаления, «сумерек». «Великолепный финал» Д. Святополк-Мирский сравнил со знаменитыми в древности, вошедшими в пословицу словами из «Фарсалии» Лукана: «Дело победителей было угодно богам, но дело побежденных – Катону» (*79*, с. 79). По сообщению И. Поступальского, поэт в конце 1920-х гг. говорил, что когда ст-ние писалось, у него были «какие-то ассоциации с “Варягом”. Вот и решайте, чего в стихах больше – надежды или безнадежности. Но главное – это пафос воли» (Соч., с. 483). *Роковое бремя, Которое в слезах народный вождь берет.* Образ исчерпывает мотивы двух библейских цитат из краткой речи патриарха Тихона, сказанной им 5 (18) нояб. 1917 г.: «Ваша весть об избрании меня в Патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано: “Плач и стон и горе”» (Иез 2: 10); «Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов... в настоящую тяжелую годину! Подобно древнему вождю еврейского народа – пророку Моисею, и мне придется говорить ко Господу: “И почему я не нашел милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего?.. ” (Числ 11: 11)» (Вечер. 1917. 13 (26) нояб.), см. подробнее: *58*, с. 73–81. Ср. в переводе ст-ния М. Бартеля «Петербург»: «народ, как вождь старинный, Поднимает власти бремя». *В ком сердце есть – тот должен слышать, время, Как твой корабль ко дну идет.* Подразумевается государство – «корабль времени». Цитируя эти строки, поэт писал: «Время хочет пожрать государство... Сострадание к государству, отрицающему слово, – общественный путь и подвиг современного поэта» («Слово и культура»). *Мужайтесь, мужи.* Ср. в статье «О природе слова»: «Общественный пафос русской поэзии до сих пор поднимался только до гражданина, но есть более высокое начало, чем “гражданин”, – понятие “мужа”».

*Tristia. Пути творчества. 1919. № 4. – Гермес. Киев, 1919. Сб. 1, со строкой отточий между строфами 2 и 3 (см. примеч.

«Всё чуждо нам в столице непотребной...»). – Дракон. Пб., 1921. Автограф строфы 2 с датой записи и пометой /Киев, 27 апреля 1919 г./ – в альб. Мальвины Марьяновой (РГАЛИ). Под загл. /Tristiae/ в «Драконе», /Tristia/ – в Т и С (по которым даем загл.), в ВК – без загл. Адресат ст-ния неизвестен. Н. М. писала: «О ней я почти ничего не знаю. Только то, что она имела какое-то отношение к балету, скучала в Москве по родному Петербургу. Мандельштам видел ее, когда ехал из Грузии в Петербург через Москву, где на несколько дней задержался...» (*49*, с. 55). Загл. повторяет «Скорбные элегии» Овидия, мотивы которых, особенно элегии 3 (из кн. 1), варьируются в строфе 1 ст-ния, наряду с мотивами элегии 3 Тибулла (из кн. 1) в вольном переводе Батюшкова:

.... Час гибельный настал,
И снова Делия, печальна и уныла,
Слезами полный взор невольно обратила
На дальный путь. Я сам, лишенный скорбью сил,
«Утешься» – Делии сквозь слезы говорил...

(*12*, с. 144). *Последний час вигилий городских*. Вигилии – обходы улиц ночной стражей в древнем Риме; здесь подразумевается последний, предутренний обход. *Всё было встарь... узнаванья миг*. Объясняя свою поэтическую концепцию, М. писал: «Когда любовник в тишине путается в нежных именах и вдруг вспоминает, что это уже было: и слова, и волосы, и петух, который прокричал за окном, кричал уже в Овидиевых тристиях, – глубокая радость повторенья охватывает его...» («Слово и культура»). *Эреб* (греч. миф.) – сын Хаоса и брат Ночи; персонификация мрака.

*«На каменных отрогах Пиэрии...». Неделя лит. и искусства. Киев. 1919. № 1 (сент.?), с датой: 10 мая 1919 (сообщено Р. Тименчиком). О второй публ. – в альм. «К искусству!» (Феодосия, 1919. № 1) известно, согласно сообщению В. Купченко, лишь по газетному анонсу. Последующие публ., с изменениями в тексте: Пути творчества. 1920. № 6/7. – Дракон. Пб., 1921. – Т (всюду под загл. /Черепаха/). Печ. без загл. соответственно ВК и С. Стихи, по свидетельству Н. М., писались вскоре после 1 мая 1919 г., которое в их семье считалось «свадебной датой»: «нас благословил в греческой кофейне <Владимир> Маккавейский, и мы считали это вполне достаточным, поскольку он был из семьи священника. Тот же Маккавейский,

в той же кофейне, в тот же день, когда мы отдыхали после хорошо проведенной ночи, подсказал Мандельштаму слово “колесо” для наших брачных стихов» (*49*, с. 98). Ю. Терапиано в воспоминаниях (*88*, с. 111) писал о том, что два последних стиха были подсказаны Маккавейским, что обоснованно ставилось под сомнение К. Тарановским (*87*, с. 137, 156). В ст. 5–6 запечатлен облик Н. М. (тогда еще не ставшей женой поэта). В ст-нии варьируются мотивы и образы античной лирики, особенно поэтов VII–VI вв. до н. э. Алкея и Сафо, переводы которых, выполненные Вяч. Ивановым, М. читал в 1919 г. в Киеве. Пребыванием на Украине и чтением стихов Шевченко навеяны украинизмы «лирники», «криница» (колодец или родник). *Пиэрия* – область во Фракии, где, по одному из греч. мифов, великан Пиэр дал имена музам. *Ионийский мед*. Мед – в античной лирике символ поэзии; Иония – область в Древней Греции; подразумевается, по-видимому, ионийский лад (гармония). *Черепаха-лира*. Первую лиру, по греч. мифу, сделал Гермес из панциря черепахи. *Эпир* – область в Македонии. *Терпандр* – греч. поэт (VII в. до н. э.), усовершенствовавший лиру. *Святые острова... легко*. Образы восходят к «островам Блаженных» Гесиода и «золотого века» у Горация и Вергилия (*40*, с. 203–204).

«В хрустальном омуте какая крутизна!..». Т. Печ. по Т с исправлением опечатки (ошибочно: «Палестины») по автографу (РГАЛИ. Ф. 3265). В автографе поправка: /часослова/ вм. /псалмопевца/. В С по цензурным мотивам помещена лишь первая строфа, о чем свидетельствует наборная рукопись, где опущенные строфы заменены строкой отточий (РНБ. Ф. 474). Образы ст-ния связаны с коктебельским пейзажем, особенно скалами Кара-Дага (*35*, с. 194). *Сиенские горы* – в Центральной Италии. Ср. в высказывании о Тютчеве: «насквозь одухотворенное отношение русского поэта к геологическому буйству альпийского кряжа объясняется именно тем, что здесь буйной геологической катастрофой вздыблена в мощные кряжи своя родная, историческая земля...» («Пшеница человеческая»). *Верую* (Credo) – раздел мессы. *Псалмопевец* – царь Давид (ср. в ст-нии «Канцона»). *Палестрина Дж. П.* (ок. 1525–1594) – выдающийся композитор, реформатор католической церковной музыки; автор музыки к псалмам. Похоронен в соборе св. Петра в Риме, где в надгробной надписи назван «царем музыки».

*«Сестры – тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...». Ковчег. Феодосия, 1920, с пометой /Коктебель.

Март 1920/. – ВК. Автографы: ПС; альб. Д. И. Шепеленко (РГАЛИ. Ф. 2801), с датой записи /6 декабря 1922/ и пометой /Москва/. *Вчерашнее солнце на черных носилках несут.* Ахматова считала этот образ связанным со смертью Пушкина (*7*, с. 198), вероятнее, однако, что речь идет о смерти человека вообще, как считала Н. М. (*53*, с. 145). *Время вспахано плугом.* Под «плугом» здесь подразумевается поэзия, см. в статье «Слово и культура» (1920): «Поэзия – плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху». *Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела.* Ср. в ст-нии Жуковского «Розы»: «Радость и скорбь на земле знаменуют одно: их в единый / Свежий сплетает венок Промысел тайной рукой...» (*117*, с. 337). *Чем вымолвить слово: любить* («Другие редакции»). Редакция стиха была изменена после критических замечаний: Гумилев говорил о ней: «сказано по-негритянски» (*45*, с. 111) – и подсказал замену (*66*, с. 144); Н. Оцуп писал о комическом эффекте, который вызывает употребление «неопределенного наклонения вместо изъявительного» (Цех поэтов. Пг., 1922. Кн. 3. С. 71). Образ явился реминисценцией из ст-ния Бальмонта «Гимн огню»: «И устами остывшими слово “любить” / Повторять» (*117*, с. 90).

«Вернись в смесительное лоно...». Т, без даты. Датируется по С. Обращено к Н. М., которая вспоминала: «Вероятно, наша связь остро пробудила в нем сознание своей принадлежности к еврейству... Евреев же он ощущал как одну семью – отсюда тема кровосмесительства... Как-то ночью, думая обо мне, он вдруг увидел, что это я должна прийти к нему, как дочери к Лоту» (*49*, с. 193). Эпизод с Лотом и его дочерьми – Быт 19. *Лия* – жена библейского Иакова (Быт 29). *Илион* – одно из названий Трои. *Елена* – см. примеч. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...».

«Веницейской жизни, мрачной и бесплодной...». Т. – Альманах Цеха поэтов. Пг., 1921. Кн. 2 (первая публ.; без разделения на строфы). – ВК. В предшествующих ВК публ. – с меняющей смысл пунктуацией в ст. 5 /Тонкий воздух, кожи синие прожилки/. Под загл. /Веницейская жизнь/: Т; в записи О. Арбениной на обороте договора с изд-вом «Петрополис» (РГАЛИ, подпись – автограф) и в ПС. Под загл. /Венеция/ – Огонек. 1923. № 7 и в автографе ИРЛИ, с пометой /Коктебель. 1920/ (загл. зачеркнуто). В записи Арбениной и ПС пунктуация ст. 5 соответствует основному тексту. Писалось в Отузах (*59*,

с. 95). После выступления М. в Клубе поэтов 21 окт. 1920 г. А. Блок записал в дневнике: «Гвоздь вечера – И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, “жидочек” прячется, виден артист. Его стихи возникают из снов – очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему). Его “Венеция”. По Гумилеву – рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое» («артист», «человек-артист» – наивысшая степень оценки у Блока этого периода, см. определение в финале статьи «Крушение гуманизма»). *Голубое дряхлое стекло* – венецианское стекло. *Голубь залетел в ковчег.* Благоприятное предзнаменование, по аналогии с возвращением голубя в Ноев ковчег (Быт 8: 11). *Тяжелее платины Сатурново кольцо.* М. родился под знаком Козерога, «правящей» планетой которого, согласно астрологии, является Сатурн; таким образом, здесь речь идет о предначертанной судьбе поэта. *Сусанна старцев ждать должна.* Подразумевается библейский сюжет о добродетельной жене, оклеветанной старцами из злобы (Дан 13). *Черный Веспер.* Веспер – «вечерняя» Венера.

Феодосия. Т, в виде строф 4–5, без загл., с датой /1919/. – Культура и жизнь. 1922. № 4, с датой /1920–1922/ (первая публ.). О публ. в альм. «К искусству» (Феодосия. 1919. № 1) известно лишь по газетному анонсу. Образы перекликаются с прозаическими из очерка «Бармы закона». *«Яблочко»* – фольклорные куплеты «Эх, яблочко, куда ты котишься...». *Месмерический* – от имени основателя учения о «животном магнетизме» Ф. Месмера. *Недалеко от Смирны и Багдада.* Э. Миндлин записал в Феодосии слова поэта «о... совместной поездке к Босфору. В то время такая поездка из Феодосии не представляла никакого труда – были бы деньги!» (*59*, с. 93).

*«Когда Психея-жизнь спускается к теням...». Т. – Лирический круг. М., 1922. Вып. 1 (первая публ.). – Накануне. 1923. 8 апр. (Лит. прил. № 47), в составе цикла со ст-ниями «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» и «Возьми на радость из моих ладоней...» под общим загл. /Летейские стихи/. – БП, где напечатано с поправкой, внесенной 22 марта 1937 г. в авторский

экз. С (СХ). Печ. по БП, с устранением искажения в числе (правильно – единственное) и падеже слов «прозрачныя дубравы», возникшего при переходе на новую орфографию (предложение М. Л. Гаспарова). Автографы: ПС; альб. А. И. Ходасевич (РГАЛИ), с датой и пометой /19 дек. 1920. Петербург/; СИ. Список Л. Ландсберга (ИРЛИ. Ф. 562). В указанном выше авторском экз. С вписан вариант последней строфы («Другие редакции»), о нем, по свидетельству Н. Харджиева, поэт сказал, что «Харон в качестве хозяина *парома* уместен только в пародийных стихах», в связи с чем «этот вариант был отброшен» (БП, с. 278). По воспоминаниям О. Арбениной, с которой поэт встречался в то время, ст-ние – рассказ «о моем представлении... о переходе на тот свет – роща с редкими деревьями...» (*6*, с. 549). Как показала И. Ковалева, основные мотивы ст-ния следуют сюжету античной «Сказки об Амуре и Психее» – вставной новелле в романе Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел» (*31а*). *Психея* – олицетворение души (по греч. мифам). *Персефона* – см. примеч. «В Петрополе прозрачном мы умрем...». *Стигийский* (греч. миф.) – от названия реки Стикс в царстве мертвых. *Дохнет на зеркало.* В старину для того, чтобы определить, жив ли умирающий, к его губам подносили зеркало – при дыхании оно мутнело. *Лепешку медную с туманной переправы.* Подразумевается монета, которую, по верованиям греков, клали в рот умершему; она предназначалась перевозчику Харону как плата за переправу через Стикс.

*«Я слово позабыл, что я хотел сказать...». Т. – Дом искусств. 1921. № 1, с датой /Ноябрь 1920/ (первая публ.). – Накануне. 1923, 8 апр. (Лит. прил. № 47), в цикле (см. предшествующее примеч.). – ВК. В Т под загл. /Ласточка/, в ПС – /Слово/. Первонач. черновой набросок (ИРЛИ. Ф. 172), с пометой М. Слонимского: «Черновик стихотворения Мандельштама, которое он писал в моей комнате в Доме Искусств» (о Мандельштаме Слонимский писал также в мемуарах «Старшие и младшие»). Черновой автограф с пометой /Ноябрь 1920. Петербург/ и записью Н. Лернера о том, что автограф получен им от поэта 5 нояб. (23 окт.) 1920 г. (РГАЛИ. Ф. 300; у Лернера описка в числе года). Запись строфы 5, датированная 29 марта 1921 г. (РГАЛИ). В альб. Э. Голлербаха (РНБ. Ф. 207) поэт записал строфы 5–6 (30 нояб. 1920 г.) и строфу 1 (12 янв. 1921 г.), в альб. С. Алянского 27 янв. 1921 г. – ст. 19–20 (*9*, с. 140). Ст-ние создавалось в Доме искусств, где поэт жил в 1920–1921 гг. (*66*,

с. 139–141). В сюжете ст-ния воплощен сам творческий процесс его создания: мучительные и безуспешные попытки найти точное, единственно нужное слово, которое должно стать в стих, их безуспешность («не выдумать его») – оно должно явиться из подсознания «само». В образах поэт опирается на античные тексты и мифологию – древнегреческие представления о памяти-забвении (последнее функционально приравнивается к смерти, поэтому в ст-нии появляются образы Аида). Образы памяти («легкой Мнемозины») и Антигоны в близком контексте – в статье «Скрябин и христианство». С поиском «слова» связан мотив его «узнавания» (см. также в ст-нии «Tristia»), восходящий к категориям «Поэтики» Аристотеля. Идейной общностью объясняется совпадение мотивов: в одном из «Писем о русской поэзии» Гумилева – «ему была уже закрыта радость узнавания» (А. 1912. № 6. С. 52 – о Вяч. Иванове), «Он хотел вспомнить “невспоминаемое слово”, и порою мы действительно верим, что оно уже мучило его губы» (А. 1916. № 1. С. 29 – о М. Лозинском), в ст-нии В. К. Шилейко «Музе» (1914): «И на губах горит гроза / Еще не найденного слова» (наблюдение В. Топорова). *Прокинется* – украинизм, со значением: проснется, очнется. *Антигона* – героиня греческих трагедий, заплатившая жизнью за то, чтобы исполнить долг – похоронить тело брата, брошенное врагами на поле битвы. *Стигийский* – см. примеч. к предшествующему ст-нию. *Зрячих пальцев стыд И выпуклую радость узнаванья.* Ср: «Слепой узнáет милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнаванья, брызнут из глаз его после долгой разлуки... Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это его осязает слух поэта» («Слово и культура»). *Аониды* – музы.

*«В Петербурге мы сойдемся снова...». Т, с датой /25 ноября 1920/. – С. Здесь, кроме творческой правки, имеется цензурная: замена эпитета «советской» на «январской», отсутствует дата, помещено среди стихов дооктябрьских лет, что, по воспоминаниям И. Поступальского, засвидетельствовано поэтом (*73*, с. 562). Не вошло в ВК, по свидетельству Н. М., также из-за вмешательства цензуры (*49*, с. 54). Печ. по С с устранением цензурных вмешательств по наборной рукописи (ИРЛИ. Ф. 124) и Т. Черновой автограф завершенной первонач. редакции, в основном соответствующий тексту Т, – в СИ, с датой /24 ноября 1920/. И. Одоевцева цитировала ст. 14: «Я ми-

лиционеров не боюсь» и писала, что стих в печати был изменен «для цензурности» (*66*, с. 348). *В Петербурге мы сойдемся снова.* Комментируя сведения БП о том, что ст-ние обращено к О. Арбениной, Н. М. привела ответ поэта на вопрос о том, к кому обращено ст-ние: не кажется ли ей, что эти стихи обращены не к женщинам, а к мужчинам; ст-ние обращено к друзьям-поэтам (*49*, с. 54–55). Так же понял их Г. Иванов, откликнувшийся ст-нием «Четверть века прошло за границей...»:

Но поет петербургская вьюга
В занесенное снегом окно,
Что пророчество мертвого друга
Обязательно сбыться должно.

Г. Адамович писал, что в ст-нии «магически выражено» то, что «Петербург помнящие связаны некоей круговой порукой» (Новое рус. слово. 1959. 6 дек.). А. Морозов поделился с нами предположением, что подтекстом первой строфы было, вероятно, ст-ние Т. Шевченко из его петербургского цикла, обращенное к друзьям:

Чи ми ще зійдемося знову?
Чи вже навіки розійшлись?
І слово правди і любові
В степи і дебрі рознесли!

М. читал стихи Шевченко в Киеве в 1919 г. (см. примеч. «На каменных отрогах Пиэрии...»). Ст. 13–14 и театральные реминисценции вызваны встречами с О. Арбениной, которая писала, что эти строки связаны с их ночными, после окончания спектаклей, прогулками по Петербургу, – «у меня был ночной пропуск» (*6*, с. 549). *Словно солнце мы похоронили в нем.* Как можно судить по статье «Скрябин и христианство», подразумевается несбывшееся отпевание Пушкина в Исаакиевском соборе: «Пушкин и Скрябин – два превращения одного солнца, два перебоя одного сердца. Дважды смерть художника собирала русский народ и зажигала над ним свое солнце... Мраморный Исакий – великолепный саркофаг – так и не дождался солнечного тела поэта». *Блаженное, бессмысленное слово.* Возможно, здесь – отзвук поэтической концепции Гумилева, известной по изложению в дневнике А. Блока: «В начале было Слово, из Слова возникли мысли, слова, уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, источником Его; и все кончится Словом – все исчезнет, останется одно Оно» (запись 22 окт. 1920 г.).

Киприда – одно из имен Афродиты. *И блаженных... соберут.* Реминисценция из ст-ния Пушкина «Кривцову»:

Смертный миг наш будет светел;
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные пиров

(*61*). *Хоры сладкие Орфея.* Подразумевается, как и в ст-нии «Чуть мерцает призрачная сцена...», опера Глюка «Орфей и Эвридика». *Родные темные зрачки.* Возможно, образ связан с матерью поэта (*49*, с. 54). *Ночное солнце.* Здесь, как и выше, связано с образом Пушкина: «Я вспомнил картину пушкинских похорон, чтобы вызвать в вашей памяти образ ночного Солнца, образ поздней греческой трагедии, созданный Еврипидом, видение несчастной Федры» («Скрябин и христианство»). *Грядки красные партера* («Другие редакции»). Речь идет об Александринском театре.

*«Чуть мерцает призрачная сцена...». Т (с опечаткой в ст. 27). – Жизнь искусства. 1921. 9–14 авг. (первая публ.). – Альманах Цеха поэтов. Пг., 1921. Кн. 2, с датой /Декабрь 1920/. – Искусство. Баку, 1921, № 2/3. – ВК. В других публ. в периодической печати – в редакции «Искусства». Под загл. /«Эвридика»/ – в ПС и «Искусстве»; /Театральный разъезд/ – «Обозрение гг. Ростова и Нахичевани-на-Дону». 1922. № 5. Черновой автограф с завершенной редакцией (СИ), с датой /Ноябрь 1920/. Автограф в альб. Ю. Юркуна, с разночтением (Соч., с. 490). В С замена слов «кромешна ночи тьма» на «храпит и дышит тьма» – цензурного характера. В сюжете ст-ния – впечатления от оперы «Орфей и Эвридика» Глюка, шедшей в 1920 г. на сцене Мариинского театра. Отсюда «хоры слабые теней» (хоры теней) и цитата (ст. 30). В связи с ними в строфах 1, 2 возникают картины «старого» театрального Петербурга с образами, близкими ст-нию «Летают валькирии, поют смычки...», и общими для обоих реминисценциями из «Евгения Онегина»: «Еще усталые лакеи / На шубах у подъезда спят... / Еще, прозябнув, бьются кони... / И кучера, вокруг огней...» (гл. 1). Затем мотивами «розы», «итальянской речи» и «ласточки, упавшей на горячие снега» вводится образ итальянской певицы Анджолины Бозио (1830–1859), выступавшей в Мариинском театре и погибшей в Петербурге от простуды, – образ, возникающий также в «Египетской марке» (*47*, с. 381–382). Названные мотивы восходят к пассажу, посвященному смерти Бозио, из поэмы Некрасова «О погоде»:

Но напрасно ты кутала в соболь
Соловьиное горло свое,
Дочь Италии! С русским морозом
Трудно ладить полуденным розам.

Ст. 19–20 звучат как бы репликой на эти строки Некрасова (*21*, с. 283–285). Другой подтекст, перекликающийся с некрасовским, – пушкинский:

Вотще Киферу и Пафос
Мертвит дыхание мороза –
Блестит между минутных роз
Неувядаемая роза...

(*112*, с. 96–97). О судьбе Бозио поэт говорил: «смерть искусства в этом городе» (*53*, с. 147). *Мельпомена* – муза трагедии. *Плошка* – сосуд в виде блюдца с вложенным фитилем; здесь – огни. *Эвридика* – в греч. миф. жена легендарного певца Орфея, погибшая от укуса змеи. Орфей проник в Аид и звуками своей лиры растрогал Персефону, получив позволение вывести Эвридику; по пути он забыл о поставленном условии – не глядеть на жену до возвращения домой и вновь потерял ее. *Родной язык... чужеземных арф родник*. Когда поэт писал эти строки, он имел в виду Батюшкова (*44*, с. 99).

*«Мне Тифлис горбатый снится...». Т. – С. Впервые: Цех поэтов: Альм. 1922. Кн. 3. В публ.: Рупор. 1922. № 5 – с мелким разночтением сравнительно с Т: «приятеля» вм. «товарища». Автографы: ПС, под загл. /Тифлис/; 5-й строфы, из наборной рукописи С (РНБ. Ф. 474). Поправки в авторском экз. С 1935 г. (СХ), см. «Другие редакции». В Тифлисе поэт жил в 1920 г. перед возвращением в Петербург. Он писал: «Грузия обольстила русских поэтов своеобразной эротикой, любовностью, присущей национальному характеру, и легким, целомудренным духом опьянения, какой-то меланхолической и пиршественной пьяностью, в которую погружена душа и история этого народа» («Кое-что о грузинском искусстве»). *Сазандарь* – грузинский певец, аккомпанирующий себе на сазе (тип лютни). *Кахетинское* и *«Телиани»* – марки грузинских вин.

«Мне жалко, что теперь зима...». Т, без строфы 6, с датой /Декабрь 1920/. – ВК. Ст. 31 – «В тени от шапочки твоей» – был исправлен автором в экз. Т, подаренном Г. Шенгели в 1922 г. (частное собр.). По-видимому, сделан из Т список Н. М.,

хранящийся в ГЛМ (ф. 352, подпись – автограф), повторяющий редакцию ст. 31 книги. Авторизованная машинопись с датой /Декабрь 1920/ (РГАЛИ). Обращено к О. Арбениной (см. примеч. к следующему ст-нию). *Вечен... и запах апельсинной корки.* Эта ассоциация связана с театром, ср. «И слабо пахнет апельсинной коркой» («Я не увижу знаменитой “Федры”...»). *Баута* – полумаска.

«Возьми на радость из моих ладоней...». Дом искусств. 1921. № 1, с датой /Ноябрь 1920/. В «Накануне» в составе цикла (см. примеч. «Когда Психея-жизнь спускается к теням...»). Список О. Арбениной, с посвящением /Олечке Арбениной/, подпись – автограф (ИРЛИ. Р І. Оп. 17). ПС. Список Н. М. (РГАЛИ. Ф. 602). Автограф заключительной строфы с датой /Ноябрь 1920/ из «Чукоккалы» воспроизведен фототипически: Наше наследие. 1989. № 4. Ольга Николаевна Арбенина (наст. фамилия Гильдебрандт, Арбенина – сценический псевдоним; 1897/1898–1980) в это время – актриса Александринского театра, позднее – художница (см.: Художники группы «Тринадцать». М., 1986). Ее олицетворением стал образ Психеи (ст-ние «Когда Психея-жизнь спускается к теням...»), перешедший в ст-ние М. Кузмина «Сколько лет тебе, скажи, Психея...». Встречи с поэтом, продолжавшиеся в окт. – дек. 1920 г., прекратились после сближения Арбениной с Ю. Юркуном, диалог с которым передан в ее воспоминаниях (*6*, с. 551): «Наша дружба с М. дотянулась до января 1921 г. Меня оторвало от прежних друзей и отношений – помню, я как-то “собралась” пойти его навестить. – “Зачем Вам?” – “За стихами”. – “Мих. Ал. <Кузмин> напишет Вам не хуже”. – “Может быть, и лучше. Но не то. Это будут не «мои» стихи”». Образы «пчел» и «меда» в античной поэзии и перешедшие в русскую XIX в. символизируют любовь и поэзию (*87*, с. 123–163). *Персефона* – см. примеч. «В Петрополе прозрачном мы умрем...». *Тайгет* – горный массив на Пелопоннесском полуострове.

*«За то, что я руки твои не сумел удержать...». Т, с датой /Декабрь 1920/. – Новый Гиперборей. 1921. № 1, с датой /Ноябрь 1920/ (первая публ.). ПС. Автограф строф 5–6 с датой (записи?) /18 декабря 1920/ – в альб. В. Познера (Соч., с. 491). Беловой автограф с пометой /Петербург. 1920/ (ИРЛИ). Под загл. /Троянский конь/ – в «Новом Гиперборее», /Конь/ – в «Искусстве» (Баку. 1921. № 2/3) и машинописи

(РГАЛИ. Ф. 602). Печ. без загл. в соответствии с С. Содержит две строфы, общие со ст-нием «Когда ты уходишь и тело лишится души...». Обращено к О. Арбениной (см. предшествующее примеч.). Личная любовная тема сплетена в ст-нии с образом Елены, олицетворяющей красоту в древнегреческом мифе; отразилась борьба из-за нее ахейцев с троянцами. *Снаряжают коня.* Речь идет о так называемом «троянском коне» – военной хитрости, из-за которой погибла Троя: внутри этого деревянного сооружения скрылись воины, ночью овладевшие городом, когда конь был туда ввезен. *Приамов скворешник* – царский дворец в Трое. *Приам* – троянский царь, отец Париса, похитившего Елену у ахейцев. *И падают стрелы... и стрелы другие... как орешник.* Ср. у Овидия: «В кровли вонзившись, торчат частоколом на хижинах стрелы» (Письма с Понта, 2: 21. Пер. А. Парина). *Стогны* – площадь в городе.

«Когда городская выходит на стогны луна...». Всемирная иллюстрация. 1922. Вып. 5. Л. Е. Фейнберг, оформлявший книгу М. в изд-ве «Работник просвещения» (впоследствии не вышедшую), сообщил нам в 1978 г., что в рукописи строфы этого ст-ния «обрамляли» другое, более длинное, – по-видимому, предшествующее ст-ние: по наблюдению М. Гаспарова, оба написаны одинаковым редким размером (*18*, с. 343).

*«Я наравне с другими...». Т. – Кольцо. М., 1922. Кн. 1. Обращено к О. Арбениной (см. примеч. «Возьми на радость из моих ладоней...»). *И сам себя несу я... палачу.* И. Одоевцева вспоминала: на вопрос, что значат эти строки, поэт ответил: «Дело не в ней (Арбениной. – *А. М.),* а в любви. Любовь всегда требует жертв. Помните, у Платона: любовь одна из трех гибельных страстей, что боги посылают смертным в наказание. Любовь – это дыба, на которой хрустят кости; омут, в котором тонешь; костер, на котором горишь» (*66*, с. 159).

*«Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...». Кольцо. М., 1922. Кн. 1. – Накануне. 1922. 25 июня. (Лит. прил. № 9) (первая публ.). *С певучим именем.* Тот же мотив в обращенном к О. Арбениной (см. примеч. «Возьми на радость из моих ладоней...») ст-нии Гумилева «Ольга» (нояб. 1920 г.): «То же звонкое вызванивая имя... / И твое лишь имя, Ольга, для моей гортани / Слаще самого старого вина...». *Серафим* – ангел; подразумевается его бестелесная сущность.

1921–1925

Состав этого раздела соответствует С, дополнен ст-нием «Сыновья Аймона», исключенным из С цензурой (см. общую преамбулу).

*Концерт на вокзале. Россия. 1924. № 3. – С. Беловой автограф (АМ). Авторизованный список основного текста (1927 года) из собр. Е. Глинтерн (БП, с. 281). Беловой автограф (строфы 1, 2, под загл.) – в собр. М. Чуванова (Соч., с. 493). Реалии, отраженные в ст-нии, восходят к детским впечатлениям от музыкальных концертов в Павловском вокзале, см. образные параллели в гл. «Музыка в Павловске» «Шума времени». На эти концерты подростка водила мать, отсюда предположение Н. М., что с нею связан образ «родной тени» (см. полемику: *120*, с. 158). Подтекстами послужили «космические» образы Тютчева и Лермонтова, ср. соответственно: «Душа моя – Элизиум теней...» и «Элизиум туманный... родная тень... милой тени...» (ст. 9, 18, 22); «звезда с звездою говорит» («Выхожу один я на дорогу...») и «ни одна звезда не говорит» (ст. 2) и ряд других (наблюдения К. Тарановского, Е. Тоддеса). Настолько же явственна связь с мотивами Блока, продолжающаяся и в последующих стихах (диалог с Блоком прослеживается и в статьях М. этого периода), это мотивы «музыки» и «железного мира». Ср. также в статье Блока «Ирония»: «Когда властительнее нашего голоса стали свистки паровозов» и ст. 5–6 (*117*, с. XIX). *Рокот фортепьянный.* Реминисценция из ст-ния И. Анненского «Он и я»: «Но страстно в сумрачную высь / Уходит рокот фортепьянный» (*8*, с. 13). *Элизиум* – загробный мир, царство теней в античных мифах. *Павлиний крик.* Образ основан на реалиях: в Павловске был павильон с павлиньим вольером (наблюдение Б. Бухштаба, см.: Баевский В. Я не был лишним // Russian studies. 1996. Vol. II. № 1. С. 399). *Ночного хора.* Образ (повторяется в «Стихах о неизвестном солдате») восходит к строке Лермонтова «хоры стройные светил» («Демон», XV).

«Умывался ночью на дворе...». Фигаро. Тифлис, 1921. 4 дек. В «Накануне» (1922. 18 июня. Лит. прил. № 8) – с мелким разночтением в ст. 7 /грубого холста/, вызванное, должно быть, записью по памяти. Написано осенью 1921 г. в тифлисском «Доме искусств»: «Мандельштам действительно умывался ночью во дворе – в роскошном особняке не было водо-

провода, воду привозили из источника и наливали огромную бочку, стоявшую во дворе, – всклянь, до самых краев. В стихи попало и грубое домотканое полотенце, которое мы привезли с Украины» (*50*, с. 49). По письму Л. Ландсберга М. Волошину от 29 апр. 1922 г., это и следующее ст-ния были исключены из № 1 харьковского журн. «Грядущий мир» секретарем ЦК Д. Мануильским, затребовавшим на просмотр гранки номера: «– Какая соль? При чем здесь топор? Ничего не понимаю! Что Ленин скажет?» (Рус. литература. 2006. № 4. С. 138–139). Близкие образы появились в почти одновременно написанном (авг. 1921) ст-нии Ахматовой:

Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.

«Кому зима – арак и пунш голубоглазый...». Россия. 1922. № 1 (авг.), с подцензурной редакцией ст. 17: /Людишки темные торопятся по снегу/; в С другая подцензурная редакция: /Пусть люди темные торопятся по снегу/. Печ. по ВК, текст в которой совпадает со списком Л. Ландсберга (ИРЛИ. Ф. 562) и наборной рукописью С (ИРЛИ. Ф. 124). Пунктуация в строфе 1, имеющая смыслоразличительный характер, дается по «России». В списке Ландсберга датировано 1921 г. См. примеч. к предшествующему ст-нию. Образы связаны с воспоминаниями о жизни в Феодосии в 1919–1920 гг., ср. в очерке «Старухина птица»: «Старушка жильца держала как птицу, считая, что ему нужно переменить воду, почистить клетку, насыпать зерна... если хлебнуть этого варева притушенной жизни, замешенной на густом собачьем лае и посоленной звездами, – физически ясным становилось ощущение спустившейся на мир чумы...». *Арак* – виноградная водка. *Душистое с корицею вино* – глинтвейн.

*«С розовой пеной усталости у мягких губ...». Всемирная иллюстрация. 1922. Вып. 3 (июль), под загл. /Европа/. В следующих публ. и сб. – без загл. Беловой автограф с правкой (АМ) – сохранившийся от полного текста лист со строфами 3, 4 и датой: май 1922. По сообщению Н. М., образы навеяны картиной В. А. Серова «Похищение Европы». В антич. мифе Зевс (Юпитер), влюбившись, похищает дочь финикийского царя Европу, превратившись для этого в быка. Историософский подтекст раскрыт в статье «Пшеница человеческая» (1922): «нынешняя Европа – огромный амбар че-

ловеческого зерна… Но каждое зерно хранит память об одном древнем эллинском мифе… как Юпитер превратился в простого быка, чтобы на широкой спине, тяжело фыркая и с розовой пеной усталости у губ, перенести чрез земные воды драгоценную ношу – нежную Европу, и та слабыми руками держалась за крепкую квадратную шею».

«Холодок щекочет темя...». Москва. 1922. № 6. В «Возрождении» (М., 1923. Т. 2) с разночтением в ст. 12 /Как ты нынче шелестишь/. Беловой автограф (ИМЛИ). Обращено к жене, см.: *49*, с. 125.

*«Как растет хлебов опара...». Известия ВЦИК. 1922. 23 сент. В «Возрождении» (М., 1923. Т. 2) редакция ст. 9 /Чтобы силою, как лаской/, восходящая к версиям черновиков, вызвана, должно быть, ошибкой памяти при записи. Черновой автограф (АМ). «Хлебная» символика замещает в ст-нии, как и в ряде статей и стихов этих лет, религиозную (*96*, с. 185–191). *Опара* – заправленное дрожжами или закваской тесто, начавшее всходить. *Софии*. Здесь подразумеваются соборы, ср. ст-ние «Айя-София». *Слово-колобок*. К образу восходит псевдоним поэта – «Колобов». *Усыхающий довесок*. Подразумевается колобок, по мотивам известной сказки, он – «оскребыш». *Прежде вынутых хлебов*. Подразумеваются те «хлеба», о которых поэт писал в статье «Пшеница человеческая»: «Духовая печь истории, некогда столь широкая и поместительная, жаркая и домовитая духовка, откуда вышли многие румяные хлебы…».

*«Я не знаю, с каких пор...». Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1922. № 1 (нояб.). В цикле со ст-нием «Я по лесенке приставной…»: под загл. /Сеновал/ – в первой публ. и беловом автографе (ИМЛИ); без загл. – в беловом автографе (РНБ. Ф. 625) и журн. «Петроград» (1923. № 8). Печ. с поправкой по черновику 1922 г. в авторском экз. С (СХ), внесенной 3 февр. 1936 г. 3 листа черновых автографов (АМ), в которых зафиксирован текст, общий со следующим ст-нием, и этапы их обособления. Окончат. тексты в черновике соответствуют первопечатным (не завершен ст. 3). В работе над черновиками нами были использованы транскрипции И. Семенко (собр. Ю. Фрейдина). В наборной рукописи ВК (ИМЛИ) текст до правки – с ошибками, вызванными диктовкой по памя-

ти (восходят к редакциям черновиков). *Комариный... князь.* Сравнение с князем восходит к ст-нию Державина «Похвала комару» (*120*, с. 47–49). *Тмин* – травянистое растение с ароматическими плодами.

*«Я по лесенке приставной...». Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1922. № 1 (нояб.). – БП, где дано по авторскому экз. С (СХ), в котором 3 февр. 1936 г. поэт восполнил печатный текст строфой 4 по черновику допечатной редакции. Печ. по БП. См. примеч. к предшествующему ст-нию. *Эолийский... строй.* Строй – музыкальный термин: то же, что гармония или мелос. В границах эолийского типа мелоса – творчество Терпандра, Алкея и Сафо. *Распряженный... воз... торчит.* Образ связан, вероятно, с картиной И. Босха «Воз сена», символика которой вызвала литературу истолкований. *Лиру строим.* «Строим» – в значении «настраиваем»; подразумевается поиск нового «строя» (см. выше); в этом значении выражение «строить лиру» встречается у М. Хераскова, А. Одоевского. *Словно спешим Обрасти косматым руном.* Реминисценция из ст-ния И. Эренбурга, написанного в янв. – марте 1920 г. в Коктебеле (наблюдение О. Ронена):

Я не резвился с музами в апреле навечерия,
Не срывал Геликона расцветающих роз,
Лиру разбил о камень севера,
Косматым руном оброс.

Звукоряд – музыкальный термин: запись характеристик определенного музыкального строя.

*«Ветер нам утешенье принес...». Абраксас. 1922. № 2 (нояб.). В перепечатках входило в состав цикла (см. примеч. «А небо будущим беременно»). Беловой автограф и список Н. М. (ИМЛИ, в составе цикла). В наборной рукописи ВК (ИМЛИ) зафиксированы две редакции. Н. Эфрос сообщала об авторизованном списке (вероятно, из невышедшего № 2 альм. «Лирический круг»), ныне в РГБ (*111*, с. 52). В отклике на первую публ. И. Груздев писал: «А что Мандельштам идет к темам космогоническим, и что здесь мы можем предчувствовать новую поэзию большого стиля, на это мы тоже имеем намеки» (Русская поэзия в 1918–1923 гг. // Книга и революция. 1923. № 3. С. 41). В сюжете отразились канун и начало Первой мировой войны, «мы» ст-ния – то же, что в ст-нии «В Петербурге мы сойдемся снова...»). Строфу 1 М. приводит в статье «Девятнадцатый век»

(1922) в пояснение следующей мысли: «В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может – египетской и ассирийской». В ст-нии велика конструктивная роль реминисценций из Блока (почти одновременно писалась и статья о нем), ср.:

Ветер принес издалека
Песни весенней намек,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны

(*112*, с. 142). *Азраил* – ангел смерти; тот же образ в ст-нии Блока «Милый друг, и в этом тихом доме...», ср. «тень люциферова крыла» в «Возмездии». *Ассирийские крылья стрекоз.* Подразумеваются аэропланы (см. примеч. «А небо будущим беременно»). Ср. об аэропланах у Блока: «Что-то древнее есть в повороте / Мертвых крыльев, подогнутых вниз...» («В неуверенном, зыбком полете...») (*112*, с. 134).

*Московский дождик. Сегодня. 1922. № 1 (сент.). – Ковш. Л., 1925. Кн. 1. В первой публ. – без загл. Беловой автограф (ИМЛИ). Образные параллели – в очерке «Холодное лето» (1923). *Во рту булавок... ворох* («Другие редакции»). Держать булавки во рту – в прошлом профессиональная привычка портных.

*Век. Россия. 1922. № 4 (дек.). В «Красной нови» (1923. № 1) с ошибочно повторенным текстом предшествующей строфы в ст. 21–24. Беловые автографы: АМ (с разночтением), датирован 19 окт. 1922 г.; ИРЛИ, альб. Е. П. Казанович, с датой записи 21 мая 1923 г. Лист черновика (АМ) с концовкой (ст. 25–40), с датой /8 окт. 1922/. Список Н. М. (ИМЛИ. Ф. 225. Оп. 1. Ед. хр. 9) относится к наборной рукописи ВК. В БП дано по авторскому экз. С (СХ), в котором 3 февр. 1936 г. текст был дополнен по черновику (см. выше) заключительной строфой. Образ заключительных стихов использован автором в предисловии к роману Лефевра Сент-Огана «Тудиш» (см. т. 3 наст. изд.). По наблюдению Л. Я. Гинзбург, на образности сказалась поэма Маяковского «Флейта-позвоночник».

Кровь-строительница. Реминисценция из «Набросков оды» И. Коневского: «Строительница жизни кровь» (*117*, с. 153). *Узловатых дней колена.* Вероятный подтекст – в статье К. Эрберга: «Человеческая культура растет как легкий, но крепкий коленчатый тростник... в тех местах, где находится граница между одним коленом и другим, ствол тростника бывает особенно крепок, и можно сказать, что вся крепость тростника – от этих узловых мест его легкого и стройного ствола... Узловые эпохи в искусстве должны быть предметом особого внимания критики» (О догматах и ересях в искусстве // Искусство старое и новое. Пб., 1921).

*Нашедший подкову. Красная новь. 1923. № 2. – Накануне. 1923. 7 окт. (тот же текст в виде ст-ния в прозе). – К3. В перечисленных публ. – с подзаг. /пиндарический отрывок/, который снят в гранках ВК (ИМЛИ). Печ. с мелкими поправками в строфике и пунктуации по С и рукописи (АМ), текст которой представляет собой ст-ние в прозе, с нанесенной разбивкой на стихи. Оттиск из «Красной нови» с авторской правкой (ИМЛИ) относится к наборной рукописи ВК. Подзаг. указывает на древнегреч. поэта Пиндара, автора торжественных од (V в. до н. э.); от него – образы коней и колесниц, мотив «с чего начать?»; редкая у М. форма свободного стиха – от немецких переводов Пиндара. Помимо Пиндара, источниками образов могли быть ст-ния Овидия, Катулла, Алкмана (*316*, с. 166-168). *Пиния* – итальянская сосна; произрастает на Кавказе. *Вифлеемский мирный плотник.* Речь идет о новозаветном Иосифе, муже Марии. *Она отмечена среди подруг повязкой на лбу.* Этот образ основан на обычае древних греков украшать повязкой в знак отличия; повязку надевали во время торжественного пира отличившиеся воины или победители игр и т. п. (*116*, с. 19). *Неера* – океанида, любовница Гелиоса, ее «влажный чернозем» взят в не вполне ясном метафорическом значении; ее имя вызвано, вероятно, обращением к ней в стихах Лермонтова и А. Шенье (*117*, с. 203). *Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.* Ср. в статье «Скрябин и христианство»: «Христианское летоисчисление в опасности, хрупкий счет годов нашей эры потерян...». *Эра звенела, как шар золотой.* Ср. в «Заметках о Шенье»: «Добро, благополучье, здоровье были слиты в одно представленье, как полновесный и однородный золотой шар... Восемнадцатый век утратил прямую связь с нравственным сознаньем античного мира. Золотой сплошной шар уже не звучал сам по себе».

Сыновья Аймона. Россия. 1923. № 5. – Наши дни. М.; Пг., 1923. Сб. 3. – К3. Печ. по К3 с отдельными поправками по «Нашим дням» и рукописям. В «России» с подзаг. /Баллада/, без ст. 59–64 и в виде двустиший. В «Наших днях» с примеч.: /В основу положен отрывок из старофранцузского эпоса geste de «Doon de Mayens»/. Из ВК и С было исключено цензурой (см. общую преамбулу). Местоположение в книге устанавливается по верстке С (ИРЛИ. Ф. 124). Датируется по времени работы над переводами старофранцузского эпоса (см. примеч. к ним). В «Рукописи 1» (ИМЛИ) – первонач. редакция из 93 стихов (воспроизведена в Соч.). Здесь ст. 1–3 и 5–6:

Пришли четыре брата во дворец большой руки,
Плащи подбиты ветром, сукна висят клочки,
Так гнусны и невзрачны, что всякий им крикнет «брысь»
....
Едва с ней не случился от испуга столбняк,
Оправилась немножко и рассуждает так:
....

Для перевода (А. Д. Михайлов характеризует его как весьма точный – *59а*, с. 64; об истории текста см. с. 67–70) Мандельштамом был взят отрывок из обширной поэмы «Четыре сына Аймона», входящей в цикл Доона де Майанс (Майнцского). В ней рассказывается о вражде сыновей Аймона Дордоньского – Ааларта, Рено, Гишара, Ришара – с императором Карлом Великим. *Королевский племянник* – Бертоле. *Меуза* – река в Северной Франции. *Арденнская земля*. Арденны – горный массив на северо-востоке Франции. *Выстроили замок*. Согласно поэме, братья построили замок Монтессор. *Как в трубле Роланд*. Здесь намек на эпизод из «Песни о Роланде» (см. в наст. изд.).

*Грифельная ода. ВК. В БП печаталось с учетом авторской правки в экз. С (СХ): поэт исключил из печатного текста 8 строк, 2 из которых взял эпиграфом. В «Накануне» (1923. 29 июля) помещен фрагмент – строфа 4. В АМ – черновые автографы и беловой с правкой, приводящей к тексту ВК; датирован мартом 1923 г. Ранняя редакция – в списке Н. М. с правкой автора, под загл. /Грифель/ и датой /8 марта 1923 г./ (РГАЛИ, фонд журн. «Красная новь»). Авторизованный список, с эпиграфом «И звезда с звездою говорит» – в СХ (БП, с. 284). Такой же список в собр. А. М. Эфроса. Подробно об истории основного текста и черновиках см.: *58*, с. 82–139. И. Семенко предполагала,

что ст. 41 «И как паук ползет ко мне» в ВК и С – с невыправленной опечаткой, поскольку во всех автографах – «по мне» (*81*, с. 23). Мы считаем это изменение текста авторским: нет аналогий тому, чтобы подобная, важная в смысловом отношении, опечатка осталась не выправленной ни в корректурах, ни в авторских или подаренных экз. книг. Кроме того, в аргументации (*81*, с. 26) не учтено, что «паук» является у М. лишь в метафорических планах: в сравнении с собором («На площадь выбежав, свободен...»), светом («Может быть, это точка безумия...»). В контексте он вызван варьировавшимся в первопечатном тексте и черновиках образом «памяти» и неявной темой забвения, традиционно связанных в греч. мифологии. Непосредственный источник, по-видимому, – драма И. Анненского «Фамира-кифаред»:

Благословенны боги, что хранят
Сознанье нам и в муках.
                                        Но паук
Забвения на прошлом... он добрее.

Две первые строки М. цитировал в своей рец. на драму. Причина исключения 8 стихов из первопечатного текста в авторском экз. С (СХ) не выяснена; вероятно, она связана с образом «голоса», который возникает и в черновиках последующих лет, и, таким образом, является следствием изменившихся воззрений автора. Общая конструктивность сюжета определяется неким, в ряде существенных черт общим, мифопоэтическим космосом русской поэзии XIX в. (Лермонтов, Тютчев, Державин). Основной источник (дан открыто в зачине) – стихи Лермонтова, в которых говорится об «одиноком пути поэта»:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Реминисценция из них повторяется в ст. 61–62 (*кремнистый путь из старой песни*). Другие подтексты не столь очевидны. Державин представлен, главным образом, наброском оды «На тленность» («Река времен в своем стремленьи...») – последними строками Державина, записанными им вчерне на грифельной доске свинцовой палочкой (доска хранится в РНБ). От них – образы «грифеля», «черновика» (и производные) и всех, связанных с текущей, «учащей» водой (рекой) (*21*, с. 286). К этим стихам Державина М. обращался и в статьях начала

1920-х гг.: «Время хочет пожрать государство. Как трубный глас звучит угроза, нацарапанная Державиным на грифельной доске... Сострадание к государству, отрицающему слово, – общественный путь и подвиг современного поэта» («Слово и культура»). Ср. *Учительствуют хор державе* («Другие редакции») – слова, которые, в свою очередь, могут быть соотнесены с выступлением группы «Смена вех». От Тютчева в ст-нии – символика «дня» и, особенно, «ночи» и закономерности их смены («День и ночь», «Видение» Тютчева). Эти образы, вначале взятые как легко узнаваемые, тютчевские, в динамике ст-ния наполняются новым содержанием, вплетаются в темы, связанные с актуальной политической реальностью: конец революции («дня»), начало нового государственного строительства. В основном тексте возвращаются «овечьи» метафоры, прилагаемые к людской массе (ср. ст-ние «Обиженно уходят на холмы...»), а в черновиках, в качестве эквивалентов, пробуются образы «лесов», «дубов», деревьев («слепцов зеленых»), которые вскоре войдут в переводы из М. Бартеля (где будут повторяться также образы «хищных птиц», «стрепета», мотивы смены дня и ночи и др.). Не вполне ясен в ст-нии образ «мела» и производных, особенно в его взаимосвязи с «грифелем». Возможно, имеет значение его «московская» (в противопоставлении «петербургскому») прикрепленность, ср. образные параллели в очерке «Холодное лето»: «Город раздается у Спасителя ступенчатыми меловыми террасами, меловые горы врываются в город вместе с речными пространствами... И дальше Москва пишет мелом». *Полусонок.* Здесь (в отступление от нормативной грамматики) – род. падеж от «полусны». *Родник журчит Цепочкой, пеночкой и речью.* Здесь «родник» – символ лирической поэзии; «цепочка» и «пеночка» – с аллюзией на одноименные лирические стихи Державина (*87*, с. 146). *Сдвиг.* Здесь – ошибка, возникающая при восприятии стихов на слух, например, «со сна» – «сосна» (термин А. Крученых). *Проповедует отвес.* У М. «отвес» символизирует строительство (см. в ст-нии «Адмиралтейство»: «всюду царь-отвес»). *Воздуха... пресыщен всеми.* Аналогичные мотивы: «Воздух бывает темным... Воздух замешен так же густо...» в ст-нии «Нашедший подкову». *Плод нарывал. Зрел виноград.* Образы символизирует некую манящую, но недостижимую утопию, связаны с басней Крылова «Лисица и виноград». Сохранилось, в виде пометы на книге, свидетельство Н. М.: «Любил Крылова» (Philologica. 1997. Vol. 4. № 8/10. С. 173). *И в бабки нежная игра.* Как и в ст-нии «На розвальнях, уложенных соломой...», этот мотив содержит намек на

цареубийство. *Стрепет.* Здесь: резкий шум. *Вложить персты... как в язву.* Поговорка, восходящая к евангельскому рассказу о Фоме неверующем (Ин 20: 24–29). *О память, хищница моя* («Другие редакции») *и ночь-коршунница* (ст. 27) – реминисценции из поэмы А. Григорьева «Venezia la bella»:

Проклятый коршун памяти глубоко
Мне в сердце когти острые вонзил.
И клювом жадным вся душа изрыта...

(*117*, с. 142). *Ночь, золотой твой кипяток* («Другие редакции»). Подразумеваются звезды: ср. образ «золотой дымной ухи» в ст-нии «Чуть мерцает призрачная сцена...». *Из каменного жерла* («Другие редакции»). Речь идет о «жерле вечности» из державинской «Реки времен...».

«Язык булыжника мне голубя понятней...». Огонек. 1923. № 14. – С. Под загл. /Париж/, с разбивкой ст. 3–4, 7–16, 19–22, 25–26 на полустишия и с обратной последовательностью ст. 9 и 10 – в беловом автографе (АМ) и в первой публ. Под. загл. /Прабабка городов/ и с несколько иной разбивкой стихов на полустишия: Литературно-художественный альманах для всех. 1924. Кн. 1. Авторизованный список Н. М. под загл. /Париж/ – в собр. А. М. Эфроса. Написано в период работы над переводами «Ямбов» О. Барбье; ст. 4 взят из перевода ст-ния Барбье «Лев» (известен только по цитате в статье «Заметка о Барбье»):

Я был свидетелем трехдневного смятенья,
Три дня метался лев народного терпенья
По звучным мостовым прабабки городов...

Фригийской бабушкой. В образе намек на античное происхождение фригийского колпака – его носили освобожденные рабы в Древней Греции. *Здесь клички месяцам давали, как котятам.* Подразумевается декретированное в 1793 г. изменение названий месяцев.

*«Как тельце маленькое крылышком...». Лёт. М., 1923, в составе цикла (см. примеч. к ст-нию «А небо будущим беременно»). В С вне цикла, с датой. В АМ – черновой автограф на листе с разработкой указанного цикла и беловой, вырезанный из листа с тем же циклом. Список Н. М. (ИМЛИ), также в составе цикла; относится, вероятно, к наборной рукописи «Лёта». С циклом связаны образы и сюжет (картины «доисторической

космологии»). Разрешение – в строфе 3, где страстная просьба об именовании должна пониматься как инстинктивная жажда исторического существования. *Всклянь* – вровень с краями. *Эмпирей* – в антич. мифологии и в «Божественной комедии» Данте – наивысшая космическая сфера, объемлющая звезды и солнце; у Данте также и обитель душ. *В лазури мучилась заноза*. Этот образ в очерке «Холодное лето» (1923) означает «живую, животную прелесть аэроплана».

*1 января 1924. Рус. современник. 1924. № 2. – С. – БП, где дано с учетом авторской поправки (стилистического характера) в экз. С (АМ) с пометой: /В<оронеж. 19> 37/. Машинопись (ИРЛИ. Ф. 172) относится, возможно, к наборной рукописи «Рус. современника». Подкопирочный экз. той же закладки (АМ). Написано в Киеве, куда Мандельштамы приехали на Рождество к родителям жены (*48*, с. 172). На первую публ. последовала рец. Г. Лелевича: «Насквозь пропитана кровь Мандельштама известью старого мира, и не веришь ему, когда он в конце концов начинает с сомнением рассуждать о “присяге чудной четвертому сословью”. Никакая присяга не возвратит мертвеца» (Молодая гвардия. 1924. № 7/8. С. 262). *Поднимал... веки*. Образ навеян гоголевским «Вием». *Ночные травы собирать*. Реминисценция из стихов Ф. Сологуба:

Для торжественной забавы
Я порою к вам схожу,
Собираю ваши травы
И над ними ворожу...

(«Ты не бойся, что темно...») (*117*, с. 263). *Щучьего суда*. Образ основан на басне Крылова «Щука». *Аптечная малина*. Подразумеваются цветные стеклянные шары, в т. ч. малинового оттенка, выставлявшиеся в витринах аптек. *Присягу... четвертому сословью И клятвы... до слез*. Четвертое сословье здесь – разночинцы, поэт вспомнил о революционных увлечениях своей юности (см. гл. «Семья Синани» в «Шуме времени») и клятву (присягу), которую он должен был дать, вступая в партию социалистов-революционеров; о разночинцах поэт говорил и в ст-нии «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...». *То ундервуда хрящ... щучью косточку найдешь*. Сравнение основано на сходстве рычагов шрифта пишущих машинок с рыбьим скелетом (*117*, с. 171), как и выше, с аллюзией на суд в басне «Щука».

*«Нет, никогда, ничей я не был современник...». Ковш. Л., 1925. Кн. 1, под загл. /Вариант/. Печ. без загл. по С. По устному сообщению Н. М., переданному нам А. А. Морозовым, ст-ние возникло как реакция на слова или печатное выступление какого-то критика, одобрительно отозвавшегося о ст-нии «1 января 1924» и сказавшего, что видит в М. современника; это объясняет загл. в первой публ., ст. 1 и парафразы предшествующего ст-ния в ст. 5–12. *Нет, никогда, ничей я не был современник.* Ср. в статье «Буря и натиск» (1923): «Блок – современник... своего времени. Хлебников не знает, что такое современник. Он гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии». *Сто лет тому назад... постель.* Этот образ не вполне ясен; по предположению Н. Харджиева, речь идет о Байроне, умершем в 1824 г. в походе во время войны за независимость Греции (БП, с. 285). *Века первый хмель.* Речь идет о периоде Наполеоновских войн.

*«Вы, с квадратными окошками, невысокие дома...». Ленинград. 1925. № 21, с разбивкой на полустишия. – С. Под загл. /Ленинградская зима/ – Красная газ. 1925. 16 окт. Веч. вып. (публ. «на случай»). Запись Н. М., дата /17 декабря 1924/ – автограф (АМ). Машинопись с датой /1925/ (АМ). Печ. по С, с исправлением даты (было «1925») по АМ.

*«Сегодня ночью, не солгу...». Ленинград. 1925. № 20. – Новый мир. 1927. № 6, с мелким разночтением. – С. В «Новом мире» под загл. /Цыганка/. Автограф (после 7-го стиха – запись Н. М.) на бланке «Нового мира», в виде цикла из двух ст-ний – строфы 1–3 и 4–5 (ГЛМ. Ф. 49), текст соответствует помещенному в этом журн. *Вместо хлеба еж брюхатый.* Ср. в прозе одного из знакомых М.: «Потом голодали, хлебец ели вроде молодого ежа... и очень об соли скучали...» (Баршев Н. Прогулка к людям. Л., 1926. С. 27). *Гарнец* – мера сыпучих тел.

«Я буду метаться по табору улицы темной...». Звезда 1927. № 8, под загл. /«Из табора улицы темной...»/. Печ., согласно С, без загл. Автограф на бланке «Нового мира» (ГЛМ. Ф. 49), текст соответствует публ. Обращено к О. А. Ваксель, в которую поэт был влюблен зимой 1924/1925 г. (см. примеч. «Возможна ли женщине мертвой хвала?..»).

НОВЫЕ СТИХИ

От стихов «старых» их отделяет длительный период поэтического молчания. Вновь стихи «пришли» в Армении (см. примеч. «Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...»), а не в Тифлисе, как считалось раньше. Темами и образным строем стихов 1930–1934 гг. поэт, как было предрешено в «Четвертой прозе», резко порывал с официальной литературой. Это обусловило и судьбу стихов, и поворот в судьбе поэта. В периодической печати все же удалось осуществить ряд публ.; последняя подборка появилась в «Лит. газете» (1932. 23 нояб.). Обстоятельства, сопутствовавшие печатанию, представляют собой самостоятельные сюжеты, которые, к сожалению, здесь нет возможности затронуть. Известны и неосуществившиеся публ.: подборка /Семь стихотворений/ («Мы с тобой на кухне посидим...», «Не говори никому...», «Куда как страшно нам с тобой...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Я скажу тебе с последней...», «После полуночи сердце ворует...», «На полицейской бумаге верже...») в «Новом мире», сохранившаяся в АЗ; подборка /Пять стихотворений/ («Мы с тобой на кухне посидим...», «Не говори никому...», «Куда как страшно нам с тобой...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «На полицейской бумаге верже...»; предполагалось дополнить ее ст-нием «Я скажу тебе с последней...», см. примеч.) с визой М. Козакова (17 февр. 1931 г.) о помещении в № 4 журн. «Ленинград» (ИРЛИ. Ф. 364). Подготовленность анонсированной в 1933 г. журн. «Лит. современник» публ. подтверждают, как установил А. Морозов, сохранившиеся в фонде журн. ст-ния «Канцона», «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...», «Еще далёко мне до патриарха...» (ИРЛИ). Поэтом создавались и своды написанных стихов. Один из них, хранящийся в ИМЛИ (Ф. 225. Оп. 1. Ед. хр. 8), с относительной полнотой представляет стихи 1930–1932 гг.; его можно предположительно отнести к одному из неосуществившихся проектов издания книг, договоры на которые, с помощью Н. И. Бухарина, были заключены с ГИХЛом в 1932–1933 гг. (РГАЛИ). Должны были существовать такие своды и у друзей поэта. Пока они не выявлены; некоторые были утрачены во время войны, однако обследование архивов нельзя считать законченным. В личном архиве поэта стихи этого периода сохранились хотя и с большой полнотой, но и с неизбежными лакунами. После ареста 1934 г. архив был спрятан, а в 1936 г. привезен в Воронеж. Этому предшество-

вала начатая С. Рудаковым[1] работа над рукописным наследием М. Вначале стихи записывались по памяти; новый этап начался 15 янв. 1936 г., когда Н. М. привезла из Москвы архив поэта. На его основе был составлен свод стихов 1930–1935 гг. – «Ватиканский список» (ВС), который записан Н. Мандельштам под наблюдением поэта и содержит его пометы. Этот источник взят нами в основу соответствующих разделов («книг») наст. изд. ВС составлялся с намерением и восстановить тексты, и закрепить те из них, которые ранее были отброшены (по иным окончательное решение в свое время не было принято). Сомнения поэта в отношении некоторых стихов (строф) отражены в рукописи помещением последних в прямые скобки[2]. По крайней мере одно ст-ние («Помоги, Господь, эту ночь прожить...») было пропущено из-за того, что его не оказалось в архиве. «Квартира тиха, как бумага...» и «Мы живем, под собою не чуя страны...», естественно, не записывались, для первого из них в рукописи был оставлен пробел; имеются и другие признаки самоцензуры. Существенно, что в распоряжении поэта в то время были не все источники, которые находятся в архиве сейчас; с другой стороны, в то время в нем должны были находиться источники, впоследствии утраченные[3]. В ряде случаев, не располагая текстами окончательных редакций и не припомнив их, поэт фиксировал те, которые имелись в архиве (речь идет, главным образом, об отдельных словах и строках). Когда такие обстоятельства удается выяснить при сравнительном анализе, основной текст устанавливается нами по более ранним (до 1934 г.) источникам[4]. Творческие изменения в стихах 1930–1934 гг. зафиксированы в ВС лишь в отдельных случаях: так, на основе прежних редакций выделены ст-ния «Вы помните, как бегуны...», «Увы, растаяла свеча...», «Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг...», «Как из одной высокогорной щели...». Особый текстологический случай описан в примеч. к циклу «Утро 10 января 1934 года». По редакциям стихов 1935 г. устанавлива-

[1] Сергей Борисович Рудаков (1909–1944) – филолог. Был выслан из Ленинграда и избрал местом ссылки Воронеж для работы над литературным наследием Мандельштама. О нем см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 г. СПб., 1997. С. 7–12.

[2] В некоторых случаях, возможно, в прямые скобки помещены скопированные из черновиков зачеркнутые строфы.

[3] Об их существовании можно судить по наличию полных дат под некоторыми стихами, которые можно было извлечь только из архива.

[4] Наряду с такими случаями в текстах ВС устанавливаются и описки.

ется дата окончания ВС – не позднее 30 мая 1936 г., однако работа над композицией продолжалась и впоследствии: некоторые стихи вырезаны, разрезаны страницы, что, как можно судить по нумерации стихотворений, делалось для восстановления хронологической последовательности,[1] и также позднее, предположительно в мае 1937 г., листы ВС были пронумерованы.

В 1937 г. Н. М. переписала для Н. Е. Штемпель стихи 1930–1937 гг. Этот свод был назван «Наташина книга» (НК). По сравнению с ВС, в него вошли не все стихи (нет, в частности, стихов «Первой тетради», пропуски восполнены Н. М. в 1960-е гг.), и они не были авторизованы; однако в ряде случаев НК помогает установить редакции текстов. К решению текстологических задач в наст. изд. привлекаются Списки Линецкой. Сделаны они были в 1940 г. у С. Рудакова (подробнее см.: *58*, с. 144–145). Поскольку архив Рудакова в своей основной части утрачен (*20*, с. 95–97), этот пока единственный из восходящих к нему сводов имеет значение. В них скопированы стихотворения 1930–1937 годов, но не полностью и не всюду в последовательности.

Название «книге» стихов 1930–1934 гг. поэтом дано не было. Мы следуем предложению Н. М. (*52*, с. 216), несколько его видоизменяя, так как названию «Московские стихи», предложенному ею для этих годов, противоречит наличие большой группы стихов, написанных в Тифлисе и Ленинграде.

Наличие текстов в НК, Списках Линецкой, своде ИМЛИ указываем выборочно.

«Куда как страшно нам с тобой...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС. Списки Н. М. в АМ, архиве М. Шагинян и в подборках (см. преамбулу к «Новым стихам»). Написано, как и остальные стихи окт. – нояб. 1930 г., в гостинице «Ориант» в Тифлисе. Обращено к жене; она вспоминала: «О. М. прочел мне эти стихи позже других из “Армении”, но сказал, что оно пришло первое и “разбудило” его» (*52*, с. 190, 192).

*Армения. Новый мир. 1931. № 4, без эпиграфа, с обратной последовательностью ст-ний 2 и 3, 9 и 10, 11 и 12; с подзаг. /Двенадцать стихотворений/ и датой /Ноябрь 1930/. С эпиграфом цикл напечатан: Лит. Армения. 1966. № 1; восстанав-

[1] В разделе 1935 г. вырезались исключенные стихи, см. преамбулу к «Воронежским тетрадям». Перерывы в нумерации указывают на ныне утраченные вставные листы; некоторые сохранились. Более детальный анализ нынешнего состояния ВС возможен лишь в специальной работе.

ливается согласно свидетельству Н. М. о том, что при публ. в «Новом мире» он был снят цензурой (*52*, с. 193). См. также в ее письме Н. Харджиеву от 15 апр. 1957 г.: «Снял Полонский, чтобы не возмутить Авербаха. Так и сказал... редактор изобразил негодование Авербаха...» (Мандельштам Н. Об Ахматовой. М., 2007. С. 202–203). К такому решению, насколько можно судить, была склонна также И. Семенко (*81*, с. 42). Порядок ст-ний в цикле дается согласно ВС (совпадает в НК); изменения в порядке цикла готовились после первой публ. и отражены в своде ИМЛИ. Редакции текстов с момента первой публ. изменений не претерпели. Черновики (АМ), где зафиксирована ранняя редакция, общая для ст-ний «Ты розу Гафиза колышешь...», «Ты красок себе пожелала...», «Как люб мне натугой живущий...» и эпиграфа. Поездка в Армению готовилась в 1929 г. с помощью Н. И. Бухарина. Ее практической целью было подыскать для М. работу и тем самым найти материальные источники существования для семьи. Путешествие продолжалось с мая по сент. 1930 г. Мандельштамы остановились в Ереване и оттуда совершали поездки по стране; в июле – авг. отдыхали в санатории на озере Севан. Цикл, за исключением «Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...», писался в Тифлисе. Напряженность и тревога в образном строе стихов вызвана актуальными политическими событиями: в это время шел процесс «Промпартии» и началось следствие по делу группы Ломинадзе (помогавшего Мандельштамам в Тифлисе) и Сырцова (*52*, с. 190–191).

Эпиграф. В ВС – в качестве отдельного ст-ния, предшествующего циклу. В черновиках (АМ) – в составе одной из ранних редакций (см. выше), в одном из набросков – вместо строфы 2 ст-ния «Ты розу Гафиза колышешь...». В фонде И. У. Будовница (РГБ) – автограф, на одном листе с предшествующей записью строфы 2 ст-ния «Как люб мне натугой живущий...» (не исключено, что здесь они составляют целое ст-ние). Автограф (АЗ). *Бык шестикрылый.* Ближайший источник образа – бык в каменной резьбе армянских храмов; вероятно, повлиял и образ «тигра шестокрылата» в видении преисподней из ст-ния «Влас» Некрасова, которое М. цитировал в одной из дневниковых записей 1931 г. (см. т. 2 наст. изд.)

1. «Ты розу Гафиза колышешь...». Черновики (АМ). *Ты розу Гафиза колышешь.* Роза – повторяющийся образ в стихах великого персидского поэта Гафиза. *Ты вся далеко за*

горой. Подразумевается исторический факт: Арарат и большая часть древней Армении после 1918 г. находились в пределах Турции. *Картинка налипла... с водой.* Подразумеваются детские переводные картинки – декалькомани.

2. «Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...». В ВС с датой /21.X/, взятой, по-видимому, из ныне утраченного черновика. Написано в Армении; в Ереване поэт читал его А. Худавердян и З. Ясинской (*104*). *Раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала.* По свидетельству жены поэта, лев был изображен на коробке с карандашами, которой они пользовались в Армении; лев – символ княжеской власти, вырезался (вместе с быком) на стенах армянских храмов; образ повторяется в следующем ст-нии.

3. «Ты красок себе пожелала...». Черновики (АМ), в одном из них с пометой: /Тифлис. 16 окт. 1930/. *Москатель* – определенный род товаров: краски, клей и т. п. *Сардар* – военачальник; здесь имеются в виду персидские наместники в Армении XVI–XVIII вв. *Где буквы – кузнечные клещи... скоба.* Сравнения вызваны начертанием букв армянского алфавита (поэт начал изучать армянский язык). *Багряные -уни и -ани Натуга великих родов* («Другие редакции»). Имеются в виду окончания армянских слов, например: Эребуни, Вазисубани и др.; с родами здесь сравнивается процесс произнесения. *В очаг вавилонских наречий... скорей* («Другие редакции»). Армянский язык формировался в государстве Урарту, где были распространены языки, родственные нововавилонскому.

4. «Закутав рот, как влажную розу...». Автограф (начало – рукой Н. М.) с датой /25.X/ (АМ). *Осьмигранные соты.* Имеются в виду церкви Армении; ее древнейшие храмы в плане представляют собой восьми- или многогранник. Ср. в ст-нии «Всё чуждо нам в столице непотребной...»: «Ее церквей благоуханных соты». *Всё утро дней на окраине мира... слезы.* Речь идет об исполненной трагизма истории Армении.

*5. «Руку платком обмотай и в венценосный шиповник...». Черновые автографы (АМ). *Лепесток соломоновый.* Образ навеян «цветочными» сравнениями библейской «Песни песней Соломона».

6. «Орущих камней государство...». Беловой автограф (АМ). *К трубам серебряным Азии вечно летящая.* Парафраз ст. 6 из XLVI ст-ния Катулла; М. цитировал его в статье «Слово и культура».

*7. «Не развалины – нет! – но порубка могучего циркульного леса...». Автограф с правкой (АМ). Образы навеяны руинами храма Звартноц близ Эчмиадзина.

8. «Холодно розе в снегу...». Два черновых автографа (АМ). *Сытых форелей... дне.* То же сравнение в гл. «Севан» «Путешествия в Армению». *Весь воздух выпила... гора.* Подразумевается Арарат (ср. примеч. «Ты розу Гафиза колышешь...»). *Окарина* – свистковая флейта.

*9. «Какая роскошь в нищенском селеньи...». Черновой автограф; список Н. М. с датой /24 окт. 1930/ (АМ). *Нищенское селенье* – Аштарак, см. одноименную главу «Путешествия в Армению».

10. «О порфирные цокая граниты...». *Примирившие дьявола и бога.* Среди курдов распространен езидизм (ветвь зороастризма) – верование, сочетающее поклонение доброму и злому началам.

11. «Лазурь да глина, глина да лазурь...». Свод ИМЛИ.

12. «Я тебя никогда не увижу...». Список Н. М. (АМ).

«На полицейской бумаге верже...». Мосты. 1965. № 11. Печ. по ВС. Списки в составе подборок (см. преамбулу к «Новым стихам»). *На полицейской бумаге верже.* Верже – качественная бумага с водяными знаками. Н. М. предполагала, что эпитет «полицейский» вызван тем, что такая бумага была подарена поэту в Тифлисском архиве. «Действительно, автограф близкого по времени стихотворения <«Колючая речь Араратской долины...»> написан на бумаге со штампом Тифлисского дворянского заемного банка, со сплошным водяным знаком в виде условных звезд и птиц» (Свод, с. 89). *Раппортички.* От аббревиатуры «РАПП» (Российская ассоциация пролетарских писателей); навеяно, должно быть, недавними встречами с одним из лидеров РАППа А. Безыменским, иронически обрисованным в «Путешествии в Армению» (гл. «Сухум»); детальнее см.: *101.*

«Не говори никому...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС. В составе подборок (см. преамбулу к «Новым стихам»). *Птицу, старуху, тюрьму*. По наблюдению К. Тарановского (*87*, с. 189), этот «перечень» восходит к воспоминаниям поэта о Феодосии (см. очерк «Старухина птица»). В строфе 3 отразились воспоминания поэта о своем детстве (*52*, с. 194).

*«Колючая речь Араратской долины...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС с поправками по беловому автографу (АМ).

«Как люб мне натугой живущий...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС, утраченная часть текста восстанавливается по черновикам в АМ («Другие редакции»). Автограф строфы 2 (см. примеч. к эпиграфу цикла «Армения»).

*«Дикая кошка – армянская речь...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС, датируется по записи Н. М. (АЗ, ранняя редакция); в ВС датировано нояб. 1930 г. Черновики отдельных строф (АМ). Возможно, черновики ст-ния «И по-звериному воет людьё...» («Другие редакции») относятся к ранней общей редакции ст-ний. Образы связаны с «Путешествием в Арзрум» Пушкина (см. примеч. к следующему ст-нию). *Моруха*. Здесь – изнуряющая болезнь. *Подорожная* – письменное свидетельство о цели путешествия в XVIII–XIX вв., выдававшееся, как правило, официальным лицам и дававшее преимущества при проезде. *Повытчик* – чиновник, собирающий оброк (ср. в «Других редакциях»).

*«И по-звериному воет людьё...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС, датируется по НК (в ВС датировано нояб. 1930 г.). Черновики (АМ), где зафиксированы фрагменты строф ранней редакции, предположительно общей с предшествующим ст-нием. Машинопись (АМ) с пометой /Ноябрь 1930. Тифлис/. *Черномора... питье*. О каком волшебном напитке идет речь, не установлено, – в «Руслане и Людмиле» и «Сказке о царе Салтане» Пушкина сходных эпизодов нет. И. Семенко предполагала связь с шапкой-невидимкой Черномора (Свод, с. 91). *Там, где везли на арбе Грибоеда* («Другие редакции»). Отзвук «Путешествия в Арзрум» Пушкина: «Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу... – Что вы везете? – Грибоеда. Это было тело убитого Грибоедова...» (гл. 2).

* «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». Лит. газ. 1932. 23 нояб., под загл. /Ленинград/. Печ. без загл. соответственно ВС и остальным источникам текста. Цензурная редакция ст. 13 /И всю ночь напролет ждут гостей дорогих,/; с этой редакцией в подборке ИРЛИ (см. преамбулу к «Новым стихам»). Другая цензурная редакция: /И всю ночь напролет – в перебоях глухих/ в подборке АЗ (см. преамбулу). Черновик (АЗ). «Криминальный» финал (последнее двустишие) опущен в автографе фонда И. У. Будовница (РГБ). Написано в Ленинграде, когда поэт жил (отдельно от жены) в квартире Е. Э. Мандельштама (Васильевский остров, 8-я линия, д. 31, кв. 5). Комнаты были заняты, и ночевать поэта уложили в каморку над черной лестницей (отсюда возникли реалии). Неожиданностью явилась публ. ст-ния. «Оно сильно распространилось в списках, и его, видимо, решили легализовать напечатаньем» (*52*, с. 196). Вполне вероятно, что публ. бесцензурного варианта имела со стороны редакции провокационный характер. *До детских припухлых желез.* Речь идет о шейных лимфатических узлах. Ср. в мемуарах современника о Шостаковиче: «Лицо у него было крепко перебинтовано, его мучили железки, те самые ленинградские припухлые железки, о которых вспомнит потом Мандельштам» (Жукова Л. Из книги воспоминаний // Russica – 1981. Нью-Йорк, 1982. С. 302).

«Мы с тобой на кухне посидим...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС. В подборках АЗ и ИРЛИ (см. преамбулу к «Новым стихам»). Список Н. М. (АЗ), с мелким разночтением. Писалось в одно время с предшествующим ст-нием, когда жена поэта жила у своей сестры в каморке за кухней; готовился отъезд в Москву после неудачной попытки получить комнату в Ленинграде. *Завязать корзину.* Имеется в виду дорожная корзина для клади.

«Помоги, Господь, эту ночь прожить...». СС 1. Т. 1. Печ. по беловому автографу (АЗ). В ВС и НК отсутствует. «Стихотворение... О. М. никогда мне не читал – я его не знала... Гибельных стихов он всё же мне часто не показывал» (*52*, с. 197).

*«С миром державным я был лишь ребячески связан...». Звезда. 1931. № 4, без разделения на строфы. Печ. и датируется по ВС, где в текст первой публ. внесена поправка («наглее» вм. «наглеет»). Список М. Зенкевича (РГАЛИ).

Местонахождение авторизованного списка первонач. редакции (БП, с. 288) не установлено. Ст. 1 перекликается с гл. «Ребяческий империализм» в «Шуме времени». *Леди Година* – героиня английской легенды, жена графа Честера (XI в.). Просила мужа отменить наложенный им на жителей Ковентри тяжелый налог. Граф посчитал эту просьбу капризом и предложил в доказательство истинности ее чувства сострадания к народу проехать по городу нагой; Годива исполнила его прихоть. М. легенда была известна, вероятно, по одноименному ст-нию А. Теннисона в переводе И. Бунина (Знание. 1906. Кн. 14).

«После полуночи сердце ворует...». День поэзии. М., 1962. Печ. по ВС, где изменение в тексте ст. 6, по сравнению с автографом (АМ), – «дрожишь» вм. «молчишь», – вероятно, смысловая поправка. В подборке АЗ (см. преамбулу). Ритмом и интонацией близко ст-нию Фета:

Что ты, голубчик, задумчив сидишь,
Слышишь – не слышишь, глядишь – не глядишь?

Любишь – не любишь – ни с чем не сравнишь. Обыгрывается фольклорное гаданье на лепестках ромашки. *Серебристую мышь.* Источником образа, вероятно, послужила статья М. Волошина «Аполлон и мышь» (*52*, с. 199), в которой Волошин писал о том, что «мышь в аполлоновых культах является знаком убегающего мгновения» (Лики творчества. Л., 1988. С. 100).

«Я скажу тебе с последней...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС. Датируется по спискам в АЗ (см. ниже). В АЗ: а) в составе подборки (см. преамбулу к «Новым стихам»); б) авторизованный список Н. М. с эпиграфом из ст-ния П. Верлена «Серенада»: «Ma voix aigre et fausse...» («Мой голос пронзительный и фальшивый...» (франц.). – *Ред.*) и датой /2.III.31/; в) авторизованный список М. Зенкевича с той же датой. В АМ – два списка Н. М., на одном из них помета автора: /Для «Ленинграда», на 5-ое место (перед «На полицейской»)/, свидетельствующая о намерении расширить подборку в журн. (см. преамбулу к «Новым стихам»). По свидетельству Н. М., написано во время пирушки в Зоологическом музее вместе с Б. Кузиным (см. примеч. «К немецкой речи») и его друзьями-биологами. *Шерри-бренди.* «В смысле “чепуха” – старая шутка, еще из Финляндии, где <он> жил с Каблуковым» (*52*, с. 199). *Ангел мой.* Реминисценция из «Серенады» П. Верлена:

В конце про губы алые спою
Хрипло и глухо,
Про нежность истерзавшую твою,
Мой ангел и шлюха!

(пер. Г. А. Шенгели). *Греки сбондили Елену По волнам.* Здесь иронически обыгрывается миф о Елене Троянской, умыкнутой Парисом из дома ее мужа. *Мэри.* Обыгрывается имя персонажа «Пира во время чумы» Пушкина.

«Колют ресницы. В груди прикипела слеза...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС. Датируется по беловому автографу (AM). Список М. Зенкевича (АЗ). *Бушлатник.* Здесь – каторжник. Н. М. писала: «Отношение О. М. к русским каторжным песням – он считал их едва ли не лучшими, очень любил» (*52*, с. 202).

*«Жил Александр Герцович...». Опыты. Нью-Йорк, 1956. Кн. 7. Печ. по авторизованному списку Н. М. (AM), представляющему, по-видимому, наиболее позднюю редакцию; описка в ст. 8 (было: «Твердил он») исправлена по автографу (AM) и ВС. Датируется по ВС. С. И. Липкин в воспоминаниях привел строфу ранней редакции («Другие редакции»). Написано в квартире брата, А. Э. Мандельштама, в Старосадском переулке в Москве; *Александр Герцович* (правильно: Герцевич) был его соседом по коммунальной квартире; в ст-нии обыгрывается отчество – от нем. Herz (сердце). *Одну сонату вечную.* Подразумевается знаменитая шубертовская (Шуберт назван в ст. 16) песня «Маргарита за прялкой» (по тексту «Фауста» Гете, где во втором стихе встречается слово «Herz») (*31*, с. 75). *Нам с музыкой-голубою... умереть.* Обыгрывается поговорка «умирать, так с музыкой».

*«За гремучую доблесть грядущих веков...». Маковский С. Портреты современников. Нью-Йорк, 1955. Печ. по ВС. Беловой автограф с правкой (АЗ). Черновики и беловой автограф с правкой (AM). Э. Герштейн сообщила о том, что поэт не был удовлетворен последним стихом ранней редакции и «даже склонялся к тому, чтобы отбросить его совсем» (*20*, с. 21). Из ранних редакций выделились ст-ния «Нет, не спрятаться мне от великой муры...», «Неправда». По наблюдению С. Куняева, мотивы ст. 5, 9–10 вызваны нашумевшим и много раз перепечатывавшимся ст-нием Э. Багрицкого «ТВС» (1929):

А век поджидает на мостовой
....
Но если он скажет «солги» – солги.
Но если он скажет «убей» – убей.
Враги приходили <...>
Их нежные кости сосала грязь.
Над ними захлопывались рвы

(Двадцать два. 1980. № 14). Про ст-ние «О. М. говорил, что это вроде романса» (*52*, с. 200); замысел ясно выступает в ранней редакции, где введен «поющий» – «один кто-то, властный»; источники и смысловое наполнение этого сюжетного хода не исследованы; в общем виде проблема обрисована И. Семенко (*81*, с. 50–57); она писала, что в одном из замыслов «начатый певцом "романс"... должен был перебиваться репликой "от автора"» (*81*, с. 54), – имея в виду под «романсом» текст, соответствующий всей строфе 1 основного. Поддерживая это важное для понимания смысла разграничение, выскажем предположение, что к «романсу» относится не вся строфа 1, а лишь ст. 1–2. *Золотились чернила московской грязцы* («Другие редакции»). Источником, возможно, послужила «сверхповесть» «Зангези» Хлебникова:

Это Москва переписывала набело
Чернилами первых побед
Первого Рима судьбы черновик.

Морцы («Другие редакции») – неологизм, смысл неясен; по И. Семенко – от слова «морить» (*81*, с. 51).

«Ночь на дворе. Барская лжа...». ВП. Альм. 2. Печ. по Своду (в редакции списка Н. М. 1931 г., местонахождение которого ныне неизвестно). В ВС с мелким разночтением; в НК с искажением («храп» вм. «хрип»). Жена поэта, имея в виду ст-ние Б. Пастернака «Красавица моя, вся стать...», писала: «"Ночь на дворе"... ответ на те строки Пастернака, где он говорит, что "рифма не вторенье строк, а гардеробный номерок, талон на место у колонн"» (*48*, с. 140); это предположение, однако, оценивалось как бездоказательное (*102*, с. 120). Строфа 2 повторяет мотивы ст-ния «За гремучую доблесть грядущих веков...».

*«Нет, не спрятаться мне от великой муры...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС, с исправлением «грозить» (ст. 9) на «грозит» по списку М. Зенкевича (АЗ, ранняя редакция).

Выделилось из ранней редакции ст-ния «За гремучую доблесть грядущих веков...». На основании редакций черновиков И. Семенко предлагала исправить «Москвы» на «Москву» как описку, уничтожающую рифму (Свод, с. 99); это предложение не принимаем: по сравнению с черновиками в основном тексте иное строение образа, а точность рифм не соблюдается и в строфе 2. Ст-ние М. прочитал на вечере в редакции «Лит. газеты» 10 дек. 1932 г., о шокирующей реакции свидетельствует реплика поэта С. Кирсанова: «Он назвал нашу Москву курвой!» (устное сообщение Н. Харджиева). *«А»* и *«Б»* – кольцевые маршруты московских трамваев.

Неправда. Мосты. 1965. № 11. Печ. по ВС. Список М. Зенкевича (АЗ). Два списка Н. М. (АМ). Мотивы восходят к строке «И неправдой искривлен мой рот...» ранней редакции ст-ния «За гремучую доблесть грядущих веков...». *К шестипалой неправде.* «О шестипалости – это, конечно, фольклор, но, кроме того, кличка была (у Сталина. – *А. М.*) и “рябой”, и “шестипалый”... И об этом будто в приметах охранки... Впрочем, здесь связь далеко не прямая. Скорее, ход такой: для людей шестипалость – примета зла» (*52*, с. 203).

«Я пью за военные астры...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС. Список М. Зенкевича (АЗ). Выступивший после ареста М. со статьей «Распад акмеизма» А. Селивановский (Лит. учеба. 1934. № 8) привлек цитату из ст-ния в своей аргументации. *Военные астры.* Н. М. (устное сообщение) связывала образ с обилием астр в начале войны 1914 г., их дарили уходившим на фронт. *За всё, чем корили меня, За барскую шубу.* «Шуба из “Астр” связана с забавным инцидентом. В конце двадцатых годов одна вельможная, а потом погибшая дама жаловалась Эмме Герштейн, что Мандельштам всегда казался ей совершенно чуждым человеком, – она, мол, не может забыть, в какой шикарной шубе он разгуливал по Москве в начале нэпа... Мы только ахнули» (*48*, с. 181). *Желчь петербургского дня.* Образ отсылает к ст-нию «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». *За музыку сосен савойских.* Реминисценция из ст-ния Тютчева о Ламартине: «Как он любил родные ели / Своей Савойи дорогой...» (*106*). *Елисейские Поля* – бульвар в Париже. *Асти-спуманте* и *папского замка вино* («Vine de pape») – марки вина.

*Рояль. Новый мир. 1932. № 6, с опечаткой в ст. 17 и отточиями после строфы 3, означившими опущенную строфу; текст соответствует наборной рукописи в архиве журн. (ИРЛИ). Печ. по ВС. В АМ: список Н. М. (первонач. редакция) и машинопись. В образном строе отразились реалии Великой французской революции, параллели из истории которой с актуальной современностью широко использовались во внутрипартийной полемике 1920-х гг. *Фронда*. Здесь – оппозиция. *Гора и Жиронда* – противоборствующие лагери во французском революционном парламенте; победа Горы привела в последующем к якобинской диктатуре. *Рояль-Голиаф*. Обыгрывается франц. этимология слова «рояль» – «королевский»; Голиаф – библейский великан, пораженный Давидом (1 Цар 17). *Мирабо* – один из вождей Великой французской революции (ум. 1791); здесь, по-видимому, в значении «узурпатор». *Мастер Генрих* – пианист Генрих Густавович Нейгауз, с впечатлениями от его игры на концерте связано все ст-ние (*52*, с. 204). *Земная груша*. Имеется в виду земляная груша (топинамбур), которую поэт «не переносил» (*52*, с. 204). *Нюренбергская... пружина*. Источник образа не установлен. *Выпрямляющая мертвецов*. Обыгрывается пословица «Горбатого могила исправит». *Волны внутренней правоты* («Другие редакции»). Те же мотивы – в ст-нии Пастернака «Опять Шопен не ищет выгод...» (1931), также вызванном игрой Нейгауза (*102*, с. 102).

*« – Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый...». СС 1. Т. 1. Печ. по беловому автографу с правкой (АЗ). В ВС и НК не записывалось. Черновые автографы в АМ: 1) на обороте следующего ст-ния; 2) среди прозаических записей 1931 г. Об этом ст-нии (пользуясь, вероятно, «домашним» названием) В. Нарбут писал главному редактору журн. «Октябрь» Ф. Панферову: «У Мандельштама есть новые стихи ("О пространстве"). Не хотите ли ознакомиться с ними? Ни в "Новый мир", ни в "Красную Новь" давать он их принципиально (в связи со своим отношением к Гронскому и Вс. Иванову) не желает...» (РГАЛИ). Ряд образов ст-ния, как и в предшествовавших, вызван воспоминаниями о детстве и юности (*49*, с. 385; *62*, с. 137). *Карандашик ментоловый* – ментоловый карандаш, медицинское средство от головной боли (мигрени); им нужно было потереть виски; ныне вышел из употребления. *Свист разрываемой марли... карболовой!* Карболовая кислота (карболка) – средство для дезинфекции; в образах сказались впечатления

от больницы, куда поэт приходил навещать заболевшую жену (*49*, с. 386).

*«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС, с исправлением «нацелясь» в ст. 10 на «прицелясь» согласно всем источникам текста 1931–1932 гг. (как у И. Семенко в Своде), и раздельного написания наречия «насмерть» (по современной орфографии – слитно). Черновой автограф завершенного текста (АМ). В первой публ. с посвящением А. А. Ахматовой и пометой /Хмельницкая/. Происхождение и смысл пометы не объяснены; о посвящении Н. М. писала: «Само стихотворение... не посвящалось никому. О. М. мне сказал, что только Ахматова могла бы найти последнее не хватавшее ему слово, – речь шла об эпитете “совестный” к “дегтю труда”. Я рассказала об этом Анне Андреевне – “он о вас думал”... Тогда Анна Андреевна заявила, что... он к ней обращается, и поставила над стихотворением три “А”» (*52*, с. 205). С этим сюжетом устная традиция связывает стих Ахматовой «И мы сохраним тебя, русская речь...» («Мужество»), а в ст. 5 («отец мой») видит, соответственно, обращение к языку (сообщено А. Морозовым).

*Канцона. СС 1. Т. 1. Печ. по ВС, с устранением описки в ст. 2 (воспроизводит ст. 2 промежут. редакции), согласно остальным источникам текста (см.: Свод, с. 101). В АМ: а) запись Н. М. с правкой (без загл., с датой), в которой окончат. редакция соответствует основному тексту (с мелким разночтением); б) машинопись ранней редакции с правкой («Другие редакции»), под загл. /География/. Запись Н. М. (начало – автограф) с правкой (ИРЛИ. Ф. 443), с мелкими разночтениями. Машинопись (ИМЛИ). *Канцона* – букв.: песнь; широко распространенный в средневековой Европе род любовной (в то же время хвалебной, прославляющей) лирики. Зачин связан с намерением вернуться в Армению (*49*, с. 446); образы – с впечатлениями от поездки в Армению 1930 г. В ст. 3–6 речь идет об ученых Армении (*52*, с. 206). *Гнейс* – горная порода слоистого строения, подобна граниту. *Прозорливец.* Одним из источников образа послужила Библия, где сказано, что в древности так называли пророков (1 Цар 9: 9). *Псалмопевец.* Таково традиционное (в т. ч. у Пушкина) именование царя Давида, который, по Библии, слагал и исполнял псалмы. *«Се́ла»* – слово, встречающееся в псалмах др.-евр. священных книг «Писания» (Танах); здесь

взято в значении «навеки» (установлено Ю. Фрейдиным). *Начальник евреев.* Подразумевается царь Давид; слово «начальник» здесь взято в редком, но сохранившемся в языке русской православной церкви вплоть до XX в. значении «основатель», «основоположник». *До оскомины зеленая долина.* Реминисценция из басни Крылова (см. примеч. «Грифельная ода»; установлено И. Семенко). *Я люблю военные бинокли.* Ср. в «Записных книжках» к «Литературному стилю Дарвина»: «Глаз натуралиста обладает, как у хищной птицы, способностью к аккомодации. То он превращается в дальнобойный военный бинокль, то в чечевичную лупу ювелира» (т. 3 наст. изд.).

«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...». Лит. газ. 1932. 23 нояб., с мелкими неточностями в тексте, под загл. /Полночь в Москве/ и с неточной датой /Июль, 1931 г./. Печ. по ВС с исправлением описки в ст. 52 (было: Марь Иванну) по авторизованному списку (ИРЛИ. Ф. 443). Написано, как и «Отрывки уничтоженных стихов», в квартире А. Э. Мандельштама в Старосадском переулке (*52*, с. 210). 1 июля М. передал в «Новый мир» подборку из 10 ст-ний, из которых для публ. было отобрано лишь настоящее. В связи с этим поэт писал В. Полонскому: «Это стихотворение дает читателю, с которым я и так достаточно разобщен, крайне неполное понятие о последних этапах моей лирики, а потому печатать его обособленно я не могу». 11 июля (в оригинале письмо ошибочно помечено 11 июня). М. Зенкевич, выступавший посредником между поэтом и редакцией, писал В. Полонскому: «О. Мандельштам согласен дать в “Новый мир” уже принятую Вами “Москву” с добавлением хотя бы еще одного стихотворения. Он предлагает “Фаэтонщика” – случай, бывший с ним в Шуше, где ему попался какой-то пьяный, напугавший его возница. Мы оба (я и Багрицкий) находим, что стихи, несмотря на несколько мрачный тон, приемлемы, вместе с “Москвой”, разумеется». Публ. не состоялась. *Дробот* (постукивание, дребезжание) и *чоботы* (сапоги) – украинизмы. *Бим и Бом* – «сценические» прозвища популярных в те годы клоунов. *И в ход пошли... фа-ми-ре-до.* Подразумевается ночная проверка трамвайных путей, сопровождавшаяся постукиванием молоточком по рельсам (*20*, с. 22). *Марь Иванна.* По устному сообщению Н. М., так называли ручных обезьянок уличных гадателей, они вытаскивали листок с «судьбой» из «кассы». *Есть блуд труда, и он у нас в крови.* Ср. в «Четвертой прозе»: «Здесь разный подход: для меня в бубли-

ке ценна дырка... Настоящий труд – это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы» (гл. 16).

*Отрывки уничтоженных стихов. СС 1. Т. 1. Печ. по одному из списков Н. М. в ВС, с восполнением пробела между первым и последним словами в ст. 4 фрагмента 2, оставленном из предосторожности, по НК (запись 1960-х гг.). Машинопись (АМ), текст которой отнесен Н. М. к варианту фрагмента 4. Она писала о несохранившемся фрагменте текста, где «была кухня», и привела два стиха: «И пальцы женщин пахнут керосином», «Из раковин кухонных хлещет кровь» (*52*, с. 211). К истории текста. «Его разругал Б. Кузин. О. М., еще не привыкший, что Кузин враждебно встречает каждое новое стихотворение, порвал листок. Мы считали, что стихи совсем пропали, но в Москве в 1935 г. среди спасенных черновиков я нашла листки с черновыми записями... О. М. <...> попросил записать сохранившиеся строчки... Черновики я отдала Рудакову...» (*52*, с. 210). *В Москве черемухи да телефоны.* Реминисценция из ст-ния «Телефон». *Щелкай, милый кодак.* Образ заимствован у А. Белого: «кодаком» он называл особенность своей памяти, прием запоминания (впервые – в эссе «Ветер с Кавказа», опубл. 1928). Кодак – марка фотоаппарата (по названию фирмы-производителя).

*«Еще далёко мне до патриарха...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС с поправками по авторизованному списку (ИРЛИ. Ф. 443). Датируется по автографу первонач. редакции (АЗ), в ВС с неточной датой /июль – сентябрь 1931/. Ст. 8–12 входили в одну из редакций следующего ст-ния. Ст. 1 перифразирует зачин ст-ния Баратынского «Еще, как патриарх, не древен я; моей...» (БП, с. 289). *От чужой квартиры.* Имеется в виду квартира брата в Старосадском переулке (см. примеч. «Жил Александр Герцович...»); поэт подразумевает свою бездомность. *Целлулоид фильмы воровской.* Подразумевается «кусок киноленты», подаренный поэту Б. Лапиным (*49*, с. 438). *Дзенькую, пане!* (польск.) – Благодарю, пане! *Шах-гора.* Имеется в виду муляж, на фоне которого делали снимки уличные фотографы. *Асти* – марка вина. *Кордованская* – от Кордова (город в Испании).

*«Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..». Новый мир. 1932. № 4, без даты. Печ. по ВС. Черновик с датой (АМ), где правка автора по записи Н. М. (первонач. редакция),

приводит к основному тексту. Машинопись промежут. редакции (РГАЛИ). Наборная рукопись «Нового мира» (ИРЛИ). *Франсуа.* С. Липкин предложил поэту точную рифму к слову «обуян» – «Антуан» и был им пристыжен (*44*, с. 391); причина, по-видимому, в том, что в это время М. вырабатывал новую систему выразительности в стихе, чередуя точные рифмы с неточными (ср. в следующих строфах). *Что я еще не умер.* Эти слова, как и ст. 1 в ст-нии «Еще не умер ты, еще ты не один...», восходят к письму Кюхельбекера, процитированному в «Кюхле» Ю. Тынянова: «уведомить тебя, что я еще не умер» (*41*, с. 22).

«На высоком перевале...». ВП. Альм. 2. Печ. по списку Н. М. (СМ). В НК идентичный текст (загл. приписано в 1960-е гг.). В ВС отсутствует. Машинопись (РГАЛИ). Под загл. /Фаэтонщик/ в первой публ. и БП, со ссылкой на авторизованный список (НК?); под загл. упоминается в письме Зенкевича Полонскому (см. примеч. «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...»). Навеяно впечатлениями от поездки в Шушу осенью 1930 г.: город еще не оправился после истребления армянского населения турецкими войсками в 1920 г.: «Мы прошлись по улицам, и всюду одно и то же: два ряда домов без крыш, без окон, без дверей... Говорят, что после резни все колодцы были забиты трупами... Мы решили ехать в Степанакерт... попался нам безносый извозчик, единственный на стоянке, с кожаной нашлепкой, закрывавшей нос и часть лица. А дальше все было точно так, как в стихах, и мы не поверили, что он нас действительно довезет до Степанакерта... После вечера в "Литгазете", где О. М. прочел эти стихи... подошел Кирсанов... и сказал, что у О. М. все мысли старые и все стихи старые и подражательные, и привел в пример "Фаэтонщика" – подражание "Пиру во время чумы". О. М. выслушал с удовольствием» (*52*, с. 211–213). В образе фаэтонщика исследователи (И. Чиннов и др.) предполагали Сталина. *Словно розу или жабу.* Реминисценция из ст-ния Есенина «Мне осталась одна забава...» (1923): «Розу белую с черною жабой / Я хотел на земле повенчать...» (Соч., с. 519).

«Как народная громада...». СС 1. Т. 1. Печ. по НК. В ВС отсутствует. Написано после благополучного завершения поездки с «фаэтонщиком» (*52*, с. 212).

*«Сегодня можно снять декалькомани...». СС 1. Т. 1. Печ. по беловому автографу (АЗ), с учетом поправки, вне-

сенной в ст. 37 в ВС. Авторизованная машинопись (из портфеля «Нового мира»?), датированная рукой Н. М. августом 1931 г., с многочисленными пометами цензурного характера: заключительная строфа помечена, затем вычеркнута построчно (АЗ). Машинопись из портфеля «Нового мира» с резолюцией редактора: «Не печатать» (ГЛМ. Ф. 49). ВС, без последней строфы (приложена ее запись 1950-х гг. рукой Н. М.), с датой /июль – август 1931 года/. К истории текста. Вышеописанные архивные машинописи относятся ориентировочно к 1932 г., дата в одной из них (АЗ), по-видимому, проставлена по памяти и неточна. Цензурные причины исключения последней строфы, по пометам и резолюции, не оставляют сомнения. Вероятно, в АМ отложился подцензурный текст, который был скопирован в ВС (дата в нем, по-видимому, также неточна). Н. М. писала о том, что последняя строфа была исключена из текста по воле поэта (*52*, с. 215), но вышеизложенная история текста вступает в противоречие с ее свидетельством (см. также Свод, с. 108). Написано после переезда Мандельштамов в комнату в Замоскворечье (*20*, с. 23). *Декалькомани* – см. примеч. «Ты розу Гафиза колышешь...». *Фисташковые эти голубятни.* Образ навеян разноцветными куполами храма Василия Блаженного. *В стеклянные дворцы на курьих ножках.* Речь идет о стиле московских построек (*52*, с. 214); «курьи ножки» – намек на обиталище бабы-яги русских сказок. *Бес... кидается в ребро.* Ср. в «Записных книжках» к «Путешествию в Армению» (т. 2 наст. изд.): «В январе мне стукнуло 40 лет. Я вступил в возраст ребра и беса. Постоянные поиски пристанища и неудовлетворенный голод мысли». *Почасно* – т. е. взятый напрокат за почасовую плату.

*Ламарк. Новый мир. 1932. № 6. Печ. по этой публ., датируется по ВС (куда скопировано с утраченного архивного текста). В наборной рукописи «Нового мира» (ИРЛИ) – список Н. М. (ранняя редакция); текст подписан к печати – следовательно, исправления, приводящие к печатному тексту, были сделаны автором в корректуре. Черновик (АМ), датированный 9 мая (запись трех последних строф). ВС, с разночтением в ст. 24 (искажение, вызванное записью по памяти, – текст соответствует редакции черновика). Ст-ние было высоко оценено уже современниками, так, Ю. Тынянов называл его гениальным (*20*, с. 35). Интерес к учению Ламарка возник при общении с Б. Кузиным (см. примеч. «К немецкой речи»), сторонни-

ком неоламаркизма; в эти годы Кузин подвергался преследованиям за свои научные взгляды. Образные параллели – в «Путешествии в Армению»: «Ламарк боролся за честь живой природы со шпагой в руках» (ср. ст. 3–4); «В обратном, нисходящем движении с Ламарком по лестнице живых существ есть величие Данте. Низшие формы органического бытия – ад для человека» (гл. «Вокруг натуралистов»). Поэт воспринял не только идеи, но и образы трудов Ламарка («Философии зоологии» главным образом): «Одним из таких ключевых образов является лестница, другим – спуск, или “деградация”, которая выражается в потере важных органов и способностей теми животными, которые находятся на нижних ступенях этой лестницы. М. описывает “деградационные потери” почти словами Ламарка, см. особенно подчеркивание границы между позвоночными и беспозвоночными... так же как и введение красного цвета... Особое внимание М. привлекли идеи Ламарка об отсутствии зрения (глаз) у животных, стоящих ниже насекомых...». Исследователь видит в ст-нии не скрытые политические и социальные аллюзии – в этот период поэт открыто выражал свои взгляды, – а предвосхищение регрессивного, отступательного движения, «которое стало основной темой русского и европейского искусства и эстетической мысли» у С. Эйзенштейна, Р. Кено, Т. Манна (*27*, с. 5–6). *Протей.* Здесь с игрой значений: на имени морского бога (греч. миф.), обладающего способностью к перевоплощению, и на получивших от него именование видах животных и микроорганизмов; из названных, вероятнее всего, подразумевается протей из отряда хвостатых земноводных, характерный признак которого – недоразвитые глаза.

*«Когда в далекую Корею...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС. В АМ две записи ранних редакций рукой Н. М.: 1) без строф 3, 6; 2) идентичная, к которой позднее приписана строфа 6 и дата (совпадает с датой ВС). Сюжет основан на воспоминаниях о юности. *Когда в далекую Корею... золотой.* Подразумевается экономическая политика России на Дальнем Востоке перед Русско-японской войной 1904–1905 гг. *Оранжерея* – в Тенишевском училище; размещалась в галерее, соединявшей лицевое здание и дворовой флигель; под ней, на внутреннем дворе, где мальчишки во время перемен играли в футбол, складывали дрова. *Смешливая бульба.* Подразумевается кадык. *Петропавловску-Цусиме.* «Петропавловск» – флагман русской флотилии, подорвавшийся на мине и затонувший в

марте 1905 г.; Цусима – морское сражение (май 1905 г.), поражение в котором предопределило для России исход войны и, во многом, развитие революции 1905 г.; отразилось также в поэме Ахматовой «Путем всея земли». *Царевич Хлор* – персонаж «Сказки о царевиче Хлоре» Екатерины II, посланный на гору искать розу без шипов (его упоминает Державин в оде «Фелица»).

*«О, как мы любим лицемерить...». Новый мир, 1932. № 4, без даты (промежут. редакция в виде двух первых строф). Печ. по ВС, датируется по наборной рукописи «Нового мира» (ИРЛИ), где представлена ранней редакцией (список Н. М.); текст подписан к печати – следовательно, третья строфа была снята автором в корректуре. В БП ошибочно датировано февр., в ВС – апр. 1932 г. По свидетельству Н. М., Ахматова «опознала» в ст-нии мотивы одного из юношеских стихов М. (*49*, с. 324); строфа 1 близка по мысли к одной из статей Вяч. Иванова: «Когда отсечен ребенок от матери, как плод от дерева, – обособленный человек подобится новой тени, легкой гостье Аида, только что испившей от летейских струй, от вод Забвенья» (*26*, с. 394).

*«Вы помните, как бегуны...». Струве-1962. Печ. по ВС (восстанавливается зачеркнутая часть даты). В НК с ошибкой памяти – «холста» вм. «сукна»; в послевоенное время текст зачеркнут и помечен: «Запись по памяти – отсюда ошибки... Н. Мандельштам». Возникло в результате переработки в Воронеже ранней редакции ст-ния, сохранившегося в АМ в двух источниках: 1) машинопись под загл. /Новеллино/, датированная маем 1932 г.; 2) список Н. М. под загл. /Флорентийцы/, датированный рукой поэта 22 мая 1932 г. Этот лист был разрезан, и часть, соответствующая тексту следующего ст-ния, нумерована для включения в подборку (ранее воронежской ссылки). Ст-ние явилось в результате чтения песни XV «Ада» «Божественной комедии», в которой описана встреча Данте с одним из его учителей, Брунетто Латини:

Он обернулся и бегом помчался,
Как те, кто под Вероною бежит
К зеленому сукну, причем казался
Тем, чья победа, а не тем, чей стыд.

«Около Вероны раз в год устраивались состязания в беге... Победитель получал отрез зеленого сукна...» (перевод и примеч.

М. Лозинского). Цитируя эти стихи «Ада» в своем переводе, поэт заметил: «В дантовском понимании учитель моложе ученика, потому что бегает быстрее» («Разговор о Данте», гл. II).

«Увы, растаяла свеча...». БП. Печ. по ВС. См. примеч. «Вы помните, как бегуны...». Источники сюжета, вероятно, – средневековые итальянские новеллы.

Импрессионизм. ВП. Альм. 2. Печ. по ВС, с устранением описки в ст. 2 («растений» вм. «сирени») по записи жены поэта 1932 г. (АМ). Вызвано впечатлениями от картин импрессионистов: К. Писсаро «Бульвар Монмартр» и «Площадь Французского театра в Париже», К. Моне «Сирень на солнце», которые поэт видел в Музее нового западного искусства в Москве (БП, с. 291). Образные параллели – в «Путешествии в Армению» (гл. «Французы») и «Записных книжках» к нему.

«Там, где купальни-бумагопрядильни...». Новый мир. 1932. № 6. Печ. по ВС, датируется по первой публ. (в ВС ошибочно датировано апр. 1932 г.). Наборная рукопись «Нового мира» (ИРЛИ). Черновой автограф строфы 3 (АМ). Посвящение восстанавливается по указанию Н. М. (*52*, с. 218). Сергей Антонович *Клычков* (1889–1937, расстрелян) – поэт; дружба с ним окрепла в 1932 г., когда они оба вместе с семьями жили в Доме Герцена; ему посвящено также ст-ние «Полюбил я лес прекрасный...». Известен вариант стиха без определенного места отнесения: «Сам себя по улицам за руку водил» (*52*, с. 218). В ст. 4 и 6 обыгрывается название места отдыха москвичей: Парк культуры и отдыха (современное ст-нию) и Нескучный сад (старое). *Вывернуто веко*. Реминисценция из поэмы И. Сельвинского «Уляляевщина»: «Уляляев був такий: Выверчено віко...».

Батюшков. Новый мир. 1932. № 6. Печ. по ВС с исправлением описки в ст. 1 («бродяга» вм. «гуляка») и др. по остальным источникам текста. Датируется по первой публ. (в ВС – неполная дата). Наборная рукопись «Нового мира» (ИРЛИ). Беловой автограф с датой (ГЛМ. Ф. 49). В НК ст. 1 совпадает с основным текстом, с описками в других стихах и без последней строфы. Константин Николаевич *Батюшков* (1787–1855) был одним из «вечных спутников» М.; он упомянут в ст-нии «Нет, не луна, а светлый циферблат...» (см. также примеч. «Чуть мерцает при-

зрачная сцена...»). С. Липкин, навещавший М. в 1932 г., писал: «Он рассказывал о Батюшкове с горячностью первооткрывателя... не соглашался с некоторыми критическими заметками Пушкина на полях батюшковских стихов, искал, находил линию Батюшкова в дальнейшем движении русской поэзии, называл при этом Языкова и Веневитинова. Запомнилась (неточно) фраза: "Прекрасно обливаться слезами над вымыслом, а Батюшков и слезы превращал в вымысел"» (*44*, с. 391–392). Основной источник ст-ния – «Прогулка по Москве» Батюшкова, где рассказывается о «странствованиях... с гулянья на гулянье» (ср. ст. 1), между прочим и по Тверскому бульвару, где писалось ст-ние. *Батюшков нежный со мною живет.* Помимо переносного, в этом стихе был и прямой смысл – в комнате на Тверском бульваре у М. висела репродукция автопортрета Батюшкова (БП, с. 293). «Нежным» Батюшков назван в ст-нии Баратынского «Богдановичу». *Дафну поет.* Дафна лишь однажды упоминается у Батюшкова (ст-ние «Ответ Тургеневу»); по-видимому, имеется в виду «Источник» Батюшкова (переложение одноименной «персидской идиллии» Парни), воспевающий Зафну. *Этот говор валов.* Подразумевается строка Батюшкова «И есть гармония в сем говоре валов» («Есть наслаждение и в дикости лесов...»). *Гармонический проливень слез.* Образ восходит к стихам («К Дашкову») и прозе («О лучших свойствах сердца») Батюшкова. *Оплакавший Тасса.* Батюшков написал элегию «Умирающий Тасс». *Удивленные брови.* Образ вызван, вероятно, обликом Батюшкова на портрете работы Кипренского. *Вечные сны.* Речь идет о «вечных», т. е. повторяющихся, мотивах поэзии, а также о теме «поэзии как сна» или «сна в поэзии», распространенной у поэтов русского XIX в. В том же значении «блуждающие сны» (ст-ние «Я не слыхал рассказов Оссиана...»). У Батюшкова тема обыгрывается в ироническом «Похвальном слове сну».

Стихи о русской поэзии. СС 2. Т. 1 (с другим распределением строф между ст-ниями цикла), последнее ст-ние с посвящением С. А. К<лычкову>. Отдельно стихи печатались: ВП. Альм. 2; СС 1. Т. 1. Печ. по ВС, с уточнениями (см. ниже). Возможно, цикл был окончательно завершен лишь в Воронеже: в архивных источниках АМ (см. ниже) отразились варианты порядка ст-ний в цикле, но без строф 1–2 первого ст-ния цикла (в копии Н. Е. Мандельштам из архива Е. Э. Мандельштама выделены в самостоятельное ст-ние). В письме к жене от 4 мая

1937 г. поэт сообщал оценку С. Рудакова: «Только что пришло письмо от Рудакова... Он пишет... что... большое новое идет от стихов о русской поэзии. Да?»

I. «Сядь, Державин, развалися...». Печ. по ВС с поправкой в ст. 17 по копии Н. Е. Мандельштам из архива Е. Э. Мандельштама: редакция ВС /Пахнет потом, конским топом/ воспроизведена по черновикам и не отразила, как представляется, последующую работу над текстом. *Сядь, Державин, развалися.* Отзвук ст-ния Державина «Гостю»:

Сядь, милый гость! здесь на пуховом
Диване мягком отдохни...

(56, с. 248). *Ты у нас хитрее лиса.* По-видимому, подразумевается то обстоятельство, что Державин, выступавший с обличениями чиновников и высшей знати, все же ухитрялся сохранять расположение императрицы. *Дай Языкову бутылку... накал.* Образы основаны на мотивах поэзии Языкова, нашедших отклик в поэтических посланиях к нему Пушкина («Языков, кто тебе внушил...») и Баратынского («Языков, буйства молодого...») (БП, с. 293). *Гром живет своим накатом.* Эта тема, варьирующаяся в следующем ст-нии, и общий аллюзивный строй цикла заставляют предполагать подтекстом аллегорическое и назидательное ст-ние Державина «Гром» (56, с. 249):

О вы, безбожники! не чтущи
Всевышней власти над собой
....
Взгляните в буйности надменной
На сей ревущий страшный мрак
....
И верьте, дерзки человеки,
Что всё величье ваше – прах.

*II. «Зашумела, задрожала...». Два автографа с правкой (АМ, первонач. редакция), датированные 2 и 3 июля 1932 г. Машинопись с правкой (АМ). Сюжет продолжает начатую в ст-нии I тему грозы. *Как смоковницы листва.* Подразумевается евангельский рассказ о бесплодной смоковнице, обреченной засохнуть (Мф 21: 19). *И в сапожках мягких ката Выступают облака. Капли прыгают* («Другие редакции»). Образы навеяны, по-видимому, державинским ст-нием «Облако», где «каплям» уподоблены временщики.

III. «Полюбил я лес прекрасный...». Посвящение С. А. *Клычкову* (см. примеч. «Там, где купальни-бумагопрядильни...».) восстанавливается в соответствии со свидетельством Н. М.: «Третья часть... понравилась Клычкову... попросил посвятить ему... и О. М. согласился. На чистовиках нет имени Клычкова, чтобы на случай беды не давать начальничкам лишнего имени» (*52*, с. 225). Черновой автограф; машинопись строф 5–8 (АМ). В образном строе дана картина «русской поэзии». *Белок кровавый белки... в страшном колесе.* Отдаленные параллели – в статьях «Франсуа Виллон» (гл. 5), где говорится, что Виллон «жил в Париже, как белка в колесе», и «О природе слова», где В. Розанов «щелкает орешки». *Там без выгоды уроды... вал.* Клычков «сказал про уродов, которые режутся в девятый вал: “Это мы с вами... ”» (*52*, с. 225). Ср. у Клычкова:

Должно быть, я калека,
Наверно, я урод:
Меня за человека
Не признает народ.

Скажу я без досады,
Что, доживя свой век
Средь человечья стада,
Умру как человек!

И деревья – брат на брата – Восстают. Ср. в статье «Заметки о поэзии»: «В поэзии всегда война... Корневоды, как полководцы, ополчаются друг на друга» (см.: *95*, с. 89).

*«Дайте Тютчеву стрекóзу...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС; здесь в квадратных скобках показана строфа 4, скопированная из чернового автографа (АМ), где была зачеркнута («Другие редакции»). Датируется по машинописи из собр. И. Эренбурга (ныне в АМ). Та же дата в машинописной копии В. А. Лифшица, восходящей, по данным А. П. Бабенышева, к редакционному портфелю журн. «Звезда». В ВС датировано маем 1932 г. В БП указан беловой автограф из собр. А. В. Звенигородского, датированный июлем 1932 г. (ныне местонахождение неизвестно). Недатированный беловой автограф в альб. Л. В. Горнунга (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме). Строфа 1 построена как фольклорная загадка: читатель приглашается «догадаться», о чем идет речь. *Дайте Тютчеву стрекóзу.* Подразумеваются строки Тютчева:

В душном воздуха молчаньи,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы...

(БП, с. 292). *Веневитинову – розу.* Намеки на образы ст-ний Веневитинова «Три розы» и Дельвига «На смерть Веневитинова» («Розе подобный красой, как Филомела ты пел...») (БП, с. 293). *Перстень.* Здесь – первый по значению «приз»; образ вызван, вероятно, ст-ниями Пушкина «Талисман» и Веневитинова «К моему перстню». *Баратынского подошвы... веков.* Образ связан, по-видимому, с представлением о пророческом даре Баратынского (его ст-ние «Последняя смерть»). *Лермонтов – мучитель наш.* Стихи Лермонтова, особенно «Выхожу один я на дорогу...», интенсивно переживались М. с начала 1920-х гг. (см. примеч. «Грифельная ода»), в «Стихах о неизвестном солдате» он обещает «за Лермонтова Михаила... отдать строгий отчет». *Одышкой болен Фета жирный карандаш.* «Жирный» навеян этимологией фамилии Фета (*40а*, с. 33); по-видимому, М. знал о карандашной правке Фета в его последнем ст-нии «Когда дыханье множит муки...» (*117*, с. 61). *А еще, богохранима... Хомякова борода* («Другие редакции»). Строфа со слишком отчетливой пародийной окраской, почему, вероятно, и не была введена в окончат. текст. Имеются в виду строки Хомякова (БП, с. 292):

Широка, необозрима,
Чудной радости полна,
Из ворот Ерусалима
Шла народная волна.

*К немецкой речи. Лит. газ. 1932. 23 нояб. Печ. по ВС, загл. и посвящение – по первой публ. В архивных источниках: 1) первонач. редакция – сонет /Христиан Клейст/. Автограф с правкой (АМ), датированный 8 авг. 1932 г., с эпиграфом из ст-ния Клейста «Дифирамбы»:

Freund! Versäume nicht zu leben:
Denn die Jahre fliehn,
Und es wird der Saft der Reben
Uns nicht lange glühn!
Ew. Chr. Kleist

В переводе К. М. Азадовского: Друг! Пользуйся жизнью: / Ибо годы летят, / И сок виноградных лоз / Не долго еще будет нас

горячить! Эв.-Хр. Клейст. (нем.); 2) сонет /Христиан Клейст/, окончат. текст этой редакции. Список А. В. Звенигородского (АМ), датированный 8 авг. 1932 г., с поздней пометой Н. М. мемуарного характера (см. ниже); 3) промежут. редакция. Машинопись первых 4-х строф, под загл. /Бог-нахтигаль/, с правкой рукой Н. М., приводящей строфы к основному тексту (АМ); 4) основной текст, с посвящением (загл. приписано позднее) – запись Н. М. (АМ); 5) Основной текст, с вышеприведенным эпиграфом из Клейста – список Н. М. (архив М. Шагинян). Андрей Владимирович Звенигородский (1878–1961) – поэт, автор двух сборников стихов и литературоведческих работ. Сдружился с М. в июне 1932 г. В анкете отозвался о нем: «Очень талантливый и с большой эрудицией поэт. Полюбил его как человека» (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. I. Ед. хр. 46). В знак возникшей дружбы М. продиктовал ему стихи (см. упомянутый выше список сонета) и «сказал, что этот вариант он дарит ему и больше нигде стихи записаны не будут» (записано Н. М. в 1957 г. со слов Звенигородского на его списке, АМ). Борис Сергеевич *Кузин* (1903–1973) – биолог; друг М. Познакомились в Ереване в 1930 г., их дружба продолжалась до конца жизни поэта (*34*, с. 153–183). М. был вхож в кружок биологов, коллег Кузина, и проникся естественнонаучными интересами, отразившимися в ст-нии «Ламарк» и на страницах «Путешествия в Армению». Кузин, сам писавший стихи, был нелицеприятным критиком, к этому обстоятельству апеллируют ст. 5–6 (см. также примеч. «Отрывки уничтоженных стихов»). После ареста Кузина (в связи с его научными взглядами) М. добивался его освобождения (1933). Эвальд Кристиан фон Клейст (1715–1759) – поэт, выразитель идей раннего немецкого сентиментализма; в ставшей популярной поэме «Весна» призывал отказаться от войн. Служил офицером в прусской армии, погиб от ран, полученных в бою с русскими войсками во время Семилетней войны (ср. ст. 34). Книга стихов Клейста была куплена М. в 1932 г.: «Случайно попался и Клейст-старший. Его судьба поразила О. М.: он был ранен в битве... его узнали русские офицеры и на носилках отнесли в госпиталь» (*52*, с. 226). *Церера* (римск. миф.) – богиня земледелия и плодородия; здесь, по-видимому, символизирует мир. *Когда я спал без облика и склада.* Подразумевается период «поэтической немоты» (1925–1929), из которого поэта вывела дружба с Кузиным. *Бог Нахтигаль.* Нахтигаль (нем.) – соловей. Образ восходит к ст-нию Гейне «В начале был соловей...», где речь идет о страдающем соловье, ис-

купителе лесных птиц (*117*, с. 17). *Пилад* – в греч. миф. верный (и молчаливый) друг Ореста (вошло в поговорку); здесь поэт говорит о своих дружеских чувствах к Кузину.

*Ариост. День поэзии. М., 1962. Печ. по ВС. К истории текста. Восстанавливая стихи 1933 г. по памяти в июне 1935 г., М. создает «вариант» (см. «Другие редакции»). С. Рудаков писал жене 29 июня 1935 г.: «О. Э. стал пытаться восстановить стихи об Ариосто. И из полузабытых обломков стало нами строиться новое стихотворение... план... мой... Кроме мелочей – последняя, заключительная, строка – моя, мое центральное место (1 1/2 строки) в середине вещи». Впоследствии текст 1933 г. нашелся в АМ (ныне местонахождение неизвестно) и был внесен, наряду с вышеописанным, в ВС. Н. М. настаивала на том, что поэт «собирался печатать оба стихотворения... с общим названием» (*52*, с. 232), однако, независимо от степени участия Рудакова в работе, отсутствие творческих причин при создании «варианта» не позволяет нам признать его самостоятельным произведением. В БП (с. 296) указан «первоначальный текст... без последней строфы, с пометой: Старый Крым. 4 мая 1933» (ныне местонахождение неизвестно). Из текста выделилось ст-ние «Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг...». Написано в Старом Крыму, где Мандельштамы и Кузин, только что освобожденный из-под ареста, жили у вдовы А. Грина. *Ариост* – Лудовико Ариосто (1474–1533) – итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Орланд», эпизоды которой обыгрываются в ст-нии. Для М. имело значение то, что влияние Ариосто испытали Батюшков и Пушкин. *И деве на скале... без покрывала...* Реминисценция из ст-ния Пушкина «Буря»: «Ты видел деву на скале... С ее летучим покрывалом?» (БП, с. 296); в какой-то мере, возможно, образ восходит к «Неистовому Орланду», где герой спасает прикованную к скале Олимпию. *Феррара черствая!* Ариосто, как и его отец, многие годы находился на службе у феррарского герцога, который не считался с его поэтическим призванием.

«Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть...». Струве-1962, без ст. 5–6. Печ. по ВС. Современные ст-нию архивные источники были утрачены при обыске в мае 1934 г. Восстановлено поэтом по памяти в 20-х числах июня 1935 г. (письмо Рудакова к жене от 7 авг. 1935 г.) – сначала, возможно, без ст. 5–6 (так в Списке Линецкой и НК). *Не искушай чу-*

жих наречий. Как и в ст-нии «К немецкой речи», здесь говорится об «измене» родному языку: в Крыму, где писалось ст-ние, М. читал итальянских поэтов в подлиннике и писал «Разговор о Данте». *Получишь уксусную губку... губ.* Реминисценция из евангелий о последних минутах жизни Христа (Мф 27: 34; Мк 15: 36).

«Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг...». Струве-1962. Печ. по ВС. Выделилось из ст-ния «Ариост» (ср. строфу 8). Упоминается в письме Рудакова к жене от 7 авг. 1935 г.

«Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым...». Мосты. 1963. Кн. 10. Печ. по фотокопии из следственного дела 1934 г. (Огонек. 1991. № 1) – запись рукой следователя, помета и подпись автора. Местоположение определяется по пробелу в ВС. Н. М. писала, что в ст. 5 первонач. было: «расстрелянная даль» (*52*, с. 231). Осенью 1932 г. власти пошли на преступную акцию: чтобы сломить сопротивление крестьян коллективизации, у населения были изъяты запасы зерна, и к зиме начался массовый голод. «Кубань и Украина названы точно – это расспросы людей, бродивших с протянутой рукой. Калитку действительно стерегли день и ночь... чтобы бродяги не разбили саманную стенку дома и не вытащили последних запасов муки» (*52*, с. 231).

«Квартира тиха, как бумага...». Рус. мысль. 1963. 21 февр., без строф 4 и 8. Печ. по машинописи 1960-х гг. (АМ), ст. 14 – в редакции Э. Герштейн (*20а*, с. 350). Прижизненные записи, вероятно, не делались. В ВС не записывалось, Н. М. писала об этом (*52*, с. 235) ошибочно. В НК – запись 1950-х гг., без строф 4 и 8. Текст ст-ния, восстанавливавшийся Н. М. по памяти, по-видимому, неточен, особенные сомнения вызывает текст между строфами 3 и 9 (см. также: *20а*, с. 350). В сюжете речь идет о новой квартире в писательском кооперативе (ул. Фурманова, д. 3/5, кв. 26), полученной поздней осенью 1933 г. Поводом послужили слова Б. Пастернака. «Он забежал к нам... посмотреть, как мы устроились в новой квартире. Прощаясь, долго топтался и гудел в передней. “Ну вот, теперь и квартира есть – можно писать стихи”, – сказал он, уходя. “Ты слышала, что он сказал?” – О. М. был в ярости. Он не переносил жалоб на внешние обстоятельства... которые мешают работать. По его

глубокому убеждению, ничто не может помешать художнику сделать то, что он должен, и обратно – благополучие не служит стимулом к работе» (*48*, с. 140). В ст-нии отразились реалии. «Дом... был построен халтурно. Стены были проложены внутри войлоком, отсюда тучи моли, летавшей по комнатам. Ее ловили, хлопая руками» (*20а*, с. 352). *Пайковые книги читаю.* Подразумевается «разрешенная литература»; обыгрывается «пайковая книжка» – блок талонов на получение продуктов из распределителя (*48*, с. 113). *Ключ Ипокрены* (греч. миф.) – источник на горе Геликон, образовавшийся от удара копыт Пегаса; символ поэтического вдохновения.

«Мы живем, под собою не чуя страны...». Мосты. 1963. Кн. 10, с разночтениями. Печ. по фотокопии автографа из следственного дела 1934 г. (Моск. новости. 1989. 9 апр.) с поправкой в ст. 7 по записи Н. М. 1960-х гг. В автографе «глазища» вм. «усища», что, как представляется, явилось результатом описки, см.: *58*, с. 186–187. По воспоминаниям Н. М., ранняя редакция ст. 3–4:

Только слышно кремлевского горца,
Душегубца и мужикоборца.

В этой редакции ст-ние попало к следователю (*48*, с. 80). Э. Герштейн сообщила вариант ст. 5: «У него на дворе и собаки жирны» (*20*, с. 51). Разночтения в публ. восходят к записям (по памяти) Н. М. разных лет и, возможно, воспроизводят варианты редакций. Поэт читал ст-ние друзьям и знакомым. По свидетельству Ахматовой, перед тем как прочитать эти стихи, он сказал: «Стихи сейчас должны быть гражданскими» (*7*, с. 205). *И широкая грудь осетина.* По свидетельству историка, «грузины, озабоченные репутацией своей страны, говорят о татарском или осетинском происхождении Сталина» (Конквест Р. Большой террор // Нева. 1989. № 10. С. 116). Фамилия «Джугашвили» (названная в ст-нии «Если б меня наши враги взяли...») буквально значит «сын осетина» (*55*, с. 425).

Восьмистишия. СС 2. Т. 1, где напечатаны в последовательности ВС. Отдельные восьмистишия печатались вне подборки (см. примеч. к ним). Печ. по ВС. Тот же порядок в НК (не вошло ст-ние 2). Хотя в ВС нумерацией установлен авторский порядок следования восьмистиший 1–9, Н. М. позднее писала, что порядок «окончательно установлен не был», и,

предлагая «идти от семантики стихов», определила другую последовательность ст-ний в подборке (*52*, с. 236–240). Как представляется, способ, предложенный Н. М., в данном случае не может быть применен. К истории подборки. «Мандельштам никак не хотел собрать и записать восьмистишия. Он долго убеждал меня, что восьмистишия – это просто неудавшееся большое стихотворение... Первая запись... все же состоялась в январе 1934 г. <...> Лишь в Воронеже он “реабилитировал” два последних восьмистишия...» (*52*, с. 236). В архиве ГИХЛа сохранилась подборка из стихотворений 2, 3, 6, 9 (РГАЛИ), см.: *85а*. В Воронеже работа над подборкой велась в первой половине июня 1935 г. (см. примеч. 1).

1. «Люблю появление ткани...». СС 2. Т. 1. Печ. по ВС, с поправкой в дате (в ВС ошибочно «июль» вм. «июнь») согласно письму Рудакова к жене от 18 июня 1935 г., в котором он назвал число восьмистиший – 11; из этого следует, что ст-ние к этому времени было создано. Написано в Воронеже на основе ст-ния 2 и является его «двойчаткой» (равноправной редакцией). *Люблю появление ткани.* Речь идет о «поэтической материи» («Разговор о Данте», гл. XI). *Дугами парусных гонок.* «Парусность» в «Разговоре о Данте» – степень оценки, см. замечание о том, что XXVI песнь «Ада» «наиболее парусна» (гл. V).

2. «Люблю появление ткани...». Москва. 1964. № 8. Копия Рудакова в письме к жене от 18 июня 1935 г., под номером «1». В ВС не нумеровано и взято в квадратные скобки, в НК отсутствует; включение в подборку авторизовано общей нумерацией ВС. *Дуговая растяжка.* В «Путешествии в Армению» этот образ приложен к иллюстрации «теории эмбрионального поля» Гурвича (гл. «Москва»); в ст-нии – усилие, увенчавшееся творческим результатом, ср. в той же главе: «ведь процесс припоминания , увенчанный победой усилия памяти, удивительно схож с феноменом роста».

3. «О, бабочка, о, мусульманка...». Грани. 1961. Кн. 50 (в статье Ю. Терапиано «Мандельштам»). Копия Рудакова (см. примеч. 2), под номером «2». *Бурнус* – арабский плащ из плотной материи, как правило, белого цвета.

4. «Шестого чувства крошечный придаток...». ВП. Альм. 2. *Шестое чувство* – особый (малоизученный) род

чувствительности, свойственный рыбам и водным амфибиям; его органы («органы боковой линии») находятся в коже. В ст-нии взято в прямом значении, но в соотнесении с тем переносным смыслом, которое это выражение приобрело по отношению к человеку (обладающему пятью чувствами – зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием): так говорят, когда ощущение чего-либо приходит вне посредства пяти его изученных чувств и для него необъяснимо; близко и того же происхождения выражение «почувствовал кожей». *Теменной глазок* (глаз) – глазоподобный (предположительно, рудиментарный) орган, в т. ч. у ящериц; относится к нервной системе. *Реснички* – органы некоторых низших животных (например, ресничных червей), выполняющие сложные функции ориентации, движения и чувствительности.

5. «Преодолев затверженность природы...». СС 2. Т. 1. Написано в период работы над циклом «Утро 10 января 1934 года», где также встречается эпитет «голуботвердый».

6. «Когда, уничтожив набросок...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС, с учетом поздней поправки Н. М. в ст. 2 (было «спокойно» вм. «прилежно»), внесенной, по-видимому, по современной ст-нию машинописи (АМ).

7. «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС, с учетом поздней поправки Н. М. в ст. 1 (было: «И Моцарт на воде, и Шуберт в птичьем гаме»), внесенной, по-видимому, по современной ст-нию машинописи (АМ). Датируется по этой машинописи (в ВС и Списке Линецкой датировано янв. 1934 г.). *Шуберт на воде*. Нотная партитура «Баркаролы» Шуберта в оригинале начинается пометой: «На воде петь» (*31*, с. 68). Существовал жанр «музыки на воде» (одноименное соч. Г. Генделя). Близкий мотив в ст-нии «Там, где купальни-бумагопрядильни...»: «На Москве-реке... играют Шуберта». *Моцарт в птичьем гаме*. Образ навеян, вероятно, «Волшебной флейтой» Моцарта (*31*, с. 69).

8. «И клена зубчатая лапа...». СС 2. Т. 1. *Айя-София* – см. примеч. «Айя-София».

9. «Скажи мне, чертежник пустыни...». ВП. Альм. 2. *Геометр... чем дующий ветр*. Реминисценция из ст-ния Блока «На островах»:

Нет, с постоянством геометра
Я числю каждый раз без слов
Мосты, часовню, резкость ветра,
Безлюдность низких островов.

10. «В игольчатых чумных бокалах...». ВП. Альм. 2. Ст. 4–8 восходят к изречению Гераклита: «Вечность – дитя, играющее в кости, – царство ребенка» (*36*, с. 230). Влияние Гераклита сказалось в близком по времени «Разговоре о Данте», где вводятся такие образные представления, как «гераклитова метафора» и «гераклитов танец» (гл. V).

11. «И я выхожу из пространства...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС, с устранением описки в ст. 4 (было «самосознанье» вм. «самосогласье») по НК и Списку Линецкой. *И я выхожу... В запущенный сад величин.* Возможно, здесь сказалась оценка современника. В. Рождественский так ответил на вопрос анкеты Е. Архиппова: «Мандельштама люблю крепко и неизменно... Он похож на садовника, призванного расчистить дикий сад» (РГАЛИ. Ф. 1458. Оп. 1. Ед. хр. 46).

«Как из одной высокогорной щели...». СС 2. Т. 1. Печ. по ВС. В Списке Линецкой датировано янв. 1934 г. Выделилось из перевода сонета Петрарки «Когда уснет земля и жар отпышет...». И. Семенко считала ст-ние «вариантом терцетов» (*81*, с. 80; Свод, с. 133), однако в черновиках подобного варианта нет; включение в «основной корпус» авторизовано общей нумерацией стихов в ВС. По свидетельству Н. М., это ст-ние «Нарбут считал... самым главным. О. М. почти соглашался» (*52*, с. 241).

Из Петрарки. В «основном корпусе» ст-ний впервые в Своде, согласно ВС. Цикл дается по ВС, с восстановлением нумерации по автографам, под редакционным заглавием. «Эпиграфы» представляют собой тексты первых стихов соответствующих сонетов Петрарки. Работа над вольными переводами велась, вероятно, по изданию, находившемуся в библиотеке поэта: Petrarka F. Il Canzoniere. Milano: Ulrico Hoepli, 1908 (*103*, с. 238). «Петрарка в “Канцониере”... впервые в европейской лирике осмыслил внутренний мир личности как нераздельное единство “всеобщих” человеческих ценностей и индивидуальных переживаний, как одно целое, имя которому – душевная жизнь... Петрарка всегда воссоздает одну и

ту же лирическую ситуацию внутреннего разлада и печали. В первой части “Канцониере” (“На жизнь мадонны Лауры”) печаль вызвана сознанием собственного несовершенства, двойственности самой природы любви, одновременно чувственной и возвышенно-духовной; во второй части (“На смерть мадонны Лауры”) – невозможностью примирить смертность плоти с бессмертием духа. В своих 366 сонетах и канцонах поэт с необычайным артистизмом варьирует обстановку, реалии, поэтические “формулы”, воплощающие эту единую для “Канцониере” ситуацию. Фантазия Петрарки сосредоточилась именно на изобретении этих бесчисленных вариаций. Он создал богатейший диапазон эмоциональных и “предметных” оттенков в лирике... У Мандельштама нет дуализма, нет того равновесия между “горьким” и “сладким”, которое свойственно Петрарке. И потому петрарковскую элегичность он преобразует в трагедийность» (*81*, с. 106–108). Обращаясь к анализу ранних редакций, И. Семенко писала: «Вольные переводы сонетов Петрарки принадлежат к числу лучших и характернейших произведений Мандельштама... Между тем в семейном архиве поэта есть несколько автографов... позволяющих проследить за переходами от варианта к варианту... Вывод, к которому приводит изучение материала, своеобразен: наиболее ранние из известных нам вариантов – более всего удалены от оригинала (Петрарки). И Мандельштам отказывался от этих проб; однако образы, созданные собственным воображением, он многократно варьировал, пока они не достигали полной завершенности или исчерпанности» (*81*, с. 59). Во всех сонетах «поражает умение Мандельштама передать подлинное звучание ритмических и смысловых “тактов” оригинала. Он очень редко меняет последовательность строк... Рифмы, согласно оригиналу, только женские, между тем как другие переводчики (А. Майков, Вяч. Иванов, А. Эфрос) перемежали их с мужскими. Более того, Мандельштам часто дает даже близкое итальянским рифмам звучание русских рифм, что особенно важно, так как они занимают те же места в строфе... Все это совсем не безразлично для содержания перевода. Во всем своем объеме содержание лирического произведения включает в себя звуковую инструментовку, имеющую прямое отношение к лирической эмоции. Читатель получает на родном языке “звучащий слепок” иноязычного оригинала» (*81*, с. 122). В то же время М. лишь в малой степени сохраняет лексику и полностью преобразует смысловой строй Петрарки, повинуясь собственной системе образов.

Н. Харджиев свидетельствовал, что лучшим переводом сонета Петрарки М. (в 1934 г.) назвал «Задумчивость» Державина (БП, с. 316). Н. М. высказывала предположение о том, что в переводах отразились воспоминания об Ольге Ваксель (*49*, с. 204).

*I. «Речка, распухшая от слез соленых...». ВП. Альм. 3. Печ. по автографу из собр. Е. Э. Мандельштама (в БП с ошибкой в дате). В ВС, НК и Списке Линецкой, помимо мелких разночтений, в ст. 1 «разбухшая» вм. «распухшая», что, по объяснению Н. М., вызвано записью «со слуха», как произносил М. (*49*, с. 241). В АМ: черновой автограф; авторизованный список (рукой А. Э. Мандельштама?), на том же листе – ст. 1–8 следующего ст-ния. Вольный перевод сонета CCCI, из цикла «На смерть мадонны Лауры». *Промуравленных*. См. следующее примеч. *Как бы внутри гранита Зернится скорбь*. Сравнение восходит к «Разговору о Данте», где «камень» мыслится как особое функциональное пространство, хранящее в себе память о создавшей его «погоде» (гл. XI). *И чести, Исчезнувшей, как сокол после мыта*. Реминисценция из «Слова о полку Игореве»: «Коли сокол в мытѣх бывает, высоко птиц възбивает, не даст гнезда своего в обиду» (ст. 200); здесь мыто – линька, что означает возмужание сокола; у М., по-видимому, сама соколиная охота. «Честь» в «Слове...» упоминается в ст. 50; у М. обращение к этому понятию мотивировано в «Египетской марке»: «Пропала крупиночка... эта дробиночка именовалась честью» (гл. V).

*II. «Как соловей, сиротствующий, славит...». ВП. Альм. 3. Печ. по беловому автографу из собр. Е. Э. Мандельштама с учетом даты черновика (АМ): 21.XI.33 (верно прочитана в БП, ошибочно – «23.XII.33» в: *81*, с. 66). Автограф с правкой (АМ), датирован дек. 1933 г. Авторизованный список (см. предшествующее примеч.). Список Рудакова в его письме к жене от 27 июня 1935 г. В ВС и НК с мелкими разночтениями, вызванными записью по памяти. В Списке Линецкой с датой /январь 1934/. Вольный перевод сонета CCCXI из цикла «На смерть мадонны Лауры». У Петрарки «основной тон задан в первой строфе параллелизмом "поэт" – "соловей", исконным для любовной поэзии, но преобразованным: соловей поет не любовную песнь, а траурную... Во всем сонете, состоящем у Мандельштама из 102 полнозначных слов, всего 8 имеют лексическое соответствие сонету Петрарки... Даже для самого свободного переложения это, конечно, исключительный случай. В

то же время тематика и “фабула” не только каждой строфы, но и каждой строчки неукоснительно соответствует оригиналу» (*81*, с. 112–113). *Щекочет*. Реминисценция ст. 65 и 31–32 «Слова о полку Игореве» (*14*, с. 198). *Муравит*. Не совпадает со своим словарным значением (покрывать поливой посуду) и должно рассматриваться как неологизм (*81*, с. 67); вобрало в себя значения первоначального «буравит» («Другие редакции»), рифмующего «плавит» (ст. 3), «муровать» (в одной из версий черновика предшествующего ст-ния: «Один я замурован»); производное в предшествующем ст-нии – «тропинок промуравленных изгибы». *Богиня*. У Петрарки здесь имеется в виду Лаура.

*Ш. «Когда уснет земля и жар отпышет...». ВРСХД. 1962. № 64. Печ. по беловому автографу из собр. Е. Э. Мандельштама, с изменениями в пунктуации по другим источникам текста. Автограф с правкой (АМ). В ВС и НК с описками. Вольный перевод сонета CLXIV. «Этот сонет (единственный переведенный Мандельштамом из цикла “На жизнь мадонны Лауры”) раскрывает противоречия душевной жизни с глубокой лиричностью и в то же время точностью. Ключевое значение имеет формула, ставшая классической в любовной лирике: “сладостная мука”. Эта формула у Петрарки относится не только к любви, но и к рефлексии, сильно выраженной в сонете... Хотя многое в переводе стало неузнаваемым, в нем воссоздается и лирическая ситуация в последовательности ее развития, и образная основа сонета Петрарки. Передана парадоксальность любви – одновременное отсутствие и присутствие Лауры... Точно воспроизведены мотивы “источника” (“ключа”) с разной на вкус водой, тысячекратных “на дню” рождения и смерти» (*81*, с. 115–116).

*IV. «Промчались дни мои – как бы оленей...». СС2. Т. 1. Печ. по ВС, с исправлением описок по черновику (АМ), в котором представлен промежут. редакцией. В автографе (АМ) первонач. запись с пометой: /8 янв. 34. Закончено после известия о смерти Б. Н. Бугаева/ и последующей правкой. К истории текста. Черновик (см. выше) датирован 4 янв., он предполагает предшествовавший этап работы (*81*, с. 71). В БП основным текстом избрана завершающая редакция автографа (см. выше); установить, был ли этот автограф в распоряжении поэта в Воронеже, не удается. Работу над ним он не считал за-

вершенной: в письме к жене от 27 июня 1935 г. Рудаков писал: «Посылаю тебе сонет Петрарки (один из 3 1/2)... переведенных О.Э. (3 закончены, 1 черновой)». Соответственно ст-ние отсутствует в НК и Списке Линецкой, а в ВС взято в квадратные скобки. И. Семенко считала вопрос о выборе основного текста спорным (*81*, с. 70), склоняясь, по-видимому, к выбору текста ВС. Позднее был найден беловой автограф в фонде Яхонтовых (РГАЛИ; с мелкими искажениями, вызванными записью по памяти), который можно предположительно датировать 1937 годом, в нем – текст ВС. Вольный перевод сонета CCCXIX из цикла «На смерть мадонны Лауры». В нем «господствует мысль о бренности земного, решающая в лирике Петрарки. В отличие от большинства его сонетов и канцон, здесь эта тема трактуется не без проповеднической суровости. Лишь первая строфа рисует земное “благо” с элегической нежностью. Вторая строфа моралистически-сурова. Распад красоты дан в образе антиэстетичном, аналитическом до беспощадности (“не съединяет в себе кость с жилой”). В двух заключительных строфах – триумф новой, святой Лауры» (*81*, с. 119). *Печаль жирна* («Другие редакции»). Реминисценция из «Слова о полку Игореве» (ст. 159): «Печяль жирна тече» (*39*, с. 52).

*«Голубые глаза и горячая лобная кость...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС, с поправками: 1) в ст. 14 по НК и Списку Линецкой (было «излечимая» вм. «уязвимая» – описка, восходящая к редакции черновика); 2) в ст. 16 по Списку Линецкой (было «нужны» вм. «спасают» – описка, восходящая к ранней редакции черновика). Датируется по черновику (АМ). В черновике основной текст занимает положение первонач. записи, озаглавленной /10 янв. 1934/; дата проставлена после окончания работы над завершающей редакцией. В 1934 г. ст-ние было, по-видимому, отброшено; в 1935 г. поэт восстановил его, вернувшись к промежут. редакции. Андрей Белый оценил присущий М. ритмический дар, назвав его (ок. 1910 г.) «пэоннейшим из поэтов» (Встречи, с. 101; пэон – ритмическая вариация ямба). М. ценил работы Белого по теории стиха (статья «Литературная Москва», 1922), о стиле пореволюционной прозы Белого выступал с резко-критическими рец. и отзывами в статьях. Весной 1933 г. М. обсуждал с Белым свой «Разговор о Данте». В ст-нии с необычайной яркостью и экспрессией отразилось восприятие Белого как поэта особого дара. В равной степени это ст-ние о смерти – «высокозначимом явлении» и

теме стихов М. начиная с ранних лет (*52*, с. 245). В ст-нии виртуозно «разыграны» стилевые особенности стихов и прозы Белого: оттенки синего цвета, излюбленные Белым (эпитеты «голубой» и «бирюзовый» в ст. 1 и 6 – вплоть до перехода в черный цвет: «лазурь черна» в следующем ст-нии) (*87*, с. 17, 34; *71*, с. 130–131; *98*, с. 53); склонность Белого к ненормативным ударениям, см. «лего́к (ст. 8), «вьюга́ («Другие редакции») и др. (*71*, с. 138); самооценки, прозвища и псевдоним (см. ниже). *Лобная кость*. Источник образа – в подзаг. гл. 6 «Петербурга» Белого – «Лобные кости». *Дурак*. Основывается на коллизиях юношеской биографии Белого, отразившихся в его мемуарах: в семье из-за писания стихов его считали не вполне нормальным (*71*, с. 135). Ср. в ст-нии Белого:

Полный радостных мук утихает дурак,
Тихо падает на пол из рук сумасшедший колпак

(БП, с. 297). *Гоголек*. Так называл Белого, по его воспоминаниям (Начало века. М.; Л. 1933. С. 323), Вячеслав Иванов (БП, с. 297). *Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец*. Ср. в мемуарах Белого (На рубеже двух столетий. М., 1930. С. 234): «Я – ребенок, отрок, студент, писатель, мировоззритель...» (БП, с. 297). *Ледяная... связь*. Один из псевдонимов Белого – Леонид Ледяной (*117*, с. 188). *Из горячего черепа льется и льется лазурь* («Другие редакции»). Ср. в «Котике Летаеве» Белого (Пг., 1922. С. 33): «Вообразите себе человеческий череп... Он встает перед вами... мощный храм с белым куполом... перед вами – внутренность лобной кости: вдруг она разбивается; и в пробитую брешь... несутся: стены света, потоки...» (*71*, с. 132).

*Утро 10 января 1934 года. Соч. (в разделе «Разные редакции и наброски»). Печ. по списку Е. Я. Хазина (АМ, частично в схематической записи), представляющему наиболее позднюю редакцию текста, загл. – по списку из собр. В. П. Абрамова (датирован 16–21 янв. 1934 г.). К истории текста. Известны два варианта ранних редакций: 1) в списке Хазина (АМ), датированном 16 янв. 1934 г.; 2) в беловом автографе (СХ, ГМ Амстердама). При одинаковом зачине и объеме текста в них «конкурировали» строфа в середине текста и две финальные. 21 янв. на их основе был создан цикл из трех ст-ний, авторизованный список которого (собр. Абрамова) был дан П. Зайцеву при следующих обстоятельствах: «Через несколько дней после похорон я был... в Нащокинском у О. Э. Мандельштама. Он

сказал, что никогда не писал стихов по поводу чьей-либо смерти, а на смерть Андрея Белого написал... Их не удалось опубликовать в то время» (*25*, с. 590). Хотя Зайцев не упоминает о подобном, по-видимому, это тот самый «автограф», который М. «послал жене Андрея Белого. <Стихи> ей не понравились» (*20*, с. 50). Эта редакция не была последней: на следующий день, 22 янв., поэт несколько изменяет текст цикла, сохраняя его структуру (список Хазина). В 1935 г. в Воронеже поэт пытался восстановить цикл по памяти; этот этап отражен в Списке Линецкой – два ст-ния, 1-е из которых соответствует одной из ранних редакций, 2-е – ст-нию «Когда душе столь торопкой, столь робкой...», оба неточно датированы февр. 1934 г. В 1936 г. поэт продолжил работу, восстановив текст строф всех редакций (ВС), и пытался воссоздать цикл, но не смог сделать этого по памяти (списка Хазина не было в его распоряжении – об этом можно судить по ошибочной дате, соответствующей Списку Линецкой). Последний по времени текст – в НК (1937 г.), соответствует тексту Списка Линецкой. После выхода БП, где текст был дан по автографу СХ, структура цикла вызвала длительную дискуссию (работы Н. М., И. Семенко), но лишь публ. текста из собр. Абрамова (*25*, с. 590) выяснила авторский план; после нее без труда удалось «дешифровать» схематическую запись Хазина (в Соч.). В фонде ГИХЛа (РГАЛИ) имеется недатированная и неавторизованная машинопись, текст которой совпадает с автографом СХ, под загл. /Памяти Б. Н. Бугаева (Андрея Белого)/, о ней см.: *85а*.

I. «Меня преследуют две-три случайных фразы...». СС 1. Т. 1. Запись Л. Н. Гумилева (АМ), текст соответствует редакции списка из собр. Абрамова (вероятно, один из листов с записью цикла). *Печаль моя жирна*. См. примеч. «Голубые глаза и горячая лобная кость...». *Вежество* – ученость, знание, образованность; умение вести себя в обществе. *Рахиль гляделась... А Лия пела и плела венок*. Источник образов – «Божественная комедия» Данте («Чистилище» XXVII, 97–108).

II. «Когда душе столь торопкой, столь робкой...». ВП. Альм. 3.

III. «Дышали шуб меха. Плечо к плечу теснилось...». *Сон в оболочке сна*. Образ навеян ст-нием Э. По «Сон

во сне». *Гравировальщик* (ст. 5) и *гравер* («Другие редакции») – Владимир Андреевич Фаворский (1886–1964), сделавший набросок «Андрей Белый в гробу» (БП, с. 299). *Меднохвойных доек... сквозь воск* («Другие редакции»). Здесь отразились детали техники гравирования на меди, о чем поэт расспрашивал Л. Гумилева (его устное сообщение 1974 г.).

«Мастерица виноватых взоров...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС, с восполнением пробела на месте слов «Ты, Мария» (так же в Списке Линецкой и НК) по поздним записям Н. М. Пробел оставлялся из этических побуждений, не позволявших назвать имя женщины в этом, по оценке Ахматовой, «лучшем любовном стихотворении XX века» (7, с. 191). Датируется по автографу (архив М. С. Петровых), где, из тех же побуждений, ст. 21 дан в редакции /Наша нежность – гибнущим подмога/. По автографу в основной текст внесено исправление в ст. 7 (в ВС «окающих» вм. «охающих»). В автографе описка: «встреч» вм. «плеч» (ст. 2); указанное в Соч. (с. 537) чтение «не корми» (вм. «накорми», ст. 8) не подтверждается. Обращено к Марии Сергеевне Петровых (1908–1979) – поэтессе. *Ходят рыбы*. Эта метафора возникла еще в ст-нии «Нашедший подкову»: «Воздух бывает темным, как вода, И всё живое в нем плавает, как рыба...».

ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ

«Воронежские тетради» создавались поэтом в ссылке. В Воронеж Мандельштамы прибыли в июле 1934 г., но должен был пройти почти год, прежде чем поэт получил новый творческий импульс. «Первая тетрадь» была написана в основном в апр. – июне 1935 г. 20 апр. Рудаков писал жене: «А 17, 18, 19, 20-го – дико работает Мандельштам. Я такого не видел в жизни... Я стою перед *работающим* механизмом (может быть, организмом – это то же) поэзии. Вижу то же, что в себе, – только в руках гения, который будет значить больше, чем можно понять сейчас. Больше нет человека – есть Микель Анджело... Для 4 строк – произносятся 400. Это совершенно буквально». Уже в мае из стихов была составлена подборка, которую Н. Мандельштам предлагала для публикации в редакции журналов во время ее поездки в Москву в мае – июне, а затем в дек. 1935 – янв. 1936 года. Письма поэта к ней отразили продолжение работы. К письму от 26 мая 1935 г. поэт приложил ст-ния «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...», «Еще

мы жизнью полны в высшей мере...», «Мне кажется, мы говорить должны...», «Идут года железными полками...». В письме от первых чисел июня (№ 166) М. сообщал: «Посылаю исправленные стихи в начало цикла (№ 2, 3, 4). <...> Готовую рукопись (без добавочного) кончил “Черноземом”, сдал Плоткину» (Л. А. Плоткин – секретарь парторганизации воронежского отделения Союза писателей). О «добавочном», то есть не предназначавшемся для печати, косвенные сведения содержатся и в письме Рудакова к жене от 3 июня: «Вечером вчера диктовали машинистке его стихи – это способ подчеркнуть, что стихи кончены... Отпечатана тетрадочка: “О. М. Одиннадцать стихотворений. Воронеж. 1935” + 3 вещи отдельно». В следующем письме (№ 167) находим новые сведения: «В “Подъем” сдал то, что на машинке. <...> К “подборке” прибавь “Стансы” плюс “Железо”. Выясни печатание. Для Москвы условие: всё или ничего. Широкий показ цикла. Хорошо бы в Литгазете. Все варианты окончательные. Только в начале “Стансов” могут быть изменения, но давай так». Во время очередной поездки в Москву в дек. 1935 – янв.1936 г. Н. М. дала «подборку» стихов 1935 г. на просмотр одному из деятелей Союза писателей СССР – А. Марченко. В ответ на ее сообщение о реакции Марченко поэт 1 янв. 1936 г. писал: «Почему давала без отбора? Я против “Наушников”. Марченко прав». В «книгу» стихи «Первой тетради» были собраны, вместе с «Новыми стихами» (см. преамбулу к ним), в ВС, который подвергся окончат. редакции приблизительно в мае 1937 г. Состав и редакция стихов «Первой тетради» отражены в «Ватиканском списке».

«Вторая тетрадь» создавалась в дек. 1936 – первой половине февр. 1937 г. В отличие от «Первой тетради», она начала складываться в «книгу» почти сразу. Об этом свидетельствуют присылки, направлявшиеся в журн. «Звезда» и непосредственно Н. Тихонову (13 янв. 1937 г.), занимавшему пост зам. ответственного редактора журнала, а также К. Чуковскому (28 дек. 1936 г.), содержащие 19 стихотворений – начало «Второй тетради». Заметим сразу, что материалы архива Тихонова, находившиеся в собр. С. В. Поляковой (СП), в ее публ. (Часть речи. 1982. № 2/3; Слово и судьба: Осип Мандельштам. М., 1991) представлены не полностью. Для выяснения авторского замысла в части композиции и редакций текстов особое значение имеет письмо от 13 янв. 1937 г.: «В редакцию “Звезды”. Сообщаю вам продолжение моей работы над новой книгой стихов, которую я пишу в

Воронеже. Прилагаю “контрольный списочек” стихотворений за декабрь–январь» (СП). В упомянутом «контрольном списочке» означены 19 стихотворений: в наст. изд. от начала до «Дрожжи мира дорогие...» включительно, кроме «Подивлюсь на свет еще немного...», «А мастер пушечного цеха...», «Когда щегол в воздушной сдобе...», «Я около Кольцова...». Приложенные к более раннему письму Н. Мандельштам К. Чуковскому (от 28 дек. 1936 г.) стихи в точности соответствуют приведенному выше списку до стихотворения «Шло цепочкой в темноводье...» включительно. В АМ сохранился также «Список воронежских стихов. Декабрь 1936 – март 1937», заканчивающийся стихотворением «Что делать нам с убитостью равнин...». «Вторая тетрадь» приблизительно в начале марта 1937 г. была послана Б. Пастернаку, и его оценки были законспектированы Н. М. (*69*, с. 97); эти ее записи также дают материал для реконструкции состава книги. В том же конспекте, по данным Е. Б. Пастернака и Е. В. Пастернак, зафиксированы – насколько нам известно, это единственное прижизненное свидетельство – косвенные данные об авторском происхождении названия книги: «Название новой книги Мандельштама “Воронежские тетради” было вызвано тем, что стихи записывались в школьных тетрадях. Пастернак ассоциировал его со знаменитыми “Шумановскими тетрадями”» (*69*, с. 97).

«Третья тетрадь» создавалась в марте – апр. 1937 г. Вначале она не была отделена от «Второй», но уже в СМ она представлена нумерованными (№ 2–9) списками восьми стихотворений – от «Стихов о неизвестном солдате» до «Рима».[1] Стихи в СМ расположены в строго хронологическом порядке, как и в созданной весной 1937 г. «Наташиной книге» (НК) (из «Третьей тетради» в НК записаны только пять ст-ний – «Если б меня наши враги взяли...», «Стихи о неизвестном солдате», «Я молю, как жалости и милости...», «Я видел озеро, стоявшее отвесно...», «На доске малиновой, червонной...»). Заключающим «книгу» стихотворением, по свидетельству Н. М., должно было стать, в авторской редакции, «Как по улицам Киева-Вия...» (*52*, с. 307). Следующий этап работы, о котором имеются только косвенные данные, – составление корпуса стихов 1930–1937 гг., один

[1] Ныне переданы в фонд Мандельштама Отдела рукописей Библиотеки Принстонского университета. Материалы представляют собой часть довоенного собрания Н. И. Харджиева, утраченную им во время эвакуации в Алма-Ате.

из вариантов которого был дан в Союз писателей. Этот этап можно отнести к маю – июлю 1937 г. К этому времени, по-видимому, относится и последнее редакционное вмешательство в ВС (вырезаны ст-ния «Мне кажется, мы говорить должны...» и «Мир начинался страшен и велик...»). Наконец, о работе поэта над корпусом стихотворений в Савелове, Калинине и Саматихе известно лишь по отрывочным свидетельствам в книгах воспоминаний и «Комментариях» Н. М.

После ареста поэта его вдова составляла (по памяти) списки воронежских стихов и давала их на хранение знакомым. Более полный свод (и уже с использованием архива) был составлен ею в военные годы в Ташкенте. Эта работа продолжилась после смерти Сталина и, более интенсивно, после 1965 г., когда Н. М. поселилась в Москве. В это время определенное воздействие на формирование ею корпуса стихотворений и редакций текстов имела И. Семенко, углубленно изучавшая архив Мандельштама. Итоги этой работы зафиксированы в «Комментариях» и в Своде И. Семенко (с небольшими отличиями). Для того чтобы обосновать наш подход, необходимо вернуться к мотивам, влиявшим на состав, композицию и редакции текстов.

1. Наиболее существенным фактором являлось собственно положение ссыльного поэта. И необходимость зарабатывать на жизнь – а здоровье уже не позволяло заниматься иной работой, кроме литературной, – и надежда на освобождение из ссылки, и неистраченная творческая энергия – все вместе побуждало искать компромисса с жизнью. Но «жизнь» требовала от поэта не лояльности, а полной «перековки» сознания. Та двойственность, которая была заложена в его открытых политических стихах, не могла укрыться от искушенных редакторов. Альтернативой был лишь добровольный уход из жизни – об этом они с женой в Воронеже не раз говорили. Приходилось идти по пути «совершенствования» политических стихов – чуждому для поэта «прямому называнию» действительности. Но творческое «я» поэта даже и в «Стихах о Сталине» оказалось неспособным на полное перевоплощение. Внутреннее сопротивление сказывалось и возникновением стихотворений, прямо противостоящих «политическим», – и тем сильнее, что на той же образной основе. Это не было осознанной игрой. Трагический разлад переживался поэтом особенно сильно во время работы над «Первой тетрадью». В письме к жене от

10 мая 1935 г. Рудаков напомнил ей о том, что поэт уничтожил все записи «Стансов» и «День стоял о пяти головах...», а «Надька называла его “мой Гоголь” (в смысле уничтожения порочащих рукописей) и радовалась». Об отношении поэта к ст-нию «Мир начинался страшен и велик...» сохранилось мемуарное свидетельство Я. Рогинского. Закончив чтение, поэт спросил его: «Как вы считаете, Яков Яковлевич, вам было бы приятно, если бы вам сказали, что у вас мозг каменноугольный?» (*74*, с. 43). Позволим себе высказать также предположение о том, что некоторые «варианты» насильственно возникших стихотворений, известные по устной традиции (как правило, от Н. М.), появились вследствие самопародирования. Таково, вероятно, происхождение строки «Будет губить разум и жизнь Сталин» (ст-ние «Если б меня наши враги взяли...»), которую Н. М. отстаивала в качестве бесцензурной редакции; «Смотрит веко могучая веха» в ст-нии «Средь народного шума и спеха...», а также замечательное по выразительности «О будущем советския страны» (ст-ние «Мне кажется, мы говорить должны...»), известное нам лишь по печатному тексту (СС 2. Т. 2)[1]. Позднее, к концу 1936 г., когда поэт убедился, что никакие усилия не помогут ему пробиться в печать, писание «политических» стихов превратилось для него, насколько можно судить, в техническую задачу. Этому позднему этапу соответствует принцип композиции ВС, где, в отличие от «подборок», открывавшихся ст-ниями «Мир начинался страшен и велик...» (АМ), «Стансы» 1935 г. (собр. Е. Э. Мандельштама), «Чернозем» (СМ), в начало попадает резко диссонирующее с перечисленными ст-ние «Я живу на важных огородах...», не входившее, как и ст-ние «Пусти меня, отдай меня, Воронеж...», ни в одну из «подборок». Прежде всего в связи с этим ВС признается нами соответствующим авторскому замыслу. Какой же ответ дает ВС в отношении «политических» стихов «Первой тетради»? В нем вырезаны лишь ст-ния «Мне кажется, мы говорить должны...» и «Мир начинался страшен и велик...» («вырезки» также сохранились в архиве). Сопоставление их текстов с оставленными показывает, что исключенными оказались те стихотворения, в которых имеются прямые именования – «большевик» в ст-нии «Мир начинался страшен и велик...», «ленинское-сталинское слово» в ст-нии «Мне кажется, мы говорить должны...». С той же мерой мы под-

---

[1] Ср.: «Мандельштамовский Сальери вечно дразнил тайнослышца-Моцарта и вышучивал на ходу еще горячие строчки» (*50*, с. 71).

ходим и к стихам «Второй» и «Третьей» тетрадей, исключая из них ст-ния «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...» и «Если б меня наши враги взяли...» и сохраняя остальные.

2. Самоцензура по политическим мотивам достаточно явственно отразилась в ВС. Никогда не записывались при жизни поэта или записывались, по свидетельству Н. М., «шифром» стихотворения «Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым...», «Квартира тиха, как бумага...», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Это какая улица?..», «Лишив меня морей, разбега и разлета...», не вписывались посвящения; для ст-ния «Как на Каме-реке глазу тёмно, когда...» была создана «подцензурная» редакция.

3. Третья группа мотивов выясняется из отрывочных и разрозненных упоминаний Н. М. о стихах, которые она называет «гибельными» (*52*, с. 197; *48*, с. 231–232 и др.), – в них предрекается смерть или тяжкая участь себе, герою, близкому человеку; поэт избегал читать их и долго не записывал. Н. М. называла стихотворения «Твоим узким плечам под бичами краснеть...» и «Помоги, Господь, эту ночь прожить...»; взгляд на корпус текстов с этой точки зрения позволяет объяснить, почему лишь в ВС была записана «основная» редакция ст-ния «Я живу на важных огородах...» и третье двустишие ст-ния «Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть...». Эта интенция восходит, по-видимому, к несколько более ранним годам творчества, так как лишь ею можно объяснить купюры в С, которые были сделаны автором в ст-ниях «Как тень внезапных облаков...» и «– Как этих покрывал и этого убора...», – в наст. изд. они восполнены.

4. Настолько же отрывочны мемуарные сведения о характере работы поэта над собственным типом строфы с нечетным числом строк и возникшему у него «особому отношению к числам» (*52*, с. 300). Уже и первый взгляд на строфику «Воронежских тетрадей» дает подтверждение этим сведениям, в архивных же источниках этой тенденцией можно объяснить объединение двух первых строф «Стансов» в одну (ВС), чем стихотворение превращено из восьми- в семистрофное, а также купирование одной строки в восьмистрочной строфе списка ст-ния «Может быть, это точка безумия...» (см. примеч.).

Проблема состава «Воронежских тетрадей» не исчерпывается наличием «политических» стихов, о чем говорилось выше. Если для «Первой» она в значительной мере разрешается благодаря наличию ВС, то по «Второй» и «Третьей»

данные неполны и разрозненны; их реконструкция в настоящее время может быть лишь суммарной, учитывающей данные разновременных этапов. Здесь повышается значение воспоминаний и редакторской работы Н. М.; обратимся к ним еще раз. Ее редакторская работа прошла несколько стадий (о чем также говорилось выше), изученных недостаточно, почему затруднен и критический подход к итогам. В окончательной редакции корпуса «Воронежских тетрадей», составленного Н. М. в 1950-е гг., порядок стихотворений принят хронологический, за исключением двух стихотворений – «Чернозема» и «На доске малиновой, червонной...», ставившихся ею соответственно в начало «Первой» и «Третьей» тетрадей, а в состав введены не встречающиеся в прижизненных сводах стихотворения «Это какая улица?..», «Лишив меня морей, разбега и разлета...», «Подивлюсь на свет еще немного...», «А мастер пушечного цеха...», «Я около Кольцова...», «Еще не умер ты, еще ты не один...», «Как женственное серебро горит...», «Средь народного шума и спеха...», «Заблудился я в небе – что делать?..» (1-е), «Нереиды мои, нереиды!..», и последних пяти стихотворений (эти пять – чисто редакционное решение, о чем Н. М. прямо писала). Тексты большинства из них восстановлены Н. М. по памяти. Аргументация ее в одних случаях представляется убедительной, в некоторых – сомнительной; однако до тех пор, пока новые находки в архивах не расширят фундамент текстологии воронежского периода, следует, на наш взгляд, принять эти ее решения в части состава корпуса. Что касается композиции, то сказанное выше о структуре ВС заставляет нас отвести изменение в положении стихотворения «Чернозем», предложенное ею, а вслед за ним – и стихотворения «На доске малиновой, червонной...».

Сказанным выше определяется состав, композиция и, отчасти, редакции текстов «Воронежских тетрадей», принятые в наст. изд. Как и в предшествующих разделах, в текстологическом комментарии полностью перечисляются только авторизованные источники, сведения о других источниках привлекаются соответственно степени сложности обоснования выбора текста. Как и в «Новых стихах», под текстами приводятся полные даты (насколько их удается установить). Помета «Воронеж» при датах, имеющаяся в большей части источников, опущена.

ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ

*«Я живу на важных огородах...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС. Редакция последнего стиха из-за названной в нем «смерти» (см. в преамбуле о «гибельных» стихах) имела вариант, отраженный в машинописи (АМ) и авторизованном списке (БП, ныне местонахождение неизвестно). Сюжет связан с местом жительства поэта: в доме за городской чертой, у «обиженного хозяина» (см. ст. 7), агронома Е. П. Вдовина (*48*, с. 122), с которым у М. была ссора перед переездом на новую квартиру (письмо Рудакова к жене от 17 апр. 1935 г.). *Ванька-ключник* – герой русской песни, известной М. по «Песням, собранным Киреевским», тома которых были в его библиотеке. По песне – Ванька-ключник был повешен князем за любовную связь с княгиней. По сюжету ст-ния, однако, можно высказать предположение о том, что здесь поэт мог иметь в виду другого фольклорного героя, Ваньку-Каина, – разбойника, которого вынудили стать сыщиком, но втайне продолжавшего заниматься своим разбойным ремеслом. *Далёко убегает гать.* Речь идет о Придаченской гати, соединявшей город с Придачей, пригородом Воронежа (*110*, с. 66). *Лавочка близка* – была видна из окон комнаты Мандельштамов, «на эту лавочку перед домом мы часто выходили посидеть» (*52*, с. 251).

*«Наушнички, наушники мои...». ВП. Альм. 3. Печ. по ВС. Список Н. М. в подборке (собр. Е. Э. Мандельштама). СМ. В ВС позднее вписано, а затем вычеркнуто загл. /Радиоточка/. *Наушнички, наушники мои.* Говорится о наушниках радио, одновременно обыгрывается второе значение – доносчик, клеветник (ср. примеч. «Стансы»). Когда Н. М. в дек. 1935 г. доставила это ст-ние (в составе подборки) в Союз писателей, то оно «вызвало бешенство» (Свод, с. 251). *Недопитого голосá Аи.* Образ отразил потрескивание в наушниках радио, отчетливое во время пауз и напоминающее звук лопающихся пузырьков в бокале шампанского. Верное ударение в стихе было указано К. Тарановским (*120*, с. 130). *Ну как метро?* Подготовка к пуску московского метро (состоялся 15 мая 1935 г.) была злободневной темой печати и кинохроники. *Молчи, в себе таи.* Отголосок тютчевских стихов «Молчи, скрывайся и таи / И чувства и мечты свои...».

«Пусти меня, отдай меня, Воронеж...». Новый мир. 1961. № 1. С. 142 (в тексте воспоминаний И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь»). Печ. по ВС.

«Я должен жить, хотя я дважды умер...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС. Список Н. М. в подборке (собр. Е. Э. Мандельштама). Ст. 4–5 совпадают со ст. 13–14 ст-ния «Чернозем». *Твой Буонаротти.* Творческий стиль Микеланджело вспомнился Рудакову, когда он наблюдал за М. в его работе над стихами (см. преамбулу).

«Это какая улица?..». ВРСХД. 1964. № 72/73. Печ. по записи Н. М. (АМ, позднее 1938 г.). Датируется по Своду, с. 141. По свидетельству Н. М., ст-ние считалось шуточным. «Третья строчка второй строфы первоначально была: “Жил он на улице Ленина”... Этой строчки Мандельштам испугался... и мы решили ее “позабыть”. Стишок же записывали шифром, так как любую улицу называть своим именем ссыльному было опасно» (*52*, с. 252). В ст. 6, 8–9 обыгрывается название и местоположение 2-й Линейной ул. (от «линии» железной дороги), шедшей по откосу к железнодорожным путям; другим концом она выходила вблизи ул. Ленина. Во время одного из приездов в Москву Н. М. читала эти стихи С. Клычкову (*20*, с. 61).

Чернозем. ВРСХД. 1962. № 64. Печ. по ВС. Под загл. /Чернозем/ в беловом автографе (АМ) и подборках (АМ, СМ). Местонахождение белового автографа первонач. редакции (БП, с. 299) ныне неизвестно. Отношение поэта к ст-нию не было неизменным. Рудаков в письме (24 мая 1935 г.) передал жене слова М. о том, что он «написал только “Каму” и “Чернозем”, а остальное – чепуха». Другое высказывание приведено Рудаковым 31 мая: «“Чернозем” – вещь реакционная: акмеистическая строфика с обновленной инструментовкой, вещь из “Камня”, источники – “Адмиралтейство” etc. (вещь, угнетающая сейчас Мандельштама). Это вещь 1001-я и прекрасная, а остальное – вещи первые, и после них будут так (по-новому о новом) написаны тысячи. Основное – вещь о Пушкине и Чапаеве». По воспоминаниям Н. Штемпель, ст-ние «было написано под впечатлением распаханных опытных полей Сельскохозяйственного института, где Осип Эмильевич нередко гулял ранней весной. Вплотную к полям подходил Ботанический сад, а напротив была Архиерейская роща. Там в

1879 году собрался съезд “Земли и воли”, на котором присутствовали Плеханов, Софья Перовская, Вера Фигнер, Желябов и другие. Не отсюда ли в стихах Мандельштама “комочки влажные моей земли и воли”?.. Мне очень нравилось это стихотворение, и Осип Эмильевич переписал мне его разборчиво тушью на листе хорошей бумаги» (*110*, с. 65–66).

«Лишив меня морей, разбега и разлета...». ВРСХД. 1964. № 72/73. Печ. по одной из записей Н. М. (АМ, позднее 1938 г.). Датируется по Своду, с. 147. По сообщению Н. М., записывалось шифром (*52*, с. 257).

*«Да, я лежу в земле, губами шевеля...». ВП. Альм. 2 (контаминированный текст). Печ. по БП, где приведено по беловому автографу (ныне местонахождение неизвестно). В ВС, СМ и других источниках с разночтением в ст. 2 («И то» вм. «Но то»). Список Рудакова (в его письме к жене от 18 мая 1935 г.). Два беловых автографа одной из ранних редакций, датированных маем 1935 г. (АМ). В машинописи из подборки (АМ) представлено промежут. редакцией (первое четверостишие). По письму Рудакова к жене от 8 июня 1935 г., М., раскрывая свою поэтику, говорил: «Сказал “Я лежу”, сказал “в земле” – развивай тему “лежу”, “земля” – только в этом поэзия. Сказал реальное, перекрой более реальным, то – реальнейшим, потом сверхреальным. Каждый зародыш (росток) должен обрастать своим словарем, обзаводиться своим запасом, идя в путь, перекрывая одно движение другим. Будь форма, ритм... все недостаточно, если нет этого». В ст. 1 – реминисценция из ст-ния Брюсова «Зерно»: «Лежу в земле, и сон мой смутен...».

<Цикл из двух следующих ст-ний>. СС 1. Т. 1. Печ. по ВС. В машинописи (АМ) – в виде отдельных ст-ний. Черновик (АМ), где проставлен номер ст-ния 1 и загл. /Кама/. В ВС датировано маем 1935 г. Во всех автографах и прижизненных списках – в виде цикла из двух ст-ний. «Кама» – «домашнее» название цикла.

*1. «Как на Каме-реке глазу тёмно, когда...». Печ. по ВС, где рукой поэта зачеркнут цензурный вариант ст. 7–10 и тем самым авторизована бесцензурная редакция. Последняя, помимо поздних записей Н. М., представлена автографом (АМ, ст. 9 записан в сокращенном виде). В черновике (АМ, см. выше),

датированном апр. 1935 г. (записан цензурный вариант), – зачеркнутый черновой набросок продолжения. Два беловых автографа и списки Н. М. (АМ). В ст-нии отразились впечатления от поездки на пароходе из Соликамска в Чердынь, к месту ссылки. См. также примеч. «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...». *Тобол, Обь* («Другие редакции») – по-видимому, названия встречных пароходов (Свод, с. 144). *Празднуют первое мая враги* («Другие редакции»). Возможно, здесь оживились представления поэта 1920-х гг., по которым революция закончилась и перешла в стадию «реставрации», соответственно взглядам Троцкого. См. примеч. «Если б меня наши враги взяли...». Тема «Первого мая» – в близком по времени ст-нии «Тянули жилы, жили-были...».

2. «Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток...». Список Н. М., датированный маем 1935 г. (АМ).

*Стансы («Я не хочу средь юношей тепличных...»). ВП. Альм. 2. Печ. и датируется по ВС. Из сохранившихся редакций самая ранняя – в списке Н. М., датированном маем 1935 г. (АМ), с рядом разночтений и следующим порядком строф: 2, ст. 5–10, выделенные в строфу, 5, 3, 6, 4, 7. Промежут. редакции: 1) СМ – из пяти строф (2, 3, 4, 6, 7), датированных июнем; ст. 5–10, выделенные в самостоятельное ст-ние, датированное маем 1935 г., предваряют «Стансы». Стихам 5–10 (с разночтением в последнем) как отдельному ст-нию соответствуют в АМ список Н. М. и машинописи (одна датирована июлем 1935 г.); 2) в списках Н. М. в АМ и в собр. Е. Э. Мандельштама – отличается от основной лишь тем, что ст. 5–10 выделены в дополнительную строфу. К истории текста. Ст-ние было написано уже к концу мая 1935 г. В конце апр. – первых числах мая поэт уничтожил текст, заключавший 46 строк: «Еще при тебе он выкинул “Стансы”. Потом он (с Надей) уничтожил все записи “Стансов” и начатого “Чапаева”. Он говорил, что они бред, и покушался на черновики, что у меня (не догадываясь, что они скопированы). Надька называла его “мой Гоголь” (в смысле уничтожения порочащих рукописей) и радовалась» (письмо Рудакова к жене от 10 мая 1935 г.). Однако под влиянием Рудакова текст был восстановлен, хотя и «отвергнут» (письмо Рудакова от 18 мая). 26 мая в письме к жене, находившейся в Москве и пытавшейся «пробить» стихи в печать, поэт просил включить «Стансы» в «подборку» (Собр. соч. Т. 3/4. С. 264). Детали дальнейшей ис-

тории текста неизвестны. Подборка в СМ создавалась позднее ВС, однако в нее могла быть включена более ранняя редакция; она также представляла собой одну из подборок, предназначавшихся для печати (см. в преамбуле к «Воронежским тетрадям»). В связи со «Стансами» Н. М. писала, что «О. М. отчаянно пробивался в печать, считая, что напечатанному ему будет легче выкрутиться» (*52*, с. 255). По ее свидетельству, ст. 1 имел раннюю редакцию «Я не хочу средь юношей архивных» (*52*, с. 254); в «архивном юноше» она видела образ Рудакова (там же). Побудительной причиной к ст-нию явились стихи Л. М. Длигача, на которого пало подозрение в доносе на поэта перед арестом 1934 г. (*48*, с. 83; *52*, с. 255), – «Речь о деревне» в «Новом мире» (1935, № 2), которые содержали явственные аллюзии как на стихи самого М. (например, на «Умывался ночью на дворе...»), так и на стихи П. Васильева, Н. Клюева, С. Клычкова (см.: *75а*, с. 52–53). *Я должен жить, дыша и большевея.* «По поводу этого стихотворения О. М. как-то тихонько сказал мне, что в победе в 1917-м году сыграло роль удачное имя – большевики – талантливо найденное слово. И главное, на большинстве в один голос... В этом слове для народного слуха – положительный звук: сам-большой, большой человек, большак, т. е. столбовая дорога» (*52*, с. 255). См. «большаки» в следующем ст-нии. *Поиграть с людьми.* Реминисценция тютчевского стиха «Играй с людьми, играй с судьбою...» («Играй, покуда над тобою...»). *Клевещущих козлов не досмотрел я драки... Стук дятла сбросил с плеч.* Подразумевается обстановка доносительства, в которой поэт находился перед арестом. «Дятел» (как и «стукач») на лагерном жаргоне означает «доносчик» (Собр. соч. Т. 2. С. 689). *Прыжок. И я в уме.* В дороге у М. развился «тюремный» психоз, и в чердынской больнице он выпрыгнул из окна, сломав себе руку; после этого наступило успокоение (*48*, с. 53–55). *Сам-друг.* Здесь в знач. «один» («сам себе друг»), словарное знач. – вдвоем. *Гребнем Лорелеи.* Ср. тот же мотив в черновике («Другие редакции»). Лорелея – см. примеч. «Декабрист». *Как "Слово о полку" струна моя туга.* Этим М. ответил на последние строки упомянутого выше ст-ния Длигача:

Я в жизни шел сквозь все снега,
Я вижу: в миллионы га
Расчерчена страна.
....
Я в песне познаю врага:
Его последняя струна еще туга.

*«День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС, где окончательно установлена строфика ст-ния (ст. 9–16 разбиты на двустишия), с учетом поправок Н. М. в исправлении описок: пропуска слова «сжимаясь» (ст. 2) и «чернея» (вм. правильного «чумея» в ст. 5), что соответствует СМ и списку в собр. Е. Э. Мандельштама. Датируется по автографу промежут. редакции (см. ниже) и письму Рудакова к жене от 1 июня 1935 г. (см. ниже). По письмам Рудакова к жене, ст-ние имело «домашнее» название «Чапаев». К истории текста. Ст-ние написано во второй половине апр. 1935 г. Первонач. текст неизвестен; возможно, он включал в качестве вариантов строфы ст-ния «От сырой простыни говорящая...». Первая известная редакция, без ст. 1–8, отражена в машинописи (АМ) и Списке Линецкой (без дат). Вторая редакция (созданная после 8 мая) отражена в беловом автографе (АМ), датированном апр. – маем 1935 г., и в беловом автографе, приложенном к письму поэта к жене от 26 мая. О дальнейшей работе известно по упоминаниям Рудакова в письмах к жене от 26, 27 мая и 1 июня 1935 г. В последнем письме упоминается о том, что поэт исправил редакцию ст. 3 «Сон был больше, чем слух, слух был больше, чем сон – слитен, чуток» в основную. В письме от 31 мая 1935 г. Рудаков передал оценку ст-ния поэтом. Сравнивая его с «Черноземом» (см. примеч.), М. говорил: «Основное – вещь о Пушкине и Чапаеве. Она – говорит о русском фольклоре, о сказке, о стране и впервые – о новом “племени” – о ГПУ, о молодежи, у которой будущее, о пленном времени, вечности, и материально – на основе реального бреда при поездке на Урал, – образы безумного пространства, расширяющегося, углубленного и понятого через “синее море” пушкинских сказок, море, по которому страдает материковая, лишенная океана Россия». *Большак* – столбовая дорога; здесь с аллюзией на «большевиков» (см. предшествующее примеч.). *Двойка... парусами*. Здесь поэтическая вольность: двойка – гребная лодка. Образ развился из первоначального «раздвоя конвойного времени» («Другие редакции») (*52*, с. 257). *Трое славных ребят из железных ворот ГПУ* и *Молодые любители белозубых стишков* – конвойные. Н. М. писала о том, что в дорогу к месту ссылки она взяла с собой томик Пушкина, и Оська, старший конвоир и тезка поэта, читал оттуда «Цыган» солдатам-конвоирам, они и стали «адресатом стихов» (*48*, с. 46–48). *Белозубые стишки* имеют подтекстом «Разговор о Данте»: «Славные белые зубы Пушкина – мужской жемчуг поэзии русской!» (первая редакция). *Горой*

пообедав Поезд ужинал лесом... ушко («Другие редакции»). Здесь отразился один из этапов следования в Чердынь – поездом по узкоколейке из Свердловска в Соликамск (*52*, с. 257).

*«От сырой простыни говорящая...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС, с учетом поправки Н. М. (было «дыхание» вм. «жужжание») согласно Своду (с. 148). Список Н. М. (АМ). В ст-нии отразились эпизоды из кинофильма «Чапаев», в частности в строфе 2 – «психическая» атака офицеров-каппелевцев на конницу Чапаева (Собр. соч. Т. 1. С. 523). Ст. 9–10 в сюжете кинофильма соответствия не имеют.

«Еще мы жизнью полны в высшей мере...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС. Беловой автограф с датой, приложенный к письму к жене от 26 мая (см. преамбулу); датируется по этому автографу. В списке Н. М. (собр. Е. Э. Мандельштама) под загл. /Стрижка детей/. В письме к жене от 24 мая 1935 г. Рудаков писал о замысле этого ст-ния, в письме от 26 мая – цитировал строфу из него (ст. 9 в цитате – «Еще стрижей довольно в мире и касаток»). Поводом к ст-нию послужило постановление ЦИК и СНК СССР о привлечении несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания, принятое 7 апр. 1935 г. На это и дан намек в словах «в высшей мере» (ст. 1).

«Римских ночей полновесные слитки...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС. Списки Н. М. (АМ, собр. Е. Э. Мандельштама, СМ). Тематически связано с радиокомпозицией «Молодость Гете», над которой поэт в это время работал.

*«Возможна ли женщине мертвой хвала?..». ВП. Альм. 2. Печ. по авторизованному списку (АМ, рукой Н. Штемпель). Список датирован рукой поэта 3 июня 1935 г. – 14 дек. 1936 г.; вторая часть даты, вероятнее, не отмечает времени изменения первонач. редакции в основную (см. ниже), а фиксирует день создания списка. Датируется, соответственно сказанному, по этому списку. ВС, где первонач. редакция была позднее исправлена в основную. Список Линецкой. СМ. 4 июня 1935 г. Рудаков писал жене: «Вчера... он писал новую вещь... Вещь “новая и неожиданная”, в его терминологии... Очень интересны к ней варианты, которые, по-моему, живут как 12-строчное стихотворение». В письме речь идет о данном и сле-

дующем ст-нии, которое было авторизовано как самостоятельное позднее. Ст-ние воссоздает образ Ольги Александровны Ваксель (1903–1932), в которую поэт был влюблен зимой 1924/1925 г. Увезенная мужем в Осло, вскоре покончила жизнь самоубийством. Воспоминания о Ваксель пробудились у поэта во время работы над радиокомпозицией «Молодость Гете», где введено действие, посвященное женщинам Гете. Повторяющаяся в радиокомпозиции ремарка «Рожок почтальона» явилась реминисценцией в финале ст-ния. *Чужелюбая власть.* Подразумевается замужество Ваксель в 1932 г., после которого ее муж, вице-консул Норвегии в Ленинграде, увез ее из России (*85*, с. 164). *Стокгольмской лостели.* Здесь поэтическая вольность – Ольга Ваксель была похоронена в Осло. *И прадеда скрипкой гордился твой род.* Прадед Ваксель – выдающийся скрипач А. Ф. Львов – был обладателем «редчайшей» скрипки работы итальянского мастера Маджини (*31*, с. 71–72). *Миньона.* Букв.: «младшая», «маленькая» («малышка») (франц.); подразумевается героиня романа Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера». *Но мельниц колеса зимуют в снегу... почтальона.* Здесь соединены образы из вокальных циклов Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» (*31*, с. 76), первый из них поэт ввел в музыкальное сопровождение названной выше радиокомпозиции.

«На мертвых ресницах Исаакий замерз...». ВП. Альм. 2. Печ. по ВС. СМ. Список Линецкой. См. предшествующее примеч. В ст-нии отразились воспоминания о встречах с Ольгой Ваксель – в гостинице «Англетер», «меблированный» номер, из окон которого был виден Исаакиевский собор (*85*, с. 168). *Шуберта... Движенье, движенье, движенье.* Подразумевается песня Шуберта «В путь» (БП, с. 299).

«За Паганини длиннопалым...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС. Датируется по письмам Рудакова (см. ниже); в ВС с неточной датой /апрель–июль 35 г./. Авторизованный список (АМ, рукой Н. Штемпель). Авторизованная машинопись (ГЛМ. Ф. 283), с опечатками. Ст-ние вызвано впечатлением от игры Галины Бариновой. 6 апр. 1935 г. Рудаков писал жене: «Вчера были на концерте скрипачки Бариновой... У нее невероятный цветаевский темперамент, 22-летняя молодость и неартистическая живость. (Когда я это сказал, О.Э. удивился, откуда я могу так угадать действительное сходство с Цветаевой,

когда я ее не видел. А ритмы-то стихов!)», далее Рудаков, цитируя финальную и набросок первой строфы, пишет о том, что «это должно стать» шестистрофным ст-нием. Об окончании работы Рудаков сообщил жене в письме от 18 июня 1935 г. Галина Всеволодовна Баринова (1910–2006) была в то время солисткой Московской филармонии. *Чемчура.* Значение этого слова не вполне ясно; Б. Кац высказал предположение о том, что здесь в затемненном виде содержится намек на скрипача-виртуоза И. Иоакима, автора «Венгерского концерта» (*31*, с. 74). *Марина Мнишек* (ок. 1588 – ок. 1614) – дочь польского магната, одна из вдохновительниц похода Лжедимитрия I и его жена; с нею в своих стихах отождествляла себя Марина Цветаева (см. примеч. «На розвальнях, уложенных соломой...»). *С кошачьей головой во рту.* Эта ассоциация вызвана, вероятно, резной головкой грифа скрипки (*31*, с. 72).

«Бежит волна – волной волне хребет ломая...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС, пунктуация в ст. 1 – по списку в письме Рудакова (см. ниже). Датируется по тому же письму; в ВС неточно датировано июлем 1935 г. 27 июня 1935 г. Рудаков писал жене: «сегодня вроде оживление. Именно: О. написал 10-стишие. О море и Стамбуле. Первый стих: Бежит волна волны волне хребет ломая. Я в спор о идиоме: “волна волны” (что это такое?), хотя сам факт употребления одного слова троекратно в падежном изменении очень интересен и, в частности, дает интереснейшее ритмическое движение здесь, раскачку... Он ушел чинить сапоги и долго один бродил по городу, терзаем сомнениями. К вечеру сделано: Бежит волна – волной волне хребет etc., т. е. нарушена связь “волна волны”, а зависимость с изменением падежа дала смысловую связь между всеми тремя волнами». По Н. М., сюжет ст-ния был связан со слухами, ходившими по Москве после убийства Кирова, их она пересказала поэту после своего возвращения из поездки в Москву в июне (*52*, с. 259). *Хладные скопцы.* Реминисценция из ст-ния Пушкина «Поэт и толпа».

«Исполню дымчатый обряд...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС. В ст-нии речь идет о «коктебельских камушках», собранных в 1933 г. и привезенных женой поэта в Воронеж в июне. О них М. писал в «Разговоре о Данте»: «Позволю себе маленькое автобиографическое признание. Черноморские камушки, выбрасываемые приливом, оказали мне немалую помощь,

когда созревала концепция этого разговора. Я откровенно советовался с халцедонами, сердоликами, кристаллическими гипсами, шпатами, кварцами и т. д.» (гл. XI).

*«Не мучнистой бабочкою белой...». СС 1. Т. 1. Печ. по ВС, с учетом поправки, внесенной Н. М. в последний стих (см. ниже). СМ. Список промежут. редакции (собр. Е. Э. Мандельштама, рукой Н. М.). Первонач. редакция – в письме С. Рудакова к жене от 20 (?) июля 1935 г. (СХ, ГМ Амстердама); эта редакция была завершена 21 июля 1935 г. В этот день Рудаков писал жене: «Когда Осип пришел – мне поднесены варианты на 7 страничках и напечатанный на машинке окончательный текст. Стало лучше, тверже... Есть, например, стих “Как венок, шагающий в покое...”. Всего не посылаю, так как это еще не конец, и вся история текста слишком многообильна». Ст-ние было принято журн. «Подъем» и заверстано в № 6 (1935), но снято в ходе редактуры. Верстка с правкой сохранилась в архиве Рудакова, ныне в СХ, ГМ Амстердама (см.: *35а*, с. 143 и след.). О продолжении работы Рудаков писал жене 2 и 6 авг. 1935 г., а 30 мая 1936 г. сообщил, что М. «исправил последний стих последней воронежской вещи» (эта поправка была внесена в ВС, см. выше). Тема – похороны погибших в авиакатастрофе летчиков, которые М. видел в Воронеже (см. также: Свод, с. 262). *Продолженье зорких тех двоих* («Другие редакции»). Речь шла, по-видимому, о Ленине и Сталине, к которым только и мог быть приложен эпитет «зоркие», – ср. «скрепитель дальнозоркий» (о Сталине, см. примеч.) в ст-нии «Мир начинался страшен и велик...».

ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ

*«Из-за домов, из-за лесов...». СС 1. Т. 1. Печ. по авторизованному списку (АМ, рукой Н. М.). Та же редакция во втором списке (АМ), СП, АЧ. С другой редакцией ст. 3 (вероятно, автоцензурной) – в Списке Линецкой, НК и машинописи (АМ). *Ночных трудов*. Подразумевается труд поэтический.

*Рождение улыбки. СС 1. Т. 1. Печ. по списку (АМ, рукой Н. М.). Предшествующие редакции: 1) датированная 9–11 дек. – в авторизованном списке и в списке без даты (АМ, оба – рукой Н. М.), СП, АЧ, все – без загл.; 2) датированная 9 дек. – 6 янв. 1937 г. – в авторизованном списке (АМ, рукой Н. М.); в СП, с датой /9.XII.36 – 7.1.37/; 3) датированная 8 дек. – 9 янв. 1937 г. –

в списке Н. М. (АМ); 4) датированная 9 дек. – 11 янв. 1937 г. – в СП и Списке Линецкой. Печатался, по копии Рудакова с автографа (из собр. Ф. Вигдоровой), текст, соответствующий редакции 4, со следующими разночтениями: ст. 2 /С прививкою и горести и сласти,/; ст. 9 /На лапы задние поднялся материк – /; ст. 12 /Явленья явного в улыбку превращенье;/ и датой /8 дек. 1936 – 17 янв. 1937/ (Часть речи. 1982. № 2/3). Местонахождение копии в настоящий момент неизвестно; исправность даты в ней требует критической проверки. Тема «улыбки ребенка» пришла из раннего ст-ния («Другие редакции», ст-ние «Дождик ласковый, мелкий и тонкий...»).

«Подивлюсь на свет еще немного...». Мандельштам О. Стихотворения. М., 1992. Печатается согласно свидетельству Н. М. о том, что поэт авторизовал строфу из ранней редакции следующего ст-ния в качестве самостоятельного в Калинине или Саматихе (*52*, с. 267).

*«Мой щегол, я голову закину...». Имена на поверке. М., 1963, под именем Вс. Багрицкого (см. опровержение Л. Багрицкой: Лит. газ. 1964. 5 мая). Москва. 1964. № 8. Печ. по списку Н. М. (АМ). АЧ. НК. Список Линецкой. Предшествующие редакции: 1) датированная 9–13 дек. в авторизованном списке (АМ, рукой Н. М.), Списке Линецкой и СП. Поправку к ней поэт сообщил письмом в журн. «Звезда» от 19 дек. 1936 г. (СП), а Н. М. – в письме того же дня к Е. Я. Хазину (АМ); 2) авторизованный список (АМ, рукой Н. М.), АЧ (при письме Н. Мандельштам К. Чуковскому от 12 дек. 1936 г.) и в исходной записи черновика (РГАЛИ), где запись переработана в основной текст (датирован 27 дек.). Из реалий ст-ния: щегла поэт подарил сыну квартирной хозяйки, Вадику. «Рядом с нами мальчишки ставили силки и вели птичий торг» (*52*, с. 268).

«Нынче день какой-то желторотый...». СС 1. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (АМ). В ст-нии сказались воспоминания поэта о Петербурге. Закончив ст-ние, поэт «сказал: “Блок бы позавидовал”, вероятно, вспомнив “Когда кильватерной колонной вошли военные суда”» (*52*, с. 268; цитата из ст-ния Блока «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...»).

«Не у меня, не у тебя – у них...». СС 1. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (АМ). АЧ. НК. Список Линецкой. Первонач. редак-

ция (ст. 1–7) – в списке Н. М., датированном 11 дек. 1936 г. (АМ). *Их воздухом поющ тростник и скважист.* Обыгрывается образ пушкинского ст-ния «Муза»: «По звонким скважинам пустого тростника / Уже наигрывал я слабыми перстами».

*«Внутри горы бездействует кумир...». ВП. Альм. 2. Печ. по авторизованному списку с правкой (АМ, рукой Н. М.). Список Н. М. (АМ). АЧ. Список Линецкой. Предшествующие редакции: 1) датированная 13 дек. – в авторизованном списке (АМ, рукой Н. М.) и Списке Линецкой; 2) в авторизованном списке (АМ, рукой Н. М.) и АЧ (при письме, датированном 12 дек. 1936 г.). В ст-нии речь идет, по-видимому, о Сталине. Мотивы и темы («горы», «кости») ведут к ст-нию «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...». Тема «кумира внутри горы» восходит к архаическим мифам восточного (и кавказского в частности) происхождения, которые М. могли быть известны (*55*, с. 417–421). Ст. 9–11 связаны, вероятно, с образом индийского божка или Будды со скрещенными на груди руками и сидящего «по-турецки»; в то же время это – поза лежащего в материнской утробе младенца.

«Я в сердце века. Путь неясен...». СС 1. Т. 1. Печ. по НК с исправлением пунктуации в ст. 1 по АЧ. В Списке Линецкой с разночтением (опиской?) в ст. 1 («мира» вм. «века»). Один из списков в АМ поэт превратил в автопародию, подписав его пародийным псевдонимом /Гурий Верховский/ и приписав: /Это для дурней/. Н. М. прокомментировала: «О. М. не мог, не посмеявшись над собой, назвать и посох, и памятник» (*52*, с. 269).

«А мастер пушечного цеха...». СС 1. Т. 1. Печ. по записи Н. М. в АМ (не ранее 1955 г.). Представляет собой фрагмент утраченного ст-ния, которое, по Н. М., «записывалось шифром». Смысл его неясен, но отчетлива ироническая интонация. Н. М. определяла ст-ние как «памятник»: «В нем предчувствие судьбы (“Уж мы сошьем тебе такое”) и изготовление памятника предоставляется “мастеру пушечного цеха” и портному. Это пошло от фигуры на памятниках с протянутой рукой и невероятно поднявшимся вслед за рукой пиджаком... Отсюда “памятников швец”...» (*52*, с. 272).

*«Сосновой рощицы закон...». СС 1. Т. 1. Печ. по авторизованному списку (АМ, рукой Н. М.). Первонач. редакция –

СП. Поправку к ней, приводящую к основному тексту, поэт сообщил в журн. «Звезда» 19 дек. 1936 г. (СП). В этом ст-нии, как и в следующем (см. примеч.), запечатлены воспоминания об отдыхе в Задонске (городок в Воронежской обл.) летом 1936 г., где сосновая рощица была перед домом (*52*, с. 272). *На арфу начал гнуть Эол.* Эол (греч. миф.) – бог ветров; здесь «разыграно» представление об эоловой арфе – музыкальном инструменте, звучащем от дуновений ветра.

«Пластинкой тоненькой жиллета...». СС 1. Т. 1. Печ. по НК. АЧ. Список Линецкой. Первонач. редакция (без ст. 14–21), датированная 15 дек., – в авторизованном списке (АМ, рукой Н. М.), АЧ (при письме от 16 дек. 1936 г.), СП и в письме Н. М. к Е. Я. Хазину от 19 дек. 1936 г. (АМ). В ст-нии отразились впечатления от Задонска, городка в верховьях Дона. *Жиллет* – марка шведских лезвий для безопасных бритв; упоминается в «Четвертой прозе» (гл. 6). *Рюисдалевых картин.* Подразумеваются пейзажи одного из Рейсдалей, голландских художников, – вероятно, Якоба Изакса фон Рейсдаля, самого известного из них.

*«Ночь. Дорога. Сон первичный...». БП, с. 301, в качестве первонач. редакции ст-ния «Эта область в темноводье...» (см. «Другие редакции»). Печ. по списку Н. М. (АМ); в АМ еще два списка ее рукой. АЧ, при письме от 28 дек. 1936 г. Означено в «контрольном списочке» из 19 ст-ний, посланном в журн. «Звезда» 13 янв. 1937 г. К истории текста. Работа над ст-нием началась 23–24 дек., когда была создана ранняя редакция («Другие редакции»), в предшествующих изданиях печатавшаяся как основной текст. В АМ отразились три этапа ее становления: первонач. и промежут. редакции в списке Н. М. с правкой поэта, датированном 24 дек.; завершающая редакция в списке Н. М. с поправкой, время создания которого – не позднее 25 дек. – без труда определяется по указанной поправке, уже учтенной в списке ст-ния «Где я? Что со мной дурного?..» с этой датой. Н. М. безошибочно провела анализ тех же дат архивных источников и установила ошибку Н. Харджиева в датировке этой редакции – 29 дек. (*52*, с. 275–276). Ошибка эта, однако, основывалась на ее собственной описке в дате НК. 25, 26, 27 дек. эта редакция была переработана в три самостоятельных ст-ния – соответственно «Где я? Что со мной дурного?..», «Шло цепочкой в темноводье...» и настоящее. Неизменность этого авто-

ского решения в дальнейшем удостоверяется с несомненностью 28 дек. (АЧ) и 13 янв. 1937 г. («контрольный списочек», см. выше). Но, по-видимому, сохранялась и копировалась также и ранняя редакция, выигрышная политически (с упоминанием «Воробьевского райкома»), – ситуация, уже отмечавшаяся нами (см. примеч. к «Стансам» 1935 г.), что и повело к тому, что текст закрепился в памяти Н. М. как основной; напомним, что материалы АЧ и СП ни ей, ни И. Семенко, ни Н. Харджиеву во время их текстологических работ не были известны. В ст-нии отразились впечатления от поездки в Тамбов в дек. 1935 г., где поэт проходил курс лечения в санатории, и от командировки в совхозы Воробьевского района летом 1935 г. Из Тамбова он писал жене (26 дек. 1935 г.): «Живем на высоком берегу реки Цны. Она широка или кажется широкой, как Волга. Переходит в чернильно-синие леса. Мягкость и гармония русской зимы доставляет глубокое наслаждение». *Анна, Россошь, Гремячье* – районные центры Воронежской области. *Я люблю ее рисунок... на фанере не сочтешь* («Другие редакции»). Речь идет о фанерной карте Воронежской области с подсветкой, висевшей на стене междугородной переговорной станции в Воронеже.

«Вехи дальние обоза...». ВП. Альм. 2. Печ. по авторизованному списку (АМ, рукой Н. Штемпель). В списке Н. М. (АМ) и в НК с разночтением (опиской?) в ст. 1 – «дальнего» вм. «дальние» (см. Свод, с. 157). *Особняк.* Санаторий в Тамбове, где жил поэт (см. предшествующее примеч.), размещался в бывшем купеческом особняке.

«Где я? Что со мной дурного?..». НБП, где напечатано как отдельное ст-ние впервые по списку Н. М. (АМ) (см. примеч. «Ночь. Дорога. Сон первичный...»). АЧ. СП. В недатированной записке к М. (вторая половина февр. 1937 г.) Б. Пастернак писал: «В самых счастливых вещах (а их немало) внутренняя мелодия предельно матерьялизована в словаре и метафорике, и редкой чистоты и благородства. “Где я, что со мной дурного...” в этом смысле головокружительно по подлинности и выраженью» (*69*, с. 97). *Где я? Что со мной дурного?* Стих явился реминисценцией из ст-ния Гумилева «Звездный ужас»: «Где я? Что со мною?..» (*96*, с. 212). *Это мачеха Кольцова.* Подразумевается трудная поэтическая судьба Алексея Васильевича Кольцова (1809–1842), жившего в Воронеже.

«Шло цепочкой в темноводье...». СС 1. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (АМ). АЧ. СП. См. примеч. «Ночь. Дорога. Сон первичный...». *Из дворянского угодья.* До Октября в Воронеже жило много дворян, и он считался «дворянским» городом.

*«Когда щегол в воздушной сдобе...». СС 1. Т. 1. Печ. по АЧ (приложено к письму от 28 дек. 1936 г.), с исправлением описки. Связано с известиями в прессе о последних месяцах жизни Мигеля де Унамуно (1864 – 31 дек. 1936) – писателя и философа, который в окт. 1936 г. декретом Франко был отрешен от всех должностей за выступление, осуждавшее фашистский мятеж; был ректором университета в Саламанке (*56*, с. 101). Ранее Унамуно выступал против монархии, за что был выслан из Испании (1914), затем – с критикой буржуазной республики. В конце 1936 г. М. начал изучать испанский язык и интересовался, в частности, творчеством поэта и ученого Луиса де Леона (1527–1591), профессора университета в Саламанке, много лет просидевшего в подвалах инквизиции (*56*, с. 365; ср.: *48*, с. 202).

«Как подарок запоздалый...». Москва. 1964. № 8. Печ. по списку Н. М. (АМ).

«Оттого все неудачи...». ВП. Альм. 2. Печ. по списку Н. М. (АМ). СП, при письме Н. Тихонову от 31 дек. 1936 г. М. «надеялся, что Тихонов пришлет денег, получив от ссыльного и нищего товарища стихи про золото и драгоценные камни. Тихонов немедленно ответил телеграммой, что сделает для О. М. все, что сможет» (*48*, с. 226). Об обстоятельствах создания ст-ния писала Н. Штемпель: «иногда Осип Эмильевич грустно играл с моим котом, хотя играть с ним было мудрено. Кот был злой, дикий, и характер у него, надо сказать, был дьявольский. Он царапался, кусался, даже преследовал осмелившегося его погладить, чтобы вцепиться. Любил он, пожалуй, только меня, остальных, кто бывал у нас, кое-как терпел. Внешность его вполне соответствовала повадкам. Кот был совершенно черный, без единого пятнышка, с огромными изумрудными глазами. Смотрел он на человека всегда пристально, и в глазах был вопрос с оттенком презрения. Мне казалось, что он все понимает, и я не удивилась бы, если бы он заговорил. Было в нем нечто зловещее, ведьмовское, таинственное. Кот очень занимал Осипа Эмильевича, и однажды, придя к нам, он прочитал

стихотворение... Видя настроение Осипа Эмильевича, я не восприняла это стихотворение как шуточное, было в нем какое-то тоскливое предчувствие беды, беспокойство» (*110*, с. 53).

*«Твой зрачок в небесной корке...». СС 1. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (АМ). Точность даты подтверждается местоположением в «контрольном списочке» (см. преамбулу); с опиской в дате («февр.» вм. «янв.») – во втором ее списке, с правкой (АМ, дата рукой поэта) и в СП, с припиской Н. М.: «Это стихотворение идет шестнадцатым в списке. Остальные 15 уже отправлены на имя редакции» (подразумевается журн. «Звезда»). Обращено к жене: цвет ее глаз был необычного ярко-голубого оттенка. В связи со ст-нием она писала: «у нас была примета, что вещи, попадающие в стихи, должны пропасть. О. М. самым нелепым образом потерял "белорукую трость"... и щегла съела кошка, и сама потом пропала. Хорошо еще, что я не ослепла. Этого я всегда боялась...» (*48*, с. 193).

«Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста...». СС 1. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (АМ). Второй список с датой (АМ). НК. В Списке Линецкой датировано (ошибочно?) 2 янв. *С Рафаэлева холста.* Речь идет, по-видимому, о «Мадонне Конетабиле», где есть «тростинки рощ»; также отразилась «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи (*52*, с. 279), откуда, вероятно, впечатления от облаков, переданные образом «плывет углами неба восхитительная мощь». *Ягненок гневный.* Подразумевается младенец на руках у Мадонны – «агнец божий»; атрибут «гневный» прилагается в Библии к Богу-отцу. *Синель* – синее небо; ср. у А. Белого: «Там ряд избенок вьется / В косматую синель» («Поповна»).

«Когда в ветвях понурых...». СС 1. Т. 1. Печ. по авторизованному списку (АМ, рукой Н. Штемпель). Список Н. М. с датой /9–10 янв. 37 г./ (АМ).

«Я около Кольцова...». СС 1. Т. 1. Печ. по одной из поздних (после 1938 г.) записей Н. М. (АМ). Датировано ею, по-видимому, по памяти.

*«Дрожжи мира дорогие...». СС 1. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (АМ). НК. Список Линецкой, с датой. Предшествующие редакции: 1) датированная 12 янв. – в авторизованном списке

(АМ, рукой Н. Штемпель) и Списке Линецкой; 2) датированная 14 янв. – в авторизованном списке (АМ, рукой Н. Штемпель). *Дрожжи мира дорогие... труды.* Речь идет о поэтическом творчестве. *Звуки.* В статье Л. П. Якубинского «О звуках стихотворного языка» (по-видимому, известной М.) приводился пример из варианта «Ангела» Лермонтова:

Душа находилась в твореньи земном,
Но чужд был ей мир. Об одном
Она всё мечтала. О звуках святых,
Не помня значения их

(Сборники по теории поэтического языка. Пг., 1919. [Вып. 3]). *Слезы.* Ср.: «Творческая бессонница, разбуженность отчаяния сидящего ночью в слезах на своей постели, именно так, как это изобразил Гете в “Мейстере”» («Путешествие в Армению. Записные книжки», т. 2 наст. изд.). *Труды.* Подразумевается труд поэтический.

«Влез бесенок в мокрой шерстке...». СС 1. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (АМ). НК. Список Линецкой. Писалось одновременно с предшествующим ст-нием. «Оба стихотворения вызваны воспоминаньем о монастырской дороге, где после дождя в следы, оставленные копытами, набиралась вода» (*52*, с. 281). В образах сказались реминисценции из ст-ния Блока «Болотные чертенятки»: «Мы – забытые следы / Чьей-то глубины...».

«Еще не умер ты, еще ты не один...». ВП. Альм. 2. Печ. по беловому автографу из альб. Н. Э. Радлова (собр. Л. Н. Радловой), с исправлением описки в ст. 5 («богатой» вм. «могучей» – что воспроизводило, вероятно, одну из ранних редакций) по списку Н. М. (АМ). Датируется по этому списку (автограф не датирован); список представляет собой запись строф 2, 3 (с разночтением в ст. 11: «беден» вм. «жалок») – вероятно, одну из промежут. редакций ст-ния. Образы ст-ния отразились в письме к Ю. Тынянову от 21 янв. 1937 г. См. примеч. «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..». *Нищенка-подруга* – жена поэта. *Спокоен и утешен.* По наблюдению Ю. Фрейдина, явилось реминисценцией слов, сказанных Митей Карамазовым в тюрьме (*41*, с. 22).

«В лицо морозу я гляжу один...». ВРСХД. 1962. № 64. Печ. по списку Н. М. (АМ). НК. Список Линецкой. *Десятизнач-*

ные леса. Подразумеваются леса вокруг Камы – места, о которых поэт вспомнил в следующем ст-нии.

«О, этот медленный, одышливый простор!..». ВП. Альм. 2. Печ. по списку Н. М. (АМ). Список Линецкой.

«Что делать нам с убитостью равнин...». ВП. Альм. 2. Печ. по НК. Список Линецкой. Н. М. приводила по памяти редакцию заключительного стиха «Народов будущих Иуда?», считая текст НК цензурным вариантом (*52*, с. 282); И. Семенко выражала сомнение в достоверности этого сообщения (Свод, с. 162). Возможно, то была ранняя редакция; в основном тексте речь идет о пространствах, создаваемых творческим воображением. Образ явился реминисценцией из программного ст-ния Д. Мережковского «Дети ночи»:

Устремляя наши очи
На бледнеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ждем, придет ли наш пророк.

И, с надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем
О несозданных мирах.
Мы неведомое чуем.

«Как женственное серебро горит...». СС 1. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (АМ, без даты). Датируется на основании ее сообщения о том, что ст-ние выделилось из предшествующего, «в его вариантах было и серебро, и плуг» (*52*, с. 283).

«Я нынче в паутине световой...». Москва. 1964. № 8. Печ. по списку Н. М. (АМ). Список Линецкой. Местонахождение авторизованного списка первонач. редакции (БП, с. 302) в настоящее время неизвестно. НК.

«Как землю где-нибудь небесный камень будит...». ВП. Альм. 2. Печ. по списку Н. М. (АМ).

*«Слышу, слышу ранний лед...». Струве-1962. Печ. по авторизованному списку (РГАЛИ, рукой Н. М.), с пометой поэта: /Это окончательный текст/. Список ранней редакции (АМ, той же рукой), датированный 21 янв. В ст. 10–14 поэт говорит, по-видимому, о Петербурге. *Алигьери* – Данте Алигьери.

«Куда мне деться в этом январе?..». ВП. Альм. 2. Печ. по НК. Список Линецкой, с датой. Н. Штемпель писала: «В этом стихотворении я узнавала внешние приметы моего города. Мандельштамы иногда шли к нам не по проспекту Революции, а низом, по Поднабережной, и там, на стыке нескольких улиц – Мясной горы, Дубницкой и Семинарской горы, – действительно стояла водокачка... был и деревянный короб для стока воды, и все равно люди расплескивали ее, кругом все обледенело... Все это правда. Да, да, и “переулков лающих чулки, и улиц перекошенных чуланы” – Суконовки (Левая и Правая, узкие, кривые), Венецкая, Мало-Чернавская... как много их в этом узле. Запутаешься, закружат... Как не замечала раньше!» (*110*, с. 55).

«Люблю морозное дыханье...». ВРСХД. 1962. № 64. Печ. по списку Н. М. (АМ). «Мы жили на горе, откуда шел крутой спуск к реке. Следы этого пейзажа во многих стихах этой зимы. По этому крутому спуску мальчишки, среди них птицелов Вадик, сын нашей хозяйки, съезжали на саночках к реке. О. М. постоянно гулял на площадке против нашего домика и глядел на мальчишек... По этому стихотворению, говорил О. М., нетрудно будет догадаться, что у него на морозе одышка: “Я – это я, явь – это явь...”» (*52*, с. 285).

«Средь народного шума и спеха...». ВП. Альм. 2. Печ. по списку Н. М. (РГАЛИ). Во втором ее списке (АМ) – описки в ст. 2 («площадях» вм. «пристанях») и ст. 27 («кленом» вм. «кедром), а в ст. 3 «века» выправлено из «веко». С последней поправкой И. Семенко предлагала не считаться (Свод, с. 170), однако в этом стихе подразумевается портрет Сталина, и чтение «веко» могло возникнуть лишь в результате самопародирования (см. преамбулу). В ст-нии отразились впечатления от поездки по Каме в чердынскую ссылку в 1934 г. *Смотрит века могучая веха И бровей начинается взмах*. Речь идет о портретах Сталина; о физиогномике лица Сталина в стихах этого периода см.: *58*, с. 187.

«Где связанный и пригвожденный стон?..». ВП. Альм. 2. Печ. по списку Н. М. (АМ). НК. Писалось одновременно со ст-нием «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...» и связано с ним рядом мотивов и образов, Прометея и Эсхила в частности. Образ Сталина «разыгран» в ст. 9 (ср. «веху» в предшествующем ст-нии) и дан сравнением с Прометеем. К этому образу, вопреки мнению Н. М. (*52*, с. 286), относятся и

«наступающие губы» (чем переносятся некоторые признаки авторского «я», см.: *55*, с. 422). Названные в ст. 8 профессии Эсхила (автора «Прометея прикованного») и Софокла, по наблюдению Ю. Фрейдина, являются типично лагерными. *Тому не быть – трагедий не вернуть.* Здесь отзвук давнего спора: Вяч. Иванов, предвещая «новую органическую эпоху» в истории России, задачу искусства видел в возрождении хорового действа, трагедии (*26*, с. 189–219); М., коснувшись творчества И. Анненского, писал о «невозможности трагедии в современном русском искусстве» из-за «отсутствия синтетического народного сознания, непререкаемого и абсолютного, – необходимой предпосылки трагедий...» («Письмо о русской поэзии»). *Воздушно-каменный театр... не имущих.* Ср. в «Молодости Гете»: «на амфитеатр надо смотреть не тогда, когда он пуст, а когда он наполнен людьми. Увидев себя собранным, народ должен изумиться самому себе – многоглавый, многошумный, волнующийся, – он вдруг видит себя соединенным в одно благородное целое, слитым в одну массу, как бы в одно тело... Ветер, веющий с могил древних, проносясь над холмами, покрытыми розами, проникается их благоуханием» (см.: *29*, с. 68).

«Как светотени мученик Рембрандт...». СС 1. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (АМ). «Картина Рембрандта находилась в Воронеже... О. М. часто ходил ее смотреть» (*52*, с. 286); речь идет о картине «Шествие на Голгофу» Я. В. де Вета-старшего, тогда атрибутировавшейся Рембрандту.

«Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева...». ВП. Альм. 2. Печ. по списку Н. М. (АМ). Ст-ние вызвано «тоской по Крыму» (*52*, с. 287).

*«Пою, когда гортань сыра, душа – суха...». ВП. Альм. 2. Печ. по списку Н. М. (АМ). НК. Беловой автограф ранней редакции (РГАЛИ). Ст-ние вызвано воспоминаниями о поездках в Абхазию. *Голова глуха.* Образ восходит к «Путешествию в Армению», где отмечен корень «глух» в слове «голова» на армянском языке (гл. «Ашот Ованесян»). *Песнь одноглазая... Одноголосый дар.* Речь идет о традиции одноголосого пения на Кавказе.

«Вооруженный зреньем узких ос...». ВП. Альм. 2. Печ. по НК. АЧ. 6 янв. 1939 г., еще не зная о смерти мужа, Н. М. писала Б. Кузину: «Я рада, что вы полюбили “Ось”. Ося

тоже считает их своими лучшими стихами. Мы много смеялись в свое время, играя словами “Осип”, “Оса”» (*34*, с. 554–555). Тему «земной оси» начал Брюсов, озаглавивший так книгу прозы (М., 1907).

«Были очи острее точимой косы...». СС 1. Т. 1. Печ. по НК. АЧ. *Зегзица* – кукушка. *Одинокое множество звезд*. Образ вызван «Спорадами» Вяч. Иванова: «Вид звездного неба пробуждает в нас чувствования, не сравнимые ни с какими другими впечатлениями внешнего мира на душу... Никогда живее не ощущает человек всего вместе как множественного единства и как разъединенного множества; никогда не сознает себя ярче и вместе глуше, сиротливее...» (*26*, с. 366–367; *117*, с. 63).

«Еще он помнит башмаков износ...». СС 1. Т. 1. Печ. по НК. Связано с воспоминаниями о Тбилиси, где М. бывал несколько раз. *Моих подметок стертое величье*. Этот образ был развернут в «Разговоре о Данте»: «Мне не на шутку приходит в голову вопрос, сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии» (гл. II). *Давид-гора* (Мтацминда) доминирует над Тбилиси; на ней расположен монастырь Св. Давида.

*«Обороняет сон мою донскую сонь...». СС 1. Т. 1. Печ. по НК, с поправкой в дате по черновому автографу (см. ниже; в НК датировано 9–11 февр.). Список Н. М. (без даты) и машинопись (АМ); в машинописи текст зачеркнут. Выделилось из черновика, где исходный текст представляет собой ст-ние, датированное 18 янв. – 3 февр. 1937 г. («Другие редакции»), две строфы которого вошли в ст-ние «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...» (не исключено, что это его ранняя редакция). Черновой автограф завершенного текста первонач. редакции, датированный 3 февр. (оба в АМ). Ст-ние было включено в «книгу» и читалось Б. Пастернаку во второй половине февр. 1937 г. (см. преамбулу). Как справедливо отметила Н. М., в этом ст-нии – «победа настроений “Оды” и того болезненного возбуждения, которое она вызвала» (*52*, с. 288). *Разворачиваются черепах маневры*. Образ вызван воспоминаниями о парадах на Красной площади (ср. также финальную строфу ст-ния «Как дерево и медь Фаворского полет...»), в которых участвовала военная техника на гусеничном ходу. *Рабу не быть рабом... ра-*

бой. Перифразируется фраза букваря – «Мы не рабы. Рабы не мы».

«Как дерево и медь Фаворского полет...». ВП. Альм. 2. Печ. по НК, с конъектурой, предложенной Ю. Фрейдиным, в ст. 12 – «Всей этой» вм. «Этой», как было в сохранившихся источниках текста (НК, список Н. М. в АМ, Список Линецкой); в тексте источников – «столкновение» двух «сильных» ударений, что в принятой в этом ст-нии системе стиха невозможно. Необходимость конъектуры определена И. Семенко, которая предлагала в этом месте ввести «Той» вм. «Этой» по неизвестному нам источнику (Свод, с. 170). О *Фаворском* см. примеч. «Дышали шуб меха. Плечо к плечу теснилось...»; его гравюрами (какими – не установлено) был дан импульс к ст-нию.

«Я в львиный ров и в крепость погружен...». ВП. Альм. 2. Печ. по Списку Линецкой. В НК и двух списках Н. М. (АМ) – с мелкими разночтениями и опиской («роды» вм. «рода»). Н. М. предлагала поправку «Всех наших» вм. «Богатых» (которая представляется недостаточно мотивированной) и приводила (по памяти) раннюю редакцию тех же слов – «Всех белых». Сюжет ст-ния вызван пением Марион Андерсен, выдающейся исполнительницы спиричуэлс (негритянских духовных гимнов), концерт которой поэт слышал в трансляции по радио (*52*, с. 289). *Я в львиный ров... погружен*. Реминисценция из спиричуэлс на текст библейской книги пророка Даниила (гл. 6). *Таитянок кроткие корзины*. Образ навеян, вероятно, полотнами Гогена, писавшимися на Таити.

ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ

*Стихи о неизвестном солдате. СС 1. Т. 1. Печ. по «альбому № 2» (см. ниже). История и обоснование выбора текста. Редакции, представленные в прижизненных (до ареста 1938 г.) источниках: 1) список Н. М.[1] (РГАЛИ) – его первонач. текст, без загл., датирован 1 марта 1937 г.[2], с последующей незавершенной переработкой и посвящением /М. Ломоносову/; 2) беловой автограф (АМ), без загл., датирован 3 марта 1937 г.;

[1] Все указанные ниже списки также сделаны ее рукой.

[2] Эту дату поэт в дальнейшем не учитывал; согласно его воле, под основным текстом начальной датой ставим 2 марта.

3) НК, без загл. с датой /2–7 марта 37/[1]; 4) списки: в СМ и АМ (оба – без загл.), РГАЛИ (фонд журн. «Знамя», под загл. /Неизвестный солдат/); все три датированы 2–10 марта 1937 г.; 5) список, датированный 2 марта – 5 апр. 1937 г., с пометой /«Солдат» № 3/ (ИРЛИ, фонд С. Рудакова), с последующей (незавершенной) авторской правкой; на поле – черновик ст. 48–57. Еще две редакции (датируются нами концом апр. – началом мая 1937 г.) сохранились в схематических планах (АМ). Первый план (список):

I. 3 строфы – сеятель, свидетель (ст. 1–12)[2].

II. Будут люди – ласточка (ст. 13–20 или 13–24).

<II[а]> Миллионы убитых (ст. 36–39).

III. Неподк<упное> небо – могил (ст. 40–47).

IV. Виноградины – арав<ийское> месиво – эфир дес<ятичноозначенный> – до «светло» (ст. 25–31; 32–35; ст. 20–31 редакции 4).

Переход: И не знаешь откуда берешь (соответствует ст. 12 редакции 1) – пропадая задешево (аналогий в сохранившихся редакциях нет).

V. Череп (ст. 58–69).

VI. Хорошо умирает пехота (ст. 48–57).

Второй план (автограф): 1. Сеятель; 2. Ласточка; 3. Целокупное небо; 4[а]. Череп; 4. Свет (Вин<оградное> крошево); 5. Пехота.

Дальнейший ход работы (она продолжалась, согласно воспоминаниям Н. М. и Н. Штемпель, еще в течение года, вплоть до ареста) ныне неизвестен – рукописи были изъяты и, по-видимому, не сохранились. Указанные редакции еще далеко отстоят от двух вариантов последнего прижизненного текста (о них речь пойдет ниже): текст ст. 5–12 и 17–24 вообще не зафиксирован (он лишь отмечен в планах); последние редакции завершают ст. 48–57, а будущая финальная строфа еще имеет другую редакцию (см. редакцию 4) и в более поздних планах не предусмотрена[3]. Отметим существенную деталь – в планах имеется членение текста, аналогичное последующим «главкам». Следующие по времени архивные источники – записи,

---

[1] Если доверять публ. С. Поляковой, ст-ние было приложено к письму Н. Тихонову от 6 марта 1937 г. (Часть речи. 1982. № 2/3) – вероятно, в редакции, близкой к НК.

[2] В круглых скобках нами даны эквиваленты основного текста и редакций.

[3] По свидетельству Э. Герштейн, эта строфа уже стояла в финале записанного ею во второй половине мая 1937 г. и авторизованного текста, позднее утраченного (*20*, с. 68).

делавшиеся Н. М. после ареста поэта в мае 1938 г. и до начала войны. Они представлены в «альбомах»[1] и в СМ (второй, недатированный, список). «Альбомы» содержат редакцию из 98 строк, СМ – из 90 строк (без ст. 36–39 и 82–85). При некоторых отличиях их следует охарактеризовать как имеющие высокий уровень идентичности: полностью совпадают последовательность и структура строф (членения на главки в них нет), отсутствует главка из 12 строк, соответствующих ст. 20–31 редакции 4 (от «Сквозь эфир, десятично-означенный» до «От меня будет свету светло»)[2]. Следующий этап изменения текста – в списках, создававшихся в Ташкенте, где Н. М. жила во время войны. В них текст ст-ния расширен, за счет упомянутой главки, до 110 строк. Этот текст и стал известен читателю по печатным изданиям[3]. Для того чтобы обосновать наш выбор текста, вернемся ко времени последнего этапа работы поэта над ст-нием. Н. М. писала: «он решил выбросить "математические строфы" (3-й раздел) и до конца не решил, возьмет ли он их в окончательный текст... Но в то же время он сам удивлялся этой "вести"... от которой "будет свету светло"... Он говорил: "Тут какая-то чертовщина" и "Что-то я перегнул...". Он решил отправить эти строфы "к пророку", то есть выкинуть, как он почти сразу выбросил строчку "Это зренье пророка смертей"... После этого стихотворение стало в своем теперешнем виде, но без третьего раздела. У меня было два чистовых списка – совершенно одинаковых, кроме третьего раздела (один с ним, другой без него). Эти два списка мы взяли с собой в Саматиху вместе с кучкой черновиков к "Солдату", чтобы О. М. окончательно решил судьбу третьего раздела. Он все же склонялся к варианту без него. Кроме того, ему не нравилось, что в стихах – восемь разделов. Он предпочитал, чтобы их было семь (это его отношение к числам). Вопрос о третьем разделе остался нерешенным. Материалы отобраны при аресте» (*52*, с. 299–300). И. Семенко в своей работе о творческой истории ст-ния пришла к следу-

---

[1] Так называла вдова поэта в домашнем обиходе своды стихов 1930-х гг., дававшиеся ею знакомым «на сохранение», а после войны возвращенные ей (ныне в АМ). Все они делались по памяти, их отличительная особенность – отсутствие дат под стихами (в послевоенные годы в них вносились многочисленные поправки, а также и даты).

[2] Точнее, чем 1938–1940 гг., эти списки ныне датировать не удается; нет также возможности установить их взаимную последовательность.

[3] Указанная главка помещена в нем после главки 2, соответственно менялись номера последующих главок. В приводимых ниже воспоминаниях Н. М. называет ее «математическими строфами» и «третьим разделом».

ющим выводам: «Изучение автографов и наиболее авторитетных записей вынуждает относить остальную часть 110-строчного свода к заведомым вариантам. Итак, наиболее вероятный объем, каким он на последнем этапе работы представлялся поэту, – 98[1] строк» (*81*, с. 86). Эти выводы согласуются с приведенным свидетельством Н. М. и сохраняют свою убедительность доныне. В наст. изд. текст печатается по «альбому» № 2 со следующими исправлениями[2] по прижизненным источникам: «Самым огненным» (ст. 79) на «Полуобморочным»; «Для того ль» (ст. 82) на «Для чего ж»; «Чтобы» (ст. 84) на «Если»; «Слышишь» (ст. 86) на «Чуешь»; «Наливаются» (ст. 88) на «Напрягаются» – все исправления по редакции 6. Сохраняются – как, вероятно, выработанные поэтом на последнем этапе – следующие редакции: «горбатого» в ст. 23 (в «альбоме» начато «сут<улого>», но это написание оставлено); «луч» (вм. раннего «свет») в ст. 35; «придымленный» (вм. раннего «приниженный») в ст. 47.

Тема «Неизвестного солдата» восходит ко времени окончания Первой мировой войны (один из главных театров ее – Верден – упомянут в редакциях 1 и 2), когда на площадях в Риме и Париже были основаны мемориальные захоронения «Неизвестный солдат». В то время М. перевел одноименное ст-ние М. Бартеля. Тема возобновляется в предчувствии Второй мировой войны; назовем ст-ние А. Штейнберга «Могила Неизвестного солдата» (Молодая гвардия. 1933. № 8) и одноименное произведение Г. Монина (1934 или 1935 г.), хранящееся в одной архивной папке журн. «Знамя» с «Неизвестным сол-

---

[1] Здесь мы исправляем опечатку книги: в тексте – 97, редакции с таким количеством строк нет. И. Семенко, вероятно, не имела возможности держать корректуру книги, и в ней содержится некоторое количество неисправностей. Одна из них: редакция, помещенная в книге «Воронежские тетради» (1980), отнесена ею к 98-строчной (на самом деле – 110-строчная); это обстоятельство, хотя и нарушает последовательность аргументации, на выводах не сказывается. Здесь же следует упомянуть о том, что редакция, напечатанная публикатором ее Свода (110-строчная), не согласуется с текстологическими выводами книги: она, как и некоторые другие ст-ния в Своде, не была завершена подготовкой. Считаем также необходимым сообщить, что нам не удалось идентифицировать в АМ ту прижизненную 110-строчную запись, о которой Семенко писала: «Но это – не окончательная редакция; это – запись всего наличного текста с целью ничего не утерять и не забыть» (*81*, с. 86).

[2] Вопрос об описках в «альбомах» был поставлен в уже цитированной работе Семенко, ее данные мы также используем. Прибавим к ним следующее: в «отброшенной» главке правильное чтение – «нолей» (не «нулей»).

датом» М. (РГАЛИ). Предвестием Второй мировой войны была гражданская война в Испании, события которой «волновали» поэта (*110*, с. 47). По другую сторону, в СССР, нарастала новая волна репрессий: за день до начала работы над ст-нием, 27 февр., при невиданных обстоятельствах – на заседании пленума ЦК ВКП(б), был арестован покровитель М., Н. И. Бухарин. Отголоски этих событий проходят в главных темах ст-ния. Сама тема «Неизвестного солдата» непосредственно дана лишь в названии, в ст-нии ее лейтмотивом звучит безымянность, массовость, общность судеб, в какой-то степени независимая от той или иной социальной ситуации, – роковая.

В мотивах ст-ния сильнее всего ощутимо влияние «Демона» в преломлении судьбы самого Лермонтова; звездная символика Фета; отголоски физических теорий, связанных со строением космоса, – в нем и развертывается действие. Существенное влияние, как выяснил О. Ронен, оказала популярная в начале века «астрономическая фантазия» К. Фламмариона «По волнам бесконечности». В ней используется представление о том, что свет в космосе, в своих удаляющихся лучах, хранит зрительную информацию о всех происшедших в истории событиях. Поэтому принципиально возможно – в провиденциальном плане – воздаяние и за добрые, и за злые дела. Дух Люмен у Фламмариона, летящий от Земли со скоростью, превышающей скорость света, видит (что закономерно – в обратном порядке) Наполеоновские войны – Ватерлоо, Лейпцигское сражение (Битву Народов), Аустерлиц, Египетский поход, которые отразились как в «отброшенной» главке (главным образом), так и в основном тексте (*76*, с. 429–431). Вероятна связь с появлением книги Е. В. Тарле «Наполеон», вышедшей летом 1936 г. и «имевшей огромный успех» (*24*, с. 109). Близкие темы, иногда с религиозным осмыслением, разрабатывались М. в одновременно писавшихся ст-ниях. Посвящение Ломоносову в редакции 1 было вызвано, вероятно, его «Вечерним размышлением о Божием Величестве...» (*76*, с. 429).

Этот воздух пусть будет свидетелем. Перифраз клятвы «Бог свидетель»; ближе в «Современной оде» Некрасова: «И – беру небеса во свидетели...» (наблюдение Г. Левинтона). *Океан без окна.* См. примеч. «В огромном омуте прозрачно и темно...». *Шевелящимися виноградинами.* Аллюзия на басню Крылова «Лисица и виноград» (ср. также в примеч. к «Грифельной оде» и «Канцоне»). *Городами украденными.* Среди них подразумевается Петербург: отдаленные мотив-

ные переклички – в одноименном переводе из М. Бартеля («Петербург»). *Аравийское месиво, крошево.* Отзвук сражений Наполеона в Египте, восходящий, как и мотивы ст. 32–37, к книге Фламмариона (см. выше). *Гений могил.* В этом контексте «гений» и «демон» – синонимы. *Хор ночной.* См. примеч. «Концерт на вокзале». *Над улыбкой приплюснутой Швейка.* Швейк был «героем-дезертиром» (*108*). *Череп развиться.* Тема разрабатывалась в черновиках ст-ния «Голубые глаза и горячая лобная кость...» (см. примеч.). *Чепчик счастья – Шекспира отец.* Этот и предшествующие стихи связаны со сценой на кладбище в «Гамлете» (*37*, с. 201). *Чуть-чуть красные мчатся в свой дом.* Здесь сказались представления поэта об «эффекте Допплера» – смещении спектра в сторону «красного», которое происходит при взаимном движении объектов с космическими скоростями; подразумевается, должно быть, некоторое «искажение» или «непорядок» (*37*, с. 202). Об этом эффекте имелись популярные статьи, см.: Неуймин Г. Новая проверка теории относительности // Красная газ. Веч. вып. 1925. 5 окт. С. 5. *Тара обаянья.* Здесь так назван череп (*37*, с. 203). *Истертый Год рожденья.* Речь идет о паспорте ссыльного, с которым нужно было систематически являться «для отметки» в милицию (*48*, с. 113). *В холодеющем Южном Кресте* («Другие редакции»). Образ связан с антиутопическим романом Брюсова «Республика Южного Креста» (*56*, с. 365). *Глубоко в черномраморной устрице Аустерлица забыт огонек* («Другие редакции»). Подразумевается, вероятнее всего, гробница Наполеона в Доме инвалидов; по другой интерпретации – «космическая раковина звездной ночи» (*76*, с. 435).

«Я молю, как жалости и милости...». ВП. Альм. 2. Печ. по списку Н. М. (АМ). По сведениям, приведенным в альм. «Часть речи» (1982. № 2/3. С. 11), было приложено к письму Н. Тихонову от 6 марта 1937 г. *Где бурлила, королей смывая... кривая.* Речь идет об Июльской революции 1830 г. *На шарнирах он куражится с цветочницей.* Речь идет об эпизоде из фильма «Огни большого города»; Н. Штемпель вспоминала, что этот фильм они смотрели вместе с поэтом (*110*, с. 43). *С розой на груди... шаль.* Подразумевается фасад Нотр-Дам; «роза» – окно фасада; «паутины шаль» – архитектурный декор храма (ср. уподобление собора пауку в ст-нии «Notre Dame»).

«Я видел озеро, стоявшее отвесно...». ВП. Альм. 2. Печ. по автографу (АМ); на верхнем поле автографа поме-

та /Реймс – Лаон/. Было написано после просмотра одного из «архитектурных» альбомов, подаренных поэту (*110*, с. 31). О Реймсском соборе было сложено ранее одноименное ст-ние. Собор в Лаоне (Лане), в смешанном (готическом и романском) стиле, создавался в XI–XII вв.

«На доске малиновой, червонной...». СС 1. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (АМ, с поправкой). Список Линецкой. В НК с чтением «голландского» (ст. 10) вм. «фламандского». Н. Штемпель вспоминала: «Как-то ранней весной... когда везде еще лежал снег (в том году его было очень много), Осип Эмильевич зашел к нам, и мы пошли гулять. Были уже сумерки. Мы дошли до конца улицы Каляева, на которой я жила, и остановились на крутой горе; улица спускалась вниз, на Степана Разина, а напротив поднималась тоже крутая и высокая гора, так начиналась Логовая. В синих сумерках на горе и внизу загорались огоньки окон... Так запечатлел Осип Эмильевич кусочек моего города в стихотворении, которое он прочитал на следующий день» (*110*, с. 37).

«Я скажу это начерно, шепотом...». ВП. Альм. 2. Печ. по списку Н. М. (АМ).

«Небо вечери в стену влюбилось...». ВРСХД. 1964. № 72/73. Печ. по списку Н. М. (АМ). СМ. Сюжет ст-ния связан с евангельским событием – Тайной вечерей, импульсом послужила, вероятно, репродукция одной из фресок на этот сюжет. *Звезды без глав.* Образ вызван ст-нием Тютчева «Летний вечер»:

Уж звезды светлые взошли
И тяготеющий над нами
Небесный свод приподняли
Своими влажными главами.

*«Заблудился я в небе – что делать?..» (1). СС 1. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (СМ), время создания которого, предположительно, между летом 1937 г. и 1939 г.; он представляет собой одну из наиболее ранних из известных нам записей окончат. текста. В ст. 11 списка внесено исправление: «расколите» вм. «разорвите». Датируется соответственно дате следующего ст-ния: представляло собой, по-видимому, первонач. его редакцию. Н. М. писала о желании поэта печатать это ст-ние, на-

ряду со следующим ст-нием, в «основном корпусе». Черновой автограф (АМ). *Дантовых девять Атлетических дисков.* Подразумеваются девять «небес» «Рая» «Божественной комедии» Данте. *Флорентийская... тоска.* Данте тосковал по родному городу, Флоренции, из которой он был изгнан.

«Заблудился я в небе – что делать?..» (2). ВП. Альм. 2. Печ. по списку Н. М. (АМ). Датируется по СМ (в остальных источниках текста датировано 19 марта). АЧ. Список Линецкой. И. Семенко предлагала, с согласия Н. М., конъектуру «вышний» вм. «высший» в ст. 14, однако правомерность этой конъектуры нуждается в дополнительном обосновании, в частности с точки зрения возможной связи с образами «Божественной комедии» Данте; нами не принята.

«Может быть, это точка безумия...». ВП. Альм. 2. Печ. по СМ. Список Линецкой. В датированном списке Н. М. (АМ) – с вырезанным ст. 12, что, вероятно, отразило намерение поэта переработать или исключить этот стих.

«Не сравнивай: живущий несравним...». ВП. Альм. 2. Печ. по Списку Линецкой. Точность даты подтверждается черновиком списка стихов за март 1937 г. (АМ), где ст-ние помещено между ст-ниями «Небо вечери в стену влюбилось...» и «Заблудился я в небе – что делать?..». В недатированной прижизненной машинописи (АМ) с разночтениями в ст. 3 («соглашался» вм. «согласился», как и в позднейших записях Н. М.), и в ст. 7 («плыть» вм. «в путь»). Местонахождение авторизованного списка (БП, с. 302) неизвестно; приводимый в БП текст следует записи Н. М. 1950-х гг. в НК, где датирована 18 янв. Строфа 1 сложилась, вероятно, во время работы над ст-ниями «Еще не умер ты, еще ты не один...», «В лицо морозу я гляжу один...», «Что делать нам с убитостью равнин...», с первыми строфами которых она связана образностью и одной из рифм. *Тоскана* – область в Италии; ее центр, Флоренция, – родина Данте.

*Рим. ВП. Альм. 2. Печ. по списку Н. М. (АМ). СМ. Список Линецкой. Машинопись (АМ). Н. М. сообщала: «О. М. говорил, что это стихотворение пошло по ложному и простейшему пути, – его удовлетворяли в нем только первые четырнадцать строчек» (*52*, с. 291). *Мост... Ангела.* Этот мост через Тибр ведет к замку Св. Ангела, в средние века превращенному в полити-

ческую тюрьму; в те времена одно упоминание о нем приводило римлян в ужас. *Ночь* (на крышке саркофага Джулиано Медичи), *Давид, Моисей* – скульптурные изваяния Микеланджело. *Ямы Форума заново вырыты.* Во время диктатуры Муссолини, ориентировавшегося в политической теории на эпоху цезарей, были начаты раскопки на римском Форуме.

«Чтоб, приятель и ветра и капель...». СС 2. Т. 1. Печ. по автографу (РГАЛИ). Редакция из строф 3, 5 (первая публ.: Мосты. 1963. № 10) записывалась Н. М. по памяти после смерти поэта и, вероятнее, не является авторским замыслом (см. также Свод, с. 179). В черновике списка ст-ний за март 1937 г. значится как /Рельеф из Саккара/ (установлено А. А. Морозовым). Саккара – главный некрополь Древнего царства в Египте (вблизи Фив). Цапли, вместе с похожими на них в стилизованных изображениях ибисами и журавлями, часты на рельефах и в росписях египетских гробниц. *Бутылок в бутылках.* Речь идет, по-видимому, о «короне Осириса» – атрибуте царской власти; близко напоминает бутылку, стоящую в сосуде. С этой короной изображен ибис Гелиополя в росписи гробницы Анхирка (Инхерка) близ Фив. *Египтян государственный стыд.* Поэт считал, что, «если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия и Вавилон» («Гуманизм и современность»). *Любимец мой кровный* – Франсуа Вийон, статья о котором была написана М. еще в молодости. *Беззаботного праха истец* – Ф. Вийон, подразумевается мотив стихов Вийона – казнь на виселице («беззаботный прах» – висельник), в предвидении которой писались и его «Завещания», см. его «Балладу повешенных». *Размотавший на два завещанья... имуществ клубок.* Подразумеваются «Большое завещание» и «Малое завещание» Вийона.

«Гончарами велик остров синий...». СС 1. Т. 1. Печ. по машинописи (прижизненной?) с правкой Н. М. (источник, считающийся наиболее ранней фиксацией текста). Текст (после правки) совпадает с ее записями, сделанными в первые годы после смерти поэта (все – в АМ). В машинописи до правки: «громкую» вм. «звонкую»; «дельфиний» вм. «подземных» (ст. 3), «их подземный» вм. «могучих» (ст. 4); «страсть» вм. «глаз» (ст. 8). Н. М. писала: «В последний наш приезд в Ленинград я нечаянно отдала единственный список этих стихов Рудакову.

Хватилась в Саматихе. Мы пробовали вспомнить, но вспомнили неточно (в том виде, как оно сейчас записано). О. М. ленился вспомнить поточнее, потому что верил, что Рудаков сохранит. Я знаю, что здесь не хватает двух строф, а кроме того, оно не совсем такое, как было... Первую и четвертую строфу вспомнила я, остальные – О. М.» (*52*, с. 305). Датируется по местоположению в черновике списка стихов за март 1937 г. (АМ). Как и в предшествующем ст-нии, образы навеяны сюжетами античной расписной керамики, предметы которой были в коллекциях Воронежского музея. *Гончарами велик... Крит зеленый.* Подразумевается культура крито-микенского периода, одна из древнейших в Средиземноморье; ср. о ней в строках из несохранившегося ст-ния: «Но уже раскачали ворота Молодые микенские львы». *Глаз* («магический глаз»), как и «летучая рыба» (ст. 19), – мотивы росписи античных ваз. *Это было и пелось, синея, Много задолго до Одиссея.* Реминисценция из ст-ния Хлебникова «Сыновеет ночей синева...»: «Это было, когда рыбаки / Запевали слова Одиссея» (*43*, с. 413).

«Длинной жажды должник виноватый...». СС 1. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (АМ). Список Линецкой. Ст-ние навеяно сюжетами росписи античных ваз (см. предшествующее примеч.). *Мудрый сводник вина и воды* – кратер, сосуд для смешивания вина и воды, что было принято в Древней Греции.

*«О, как же я хочу...». ВП. Альм. 2. Печ. по БП, где приведено по авторизованному списку (ныне местонахождение неизвестно); тот же текст в СМ и довоенных (после 1938 г.) записях Н. М. (АМ). Другие редакции: А – в Списке Линецкой (датирована 23 марта), недатированной машинописи (АМ) и во втором авторизованном списке (БП, с. 304), местонахождение которого неизвестно; Б – в авторизованном списке (БП, с. 304), местонахождение неизвестно. По Н. М., существовала четырехстрофная редакция, текст которой был отдан Рудакову (*52*, с. 303), однако существование этой редакции, записанной ею лишь во второй половине 1950-х гг., вызывает сомнения (в отличие от основного текста, после строфы 2 следует заключительная строфа редакции А). В письме от 7 мая 1937 г. поэт назвал это ст-ние – «звездочка» («домашнее» название ст-ния, ср. строфу 2, обращенную к Н. М.). В ст-нии сказались реминисценции из Фета, в том числе из ст-ния «Вчера я шел по зале освещенной...»:

И я шепчу безумные желанья
И лепечу безумные слова.

«Нереиды мои, нереиды!..». СС 1. Т. 1. Печ. по Своду. Текст установлен И. Семенко на основании анализа записей Н. М., сделанных после смерти поэта; в одной из них (АМ) – с разночтением: «вековечной» вм. «средиземной». По свидетельству Н. М., выделилось из 12-строчного ст-ния (*52*, с. 305). Мотивы навеяны сюжетами росписи античных ваз (см. примеч. «Гончарами велик остров синий...»). *Нереиды* (греч. миф.) – дочери морского бога Нерея.

«Флейты греческой тэта и йота...». ВП. Альм. 2. Печ. по Списку Линецкой (обоснование см.: *58*, с. 140–152). В двух других прижизненных источниках – СМ и списке Н. М. (АМ) – с опиской: «мята» вм. «тэта» в ст. 1 (эта описка восходит к ранней редакции, первый стих которой – /Речи греческой мята и нота/ – известен по черновику списка ст-ний за март – апр. 1937 г. (АМ); см. также: Свод, с. 183) и следующими разночтениями: «размять» (ст. 8) вм. «разнять»; «честолюбивым» (ст. 13) вм. «честолюбивых»; «Вспоминающих топотом» (список в АМ) и «Понимающих топотом» (СМ) в ст. 14 вм. «Вспоминающих шепотом»; «Равноденствие» (ст. 24) вм. «Равнодействие». Ст-ние связано с арестом знакомого М., флейтиста Воронежского симфонического оркестра Карла Карловича Шваба (*48*, с. 174). Арестован он был по «политическому» делу 28 или 29 дек. 1936 г. и кончил жизнь, по роковому стечению обстоятельств, почти в одно время с поэтом (янв. 1939 г.) в соседнем бараке пересыльного лагеря (*3*). *Флейты... тэта и йота*. Вероятно, поэт транслитерировал две буквы слова «флейта» в греческий алфавит. *Комья глины в ладонях моря*. Образ ассоциирует те обстоятельства, что глина была материалом и для античной керамики, и для одного из видов флейт.

«Как по улицам Киева-Вия...». СС 1. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (АМ). Список Линецкой. Н. Харджиев ссылается на сообщение Н. М. о том, что сказавшиеся в ст-нии воспоминания об оставлении Красной армией Киева в авг. 1919 г. пробудил сборник стихов Н. Ушакова «Киев» (1936) (БП, с. 304). *Вий* – фантастический персонаж одноименной повести Гоголя. *Ищет мужа не знаю чья жинка*. В стихах сказались воспоминания поэта о том, как после ухода Красной армии из Киева женщины разыскивали заложников, взятых ЧК. *Купеческий* –

название сада в Киеве (позднее – Пионерский парк), близ Липок. *Пахнут смертью господские Липки.* Липки – местность в районе Печерска, где жило купечество и знать; особняки были заняты ЧК, и после ухода Красной армии там были открыты захоронения расстрелянных заложников (см. также: *49*, с. 24).

«Я к губам подношу эту зелень...». ВРСХД. 1962. № 64. Печ. по беловому автографу (АМ). Второй беловой автограф (АМ) с мелким разночтением и опиской в ст. 10 («цепляются» вм. «сцепляются»). Написано, по свидетельству Н. Штемпель, после прогулки в Ботаническом саду (*110*, с. 40).

*«Клейкой клятвой липнут почки...». СС 1. Т. 1. Печ. по беловому автографу (АМ). Черновой автограф и два списка Н. Штемпель (АМ). Вызвано известием о предстоящем замужестве Н. Штемпель: «Я сказала Осипу Эмильевичу, что выхожу замуж. На другой день Осип Эмильевич прочитал мне стихотворение “Наташа”, свадебное стихотворение. Собственно говоря, оно не имело названия. Мы его назвали “Наташа” условно... Был и первый вариант, который мне нравился больше, но Осип Эмильевич изменил его, “потому что он автобиографичен”. Так он сказал мне. К сожалению, я его совсем не помню» (*110*, с. 59). В письме к жене от 2 мая 1937 г. М. писал о ст-нии: «Для общезначимости пришлось приписать Наташе старшего брата и сестру и постулировать характер будущего мужа. Но то, что я ее уговариваю выйти замуж, это вполне реально».

«На меня нацелилась груша да черемуха...». СС 1. Т. 1. Печ. по автографу (АМ). М. послал ст-ние жене, по возвращении из Москвы Н. М. сказала: «Это о нас с вами, Наташа» (*110*, с. 62).

<Цикл из двух следующих ст-ний>. СС 1. Т. 1. ВП. Альм. 2 (ст-ние «Есть женщины, сырой земле родные...», вне цикла). Печ. по беловому автографу (чернилами) в АМ. Описки и пропуски во втором автографе (карандашом) в АМ объясняются обстоятельствами его создания, известными по воспоминаниям Н. Штемпель: на следующий день после того, как ей был подарен автограф чернилами (см. ниже), она сказала М., что не может «разобрать во вчерашнем стихотворении ни единого слова. Он написал мне тут же эти стихи по памяти разборчиво...»

(*110*, с. 62). Об импульсе к ст-нию и первом чтении Н. Штемпель вспоминала следующее: «я зашла к Осипу Эмильевичу и сказала, что мне по делу надо побывать у Туси, моей приятельницы и сослуживицы. Осип Эмильевич пошел со мной. На обратном пути он меня спросил: “Туся не видит одним глазом?” Я ответила, что не знаю, что никогда на эту тему с ней не говорила, очевидно, не видит. “Да, – сказал Осип Эмильевич, – люди, имеющие физический недостаток, не любят об этом говорить”. Я возразила, сказав, что не замечала этого и легко говорю о своей хромоте. “Что вы, у вас прекрасная походка, я не представляю вас иначе!”– горячо воскликнул Осип Эмильевич. На другой день после ночной прогулки я зашла из техникума к Мандельштаму. Надежда Яковлевна была в Москве. Осип Эмильевич сидел на кровати в своей обычной позе, поджав под себя ноги по-турецки и опираясь локтем на спинку. Я села на кушетку. Он был серьезен и сосредоточен. “Я написал вчера стихи”, – сказал он. И прочитал их. “Что это?” Я не поняла вопроса и продолжала молчать. “Это любовная лирика, – ответил он за меня. – Это лучшее, что я написал”. И протянул мне листок... И я сразу вспомнила нашу прогулку втроем холодной майской ночью, разговор с Осипом Эмильевичем о Тусе и моей хромоте... Осип Эмильевич продолжал: “Надюша знает, что я написал эти стихи, но ей я читать их не буду. Когда умру, отправьте их как завещание в Пушкинский Дом”. И после небольшой паузы добавил: “Поцелуйте меня”. Я подошла к нему и прикоснулась губами к его лбу – он сидел, как изваяние» (*110*, с. 60–61).

I. «К пустой земле невольно припадая...». *Подругу быструю и юношу-погодка*. Речь идет о Тусе (о ней говорилось выше) и Борисе Молчанове, женихе Н. Штемпель. *Вешняя погода... праматерь гробового свода*. Отголосок мотива «прозрачной весны», связанного с подземным царством (см. примеч. «В Петрополе прозрачном мы умрем...»).

II. «Есть женщины, сырой земле родные...». В ст. 3–4 – ассоциации с двумя Мариями евангельских повествований, присутствовавшими на Голгофе, а затем ставшими свидетельницами Воскресения и Богоявления. В ст. 1–2 сказались, по-видимому, реминисценции из рассказа старицы о тождественности Марии-Богородицы и «сырой земли», которую надо напоить слезами, пересказанного Шатову Марией Лебядкиной в гл. «Хромоножка» «Бесов» Достоевского.

ПОСЛЕ ВОРОНЕЖА

Данный раздел – не авторский. В него включены три из пяти сохранившихся стихотворений, написанных после воронежской ссылки. Ст-ние «Чарли Чаплин» по устной традиции считается написанным вскоре после приезда в Москву (см. также *52*, с. 307–308), остальные создавались в Савелове, поселке на берегу Волги, против Кимр, где Мандельштамы поселились после того, как милиция заставила их покинуть Москву (см.: *48*, с. 280).

«Чарли Чаплин». СС 1. Т. 1. Печ. по этому изданию. Копия И. Семенко со списка в АМ (Соч., с. 588) осталась нам недоступной. Машинопись с правкой (АМ), в которой отсутствуют ст. 8–9, а ст. 18 содержит разночтение: «гудит» вм. «чудит». Запись Н. М. второй половины 1950-х гг. (АМ), текст неполный. Образы ст-ния восходят к сюжетам фильмов Чаплина: финалу картины «Новые времена» (ст. 13) и «Скейтинг-ринг» (ст. 16) (наблюдения Н. Зоркой).

*«Пароходик с петухами...». Герштейн Э. Новое о Мандельштаме. Париж, 1986. С. 195, где напечатано по копии С. Рудакова (ИРЛИ), с ошибочным чтением в ст. 9 и, как сообщила нам публикатор, с конъектурой в ст. 15 (в копии Рудакова «позволил» вм. «изволил»). В источнике помета /Савелово/, указаны варианты стихов. Печ. по этой копии, с конъектурой Э. Герштейн в ст. 15. *С петухами*. Здесь – в значении «рано утром».

«На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь...». Вопр. лит. 1980. № 12. Печ. по копии С. Рудакова (ИРЛИ). Местонахождение копии Рудакова из собр. Ф. Вигдоровой, по которой текст был напечатан в альм. «Часть речи» (1982. № 2/3), в настоящее время неизвестно, в этой публ. с разночтением: «теснины» вм. «тесины» в ст. 2 и посвящением Е. Е. Поповой. В копии ИРЛИ Рудаков также пометил имя Поповой (о ней см. примеч. «С примесью ворона голуби...»). В наст. изд. вносим конъектуру, устраняющую ошибку копии в ст. 18: «И летают по верхам, по верхам», следствие которой – нарушение рифмы, невозможное в принятой в этом ст-нии системе стиха. Причиной ошибки копирования были, по-видимому, редуцированные в автографе, с которого делалась копия (в ней помета Рудакова об этом),

окончания слов «по верхи» (при раздельном у М. написании наречий). К близкому выводу пришел В. С. Непомнящий (Соч., с. 590). *Алексей Михайлыч* – вероятно, А. М. Ремизов, автор «Слова о погибели русской земли» и «Заповедного слова русскому народу», живший в то время во Франции; к Франции поэт обращался в ст-нии «Я прошу, как жалости и милости...». *Поверхи* (укр.) – наверху.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

ЮНОШЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

«Среди лесов, унылых и заброшенных...». Пробужденная мысль. 1907. Вып. 1. Подписано /О. М./. Это и следующее ст-ние написаны под впечатлением от рассказов о расправе правительственных войск с восставшими крестьянами в Зегевольде (позднее – Сигулда) в начале 1906 г. (М. жил в Зегевольде в том году летом); эти события отразились также в «Шуме времени» (гл. «Эрфуртская программа»). В 1906 или начале 1907 г. М. под влиянием соученика и друга Бориса Синани вступил в партию социалистов-революционеров, выступал агитатором на сходках, печатался в «оппозиционном» журнале училища «Пробужденная мысль» (*58*, с. 31–48).

«Тянется лесом дороженька пыльная...». Пробужденная мысль. 1907. Вып. 1. Подписано: /Фитиль/. Г. Иванов цитировал два последние стиха по памяти со слов поэта (Новый журн. 1955. № 43. С. 276), что и позволило нам атрибутировать ст-ние. *Дело великой любви*. Реминисценция из ст-ния Некрасова «Рыцарь на час»: «Уведи меня в стан погибающих / За великое дело любви...».

1908–1937

«О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала...». БП. Печ. по автографу (в письме к матери от 7 (20) апр. 1908 г. из Парижа) (АМ). В нем М. писал: «Маленькая аномалия: “тоску по родине” я испытываю не о России, а о Финляндии. Вот еще стихи о Финляндии, а пока, мамочка, прощай». В детстве и юности М. ездил в Финляндию почти ежегодно, несколько раз

был и на Сайменском озере. См. гл. «Финляндия» в «Шуме времени». *Калевала* – карело-финский эпос.

«Мой тихий сон, мой сон ежеминутный...». СС 2. Т. 1. Печ. по беловому автографу (АМ, с правкой). Датируется по ККабл (здесь с описками, часть которых выправлена автором). На листе с автографом поздние (одна – воронежского периода) пометы: /Ранние стихи/ и /Стихи мои старые!/, дата /1909? 8?/.

«В морозном воздухе растаял легкий дым...». Голос жизни. 1915. № 25. Печ. по беловому автографу (АМ), датируется по ККабл.

«Истончается тонкий тлен...». А. 1910. № 9. Печ. по КорпАв. Это и два следующих ст-ния М. послал Вяч. Иванову из санатория Монтре в Финляндии при письме от 13 (26) авг. 1909 г. Рецензируя стихи «Аполлона», В. Пяст провел анализ ритма ст-ния: Gaudeamus. 1911. № 4. С. 10; позднее писал о том, что М. «этим стихотворением, конечно сам того не подозревая... сделал крупнейшее нововведение в русскую метрику, расширив ее пределы», и вспоминал о «титуле», «пожалованном» Мандельштаму Андреем Белым за его ритмический дар – «пэоннейший из поэтов» (Встречи, с. 101–102).

«Ты улыбаешься кому...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 13 (26) авг. 1909 г.

«В просторах сумеречной залы...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 13 (26) авг. 1909 г.

«В холодных переливах лир...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по беловому автографу, приложенному (вместе с автографами еще пяти ст-ний) к письму Вяч. Иванову из Гейдельберга от 22 окт. (4 нояб.) 1909 г., следующего содержания: «Не могу не сообщить вам свои лирические искания и достижения. Насколько первыми я обязан вам – настолько вторые принадлежат вам по праву, о котором вы, быть может, и не думаете». Ранее, во второй половине сент. (ст. ст.), М. послал это и еще

четыре ст-ния М. Волошину с просьбой об отзыве, на которую Волошин не откликнулся.

«Твоя веселая нежность...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 22 окт. (4 нояб.) 1909 г.

«Не говорите мне о вечности...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 22 окт. (4 нояб.) 1909 г.

«На влажный камень возведенный...». ВРСХД. 1970. № 97 (по ошибке – как продолжение ст-ния «Озарены луной ночевья...»). Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 22 окт. (4 нояб.) 1909 г.

«В безветрии моих садов...». Вопр. лит. 1987. № 7. С. 188. Печ. по автографу, приложенному к письму М. Волошину из Гейдельберга от второй половины сент. (ст. ст.) 1909 г. с учетом поправки, сообщенной Волошину в письме от конца сент. – начала окт. (ст. ст.) 1909 г.: «Простите мне мою мелочность – пятая строка стихотворения: “В безветрии моих садов” читается “В юдоли дольней бытия”, вместо ужасной “безвыходности”, которая торчит, как оглобля»; первонач. чтение: /В безвыходности бытия/. Мотивы обнаруживают перекличку со ст-нием «Сады души» Н. Гумилева (*99*, с. 283–284).

*«Бесшумное веретено...». Tartu riikeik Ülikool. 1968. 12 янв. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 22 окт. (4 нояб.) 1909 г. Беловой автограф с разночтением (АМ).

«Озарены луной ночевья...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 22 окт. (4 нояб.) 1909 г.

*«Если утро зимнее темно...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по автографу, посланному Вяч. Иванову 11 (24) нояб. 1909 г. вместе с еще тремя ст-ниями. Написание слова «панно» дается по современной орфографии (в автографе с одним «н»). Автограф с разночтением (АМ).

«Пустует место. Вечер длится...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 11 (24) нояб. 1909 г.

«В смиренномудрых высота́х...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 11 (24) нояб. 1909 г. *Плеяды* – звездное скопление на северном небе. *Не воплощает ли природа... числ?* Идея числа как организующего начала восходит к «Послезаконию» Платона; интерес к философии у М. засвидетельствован уже в юношеские годы.

«Дыханье вещее в стихах моих...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 11 (24) нояб. 1909 г.

«Нету иного пути...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по автографу, посланному Вяч. Иванову из Гейдельберга 13 (26) дек. 1909 г., вместе со следующим ст-нием.

*«Что музыка нежных...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по автографу с правкой (см. примеч. «Нету иного пути...»).

*«На темном небе, как узор...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по автографу, посланному Вяч. Иванову (вместе с вариантом данного ст-ния) из Гейдельберга 17 (30) дек. 1909 г. Машинопись с ошибочной датой «1910» (АМ). Ст-ние М. сопроводил письмом: «Дорогой Вячеслав Иванович! Это стихотворение – хотело бы быть “romance sans paroles” (Dans l’nterminable ennui...). “Paroles” – т. е. интимно-лирическое, личное – я пытался сдержать, обуздать уздой ритма... Невольно вспоминаю Ваше замечание об антилирической природе ямба. Может быть, антиинтимная природа? Ямб – это узда “настроения”». Перевод франц. текста: «Песня без слов» (В безбрежной тоске...). «Слова»; в первом названии М. отсылает к книге стихов П. Верлена «Песни без слов», во втором – к ст-нию из этой книги; упоминание «замечания» подразумевает лекции по стихосложению, которые Вяч. Иванов читал молодым поэтам весной 1909 г.

«Сквозь восковую занавесь...». ВРСХД. 1974. № 111. Печ. по машинописи (АМ).

«Здесь отвратительные жабы...». СС 2. Т. 1. Печ. по ККабл.

Пилигрим. ВРСХД. 1974. № 111. Печ. по беловому автографу (АМ), с учетом поздней (воронежского периода) поправки – «Безотчетно» вм. первонач. «Судорóжно». Датируется по стилистическим признакам.

«Музыка твоих шагов...». ВРСХД. 1974. № 111. Печ. по беловому автографу (АМ). Датируется по стилистическим признакам.

«В непринужденности творящего обмена...». БП. Печ. по беловому автографу (АМ). В рец. на книгу стихов И. Эренбурга «Одуванчики» М. писал: «Он пользуется своеобразным “тютчевским” приемом, вполне в духе русского стиха, облекая наиболее жалобные сетования в ритмически-суровый ямб». Вероятно, под «суровостью» Тютчева (ст. 2) и подразумевается его «ритмически-суровый ямб». Поскольку первые познания М. в стихосложении или, во всяком случае, живой интерес к нему естественно связывать с лекциями Вяч. Иванова в 1909 г. (см. примеч. «На темном небе, как узор...»), то наше предположение может служить для приблизительной датировки ст-ния.

«Листьев сочувственный шорох...». БП. Печ. по беловому автографу (АМ) с поздней (зачеркнутой) пометой /Helsingfors/. Машинопись (АМ).

«Когда мозаик никнут травы...». СС 2. Т. 1. Печ. и датируется по беловому автографу, вклеенному в дневник С. Каблукова, с его пометой: «написано в Лугано в 1910 г.».

«Над алтарем дымящихся зыбей...». СС 1. Т. 2. Печ. по автографу, посланному Вяч. Иванову из Целендорфа (пригород Берлина) 5 (18) авг. 1910 г. вместе с еще 6 ст-ниями (РГБ). Беловой автограф в АЛ (см. следующее примеч.).

«Необходимость или разум...». К-1990. Печ. по автографу, посланному С. К. Маковскому из Гельсингфорса (Хельсинки) 27 июня (10 июля) 1910 г. вместе с предшествующим ст-нием, с просьбой включить их в подборку, готовившу-

юся к печати в «Аполлоне» (АЛ). Сюжетная линия ст-ния заключает в себе противопоставление «аполлонических» начал в искусстве «дионисийским» (соответствует противопоставлению «мудрецов» «жрецам» в ст-нии) и связана с подспудной борьбой влияний И. Анненского и Вяч. Иванова при формировании идейной программы журн. «Аполлон» в 1909 г. *Пэан.* Здесь – гимн в честь одного из языческих богов (в Древней Греции). *Храм уступают мудрецы... жрецы.* Мотив восходит к программному ст-нию И. Анненского «Поэзия»:

Бежать... презрев гордыню храма
И славословие жреца...

«Под грозовыми облаками...». СС 1. Т. 2. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 5 (18) авг. 1910 г. (РГБ). Беловой автограф в собр. Е. Г. Эткинда.

*«Единственной отрадой...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 5 (18) авг. 1910 г. (РГБ). Беловой автограф в дневнике С. Каблукова. Беловой автограф (с разночтением) в собр. Е. Г. Эткинда. Образами и мотивами связано со ст-нием Тютчева «Фонтан» (*94*, с. 24).

*«Когда укор колоколов...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 5 (18) авг. 1910 г. (РГБ). Автограф с правкой вклеен в дневник С. Каблукова.

«Мне стало страшно жизнь отжить...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 5 (18) авг. 1910 г. (РГБ). *Как Моисей на высоте... Синая.* Подразумевается библейский текст: «И взошел Моисей на гору; и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай...» (Исх 24: 15–16).

«Я вижу каменное небо...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 5 (18) авг. 1910 г. (РГБ). *Эреб* – см. примеч. «Tristia».

*«Вечер нежный. Сумрак важный...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 5 (18) авг. 1910 г. (РГБ). Автограф с поправкой в дневнике С. Каблукова.

*«Убиты медью вечерней...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 5 (18) авг. 1910 г. (РГБ). Помета и посвящение восстанавливаются по дневнику С. Каблукова (запись 24 окт. 1910 г.), к записи приложен авторизованный список (рукой Каблукова, с разночтением). В Гангё (Финляндия) М. находился приблизительно с 24 июля в течение недели (*114а,* с. 279). *Каблуков* Сергий Платонович (1881–1919) – преподаватель математики в средних учебных заведениях Петербурга; деятель Религиозно-философского общества; старший друг М., уже при первом знакомстве (1910) оценивший дарование М. и содействовавший ему на жизненном пути, см. подробнее: К-1990, с. 356–357. *К страстному богу воззвать*. Речь идет об Иисусе Христе.

«Как облаком сердце одето...». ВРСХД. 1970. № 97. Печ. по беловому автографу, приложенному к письму Вяч. Иванову от 5 (18) авг. 1910 г. (РГБ).

*Змей. Литературный альманах / Изд. «Аполлона». СПб., 1912. – К1. В первой публ. и беловом автографе (АМ, с разночтением) – без загл. *Я не хочу души своей излучин*. Реминисценция из ст-ния Блока «Незнакомка»: «И все души моей излучины...» (БП, с. 306).

«В самом себе, как змей, таясь...». Литературный альманах / Изд. «Аполлона». СПб., 1912. Печ. по беловому автографу (АМ). В машинописи (АМ) и ККабл с неточной датой /1911/.

«Неумолимые слова...». Голос жизни. 1915. № 25. Помета и дата воспроизводятся согласно списку С. П. Каблукова в его дневнике (запись 24 окт. 1910 г.). Сюжет ст-ния основан на евангельских повествованиях о казни Иисуса Христа и его крестных муках. *В родимый омут*. См. примеч. «Из омута злого и вязкого...».

*«В изголовье черное распятье...». ВРСХД. 1974. № 111. Печ. по беловому автографу (АМ), на листе помета /Каблуков/. 21 февр. 1911 г. С. Каблуков записал ст-ние в свой дневник. *«Подводный камень веры»* – цитата из ст-ния Тютчева «Наполеон»:

Он гордо плыл – презритель волн, –
Но о подводный веры камень
В щепы разбился утлый челн.

«Где вырывается из плена...». СС 1. Т. 2, где источником текста, предположительно, послужил беловой автограф из собр. Ф. Вигдоровой (ныне местонахождение неизвестно). Печ. по первой публ. Датируется по стилистическим признакам.

«Темных уз земного заточенья...». А. 1911. № 5. Датируется по местоположению в публ. (открывает подборку стихов 1910 г.). *Земное заточенье* цитирует название раздела в сб. Ф. Сологуба «Пламенный круг» и входящее в него ст-ние «Белая тьма созидает предметы...» (*99*, с. 286).

«Медленно урна пустая...». ВРСХД. 1974. № 111. Печ. по машинописи (АМ). Машинопись с датой (СИ).

«Когда подымаю...». ВРСХД. 1974. № 111. Печ. по беловому автографу (АМ).

«Душу от внешних условий...». СС 1. Т. 2. Печ. по беловому автографу (АМ).

*«Я знаю, что обман в видении немыслим...». БП. Печ. по беловому автографу (АМ). Машинопись и автограф с правкой (АМ). *Когда, овеяно... ветром... И раскрывается неуловимым метром.* Реминисценция из ст-ния Баратынского «Рифма»:

Свободным и широким метром,
Как жатва, зыблемая ветром,
Его гармония текла.

В обоих ст-ниях *метр* – стихотворный размер. *Несозданных миров отмститель будь, художник.* Реминисценция из ст-ния Д. Мережковского «Дети ночи» (см. примеч. «Что делать нам с убитостью равнин...»).

*«Стрекозы быстрыми кругами...». БП. Печ. по авторизованной машинописи (АМ, с правкой).

*«Ты прошла сквозь облако тумана...». Нива: Ежемес. лит. и попул.-науч. прил. 1914. № 8. Датируется по ав-

тографам в АМ (три автографа с правкой и одинаковой датой). Машинопись (АЛ).

*«Не спрашивай: ты знаешь...». БП. Печ. по беловому автографу (АМ, с правкой).

*«Дождик ласковый, мелкий и тонкий...». ВРСХД. 1974. № 111. Печ. по беловому автографу (АМ). Два других автографа (АМ), с той же датой; в обоих делались попытки переработки текста (в разделе «Другие редакции» под условными означениями «А», «Б»).

*«В лазури месяц новый...». Рабочая газ. 1922. 31 дек., с поздней, «на случай», редакцией строфы 4. Печ. по авторизованной машинописи (АМ). ККабл.

«[.....] коробки...». ВРСХД. 1974. № 111. Печ. по автографу (АМ), отточиями показана утраченная часть текста. Датируется по стилистическим признакам.

«Довольно лукавить: я знаю...». ВРСХД. 1974. № 111. Печ. по беловому автографу (АМ). Датируется по стилистическим признакам. Строфа 3 перекликается со ст-нием Верлена «Я в черные дни...» в переводе Сологуба:

Под чьей-то рукой
Я – зыбки качанье
В пещере пустой...
Молчанье, молчанье!

*«Пусть в душной комнате, где клочья серой ваты...». Г. 1913. № 8. Печ. по беловому автографу (АЛ). КорпАв-2 (автограф). ККабл (с разночтением). *Стклянки* – склянки.

*Шарманка. Рубикон. 1914. № 3. Датируется по автографу ранней редакции (АМ, без загл.). Лист с двумя первыми строфами, с разночтением (АМ, автограф).

«Когда показывают восемь...». Г. 1912. № 3. Датируется по стилистическим признакам. Список (АЛ).

«Тысячеструйный поток...». Г. 1912. № 3. Датируется по стилистическим признакам. Список (АЛ).

«Развеселился наконец...». СС 1. Т. 2. Печ. по беловому автографу (АМ), на листе помета /Суббота/. Датируется по списку Н. М. (АМ, с пометой автора: /в университете, в семинарии/).

«Я давно полюбил нищету...». Современник. Торонто, 1964. № 9 (в мемуарах И. Одоевцевой «Осип Мандельштам»). В письме из Воронежа 21 мая 1935 г. С. Рудаков сообщал жене: «Пр*о́*клятый акмеизм в 1912 г. у него выковал такие стихи о бедном художнике, живущем на чердаке и имеющем акмеистические “легкие”, “тяжелые”, “упрямые” etc. вещи даже в быту

.... художник
Чтобы кофе варить на спирту,
Он купил себе легкий треножник.

Стихи писались серьезно, но потом отвергнуты и стали анекдотом».

Египтянин («Я избежал суровой пени...»). Заветы. 1913. № 5 (в составе подборки ст-ний поэтов-акмеистов). Написано не ранее осени 1912 г., когда поэт примкнул к группе акмеистов. Ахматова указывала на влияние бесед с В. К. Шилейко (7, с. 189). Можно предполагать также влияние беллетризованного описания быта египетского вельможи из кн. Г. Масперо «Древняя история: Египет, Ассирия», русский перевод которой выдержал несколько изданий в начале века.

«Веселая скороговорка...». Журнал за 7 дней. 1913. № 21 (27 июня).

Песенка. Журнал за 7 дней. 1913. № 22 (4 июля). Датируется по стилистическим признакам.

Летние стансы. Журнал за 7 дней. 1913. № 35 (3 окт.). Датируется по стилистическим признакам.

Американ бар. Аргус. 1913. № 7. Датируется по стилистическим признакам. *Американ бар* в Петербурге находился при ресторане «Медведь» (Б. Конюшенная, 27).

*Мадригал («Нет, не поднять волшебного фрегата...»). Рудин. 1916. № 7. Датируется по авторизованному списку (ККабл). Обращено к Л. М. Рейснер (БП, с. 308).

*Футбол («Рассеен утренник тяжелый...»). Златоцвет. 1914. № 4 (янв.). Датируется по беловому автографу (КорпАв). В автографе под загл. /Второй футбол/. Черновой автограф (СИ), общий этому и следующему ст-нию; в нем завершены строфы 1, 2, 3 (последняя соответствует строфе 5 основного текста), за ней следует строфа, соответствующая строфе 4 следующего ст-ния. Ахматова вспоминала: «В годы “Цеха” мы как-то заехали (Коля и я) к Осипу или за Осипом. Он тогда жил в 1-м Корпусе на Васильевском Острове, нанимал комнату у офицера-воспитателя. Он показал нам в окно, как кадеты играют в футбол (тогда это была новинка), и прочел стихи “Футбол” (“А на дворе военной школы”)» (7, с. 189). В 1-м кадетском корпусе М. жил в нояб. 1913 г. В. Пяст в рец. на К2 писал: «Нас пленяют, однако, едва ли не более всего, незатейливые гротески... вроде “Кинематографа”, “Тенниса”, “Аббата”, “Домби и сына”. Некоторые стихотворения в этом жанре (как, например, два прекраснейших “Футбола”) по непонятным причинам не включены автором в книгу» (День. 1916. 21 янв.; см.: К-1990, с. 218).

*Футбол («Телохранитель был отравлен...»). Новый Сатирикон. 1914. № 30. Печ. по этой публ. с учетом поправки, внесенной в беловой автограф (АМ). Датируется по вышеуказанному беловому автографу; в нем загл. /Первый футбол/. Черновой автограф (СИ) (см. предшествующее примеч.). Цитируя ст-ние в своей книге, В. Пяст писал о том, что образ Юдифи был вызван одной из постоянных посетительниц «Бродячей собаки» (Встречи, с. 170); в костюме Юдифи выступала актриса Б. Г. Казароза (*93*, с. 110). В сюжете – переклички с библейской книгой «Юдифь». Источник ассоциации мяча и отрубленной головы (Олоферна) – вероятно, строка К. Случевского «Казнили. Голова отпрянула, как мяч...» («Казнь в Женеве»); это ст-ние упоминается в «Шуме времени» (гл. «В не по чину барственной шубе»). Возможно, поэту была известна история игры: «Когда в Англии только начали играть в футбол, вместо мяча использовали отрубленную голову» (*10*, с. 40.)

«Черты лица искажены...». ВП. Альм. 3. Печ. по беловому автографу в альб. А. Ахматовой (РГАЛИ), куда было записано в 1933 г. Ахматова вспоминала: «наброском с натуры было четверостишие “черты лица искажены”. Я была с Мандельштамом на Царскосельском вокзале (1910-е годы). Он смотрел, как я говорю по телефону, через стекло кабины. Когда я вышла, он прочел мне эти четыре строки» (7, с. 193).

Египтянин («Я выстроил себе благополучья дом...»). Голос жизни. 1915. № 25. Печ. по журн.: Новый Сатирикон. 1916. № 27. Датируется на основании стилистической близости с одноименным ст-нием. В первой публ. и ККабл с мелкими разночтениями (описками?).

Автопортрет. СС 2. Т. 1. Печ. по КорпАв. В ККабл с датой /1913/. По наблюдению А. Морозова, образы вызваны акварельным портретом М., написанном А. М. Зельмановой в 1914 г. Пятый стих В. К. Шилейко взял эпиграфом к ст-нию «Смущенно думаю о нем...» (Шилейко В. Пометки на полях. СПб., 1999. С. 9). Строфа 2 перекликается со ст-нием Брюсова «Кому-то» (*96*, с. 208):

Над поколением пропела
Свой вызов пламенная медь,
Давая знак, что косность тела
Нам должно волей одолеть.

Спорт. Новый Сатирикон. 1914. № 28/29 (17 июля). Соревнования между командами Оксфорда и Кембриджа состоялись в марте 1914 г., заметка об этом, «Битва голубых», была помещена в «Речи» (1914. 23 марта) – на этом основании датируется ст-ние.

«Как овцы, жалкою толпой...». СС 2. Т. 1. Печ. по ККабл.

«Когда держался Рим в союзе с естеством...». Петроградское эхо. 1918. 18 янв. Веч. вып. ККабл, в качестве варианта ст-ния «Природа – тот же Рим и отразилась в нем...»; датируется по тем же основаниям.

*Реймс и Кёльн. Петроградские вечера. Пг., 1915. Кн. 4 (вышла в июне). Почти одновременно – в статье Г. Иванова «Военные стихи», с комментарием: «“Реймс и Кельн” Мандельштама грешит риторикой, но последние строки этого стихотворения совсем хороши» (А. 1915. № 4/5. С. 85). Печ. по первой публ., датируется по ККабл (здесь без загл.). Беловой автограф (ИРЛИ. Ф. 289). Беловой автограф ранней редакции (АЛ), с пометой М. Лозинского: «И. Э. Мандельштам, недоволь-

ный первой редакцией стихотворения, свел его к восьмистишию». Сюжет вызван актом вандализма: германские войска, оставляя Реймс, 6 (19) сент. 1914 г. подвергли Реймсский собор преднамеренно артиллерийской бомбардировке и разрушили его. Реймсский собор (XIII в., как и собор в Кёльне) – один из шедевров французской готики, национальная святыня французов (в нем происходила коронация французских королей). Во второй отброшенной строфе («Другие редакции») этот акт вандализма ставится в связь с общей тенденцией европейской истории. *Роланд... Олифан* («Другие редакции») – см. примеч. «Песнь о Роланде».

Немецкая каска. Биржевые ведомости. 1914. 5 окт. Веч. вып. Датируется по содержанию. Ст-ние связано с посещениями дома литератора Александра Александровича Попова (псевдоним А. Вир), где М. видел «на камине в гостиной» трофейную немецкую каску (сохранились фотографии). По сообщению И. Одоевцевой, М. сказал ей, что написал это ст-ние «для денег» (*66*, с. 510).

Polacy! Нива. 1914. № 43 (25 окт.). Печ. по беловому автографу (ИРЛИ. Ф. 627). Датируется по ККабл. С первых месяцев войны на захваченной территории германское командование создавало польские воинские части из антирусски настроенных поляков, «безумный подвиг» которых (ст. 2) – несомненно, реальный эпизод – лег в основу сюжета.

«В белом раю лежит богатырь...». ВРСХД. 1979. № 129 (в примеч. А. Морозова к записям дневника С. Каблукова). Печ. по беловому автографу (ИРЛИ. Ф. 627). В ст-нии сказались впечатления от поездки на театр военных действий в дек. 1914 г. – поэт выехал в Варшаву с санитарным поездом (К-1990, с. 249, 362).

«Как черный ангел на снегу...». ВП. Альм. 3. Печ. по беловому автографу (АМ). Датируется по времени создания Ахматовой ст-ния «Как ты можешь смотреть на Неву...» (начало 1914 г.), которое явилось источником образа «черного ангела на снегу». Суждение Ахматовой о ст-нии: «Тогда же (в 1910-е гг. – *А. М.)* он написал таинственное (и не очень удачное) стихотворение про “черного ангела на снегу”. Надя (Н. Мандельштам. – *А. М.)* утверждает, что оно относится ко

мне. С этим “черным ангелом” дело обстоит, мне думается, довольно сложно. Стихотворение для тогдашнего Мандельштама слабое и невнятное... По-видимому, это результат бесед с В. К. Шилейко, который тогда нечто подобное говорил обо мне. Но Осип тогда еще “не умел” (его выражение) писать стихи “женщине и о женщине”. “Черный ангел”, вероятно, первая проба, и этим объясняется его близость к моим строчкам:

Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд,
И малиновые костры,
Словно розы, в снегу цветут.

<...> Мне эти стихи Мандельштам никогда не читал» (7, с. 188).

*«Негодованье старческой кифары...». Борьба. Киев, 1919. № 1. Печ. по ККабл. Для первой публ. поэт, возможно, воспроизвел текст по памяти, чем могли быть вызваны разночтения. Перекликается со ст-нием Тютчева «Рим ночью».

«Какая вещая Кассандра...». СС 2. Т. 1. Печ. по ККабл. Представляет собой фрагмент несохранившегося ст-ния, авторизованный в качестве самостоятельного произведения. *Кассандра* – см. примеч. «Кассандре». *Россия Александра.* Высказывались разноречивые предположения об образе «Александра»: Пушкин, Александр I, отсылка к обоим именам. Ниже в ст-нии имплицировано имя Александра I, что для истолкования образа «России Александра» – обстоятельство не решающее. *Рукопожатье роковое На шатком неманском плоту.* Подразумевается встреча Александра I и Наполеона 25 июня 1807 г. на специально сооруженном якорном плоту посредине Немана, которая закончилась мирным соглашением, а после тильзитских переговоров – и союзом с Францией; в результате упразднялась антифранцузская коалиция, куда входили, вместе с Россией, Пруссия и Австрия. Словом «роковое» вводится авторская оценка этого события (негативная), с аллюзией на современную ст-нию войну в союзе с Францией против Германии.

«В разноголосице девического хора...». Альманах муз. Пг., 1916. Печ. по беловому автографу (АМ). ККабл, под загл. /Москва/ и с пометой /1916, февраль/. Беловой автограф с пометой и датой записи /8 августа 1917 г. Профессорский

уголок – Алушта/ в альб. В. А. Судейкиной-Стравинской (воспроизведен фототипически в публ. Дж. Боулта: АБГ. Тбилиси, 2002. № 5). В Т слово /Акрополь/ – с прописной. Навеяно, как и следующее ст-ние, впечатлениями от соборов Московского Кремля во время прогулок вместе с Мариной Цветаевой. Ее образ в ст-нии прямо не дан, однако, по наблюдению В. Борисова, «Цветаева» соответствует «Флоренции» как буквальный перевод. Соотношение итальянских и русских мотивов вызвано тем обстоятельством, что Успенский собор был построен итальянским зодчим, но по образцу одноименного собора во Владимире и явился гениальным синтезом византийского, романского, готического и русского искусства. *Крюки* – нотные знаки в особой (крюковой) нотной записи, которой пользовались в допетровской России.

*«О, этот воздух, смутой пьяный...». Т. Датируется по ККабл; здесь с пометой /Апрель 1916. Москва/. Черновой автограф (АМ). Беловой автограф, под загл. /Соборы/ – в фонде газ. «Воля народа» (ЦГИА СПб.). В первой публ. с разночтением /«миръ»/ вм. правильного /міръ/ (в значении «община») по сравнению с рукописными источниками текста, что было, возможно, следствием вмешательства редактора, поставившего слово в той же форме, что и в ст-нии «Зверинец». Вызвано теми же впечатлениями, что и предшествующее ст-ние (см. примеч.). В ст. 7–8 речь идет о колокольне «Иван Великий».

«Не фонари сияли нам, а свечи...». Ипокрена. 1918. № 2/3, как 2-я строфа ст-ния (см. примеч. «Мне холодно. Прозрачная весна...»). – Свободный час. 1919. № 2, в составе цикла. Печ. по автографу (второму, вне цикла) из альб. А. Д. Радловой (ИРЛИ).

«– Я потеряла нежную камею...». Камена. Харьков; М.; Пб., 1918. № 1. ККабл, с пометой /1916. Осень/. Обращено к Тинатине Ильиничне Джорджадзе (в замужестве Танеевой), двоюродной сестре С. Андрониковой, сообщившей: «Мандельштам был у меня, когда пришла, почти в слезах, Тинатина, только что потерявшая камею, мой ей подарок, привезенный из Рима» (СС 2. Т. 1. С. 432).

Мадригал («Дочь Андроника Комнена...»). БП. Печ. по ККабл. Обращено к С. Андрониковой (запись в дневнике С. Каблукова от 2 янв. 1917 г.). См. примеч. к циклу «Соломинка».

Андроник Комнин (ум. 1185) – византийский император; его родственные связи вели в Грузию.

«Когда октябрьский нам готовил временщик...». Воля народа. 1917. 15 нояб. На следствии 1934 г. поэт показал: «Октябрьский переворот воспринимаю (в то время. – *А. М.*) резко отрицательно. На Советское правительство смотрю как на правительство захватчиков, и это находит свое выражение в моем опубликованном в “Воле народа” стихотворении “Керенский”. В этом стихотворении... я идеализирую Керенского, называя его птенцом Петра, а Ленина называю временщиком» (Огонек. 1991. № 1. С. 18). В строфах 1–2, по наблюдению А. Морозова, отразилось выступление рабочих в июле 1917 г. Ср.: «Когда в июльские безумные дни и ночи люди разъезжали на броневиках и разыскивали Керенского, слышались крики: – Долой Керенского – наймита буржуазии!..» (Брусянин В. А. Ф. Керенский – Прометей революции // Русская воля. 1917. 12 авг.). *Где зданий красная подкова.* Речь идет о Дворцовой площади, ставшей ареной победы Октябрьского переворота. *Вязатъ его, щенка Петрова!* Реминисценция из «Бориса Годунова» Пушкина: «Вязать Борисова щенка!» (*112*, с. 30).

*«Кто знает, может быть, не хватит мне свечи...». Страна. 1918. 21 апр. Датируется по ККабл (здесь ранняя редакция). В беловом автографе (РГАЛИ) с мелким разночтением (опиской?) в ст. 4 /На голову мою надену/; разночтения, указанные в Соч. (с. 582), не подтверждаются. *В разрушенной Москве.* Избрание патриарха происходило в дни штурма Кремля, который удерживали войска, верные Временному правительству (Кремль пал 3 нояб.). Патриарх Тихон был избран 5 нояб. (см. примеч. «Прославим, братья, сумерки свободы...»).

Телефон. ВП. Альм. 4 (в «Листках из дневника» Ахматовой). Печ. по беловому автографу из архива Н. В. Рыковского, сотрудника газ. «Раннее утро» (РГБ); здесь с пометой /Москва/. Чье самоубийство легло в основу сюжета ст-ния – не выяснено. *Петел* – петух. *Валгалла* – см. примеч. «В тот вечер не гудел стрельча́тый лес органа...».

«Всё чуждо нам в столице непотребной...». Жизнь. Киев, 1919. № 1 (1–7 сент. ст. ст.) (две первые строфы, в виде восьмистишия, под загл. /Фрагмент/). Полностью: ВРСХД.

1970. № 98, с неверной датой /1916 (1917)/ и мелким искажением («миллионами» вм. «мильонами»); этот текст восходит к архиву А. Г. Габричевского (*49*, с. 379), местонахождение источника в настоящее время неизвестно. Печ. по тексту ВРСХД, с устранением искажения по первой публ. С. Рудаков писал жене (7 нояб. 1935 г.): «Интересные дополнения. У стихов... "Я изучил науку расставанья..." была строфа (далее цитировался, с искажениями, текст, соответствующий первой публ. – *А. М.*)». Месту строфы соответствуют отточия в публ. «Гермеса» (см. примеч. «Tristia»), соответственно устанавливается дата ст-ния. Ст. 8 поэт процитировал в очерке «Сухаревка» (1923).

«Где ночь бросает якоря...». ВРСХД. 1970. № 98. Печ. по списку в экз. КЗ из библиотеки Л. Э. Ландсберга (рукой его жены?), с пометой: «В сборники не вошло» (собр. А. Ж. Аренса); является единственным источником текста. Помета в первой публ. /Коктебель/ – неизвестного происхождения. Образ «сухих листьев октября» вызван, как представляется, политикой новой власти, с первых своих шагов начавшей гонения на церковь; такое понимание находим у Н. М., А. Морозова (он высказал предположение о том, что ст-ние могло быть написано в начале окт. 1917 г.), Н. Струве. Другая, прямо противоположная, точка зрения высказывалась К. Тарановским и некоторыми его учениками: основываясь на образных параллелях с «Двенадцатью» Блока и «Христос Воскрес» Белого, они видели в образе «белое движение».

Дом Актера. Худож. мысль. Харьков, 1922. № 1 (18–25 февр.). Тот же текст: Театр. Одесса, 1922. № 1 (28 марта). При дальнейших перепечатках (Изборник. М., 1922; Трилистник. М., 1922. Альм. 1) – под загл. /Актер и рабочий/, акцентировавшим политическое звучание темы, и с мелкой переработкой. Печ. по первой публ. Э. Миндлин свидетельствовал о том, что ст-ние было поэту «заказано»: «Последним стихотворением, написанным им в Феодосии, было "Актер и рабочий". Группа актеров под руководством Амурского открыла на теннисном корте у моря кафе-кабаре. Мандельштаму заказали стихотворение к этому торжеству. Для его настроений того периода примечателен выбор темы. Почти дерзостью было писать в самый разгар врангелевщины предназначенные для публичного исполнения такие стихи... Стихи были прочитаны одним из

актеров с эстрады... в переполненной врангелевцами Феодосии незадолго до ареста Мандельштама» (*59*, с. 97).

«Когда ты уходишь и тело лишится души...». Печ. впервые до авторизованной машинописи (АМ). В БП определялось как допечатная редакция ст-ния «За то, что я руки твои не сумел удержать...»; машинопись создавалась, вероятнее, для невышедшего сборника стихов (см. примеч. «Когда городская выходит на стогны луна...»).

*«Люблю под сводами седыя тишины...». Т. – Накануне. Берлин, 1922. 28 мая. Лит. прил. № 5. Беловой автограф (РГАЛИ). Машинопись (АМ). *И трогательный чин... отпеванье.* Этот образ связан с несбывшимся отпеванием Пушкина в Исаакиевском соборе в Петербурге. В статье «Скрябин и христианство» (1917) М. писал: «Мраморный Исакий – великолепный саркофаг – так и не дождался солнечного тела поэта». 11 февр. 1921 г. по случаю годовщины смерти в Исаакиевском соборе отслужили панихиду по Пушкину; А. И. Оношкович-Яцына записала в дневнике: «Идея панихиды принадлежит Мандельштаму» (Минувшее. 1993. Т. 13. С. 402). *Плащаница* – ткань с отпечатком тела Христа в том виде, в каком оно было снято с креста и положено во гроб. Плащаницу выносят из алтаря и полагают посреди церкви в великую пятницу. *Генисаретский.* Относящийся к Галилейскому (Генисаретскому) озеру и местности вокруг него, которые были местом проповедей Иисуса Христа; здесь он явил чудо ловли рыб (Лк 5) и рассказал притчу о неводе (Мф 13). *Великопостная седмица* – неделя Великого поста перед Пасхой. *Одичалые порфиры.* Образ включает содержание ст-ния Баратынского «Последняя смерть»:

И тишина глубокая вослед
Торжественно повсюду воцарилась,
И в дикую порфиру древних лет
Державная природа облачилась.

....

По-прежнему животворя природу,
На небосклон светило дня взошло,
Но на земле ничто его восходу
Произнести привета не могло.

Соборы вечные Софии и Петра. Речь идет о соборах Св. Софии в Константинополе и Св. Петра в Риме. *Зернохранилища вселенского добра И риги Нового завета.* Существенные образные переклички – в статье «Пшеница человеческая». *Зане свободен раб, преодолевший страх.* Мотив восходит к «Посланию к римлянам» апостола Павла (8: 15). *Зане* – потому что.

*А небо будущим беременно... Лёт. М., 1923. – Новый мир. 1929. № 4. Авторизованная машинопись (ИРЛИ, фонд «Нового мира»). В первой публ. разбито на четыре самостоятельных ст-ния, с мелкими разночтениями, без загл.; представляет собой цикл (с неисправной нумерацией), который включает также ст-ния «Ветер нам утешенье принес...» (следовало вторым) и «Как тельце маленькое крылышком...» (следовало четвертым). Тот же текст, но с исправной нумерацией и с загл.: Ленинград. 1924. № 5. Список Н. М. в ИМЛИ, – вероятно, из наборной рукописи «Лёта»; здесь после ст. 12 – две зачеркнутые строки, по-видимому, воспроизведенные случайно (соответственно ранней редакции?). Фрагмент списка Н. М. (РГАЛИ. Ф. 613. Оп. 2. Ед. хр. 164). В АМ: а) листы со списками Н. М., на одном из них – черновая разработка ст-ния «Как тельце маленькое крылышком...»; б) автограф ст-ния «Как тельце маленькое крылышком...», вырезанный из записи цикла (от начала следующего ст-ния, под № 3, сохранился ст. 33 с разночтением); в) машинопись основного текста с зачеркнутым загл.; г) список основного текста (рукой неустановленного лица), без загл. Тема ст-ния вызвана актуальными событиями политической жизни Европы, сложившейся геополитической ситуацией и взаимными территориальными претензиями европейских государств; наиболее актуальные события – Генуэзская и Гаагская конференции и Рапалльский мирный договор (1922); приход к власти фашистского правительства в Италии. С. Бройд связывает ст-ние с ультиматумом Дж. Керзона (май 1923), однако к этому времени ст-ние, вероятно, уже было написано («Лёт» вышел в конце июля – авг.). Тема военной авиации, проходящая в сб-ке «Лёт» (стихи Маяковского, Асеева, И. Катаева), связана с «войнами будущего» и строительством авиации в Красной армии (*112*, с. 121–125). В стилистике и образах явственно влияние Хлебникова («Ладомир») (БП, с. 312) – его своеобразный космизм, опирающийся, в отличие от традиций русской поэзии XVIII–XIX вв., на элементы языческой мифологии и архаическую славянскую лекси-

ку. Перекличка со ст-нием «Зверинец» – в образах «древних плоскогорий мира» (*112*, с. 130) и зверей, символизирующих «доисторическое» прошлое, – волка, тапира (реликтовое вымирающее непарнокопытное, у которого нос и верхняя губа вытянуты в хобот), стервятников, коршунов. Призыв к «чести млекопитающих» (ст. 39) предвещает тему ст-ния «Ламарк». Из традиционных для М. – «тютчевский» образ «холода альпийского» (ст. 45) и мотивы музыки Баха – ср. «разноголосицу» в ст. 1 и ст. 5 ст-ния «Бах» (*112*, с. 131). Ст. 15–16 имеют параллель в статье «Слово и культура» (1920): «Говорят, что причина революции – голод в междупланетных пространствах. Нужно рассыпать пшеницу по эфиру»; оба опираются на мистическую философию Г. Гюрджиева, с которым М. мог быть знаком в Петербурге или, более вероятно, в Тифлисе (*87*, с. 35–36; *117*, с. 135, 240). *Эбеновые*. Сделанные из очень прочной и ценной древесины эбенового дерева. *Существ коротких, ластоногих*. Возможно, связано с образами картин И. Босха (ср. в примеч. «Я по лесенке приставной...»). *Победители Кладбища лёта обходили... казнили*. Образы связаны, вероятно, с сообщениями в прессе об уничтожении военной техники в Германии (по условиям Версальского договора). *Бури яблоко*. Речь идет, вероятно, о мифическом «яблоке раздора» Париса (*112*, с. 153). *Камчатная*. От названия старинной узорчатой цветной ткани – камки. *Брашна* – кушанья. *Медуница*. Здесь – пчела.

«Жизнь упала, как зарница...». СС 1. Т. 2. Печ. по списку Н. М. (ИМЛИ). Обращено к Ольге Ваксель (см. примеч. «Возможна ли женщине мертвой хвала?..»). 20 апр. 1925 г. П. Лукницкий записал со слов поэта в своем дневнике о том, что, в сравнении со ст-нием «Я буду метаться по табору улицы темной...», это являет «новую линию в его творчестве»; однако в С поэт отказался его включить (*45*, с. 144). *Ангел в светлой паутине... плеча*. Речь идет о фигурах ангелов на углах фронтона Исаакиевского собора. *За куколем дворцовым И за кипенем садовым*. Подразумеваются Таврический дворец и Таврический сад, вблизи которых жила Ваксель.

«Татары, узбеки и ненцы...». СС 1. Т. 1. Печ. по записи Н. М. 1950-х гг. (АМ). По ее свидетельству, написано (как и следующее ст-ние) во время работы над ст-нием «Квартира тиха, как бумага...» (*52*, с. 235).

«У нашей святой молодежи...». СС 1. Т. 1. Печ. по записи Н. М. 1950-х гг. (АМ). См. примеч. к предшествующему ст-нию.

«Откуда привезли? Кого? Который умер?..». СС 1. Т. 1. Печ. по записи Н. М. 1950-х (?) гг. (АМ, «альбом № 5»). Отточиями показана утраченная часть текста (так в источнике текста). Для утраченного текста в ст. 2 первонач. бытовала конъектура /именно/ (так и в первой публ.); И. Семенко предложила конъектуру /будут хоронить/ (Свод, с. 137). Написано во время работы над ст-нием «Голубые глаза и горячая лобная кость...», с которым близко связано образами и мотивами, и, возможно, являлось его отвергнутой редакцией.

«Твоим узким плечам под бичами краснеть...». Подъем. 1966. № 1. Печ. по БП, где дано по списку С. Рудакова (местонахождение в настоящее время неизвестно). Обращено к М. Петровых (см. примеч. «Мастерица виноватых взоров...»), что косвенно подтверждают ее пометы в принадлежавшем ей экз. БП.

«Мне кажется, мы говорить должны...». СС 2. Т. 2. Печ. по ВС. Беловой автограф, приложенный к письму М. к жене от 26 мая 1935 г. (АМ), с мелким разночтением («мне» вм. «нам» в ст. 7) и датой /Апрель – май 35/; машинопись с тем же разночтением (АМ). В первой публ. с редакцией ст. 2 /О будущем советския страны/, источник не установлен; см. преамбулу к «Воронежским тетрадям». Ранняя редакция ст. 4 известна из письма С. Рудакова к жене от 21 мая 1935 г.: «Так, “Войны и мира гнутая подкова” заменено “Воздушно-океанская подкова” (Влияние катастрофы с “Максимом Горьким”), по мне это безлепица, оттеснившая классику. Называется “борьба с акмеизмом”». См. примеч. «Не мучнистой бабочкою белой...».

*«Мир начинался страшен и велик...». Russian Literature. 1977. Vol. V. Iss. 3. Печ. по ВС. Основной текст также в списках Н. М. в АМ и собр. Е. Э. Мандельштама. Ранняя редакция – в списке Н. М. с правкой поэта (АМ), с датой /Апр. – май 35/. В ст. 6–8 имеется в виду Сталин. См. преамбулу к «Воронежским тетрадям». *Дальнозоркий.* Этот эпитет исполнен смысла: при дальнозоркости человек хорошо видит даль (метафорически – прозревает будущее), но плохо различает близь.

«Ты должен мной повелевать...». СС 2. Т. 4. Печ. по альм.: Часть речи. 1982. № 2/3, где приведено по копии С. Рудакова с автографа (из собр. Ф. Вигдоровой, ныне местонахождение неизвестно). Написано не ранее 4 мая 1935 г. (*100*, с. 650). В первой публ. с разночтением: «был» вм. «рос» (ст. 4). Обращено к Сталину.

«Тянули жилы, жили-были...». ВРХД. 1976. № 118. Печ. по списку Н. М. (АМ). Сюжет связан, вероятно, с концертом в «летнем» театре в Первомайском саду в Воронеже.

«Идут года железными полками...». ВРХД. 1976. № 118. Печ. по автографу, приложенному к письму жене от 26 мая 1935 г. (АМ). Ст-ние имело «домашнее» название «Железо».

«Мир должно в черном теле брать...». СС 2. Т. 3. Печ. по ВС, датируется по письму поэта к Н. М. (№ 165). (Собр. соч. Т. 3/4. № 59). В ВС с датой /Июнь 35/; зачеркнуто автором. *Уроды*. См. примеч. «Полюбил я лес прекрасный...».

«Когда б я уголь взял для высшей похвалы...». Slavic Review. 1975. Vol. 34, № 4. Печ. по авторизованной машинописи (собр. Ю. Фрейдина). Датируется соответственно черновику, четверостишие из которого вошло в данное ст-ние (см. примеч. «Обороняет сон мою донскую сонь...»). Ранняя редакция, без строф 1 и 2 и с другим порядком строк в строфе 3 (АМ, список Н. М.). В корпусе, представленном в Союз писателей в 1937 г., под загл. «Стихи о Сталине» (см. рец. П. Павленко: Огонек. 1991. № 1. С. 20). Политические процессы конца 1936 г. ясно показывали, что шанс сохранить жизнь поэту могли дать лишь такие стихи, которые славословили бы Сталина прямо и были бы одобрены «наверху». В этом М. почти достиг цели: в упомянутой рец. Павленко писал: «Есть хорошие строки в “Стихах о Сталине”, стихотворении, проникнутом большим чувством, что выделяет его из остальных. В целом же это стихотворение хуже своих отдельных строф. В нем много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине... Советские ли это стихи? Да, конечно. Но только в “Стихах о Сталине” это чувствуется без обиняков, в остальных же стихах – о советском догадываемся». Об этом ст-нии М. позднее говорил Ахматовой: «Я теперь понимаю, что это была болезнь» (7, с. 206). О писа-

нии ст-ния см. в гл. «Ода» «Воспоминаний» Н. М. *Эсхил.* Его трагедия «Прометей прикованный» – первая из дошедших до нашего времени литературная обработка мифа о Прометее. *Джугашвили.* См. примеч. «Мы живем, под собою не чуя страны...». *До выполненной клятвы.* Подразумевается клятва выполнять заветы Ленина, которую Сталин дал на собравшемся после смерти Ленина 2-м Всесоюзном съезде Советов.

«Если б меня наши враги взяли...». Лит.Грузия. 1967. № 1 (в статье Г. Маргвелашвили «Об Осипе Мандельштаме»). Печ. по НК. Список Линецкой. Было включено в корпус ст-ний, представленный в Союз писателей в 1937 г. (отразилось в рец. Павленко, см. предшествующее примеч.). В последние годы жизни Н. М. отстаивала в качестве бесцензурной редакцию ст. 23 «Будет губить разум и жизнь Сталин» (*52*, с. 290), но эта «редакция», вероятнее, возникла в результате самопародирования (см. преамбулу к «Воронежским тетрадям»). Двусмысленность содержится в зачине ст-ния; ее подметил еще К. Чуковский, который говорил, что «последние строки ничуть не вытекают из начала – еще неизвестно, кто это “наши враги”, которые могут запереть двери...» (*52*, с. 290); см. примеч. «Как на Каме-реке глазу тёмно, когда...».

«С примесью ворона голуби...». Russian Literature. 1977. Vol. V. Iss. 3. Печ. по записи Е. Поповой в ее письме В. Яхонтову. Датируется по содержанию письма (написано между 6 и 9 июня 1937 г.). Второй ее список, с мелкими разночтениями (описками), оба – РГАЛИ. Обращено к Еликониде (Лиле) Ефимовне Поповой (1903–1964) – жене Владимира Николаевича Яхонтова (1899–1945), друга поэта. В указанном письме сообщалось: «Как я провожу время? Большую часть времени у Мандельштамов. Союз их поддерживает, дает деньги... Они очень привязались ко мне (“всеми любимая, всеми уважаемая”). Осип Эмильевич, если не ошибаюсь, вздумал “открыть” меня. Но об этом поговорим по приезде, в этом я еще плохо разбираюсь, но, кажется, в ссылке он помолодел лет на двадцать, выглядит хулиганистым мальчишкой и написал мне стихи, которые прячет от Надежды Яковлевны (!!). Если там вековые устои рушатся, то я об одном молю, чтоб не на мою голову. Стихи эти явились в результате нашей прогулки в машине по городу». В. Швейцер писала: «Лиля Попова была необычайно хороша собой: темноволосая, с огромными

темными глазами, стройная. Она была и талантлива: рисовала, увлекалась театром, мечтала стать художницей, театральным режиссером. В 1922 г., совсем девчонкой... Лиля приехала с Яхонтовым в Москву – смотреть, слушать, учиться, жить... Она не получила никакого систематического образования; школой стали для нее репетиции Мейерхольда, на которых она постоянно присутствовала все то недолгое время, пока Яхонтов работал в его театре. Жизнь сложилась так, что Попова оказалась режиссером одного Яхонтова, соавтором и соучастником постановок "Театра одного актера". По тому, что я о ней знаю, Попова представляется мне человеком довольно замкнутым, скорее наблюдателем, чем участником той "светской" жизни, в которую была вовлечена как режиссер и жена известного актера. Вот какой она запомнилась Н. Е. Штемпель, побывавшей у Яхонтовых вместе с Мандельштамом в самом начале 1938 г.: "Стол накрывала Лиля, жена Яхонтова. Очень красивая женщина, строго одетая, тихая, молчаливая, совершенно лишенная кокетства. Она даже не включилась в общую беседу. Ее поведение чем-то удивило меня, и в то же время я любовалась ею". В кругу знакомых Мандельштама... Лиля была фигурой довольно необычной. Дочь железнодорожника с Северного Кавказа, она выделялась своим "пролетарским", как тогда говорили, происхождением. Она сформировалась в рабочей среде в годы войны и революции и была одной из тех, кто верил в идеи революции и в происходящем видел их воплощение. Когда Н. Мандельштам иронически пишет о Поповой как "сталинистке умильного типа" – это ирония с дистанции десятилетий, отделяющих события от времени написания ее книг. На самом деле, та безоглядная вера, которой верила Лиля Попова, сегодня производит впечатление одновременно и страшное, и жалкое, и вызывает чувство растерянности: как они могли не видеть, не понимать? Тем не менее, есть в этой вере честность, вызывающая уважение; мне кажется, Лиля не притворялась ни перед другими, ни перед собой; в ее вере была слепота, но не было приспособленческого цинизма, как у многих людей того круга, в котором она жила» (*107*, с. 78). *Эти две родинки смелые.* К этим словам Попова сделала помету: «Сцилла и Харибда» (прозвания, данные, возможно, Мандельштамом).

Стансы («Необходимо сердцу биться...»). Синтаксис. 1989. № 25, в статье В. Швейцер «Мандельштам после Воронежа». Печ. по копии Е. Е. Поповой из ее письма

к сестре, О. Е. Поповой (РГАЛИ). Обращены к Е. Е. Поповой (см. предшествующее примеч.). *Вот с приговором полоса.* 12 июня «Правда» поместила приговор по делу военачальников – Тухачевского, Якира и др. (*107*, с. 82). *Футбол для молодого баска.* Сборная команда басков, в которой были 9 бойцов-республиканцев, приехала в Москву в июне 1937 г. *Дозреют новые плоды.* «Новые плоды» – композиция В. Яхонтова, над которой он работал начиная с 1935 г., «о Мичурине и социализме» (*107*, с. 77).

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. СТИХОТВОРЕНИЯ «НА СЛУЧАЙ»

Шуточные стихотворения М. писал с юношеских лет, и его товарищи по Цеху поэтов, в среде которого культивировались литературные игры, ценили этот его дар. В русской поэзии М. явился основателем жанра «Антология античной глупости» и «Афоризмы житейской глупости»; внес свой вклад, следуя Козьме Пруткову, в корпус «дурацких басен». Молва приписывала ему авторство в изобретении «Гаврилиады», литературной игры в «Гаврилу», образчики которой были использованы И. Ильфом и Е. Петровым в «Двенадцати стульях» (Коваленков А. Хорошие, разные... М., 1966. С. 10).

Исследовательский интерес (немалый), который вызывали шуточные стихи М., ограничивался пока лишь поиском и публикациями – внимания текстологов они не привлекали; между тем те из них, которые не сохранились в автографах или не были напечатаны, а записывались по памяти много лет спустя – эта группа текстов преобладает, – неизбежно несут, как всегда бывает в таких случаях, искажения; некоторые из них непонятны (или малопонятны) из-за лакун в фактическом комментарии, которые еще потребуют исследовательских усилий. Не включаем в корпус шуточных стихотворений сомнительное по точности воспроизведения (без рифм) ст-ние, записанное А. Е. Парнисом со слов Н. К. Бруни, передавшей, в свою очередь, рассказ Л. А. Бруни о посещении, вместе с М., «вечера армянской поэзии», на котором читал свои переводы В. Брюсов (речь идет, по-видимому, о лекции Брюсова 14 мая 1916 г. в Петербурге): «Мне скучно здесь, мне скучно здесь, / Среди чужих армян, / Пойдем домой, пойдем домой, / Нас дома ждет Эдем» (Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования и материалы. М., 1991. С. 196).

Актеру, игравшему испанца. СС 2. Т. 4. Печ. по копии из фонда С. И. Антимонова (РГАЛИ). Ст-ние написано по сюжету комической пьесы В. О. Трахтенберга *«Загадка и разгадка»*, поставленной в «Кривом зеркале» в 1909 г., в «Привале комедиантов» – в феврале–марте 1917 г. *Актер, игравший испанца* – Сергей Иванович Антимонов (1880–1954), исполнявший в пьесе роль матадора Фернандо Поганеца (Поганца). О сюжете см.: *93*, с. 227–228.

«В половине второго...». Cahiers du monde russe et soviétique. 1974. Vol. XV. Iss. 1/2, в статье: Суперфин Г., Тименчик Р. Письма А. А. Ахматовой к В. Я. Брюсову. Печ. по автографу в альбоме Ф. Фидлера: ИРЛИ. Ф. 649. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 41. Датируется по окружению в альбоме. Ст-ние писалось на «Башне» Вяч. Иванова в день его именин. *По алфавиту Идти к ответу*. Подразумевается имевшийся в поэтических кружках обычай читать стихи поочередно в алфавите фамилий.

«Вы хотите быть игрушечной...». ВП. Альм. 3. Печ. по автографу в альб. А. Ахматовой (РГАЛИ). В двух первых стихах обыгрываются слова Ахматовой «А теперь я игрушечной стала» («По аллеям проводят лошадок...», 22 февр. 1911).

«Блок...». Жизнь искусства. 1922. 25 июля, в статье В. Пяста «Отрекшийся претендент», где ошибочно приписано Вас. Гиппиусу. Печ. по автографу (РГАЛИ). Подписано: И. Мандельштам. Датируется по тексту шуточного послания: «Милостивый государь, 10 декабря сего года в ресторане "Вена" Вы избраны королем русских поэтов»; ниже записаны шуточные стихи Е. Кузьминой-Караваевой, Вас. Гиппиуса, В. Пяста и Мандельштама (прозаический текст написан, вероятно, рукой Д. Кузьмина-Караваева). Об обстоятельствах «выборов», на которых два голоса из пяти были поданы за Ф. Сологуба, см.: Встречи, с. 170.

«Но в Петербурге акмеист мне ближе...». ВП. Альм. 4, в «Листках из дневника» А. Ахматовой: «Гумилев рано и хорошо оценил Мандельштама. Они познакомились в Париже (см. конец стихотворения Осипа о Гумилеве. Там говорилось, что Николай Степанович был напудрен и в цилиндре» (7, с. 190; далее приведен публикуемый «конец» ст-ния). Датируется по содержанию.

«И глагольных окончаний колокол...». Встречи. Париж, 1945. Сб. 2, в статье-некрологе К. Мочульского «О. Э. Мандельштам». Автор вспоминал: «Ему нужно было сдать экзамен по греческому языку, и я предложил ему свою помощь. Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывшимися ему тайнами греческой грамматики. Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие; наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. Когда я ему сообщил, что причастие прошедшего времени от глагола “пайдево” (воспитывать) звучит “пепайдевкос”, он задохнулся от восторга и в этот день не мог больше заниматься. На следующий урок пришел с виноватой улыбкой и сказал: “Я ничего не приготовил, но написал стихи”. И, не снимая пальто, начал петь. Мне запомнились две строфы (приводится публикуемый текст. – *А.М.*)» (*64*, с. 66). Константин Васильевич Мочульский (1892–1948) был в то время студентом университета (романо-германского отделения, на котором учился и М.). Время его занятий с М. устанавливается по сведениям из его писем в сопоставлении с университетским делом М.: между нояб. 1912 и февр. 1913 г. *Аорист* – форма глагола, обозначающая недлительное действие, полностью отнесенное к прошлому.

«Автоматичен, вежлив и суров...». Герштейн Э. Новое о Мандельштаме. Париж, 1986. С. 187–188. Печ. по записи Рудакова (со слов поэта) в его письме к жене от 6 авг. 1935 г., с сопроводительным текстом: «А вот кусочек: осколок забытого сонета Гумилеву (год 1915)». Ст-ние, вероятнее, было написано раньше – в 1913 г. (не ранее осени 1912 г.). Сравнительная характеристика Поля *Верлена* и *Теофила* Готье в ст-нии (ст. 3–4) основывается, по-видимому, на том, что Готье был назван Гумилевым среди имен, составлявших «краеугольные камни акмеизма» (Наследие символизма и акмеизм // А. 1913. № 1. С. 44). *Картонный профиль... как вырезанный для китайской тени.* Сравнение подразумевает «профили» китайского театра теней (проекция которых на экран давала теневое изображение), популярного в России начала XX века.

«Не унывай...». Дни. 1926. 4 апр., в очерке Г. Иванова «Петербургские зимы», в котором автор относит чтение ст-ния Мандельштамом к 1913 г. (а в книге «Петербургские зимы» – к 1915 г.). С реалиями стихи, по воспоминаниям Г. Иванова, связи не имели.

«Что здесь скрипением несносным...». Русская эпиграмма. Л., 1989. (Б-ка поэта. БС.). Печ. по альб. М. Шкапской (РГАЛИ), куда было записано его владелицей со слов В. Пяста со следующей сопроводительной записью: «Был такой критик Недоброво (писал в “Русской мысли” об Ахматовой), который очень часто цитировал стихотворение Фета “Истрепалися сосен мохнатые ветви... ”». Николай Владимирович *Недоброво* (1882–1919) – член «Общества ревнителей художественного слова» и организатор Общества поэтов (1913–1914). В память о Недоброво М. ввел мемуарную запись о нем в «Шум времени» (гл. «В не по чину барственной шубе»).

«Жоры». О сочинениях в этом жанре писали Г. Иванов и В. Пяст. Первый пояснял: «“Жора”. Особый род стихов, изобретенный В. Шилейко. В каждой строке должно быть сочетание слогов “жо-ра”. Остальное – на вкус автора. Желавшие написать “жору” должны были испрашивать у Шилейко разрешение, даваемое с разбором. Так, у меня Шилейко потребовал письменного согласия родителей. “Но мой отец умер”. – “Это меня не касается”, – ответил изобретатель “жоры” – и не разрешил» (*28*, с. 228–229). «Форма “жоры”, как равно и “хаки”, как равно и “боранаут”, – все родились в “Собаке”. Особенностью первой из них является то, что ею нельзя пользоваться без разрешения Шилейко, – хотя отнюдь не он, а, конечно, неистощимый Мандельштам был автором и изобретателем ее, автором первого стихотворения, написанного этой формой» (Встречи, с 191).

I. «Свежо раскинулась сирень...». СС 3. Т. 1 (с искажениями; не подтверждается чтение последнего стиха: И Жора мат получит вскоре). Печ. по автографу (АЛ). Под загл. «Жора I». После текста записана «жора» неустановленного лица:

Мажора не поймут ведь Крезы.
Что ж ораториум не пуст?
В зажорах не возникнет куст.
А Жора пишет ли поэзы.

Ора. Здесь – одна из трех богинь времен года.

II. «Воаяжор арбуз украл...». Встречи, с. 191 (с разночтением в первом слове и с другой редакцией последнего стиха: – Ужо расправа будет скоро.). Печ. по АЛ, под загл. «Жора II», на одном листе с предшествующим ст-нием. Первоначальная редакция двух первых строк: Тамбур-мажор арбуз украл / Воаяжера в саквояже.

Антология античной глупости. Лукоморье. 1915. № 6 (7 февр.) – ст-ния 1–4, 8, под загл. и под псевдонимом /Анк Сульпициус/. Датируется на основании мемуарных свидетельств, дат архивных источников и публикаций. Первое принадлежит сыну владельца пансионата в Мустамяках, в котором М. подолгу жил в 1911–1912 гг., Григорию Семеновичу Рабиновичу: «В декабре 1911 г. М. явился в “Бродячую Собаку” и сказал экспромтом: “Господа, я нашел заграницей, в Италии, пергаменты неизвестного поэта, Caius'a Stultitius'а и перевел их; они отличаются закругленной античной глупостью... ”» (далее цитировались ст-ния 1–3) (ВП. Альм. 3. С. 24). Г. Иванов, публикуя подборку шуточных стихотворений, писал: «“Античные глупости”, “Транхопс”, “Жора” – так назывались эти стихи... Покойный Н. Гумилев чрезвычайно ценил этот жанр, даже переоценивал, пожалуй... Достаточно сказать, что сравнения с такими мэтрами острословия, как Козьма Прутков и Теодор де Банвиль, неизменно делались им – в пользу наших “Античных глупостей”» (*28*, с. 226–227). Здесь и в последующем Иванов писал о коллективном авторстве этих ст-ний. Однако никто больше не предъявлял прав на соавторство в «Антологии...», и решающим фактом в атрибуции является создание в первой половине 1920-х гг. «Антологии...» в виде рукописной книги (АЛ), (об авторстве М. см. также: Встречи, с. 174). Она представляет собой автограф с правкой М. Лозинского (книга, вероятно, и создавалась по его просьбе); в подборку не вошло ст-ние 6. Правка Лозинского имеет уточняющий смысловой и стилистический характер: так, «кратеры хранил» он заменил на «амфоры берег» (кратер – сосуд для смешения вина с водой, а не для его хранения), «как же живут» в ст-нии 7 на «кто же живет». Вошедшие в рукописную книгу ст-ния печатаются в наст. изд. по ее тексту; поправки Лозинского не учитываются (т. к. в жанре «глупости» точность не обязательна), кроме двух, которыми Лозинский снял пометы над ст-ниями 5 (было: /М. Лозинскому/) и 7 (было: /Шилейка/).

1. Ревность. *Лежать в объятьях Морфея* – образное выражение, означающее «спать»; Морфей (греч. миф.) – сын бога сна Гипноса и нередко с ним отождествляется.

3. «Катится по небу Феб в своей золотой колеснице...». *Феб* (греч. миф.) – одно из имен бога солнца Аполлона.

5. «Сын Леонида был скуп, и кратеры хранил он ревниво...». Звено. 1924. 29 сент., в очерке Г. Иванова «Китайские тени». *Сын Леонида* – М. Л. Лозинский (см. примеч. «Пешеход»), в квартире которого в 1911–1914 гг. проходили редакционные собрания «Гиперборея» и заседания Цеха поэтов. Комизм ст-ния основывается на противоречии – щедрость и дружелюбие Лозинского были общеизвестны. Опальному поэту он помогал материально и в 1937–1938 гг.

6. «Сын Леонида был скуп, и, когда он с гостем прощался...». Встречи, с. 174. В записи ст-ний 4 и 5–6, датированной 17 февр. 1914 г. (АЛ), являлось продолжением ст-ния 5, при этом ст. 1 читался: /Если же гость от него уходил, сердитый, в «Собаку»/.

7. «– Смертный, откуда идешь? – Я был в гостях у Шилейки...». Звено. 1924. 29 сент., в очерке Г. Иванова «Китайские тени». *Шилейка* – Владимир Казимирович Шилейко (1891–1930) – филолог-востоковед, поэт и переводчик; в это время – студент университета, входил в Цех поэтов. Диалог между «небожителем» и «смертным» имеет источником ст-ние Шилейко:

На Васильевском славном острове...

Здесь мне миров наобещают,
Здесь каждый сильный мне знаком, –
И небожители вещают
Обыкновенным языком.

Степенный бог проведать друга
Приходит здесь: поклон, привет –
И подымаются в ответ
Слова, как снеговая вьюга.

9. «Тесно обнявшись, чета дивилась огромной звездою...». Соч., где приведено по записи 1920-х гг. из альб.

М. Шкапской (РГАЛИ), здесь с пометой /Ю. Юркуну/. Юркун (наст. фамилия Юркунас) Юрий (1895–1938, расстрелян) – прозаик; художник. Жил в Петербурге с 1913 г.; входил в круг поэта М. А. Кузмина и был его интимным другом.

«Барон Эмиль хватает нож...». Искусство Ленинграда. 1989. № 2, в тексте «Воспоминаний» В. С. Срезневской, где рассказывается о портрете М. (работы А. М. Зельмановой), который поэт принес домой для того, чтобы сделать с него фотокопию (сообщено Е. Э. Мандельштамом; фотокопия сохранилась в семейном архиве). Отец поэта (в ст-нии – *Эмилъ*), которому портрет не понравился, пригрозил «разрезать эту мазню на куски» (с. 56). Датируется по времени создания портрета.

«Дабы волос усилить мощь...». С.-Петербургские ведомости. 2001. 13 янв., в тексте воспоминаний С. Г. Вышеславцевой (1890–1975) – искусствоведа и переводчика. Об обстоятельствах создания ст-ния вспоминала: «Еще в дореволюционные годы мы встречались с ним в одном небольшом пансионате в Куоккала зимой или ранней весной, на каникулах. Все гости этого милого пансионата, преимущественно молодежь, увлекались лыжами, совершали большие прогулки в лес, на речку и по окрестностям. Осипа Эмильевича же я помню скорее не скользящим (или летящим) на лыжах, а мерно, не спеша, шагающим в уединении по хорошо утоптанным тропкам и дорогам, погруженным в раздумья, созерцающим красоты зимней природы... Не скажу, чтобы он был не общительным, но разговаривать с ним не всякому хотелось и умелось, ибо самый характер его мышления и все словесные выражения мыслей были нешаблонными, с неожиданными поворотами и ассоциациями; за ним было трудно следить и подавать реплики. Иногда, за общим столом, Мандельштам вставал и в свойственной ему несколько высокопарной манере произносил очередную импровизацию на местные темы, чаще всего шутливого содержания, но облеченную в оригинальную поэтическую форму. Память мне случайно сохранила одну из таких импровизаций, нацеленную на мою соседку по комнате и заставившую ее, бедную, краснеть перед всем нашим обществом... <следует текст ст-ния>. Осип Эмильевич был в те годы студентом Петроградского университета, занимался с увлечением романскими языками и литературами».

«Это есть художник Альтман...». Звено. 1924. 29 сент., в очерке Г. Иванова «Китайские тени». Печ. по тексту, приведенному Г. Адамовичем (Опыты. 1956. Кн. 6). В стихах речь идет о Натане Исаевиче *Альтмане* (1889–1970), а оценка его живописи восходит, вероятно, к критическим отзывам в среде художников левого направления, собрания которых М. посещал в 1915–1916 гг. (см.: Пунин Н. Квартира № 5 // Панорама искусств. М., 1981. Вып. 4). Ср. характеристику современного исследователя: «Художник реалистического и даже академического толка по своей сути, поспешно испробовавший рецепты различных постимпрессионистических стилей...» (Толмачев М. Ахматова в изобразительном искусстве // Тайны ремесла. М., 1992. С. 160).

«Я связан молоком с языческой Палладой...». Соч. (искаженный текст). Печ. по автографу в альб. Паллады Олимповны Богдановой-Бельской (Гросс, Дерюжинская и др., до замужества – Старынкевич; 1885–1968), хозяйки литературного салона в Петербурге (альб. в собр. Э. В. Гросса). Ниже в скобках поэт приписал к собственной подписи: «гладко выбритый и совершенно не влюбленный», а Паллада вставила перед словом «совершенно» реплику: «эту неделю». Из другой ее пометы явствует, что в Алуште (где в так называемом Профессорском уголке в компании петербуржцев жили Паллада и М.) они брали молоко у одной молочницы. Имя Паллады – одно из имен (эпитетов) Афины в греч. («языческой») миф. Следует учитывать и репутацию Паллады, отразившуюся в «Записках об Анне Ахматовой» Л. Чуковской: «Спросила, слышала ли я о Палладе? – Нет. – Даже не слышали? Это можно объяснить только вашей сверхъестественной молодостью. Она была знаменита. Браслеты на ногах, гомерический блуд. Один раз при мне она сказала своей приятельнице: “У меня была дивная квартира на Моховой. Ты не помнишь, с кем я тогда жила?”» (запись 20 июля 1939 г.).

«Почему ты всё дуешь в трубу, молодой человек?..». Новый мир. 1961. № 1, в мемуарах И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Читалось автором в Феодосии; приводя эти стихи, Эренбург писал: «В самые трагические минуты он смешил нас газелами...».

«Не сожалей, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч...». Звено. 1924. 29 сент., в очерке Г. Иванова «Китай-

ские тени». Печ. по этой публ.; в дальнейшем Г. Иванов печатал текст с другой редакцией ст. 1: /Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч,/. Было вписано в альб. Р. В. Рура (ныне в ИРЛИ), но, как обманувшее ожидания владелицы альбома, тут же ею вырвано и уничтожено (*66*, с. 348). Роза Васильевна содержала в помещении изд-ва «Всемирная литература» коммерческий киоск, но «не была лишена и эстетических чувств... На всех литературных вечерах ее неизменно можно было видеть в первом ряду...» (*74а*, с. 203) .

«Есть разных хитростей у человека много...». Новый мир. 1978. № 6, в воспоминаниях В. Катаева «Алмазный мой венец», в которых М. выведен под именем «щелкунчик». Катаев сообщал, что, нуждаясь в деньгах, они пошли в Главполитпросвет к Крупской. «Надежда Константиновна... объяснила нам обстановку в современной советской деревне, где начинали действовать кулаки. Кулаки умудрялись выдавать наемных рабочих – батраков – за членов своей семьи, что давало им возможность обходить закон о продналоге... “Кулаков я хитрость выдам, расскажу без лишних слов, как они родни под видом укрывают батраков”, – бодро начал я и предложил щелкунчику продолжить, но он с презрением посмотрел на меня и, высокомерно вскинув голову, почти пропел: “Я удивляюсь, как вы с вашим вкусом можете предлагать мне этот сырой, излишне торопливый четырехстопный хорей, лежащий совершенно вне жанра и вообще вне литературы!” После этого он сообщил мне несколько интересных мыслей о различных жанрах сатирических стихов, причем упомянул имена Ювенала, Буало, Вольтера, Лафонтена и, наконец, русских – Дмитриева и Крылова. Я сразу понял, что наше предприятие под угрозой. Между тем щелкунчик, видимо, все более и более вдохновлялся, отыскивая в истории мировой поэзии наиболее подходящую форму. Он высказал мысль, что для нашей темы... более всего подходит жанр крыловской басни: народно и поучительно. Он долго расхаживал по комнате от окна к двери, напевая что-то про себя, произносил невнятно связанные между собой слова, останавливался, как бы прислушиваясь к голосу своей капризной музы, потом снова начинал ходить взад-вперед».

«Юношей я присмотрел скромный матрас полосатый...». ИД, под загл. «Давыдову» и с датой: 1920. Печ. по Собр. произв., где сопровождается следующим примеча-

нием: «Обращено к З. С. Давыдову. сотруднику Ленотгиза. Поводом к сочинению стихотворения послужил вопрос молодожена Давыдова, стоит ли надеть на матрас чехол, на что Мандельштам... посоветовал обратиться к Б. К. Лившицу, который... женат уже второй раз. *Тягунов* – владелец фабрики, изготовлявшей кровати и матрасы». Давыдов Зиновий Самойлович (1892–1957) – писатель.

Афоризмы житейской глупости. Соч. (ст-ния 1–3, 6); Лит. учеба. 1987. № 3 (ст-ния 4, 5, в статье П. Нерлера «Осип Мандельштам – читатель Пушкина»). Печ. по записям П. Лукницкого (с пометой: «Из цикла “Афоризмы житейской глупости” – 1925 год. Записано П. Н. Лукницким со слов О. Э. Мандельштама») в его архиве (ИРЛИ. Ф. 754. Коллекция. Альбом XIII-3. Л. 154), откуда приводится и название подборки (перифразирующее «Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра). Ст-ния 2, 3 с большой долей вероятности, а 5 и 6 несомненно были написаны зимой 1920–1921 г. в Доме искусств, ст-ние 4 – в 1924 или 1925 г., в пору раннего знакомства Мандельштама и Лукницкого.

2. «Эта Анна есть Иванна – Дом-искусства человек...». *Анна Иванна* – Анна Ивановна Ходасевич (до замужества Чулкова, в первом браке – Гренцион; 1887–1964) жила зимой 1920–1921 г. в Доме искусств в Петрограде вместе с мужем В. Ф. Ходасевичем (оставившим красочное описание упоминающейся в ст-нии ванной в своем мемуарном очерке «Дом Искусств») и сыном от первого брака Гариком (см. ст-ние 3).

3. «Это Гарик Ходасевич по фамильи Гренцион...». *Гарик Ходасевич по фамильи Гренцион* – Гарик (Эдгар) Гренцион (ок. 1907 – после 1938), пасынок В. Ф. Ходасевича, его фамилию не носил. *Альциона есть элегия Шенье.* Стихов с таким названием или соответствующих по содержанию у А. Шенье нет.

4. «Это есть Лукницкий Павел Николаич человек...». *Павел Николаевич Лукницкий* (1900–1973) – литератор, биограф Н. Гумилева (с 1924 г. встречался с М., записывая мемуарные сведения о Гумилеве). Павел Николаевич *Милюков* (1859–1943) – видный историк, лидер партии кадетов и член Временного правительства.

5. «Алексей Максимыч Пешков – очень Горький человек...». Печ. с конъектурой в ст. 1 (в записях Лукницкого начальная буква в слове «горький» – строчная).

6. «Это есть мадам Мария. Уголь есть почти что торф...». *Мария* Игнатьевна *Бенкендорф* (урожд. Закревская; 1892–1974) – подруга и личный секретарь А. М. Горького. Эмигрировала в январе 1921 г.

[ПЕРЕВОДЫ ИЗ КНИГИ Ж. РОМЕНА «ОБОРМОТЫ»]. Ромен Ж. Обормоты. Л., 1925. Печ. по этому изданию. Основу сюжета романа (М. был и переводчиком, и автором предисловия к указанному изданию) составляют похождения компании студентов. Начало книги застает друзей в кабачке. Они пьют и забавляются. Случайно среди какого-то хлама им попадается карта Франции, они начинают ее рассматривать. Из названий городов *Амбер* (главный город департамента Пюи-де-Дом, где делался лучший в Оверни сыр) и *Иссуар* (близлежащий) рождается игра в буриме на рифмы Амбер – *камамбер* (сорт сыра) – Иссуар – *писсуар* (ст-ния 1–7). В дальнейшем друзья едут в эти города и там проказничают; ст-ние «Знай, благородный друг, что в среду, утром росным...» (ст-ние 8) является стихотворным посланием, в котором адресат извещается в слегка затемненных фразах о месте и времени назначенного ему свидания. *Притин* – см. примеч. «Чуть мерцает призрачная сцена...». *Сквер Ремесел и Искусств*, по книге, действительно имелся в местечке Мелен.

«Юношей Публий вступил в ряды ВКП золотые...». СС 2. Т. 2. Печ. по авторизованному списку (РГАЛИ. Ф. 1893), рукой А. Е. Крученых (дата – рукой автора), с пометой /Из «Антологии античной глупости»/. Бытовала версия о том, что эти стихи связаны с исключением из ВКП (б) В. И. Нарбута (1928), что вступает в противоречие с датой ст-ния (ее, в свою очередь, также нельзя считать установленной окончательно). *ВКП* – Всероссийская коммунистическая партия.

«Скажу ль...». СС 2. Т. 2. Печ. по записи А. Крученых (РГАЛИ. Ф. 1893 – записи фрагментов, с пометой: /Из забытой поэмы о двух Гонкурах/) с дополнениями по записи П. Лукницкого (архив Лукницкого, запись неполного текста). Братья *Эдмон* и Жюль (*Жуль*) де Гонкур – французские писате-

ли, соавторы. Сюжет ст-ния связан, вероятно, с их «Дневником». *Не оказали б им такой французы чести.* Вероятно, речь идет об учрежденной в их честь Гонкуровской премии, одной из наиболее престижных во Франции. *Редингот* – длинный сюртук особого фасона.

«Разве подумать я мог, что так легковерна Мария...». СС 2. Т. 1. *Мария* – М. М. Шкапская (1891–1952), поэтесса. *Пяста в Бруссоны возьми, Франс без халата сбежит.* Ж.-Ж. Бруссон был секретарем А. Франса и после его смерти издал книгу «Анатоль Франс в туфлях и халате»; сопоставление основывается, вероятно, на том, что рассказы В. Пяста послужили источником многих записей Шкапской в ее альб. Датируется предположительно по времени выхода в свет русского перевода книги – в февр. 1925 г.

«Кто Маяковского гонитель...». Соч. Т. 1. Печ. по списку (недатированному) Н. М. (СИ), с восполнением замененного семью (соответственно числу букв) отчерками слова в ст. 3 («сатрапа»). Датируется по времени выхода в свет памфлета Георгия Аркадьевича *Шенгели* (1894–1956) «Маяковский во весь рост» (М., 1927), в связи с которым, по-видимому, и была написана эпиграмма. Ср.: «Очень много повредила Г. Шенгели его ссора с Маяковским, поэтическая среда молодой Москвы подвергла его остракизму» (*74а*, с. 125). *Лахути* А. А. (1887–1957) – персидский поэт, участвовал во втором тебризском восстании (1922), после поражения которого эмигрировал в Россию, занимал ответственные посты в издательствах и писательских организациях. *Российских ямбов керченский смотритель.* Шенгели был выходцем с юга России (в Керчи прошли его гимназические годы), а «ямбы» исследовал в трудах по стиховедению, издававшихся в 1920-е гг.

«У вас в семье нашел опору я...». Соч. Т. 1. Печ. по тексту: Горнунг Б. В. «Экспромт О. Э. Мандельштама “Горнунгам” (1927 г.)» // Сохрани мою речь. М., 2000. Вып. 3, ч. 2.

«Подшипник с шариком...». СС 2. Т. 1. Печ. по этому изд.

«Помпоныч, римский гражданин...». СС 2. Т. 1. Печ. по этому изд. В машинописном своде П. Н. Лукницкого в его ар-

хиве с комментарием: «Панферов употребляет глагол “скукожился”, которого нет в русском языке».

«Как некий исполин с Синая до Фавора...». СС 2. Т. 1, под загл.: /Писателю/. Печ. по записи Н. М. в АМ, согласно которой ст-ние обращено к Д. И. Выгодскому (см. примеч. «На Моховой семейство из Полесья...»). В ст. 1 подразумевается библейский Моисей, заключивший с Богом Завет («договор») на горе *Синай*, а потом подтвердивший его у горы Фасга (Втор 5); *Фавор* (священная гора в Палестине) здесь – поэтическая вольность. В ст. 2 подразумеваются издательские договоры.

«“Ubi bene, ibi patria” – говорили прежде древние...». СС 2. Т. 4 (неполный текст). Текст первых двух строк (строфическая форма избрана нами) известен нам от Е. К. Лившиц в устной форме. *«Ibi patria, ubi bene»*. Игра словами «bene» и Бен (имя Лившица «Бенедикт» – латинского происхождения, включает «bene» – благо); подразумевается: «Там отечество, где Бен».

«Один еврей, должно быть комсомолец...». СС 2. Т. 1. Печ. по этому изд. Датируется предположительно. *Закладная* – не повозка, заложенная лошадьми, а документ о даче недвижимости в залог (под заклад); *подорожная* – не путь, а документ о маршруте поездки, дающий право на обмен лошадей на почтовых станциях.

«Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович...». СС 2. Т. 1. Э. Герштейн вспоминала о жизни М. в комнате на Покровке (1931): «Придя туда, я застала однажды Яхонтова во фраке и в цилиндре. Эта экзотика ничуть не резала глаз... Осип Эмильевич читал вместе с ним свои шуточные стихи. Они были посвящены драматическому положению, в которое попала хозяйка квартиры. Она прослышала, что в Сибири можно дешево купить доху. Именно для поездки туда она сдала свою комнату Мандельштамам... Но Мандельштамы не могли расплатиться» (*20*, с. 25). *Каранович* Е. Л. – хозяйка квартиры; *бабушка* – ее мать, А. М. Фельдман (СС 3. Т. 3. С. 442).

«Скажи-ка, бабушка, – хе-хе!..». Герштейн Э. Новое о Мандельштаме. Париж, 1986. С. 45. Второе ст-ние на тему о дохе (см. предшествующее примеч.). Э. Герштейн продол-

жала: «Затем... оба чтеца без паузы переходили ко второму стихотворению на ту же тему, читая его уже в два голоса... Звонкий и мощный голос Яхонтова звучал со спокойной силой, а Мандельштам нарочно выдрючивался нагловатым козлиным тенорком» (*20*, с. 25).

«Зане в садах Халатова-халифа...». ИД. Печ. по копии С. Рудакова (источник в архиве Мандельштама позднее утрачен) в письме к жене от 16 янв. 1936 г. Датируется по сюжету: в конце 1930 г. на базе литературно-художественного отдела Государственного издательства и изд-ва «Земля и фабрика» (*ЗИФ*) было образовано Государственное издательство художественной литературы (*ГИХЛ*), его первым директором был Василий Иванович *Соловьев* (1890–1939), видный деятель ВКП (б). *Халатов* Артемий (Арташес) Багратович (1894–1938, расстрелян) в это время руководил Госиздатом, которому были подчинены в политическом отношении все советские издательства, что подразумевается в словах *в садах Халатова-халифа. Дух бытия.* Вероятно, имеется в виду первая книга Библии, Бытие; в целом в этом выражении, возможно, подразумевается патриархальный нрав Халатова.

Эпиграмма в терцинах. СС 2. Т. 4. Печ. по записям (две) в альб. из фонда В. А. Меркурьевой (РГАЛИ. Ф. 2209), с уточнением в разбивке на строфы. В альб. – в составе подборки стихов М., вместе со следующими двумя ст-ниями (которые также печатаются по этому источнику). *Вермель* Юлий Матвеевич (1906–1942?, погиб в лагере) – биолог, соавтор Б. С. Кузина (см. примеч. «К немецкой речи») и Е. С. Смирнова по книге «Очерки по теории эволюции» (М., 1924). Они составляли ядро группы молодых ученых на кафедре зоологии университета (располагалась, вместе с музеем, на Большой Никитской ул., ср. ст. 1). *Он ученик Барбея д'Оревильи.* Барбе д'Оревильи Ж. А. (1808–1889) – французский писатель, автор книги «О дендизме и Джордже Бреммеле». Кузин вспоминал о книге в связи с Вермелем, его обыкновением одеваться и носить шляпу (тема следующих ниже стихов «о Вермеле») в письме к жене (1942): «Очень рад, что ты достала книжку д'Орвильи о Бреммеле. Я считаю эту вещь одной из самых блестящих, какие мне приходилось читать... Я когда-то дал ее читать бедному Юлию Вермелю, надеясь, что он из нее уразумеет сущность дэндизма и престанет носить сюртук, галстук бантом, широкополую

шляпу и плащ. Он прочитал и ничего не понял. Продолжал носить свой безвкусный и претенциозный костюм» (*34*, с. 471). *Дерби* (англ., *дарби* – вариант произношения) – вид скачек.

«Ходит Вермель, тяжело дыша...». СС 2. Т. 4. См. предшествующее примеч. В альб. – с пометами: «О брате Ю. М. Вермеля, его жене и его сыне»; «Юлий Матвеевич Вермель – дв<оюродный> брат Д. Усова, зоолог, поклонник нем<ецкой> фил<ософско>-фант<астической> “страшной литературы” (Э. По, Эвера, Гоффман, де Лиль Адан и др.)».

«Счастия в Москве отчаяв...». СС 2. Т. 4. См. примеч. «Эпиграмма в терцинах». В альб. к словам «Он почти что Чаадаев» – примеч.: «Намек на родство с Е. С. Норовой». Норова Евдокия (Авдотья) Сергеевна (1799–1835) – друг П. Я. Чаадаева; была в него влюблена; Чаадаев завещал похоронить себя близ могилы Е. С. Норовой (в Донском монастыре).

«Мяукнул конь и кот заржал...». СС 2. Т. 1. *Казак* – поэт Павел Васильев (1910–1937, расстрелян); *еврей* – О. Мандельштам. П. Васильев бывал у М. в Доме Герцена в 1932–1933 гг. Э. Герштейн писала об их встречах: «Осип Эмильевич его полюбил. Васильев платил тем же, часто прибегал, читал свои стихи»; «в кулуарах говорили, что он находится под влиянием Мандельштама» (*20*, с. 36). Ст-ние может быть понято в одном из двух противоположных смыслов: либо как утверждение о смехотворности пересудов о «подражании» Васильева, или М. мог действительно усмотреть подражание в ст-нии Васильева «Старая Москва» (1932).

«Звенигородский князь в четырнадцатом веке...». СС 2. Т. 1. *Князь Андрей* – А. В. Звенигородский (см. примеч. «К немецкой речи»). См. зарисовку в дневнике Н. Ашукина (5.2.1925): «Дикий, интересный тип. Бывший князь. Смят революцией. Он живет в Ардатове, почти в нищете, не пьет чая, питается одной гречневой кашей. Развинченный. Полон воспоминаний о прошлом. Читает старых поэтов, поклоняется Пушкину и Фету и сам пишет стихи. В Москву приезжает, “чтобы поговорить”» (Новое лит. обозрение. 1998. № 33. С. 227).

Маргулеты. Впервые: ст-ния 4, 8 – Грани. 1949. Кн. 5, в статье Н. Осипова «Внутренняя эмиграция в СССР»; ст-ния 3,

5, 7 – Мандельштам Н. Вторая книга. Париж, 1972. С. 144–145; ст-ния 1, 2, 9, 10 – Russian Literature. 1977. Vol. V, iss. 3, в статье А. Григорьева и Н. Петровой «Мандельштам на пороге 30-х годов», ст-ние 6 – Герштейн Э. Новое о Мандельштаме. Париж, 1986. С. 44. Печ. по первым публикациям (в ст-нии 10 учтена поправка И. Д. Ханцин). *Маргулис* – Александр Осипович (Иосифович) Моргулис (1898–1938, погиб в лагере) был выходцем из Ростова. Окончил Донской университет. С 1919 г. работал в Кавказском отделении Российского телеграфного агентства (РОСТА). Во время операции Красной армии на территории Персии (Ирана) был заведующим Персидским отделением КавРОСТА в г. Решта. В 1923 г. вместе с женой, пианисткой И. Д. Ханцин, переехал в Петроград. По ее свидетельству, М. начал бывать в их доме с 1927 г., и в это время появились первые «маргулеты». В 1931 г. Моргулис получил должность в газете «За коммунистическое просвещение» (орган Наркомата просвещения) и около двух лет жил в Москве; общался с М. вплоть до ареста поэта в 1934 г. В конце 1920-х гг. дебютировал как переводчик. Его фигура отразилась в ряде воспоминаний; Н. М. писала: «Лучшие “маргулеты” пропали. Их законом было – начинать со слов “Старик Маргулис” и получать одобрение самого “старика”...» (*49*, с 109).

1. «Старик Маргулис из Ростова...». *Бубнов* Андрей Сергеевич (1884–1940) – видный деятель ВКП (б), в 1929–1937 годах нарком просвещения РСФСР. Была ли «рекомендация» связана со знакомством – сведений не получено. Писатели А. Е. *Островер* (1889/1890–1962) и М. С. *Живов* (1893–1962) находились, в глазах М., судя по иронической ноте в стихах, на периферии литературы. Писатель М. Э. *Козаков* (1897–1954), по «Путешествию в Армению» (1931), «принес публичное покаяние в том, что был орнаменталистом», и за это «ему уготовано место в седьмом кругу дантовского ада» (гл. «Москва»).

2. «Старик Маргулис на Востоке...». *На Востоке*. См. преамбулу к «маргулетам». *Исторьетта* (в знач. «историйка») – неологизм, сочиненный поэтом; подразумеваются исторические экскурсы в сочинениях М. *Шагинян*.

3. «Я видел сон – мне бес его внушил...». *Бубнов*. См. примеч. «Старик Маргулис из Ростова...».

4. «Маргулис – он из Наркомпроса...». *Из Наркомпроса.* Подразумевается служба в газете «За коммунистическое просвещение», органе Наркомпроса. Истоки Тигра и Евфрата (обыгрывается созвучие имени *Эфрос* и названия реки Евфрат) – двух великих рек Востока – находятся в Персии (Иране), где Моргулис был в 1920 г. *Эфрос* Абрам Маркович (1888–1954) – искусствовед и переводчик, заведовал в эти годы отделом французской литературы ГИХЛа, и к его «истокам» Моргулис, по-видимому, «путешествовал» в поисках заказа на переводы.

5. «У старика Маргулиса глаза...». *Преследуют мое воображенье.* Перифразируются стихи Баратынского «Сей поцелуй, дарованный тобой, / Преследует мое воображенье...» («Поцелуй»).

6. «Ах, старика Маргулиса глаза...». *Не соответствуют своему назначению.* «Назначение» глаз Моргулиса должно было соответствовать, по-видимому, его должности заведующего сектором информации газеты.

7. «Старик Маргулис под сурдинку...». Служба Н. М. в *газете* (*ЗКП* – аббревиатура названия «За коммунистическое просвещение»), куда она устроилась по протекции Моргулиса, относится к 1931 г.

9. «Старик Маргулис, примечай-ка...». Николай Корнилиевич *Семейко* – литератор; писал стихи. Моргулис был знаком с ним, вероятно, по работе в КавРОСТА.

«Посреди огромных буйволов...». Russian Literature. 1977. Vol. V. Iss. 3, в статье А. Григорьева и Н. Петровой «Мандельштам на пороге 30-х годов». Записано в 1970-е гг. со слов Виктора Андрониковича Мануйлова (1903–1987), в конце 1920-х гг. – начинающего литературоведа. По его словам, стихи сказаны экспромтом во время встречи с М. в фойе концертного зала. Мануйлов не запомнил точно рифмового слова (Мануйлов или Мануйловов).

«Не средиземною волной...». Соч. Т. 1 (без второй строфы). Печ. по: Сохрани мою речь. М., 2000. Вып. 3, ч. 2. С. 99, в воспоминаниях Ольги Андреевны Овчинниковой. Ст-ние

предварялось текстом: «Зная, что я занимаюсь криминальной психологией... и часто бываю в Новинской женской тюрьме, он часто расспрашивал меня о тех типах, с которыми мне приходилось беседовать... После наших бесед он написал мне такой экспромт».

«Я – мужчина-иностранец...». Собр. произв. (неточный текст?). Печ. по тексту воспоминаний М. Ардова «Легендарная Ордынка» (Новый мир. 1994. № 4. С. 31), где приводится в записи устного рассказа Михаила Давыдовича Вольпина (1902–1988): «Осип Эмильевич мне говорит: “Это правда, что вы пишете юмористические стихи?” “Да – отвечаю, – пишу”. “Я тоже написал недавно юмористическое стихотворение, – продолжает Мандельштам, – как вам оно понравится?” И прочел такие строки: <следует текст> ». В Соч. – под загл. «Песнь вольного казака», дано по списку А. А. Тарковского 1963 г.

«Шапка, купленная в ГУМе...». Рус. мысль. 1991. 28 июня, в статье А. Сотскова «Поэт. Город. Культура». Печ. по автографу (ГЛМ), с поправкой в пунктуации. Автограф – на обороте фотографии, запечатлевшей поэта, вместе с женой и Э. Гурвич, в названной в ст-нии «шапке»; фотография воспроизведена: СС 3. Т. 3, с. 470. *ГУМ* – главный универсальный магазин. *Гляжу* – в значении «выгляжу».

«Там, где край был дик...». СС 2. Т. 1. По свидетельству Н. М., обращено на лезгинского политического поэта и революционера Сулеймана Стальского (1869–1937), в 1934 г. получил звание «народного поэта Дагестана».

«Плещут воды Флегетона...». СС 2. Т. 1. Два первых стиха – цитата из ст-ния Пушкина «Прозерпина» (искажение цитаты в публ. возникло, возможно, при записи ст-ния по памяти в послевоенные годы и исправлено в наст. изд.). Поэт В. Пяст в начале 1934 г. некоторое время жил у Мандельштамов в новой квартире. Л. Н. Гумилев, в это время также живший у Мандельштамов во время своего приезда из Ленинграда, сообщил нам (в 1975 г.) о подоплеке ст-ния следующее: «Время было голодное. Всем хотелось есть, но не сладкого – от него на голодный желудок мутит».

«Слышу на лестнице шум быстро идущего Пяста...». СС 2. Т. 1. Написано в то же время, что и предшествующее ст-ние. *Семъдесят пятый отрыв.* «Отрывами» Пяст называл главы своих поэм; их он читал Мандельштамам (*48*, с. 18). *Чую смущенной душой* – реминисценция из ст-ния Пушкина «На перевод Илиады».

«Знакомства нашего на склоне...». Мандельштам Н. Воспоминания. Нью-Йорк, 1970. С. 241, с пояснением: «Однажды Шервинский пригласил О. М. с Анной Андреевной послушать перевод. Вдвоем пускать их не следовало, они чего-то там натворили, пришли с хохотом, и О. М. объяснил: <следует текст ст-ния>». *Шервинский* Сергей Васильевич (1892–1991), *Нилендер* Владимир Оттонович (1883–1965) – филологи-античники, переводчики. *«Эдип в Колоне»* – трагедия Софокла, помещена в их переводе в кн.: Софокл. Трагедии. М.; Л., 1936. Комизм ст-ния – в созвучии слов «в Колоне» и «в колонне» (маршевое построение солдат).

«Мне вспомнился старинный апокриф...». СС 2. Т. 1. Печ. по списку Н. М. (СИ), датируется по содержанию: в это время у М. гостил Л. Н. Гумилев, и оба они ухаживали за М. С. Петровых (*20*, с. 50). О Петровых см. примеч. «Мастерица виноватых взоров...». С сюжетом какого *апокрифа* проводит параллель М. – не установлено.

«Уста запеклись и разверзлись чресла...». Собр. произв. Печ. по машинописи (АМ).

«Большевикам мил элеватор...». Собр. произв. Печ. по машинописи: РГАЛИ. Ф. 2883. Оп. 1. Ед. хр. 434. Л. 6. Машинопись с зачеркнутым текстом (АМ). В ст-нии речь идет о Льве Гумилеве во время, когда оба они ухаживали за М. С. Петровых (см. примеч. «Мне вспомнился старинный апокриф...»). *Éleve* (франц.) – возвышенный (стиль).

«Не жеребенок хвостом махает...». Рус. мысль. 1991. 28 июня, в статье А. Сотскова «Поэт. Город. Культура», по записи Т. Г. Григорьевой, с пометой: «Сочинено Ос. Эм. на концерте Яши Хейфица, где я была с ним». *Яша-ребенок снова играет.* Крупнейший скрипач Я. Хейфец до 1917 г. жил в России, М. помнил его игру на сольных концертах в детском возрасте;

после большого перерыва Хейфец гастролировал в России весной 1934 г.

«Марья Сергеевна, мне ужасно хочется...». СС 2. Т. 1. Печ. по этой публ., с поправкой, внесенной в ст. 8 М. Петровых, которой поэт читал эту стихотворную шутку. Об обстоятельствах ее создания М. Петровых, которая в это время переводила литовских и украинских поэтов, сообщала: «В одно из первых посещений Мандельштама у меня были затруднения с переводами из украинцев – это коварный язык именно из-за своей близости к русскому. Он сказал: “Я тоже не знаю. Все знает Давид <Бродский>. Спустимся к нему”» (запись 1975 года). О *Шенгели* см. примеч. «Кто Маяковского гонитель...»; в это время он, по данным В. Перельмутера, заведовал редакцией поэзии народов СССР в Гослитиздате (Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 135).

«Привыкают к пчеловоду пчелы...». ВП. Альм. 3. Печ. по записи П. Лукницкого в его архиве. Датой знакомства Ахматовой и М. считается 14 (1) марта 1911 г. *Ахматовой уколы.* Здесь обыгрываются строки Ахматовой «Ты давно перестала считать уколы – Грудь мертва под острой иглой» («Отрывок», 1912).

«На берегу эгейских вод...». СС 2. Т. 1. Печ. по записи в архиве П. Лукницкого. Запись Ахматовой ст. 1–5 (РНБ). В архиве Лукницкого (вариант) и в 1-й публ. вм. стихов 4–5: /Поганый промысел его: Продажа личного архива/. Написано после несостоявшейся попытки продать личный архив в Государственный литературный музей в начале 1934 года, датируется по письму М. к В. Д. Бонч-Бруевичу от 21 марта 1934 г., см.: Шумихин С. Судьба архива О. Э. Мандельштама // Вопр. лит. 1988. № 3.

«Не надо римского мне купола...». Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1989. С. 419, в коммент. А. Морозова. Датируется по содержанию. Написано в связи с фотографией, помещенной в газете; Ж.-Р. Блок был ростом намного выше Луппола, отсюда в ст-нии «Луппола под сенью... Блока». *Луппол* Иван Капитонович (1896–1943) – видный философ-марксист, профессор, в то время директор ГИХЛа. *Блок* Жан Ришар (1884–1947) – французский писатель, прибыл в СССР

на Первый съезд советских писателей. Рецензию М. на кн. Блоха «Destin du siècle» см. в т. 3 наст. изд.).

«Источник слез замерз, и весят пуд оковы...». ВТ. Запись Н. М. (АМ). Печ. по тексту воспоминаний Н. Штемпель: «Как-то Мандельштамы пришли к нам. Осип Эмильевич подошел к письменному столу, выдвинул ящик (там лежали особенно любимые книги) и увидел листки розоватой бумаги со стихами, написанными тушью. Почерк ему показался знакомым. Осип Эмильевич без разрешения прочитал их. Сергей Борисович <Рудаков>, уезжая, переписал для меня свои стихи, среди них было одно, посвященное мне. Не знаю, по каким признакам Осип Эмильевич об этом догадался. Называлось оно “Баллада о движении” (в разлив, ранней весной, мы сидели с Сергеем Борисовичем на плоту). В стихотворении были слова “источник слез”. Осип Эмильевич ничего не сказал, лукаво улыбнулся и написал эпиграмму...» (*110*, с. 48).

«Наташа спит. Зефир летает...». ВТ. Печ. по записи Н. М. (два первые стиха – автограф) в АМ. Н. Штемпель вспоминала: «Была еще эпиграмма. Я всегда делала горячую завивку, Осип Эмильевич постоянно говорил, что мне лучше с гладкими волосами, но я оставалась верна своей привычке, тогда он написал эпиграмму...» (*110*, с. 50). *Источник слез.* См. предшествующее примеч.

«Искусств приличных хоровода...». СС 2. Т. 1. Печ. по автографу (АМ). Н. Штемпель писала: «Вместе со мной работал мой ровесник... Вадим Покровский. Он имел несчастье писать стихи и даже иногда печатался в Воронежском литературном альманахе. На мое предложение привести Вадима Осип Эмильевич ответил злой эпиграммой» (*110*, с. 37). Контекст ст-ния полностью не восстанавливается. *Покровский* Вадим Алексеевич (1909–1987) – впоследствии известный гигиенист, автор учебника (1979). В 1933 г. издал сборник стихов «Славная жизнь». *Стойчев* Стефан (Степан Антонович; 1881–1938) – директор Воронежского пединститута, председатель воронежского отделения Союза советских писателей.

«О, эта Лена, эта Нора...». СС 2. Т. 1. Печ. по записи Н. М. (АМ). Машинопись с разночтениями (АМ). *Лена и Нора* – сестры Эпштейн, сослуживицы Н. Е. Штемпель. *ИТР* – аббре-

виатура: инженерно-технические работники; официальное означение «прослойки» советского общества. К ИТР относилась Нора, жившая в «ИТР-овском доме» в ИТРовском переулке (*110*, с. 48).

«Пришла Наташа. Где была?..». ВТ. Запись Н. М. с разночтением в ст. 3: /и молвит мать/ (АМ). Н. Штемпель писала: «Особенно потешала Осипа Эмильевича последняя строчка, так как лук я терпеть не могла, да и к вину была совершенно равнодушна. Он читал ее с особым ударением» (*110*, с. 50).

«Если бы проведал Бог...». СС 2. Т. 1. Печ. по тексту воспоминаний Н. Штемпель, где сопровождается рассказом: «на уроке русского языка во время диктанта на вопрос учащихся, как пишется “в полдень”, я ответила “вместе”, имея в виду существительное “полдень”. Все тридцать человек написали “полдень” слитно с предлогом “в”. Что делать? Эта ошибка меняла оценку, я в отчаянии (был первый год моей педагогической работы). Осип Эмильевич рассмеялся и написал две эпиграммы <следуют тексты этого и следующего ст-ния>» (*110*, с. 38). Запись Н. М. в АМ.

«– Наташа, как писать “балда”?». ВТ. Печ. по автографу (АМ), не учитываются кавычки при слове «да». См. предшествующее примеч.

«Наташа, ах, как мне неловко...». Соч. Т. 1. Печ. по записи Н. М. (АМ).

«Наташа, ах, как мне неловко!..». ВТ. Печ. по автографу (АМ). *Загоровский* Павел Леонидович (1892–1952) – психолог, профессор Педагогического института в Воронеже; друг Н. Е. Штемпель.

«Эта книжка украдена Трошею с СХИ...». ВТ. Датируется соответственно воспоминаниям Н. Штемпель: «Часто по вечерам от Мандельштамов я спешила к своему дяде, который болел и которого я очень любила. Так возникла шуточная надпись, приложенная к книжке “Стихотворения” издания 1928 года, подаренной мне Осипом Эмильевичем... На книге была совсем другая надпись: “Милая Наташа, не знаю, что и написать. Так мне приятно, что нашлась книжка по-

дарить, хоть и плохая. Обещаю никогда больше таких книг не писать и во всем слушаться – при условии, что и меня будут слушаться. О. М. В.<оронеж>. I/III 37 г.". История подаренной книги такова. Троша, соквартирант Сергея Борисовича, получил путевку в местный дом отдыха... и там ему в библиотеке попалась книжка стихов Мандельштама, о котором он постоянно слышал от Рудакова. Недолго думая, Троша украл книжку и передал Осипу Эмильевичу для получения автографа. Между тем, пока Осип Эмильевич собирался это сделать, Трошу направили на постоянную работу в район. О книжке все забыли. Как-то случайно она попалась на глаза, Осип Эмильевич очень обрадовался: действительно, Вадиной резинкой (это был мальчик хозяйки) по возможности стер надписи и просто грязь, просмотрел все стихи, помню, одно вычеркнул, два дописал, что-то исправил... и подарил мне» (*110*, с. 49). *СХИ* – сельскохозяйственный институт.

«Девочку в деве щадя, с объясненьем юноша медлил...». Печ. по автографам (АМ). В автографах пометы и примеч.: в первом двустишии, к слову «старуха» – «в указанный момент юноше было 88 лет, а деве – 86 лет», под текстом: «Перевел с новогреческого О. Мандельштам»; ко второму двустишию: «(найдено в архиве одной греческой старухи)». Н. Штемпель, приводя текст, писала: «Шутка была связана со мной и Павлом Леонидовичем» (*110*, с. 50). Павел Леонидович – Загоровский, см. примеч. «Наташа, ах, как мне неловко...».

Решенье. СС 2. Т. 1. Печ. по автографу (РГАЛИ, запись на обороте фрагмента ст-ния «Я видел озеро, стоявшее отвесно...»).

«Зевес всех должностей лишил Гермеса...». СС 2. Т. 1, с разночтением в ст. 1: «Гефеста» вм. «Гермеса». Печ. по машинописному сборнику из собрания П. Н. Лукницкого (ИРЛИ). В записи Н. М. (СИ) – с другой («подцензурной») редакцией ст. 1: /Зевес сегодня в гневе на Гермеса –/. В Собр. произв. – с датой «1937» и примеч.: «Написано в связи со снятием А. С. Бубнова с должности наркомпроса РСФСР». Приводим комментарий Г. А. Левинтона из его письма от 18.08.07: «Вариант с "Гефестом" – несомненно, нелепый – был в машинописном списке, который я получил (и частично копировал) в начале 60-х годов от Л. П. Эйзенгардт (вдовы историка

Ис. М. Троцкого). Я, кажется, писал Вам, что комментарий услышал от своего отца: речь идет о постоянных снятиях с работы наркомов и директоров как “не справившихся с работой”. А тот, кто их назначал на эту должность, оставался ни при чем. Для 30-х очень значимым было слово *оказался* (в большом количестве рассказов: “оказался шпионом”, “оказался врагом народа” – как бесспорная истина), в упомянутом списке, в стихе “Оказывается, он не понимал” первое слово было выделено разрядкой. “Гефест” был, конечно, восполнен грамотным человеком, который решил, что “Гермес” – описка, но явно не понял смысла эпиграммы (что Гермеса *назначили* управлять кузнечным делом). Между прочим, это стихотворение, – в сущности, единственная собственно эпиграмма на Сталина (“Мы живем, под собою не чуя страны... ”, конечно, эпиграммой не назовешь, хотя многие называли)».

Басни. Некоторые из басен (или «дурацких басен», как определен этот жанр у М. в письме С. Рудакова к жене от 15 июня 1935 г.) печатались при жизни поэта, жанр нескольких из сохранившихся в записях без труда определяется по стилю, ст-ния «Какой-то гражданин, наверное попович...» и «Однажды из далекого кишлака...» отнесены к нему предположительно.

«Однажды некогда какой-то подполковник...». СС 2. Т. 1. *«На посту»* (1923–1925) – журн. литературной группы «Октябрь», поставившей целью проводить партийную линию в литературе.

Лжец и ксендзы. Смехач. 1924. № 19, с подзаг. «басня». *Ксендз* – польский католический священник. *Партикулярий.* Здесь: частный (неверующий или инаковерующий) человек. *Акварий.* Здесь – аквариум. *Викарий* – помощник католического священника.

«По нашим временам куда как стали редки...». ИД.

Тетушка и Мирабо. Красная газ. 1925. 19 окт. Веч. вып., с подзаг. «басня». *Акажу* – вид красного дерева. *Людовик, рококо* – стили мебели. Ж. П. *Марат* и О. *Мирабо* – деятели Великой французской революции.

Извозчик и Дант. Красная газ. 1925. 26 окт. Веч. вып., с подзаг. «басня». Печ. по этой публ. с исправлением в ст. 7 «не» на «и» (по-видимому, технической опечатки).

«Какой-то гражданин, наверное попович...». СС 2. Т. 1. Датируется предположительно по содержанию. Ст-ние писалось, вероятно, в конце нэпа, но с какой стороной деятельности Л. М. *Кагановича* оно было связано, нам не удалось установить.

«Однажды из далекого кишлака...». СС 2. Т. 1. Датируется предположительно.

«Какой-то гражданин, не то чтоб слишком пьян...». СС 2. Т. 4. Печ. и датируется по записи Н. М. (АМ).

«Один портной...». Герштейн Э. Новое о Мандельштаме. Париж, 1986. С. 189. Печ. по копии С. Рудакова в его письме к жене от 15 июня 1935 г. (ИРЛИ). Написано на пути к месту ссылки (Чердынь).

КОЛЛЕКТИВНОЕ

«Кушает сено корова...». СС 2. Т. 1. С. 303, в воспоминаниях Г.С. Рабиновича (приятеля М., сына владельца пансионата в Мустамяках, см. примеч. «В девятьсот двенадцатом, как яблоко, румян...»). Коммент. мемуариста: «Из серии анекдотов о графе, написанных Мандельштамом совместно с Г. Ивановым и мной: граф посетил вечер Игоря Северянина, пришел в восторг и написал следующие стихи». Пародируется ст-ние И. Северянина «Дэль-аква-тор» (1910), в котором фигурируют «герцогиня» и «шалэ» (небольшой загородный дом).

Пастораль. Natales grate numeras? Сб. статей к 60-летию Георгия Ахилловича Левинтона. СПб., 2008. С. 454. Авторы: М. Лозинский, О. Мандельштам, Василий Владимирович Гиппиус (1890–1942) – поэт и переводчик, в это время член Цеха поэтов; принимал активное участие в писании шуточных стихов. Ст-ние создавалось, согласно помете, в квартире М. Лозинского по адресу: Волховской пер., 2. Написано по впечатлениям от прошедшего в этот день заседания Общего собрания Неофилологического общества при Санкт-Петербургском

университете, его в целом обыгрывает 1-я строфа. Об этом заседании К. В. Мочульский писал В. М. Жирмунскому 19 окт. 1912 г., а в письме к тому же адресату от первой половины мая 1913 г. цитировал первую строку ст-ния (*64а*, с. 141–145; 162). *Позаун(ы)* – от нем. Posaune – труба (органа); обыгрывается, вероятно, выражение «увеселяемы трубою» из ст-ния Д. К. Петрова (упоминается в том же письме Мочульского: *64а*, с. 142, 143). *Радлов* Эрнест Львович (1854–1928) – философ; на заседании выступил «с возражениями» на доклад Брауна. *Браун* Федор Александрович (1862–1942) в это время – руководитель романо-германского отделения историко-филологического факультета и председатель Неофилологического общества; на заседании выступил с докладом «Эволюция романтической теории» (название и содержание обыгрываются в последних строках ст-ния). *Аничков* Евгений Васильевич (1866–1937), «поглощавший», согласно ст-нию, подаваемый чай с печеньем, – приват-доцент по кафедре западных литератур. *Ко́ган* Петр Семенович (1872–1932), в то время – приват-доцент по кафедре романо-германской филологии.

Умеревший офицер. Звезда. 1930. № 2. С. 12, в романе О. Форш «Сумасшедший корабль», с разночтениями. Чукоккала, с. 258 (автограф, с пометой: «Соч<инили>: Гумилев, Мандельштам, Г. Иванов. Верно: О. Мандельштам»). Датируется по времени пребывания М. в Петрограде. Согласно И. Одоевцевой, в ст-нии пародируются строки из поэмы Н. А. *Оцупа* (позднее автором уничтоженной): «И лежит, раскинув руки / Умеревший офицер» (*66*, с. 504). Согласно комментарию К. Чуковского, поводом стал действительный случай с раздачей протухших яиц в голодном Петрограде; полковник *Белавенец*, по «Чукоккале», – реальное лицо.

Баллада о горлинках. Чукоккала, с. 196; автограф Б. Лившица, с пометой: «Бенедикт Лившиц вместе с О. Мандельштамом в ночь на 25.XII.1924». Действие происходит во время, когда в результате административного постановления изд-во «Всемирная литература» должно было слиться с Ленинградским отделением Государственного издательства (сокращенно – ГИЗ). *Горлинки* – вымышленное название денежных единиц, от фамилии Александра Николаевича Горлина (1878–1938), главного редактора отдела иностранной литературы ГИЗа. От него зависело получение заказов на переводы, которые являлись тогда основным источником существования как Мандельштама, так и Лившица. *Царство Короленки.* Подразумевается «Всемирная литература». *Ионов* Илья Ионович

(1887–1942) – литератор, партийный деятель, в это время – заведующий ГИЗом. *Гиз* – аббревиатура Государственного издательства; с аллюзией на герцога Гиза, боровшегося за французский престол. *Авессалом* – сын царя Давида, поднявший мятеж против отца (2 Цар 15). *Двум Александрам.* Имеются в виду Горлин и Александр Николаевич Тихонов, возглавлявший «Всемирную литературу». *С лица... не воду пьем.* Обыгрывается пословица «С лица не воду пить». *Envoi* – заключительное четверостишие средневековой баллады, подводящее итог сказанному.

Сонет. Чукоккала, с. 225, автограф Б. Лившица, с пометой: «Бенедикт Лившиц (сочинено вместе с О. Мандельштамом)». Датируется по времени работы Д. И. Выгодского в изд-ве «Прибой» (входило в Госиздат). *Семейство из Полесья – Давид* Исаакович *Выгодский* (1893–1943, умер в лагере) – поэт, переводчик (с испанского) и литературовед, и его жена Эмма Иосифовна Выгодская (1900–1949) – писательница. Они были соседями Лившицев по квартире на Моховой ул. и приятелями Мандельштамов и Лившицев. *Ярл* – титул родовой знати у скандинавов в раннем средневековье.

«Эмаль, алмазы, позолота...». Наше наследие. 1989. № 5. С. 118, в воспоминаниях Э. Герштейн, которая поясняла: «Лева <Гумилев> подарил мне свою фотографическую карточку... На обороте стал писать акростих... Осип Эмильевич выхватил у него перо, быстро переделал “стройный” на “красит” и стремительно приписал: “Аршин трико иль шевиота”».

«Случайная небрежность иль ослышка...». Герштейн Э. Новое о Мандельштаме. Париж, 1986. С. 188–189. Печ. по записи С. Рудакова в письме к жене от 15 июня 1935 г. (ИРЛИ), где текст предварялся сообщением: «Сочинили с М. коллективно Басню». *Идиом* (здесь – то же, что идиома) – неразложимое словосочетание, значение которого не совпадает со значением составляющих его слов.

«Карлик-юноша, карлик-мимоза...». Герштейн Э. Новое о Мандельштаме. Париж, 1986. С. 188. Печ. по записи С. Рудакова в письме к жене от 3 апр. 1936 г. (ИРЛИ). Написано совместно с Рудаковым. *Карлик-юноша* – сосед М. по квартире; журналист, работник редакции воронежской газеты «Коммуна». *Елозо* Сергей Васильевич (1899–1938) в то время – ответственный редактор газеты «Коммуна» (Воронеж).

ПРИПИСЫВАЕМОЕ

В данный раздел не включены ст-ния, ранее атрибутировавшиеся Мандельштаму в Собраниях сочинений и периодических изданиях, для которых позднее установлено авторство других лиц: «Поэма об издательстве», «Печален мир. Всё суета и проза...», «Ах! Матовый ангел на льду голубом...», «Слышен свист и вой локомобилей...».

«На теле мраморных колонн...». Сохрани мою речь. М., 2000. Вып. 3, ч. 2. С. 99, в воспоминаниях Ольги Андреевны Овчинниковой. Текст предваряет пояснение: «В заключение я хочу привести его ранние стихи, <написанные> после посещения Екатерининского дворца и прогулок по Пушкину».

«В девятьсот двенадцатом, как яблоко румян...». Иванов Г. Непрофессиональная юмористика // Сатирикон. Париж, 1931. № 12. Печ. по этому изд., с исправлением опечатки по второй (неполной) публ.: ВП. Альм. 3, в воспоминаниях приятеля М. юношеских лет Г. Рабиновича, где последний писал о том, что стихи создавались после ссоры с родителями и последовавшей поездки в пансионат его отца в Мустамяках (по воспоминаниям, в нояб. – дек. 1913 г.; по биографическим сведениям – более вероятен 1912 г.). Стихи написаны, как следует из последних строк, о самом Мандельштаме (чему не противоречит то, что поэт любил читать его приятелям), а считать его автопародией, по качеству текста, слишком мало оснований. *Святой Мустамиан.* Здесь так назван Мандельштам («Мустамиан» – производное от «Мустамяки»). *Как яблоко румян.* Отсылка к персонажу известной по переводу В. Курочкина песни Беранже «Как яблочко румян».

«Пушкин имеет проспект, пламенный Лермонтов тоже...». ИД, под загл. «Всеволоду Рождественскому», с датой: 1923? Печ. по Собр. произв. Рождественский Всеволод Александрович (1895–1977) – поэт, в 1921 г. посещал собрания третьего Цеха поэтов в Доме искусств.

[Из тетради Д. И. Шепеленко]. Соч. Т. 1. Печ. по записи Д. И. Шепеленко (РГАЛИ. Ф. 2801. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 33 об.). Под записью его же подпись и дата. В тетради Д. Шепеленко вносил дневниковые записи, среди них имеются записи о М. и

брате М. Александре. В одну из тетрадей М. вписал ст-ние «Сестры – тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...» (см. примеч.). По этим обстоятельствам некоторая вероятность авторства М. имеется. *Шепеленко* Дмитрий Иванович (1897–1972) – писатель. Жил в начале 1920-х гг. в Доме Герцена по соседству с М., поставил свою подпись под заявлением М. в Правление ВСП (см. Т. 3 наст. изд.). В его кн. «Прозрения» (М., 1925. С. 20–21) содержится дневниковая запись: «Стройно держащий свою лысину Мандельштам осторожно шарит возле меня спичек». *Есть у Шепеленки, Что с Агглаидой Вонифатий Совокуплялся без объятий.* Обыгрывается запись Шепеленко в тетради: «Страдание Святого мученика Бонифатия. Возжелала Аглаида иметь у себя мученические мощи своего раба-любовника Бонифатия». В Четьих минеях житие Св. мученика Бонифатия излагается следующим образом: Бонифатий раб Аглаиды, живший нечестиво со своей госпожой. Она послала его на восток за мощами мученическими; Бонифатий, прибыв в Тарс киликийский, объявил себя христианином и после мук обезглавлен. Спутники принесли тело его в Рим к госпоже его в 290 году. Аглаида, богатая и знатная римлянка, приняла мощи, по извещению во сне Ангела, построила во имя его великолепную церковь в окрестностях Рима и, покаясь в прежних грехах своих, ро́здала имение бедным и стала жить при церкви в смирении, воздержании и великом благочестии и мирно отошла к Господу, удостоясь при жизни дара чудотворений. Св. мученику Бонифатию, по народному верованию, молятся об избавлении от пьянства. Он был роста небольшого с волосами желтыми. В службе канон Иосифа. Память 19 декабря.

«Вермель в Канте был подкован...». ИД. Включено в корпус ст-ний Б. С. Кузина (*34*, с. 403). *Вермель*. См. примеч. «Эпиграмма в терцинах».

«Как поехал Вермель в Дмитров...». ИД.

«Спит безмятежно...». ИД.

«У женщины, как и у обезьяны...». Собр. произв.

«Любил Гаврила папиросы...». Соч. Т. 1., где дано по списку Н. М. (СИ). Как сообщил нам в 1976 г. Н. Харджиев, от которого этот текст и получил распространение, написа-

но без участия М. *Эфрос... Абрам... Маркович* – см. примеч. «Маргулис – он из Наркомпроса...».

«Спросили как-то воина...». ИД. Печ. по: Полякова С. В. Осип Мандельштам: Наблюдения, интерпретации, неопубликованное и забытое. Ann Arbor, 1992. С. 164. В обеих публ. – без указания источника и даты.

ИЗ НЕЗАВЕРШЕННОГО И УТРАЧЕННОГО

«Поднять скрипучий верх соломенных корзин...». Новый журн. Нью-Йорк, 1957. Кн. 49, в тексте воспоминаний М. Карповича «Мое знакомство с Мандельштамом». Описывая встречи с М. в Париже в 1907–1908 гг., Карпович пишет: «В апреле 1908 г. я ездил на две недели в Италию. Мандельштам принял очень близко к сердцу это мое первое итальянское паломничество и отозвался на него стихами. Но даже из этого, мне посвященного стихотворения в памяти осталась только одна строка <...> (в моем багаже действительно была такая, вывезенная из России, корзина)».

«Я помню берег вековой...». ВРХД. 1979. № 129, в публ. А. А. Морозова «Мандельштам в записях дневника С. П. Каблукова». Печ. по дневнику С. П. Каблукова (РНБ), где сопровождается записью: «Еще он сказал мне, что, живя в Берлине, он хотел ответить на мои письма стихотворением, которое не удалось. Помнит из него три строфы» (К-1990, с. 242). Обращено к С. П. Каблукову, см. примеч. «Убиты медью вечерней...».

«Однажды прапорщик-заика...». Соч., т. 1. Печ. по записи Н. М. в машинописном своде стихов М., принадлежавшем П. Н. Лукницкому (ИРЛИ. Ф. 754. Коллекция. Альбом XIII-3. Л. 150).

«Архистратиг вошел в иконостас...». ВП. Альм. 4, в «Листках из дневника» А. Ахматовой. Печ. по записи Ахматовой (РНБ. Ф. 1073). Приводя стихи по памяти (отточиями указаны лакуны), Ахматова писала: «Легенда о его увлечении Анной Радловой ни на чем не основана <следует текст ст-ния>, т. е. пародию на стихи Радловой – он сочинил из веселого злодейства, а не par dépit, и с притворным ужасом где-то в гостях

шепнул мне: “Архистратиг дошел!”, т. е. Радловой кто-то сообщил об этом стихотворении» (7, с. 191). *Запахло валерьяном.* Обыгрывается созвучие в названии успокаивающего средства – настойки корня валериана (в обиходе называемой «валерьянкой») и имени верного поклонника Радловой – Валериана Адольфовича Чудовского (1882–1938?), в связи с обращенными к нему стихами Радловой из ее сб. «Соты» (1921): «Ты будешь мне Архистратигом сниться...», см.: *33*, с. 16; датируется по времени выхода в свет сб. «Соты».

«[.....] Канделаки...». Мандельштам Н. Вторая книга. Париж, 1972. С. 77, в следующем контексте: «Мы мотались по Грузии на птичьих правах, чужие и непонятные люди, сбежавшие из нищей в богатую и равнодушную страну. Так, должно быть, чувствовали себя беженцы из “Совдепии” в пышном Константинополе. В те дни я узнала, как горек чужой хлеб. Изредка Канделаки, министр просвещения, впрочем, они еще тогда были комиссарами, выписывал грошовую подачку за переводы, но на нее накладывал вето аскет Брехничев, русский уполномоченный при широком и щедром грузине. Про Брехничева говорили, что он расстрига, и не позволяли ему зажимать “своих”. От шуточных стихов тех дней у меня осталась строчка: “У него Брехничев вместо цепной собаки”, а от предыдущей только рифма – Канделаки...». *Канделаки* Давид Владимирович (1895–1937, расстрелян) – в 1921–1930 гг. нарком просвещения Грузии. Впоследствии – торговый представитель СССР в Швеции и Германии. По личному заданию Сталина вел секретные переговоры с Гитлером. *Брехничев* (правильно – Брихничев) Иона Пантелеймонович (1879–1968) – публицист, поэт; в 1921 г. – сотрудник Наркомпроса Грузии.

«Но я люблю твои, Сергей Бобров...». Соч., т. 1. Печ. по СИ. *Бобров Сергей* Павлович (1889–1971) – живописец, поэт, автор социально-утопических романов; стиховед; автор рецензии на книгу М. «Tristia» (Печать и революция. 1923. № 4). В 1920-е гг. работал статистиком.

«Старик Маргулис на бульваре...». Russian Literature. 1984. Vol. XV, iss. 1. С. 191, в статье А. Григорьева и Н. Петровой «О. Мандельштам: Материалы к биографии». Печ. по записи Н. М. в машинописном своде стихов М., принадлежавшем П. Лукницкому (ИРЛИ. Ф. 754. Коллекция. Альбом XIII-3.

Л. 149). См. примеч. к «Маргулетам». Н. М. писала об этой «маргулете» в двух местах книг воспоминаний: «Сам Маргулис был настоящим человеком-оркестром и высвистывал самые сложные симфонии. Жаль, что потеряны самые лучшие “маргулеты” о том, как “старик” исполняет на московских бульварах Бетховена» (*48*, с. 66); «...любил песенку, как он на бульваре высвистывает с Мандельштамом Бетховена. Эту мне не вспомнить...» (*49*, с. 134).

«И пламенный поляк, ревнивец фортепьянный...». СС 2. Т. 4. Печ. по этому изд. Цитировалось Н. М. во «Второй книге» (Париж, 1972. С. 137). *Пламенный поляк* – Шопен. *Рамо* Жан Филипп (1683–1764) – франц. композитор и музыкальный теоретик.

«Убийца, преступная вишня...». Соч. Т. 1. Печ. по записи Л. Гумилева 1960-х гг. (АМ). Писалось во время пребывания Л. Н. Гумилева в Москве в 1933–1934 годах.

«В оцинкованном влажном Батуме...». СС 2. Т. 4. Печ. по этому изд. Цитировалось Н. М. во «Второй книге» (Париж, 1972. С. 87), где пропавшее во время первого ареста ст-ние названо «Наши ночлеги» и дан коммент.: «Из погибших тогда стихов нам не удалось восстановить “наши ночлеги” (“Над Курою в ущелье лимонном шили платье у бедной портнихи”). К 13 мая 34 года стихи эти находились в работе, со стола забрали все рукописи, а в Воронеже выяснилось, что ни я, ни он не помним его наизусть».

«Я семафор со сломанной рукой...». Герштейн Э. Новое о Мандельштаме. Париж, 1986. С. 187. Печ. по письму С. Рудакова к жене от 17 апр. 1935 г. (ИРЛИ). В апреле Мандельштамы жили в комнате у самой линии железной дороги; у М. за полгода до этого была сломана рука. В то время железнодорожные семафоры имели вид столба с подвижной поперечной планкой.

«И веером разложенная дранка...». Мандельштам Н. Вторая книга. Париж, 1972. С. 447, где отнесено к стихам, написанным в последний год жизни, и прокомментировано: «В погибших стихах страна противостоит губительным силам – своим молчанием и тишиной, своим пассивным сопротивлением, укладом, жертвенной готовностью к любым испытаниям».

«Такие же люди, как вы, с глазами, вдолбленными в череп...». СС 2. Т. 4. Отнесено Н. Мандельштам к стихам, написанным «в последний год жизни в Воронеже» (Книга третья. Париж, 1987. С. 134). Ранее цитировалось в «Воспоминаниях» (1970; гл. «Золотые правила»). Фразу о сапожнике-армянине в письме М. от 26 апр. 1937 г. Н. М. прокомментировала: «ссыльные армяне сапожничал<и>. Это про них “лишенные холода тутовых ягод”» (Philologica. 1997. № 8/10. С. 180).

«В Париже площадь есть – ее зовут Звезда...». Мандельштам Н. Вторая книга. Париж, 1972. С. 675 (цитата); СС 2. Т. 4.

«Но уже раскачали ворота молодые микенские львы...». Baines J. Mandelstam: The Later poetry. Cambridge, 1976. P. 36, записано со слов Н. М. В стихе речь идет о Львиных воротах в Микенах.

ПЕРЕВОДЫ

Первую попытку переводить стихи Мандельштам сделал по совету И. Анненского (что известно по «Листкам из дневника» Ахматовой). Вероятно, к году встречи с Анненским (1909) относится незавершенный перевод «La chair est triste, helas...» С. Малларме:

Плоть опечалена, и книги надоели...
Бежать... Я чувствую, как птицы опьянели
От новизны небес и вспененной воды.
Нет – ни в глазах моих старинные сады
Не остановят сердца, пляшущего, доле;
Ни с лампою, в пустынном ореоле,
На неисписанных и девственных листах;
Ни молодая мать с ребенком на руках.[1]

Но все известные стихотворные переводы, если не считать сонетов Петрарки, включенных в «Новые стихи», были выполнены в сравнительно небольшой трехлетний период с конца 1921 до начала 1925 г. За это время М. перевел около 90 произведений, в том числе две драмы. В 1930-е гг., по свидетельству

[1] О переводе см.: Рагозина Ксения. Перевод, незаконченный и неудачный... // http://spintongues.msk.ru/ragozina.htm

Ахматовой, «Осип Эмильевич был врагом стихотворных переводов... Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, и заставить его переводить было почти невозможно» (7, с. 202). В 1920-е гг. гонорары за переводы были основным источником бюджета молодой семьи Мандельштамов, и этим объясняется их количество. В издательских условиях и рамках цензуры первых послереволюционных лет у М. еще была свобода выбора, и часть переводов сохранила достаточно яркие параллели к творческой биографии и образному строю собственных произведений поэта. Переводы из Ж. Расина и старофранцузского эпоса – дань памяти тем формообразующим влияниям, которые оказали на поэта романская литература и культура. О переводах из старофранцузского эпоса Н. М. писала: «Москва же была периодом клятв; обет нищеты... дан в “Алексее”, и он дополняется тем, что сказано в “Алискансе”. Это не просто переводы, и они должны входить в основной текст, как “Сыновья Аймона”. В этих вещах... Мандельштам выразил себя и свои мысли о нашем будущем» (49, с. 101). После них М. прибегает, с помощью переводов, к освоению нового революционного опыта (с революционной средой он соприкасался еще в училище, и эти влияния запечатлелись в его юношеских стихах). В этом нисхождении он делает три шага. В стихах О. Барбье революция и пореволюционная фаза даются в контексте историософском, на языке, привычном культурной среде его времени. Затем, в поисках психологии коллективизма, он обращается к творчеству французских поэтов-унанимистов (которое в свое время привлекло внимание также и Гумилева), в частности, к Ж. Дюамелю. Наконец, последней ступенью в постижении «психологии масс» стало обращение к творчеству пролетарского поэта М. Бартеля – наиболее крупной и одновременно завершающей переводной работе Мандельштама.

Жан Расин

Начало «Федры». К3 (единственный источник текста). Датируется по БП, где приведены сведения, полученные от Н. М.: «поэт получил предложение перевести трагедию полностью, но был переведен только отрывок». Обращение к «Федре» Расина прослеживается у М. с 1914 г., см. примеч. «Ахматова», «– Как этих покрывал и этого убора...» и к ста-

тье «Скрябин и христианство». В статье «О природе слова» (1922) говорилось: «Акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее было для эпохи. Расин раскрылся на “Федре”...». Перевод представляет собой диалог Ипполита, сына *Тезея* (Тесея; см. примеч. «– Как этих покрывал и этого убора...») и его воспитателя *Терамена. Узор Трезенских стен всегда меня коробил.* Трезен(а) – город в Пелопоннесе, родина Тезея. *Где глохнет Ахерон в жилище мертвецов.* По греч. мифам, Ахерон – река на северо-западе Греции – отделяла землю от царства мертвых. *Эвлида* (Элида) – гавань в Беотии. *Тенар* (Те́нарон) – мыс на юге Пелопоннесского полуострова. *Мне рассказала зыбь о рухнувшем Икаре.* У Расина речь идет об Эгейском море, где, по преданию, нашел свою гибель Икар. *Искатель новых нег.* О многочисленных любовных похождениях Тезея сообщал Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях».

Из старофранцузского эпоса

Эти переводы были выполнены М. в 1922 г. и явились поздним свидетельством его интереса к культуре романского средневековья, отразившегося и в его стихах 1912–1913 гг. (в 1909 г. в Гейдельбергском университете он слушал лекции по истории средневековой франц. литературы и по интерпретации старофранцузского текста). Свои переводы М. собрал в книгу, договор на издание которой заключил с московским Госиздатом, а несколько позже – с «Всемирной литературой» в Петрограде; «Сыновья Аймона», кроме того, включались в сборники (см. примеч. к этому ст-нию). Представленные в издательства рукописи (списки Н. М.) сохранились и ныне находятся в ИМЛИ; согласно архивным пометам, будем различать их как «Рукопись 1» и «Рукопись 2». Кроме включенных в наст. изд., в них вошли отрывки из «Паломничества Карла Великого в Иерусалим и Константинополь» и «Коронования Людовика», а также поэма «Берта – Большая Нога» в обработке Адене-ле-Руа. В примеч. мы использовали коммент. А. Д. Михайлова (Соч., т. 2).

Песнь о Роланде. Slavica Hierosolymitana. 1979. Vol. 4. Печ. по «Рукописи 2» (ИМЛИ), с исправлением описки в ст. 64 гл. 2 (было: «А уж я отпущу вас...»); опущены означения «Аой», смысл которых утрачен, и, кроме того, в переводе попавшие

не на свое место. М. перевел стихи 1–9, 1070–1151, 1978–2023, 2338–2417, 2512–2740, 3705–3733 «Песни о Роланде» (по Оксфордскому списку). Дошедший до нас текст «Песни о Роланде» сложился не ранее XII в., в эпоху крестовых походов, и не имеет почти никакой связи ни с целями, ни с реальными обстоятельствами похода Карла в Испанию 778 года, в котором погиб один из его военачальников, маркграф Хруодланд (Роланд). Прототипы некоторых персонажей «Песни...» действовали в более позднее время, а некоторые имена вообще вымышлены; ниже эти исторические несоответствия, как правило, не оговариваются. Передача личных имен в поэме вариативна: Оливье – Оливьер, Ронсеваль – Ронсево и др. *Марсилъ* (Марсилий) – сарацинский царь. *Аполлону рад.* В «Песне...» сарацины считаются язычниками, и поэтому им приписывается вера в богов древнегреческого пантеона. *Олифант* (Олифан) – рог из слоновой кости (откуда и название), принадлежавший Роланду. *Дюрандаль* («твердый») – меч Роланда. *Оливье* – по поэме, один из пэров, соратник Карла Великого. *Аспрское ущелье* – горный проход в Пиренеях; отряд Роланда прикрывает идущее по нему войско Карла (о нем идет речь в следующем стихе). *Генелон* – по поэме, один из соратников Карла Великого, оказавшийся предателем. *Василий-мученик* – архиепископ Херсона (в царствование Диоклетиана), принявший мученическую смерть от язычников. *Дионисий* – святой, считавшийся первосвятителем Галлии и покровителем Франции. *Перчатку в знак смирения снял с правой руки.* В средние века этот жест был традиционным в отношении вассала к своему сюзерену. *Воскресивший Лазаря* – согласно Евангелию от Иоанна (гл. 11). *Даниила вырвавший из львиных лап* – согласно Книге пророка Даниила (гл. 6). *Ронсеваль* – местность, где произошло сражение. *Племянник мой.* Речь идет о Роланде. *Архиепископ* – Турпин, упоминавшийся выше; далее перечисляются погибшие вместе с ним пэры. *Князь Наймон* – ближайший советник Карла. *Шарлеманъ* – Карл Великий. *Айс* – Аахен, столица Карла. *Дог.* В оригинале здесь говорится о медвежонке, который, как полагают исследователи, олицетворяет предателя Генелона (см. выше). *Бранимонд* – жена Марсиля. *Оскорбляют его.* Здесь и ниже в поэме отразились средневековые представления о нравах мусульман: они бесчестят своих идолов в наказание за собственные неудачи. *Терваган* – языческое божество. *Карбункул* – драгоценный камень. *Эмир* – упоминающийся ниже Балиган, который должен был идти с

войском на помощь Марсилю. *Вавилон* – воображаемая столица сарацин; отождествляется с Новым Вавилоном (Каиром). *На верхушках... много карбункулов.* Считалось, что драгоценные камни ночью светятся и их можно использовать в качестве фонарей. *Марброза и Марбриза* – легендарные топонимы. *Эбр* – река в Испании. *Магом* – Магомет. *Блун.* Это имя (между имен других легендарных персонажей) введено переводчиком. *Альда* – сестра Оливье, невеста Роланда. *Хлодвиг* – сын Карла, будущий король Людовик Благочестивый.

Алисканс. СС 2. Т. 1. Печ. по «Рукописи 2» (ИМЛИ). Поэма входит в эпический цикл Гильома Оранжского. В ней рассказывается о сражении франков с сарацинами при *Алискансе* – древнеримском некрополе в окрестностях Арля. В переведенном отрывке рассказывается, как Гильом (*Вильгельм*) Оранжский после поражения от сарацин и гибели племянника Вивьена приходит в свою столицу, чтобы собрать новое войско. *Гибурк* – жена Вильгельма (Гильома), сарацинская царевна, до крещения носившая имя Орабль. *Курносый* – кличка Вильгельма (Гильома): его нос был поврежден в сражении. *Бадук* и *Дерамед* – вожди сарацин, Дерамед был отцом Гибурк. *Что близ Нейрона убит.* Это неточность перевода: в оригинале речь идет об апостоле Петре, который «блюдет Луг Неронов», т. е. Ватиканский холм в Риме, где когда-то находился сад, разбитый императором Нероном. *Ураст.* Здесь перевод неточен: на самом деле речь идет о сарацинском военачальнике Корсольте из Ураста.

Жизнь святого Алексея. СС 2. Т. 1. Печ. по «Рукописи 1» (ИМЛИ), но без сохранения разбивки стихов на полустишия. Этот список содержит авторские исправления и пробы переработки некоторых стихов. Не удовлетворенный, как представляется, качеством перевода некоторых мест, М. вычеркнул два фрагмента. После «Я годами убелен, серебрят меня седины» следовало:

Для тебя я сохранял почести и вклады,
Ты ж с презреньем отвернул от них свои взгляды!
Превеликая скорбь на меня сошла ныне.
Пусть в пресветлый Божий рай душа твоя внидет!
Лучше б ты доспехи взял – рыцарь с малолетства,
Препоясался мечом, как сверстники детства.

После «Что она теперь гниет в земле сырой и холодной» следовало:

Благородный юноша, как я должна плакать, –
Ожидала я давно хорошего знака,
Но печальные пришли известия, однако!

Исключенные стихи в наст. изд. заменены отточиями. Загл. приводится по «Рукописи 2» как соответствующее оригиналу; в «Рукописи 1» текст озаглавлен (возможно, в предвидении цензуры) /Из повести об Алексее/ и снабжен примеч.: /Один из древнейших памятников французской словесности: зачаток романа и драматического светского повествования/. Оригинал датируется серединой XI в. По легенде, *Алексей* (Алексий) – Человек Божий родился у дотоле бездетной четы знатных римлян в царствование Аркадия и Гонория (IV–V в.). Он получил наилучшее воспитание и образование; после совершеннолетия родители нашли для него невесту из царского рода. Однако после брачного пира Алексей тайно оставил дом и начал, раздав свои деньги и одежду, странствовать и нищенствовать. Через 17 лет он, вопреки своей воле, снова попадает в Рим и находит, неузнанный, приют в доме своего отца, где прожил еще 17 лет; лишь после смерти Алексея из его письма (см. ст. 1) обнаружилось, кем был нищий.

Огюст Барбье

Над этой группой переводов М. работал в 1923 г. Помимо включенных в наст. изд., он перевел стихотворения Барбье «Бронза», «Джин», «Ирландские холмы», «Шахтеры Ньюкестля». Влияние Барбье проявилось в ст-нии «Язык булыжника мне голубя понятней...». Барбье Анри Огюст (1805–1882) – французский поэт. Сохранился сб. Барбье «Ямбы и поэмы» (1858), с многочисленными пометами М. (в 1980-е гг. – в собр. А. Ж. Аренса).

Собачья склока. Прожектор. 1923. № 13 (15 авг.). Печ. по этой публ. с поправками Н. Харджиева (БП), устранившими мелкие неисправности журнального текста (за исключением поправки в ст. 1 гл. 2, редакцию которой считаем авторской). Перевод ст-ния «La Curée»; загл. является охотничьим термином, не имеющим русского эквивалента, и означает ту часть убитой дичи или зверя, которую дают охотничьей со-

баке. В статье, предваряющей публ. перевода (см. «Заметку о Барбье» и примеч. в 3 томе наст. изд.), М. писал: «Его поэзия родилась из ощущения контраста между величием пронесшегося урагана и убожеством достигнутых результатов… еще не высохла типографская краска, как имя поэта было у всех на устах. Слава пришла одним ударом, одним стихотворением, потом она надолго померкла». *Жуя патроны.* Здесь поэтическая вольность: на самом деле жевали войлочный или бумажный пыж для дульной зарядки кремневого ружья. *Свобода – это вам…* С образом Свободы в ст-нии Барбье традиционно связывается фигура «Свободы на баррикадах» на картине Делакруа. *Сен-Жермен* – аристократический квартал на левом берегу Сены, против Лувра. *Фригийский… колпак* – см. примеч. «Язык булыжника мне голубя понятней…». *С двадцатилетним вдруг бежала капитаном.* Речь идет о Наполеоне Бонапарте; ниже подразумеваются события, последовавшие за Великой французской революцией.

1793. Наши дни. М.; Пг., 1924. № 4. Печ. по этой публ., ст. 2 исправлен по беловому автографу (стихов 1–8) из собр. Е. Э. Мандельштама (в печатном тексте было: /Устал греметь горохом недовольства/). Перевод ст-ния «Quatre-vingt-treize». 1793 год был годом наивысшего напряжения Великой французской революции: на фоне неудач республиканской армии в сражениях против интервентов и мятежников Тулона прошедшие 31 мая – 2 июня выступления парижан привели к власти якобинцев, вскоре установивших режим революционного террора. *Народ героев нанизал на реи.* Подразумевается термидорианский террор после падения якобинцев в 1794 г. *И выстрелил четырнадцатью армий.* Во второй половине 1794 года республиканские войска одержали несколько побед на фронтах боев с интервентами.

Мятеж. Звезда. 1924. № 3. Печ. по этой публ., с исправлением опечатки в ст. 9. Перевод вступительной части ст-ния «L’émeute».

Это зыбь. Звезда. 1924. № 2. Печ. по тексту: Накануне. 1924. 9 марта. Перевод заключительной главки ст-ния «La Popularité». *Моряна* – ветер с моря. *Светлана.* Здесь – условное поэтическое имя (введено Жуковским). *Корибантка* – служительница оргиастического культа фригийской богини Кибелы.

Наполеоновская Франция. Пролетарская правда. Киев, 1924. 6 янв. Печ. по тексту: Красный журн. для всех. 1924. № 3. Перевод гл. 3 из ст-ния «L'Idole» (с пропусками). В «Заметке о Барбье» М. упоминает это ст-ние под загл. «Истукан»: «...два последние, направленные против культа Наполеона: "Популярность" и "Истукан". В ненависти своей к Наполеону Барбье одинок во всей романтической школе. Для Наполеона приберегает он самые сокрушительные, дантовские образы. Для него Наполеон еще жив. Яд наполеоновского культа, разлагающий демократию того времени, яд, приготовленный в лабораториях лучших поэтов и художников, он рассматривает как опаснейший токсин». *Мессидор* – название месяца республиканского календаря (с 19–20 июня по 18–19 июля); в переводе означает «дар жатвы». *Ясь* – ясность. *Овидь* – горизонт, самый дальний план обозримого.

Жорж Дюамель

Ж. Дюамель (1884–1966) – французский писатель. Входил в группу «Аббатство» (1906), примкнул к унанимистам. М. перевел также книгу его прозы «Письма к моему другу патагонцу» (1927).

Ода нескольким людям. Современный Запад. 1923. № 3. Перевод «Ode à quelques hommes» из сб. «Спутники» (1912).

Макс Бартель

М. Бартель (1893–1975) – немецкий поэт. Родился в рабочей семье (был сыном каменщика). С четырнадцати лет работал, вступил в социалистический союз рабочей молодежи; бродяжничал по странам Европы. Четыре года сражался на фронте солдатом. Со стихами выступил в 1916 г. В 1918 г. вступил в коммунистическую партию Германии и участвовал в ноябрьской революции в Штутгарте; после подавления революции пять месяцев провел в тюрьме. В 1920 г. совершил длительную поездку по России. М. в 1924 г. перевел 50 его стихотворений из четырех сборников и издал их книгой под названием «Завоюем мир!» (Л., 1925), предварив ее своим предисловием: «На примере Бартеля мы видим, как историческая необходимость создает классового поэта из чуждого материала, перерабатывая в горниле классовой борьбы идеалистическую психологию,

преодолевая символизм и заставляя служить интересам масс весь арсенал буржуазной поэтики... Тоска по обетованной стране культуры, которую должен завоевать пролетариат, напоминает у Бартеля тягу старших немецких поэтов к Италии, к блаженному югу. В его "Утопии" – жгуче-синее небо, растут лавры и т. п. Это – классовый романтизм культуры, оправданный временно противоречием в самом существе положения германской рабочей массы. В лице Бартеля германская поэзия, насыщенная музыкой и мощным чувством природы (чувством космическим), пошла на службу революции. Интересно, как пульсируют у Бартеля самые обычные "поэтические" образы: так, например, лес неоднократно становится у него, с глубокой внутренней логикой, воплощением коллективной мощи и действия... Когда читаешь Бартеля, нельзя забывать огромное значение *песни* в общественной жизни Германии. Певческие союзы... в буржуазных студенческих и рабочих кругах Германии – политическая сила, агитационные аппараты. И Бартель своими стихотворными брошюрками... обращается не просто к массе, а к поющей массе. Формально – выученик германского символизма, исторически – ученик войны и русской революции, он пытается претворить ее в кровь и голос германского пролетариата».

Все тексты в наст. изд. печатаются по книге «Завоюем мир!»; она является единственным источником текста для тех ст-ний, первая публ. которых не указана ниже в примеч. В примеч. использовались данные из статьи Х. Мейера (*115*).

Петербург. Красная газ. 1924. 12 окт. Перевод ст-ния «Petersburg». *Наш ноябрь – свистун германский*. Подразумевается неудача ноябрьской (1918 г.) революции в Германии.

«Кто я? Вольный бродяга я...». Перевод ст-ния «Der Wind».

«Если мы уж собрали́сь...». Перевод ст-ния «Erleuchtung». *Стрепет* – степная птица.

«Тюремные братья, в весенние дни...». Немецкий оригинал не обнаружен. *Некар*. Вероятно, в переводе М. буквально заимствовал слово «necker» (дразнить, подтрунивать).

Птицы. Красный журн. для всех. 1924. № 7; Молодая Германия. Харьков, 1926 (другая редакция). Немецкий оригинал не обнаружен.

«Ты сейчас блуждаешь где-то...». Перевод ст-ния «Liebeslied».

Неизвестному солдату. Перевод ст-ния «Alles Schwere, was auf meinen Händen lastet...».

«Янтарных персиков румянец...». Перевод ст-ния «Die zarte Glut».

«Простерла руку жизнь над нами...». Перевод ст-ния «Der Liebende».

Колосья. Перевод ст-ния «Gras».

Гроза права. Перевод ст-ния «Wald und Berg».

«На заре румяной...». Перевод ст-ния «In der Morgenfrühe».

«Хоть во сне – с тобой да побуду!..». Перевод ст-ния «Lied in der Schweiz».

Верден. Красный журн. для всех. 1925. № 3. Печ. с восстановлением редакции последнего стиха по первой публ. (в книге «набег» вм. «на бег»). Перевод ст-ния «Verdun».

Утопия. Звезда. 1925. № 2 (автором ошибочно указан Э. Толлер). Перевод ст-ния «Utopia».

Деятель. Перевод ст-ния «Der erste Traum».

Призыв. Звезда. 1924. № 5, под загл. /Клич/. Перевод ст-ния «Der Aufruhr».

Пробуждение города. Перевод ст-ния «Erwachen der Stadt».

«Проснулся день, враждебный музыке и снам...». Перевод ст-ния «Uberschlag».

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мандельштам писал стихи для детей в 1924–1926 годах. С его текстами были изданы четыре детские книжки: Примус. Рис. М. Добужинского. Л.: Время, 1925; 2 трамвая. Рис. Б. Эндера. Л.: Гос. издательство, 1925; Шары. Рис. Н. Лапшина. Л.: Гос. издательство, 1926; Кухня. Рис. В. Изенберга. Л.: Радуга, 1925. Тексты стихотворений приводятся по перечисленным изданиям. Названия стихотворений, в книге «Примус» замещаемые рисунками, даны в настоящем издании в квадратных скобках. Стихи, включенные в книги, предварительно публиковались в периодической печати: «Чистильщик»; «Полотер», «Кооператив» – Новый Робинзон. 1925. № 4 (под общим загл.: В городе. С рис. Н. Л<апшина>); «Сахарная голова...» – Мурзилка. 1926. № 1; «В нашем кооперативе...» – Искорка. 1926. № 11. В раздел «Стихотворения, не вошедшие в книги» включено стихотворение «Муравьи», опубликованное: Юные строители. 1924. № 18, а также шесть стихотворений из невышедшей книги, подготовленной для издательства «Время», ее наборная рукопись сохранилась в фонде издательства (ИРЛИ. Ф. 42). Эти стихотворения впервые напечатаны: СС 2. Т. 2 и 3.

А. Г. Мец

О поэте
(ОЧЕРК БИОГРАФИИ)

Осип (Иосиф) Эмильевич Мандельштам родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве, в еврейской семье. Была ли Варшава в то время местом постоянного жительства родителей, или они оказались здесь по случаю – неизвестно. Так же мало известно о родителях и прародителях поэта и первых годах его жизни. По фамильному преданию, предки Мандельштамов были выходцами из Испании, основателем рода – ювелир при дворе курляндского герцога Э. И. Бирона. Носители фамилии, среди которых были видные врачи и ученые, происходили из местечка Жагоры Шавельского уезда Ковенской губернии. Отец поэта, Эмилий Вениаминович (Эмиль Хацкель Беньямин, ок. 1851–1938), обучился кожевенному делу и стал, вслед за дедом[1], мастером по обработке кож. В 1889 году он женился на Флоре Осиповне Вербловской (ок. 1866–1916). Мать поэта до замужества жила в Вильно и получила основательное музыкальное образование; есть сведения о том, что она еще в 1900-е годы давала уроки музыки. Выросла она в интеллигентской среде, прикосновенной к русской культуре и общественному движению той поры (по существу – к движению революционному). Родным языком матери был русский[2].

---

[1] Сведения о родителях отца удалось собрать Р. Д. Тименчику (Мандельштам и Латвия // Даугава. 1988. № 2. С. 94).

[2] Впечатлениям детства и семье посвящены несколько глав «Шума времени». О родителях и их родственниках, отношениях в семье оставил воспоминания младший брат поэта, Евгений (Новый мир. 1995. № 10. С. 119 и далее).

После женитьбы дела отца шли хорошо. Он занялся изготовлением перчаток и перевез семью в Павловск (около 1894 года), а еще через несколько лет (около 1897 года) – в Петербург. Здесь мы видим его на вершине деловых успехов – владельцем мастерской и купцом первой гильдии; со второй половины 1900-х годов, после революции 1905 года, его дела шли все хуже, и к 1917 году он разорился окончательно.

Семья не была дружной – отец был всецело занят делом, в интересы домашних не вникал; глухие упоминания о размолвках между родителями сохранились в «Шуме времени». Воспитание детей, а к концу 1890-х годов у них родилось трое сыновей, лежало полностью на матери. Дети, как было принято в семьях с достатком, с ранних лет получали домашнее образование, направленное главным образом на обучение языкам, – для этого к мальчикам и нанимали описанных в «Шуме времени» «француженок» и «швейцарок», – и с начатками музыкальной грамоты. Осипа учили играть на фортепиано. Занятия музыкой продолжались вряд ли дольше, чем несколько лет, и все же ребенок получил знания прочные и проявил свои к ней способности: десятки лет спустя Мандельштам помнил наизусть сложные партитуры и, не имея никакой практики, был способен играть вещи классического репертуара. Но главное, что вынес ребенок из этих занятий, – тонкое понимание музыки, ее языка. Один из людей, близко знавших поэта в 1910-е годы, композитор Артур Сергеевич Лурье, писал: «Мандельштам страстно любил музыку, но никогда об этом не говорил. У него было к музыке какое-то целомудренное отношение, глубоко им скрываемое. Иногда он приходил ко мне поздно вечером, и по тому, что он быстрее обычного бегал по комнате, ероша волосы и улыбаясь, но ничего не говоря, и по особенному блеску его глаз я догадывался, что с ним произошло что-нибудь “музыкальное”. На мои расспросы он сперва не отвечал, но под конец признавался, что был в концерте... Потом неожиданно появлялись его стихи, насыщенные музыкальным вдохновением... Мне часто казалось, что для поэтов, даже самых подлинных, контакт со звучащей, а не воображаемой музыкой не является необходимостью и их упоминания о музыке носят скорее отвлеченный, метафизический характер. Но Мандельштам представлял исключение; живая музыка была для него необходимостью. Стихия музыки питала его поэтическое сознание, как и пафос государственности, насыщавший его поэзию»[1].

[1] Осип Мандельштам // Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 272.

В 1899 году ребенка отдали в первый класс только что открытой общеобразовательной школы князя Тенишева, через год преобразованной в Тенишевское коммерческое училище. Об этом начинании стоит рассказать немного подробнее. В это время росло недовольство школьным образованием. Попытки проведения реформы, в которых участвовали и некоторые чиновники Министерства народного просвещения, терпели неудачу, наталкиваясь каждый раз на нежелание Императора. Тогда группа педагогов посвятила в свои планы Вячеслава Николаевича Тенишева (1844–1903), известного своей благотворительной деятельностью на ниве отечественной культуры, науки и просвещения. Тенишев, в ту пору уже отошедший от предпринимательской деятельности и занимавшийся исследованиями в области этнографии и социологии, на проект откликнулся. Поскольку все гимназии были подведомственны Министерству народного просвещения, решено было, чтобы уйти от этой опеки, организовать школу под вывеской коммерческого училища (они находились тогда в ведении Министерства финансов). Был куплен земельный участок, и к 1900 году архитектор Р. А. Берзен построил на нем здание училища (Моховая, 33–35), и поныне остающееся лучшим школьным зданием России. Уже в то время здесь были физический и химический классы, приспособленные для проведения элементарных опытов, небольшая астрономическая обсерватория и, наконец, прекрасная аудитория, спроектированная как античный амфитеатр. Когда князь умер и училище лишилось дотаций, собственником стало товарищество педагогов, владевшее училищем на паях. Аудиторию начали сдавать для проведения лекций, вечеров и диспутов.

В училище установилась атмосфера педагогического эксперимента. Здесь не было ни дневников с оценками, ни классных кондуитов; не сдавали и переходные – из класса в класс – экзамены. Только выпускные экзамены пришлось сохранить: ведь нужно было выдавать аттестаты, а в них должны были фигурировать оценки по дисциплинам.

В 1904 году преподавателем в училище был принят Владимир Васильевич Гиппиус. Поэт-декадент, в пору юности – товарищ Ивана Коневского и Александра Добролюбова (в это время среди поэтов имена уже легендарные), Гиппиус по праву ощущал себя родоначальником того направления в

русской литературе, которое позднее предстало как символизм. Ему целиком посвящена глава «В не по чину барственной шубе» в «Шуме времени».

К 1905 или 1906 году относятся первые стихотворные опыты Мандельштама. Самые ранние из дошедших до нас стихи связаны с впечатлениями от разгрома восстания крестьян в Зегевольде, упоминающегося в «Шуме времени»: то было время, когда вслед за поражениями России в Русско-японской войне поднялось революционное движение, нашедшее широкий отклик в среде студенческой и школьной молодежи. В это время Мандельштам сблизился со своим одноклассником Борисом Синани, отец и старшая сестра которого были связаны с активистами партии эсеров. Оба юноши тогда же вошли в эсеровскую молодежную организацию, задачей которой была агитация – «подвиг начинался с пропагандистского искуса»[1]. Вскоре он от этих настроений отходит, переосмысливая свой порыв, не без влияния Вл. Гиппиуса, в духе религиозно-философских веяний времени. «Первые мои религиозные переживания относятся к периоду моего детского увлечения марксистской догмой и неотделимы от этого увлечения... Я прошел 15-ти лет очистительный огонь Ибсена – и хотя не удержался на “религии воли”, но стал окончательно на почву религиозного индивидуализма и антиобщественности» – писал, с присущим ему максимализмом взглядов, юный поэт своему учителю литературы в апреле 1908 года из Парижа[2].

После окончания училища в 1907 году он уезжает в Париж, чтобы слушать лекции в Сорбонне – старейшем университете Франции. Занятия посещает мало, живет в Париже уединенно, отдавая время чтению и писанию стихов и прозы. Возвратившись в следующем году в Петербург, пытается поступить в университет, но терпит неудачу (прием лиц иудейского вероисповедания, к которому Мандельштам был причислен по национальной традиции, ограничивался тогда трехпроцентной нормой). Весной 1909 года он попадает на занятия по стихосложению, которые вел в своей квартире – знаменитой «Башне» – Вячеслав Иванов, имя которого, как и имена Федора Сологуба, Константина Бальмонта, Валерия

[1] О годах учебы в Тенишевском училище подробнее см.: Мец А. Г. Осип Мандельштам и его время: анализ текстов. СПб., 2005. С. 7–50.

[2] Письмо см. в т. 3 наст. изд.

Брюсова, Александра Блока и Андрея Белого, знаменовало собой вершину поэтических достижений тех лет. Вячеслав Иванов оценил дарование Мандельштама и оказывал ему поддержку на его пути поэта – вероятно, он и рекомендовал стихи Мандельштама в только что основанный журнал «Аполлон», в девятом номере (июль – август) которого за 1910 год и состоялся его поэтический дебют. С осени 1909 года он слушает лекции в Гейдельбергском университете; летом 1910 и 1911 годов путешествует с семьей по Швейцарии и Германии, посещает Рим и Геную. В 1910 году он знакомится с деятелем Религиозно-философского общества С. П. Каблуковым, сразу оценившим поэтическое дарование юноши и много ему содействовавшим вплоть до своей смерти в 1919 году.

В мае 1911 года, в Выборге, Мандельштам крестился и перешел в епископско-методистское исповедание. Осенью поступил на романо-германское отделение Петербургского университета, но занятий почти не посещал: весь год он живет в Финляндии, только наездами бывая в Петербурге – на концертах, собраниях Общества ревнителей художественного слова при «Аполлоне» и на заседаниях Цеха поэтов, в который он вошел к этому времени. Цех был основан Н. С. Гумилевым и С. М. Городецким в противовес уже названному выше Обществу ревнителей художественного слова, возглавлявшемуся Вяч. Ивановым; он был призван объединить поэтическую молодежь, искавшую для себя путей вне еще недавно безраздельно господствовавшего символизма. У последовательно шедших этим путем постепенно складывается общее мировоззрение и осознаются те поэтические приемы, которые все больше начинают определять характер поэзии заявившей о себе к концу осени 1912 года группы акмеистов – Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама, С. Городецкого, М. Зенкевича, В. Нарбута (Георгий Иванов и, позднее, Георгий Адамович разделяли устремления группы, но формально не были в нее включены). Органом группы на короткое время стал «Аполлон», на страницах которого в первом номере 1913 года были помещены программные статьи Гумилева и Городецкого. В следующих номерах появились две статьи Мандельштама, также программного характера, – «О собеседнике» и «Франсуа Виллон» (№ 2 и 4). Критикой новое направление было встречено недоброжелательно, и только в 1916 году В. М. Жирмунский в ста-

тье «Преодолевшие символизм» дал поэтам группы сочувственную и содержательную характеристику[1]. В конце марта 1913 года вышел и первый сборник Мандельштама, названный, в соответствии с провозглашенной в статье «Утро акмеизма» концепцией, «Камнем». На этот год приходится создание лучших стихов книги – «Адмиралтейства» и «Петербургских строф», надолго запомнившихся современникам и неизменно включавшихся с этого времени в антологии.

В это время мы видим Мандельштама уже окончательно и безоглядно вступившим на поприще поэта. Не имея заработков, он существует почти исключительно на средства, которые не очень щедро дает отец, дела которого к этому времени пошатнулись; живет, отделившись от родителей, то в Финляндии (в 1911–1912 годах значительную часть времени), то снимает комнату в Петербурге. Он довольствуется малым и естественно живет жизнью петербургской богемы, не отождествляя, однако, себя с нею, – как сказано в первой редакции одного из стихотворений «Камня»:

В душном баре иностранец,
Я нередко, в час глухой,
Уходя от тусклых пьяниц,
Становлюсь самим собой.
(«Дев полуночных отвага...»)

Период «Камня» совпал со временем расцвета русской культуры – ее «серебряным веком», но он пришелся также и на завершение «петербургского периода» русской истории. Рубежом стала Первая мировая война. На ее начало Мандельштам откликнулся еще совершенно в духе тютчевского «зрителя высоких зрелищ» стихотворением «Европа». Конец 1914 года отмечен в биографии поэта усвоением историософских идей П. Я. Чаадаева, отразившихся в стихах и статье, помещенной в 1915 году «Аполлоном» (№ 6/7). В конце 1915 года выходит второе, расширенное издание «Камня».

«Его дружба с женщинами, при всей глубине и страстности чувства, была твердыми мостами, по которым <Гете> переходил из одного периода жизни в другой», – написал Мандельштам в радиокомпозиции «Молодость Гете» (1935)[2].

[1] Рус. мысль. 1916. № 12. Эстетику символизма и акмеизма он противопоставлял как романтическую и классицистическую.

[2] См. в т. 3 наст. изд.

Конечно, эта мысль преломилась сквозь собственный жизненный опыт. Дружба с Мариной Цветаевой, влюбленность в нее были для Мандельштама мостом из «Камня» в «Tristia» – книгу высокой поэтической зрелости. Они были знакомы по Коктебелю с лета 1915 года, но взаимное увлечение испытали в январе 1916 года, когда Цветаева приехала в Петроград со своими новыми, посвященными Германии стихами:

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам!
Ну как же я тебя оставлю?
Ну как же я тебя предам?
(*«Германии»*)

Стихи эти во время войны с Германией звучали вызывающе смело. Ответом был «Зверинец» Мандельштама:

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры...

Первую половину года поэт проводит в Москве; об этом периоде его биографии известно мало – только много сказавшие стихи его и Цветаевой, вошедшие позднее в «Tristia» и «Версты». Летом он живет в Коктебеле, а осенью возвращается в Петроград, чтобы стать свидетелем неотвратимо приближавшейся революции. В стихах этой осени – отзвуки угасания Императорской России:

Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебеи,
Старухи-овцы – черные халдеи,
Исчадье ночи в капюшонах тьмы...
Им нужен царь и черный Авентин...

После Февраля 1917 года поэт, как сказано позднее в стихах, «от рева событий мятежных» – «бежит к нереидам на Черное море»: весной живет в Алуште в кругу петербургских знакомых, осенью – в Феодосии. Но – оказывается в Петрограде как раз в миги «высоких зрелищ»: во время июньских событий и перед 25 октября, в предвидении выступления большевиков. Октябрьскую революцию он воспринимает как катастрофу и печатает антиленинское стихотворение «Когда октябрьский нам готовил временщик...»[1]. В конце 1917 – на-

[1] См. примечания к стихотворению в наст. изд.

чале 1918 года Мандельштам вместе с Ахматовой принимает участие в концертах Политического Красного Креста, выручка от которых направлялась заключенным в Петропавловской крепости членам Временного правительства, среди которых был и его знакомый по Религиозно-философскому обществу А. В. Карташев. Источником средств к существованию тогда могла быть только государственная служба, и Мандельштам служит – сначала в Комиссии по разгрузке Петрограда, а после переезда в Москву в мае 1918 года – в отделе реформы школы Комиссариата народного просвещения[1]. Летом этого года произошла одна из тех громких историй, которые окрасили мандельштамовскую биографию. В московском кафе, где собирались поэты, Яков Блюмкин, один из видных эсеровских деятелей (эсеры входили тогда в состав правительства), работавший в ЧК, стал похваляться, что жизнь и смерть взятых под арест заложников находятся в его руках, и кстати упомянул о том, что подписал приговор о расстреле одному из заключенных. Мандельштам возмутился, выхватил из рук Блюмкина и порвал ордер (хотя имя намеченной жертвы было ему совершенно неизвестно), а на следующий день убедил Ларису Рейснер ехать к Дзержинскому. Поездка состоялась, и жизнь человека была спасена. История приобрела огласку, Блюмкин искал Мандельштама, чтобы с ним расправиться, и тому пришлось на время уехать из Москвы[2].

В феврале 1919 года Мандельштам уехал из Москвы, «столицы непотребной»[3], на юг России. В Харькове он работал в Наркомпросе Украины, а в апреле вместе с Наркомпросом переехал в Киев. Город в это время был переполнен беженцами с севера, среди них было много петербуржцев, знако-

[1] Биографически этот период мало изучен. См.: Нерлер П. М. Осип Мандельштам в Наркомпросе в 1918–19 гг. // Вопросы литературы. 1989. № 9.

[2] Эту историю, придав ей комическую окраску, изложил Георгий Иванов в книге «Петербургские зимы» (1928) (см.: Иванов Г. Собр. соч. М., 1994. Т. 3. С. 94–98). Коррективы внесла Н. Я. Мандельштам (Воспоминания. М., 1989. С. 98–103). Через несколько дней Блюмкин стал соучастником убийства посла Германии Мирбаха, и Дзержинский в своих показаниях передал рассказ Мандельштама (Красная книга ВЧК. 2-е изд. М., 1990. Т. 1. С. 256–257, в сносках). См. также: Леонтьев Я. Человек, застреливший императорского посла // Сохрани мою речь. М., 2000. Вып. 3, ч. 2. С. 126–144.

[3] Из стихотворения «Всё чуждо нам в столице непотребной...» (1918).

мых Мандельштама. Было в Киеве и подобие петербургской «Бродячей собаки» – ХЛАМ («Художники. Литераторы. Артисты. Музыканты»). Вскоре после приезда Мандельштам познакомился с Надеждой Яковлевной Хазиной, через полтора года ставшей его женой и верным другом. «Вторая книга» ее воспоминаний вводит читателя в «карнавальную» жизнь майского Киева, описывает энтузиазм молодежи, приветствовавшей советскую власть и любившей «Левый марш» Маяковского, выступления Мандельштама на вечерах поэзии. 30 августа Красная армия оставила Киев (впечатления этого дня отразились в стихотворении 1937 года «Как по улицам Киева-Вия...»). Пробыв еще некоторое время в городе, поэт пробирается в Феодосию, потом живет в Коктебеле, затем снова в Феодосии – городе, занятом войсками, полуголодном, напомнившем Мандельштаму о «средиземноморской республике» – Флоренции или Венеции. И здесь, как в Киеве, не прекращалась жизнь артистическая – существовал Феодосийский литературно-артистический кружок (ФЛАК), где устраивались вечера поэзии, приносившие крохотную толику денег, конечно, совершенно недостаточную, чтобы прожить на них сколько-нибудь долго. Подкармливали Мандельштама, как и других заезжих литераторов, знакомые знакомых и «меценаты» – феодосийские дельцы, считавшие себя приобщенными искусству. В очерке «Начальник порта» (из мемуарного цикла «Феодосия») он описал этих меценатов: «Чтоб понять, чем была Феодосия при Деникине – Врангеле, нужно знать, чем она была раньше. У города был заскок – делать вид, что ничего не переменилось, а осталось совсем, совсем по-старому. В старину же город походил не на Геную, гнездо военно-торговых хищников, а скорее на нежную Флоренцию. В обсерватории, у начальника Сарандинаки, не только записывали погоду и чертили изотермы, но собирались еженедельно слушать драмы и стихи как самого Сарандинаки, так и других жителей города. Сам полицмейстер однажды написал драму. Директор Азовского банка – Мабо – был более известен как поэт. А когда Волошин появлялся на щербатых феодосийских мостовых в городском костюме: шерстяные чулки, плисовые штаны и бархатная куртка, – город охватывало как бы античное умиленье и купцы выбегали из лавок»[1].

[1] Здесь и далее цитаты из прозы Мандельштама приводятся по т. 2 наст. изд.

Во ФЛАКе бывали подпольщики-коммунисты, и Мандельштам познакомился с некоторыми, что послужило причиной ареста его белыми властями летом 1920 года, когда поэт готовился уехать из Феодосии в Батум (по некоторым сведениям, он согласился везти конспиративную почту). Перед тем Мандельштам порвал отношения с М. А. Волошиным: тот написал незаслуженно порочащее Мандельштама письмо к их общему знакомому – начальнику порта Новинскому; Мандельштам, узнав о его содержании, ответил оскорбляющим письмом Волошину[1] (примирение поэтов состоялось лишь в 1924 году). Мандельштама из тюрьмы вызволили – хлопотали В. Вересаев, М. Кудашева, М. Волошин, но главная заслуга в его освобождении принадлежит полковнику Цыгальскому, герою очерка «Бармы закона». Освободившись из тюрьмы, Мандельштам едет в Батум, где опять попадает под арест (военные власти правительства Грузии были связаны с белогвардейской разведкой). Мандельштама вместе с братом Александром, который сопутствовал ему во всех описываемых странствиях, должны были выслать обратно в Феодосию, но помог случай – конвойный Чигуа, проникшийся симпатией к поэту, доставил арестованного к гражданскому губернатору Батума, которому имя Мандельштама оказалось известно (эпизод описан в очерке «Возвращение»). Снова переезды – в Тифлис, опять в Батум, снова в Тифлис – и отъезд отсюда в Россию. В Петроград Мандельштам вернулся в октябре; поселился в Доме искусств. Его новые стихи, писавшиеся в годы странствий, были встречены приветственно и высоко оценены и друзьями-акмеистами, и слушателями. Стихи «понравились и взволновали» А. Блока[2].

В ноябре 1920 года Мандельштам переживает увлечение Ольгой Николаевной Арбениной, тогда актрисой Александринского театра, и пишет цепь стихотворений, замкнувших собой книгу «Tristia». Но его любовь осталась неразделенной – встречи с Арбениной прекратились, прекратились и

---

[1] Эта история изложена в статье В. П. Купченко «Ссора поэтов» (Слово и судьба: Осип Мандельштам. М., 1991), но акценты в ней не всюду расставлены верно: см. рецензию А. Григорьева (Рус. лит. 1992. № 4. С. 217).

[2] См.: Одоевцева И. В. Избранное: Стихотворения. На берегах Невы. На берегах Сены. М., 1998. С. 415. Блок отметил чтение стихов Мандельштама в дневниковой записи от 21 октября 1920 года, см. примеч. «Веницейской жизни, мрачной и бесплодной...» в наст. томе.

стихи. «Как воспоминания о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 году, – писала Ахматова в «Листках из дневника», – кроме изумительных стихов к О. Арбениной, остались еще живые, выцветшие, как наполеоновские знамена, афиши того времени – о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком»[1].

К этому времени определились основные черты поэтического стиля Мандельштама. Центр тяжести мандельштамовской поэтики – в смысловой насыщенности стиха. Она создается вовлечением в сюжет стихотворения «чужого слова». Еще В. М. Жирмунский в статье «Преодолевшие символизм» (1916) применил к ней термин Ф. Шлегеля «поэзия поэзии» («можно назвать его стихи не поэзией жизни, а "поэзией поэзии"»)[2]. Л. Я. Гинзбург это качество определяла как «поэтику ассоциаций»[3]. Позднее К. Ф. Тарановский углубил понимание ее природы, показав у Мандельштама характер взаимодействия «текста» и «подтекста» («чужого слова») в обнимающем оба «контексте». Это качество поэзии – не новое. Вот что пишет о нем применительно к поэзии XIX века В. Э. Вацуро: «Культура коллективна по самому своему существу, и каждая культурная эпоха – непрерывный процесс взаимодействия творческих усилий ее больших и малых деятелей, процесс миграции идей, поэтических тем и образов, заимствований и переосмыслений, усвоения и отторжения. Это многоголосие – форма и норма ее существования. Творчество гения вырастает на таком полифоническом субстрате; оно усваивает себе, интегрирует, преобразует "чужие" идеи и образы... и потому, например, установление реминисценций и даже цитат из чужих стихов у Пушкина и Лермонтова... вовсе не бесплодное занятие. Цитата, реминисценция может функционировать в тексте как "чужое слово" и менять в нем акценты, может дать нам материал для наблюдений над технологией поэтической работы, – наконец, она наглядно показывает нам связи великого поэта с традицией и плотность поэтической среды, из которой он вырос»[4].

Новое у Мандельштама в этой области – стремление сохранить обособленность «чужого слова». Он выделяет его в

---

[1] Вопросы литературы. 1989. № 2. С. 192.

[2] Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 123.

[3] Название главы в ее книге «О лирике» (Л., 1974).

[4] Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб., 1994. С. 5–6.

смысловом строе стихотворения и дополнительными средствами усиливает его диалогическую функцию. Удачи на этом пути позволили Мандельштаму предельно увеличить смысловую емкость стиха («уплотненность», «удельный вес» – слова из арсенала манифестов акмеизма периода его «бури и натиска»). Мандельштам хорошо знал это свойство собственной поэтики и сравнивал свой стих с «брюссельским кружевом», где «воздух» – чужое слово: «Настоящий труд – это брюссельское кружево, в нем главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы» («Четвертая проза»).

Отвечая на вызов времени в 1930-е годы, Мандельштам изменяет способ творческого воплощения (идейно ему соответствует путь к месту гражданского поэта). Место культурного «чужого слова» занимает слово анонимное – фольклор, ненормативная лексика, элементы жаргона газеты и канцелярии. Свою речь поэт насыщает новообразованными словами (окказиональные неологизмы: жизняночка, самосогласье) и шире пользуется первоначальным смыслом слов (явление реэтимологизации). Поэзия Мандельштама приобретает совершенно новое лицо и в то же время сохраняет легко узнаваемый мандельштамовский стиль: принадлежность культуре собственного слова резко усиливается за счет контрастов, высокого эмоционального накала, резкости и очерченности смысловых планов.

Инструментом поэтики Мандельштама остается метафора. Здесь уместно напомнить о том, что метафора как лингвистическое явление есть одно из средств познания мира, в том числе познания научного[1]. Раскрывая свою поэтику в «Разговоре о Данте» (1933), Мандельштам писал: «Я сравниваю – значит, я живу, – мог бы сказать Дант... Ибо для нашего сознания (а где взять другое?) только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение» (черновая запись). Основное средство диалога с «чужим словом» в стихе Мандельштама – развертывание (реализация) метафоры «чужого слова». Мандельштам в равной степени совершенствует все элементы стиха – ритм (ему врожденный), строфику, мелодику, приводя их в гармоническое равновесие. «Мандельштам решает одну из труд-

---

[1] См.: Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка. СПб., 1993. С. 7, 23.

нейших задач стихового языка. Уже у старых теоретиков есть трудное понятие "гармонии" – "гармония требует полноты звуков, смотря по объятности мысли", причем, как бы предчувствуя наше время, старые теоретики просят не смешивать в одно "гармонию" и "мелодию"»[1].

В 1910-е годы сложилось и мировоззрение Мандельштама. Выше мы уже цитировали его письмо к Вл. Гиппиусу из Парижа, в котором говорилось о связи собственных «первых религиозных переживаний» с «марксистской догмой». Е. А. Тоддес обратил внимание на то, что психологическая закономерность такой связи была раскрыта Н. А. Бердяевым: «Русский духовный ренессанс имел несколько истоков. Как это ни странно на первый взгляд, но одним из его истоков был русский марксизм... Марксизм по своему характеру располагал к построению широких и целостных историософских концепций, в нем были сильны мессианские элементы... Я убежден в том, что для некоторых, например для о. С. Булгакова, марксизм был своеобразной теологией и они вкладывали в него свои религиозные инстинкты», и позднее: «Я сейчас склонен думать, что одни и те же мотивы привели меня к революции и к религии»[2].

Острота поисков была обусловлена уходом поэта из генетически родственной национальной и религиозной (но не языковой) среды в мир родного (русского) языка, через христианство имевшего момент культурной преемственности от иудейской религии (Ветхий Завет)[3]. Поиски в области христи-

---

[1] Тынянов Ю. Н. Промежуток // Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 187. «Старый теоретик» у Тынянова – П. А. Плетнев (Там же. С. 480).

[2] Из трудов Бердяева «Типы религиозной мысли в России» и «Самопознание», цит. по статье: Тоддес Е. А. Поэтическая идеология // Лит. обозрение. 1991. № 3. С. 36–37.

[3] Мучительная двойственность, порождаемая этой двойной связью, никогда не была преодолена окончательно. Ранние стихи «Из омута злого и вязкого...» и мемуарная параллель к ним в «Шуме времени» (глава «Хаос иудейский») обнаруживают один полюс, «Четвертая проза» с известными пассажами («писательство... несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь») и «Канцона» – другой. На пути религиозных поисков закономерно было бы ожидать и моментов религиозного сомнения, намеки на которые (в духе И. Ф. Анненского) в ранних стихах Мандельштама были зафиксированы А. Е. Аникиным (Из наблюдении над поэтикой И. Анненского // Серебряный век в России. М., 1993. С. 138–139).

анской эстетики, вокруг которых раскрываются тематические и сюжетные планы его стихов и прозы, увенчались в эссе «Скрябин и христианство» (1917): «Христианское искусство – всегда действие, основанное на великой идее искупления. Это бесконечно разнообразное в своих проявлениях “подражание Христу”, вечное возвращение к единственному творческому акту, положившему начало нашей исторической эре. Христианское искусство свободно... Никакая необходимость, даже самая высокая, не омрачает его светлой внутренней свободы, ибо прообраз его, то, чему оно подражает, есть само искупление мира Христом. Итак, не жертва, не искупление в искусстве, а свободное и радостное подражание Христу – вот краеугольный камень христианской эстетики. Божественная иллюзия искупления, заключающаяся в христианском искусстве, объясняется именно этой игрой с нами Божества, которое позволяет нам блуждать по тропинкам Мистерии, с тем чтобы мы как бы сами от себя напали на искупление, пережив катарсис, очищение в искусстве»[1].

Обширность идейно-тематического диапазона в творчестве Мандельштама не позволяет представить его в настоящем очерке даже бегло, и мы вынуждены отослать читателя к работе С. С. Аверинцева[2] и к уже упомянутой статье Е. А. Тоддеса[3].

Притягательность, которой обладают стихи Мандельштама, обусловлена и широтой отклика на проблемы, которые порождало его время, той полнотой, с которой поэт сумел воплотить собственное «я», сделать стихи влияющими на судьбу

---

[1] Н. А. Струве, оценивая эссе с точки зрения предшествующей и современной традиции, писал в своей монографии: «Никогда еще ни один поэт не давал такого смелого христоцентрического и таинственного определения» (Осип Мандельштам. Лондон, 1990. С. 137). Об устойчивости мировоззрения Мандельштама в 1930-е годы (не только в религиозном аспекте) говорят и мотивы его поздних стихов, и некоторые мемуарные свидетельства. Так, Н. И. Харджиев в личной беседе с нами подтвердил точность слов, приведенных в мемуарах Н. Я. Мандельштам: «О. М. сказал... что считает себя последним христианско-эллинским поэтом в России» (Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., 1989. С. 241).

[2] Судьба и весть Осипа Мандельштама // Аверинцев С. С. Поэты. М., 1996.

[3] Постановкой проблемы статья намечает новые пути в исследовании тематических комплексов. В частности, в ней рассматриваются превращения религиозной темы в период, когда поэт искал контактов с «новым миром» в пореволюционные годы.

поступками, фактами собственной биографии[1], и соотнесенностью их с вневременными, вечными ценностями:

И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей...
(*«И я выхожу из пространства...»*)

* * *

Летом 1921 года Мандельштам, получив известия из Киева, где его ждала Надя Хазина, едет туда, и вместе они отправляются в Закавказье, по маршруту Ростов – Кисловодск – Баку – Тифлис – Батум – Сухум – Новороссийск. Из знаменательных встреч этой поездки – посещение Вяч. Иванова в Баку, где Иванов преподавал в университете, и знакомство в Батуме с Михаилом Булгаковым. Спустя год, весной 1922 года, Мандельштамы через Киев (где они поженились) возвращаются в Москву и поселяются в Доме Герцена – писательском общежитии на Тверском бульваре. Начался новый период жизни – период зрелости. Мандельштам стал женат – и это так не подходило к облику его юности, который хорошо помнили его эмигрировавшие приятели.

«Мы поселились в Москве, и я никогда не видела Мандельштама таким сосредоточенным, суровым и замкнутым, как в те годы», – писала об этом времени Н. Я. Мандельштам[2]. Стихи угасали, их вытесняли переводы, в большинстве своем прозаические, – только они и приносили деньги на пропитание. Творчество Мандельштама (как и Ахматовой) было признано «классово чуждым», и имя его с середины 1920-х годов постепенно исчезает из списков сотрудников периодических изданий.

С 1924 по 1928 год Мандельштамы живут в Ленинграде – снимают комнату на ул. Герцена, а затем в Детском Селе, в размещенном тогда в здании Лицея пансионате. Портрет Мандельштама этих лет оставила в своих воспоминаниях

---

[1] См. об этом: Левин Ю. И. Заметки о поэзии Мандельштама тридцатых годов // Slavica Hierosolymitana. 1978. Vol. III. P. 110–118.

[2] Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М., 1990. С. 100.

знакомая семьи, Иза Давыдовна Ханцин[1]: «Все мы, во всяком случае большинство, принадлежим к какой-нибудь породе животных – Осип Эмильевич был похож на птицу; это птичье сказывалось во всем. Его голова была чуть поднята кверху и наклонена набок при опять же птичьей летящей походке. Его лицо всегда обращало на себя внимание из-за необыкновенно выразительных глаз – страданье в них сменялось нежностью, задумчивостью; иногда в них было отсутствующее выражение.

Главным в этом человеке была эмоциональная окраска всего, что бы он ни делал: на все повышенная реакция. Он был легко раним и впечатлителен, очень остро все воспринимал.

На протяжении всех лет, что я его знала, он подсознательно – а возможно, и сознательно – сопротивлялся всему бытовому... Ему было все равно, что на нем надето. Вот пример: в Ростове он отправился в парикмахерскую, потом зашел за нами в Кафе поэтов и сказал, что забыл в парикмахерской шляпу; мы все отправились за шляпой, но гардеробщик выгнал нас, сказав, что Мандельштама он видит впервые. Оказалось, что за углом есть другая парикмахерская, туда Осип Эмильевич пошел уже один – мы побоялись. На этот раз он не ошибся и вышел в шляпе – но в какой! – это было что-то вроде котелка неопределенного цвета и формы, в который Мандельштам почти провалился.

– Ося, что у тебя на голове?! – говорила Надя. Он удивлялся: – Как, разве это не моя шляпа? – Мандельштам не знал своих вещей. И вещи не любили его и убегали от него, все пропадало. Надежда Яковлевна без конца искала исчезнувшие вещи.

Так же он относился и к деньгам – радовался им и очень легко, сам не зная на что, тратил, так что денег, как правило, не было... Создать ему быт Надежда Яковлевна не могла, он разрушал его тут же, да она и сама не очень это умела – в чем-то они были очень похожи. Их взаимные отношения доходили до общего дыхания. Ей было много хлопот с ним: она старалась уберечь его от непонимания и нападок, она боялась отпускать его одного – он не умел соблюдать правил так называемого порядка, в котором очень плохо разбирался, и потому боялся

---

[1] Пианистка, преподаватель Ленинградской консерватории; жена А. О. Моргулиса (см. примеч. к «Маргулетам» в наст. томе; письмо к ней в т. 3 наст. издания).

уличной администрации – милиционеров и управхозов; кроме того, он был рассеян. Эта постоянная боязнь чего-то ощущалась в нем постоянно, он словно предчувствовал свой рок.

Как чтец своих стихов Мандельштам незабываем. Ему была присуща поразительная музыкальность, и ритм стихов он ощущал и передавал не как производную метра, а как музыку. Ритм был ему врожден. Свои стихи он оркестровал поразительно, и как поэт, и как чтец. Интонации его были очень выразительны и разнообразны – все это делало стихи в его устах еще значительнее»[1].

Вторая половина 1920-х годов прошла под знаком переводной работы. К этому вынуждала болезнь жены – у нее подозревали туберкулез, и ей нужен был крымский климат; до 1929 года она проводила в Крыму почти все зимы. Переводы тогда оплачивались очень скупо, а сроки выполнения назначались смехотворно малые – два-три месяца на книгу объемом приблизительно с «Тиля Уленшпигеля» Шарля де Костера; издательства и сроками, и оплатой толкали переводчиков на откровенную халтуру. В порядке вещей была так называемая «редактура», означавшая «перелицовку» старых дореволюционных переводов. Вокруг одного из переводов, как раз из-за помянутого «Уленшпигеля», и разыгралась история, итогом которой стало освобождение Мандельштама от переводческого ярма. Ей предшествовала еще одна история, так же, как и «уленшпигелевское дело», попавшая в «Четвертую прозу». Государственная политика все больше ужесточалась. Проводились массовые высылки бывших нэпманов из городов; в 1928 году велась кампания по борьбе с «экономической контрреволюцией». В это время Мандельштам узнал о приговоренных к расстрелу за служебное преступление людях и, пораженный жестокостью приговора, вступился за них (никого из них лично он не знал). Действовал он энергично, пришлось обращаться ему и к Н. И. Бухарину, и в результате приговор был смягчен. Вскоре вышел «Тиль Уленшпигель» – книга, для издания которой Мандельштам отредактировал и свел два старых перевода – А. Горнфельда и В. Карякина. Против практики издательств в отношении переводной лите-

---

[1] Воспоминания о Мандельштаме // Вестник русского христианского движения. 1980. № 182. С. 143–144.

ратуры (о ней речь шла выше) Мандельштам выступил еще в 1926 году, напечатав статью «Жак родился и умер». Но, работая для издательств, Мандельштам был вынужден прибегать к методам, которые там практиковались. По вине издательства на титульном листе книги было означено: «перевод О. Мандельштама»; несмотря на поправку, напечатанную в газете по требованию Мандельштама, и его письменное извинение в допущенной издательством ошибке, Горнфельд выступил со статьей, обвиняющей Мандельштама; Карякин подал иск в суд. Суд решил дело в пользу ответчика, но в 1929–1930 годах дело продолжало рассматриваться в комиссиях Федерации объединений советских писателей (ФОСП) и поставило Мандельштама на грань нервного истощения. Он заявляет о разрыве с «литературой» и делает попытки получить работу преподавателя.

Еще в 1928 году Николай Иванович Бухарин помог поэту выпустить «Стихотворения» (тогда же вышли «Египетская марка» и сборник статей «О поэзии»), теперь он помогает Мандельштаму в поисках работы. В августе 1929 года Мандельштам получает место в «Московском комсомольце», ведет литературный отдел; молодые авторы к нему тянулись, работа налаживалась. Но в январе следующего года газета закрылась; он снова вынужден искать службу. На запрос Бухарина откликнулся нарком просвещения Армении, и весной 1930 года Мандельштамы едут в Ереван (перед этим жили два месяца в батумском санатории). Они живут в гостинице, совершая оттуда поездки по стране – в Эчмиадзин, Ленинакан, Шушу, на Севан. Новые впечатления, впечатления от страны древней христианской культуры, находившейся на границе с мусульманским миром и со времен средневековья подвергавшейся с этой стороны опустошительным завоеваниям, отразились в стихах ближайших лет. Здесь, во дворе ереванской мечети, Мандельштам познакомился с Б. С. Кузиным, молодым ученым-биологом, знавшим и любившим его стихи и впоследствии ставшим тем другом, которому посвящены стихи «К немецкой речи». Мандельштам в Армении не остался; он возвращается в Россию через Тифлис.

Пребывание в Тифлисе ознаменовалось становлением нового, после почти пятилетнего перерыва, стихотворного

цикла. Творческий подъем возвращает Мандельштаму волю к жизни и энергию; уже нет в мыслях следа недавней истории с «Уленшпигелем», забыта начавшая уже проявляться одышкой болезнь сердца; навстречу своей судьбе, навстречу надвигающимся темным временам Мандельштамы возвращаются в Ленинград. С этого времени, начиная от стихов «каторжного цикла» и до гибели, поэт являет собой подлинное чудо творческой свободы, освобождения от пут земного существования, идет наперекор судьбе.

В Ленинграде «устроиться» оказалось невозможно – отказал в поддержке Н. С. Тихонов, влиятельный член Ленинградской писательской организации. Жилья нет, и Мандельштамы живут врозь, он – у брата (в его квартире, на 8-й линии Васильевского острова, вскоре было написано стихотворение «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»), жена – у своей сестры, воспитательницы детей в одной из ленинградских семей. Состоялся переезд в Москву, но и здесь жизнь остается скитальческой: по квартирам родственников и знакомых, часто – врозь с женой. Жить было не на что. По ходатайству Бухарина Мандельштаму (как и Ахматовой) Совнарком назначает пенсию – «за заслуги в русской литературе»; ее, впрочем, хватало только на оплату жилья. В конце 1931 года поэта кое-как устраивают с жильем – вновь в Доме Герцена, в маленькой комнате писательского общежития. Между тем поток стихов не слабел, и удалось сделать несколько публикаций в журналах: Мандельштам заявлял о себе как поэт действующий, как поэт с новым голосом.

В 1932 году обстановка неблагополучия вокруг Мандельштама еще более сгущается. То был год, когда Мандельштам близко сошелся с молодыми биологами, работавшими в Зоологическом музее, знакомыми Б. С. Кузина, неоламаркистами. Влиянию общения с ними обязаны лучшие страницы «Путешествия в Армению» и стихотворение «Ламарк» – шедевр этого года. В середине 1932 года Кузина арестовывают по одному из мифических обвинений, которые тогда применялись. Однако времена были, по выражению Ахматовой, «еще вегетарианские», и после хлопот и заступничества (Мандельштам обращался, в частности, к влиятельной М. С. Шагинян) Кузина освободили. Тогда в руках поэта была довольно крупная сумма денег, полученная от Гослитиздата за подготовленное, но

не вышедшее в свет двухтомное собрание сочинений. Большая часть денег была внесена за пай в кооперативной пристройке к дому на ул. Фурманова, здесь Мандельштамы в конце 1933 года получили двухкомнатную квартиру, «воспетую» в стихах того же времени; на остальные поехали в Крым, взявши с собой Кузина, нуждавшегося в передышке после тюрьмы. Вдова А. С. Грина пригласила их к себе. В Старом Крыму они видели картины ужасающего голода среди крестьян, данью сочувствия стало «контрреволюционное» стихотворение «Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым...». В стране установился один из самых жестоких в истории тиранических режимов. Мандельштам, с 1931 года готовившийся говорить «за всех» («Отрывки уничтоженных стихов»), пишет «Мы живем, под собою не чуя страны...» и, читая эти стихи знакомым, предает огласке. Тогда же в каблук туфли он прячет лезвие безопасной бритвы – оно будет извлечено в следственной тюрьме, вены будут перерезаны, но уйти из жизни помешают бдительные тюремщики. Об этом времени Ахматова писала: «...тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме. Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 года), о чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: “Я к смерти готов”. Вот уже двадцать восемь лет я вспоминаю эту минуту, когда проезжаю мимо этого места... К этому времени Мандельштам внешне очень изменился: отяжелел, поседел, стал плохо дышать – производил впечатление старика (ему было 42 года), но глаза по-прежнему сверкали. Стихи становились все лучше, проза тоже... Я очень запомнила один из наших тогдашних разговоров о поэзии. О. Э., который очень болезненно переносил то, что сейчас называют культом личности, сказал мне: “Стихи сейчас должны быть гражданскими“ – и прочел “Мы живем, под собою не чуя страны...”. Примерно тогда же возникла его теория “знакомства слов ”. Много позже он утверждал, что стихи пишутся только как результат сильных потрясений, как радостных, так и трагических. О своих стихах, где он хвалит Сталина (“Мне хочется сказать не Сталин – Джугашвили”, 1937), он сказал мне: “Я теперь понимаю, что это была болезнь”.

13 мая 1934 года его арестовали. В этот самый день я после града телеграмм и телефонных звонков приехала из Ленинграда, где незадолго до этого произошло его столкнове-

ние с Толстым....[1] Ордер на арест был подписан самим Ягодой[2]. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. У Кирсанова, за стеной, играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел “Волка”[3] и показал О. Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в семь утра... Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за Мандельштама в “Известия” к Бухарину, я – в Кремль, к Енукидзе. (Тогда проникнуть в Кремль было почти чудом. Это устроил актер Русланов через секретаря Енукидзе.) <...> Навестить Надю из мужчин пришел один Перец Маркиш, а в это время бывший синдик Цеха поэтов, бывший Сергей Городецкий, выступая где-то, произнес следующую бессмертную фразу: “Это строчки той Ахматовой, которая ушла в контрреволюцию”, так что даже в “Лит. газете”, которая напечатала об этом собрании отчет, подлинные слова оратора были смягчены»[4]. Мандельштамы прибыли в Чердынь – предписанное место ссылки – в июне 1934 года. Путь туда – через Свердловск и Соликамск – отразился во вскоре написанных стихах – «Кама», «День стоял о пяти головах...». Телеграммы правительству об остро развившейся болезни поэта (см. примечания к «Стансам») дали результат, место ссылки было заменено на Воронеж, куда, после новой изнурительной поездки в обратном направлении, прибыли в июле. Здесь в течение некоторого времени жизнь налаживается – рядом, в Москве, были друзья и близкие, помогавшие материально. Поэт находит второстепенную литературную работу – пишет рецензии и очерки для воронежской газеты и журнала, ему разрешались

[1] Предыстория этого столкновения, описанного в нескольких мемуарах: писатель С. Бородин, сосед Мандельштамов по Дому Герцена, нанес оскорбление Н. Я. Мандельштам (ударил ее в ответ на какую-то реплику о не возвращенном им денежном долге). Конфликт разбирался в третейском суде под председательством А. Н. Толстого; суд вынес уклончивое решение, которое Мандельштам расценил как «ордер на избиение моей жены», и, специально приехав в Ленинград, дал пощечину Толстому, рассчитывая на вызов на дуэль с его стороны, но Толстой дело замял.

[2] Как стало известно из материалов следственного дела, опубликованных В. Шенталинским, обыск у Мандельштама начался 16 мая, ордер был подписан не Ягодой, а его заместителем – Я. Аграновым (Огонек. 1991. № 1. С. 17).

[3] Стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков...».

[4] Ахматова А. А. Листки из дневника // Вопр. лит. 1989 № 2. С. 203, 205, 206.

поездки по области; несколько позже – работает литконсультантом в воронежском Большом Советском театре. Возле Мандельштамов образуется небольшой круг знакомых – два-три человека из ссыльных литераторов. Из них назовем Сергея Борисовича Рудакова, высланного из Ленинграда за дворянское происхождение после убийства Кирова; в Воронеже он появился весной 1935 года. Рудаков собрал значительный биографический материал о поэте.

Мандельштам пользовался книгами из тогда богатой библиотеки Воронежского университета, бывал в Воронежском музее, обладавшем собранием античной керамики (из эвакуированного в годы Первой мировой войны в Воронеж музея Юрьевского университета). Из друзей навестить Мандельштама приезжали Ахматова и Э. Г. Герштейн.

Относительное благополучие прервалось осенью 1936 года, с началом новой волны репрессий. Работу больше не предоставляли, и Мандельштамы жили на деньги, собранные друзьями и знакомыми (особенно следует отметить отзывчивость и щедрость Б. Л. Пастернака). В последний воронежский год Мандельштамы обретают друга – Наталью Евгеньевну Штемпель, образ которой запечатлен в стихах 1937 года.

С декабря 1936 года и до самого отъезда из Воронежа в середине мая 1937 года у поэта длится небывалый по интенсивности творческий период, давший в числе шедевров «Стихи о неизвестном солдате». Зимой 1936/1937 года он пишет «Стихи о Сталине» – в тщетной, как оказалось позднее, попытке сохранить себе жизнь. Позже, в Москве, в конце 1937 года, он просил Н. Е. Штемпель эти стихи уничтожить (экземпляр был дан ей в Воронеже на сохранение), а в разговоре с Ахматовой назвал их, как уже упоминалось, обусловленными «болезнью»[1].

---

[1] Проницательный анализ «Стихов о Сталине» принадлежит С. С. Аверинцеву: «Это сумма мотивов сталинистской мифологии, каталогизируемая так, как можно было каталогизировать представления древних народов – например, ассирийцев или египтян, так часто служивших у Мандельштама метафорой тоталитарного мира. Каждый мотив доведен до нечеловеческой кристальности формы, как у египетского иероглифа, до завораживающей и пугающей абстрактности. Атмосфера жути нарастает от строфы к строфе. Снова и снова возникающие «бугры голов» – это страшно само по себе, по действию поэтической логики, объективно, вне всякой зависимости от того, точно ли передает вдова поэта его задумчивое бормотанье: «Почему, когда я думаю о нем, передо мной все головы – бугры голов? Что он делает с этими головами?» И все-таки работа над «Одой» не могла не быть помрачением ума и саморазрушением гения» (Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 265–266).

В мае 1937 года закончился срок ссылки. Мандельштамы возвращаются в Москву. Радость возвращения, встреч с друзьями омрачается новостью: их не прописывают, по закону о ссыльных им запрещено жить в Москве; в квартиру несколько раз является милиция. Из Москвы пришлось уехать. На лето Мандельштамы сняли комнату в Савелове, небольшом городке на берегу Волги, на зиму переехали в Калинин. Они часто приезжают в Москву: поэт стремится пробить дорогу своим стихам, прорваться к читателю, он без конца обращается в Союз писателей с требованием об издании книги стихов, об устройстве своего творческого вечера – безрезультатно. Мандельштам досаждал начальству, и эти обращения сыграли роковую роль в принятом тогда же решении о его «изоляции».

В. П. Ставский, ответственный секретарь Союза советских писателей, которому адресовались письма поэта, обратился с запиской к наркому внутренних дел Ежову с просьбой о «помощи» в «вопросе об О. Мандельштаме». Просьба от высокопоставленного лица была уважена, и 3 мая 1938 года поэт был арестован в санатории Союза писателей Саматиха (под Москвой).

Из Бутырской тюрьмы Мандельштам попадает в пересыльный лагерь № 3/10 под Владивостоком. Отсюда был путь на Колыму, но поэта, ослабленного физически и психически (по рассказам очевидцев, то было галлюцинаторное состояние, вызванное тюремным режимом, – подобное возникшему после заключения в 1934 году), задержала медицинская комиссия. 27 декабря 1938 года Мандельштам умер от болезни и истощения в больничном бараке пересыльного лагеря.

Поэт разделил судьбу своего поколения. Закончился его земной путь; началась посмертная жизнь – жизнь его стихов.

Список сокращений[1]

А – Аполлон (журнал).

АЗ – архив М. А. Зенкевича (ГЛМ).

АЛ – архив М. Л. Лозинского.

АМ – архив О. Э. Мандельштама (находится в Библиотеке Принстонского университета, Отдел рукописей, шифр: CO 539).

АЧ – архив К. И. Чуковского.

БП – Мандельштам О. Стихотворения / Подг. текста и примеч. Н. И. Харджиева. Л., 1973. (Б-ка поэта. Большая сер.).

ВК – Мандельштам О. Вторая книга. М.; Пб., 1923.

ВП. Альм. 2 – Воздушные пути. Нью-Йорк, 1961. Альм. 2.

ВП. Альм. 3 – Воздушные пути. Нью-Йорк, 1963. Альм. 3.

ВП. Альм. 4– Воздушные пути. Нью-Йорк, 1965. Альм. 4.

ВР(С)ХД – Вестник русского (студенческого) христианского движения (журнал).

ВС – Ватиканский список (свод стихов 1930–1935 гг., в АМ).

---

[1] Ссылки на частные архивы и собрания фиксируют местонахождение источников по состоянию на 1993 г. В настоящее время неизвестно местонахождение источников из архивов Е. Э. Мандельштама, А. Г. Островского; части источников из собрания Н. И. Харджиева (другая часть находится в Городском музее Амстердама).

Встречи – Пяст В. Встречи. М., 1997.

ВТ – Мандельштам О. Воронежские тетради / Подгот. текста, примеч., послесловие В. Швейцер. Ann Arbor, 1980.

Г – Гиперборей (журнал).

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации.

ГЛМ – Государственный литературный музей. Отдел рукописей.

ГРМ – Государственный Русский музей. Сектор рукописей.

ДнКабл – дневник С. П. Каблукова (РНБ).

ИД – Мандельштам О. Извозчик и Дант. М., 1991. (Б-ка «Крокодила»).

ИМЛИ – Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Отдел рукописей.

ИРЛИ – Институт русской литературы. Рукописный отдел.

К1 – Мандельштам О. Камень. СПб., 1913.

К2 – Мандельштам О. Камень. Пг., 1916.

К3 – Мандельштам О. Камень М.; Пг., 1923.

ККабл – второе издание «Камня» (К2), экземпляр С.П. Каблукова (в составе АМ).

К-1990 – Мандельштам О. Камень. Л., 1990. (Лит. памятники).

КорпАв – корпус автографов, относящийся к неосуществленному изданию «Камня» (в 1914 г.) в издательстве Аверьянова (ИРЛИ. Ф. 428).

КорпАв-2 – корпус источников, относящийся к неосуществленному изданию «Камня» (в 1920-х гг.) в издательстве Аверьянова (собр. А. Г. Островского).

Музей Ахматовой – Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Сектор рукописей.

НБП – Мандельштам О. Э. Полное собрание стихотворений. СПб., 1995 (Новая б-ка поэта).

НК – Наташина книга (свод стихов 1930–1937 гг., сделанный для Н. Е. Штемпель, ныне в АМ).

ПС – Последние стихи. Рукописный сборник стихотворений 1920 г. (автограф, частное собр.).

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства.

РГБ – Российская государственная библиотека. Отдел рукописей.

РНБ – Российская национальная библиотека. Отдел рукописей.

С – Мандельштам О. Стихотворения. М.; Л., 1928.

Свод – свод стихотворений 1930–1937 гг., подготовленный И. М. Семенко (Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж, 1990. С. 81–188).

СИ – собр. А. Ивича (И. И. Бернштейна).

СМ – собр. Б. И. Маршака.

Собр. произв. – Мандельштам О. Собрание произведений. М.: Республика. 1992.

Собр. соч. (с указанием тома) – Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Терра, 1991.

Соч. (с указанием тома) – Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990.

СП – собр. С. В. Поляковой.

СС 1 (с указанием тома) – Мандельштам О. Собрание сочинений: В 2 т. Вашингтон; Нью-Йорк, 1964–1966.

СС 2 (с указанием тома) – Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. [2-е изд.]. Вашингтон; Нью-Йорк; Париж, 1967–1981.

СС 3 (с указанием тома) – Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1993–1997.

Струве-1962 – Струве Н. Итальянские образы и мотивы в поэзии Осипа Мандельштама // Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver. Roma, 1962.

СХ – собр. Н. И. Харджиева.

СХ, ГМ Амстердама – Фонд Н. Харджиева и Л. Чаги (Городской музей Амстердама) = Archive of the Khardzhiev – Chaga Foundation (Stedelijk Museum Amsterdam. F. 150).

Т – Мандельштам О. Tristia. Пб.; Берлин, 1922.

ЦГИА СПб – Центральный государственный исторический архив С.-Петербурга.

Чукоккала – Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского М., 1999.

Список цитированных источников[1]

1. Адамович Г. В. Мои встречи <с Анной Ахматовой> // Осип Мандельштам и его время. М., 1995.

2. Акимова М. В. Парнах В. Я. // Русские писатели. 1800–1917: Биогр. словарь. М., 1999. Т. 4.

3. Акиньшин А. Н., Ласунский О. Г. Музы ГУЛАГа // Утро. Воронеж, 1992. 9 и 14 апр.

4. Амфитеатров-Кадашев В. В. Страницы из дневника // Минувшее: Исторический альм. М.; СПб, 1996. Т. 20.

5. Аникин А. Е. Из наблюдений над поэтикой И. Анненского // Серебряный век в России. М., 1993.

6. Арбенина О. Н. О Мандельштаме // Тыняновский сб.: Шестые – Седьмые –Восьмые тыняновские чтения. М., 1998. Вып. 10.

7. Ахматова А. А. Листки из дневника // Вопр. лит. 1989. № 2.

8. Барзах А. Е. Обратный перевод. СПб., 1999.

9. Белов С. Романтика книжных поисков. М., 1986.

10. Берджес Э. Демократия и насилие // Век XX и мир. 1990. № 10.

11. [Блох Я. Н.]. Офросимов Г. В. О Гумилеве, Кузмине, Мандельштаме: Встреча с издателем // Новое рус. слово. 1953. 13 дек. С. 8.

[1] В тексте комментариев первая цифра в ссылках (выделена курсивом) соответствует номеру настоящего списка. Часть литературных источников (цитированных в примечаниях однократно), в настоящий список не включена.

12. Бухштаб Б. Я. Поэзия Мандельштама // Вопр. лит. 1989. № 1.

13. Васильева Л. Н. Саломея, или Соломинка, не согнутая веком // Огонек. 1988. № 3.

14. Венцлова Т. Вячеслав Иванов и Осип Мандельштам – переводчики Петрарки // Рус. лит. 1991. № 4.

15. Видгоф Л. М. О «чертежнике пустыни» О. Мандельштама // Известия РАН. Сер. лит. и яз. 2002. Т. 61, № 5.

16. Волошин М. А. Лики творчества. Л., 1988. (Лит. памятники).

17. Гаспаров Б. М. Сон о русской поэзии // Stanford Slavic Studies. 1987. Vol. I.

18. Гаспаров М. Л. Эволюция метрики Мандельштама // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж, 1990.

19. Гатов А. Б. Уроки мастерства // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж, 1990.

20. Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб., 1998.

20а. Герштейн Э. Г. О гражданской поэзии Мандельштама // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж, 1990.

21. Гинзбург Л. Я. О старом и новом. Л., 1982.

22. Голлербах Э. Город муз. Л., 1927.

23. Григорьев А., Петрова Н. О. Мандельштам: Материалы к биографии // Russian Literature. 1984. Vol. XV, iss. 1.

23а. Добрицын А. А. «Нашедший подкову»: Античность в поэзии Мандельштама // Philologica. 1994. № 1/2.

24. Есаков В. Д. Три письма Е. В. Тарле вождям // Отечественная история. 1999. № 6 .

25. Зайцев П. Н. Московские встречи // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988.

26. Иванов В. И. По звездам. СПб, 1909.

27. Иванов Вяч. Вс. Мандельштам и биология // Осип Мандельштам: поэтика и текстология. М., 1991.

28. Иванов Г. В. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3.

29. Кантор Е. В толпокрылатом воздухе картин // Лит. обозрение. 1991. № 1.

30. Карпович М. М. Мое знакомство с Мандельштамом // Осип Мандельштам и его время. М., 1995.

31. Кац Б. А. В сторону музыки // Лит. обозрение. 1991. № 1.

31а. Ковалева И. И. Психея у Персефоны: об истоках одного античного мотива у Мандельштама // Новое лит. обозрение. 2005. № 73.

31б. Ковалева И. И., Нестеров А. В. Пиндар и Мандельштам (к постановке проблемы) // Мандельштам и античность. М., 1995.

32. Колоницкий Б. И. Занимательная англофобия // Новое лит. обозрение. 2000. № 41.

33. Кофейня разбитых сердец: Коллективная шуточная пьеса в стихах при участии О. Э. Мандельштама. Stanford, 1997.

34. Кузин Б. С. Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н. Я. 192 письма к Б. С. Кузину. СПб., 1999.

35. Купченко В. П. Осип Мандельштам в Киммерии // Вопр. лит. 1987. № 7.

35а. Лангерак Т. «Подхалимские стихи»: О творческой истории стихотворения Мандельштама «Не мучнистой бабочкою белой...» // Филологические записки. Воронеж, 2006. № 25.

36. Левин Ю. И. Лексико-семантический анализ одного стихотворения // Слово в русской советской поэзии. М., 1975.

37. Левин Ю. И. Заметки о поэзии Мандельштама тридцатых годов. II («Стихи о неизвестном солдате») // Slavica Hierosolymitana. 1979. Vol. 4.

38. Левин Ю. И., Сегал Д. М., Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Russian Literature. 1974. № 7/8.

39. Левинтон Г. А. К проблеме литературной цитации // Материалы XXVI науч. студ. конф. Тарту, 1971.

40. Левинтон Г. А. «На каменных отрогах Пиэрии» Мандельштама: Материалы к анализу // Rus. Literature. 1977. Vol. 5, iss. 2, 3.

40а. Левинтон Г. А. Поэтический билингвизм и межъязыковые влияния // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979.

41. Левинтон Г. А. Мандельштам и Тынянов // Четвертые тыняновские чтения: Тез. докл. и материалы для обсуждения. Рига, 1988.

42. Левинтон Г. А. Романия и романистика у Мандельштама // Res philologica–II. СПб., 2001.

43. Левинтон Г. А., Тименчик Р. Д. Книга К. Ф. Тарановского о поэзии Мандельштама // Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000.

44. Липкин С. И. Квадрига. М., 1997.

44а. Лубянникова Е. И. Осип Мандельштам в Александрове // Марина Цветаева: Личные и творческие встречи, переводы ее сочинений. М., 2001.

45. [Лукницкий П. Н.]. Осип Мандельштам в записях дневника и материалах архива П. Н. Лукницкого // Звезда. 1991. № 2.

46. Лурье А. С. Детский рай // Ахматова А. Поэма без героя. М., 1989.

47. Маковский С. К. Портреты современников. Нью-Йорк., 1955.

48. Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., 1989.

49. Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М., 1990.

50. Мандельштам Н. Я. Книга третья. Париж, 1987.

51. Мандельштам Н. Я. Об Ахматовой // Лит. учеба. 1989. № 3.

52. Мандельштам Н. Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж, 1990.

53. Мандельштам Н. Я. Письма к Л. Я. Гинзбург // Звезда. 1998. № 10.

54. Мандельштам Е. Э. Воспоминания // Новый мир. 1995. № 10.

55. Мейлах М. Б. «Внутри горы бездействует кумир...» // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж, 1990.

56. Месс-Бейер И. Эзопов язык в поэзии Мандельштама // Rus. Literature. 1991. Vol. 29, iss. 3.

57. Мец А. Г. О составе и композиции первой книги стихов Мандельштама «Камень» // Рус. лит. 1988. № 3.

58. Мец А. Г. Осип Мандельштам и его время: анализ текстов. СПб., 2005.

59. Миндлин Э. Л. Необыкновенные собеседники. М., 1979.

59а. Михайлов А. Д. «Сыновья Аймона» // Сохрани мою речь. Вып. 3, ч. 1. М., 2000.

60. Морев Г. А. Полемический контекст рассказа М. А. Кузмина «Высокое искусство» // Блоковский сборник. Тарту, 1991. Вып. X.

61. Морозов А. А. Реминисценция // Краткая литературная энциклопедия. М., 1971.

62. Морозов А. А. К 100-летию со дня рождения Мандельштама // Памятные книжные даты – 1991. М., 1991.

63. Морозов А. А. Примечания // Мандельштам О. Шум времени. М., 2002.

64. Мочульский К. В. О. Э. Мандельштам // Осип Мандельштам и его время. М., 1995.

64а. Мочульский К. В. Письма В. М. Жирмунскому / Коммент. и публ. А. В. Лаврова // Новое лит. обозрение. 1999. № 35.

65. Нерлер П. М., Михайлов А. Д. Комментарий // Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2.

66. Одоевцева И. В. Избранное: Стихотворения. На берегах Невы. На берегах Сены. М., 1998.

66а. Осип и Надежда Мандельштам в воспоминаниях современников. М., 2002.

67. Паперно И. А. О природе поэтического слова: богословские источники спора Мандельштама с символизмом // Лит. обозрение. 1991. № 1.

68. Парнис А. Е. Штрихи к футуристическому портрету Мандельштама // Слово и судьба: Осип Мандельштам. М., 1991.

69. Пастернак Е. В., Пастернак Е. Б. Координаты лирического пространства: (К истории отношений Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака) // Лит. обозрение. 1990. № 3.

70. А. И. Пиотровский. Театр, кино, жизнь. Л., 1969.

71. Полякова С. В. «Беловский субстрат» в стихотворениях, посвященных памяти Андрея Белого // Учен. зап. Тартуского ун-та. 1991. Вып. 881.

72. Полякова С. В. Осип Мандельштам: Наблюдения, интерпретации, неопубликованное и забытое. Анн Арбор, 1992.

73. Поступальский И. С. Встречи с Мандельштамом // Тыняновский сб.: Шестые – Седьмые – Восьмые тыняновские чтения. М., 1998. Вып. 10.

74. Рогинский Я. Я. Встречи в Воронеже // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж, 1990.

74а. Рождественский В. А. Записки // Нева. 1978. № 12.

75. Ронен О. Осип Мандельштам // Лит. обозрение. 1991. № 1.

75а. Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002.

76. Ронен О. К сюжету «Стихов о неизвестном солдате» // Слово и судьба: Осип Мандельштам. М., 1991.

77. Саакянц А. А. Марина Цветаева: Страницы жизни и творчества. М., 1986.

78. Сато Юсуке, Сорокина В. В. «Маленький мужик с взъерошенною бородой» // Philologica. 1998. № 5.

79. Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия. СПб., 2002.

80. Сегал Д. М. «Сумерки свободы»: о некоторых темах русской ежедневной печати в 1917–1918 гг. // Минувшее: Ист. альм. М., 1991. Т. 3.

81. Семенко И. М. Поэтика позднего Мандельштама. 2-е. изд. М., 1997.

82. Слово о полку Игореве. Л., 1985. (Б-ка поэта).

83. Слонимский М. Л. Книга воспоминаний. М.; Л. 1966.

84. Смирнов И. П. Цитирование как историко-литературная проблема: принципы усвоения древнерусского текста поэтическими школами конца XIX – начала XX в. // Учен. зап. Тартуского ун-та. 1981. Вып. 535.

85. Смольевский А. А. Ольга Ваксель – адресат четырех стихотворений Мандельштама // Лит. учеба. 1991. № 1.

85а. Спивак М. Л. О «ГИХЛовском» списке стихотворений Мандельштама «Памяти Андрея Белого» // На меже меж Голосом и Эхом. Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян. М., 2007.

86. Струве Н. А. Осип Мандельштам. Лондон, 1990.

87. Тарановский К. Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000.

88. Терапиано Ю. К. Встречи: (Фрагмент) // Осип Мандельштам и его время. М., 1995.

89. Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7/8.

90. Тименчик Р. Д. Мандельштам и Латвия // Даугава.1988. № 2.

91. Тименчик Р. Д. Граф Василий Алексеевич Комаровский // Родник. Рига, 1988. № 11.

92. Тименчик Р. Д. Из комментариев к мандельштамовским текстам: Артур Яковлевич Гофман // Мандельштам О. Поэтика и текстология: Материалы науч. конф., 27–29 дек. 1991 г. М., 1991.

93. Тихвинская Л. И. Кабаре и театры миниатюр в России, 1908–1917. М., 1995.

94. Тоддес Е. А. Мандельштам и Тютчев. Lisse, 1974.

95. Тоддес Е. А. Мандельштам и опоязовская филология // Тыняновский сб.: Вторые тыняновские чтения. Рига, 1986.

96. Тоддес Е. А. Статья «Пшеница человеческая» в творчестве Мандельштама 20-х годов // Тыняновский сб.: Третьи тыняновские чтения. Рига, 1988.

97. Тоддес Е. А. Поэтическая идеология // Лит. обозрение. 1991. № 3.

98. Тоддес Е. А. Заметки о Мандельштаме // Шестые тыняновские чтения: Тез. докл. и материалы для обсуждения. Рига; М., 1992.

99. Тоддес Е. А. Заметки о ранней поэзии Мандельштама // Темы и вариации: Сб. статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана. Stanford, 1994.

100. Тоддес Е. А. Б. М. Эйхенбаум в 30–50-е годы // Тыняновский сб.: Девятые тыняновские чтения. М., 2002. Вып. 11.

101. Флейшман Л. С. Эпизод с Безыменским в «Путешествии в Армению» // Slavica Hierosolymitana. 1978. Vol. 3.

102. Флейшман Л. С. Борис Пастернак в тридцатые годы. Иерусалим, 1984.

103. Фрейдин Ю. Л. «Остаток книг»: библиотека О. Мандельштама // Слово и судьба: Осип Мандельштам. М., 1991.

104. Худавердян А. Встречи с поэтом // Лит. Армения. 1991. № 5.

105. Цивьян Т. В. Кассандра, Дидона, Федра: Античные героини – зеркала Ахматовой // Лит. обозрение. 1989. № 5.

106. Чиннов И. В. Поздний Мандельштам // Новый журн. 1967. Кн. 88.

107. Швейцер В. А. Мандельштам после Воронежа // Синтаксис. 1989. № 25.

108. Шкловский В. Б. О законах победы // Ленинград. 1931. № 4.

109. Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М., 1990.

110. Штемпель Н. Е. Мандельштам в Воронеже. М., 1992.

111. Эфрос Н. А. Абрам Эфрос и Осип Мандельштам // «Сохрани мою речь...». М., 1991.

112. Broide S. Osip Mandel'stam and his age. Cambridge (Mass.); London, 1975.

113. Childers R., Crone A. L. The Mandel'stam presens in the dedication of «Поэма без героя» // Russian Literature. 1984. Vol. XV-I.

114. Harris J. G. Mandelstamian «Zlost», Bergson, and a new acmeist esthetic? // Ulbandus Review. 1978. Vol. 2. № 2.

114а. Hellman B. Osip Mandelstam and Finland // Модернизм и постмодернизм в русской литературе и культуре. Helsinki, 1996.

115. Meyer H. Eine Episode aus Manndel'stams 'stummen Jahren': Die Max-Bartel-Übersetzungen // Die Welt der Slaven. 1991. Jg. XXXVI.

116. Myers D. The Hum of Metaphor and the Cast of Voise: Observations on Mandel'shtam's 'The Horseshoe Finder' // The Slavonic and East European Review. 1991. Vol. 69.

117. Ronen O. An Approach to Mandelstam. Jerusalem, 1983.

118. Rusinko E. Acmeism, postsymbolism, and Henry Bergson // Slavic Review. 1982. Vol. 41. № 3.

119. Steiner P. Poem as Manifesto: Mandel'stam's «Notre-Dame» // Russian Literature. 1977. Vol. V, iss. 3.

120. Taranovsky K. Essays on Mandel'stam. Cambridge, 1976.

Алфавитный указатель стихотворений

Содержание

TRISTIA

1921–1925

НОВЫЕ СТИХИ

ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ

Первая тетрадь

Вторая тетрадь

Третья тетрадь

ПОСЛЕ ВОРОНЕЖА

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

Юношеские стихотворения

1908–1937

ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. СТИХОТВОРЕНИЯ «НА СЛУЧАЙ»

КОЛЛЕКТИВНОЕ

ПРИПИСЫВАЕМОЕ

ИЗ НЕЗАВЕРШЕННОГО И УТРАЧЕННОГО

ПЕРЕВОДЫ

Жан Расин

Из старофранцузского эпоса

Огюст Барбье

Жорж Дюамель

Макс Бартель

Стихотворения, не вошедшие в книги

Осип Эмильевич Мандельштам

Полное собрание сочинений и писем в трех томах

Том первый

Стихотворения

Редактор *Б. Н. Романов*

Художественный редактор *В. Н. Сергутин*

Корректор – *Л. Н. Морозова*

Верстка – *А. Б. Метелкин*

Оператор *И. А. Чижикова*

Фото на суперобложке
М. М. Суменовой

Информационная поддержка –
журнал «Новое время» (“The New Times”)

Подписано в печать 26.05.2009
Формат 60×100/16. Объем 50,5 п.л.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Заказ 323



Издательство «Прогресс-Плеяда»
Гл. редактор С. С. Лесневский
125009, Москва, Тверской бульвар, 14, стр. 1, офис 705
Тел./факс: (495) 648-07-86
E-mail: progresspl@yandex.ru

ОАО «Типография “Новости”»
105005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46